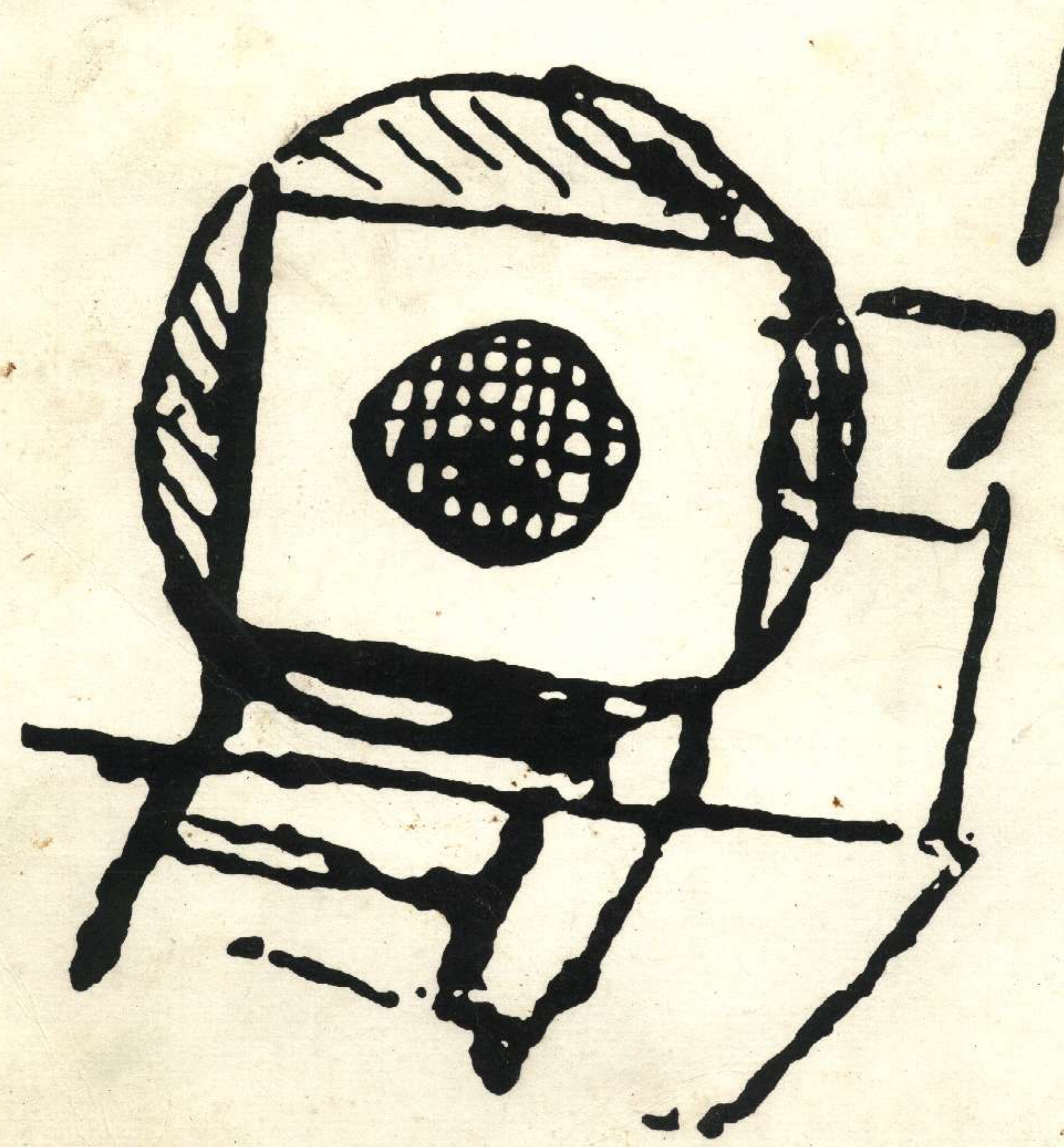
ЗАВТРА

фантастический альманах



второй

Уважаемый читатель,
ЗАВТРА считает для себя главными три проблемы:

отражение в литературе
страхов и отчаяния человечества
в наше страшное и отчаянное время;

попытки воссоздать в литературных образах
те общественно-политические идеалы,
к которым всем нам надлежит устремляться;

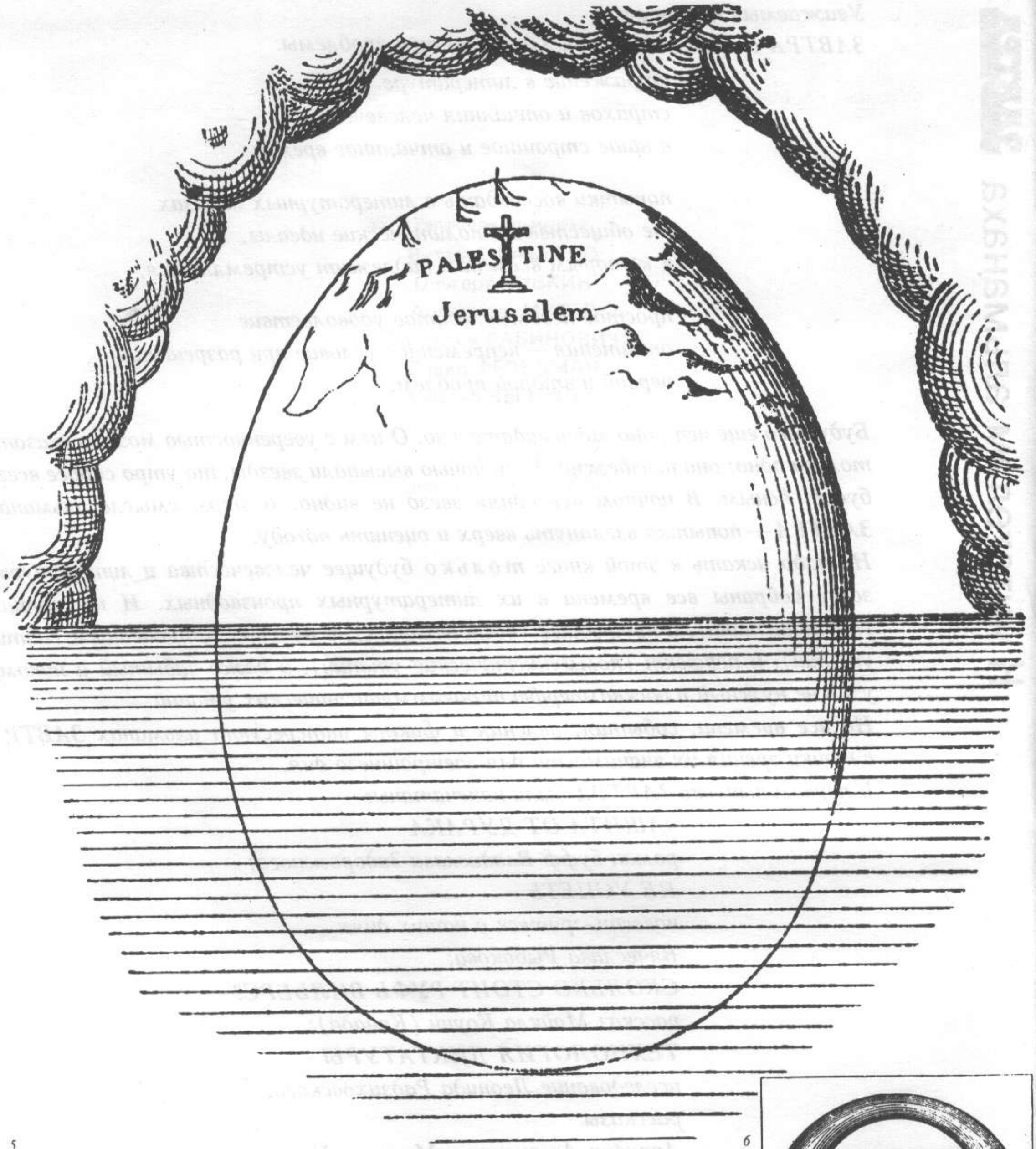
простое незамысловатое удовольствие
от чтения — непременное условие при разрешении
первой и второй проблем.

Будущего еще нет, оно лишь гадательно. О нем с уверенностью можно сказать только одно: оно неизбежно. Если ночью высыпали звезды, то утро скорее всего будет ясным. В ночном «сегодня» звезд не видно. В этом смысле альманах ЗАВТРА — попытка взглянуть вверх и оценить погоду.
Не надо искать в этой книге т о л ь к о будущее человечества и литературы; здесь собраны все времена в их литературных производных. И настоящее (публицистика), и прошедшее (воспоминания), и будущее в прошедшем (антиутопии), и перфект (коммунистические утопии), и даже забытый и никому уже не нужный плюсквамперфект докоммунистических утопий.
Но все времена, события, явления и факты интересуют альманах ЗАВТРА с точки зрения их значимости для завтрашнего дня.
В первом выпуске ЗАВТРА были напечатаны:

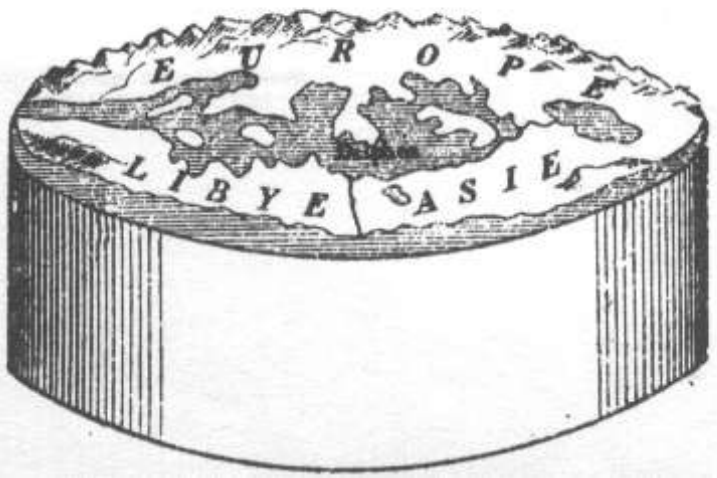
ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА —
роман-буфф Владислава Задорожного;
НЕ УСПЕТЬ —
повесть-гротеск о наших днях
Вячеслава Рыбакова;
СКОЛЬКО СТОИТ РУФЬ ВИЛЬЕРС? —
рассказ Майкла Коуни (Канада);
ТЕХНОЛОГИЯ ДИКТАТУРЫ —
исследование Леонида Радзиховского;
рассказы
Аркадия Аверченко и Михаила Успенского
и другие произведения.

Теперь перед вами второй выпуск ЗАВТРА.

1



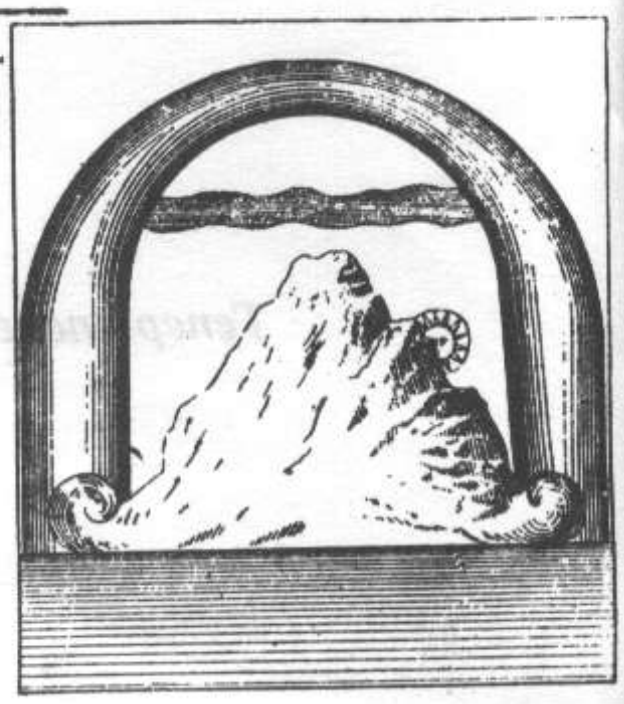
5



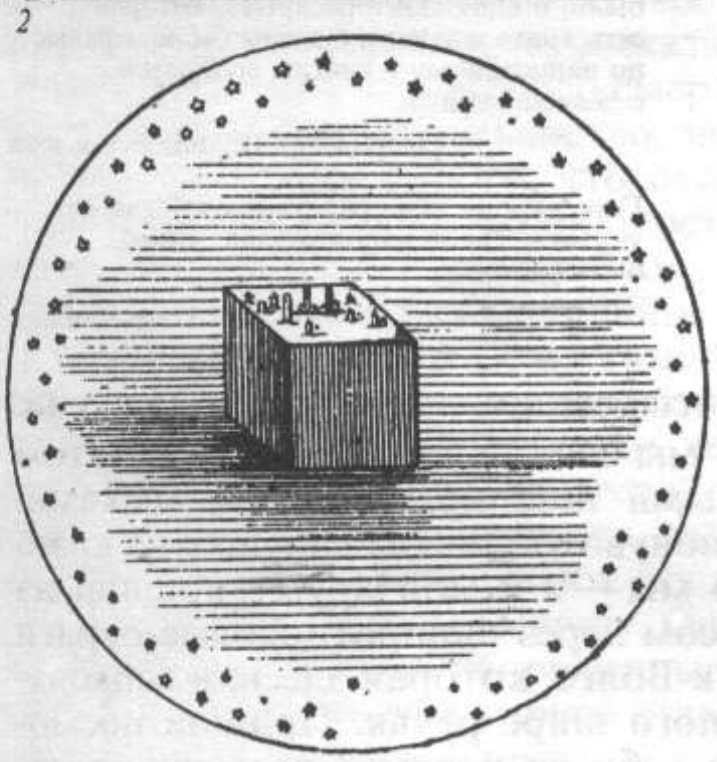
И счастлив не тот,
Кто землю, как крот,
Мерит
А кто — удивлен,
Земле, словно клен,
верит...

Александр Дольский
Мир сверху

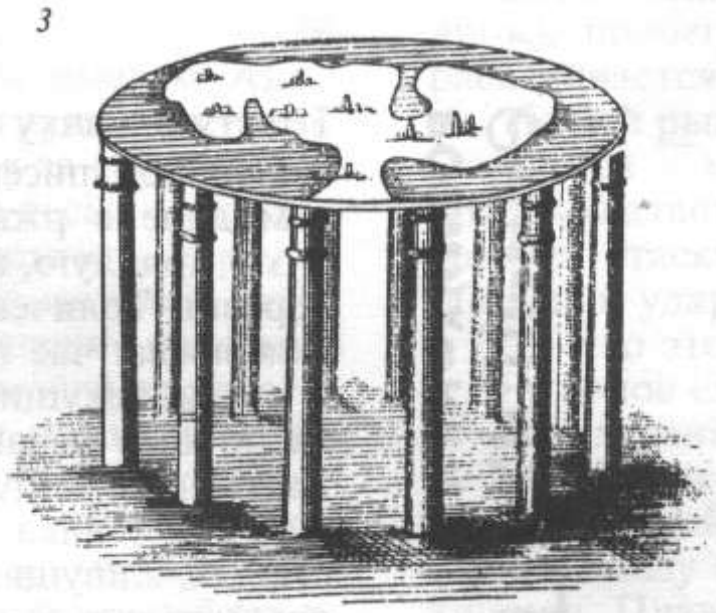
6



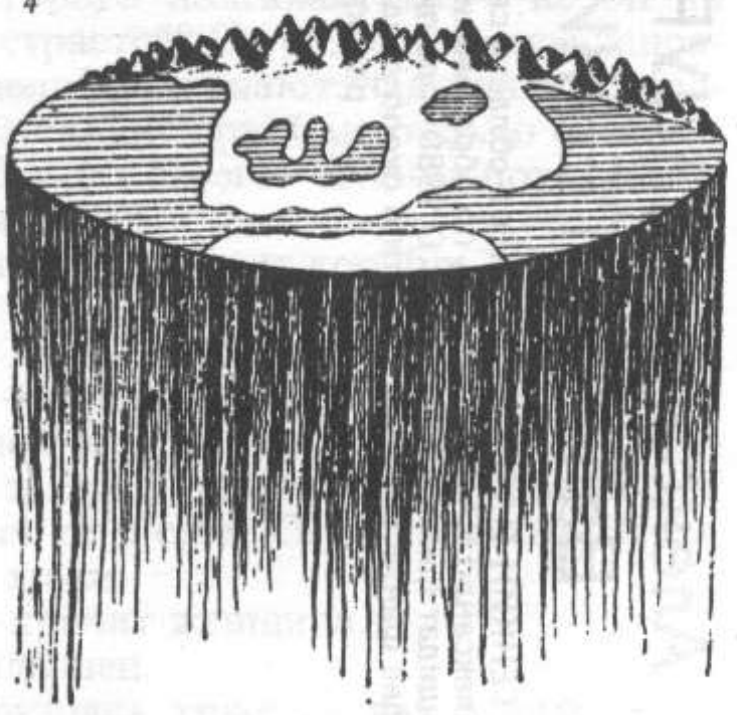
2



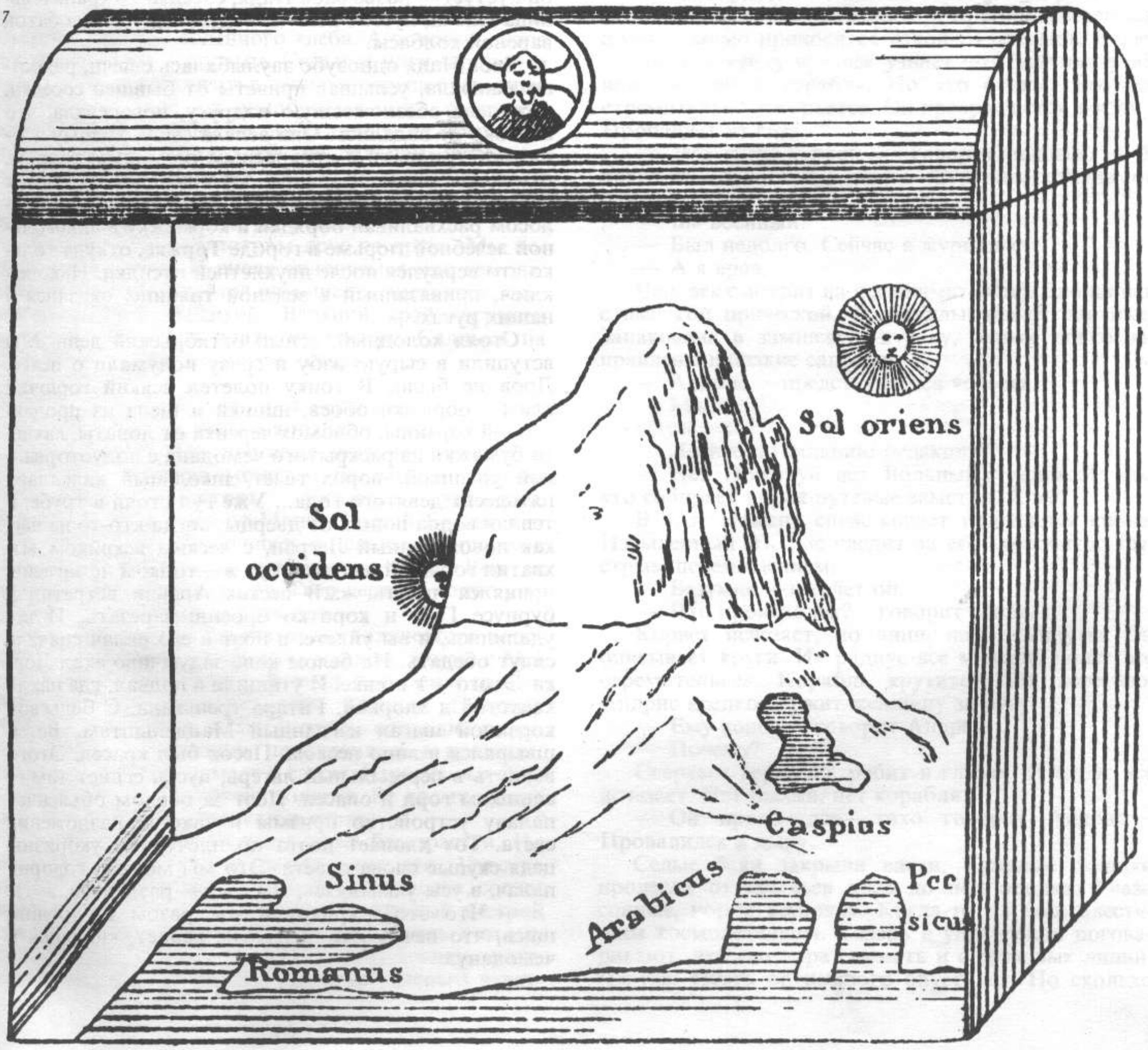
3



4



7


Sol oriens
Sol occidens
Caspius
Sinus Arabicus
Romanus
Pcc
sicu

Александр КАЦУРА
Валерий ГЕНКИН

Валерий ГЕНКИН (1940), специалист в области связи, переводчик; Александр КАЦУРА (1941), по образованию — физик, кандидат философских наук. С 1980 года пишут вместе, издали две фантастические повести и около двадцати рассказов.

Похищение
роман-химера

> И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.
>
> Откровение Иоанна Богослова

> Горе народу, если рабство не смогло его унизить. Такой народ создан, чтобы быть рабом.
>
> Петр Чаадаев

Толстую пачку отсыревших, но не тронутых еще желтизной писем мы нашли за печкой в помятом чемодане с ржавыми незапирающимися замками. В эту дряхлую, клюнувшую носом избушку на краю деревни Теличено мы — я и мой друг — пришли из Савельева: час лесом через папоротниковые овраги и ручьи, текущие к Волге, которая здесь, в верховьях, и сама ненамного шире ручья. Пришли посмотреть пустующую избу на предмет возможной покупки. Хозяйка, грузная одышливая старуха на костылях, живущая безвыездно в Ржеве, говорила, что дом уступит за «сколько дадите», что лет восемь уж он пустует — разве баба Надя, соседка — хранительница ключа, пустит кого на неделю-другую за батон вареной колбасы.

Баба Надя однозубо заулыбалась с печи, радостно закивала, услышав приветы от бывшей соседки, пожалела обезножевшую подругу, погоревала, что столько не видались. Она велела сыну, худому парню лет тридцати с прекрасным безумным взором, отыскать ключ. Шаря по закопченным полкам с грязными кастрюлями, он напряженно-звонким голосом расхваливал порядки и кормежку в алкогольной лечебной тюрьме в городе Торжке, откуда только что вернулся после двухлетней отсидки. Наконец ключ, привязанный к зеленой тряпице, оказался в наших руках.

Стоял холодный, ясный октябрьский день. Мы вступили в сырую избу и сразу подумали о печке. Дров не было. В топку полетел всякий горючий хлам — обрывки обоев, шишки и щепа из продавленной корзины, обломок черенка от лопаты, какие-то бумажки из раскрытого чемодана с полуоторванной крышкой, ворох газет, школьный календарь пятьдесят девятого года... Уже гул стоял в трубе, и теплая волна пошла от дверцы, когда кто-то из нас, как новоявленный Легран, с легким вскриком выхватил горящий листок и тут же, толком не загасив, принялся читать. «...В песках Аравии встретил в бурнусе Гете и коротко бросил: зарезать. И все удалились, и вы уйдете, а поэт и его палач сначала сядут обедать. На белом коне задумчиво ехал Лорка. Этого — к стенке. И утащили в подвал, где пахло капустой и хлоркой. Гитара тренькала. С бельевой корзиной шагал изгнанный Мандельштам. Ветер швырялся в лицо песком. Песок был красен. Этого вернуть в пересыльный лагерь, пусть сгниет там — слишком горд и опасен. Поэт за обедом объясняет палачу устройство призмы и законы разложения света. Тот хлопает поэта по плечу, без укоризны цедя скупые слова ответа. Это мы можем, говорит палач, в усы ухмыляясь, мы свет — разложим...»

— Что это? — крикнули мы разом и, убедившись, что печка уже ничего не вернет, кинулись к чемодану.

Берем наугад обрывок тетрадного листа. Сверху крупно: «ПОСТАНОВИЛИ». Протокол? «Поднять из могилы, неспешно все рассказать, все показать. Унижение и тихо-загадочную смерть его вдовы, растоптанное, убитое крестьянство, звездный час иуды-прокурора — того самого, что охотился за ним летом семнадцатого, в подробностях, с костями в колесе, тридцать седьмой...» Еще клочок — побольше. Аккуратная машинопись.

«Красавец козел с божественным именем Адонис, гордо вознеся рога и выпятив грудь, шествует по финальному коридору бойни, ведя за собой вереницу бычков. Он лидер, он весел, он весь — ожидание, предчувствие, предвестие радостного пира, и его ликующие токи пронзают последователей, подчиняющихся заданному маршу. Ощущение праздника проникает в тупо напряженные мозги крупного рогатого скота. Бычки упруго ставят ножки и тянут шеи. Avanti, popolo! Адонис — впереди. Как жаль, что опилочный пол скрадывает скерцо его грациозной рыси. Он знает: опилки останутся позади, затихнет сопенье ведомого стада и он выйдет к солнцу, высоко подняв нежный замшевый нос, выйдет, чтобы получить из влажной ладони ломоть свежего, круто посоленного хлеба. А потом — снова в путь. И снова — первым. Сильные ноги гарцуют и поют. Восторг стучится в ленивые черепа очередных прозелитов. Туда — к опилочному полу, навстречу новой сладостной волне, набегающей на трепетное тело,— новому куску хлеба на сильной, чуть влажной ладони.

Фильм этот Рервик не раз видел в учебных залах высших режиссерских курсов Земли».

Мы растерянно смотрим друг на друга. Мы пожимаем плечами. И снова склоняемся над чемоданом. В руки попадаются пять-шесть листочков, сколотых ржавой скрепкой. Верхний край изгрызен мышами. Но текст почти не тронут. Садимся на скамейку у печки, начинаем читать.

«...ава ...рок первая
...узовой корабль

...дит в гамаке. Он поставил ногу на бочонок и рассеянно любуется мощным башмаком. Мысли блуждают. Предстоят досадные задержки. Ближайшая — в Кост-ро-Мане. Старый Баккит высадит их дня на два, сгоняет по своим делишкам в Трай-Пи, потом снова возьмет на борт. Еще не меньше недели болтаться в Твер-центре — одно утешение: там в эту пору карнавал.

Корабль гружен брусками металлического водорода, древесиной, хлопковым маслом, вином с Малой Итайки. Пассажирский отсек неуютен и грязен. Мало кто путешествует этим классом. Поэтому здесь бочки, ящики, хлам. В отсеке еще один пассажир. Молодая женщина пристроилась в креслице. Она тоже молчит, думает о своем. Изредка выходит прогуляться в оранжерею экипажа. Во время трапез оказывается на другом конце стола.

Внешне человек спокоен, даже бесстрастен. Но невидимый внутренний огонь жжет его. Чувство горечи и неутоленная жажда справедливости, соединившись, переплавились в ровный, сильный настрой души. Может быть, и месть примешалась к этому сплаву? Вряд ли. Он слишком любит логику, слишком рассудителен, чтобы поддаться слепым чувствам. Слепым ли? И что это такое — слепые чувства? Его друг, до которого полгалактики,— не он ли пример человека страстей? Но разве не разум направил их к общей цели? Они знают: задуманное предприятие — опасная авантюра. Смертельно опасная. Но верят, что добьются своего. Человек покачивается в гамаке и улыбается.

Внезапный рывок сотрясает корабль. Скрипучая дрожь пробегает по стенам и переборкам. Гамак раскачивается, под ним, сталкиваясь, катаются бочки. Новый рывок — кровь ударяет в голову. Летит и утыкается в мешок кресло пассажирки. Она судорожно хватается за край гамака. В следующий миг человек втаскивает ее к себе. Серия толчков. Треск обшивки, удары, хруст.

— Что это?— кричит женщина.

Ее голос еле слышен.

Гигантский грузовик трясется как в лихорадке. Человек смотрит на крепления гамака. Сквозь грохот отдельной нотой прорывается их предательский скрип. Внизу беснуются бочки и ящики. И вдруг — тишина. Плавный ход корабля.

— Смотрите!— Женщина берет его за руку.

Он смотрит в иллюминатор. Ярко подсвеченный с краю, мимо проносится какой-то предмет. В следующую секунду человек узнает его. Знакомые обводы военного корабля. Но что с ним? Его бег стремительно ускоряется. Он превращается в точку. Пропадает из глаз.

— Это спейс-корвет, — говорит человек. — Я когда-то служил на таком. Странно, откуда он взялся?

— Вы военный?

— Был недолго. Сейчас я журналист.

— А я врач.

Человек смотрит на нее внимательно. Блондинка с высокой прической. Глаза улыбчивые, наивные. Запакована в замшевую куртку, брюки ловко заправлены в низкие сапожки.

— Андрис,— представляется человек.

— Майя.

Пауза.

— Летите по заданию редакции?

— Нет. Пожалуй, нет. Вольный стрелок. Из тех, кто собирает впрок путевые заметки. А вы?

В этот момент спейс-корвет появляется снова. Изумленный Андрис следит за его невероятно быстрым перемещением.

— Безумие,— шепчет он.

— Что происходит?— говорит Майя.

Корвет исчезает, но лишь на полминуты. Он описывает круги. Их радиус все меньше, полет все стремительнее. Корабль крутится, как веретено. Андрис крепко держит женщину за руку.

— Ему конец!— говорит Андрис.

— Почему?

Сверкает веретено, рябит в глазах. И вдруг все исчезает. Нет блеска, нет корабля.

— Он провалился,— тихо говорит Андрис.— Провалился в дыру.

Седые баки закрыли виски. Тяжелые складки пролегли от крыльев носа до подбородка. Глаза сонные, порой колючие. Когда-то он был блестящим космолетчиком. Теперь в управлении поговаривают, что его пора снимать и с грузовых линий. Чепуха. Пусть он немного опустился. Но сколько

еще силы и точности в этих тяжелых руках со старомодной татуировкой. Он всегда был немного старомоден. Во время длинных перелетов любил читать книги. Кабина навигатора — уютнейшее место на корабле. Тишина. Огоньки экранов. Цветомузыка главного компьютера. Так хорошо дремать с толстым томом в руках, утопая в кресле, когда сбоку светит теплая матовая лампочка. Вот только второй пилот досаждает. Он худ и вертляв. Он и сейчас толкает плечом Баккита. Старину Баккита.

— Ну что?— недовольно бормочет капитан.

Кристиан круговым движением руки показывает на иллюминаторы обзора. Баккит встряхивает головой.

— Что такое?— говорит он, нахохлившись.

Слева чуть выше их курса висит корабль. Спейс-корвет новейшего образца. В косых лучах недалекого солнца он смотрится как устрашающего вида насекомое. Стальным светом отливает полосатое брюшко. Торчат членики антенн, стволы лазерных пушек. На спине из-под крылышек солнечных батарей высовываются острые рыльца ракет.

— Красавец!— восхищается Кристиан. Спейс-корветы, ударная сила космического флота, последний крик техники землян, стражи мира и порядка. Какой молодой космолетчик не мечтал о них? Он, Кристиан, не исключение.

Спейс-корвет перебирает лапками. Открывает обращенный к грузовому кораблю черный ротик.

— А-а!— брызжа слюной, кричит Баккит, обрушивая стокилограммовое тело на рычаг ручного управления.

Изумленный Кристиан летит со своего кресла. Двухсотметровый корпус корабля скрипит и стонет. Обезумевший капитан яростно воюет с рычагами и клавишами. Позади грузовика, в том месте, где он только что был, пространство корежится и рвется. Это первый залп корвета. Второй залп накрывает корабль. Нет, огромный, неуклюжий грузовик уже отпрыгнул в сторону. Проходит минута. Корвет вновь догоняет корабль Баккита и занимает позицию для атаки. Багроволицый капитан и лунно-бледный второй пилот играют на клавишах пульта в четыре руки.

— Нет,— у Кристиана трясутся губы,— нам не уйти. Что может наша посудина против корвета последней модели?

— Открой четвертую трассу,— хрипит Баккит.

Кристиан кивает, набирая программу. Компьютер дает отказ.

— Не выйдет,— бросает второй пилот,— перегрузка.

Спейс-корвет, обгоняя грузовик, вычерчивает красивую параболу.

— Эллипс, эллипс,— приговаривает Баккит,— надо пройти по эллипсу.

— При чем здесь эллипс?— кричит Кристиан.

Перед капитаном вспыхивает красный экран. Толстые пальцы Баккита откидывают крышку блока защиты, вырывают плату предохранителя.

— Что ты делаешь, Том?— Кристиан пытается говорить спокойно, но голос ломается.

— Отключаю компьютер.

— Зачем?

— Мы пройдем по эллипсу.

— Не понимаю.

— Он пойдет следом. Но у нас масса в пять раз больше. Мы проскочим. Понимаешь?

Второй пилот мотает головой. Красный экран гаснет.

— Давай четвертую!

Судорога пробегает по длинному телу грузовика. Слышно, как за спиной трещат переборки. Корвет закладывает изящный вираж. Сейчас он обойдет грузовик справа и... Кристиан бессильно откидывается в кресле. Но что это? Корвет не спешит стрелять. Он уклоняется все дальше вправо.

— Уходит?— прошептал второй пилот.

Бег корвета ускорился, траектория стала заметно искривляться.

— Ага, попался!— загремел Баккит.

— Что с ним, Том?— негромко спросил Кристиан.

— Все. С ним все. Ему конец,— так же негромко ответил капитан.

— Не понимаю.

— Ты забыл, парень, что у этого солнца в партнерах — черная дыра. Он тоже про нее забыл. Вообще или в пылу погони — черт его знает. Теперь он в ее лапах.

— А мы?— спросил Кристиан, слегка запинаясь.

— Мы проскочили. Но с какой стати этот мерзавец стрелял в нас?.. Что писать в бортовой журнал?— Баккит поднял на Кристиана усталый взгляд.— Пойди-ка посмотри, что там с пассажирами».

Другие бумаги из чемодана мы читать не стали. Собрали все до последнего листочка, подождали, пока прогорит печка, и двинулись обратно в Савелово, сказав бабе Наде, что ключ берем с собой, поскольку дом скорее всего купим.

Что же мы выяснили, разобрав нашу добычу и внимательно все перечитав?

Перед нами была переписка двух друзей — Андрея и Владимира. Письма Андрея были довольно аккуратно отпечатаны на машинке. Редкая правка внесена черным тонким фломастером. Владимир писал крупным, немного расхлябанным, но вполне разборчивым почерком и пользовался шариковой ручкой с синей пастой. Говорить сейчас о содержании писем вряд ли имеет смысл, коль скоро мы предлагаем их читателю практически в первозданном виде. Если не считать выправленных опечаток, изъятия нескольких очень уж скучных абзацев с повторов и добавления немногочисленных слов и фраз вместо съеденных мышами или иным образом утраченных,— тексты писем остались нетронутыми.

Люк де Вовенарг

Ум большинства ученых правильнее всего, пожалуй, уподобить человеку прожорливому, но с дурным пищеварением.

Хотим отметить лишь несколько странностей этой переписки, которые нас озадачили и объяснить которые мы не беремся.

1. На письмах Андрея обозначено место — Савельево. Да, да, по удивительному совпадению письма с нашей помощью вернулись туда, где были написаны. Но так ли это? Никто в этой умирающей деревне — зимой здесь постоянно живут лишь пять человек — не похож на описанных Андреем жителей Савельева, и ни один житель Савельева — как мы выяснили дотошными расспросами — не помнит москвича по имени Андрей.

2. Беседы с бабой Надей и другими обитателями Теличена, куда мы через пару дней не поленились вернуться, также не дали результатов: никакому Андрею баба Надя ключа не давала. Илья, говорила, жил. Дрова ей наколол, чаю принес, окно разбитое вставил. Но дело тут не в имени. Ни в одном постояльце покосившейся избушки никак не угадывался автор писем.

3. Письма обоих корреспондентов были соединены в одном месте и хранились с великим небрежением за печкой дряхлой избы в полузаброшенной деревушке.

4. Последняя особенность: при внимательном рассмотрении оказалось, что правка на письмах Андрея выполнена почерком Владимира.

В заключение считаем своим долгом уведомить всех, что, буде найдутся истинные создатели этой рукописи, мы незамедлительно передадим им все права авторства и, конечно же, гонорар — естественно, за вычетом расходов, связанных с перепечаткой текста. Справедливость своих притязаний может доказать любой желающий, какое бы имя он ни носил, если он достаточно точно опишет дом, где нам посчастливилось найти старый помятый чемодан с ржавыми незапирающимися замками.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Октябрь 16, Савельево

Дорогой Владимир!

Последний наш разговор нейдет у меня из головы, хотя ему там тесно. Мысли заняты все больше делами практическими: починкой крыши, пристройкой гаража, поправкой в совершенную ветхость пришедшего забора, да саженцы достать, да песку и щебня — отмостить метров пятьдесят от дороги до порога. Хорошо бы успеть до снега, но торопиться я не намерен. Вживаюсь в деревенский обиход неспешно — спех тут не в почете. Хотя по московской привычке засуечусь иной раз, запаникую — с тем опоздаю, это горит... А потом спущусь с крыльца, гляну вокруг... Ти-и-хо. Через дорогу — дымок, труба чуть не в землю ушла. Юрий Иванович, сосед, баню топит. Тетя Поля с того конца деревни, блестя калошами, рука на отлете, тащит к пруду таз — белье полоскать. Вот и вся кипучая жизнь. Ну, думаю, и я успею. Не горит. И так располагаю собой до Нового года, когда с лыжами и гвалтом явится мое семейство, а я, напротив, буду призван в столицу с отчетом о так называемом творческом отпуске. Стопка листков, образующих этот отчет, пухнет с весьма умеренной скоростью. Тема, если помнишь, касается статистических закономерностей в языке. За кажущейся бухгалтерской сухостью в ней виделась мне интереснейшая область языковедения. Живой, прихотливый поток речи, с одной стороны, не терпит уз, смеется над усилиями лингвистов заковать его в латы числовых соотношений, опутать логическими связями, но — с другой — не может оставаться вполне свободным, ибо станет непонятным собеседнику. Потому и показалось мне заманчивым применить в языкознании, а именно в той его интригующей и туманной части, которая ведает значениями слов, столь же двусмысленный раздел математики — теорию вероятностей, да не классическую, а особую, специально мною достроенную. Конечно, я был далеко не первым в этих попытках, но дело меня увлекло. Вот-вот, думал, отвоюю у интуитивного, бесформенного знания еще одну крепость — семантику. Вот-вот найду магическую формулу, разрешающую парадокс необходимости и свободы в языке. Но мало-помалу порыв мой умерялся, росла убежденность в неспособности моей теории описать и доказать что-нибудь, кроме самоочевидного, вызревало понимание, что одна лишь фраза поэта — «Давай ронять слова, как сад — янтарь и цедру, рассеянно и щедро, едва, едва, едва» — больше говорит о текучей, неуловимой материи языка, чем все мои построения.

Однако оставим это. Слова, говорил Рассел, служат для того, чтобы можно было заниматься иными предметами, чем сами слова. Необходимость и свобода в языке — лишь тень проблемы того же свойства, присущей жизни. Вот мы и вернулись к нашему разговору, прочно засевшему в моей памяти. О народе и тиране, свободе и власти, возмездии и исторической справедливости. Не уместнее ли здесь, как и в языковых штудиях, не громоздя умозаключений, обратиться к средствам литературным? Попробуй-ка, друг Владимир, на зуб замысел, который излагаю в самом общем виде.

Помнишь недавнее сообщение о том, что в пригороде одной восточной столицы собрались главари кхмерских группировок с призрачной целью восстановить власть полпотовских изуверов? Еще раньше я задумывался, почему у нынешнего правительства Камбоджи не возникает желания выкрасть того же Пол Пота или там жуткого Иенг Сари, чтобы публично их в Пном, скажем, Пене судить? Или возникает, да не просто подобное осуществить? А представить только: шумный процесс, корреспонденты со всего света — вот они, зловещие ангелы геноцида, выродки, уничтожавшие собственный народ. Кости миллионов вопиют, пепел стучит в сердца живых... А взять народное восстание в Румынии. И здесь с судом ничего не вышло. Диктатора и его злодейку супругу поспешно и, в сущности, тайно расстреляли.

Клод Гельвеций Правительство, которое становится нетерпимым, способно сделать еще много глупостей. Это вор, который хотел бы зажать рот тем, кто дает показания против него.

А мир уже, кажется, набирал воздуха в грудь — следить за обстоятельным, быть может, многомесячным процессом, где вылезали бы на белый свет все гнусности кровавого режима, того, где на партийных съездах вышколенные функционеры пели осанну плюгавому тирану. А сколько нацистских преступников пряталось и по сей день прячется от возмездия в экзотических странах и иных местах планеты? Сталинские палачи среднего и мелкого масштаба вообще не имеют нужды скрываться, ибо юридически чисты перед законом. Но писать роман об Анастасио Сомосе, папаше Дювалье, о Лаврентии Берии и Альфредо Стреснере, о Николае Ежове и Николае Чаушеску, о каких-нибудь Вышинском и Курском или том же Пол Поте не кажется мне возможным без основательного знакомства с документами, а лучше и людьми — как сообщниками, так и жертвами. Представим себе роман о Пол Поте. Как начнем? Да хоть бы так. Юный кхмер торопится на лекцию в Сорбонну. Смех парижанок, чудесные маленькие кафе. Где-то играет аккордеон, в омытом дождем крыле «ситроена» отражается Нотр-Дам. В общем — пятьсот лет европейской гуманистической культуры. И вдруг — ах!— кетменем по затылку.

Нет, такое писать — какие нервы нужны! Выдержать, вынести конкретность этой судьбы, реальность этого характера... На то я — признаюсь со всей откровенностью — никак не способен. Традиции фантастики влекут на иные тропы. И вот возникают в мозгу зыбкие контуры причудливого повествования, где в различных уголках условного пространства можно не только разместить интригу похищения и раскаленную публицистику суда, но и поставить немало философских, психологических, нравственных вопросов. Например, таких:

1. Справедлива ли сама идея возмездия в масштабах вселенной и вечности? Ведь в мире вымысла исторических преступников, кои не успели при жизни расплатиться за грехи, можно каким-нибудь приемом и с того света тягать к ответу — научно-фантастический вариант Страшного суда.

По сути, это вопрос давности преступления. Существует ли историческая справедливость, когда меряем тысячелетиями и парсеками? Пришла бы сейчас кому-нибудь в голову мысль судить Нерона, Хлодвига, Тамерлана? И не мелкий ли это сор перед безмерностью мира?

2. А если даже каплю справедливости усмотрим в этой идее, можно ли ради нее поступиться своей совестью, ну хоть бы на малую толику? Перед героями этот вопрос встанет, когда пойдет оценка средств целью, когда фабула потребует жестко уворовывать человека — предполагаемого преступника, устранять препятствия...

3. И какое назначить наказание за самые ужасные преступления? Неужто все то же — ритуальное убийство? Насильственная смерть, когда толпа (государство!) душит или режет одного — одинокого в момент кончины, бессильного, связанного, оплеванного. Сколь славно было честному средневековому человеку — ремесленнику, торговцу, крестьянину, заехавшему на городской рынок,— услышать трезвон малого колокола кампаниллы (так, кажется, называют колокольни в Италии). Казнь! Спешите на площадь, где должно свершиться правосудие, где обещано самое волнующее, самое страшное и — неужели?— самое сладкое зрелище в жизни, когда эту самую жизнь отнимают, но отнимают не у тебя, а у другого, тебе чужого, у какого-то субъекта, в отношении которого доказано: ему жить не нужно. Как жутко-сладостно ты вздрагиваешь и понимаешь каждой клеточкой тела, что в момент хруста костей на помосте ты — жив. Жив! Ты слит с великой бурлящей толпой. Значит, и сам — велик. Вздохнула она или ахнула — ты вздохнул и ахнул вместе с нею. И, чувствуя, как жизнь разливается по телу, ты славишь и мудрое государство, и грозного правителя, и праведный суд. И, отерев пот и усмирив мурашки, уходишь, довольный и потрясенный. Ты славно провел время. И словно сыграл со смертью в жмурки. Но суд и казнь через столетия — не грешно ли злопамятство? Похищение для последующего суда, быть может, судилища — не в злой ли памяти живет такое, не сектантское ли отклонение от христианских заповедей?

4. Еще не менее хитрый вопрос личной ответственности в системном обществе. Только ли тиран виноват? А мы-то что?.. Не действует ли в истории принцип единства правительства и народа? Но не в статическом, а в подвижном, гераклитовом, гегелевском духе...

Да, но рассуждения эти останутся лукавым рациональным вывертом, не брось мы их в общий котел с человеческими судьбами, смешными и горестными событиями, сумасшедшими приключениями и нелепыми поступками.

Чьими? Кто герои?

Некий правитель (генерал-губернатор, вице-король, генеральный секретарь или другой большой начальник) кроваво угнетает своих подданных на небольшой провинциальной планете. Его свергают, он бежит, и на долгие годы след его теряется. Но вот доносится слух, что злодей вынырнул на другом конце галактики и процветает. Два молодых человека (журналиста-межпланетника? художника? биоконструктора?) составляют дерзкий план — найти, схватить, доставить на несчастную, едва очнувшуюся от жестокой диктатуры планету и там принародно, гласно, сурово и честно судить. Дабы другим неповадно было...

Бросаю тебе мяч и жду ответного паса, ибо перестройка мыслей на фантастико-научный антураж (ракеты и планеты, гравикомпенсаторы и аннигиляторы, андроиды и астероиды) в условиях тутошней бревенчато-огородной жизни требует сил, которыми я в настоящий момент не располагаю.

Твой Андрей

Станислав Лем

Наука занимается только тем, ка́к что-то делается, а не тем, почему это делается.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

3-е ноября, Москва

Друг мой, вот какие мне мерещатся декорации.

Галактика похожа на нынешнюю политическую карту, где вместо стран — планеты и всяческие их объединения. Там-сям разные способы правления, общественные установления и традиции. Земля — общая для всех прародина — давно утратила влияние на большую часть бывших своих колоний. Уж она не центр, не столица: возьми историческую судьбу Полоцка, Галича, Суздаля, Твери, страшно сказать, но, может быть, уже и Москвы — и ты поймешь мою мысль. Хотя, конечно, колыбель и потому маячит теплым пятном на окраине родового сознания. И влечет к себе — паломников, туристов, историков. Не то чтобы стала она музеем, живущим на ренту от скал Тассили-Аджера, Сикстинской капеллы и Байконурского космодрома. Просто планета со своей живой историей, одна из многих, обиталище десятка миллиардов людей.

Один из них — кинорежиссер Андрис Рервик. Несмотря на молодость — нет и тридцати,— он успел прославиться как блестящий и бесстрашный киножурналист, побывавший во многих опасных экспедициях по малоизученным областям пространства. Весь освященный традицией набор фантастических подвигов на его счету: охота на винтозубых хорроров в душных плавнях на задворках созвездия Лебедя; спасение растяп, угодивших в гравиловушку или параллельный временной коридор; разгром космических банд и ловля грабителей-одиночек, поджидающих мимопроезжих путешественников с лазерным ножом за пазухой. И всюду Андрис выказывает смелость, порой отчаянную. Особенно если задумает снять что-нибудь из ряда вон... Скажем, сцены из жизни главаря пиратской ватаги, терроризирующей мирных ловцов астероидов в юго-восточном секторе треугольника Вега-Денеб-Альтаир. Рервик является к атаманше. Он предлагает ей восхитительный план нападения на транспорт с кристаллами фосфида индия и сандаловым деревом,— план, сулящий добрую поживу. Участвует в оргиях. И снимает, снимает, снимает... А потом проваливает всю затею и передает разбойников в руки правосудия. Такой вот лихой, яростный такой парень.

Но была в жизни Рервика и тихая радость, лежащая в стороне от авантюр и поножовщины. Время от времени забирался он в глухомань, на слаборазвитую планету, и снимал медлительные этнографические фильмы — быт и труд, танцы и обряды, игры и состязания, восходящие к древним эпохам. После такого уединения появлялись картины, полные очарования и грусти, и зрители выходили из кинозалов в глубокой задумчивости, а критики говорили: «О! Каков Рервик!» — и шли писать рецензии на своем критическом языке, где среди прочего выражали сожаление и недоумение, что художник такой глубины, такой страстности, такого богатства творческой палитры до сих пор не выходит за рамки документального жанра.

Да, художественных картин Андрис не снимал. «Жизнь острее и, если хочешь знать, поэтичнее»,— говорил он единственному близкому человеку, другу со школьных дней, Велько Вуйчичу. Никого больше не подпускал к себе Рервик. То ли сумасбродная, опасная работа не давала ему обзавестись семьей, то ли, что скорее, характер — резкий, неуживчивый, капризный. Правда, в юности пережил он сильное чувство, но об этом позже.

Велько, как мне кажется, во многом Андрису противоположен. Увалень, тюфяк, флегматичный и добрый, но притом практичный и оборотистый. Славный помощник Рервику, организатор-администратор, умный советчик, тонкий ценитель и знаток кино. У Велько есть и жена и дети (не менее четырех), что, признаюсь, может доставить нам хлопоты, поскольку в дальнейшем повествовании это семейство придется учесть. Однако тяга смешать ряды холостых и бездетных героев фантастики велика.

Вот пока все, что я знаю о Велько и Андрисе. Конечно, это еще куклы, но в ожидании, что ты поправишь или дополнишь их портреты, я думаю — а вдруг они оживут сами? И с этой надеждой сажаю их в бревенчатый дом Андриса на высоком левом берегу Ветлуги. Они заканчивают монтаж последней ленты Рервика — скажем, о повадках двупастных козоцефалов. Друзья как раз собираются сделать небольшой перерыв, чтобы перекусить, когда раздается стук в дверь и одновременно начинается

глава первая

Будет явлена написанная книга, в которой все содержится: по ней будет судим мир.

Фома из Челано

— Открыто!— крикнул Рервик, ставя на стол толстый фаянсовый кувшин и берестяной туес.— Велько, режь хлеб. Да входите же, кто там!

На пороге шумно дышал краснолицый мужчина с выцветшими бровями. Он снял фуражку с синим околышем и утерся рукавом:

— Ты знаешь, Андрис, как я тебя люблю. Но подниматься к тебе дважды в день в такую жару — это, я тебе доложу...

— Испытание любви.

— Ног. И легких. И велосипеда.

— А что тебя понесло? Ведь был утром.

— Я честный человек. И если на пакете написано «срочно», я не жду. Уверен, твой корреспондент не знает, что ты поселился на этой круче.

— Ладно, садись. Не хочешь припасть к кормушке?

— А что в ней?— Почтальон скинул с плеча потертую на сгибах черную сумку.— Возьми, кстати, срочно все ж. — Он вытащил объемистый пакет в коричневой обертке. Сумка сплющилась и опала.

Ивлин Во — Иногда я чувствую, — сказала Джулия, — словно прошлое и будущее так теснят нас с обеих сторон, что для настоящего совершенно не остается места.

С подносом вошел Велько.

— А, Лааксо! Что принес?

— По весу — скрижаль Моисея.

— Ну подкрепись тогда. Бери сметану. Мед вот.

— Не, я лучше так.— Лааксо широкой ладонью зачерпнул из короба земляники с редкими черничинами и насыпал в блюдце со сметаной. Потом стал разминать ложкой.

— Ягоду на том берегу брали?— спросил Лааксо.

— Угу.— Велько намазал медом горбушку.— За орешником.

— И Марья туда ходит. А малины нет пока.

— Зеленая,— сказал Велько.— Через неделю поспеет. Если дожди не...

— Через неделю уеду я,— сказал Лааксо.— Новый почтальон у тебя будет, слышишь, Андрис?

— А ты куда?

— Думаю в Миронушки. Пройду курс палеоботаники и подамся к Вересницкому.

— О, так я к вам приеду. Давно хотел снять его висячие сады с доисторическими травками. Куда только ни летал, а тут под боком такое.

— Приезжай. Там такие хвощи и папоротники, ай-яй!

— И Марья с тобой?— спросил Рервик как бы между прочим, сосредоточенно катая мякиш.

— Кто ж ее знает.— Лааксо встал.— Спасибо. У нее, у Марьи, семь пятниц на неделе. Вчера говорила, хочет в Танжер вернуться, в институт — реконструктивная психология власти, вишь, ее волнует. Магия слов вождя и творение мифов.

— Я смотрю, у вас это семейное,— сказал Вуйчич.— Отец будет реконструировать древовидные маргаритки, а дочь — духовный облик Калигулы или Григория Бельского.

Андрис задумчиво жевал кусок овечьего сыра.

— Ну ладно,— Лааксо направился к двери,— я еще к вечернему клеву успею.

Рервик вышел на крыльцо вслед за почтальоном.

— Под гору легче.

— И не говори.— Лааксо взял велосипед за рога, поставил левую ногу на педаль.— Дождь будет. До завтра, Андрис.

— Марье привет.

Лааксо кивнул, оттолкнулся и, по-кавалерийски перекинув ногу, затрясся вниз, к дороге, бегущей у самой реки.

Рервик вернулся в дом, где Велько уже прицеливался ножницами к глянцевитому пакету.

— Режь, режь!

Захрустела скользкая бумага. Явилась тяжелая толстая книга в старой коже с медными уголками и еще один конверт поменьше. На нем изящным почерком значилось: «Андрису Рервику, режиссеру и путешественнику». В конверте — три голубоватых шершавых листка. И вот Андрис читает вслух, а Велько слушает, поглаживая бурую кожу переплета, замкнутого узорной скобой.

«Рервику — привет!

Уповая на великодушие ваше, вторгаюсь своею эпистолой в жилище художника, чем неминуемо вношу возмущение либо в стройное течение прихотливой мысли, либо в высокое созерцание натуры, либо в безыскусный ход домашних дел. Воистину безмерным будет мое отчаяние, коли не смогу снискать благосклонного к сим строкам внимания со стороны особы, высоко мною чтимой и множеством достоинств отмеченной. Но таково предначертание людям, щедро наделенным судьбою: кому много отпущено, с того многое взыщется, а во многой мудрости много печали. Кабы не крайняя нужда склонить вас к замысленному предприятию, в чем не таясь и открыто признаюсь, я счел бы непростительной дерзостью сей поступок, мною совершаемый. В созданных вами замечательных произведениях, уже давно ставших достоянием широкой общественности, бьется беспокойная мысль, живой пульс мироздания, ощущается страстная заинтересованность художника, его гражданская позиция. Бороздя бескрайние просторы вселенной, подвергая свою жизнь бесчисленным опасностям в неизведанных уголках галактики, вы повсюду выступаете носителем высоких идеалов землянизма, прогрессизма и кооперативного интерпланетаризма. Но, мосье Рервик, промойте уши и послушайте коллегу, который желает вам добра. Старичок, на кой ляд бороздить бескрайние п. и подвергать ж. бесчисленным о., если можно строгать шедевры безо всех этих хлопот?..»

— Каково?— прервал чтение Андрис.

— Напоминает ирландское рагу,— сказал Велько.— Немного бланманже, немного квашеной капусты...

— Попробуем следующее блюдо?

— Вперед.

Рервик взял второй лист.

«Откуда вырастает непреодолимая тяга к риску и авантюре, к розыску доселе невиданного, непонятого, неощущенного? Откуда эта устремленность прочь — от дома, от человека, от Земли? Признайтесь, Рервик, ваша сверкающая и лязгающая гениальность холодна и роскошна, как ледяной дворец, и столь же непригодна для обитания души. Вы драматизируете мертвое бытие, строите миры — то мрачные, то блистательные, обрушиваете их на зрителей, и те говорят: «Ах! Как музыкален и напряжен Рервик! Космичен и высок. Магичен и бездонен. Но каков хитрец — два часа показывал нам зуб реликтовой гуанской черепахи».

Остановитесь!

Посмотрите перед собой — вы увидите глаз своего друга...»

— Хм!— сказал Велько.

«Бросьте взгляд в окно. Не маячит ли еще спина велосипедиста?

Джордж Оруэлл

В прошлом врали с намерением или подсознательно, пропускали события через призму своих пристрастий или стремились установить истину, хорошо понимая, что при этом не обойтись без многочисленных ошибок... Всегда накапливалось достаточно фактов, не оспариваемых почти никем... Тоталитаризм уничтожает эту возможность согласия, основывающегося на том, что все люди принадлежат к одному и тому же биологическому виду... Если Вождь заявляет, что такого-то события «никогда не было», значит, его не было.

Представьте поле под низким небом. Очень долго шел дождь. Сейчас он прекратился. Ноги вязнут и чавкают. Но надо идти, потому что дождь прекратился. Пока лило, вы сидели с ним под навесом риги, он ел сало, хлеб, огурец и дал вам. Он курил и оставил вам две затяжки. Но теперь пора, потому что кончился дождь. Он забрасывает за спину перетянутый лямкой мешок и берет винтовку. Он доводит вас до гребня холма и ставит так, что голова и плечи оказываются на фоне неба. Потом пятится шагов пять, передергивает затвор.

Снимите это, Рервик.

А может быть, в просвете между перьями дыма мелькнет краснощекая рожа с вислыми усами, мощные руки подхватят исходящего криком младенца и возденут его высоко-высоко. Видишь пятна сажи на медном лбу, Андрис? Летящий нелепый комочек — туда, по дуге, в полыхающие недра костела, где корежится у распятия то, что было его матерью?

Видишь кресты от Капуи до Рима?

Плахи от Москвы до Нового Иерусалима?

Костры.

Виселицы.

Крематории. Крематории. Крематории...»

Тут, Андрей, я хочу прервать течение главы. Если автор послания вознамерился обозреть человеческую историю в том ее аспекте, который касается обстоятельств и способов массового забоя людьми друг друга, да еще задумал приступить к сему с древних времен, мы можем смело оставить Андриса и Велько за чтением и отвлечься, ибо времени у нас в избытке.

Интересно все же, что найдут они в этом кровавом перечне? Вполне заслужили право попасть туда хрестоматийные злодеи Навуходоносор и Нерон. А добродушные горожане Парижа, старательно резавшие своих компатриотов теплой августовской ночью? Их духовные родичи из баварских пивных недавнего прошлого? А загадочный кавказец и его команда, методично пытавшие и истреблявшие друзей и единомышленников, но не только их, а и миллионы оглушенных, одураченных, ошельмованных подданных? Благовоспитанные джентльмены, дарящие темным индийцам плоды цивилизации в форме чугунных ядер? Энергичные борцы за справедливость, взрывающие отели с премьер-министрами и автобусы с детьми? Священнослужители, поднимающие: а) осененные крестами хоругви на бой с собаками басурманами и нечестивыми евреями; б) зеленые знамена ислама на праведную войну с неверными (читай — христианами и евреями); в) звезду Давида на борьбу с не заключившими союза с Яхве (стало быть, христианами и мусульманами)? И прочая, и прочая, и прочая...

Но вдумайся, что за обвинительный акт человечеству читают Велько и Андрис? Кому дано судить? Я не говорю уже о существе чужом, но и человек, кем бы он ни был, судит по нормам своего времени, своей культуры. И те же кровавые страницы можно пробежать глазами современника этих событий. У него своя совесть, своя, стало быть, и оценка. Совесть первобытного человека — инстинкт. Это значит, он никогда не идет против совести. Первобытный человек вообще безгрешен. А часто ли грешат дикари? Да, дикарь может сварить суп из своего дедушки, разбить череп больному ребенку, вонзить копье в спину охотника из соседнего племени. Но разве это противно его совести? Стало быть, и здесь все в порядке. А если ты воспитан в святой вере, что раб (или христианин, или еврей, или мусульманин, или неверующий, или человек другой национальности, или вор, или колдун, или просто живущий в другой стране, местности, деревне) должен быть наказан — побит, искалечен, повешен, сожжен, четвертован, убит из обреза, прошит очередью из автомата Калашникова,— то разве грех выполнить свой долг? Давно ли — лет сто тому или двести — жизнь человека приобрела столь большую ценность в глазах самих же людей? И сразу же (надо так случиться!) кривая убийств, говоря языком статистики, резко пошла вверх. Почему?

Однако Андрис и Велько тем временем перешли к последней странице.

«...Собрать воедино сильных мира сего, власти предержащие, сеявшие смерть безнаказанно и бесприказно, и учинить над ними суд. Допустите теперь, что это совершено, следствие и судебные слушания закончены, преступники отбывают наказание, а дела сданы в архив. И вот вам в руки попадает случайный том этого дела. Только один раз! Цепляйтесь за удачу! Не упустите шанс!! Есть маза заделать нетленку!!!

Книга сия отдается Андрису Рервику в полное и безраздельное владение купно с благодарением великим за долготерпеливое внимание и пожеланиями пребывания в вековечном здравии.

(Подпись неразборчива)».

Теми же пожеланиями заканчиваю свое письмо и я.

Твой Владимир.

P. S. В твоем письме в перечне нехороших людей промелькнул некто Курский. Кто это?

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Ноябрь 8, Савельево

Дорогой друг!

Прежде чем впрячься в телегу, которой ты дал разгон, спешу сообщить тебе, что в благословенных сих местах вольно дышится, славно гуляется, крепко спится. Нечаянное для ноября просветление природы — «весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера». А тут еще Юрий Иванович (в обиходе — Ереваныч) заколол кабанчика. Собрали

Карл Маркс ...Я ограничиваюсь критическим расчленением настоящего, а не сочиняю рецептов... для кухни будущего.

на стол прямо за домом, над Волгой. Напомню тебе: это не та Волга-матушка, по которой ходят трехпалубные пароходы и о которой поют привольным басом. Чистая, быстрая, шагов сто пятьдесят в ширину — сродни Вазузе, что впадает в нее чуть выше по течению, — она вьется по безлюдью. Глянешь с высокого берега на ту сторону — леса, леса. И дышится славно, всей грудью. В общем, хорошо посидели. И вспомнил я молочно-растительную трапезу Андриса и Велько в избе над Ветлугой. И устыдился.

Не будет ли просвещенное потомство смотреть на нас, поедающих коров и свиней, как мы смотрим на каннибалов? Мне приятна мысль, что уважение к различным формам жизни вкупе с исчезновением нужды заставит землян отказаться от абсурдного раздвоения сознания. Ах, как заливается соловей! Бах — и перепелка в ягдташе. Всеобщее возмущение: хулиган свернул голову меньшому брату — лебедю Петьке. А мой сосед, тот же Ереваныч, человек исключительных качеств, на днях оттяпал башку своему гусю, специально для того откормленному. И сегодня вот — зарезал поросенка Митьку. А чем поросенок Митька хуже лебедя Петьки? Мы с тобой тем не менее все это жрем, но если такого кабанчика, или кролика, или еще какую живность понадобится прикончить, отвернем морду — фу, какие жестокости. Дочка вон уж тараканов не давит — особенно маленьких жалеет, детки ведь! И на одной газетной полосе умилительное фото теленка дается рядом с аршинным восторженным: Новый! Весьма! Автоматизированный!! Мясокомбинат!!! Фабрика по убийству таких вот телят. А когда фабрика, когда убийство индустриально — о, тогда легче. Конвейер несовместим с нравственными сомнениями.

Конечно, в традиционном фантастическом решении пришлось бы кормить народ синтетическим ростбифом или искусственной куриной гузкой, но не хочется. Потому я вижу этих славных ребят вегетарианцами — не по необходимости, не по принуждению, не по нравственным установлениям даже, — просто они не будут есть мяса столь же естественно, как мы его едим. Или — как мы не едим асбестовой крошки. Им просто это в голову не приходит.

Правда, помимо стороны нравственной, есть и научная. Широко известно, что человеку надлежит быть здоровым и жить долго. И коли без куриной гузки и телячьего ребрышка соки в нашем организме начнут обращаться не так, как им следует, да еще прекратят это обращение раньше, чем ежели с ребрышком, то хотел бы я посмотреть на того начальника, которому секретарь даст в руку перо и скажет:

— Тут вот подпишите документик.

А начальник берет перышко и спрашивает:

— Что это я подписываю?

— Да так, — отвечает секретарь, — указец один. Некоторые нововведения в части питания населения.

— Что за нововведения такие?

— С сего числа прекратить употребление в пищу мяса убитых животных.

— Так, так, — говорит начальник и пером прицеливается. — Прекратить... убитых... Так что ж их теперь, живьем, что ли, есть? Ну, положим, это цыпленка, или еще какую птицу, или там кролика — это мы сдюжим. А свинья, к примеру, или тем паче корова — разве ж она даст? Нет, братец, не подготовлен указец. Не буду подписывать.

— Да нет, — хлопочет секретарь, — не в том смысле, что убитых нельзя, а живых можно. А в том, чтобы вообще, значит, без него, без мяса.

— Без мяса? Да ты что! Мне ж доктор велел — правда, постное, но каждый день. У тебя виза органов здравоохранения есть?

— Визы нет.

— Ну и иди со своим указом.

Однако не все так безнадежно и с медицинской точки зрения. Вполне почтенный геронтолог из Калифорнийского университета порадовал меня недавно результатами своих тридцатилетних изысканий: он кормил впроголодь крыс (мяса — ни-ни), и они весело и энергично прожили в два раза дольше, чем их досыта евшие родичи. Именно весело, или, научно выражаясь, сохраняя поведенческие элементы молодых особей.

Лелея память об этих крысах, я возвращаюсь в дом Андриса — продолжить повествование. Но две занозы мешают мне. Первая: что, если балансирующий на гребне научно-технической революции читатель возмутится фигурой почтальона Лааксо (почему, кстати, Лааксо, почему, скажем, не Шибанов? Почему не Спирос Луис?). Вдруг неведомо ему, читателю, что к тому далекому времени люди прочно позабудут обычай связываться друг с другом посредством автоматической электронной почты с дисплеями, роботами-доставщиками, радиопередатчиками в наручных часах и прочей дребеденью. По улицам будут ходить живые почтальоны в синих форменных фуражках и стучать в двери. Не исключено, что каждые двести — триста лет может появляться умник, облеченный властью, который сочтет, что письмоносец из плоти и крови есть преступное расточительство творческого потенциала человечества. «Упразднить!» — скажет такой умник. И почтальонов засадят писать романы или программы для компьютеров. Будем поэтому считать, что наши герои действуют в благоприятный для почтальонов период. Тем более Лааксо, он же Шибанов, он же Спирос Луис, в этой должности вроде бы временно. Раньше, видимо, был хроноскопистом или ксеноэтнографом, а теперь вот хочет идти в палеоботаники. Так что будем считать это дело улаженным.

Вторая заноза связана с велосипедом. Напрашивается крохотное велоотступление. Удивительное создание — велосипед. Сродни самолету. С похожими судьбами по сю пору, но с различными —

Натан Ефимович ПЕРЕЛЬМАН (1906), профессор Ленинградской консерватории, пианист. Его книга «В классе рояля. Короткие рассуждения» выдержала четыре издания; готовится пятое.

Отредактированный романтик — остриженный Самсон.

Посредственное вынуждает рассуждать, талантливое — умолкнуть.

Печатается по изданию. 1986.

будущем. Они начинали в одно время — воздушный змей с мотором и разноколесный уродец. Понемногу оба менялись, но вполне еще ладили в послевоенные дачные дни. Везешь кого-нибудь на раме, виляя рулем. Сверху гул. Ты спускаешь одну ногу на землю. Кто-нибудь похожий на белобрысую тонконогую Марью Лааксо слезает и стоит рядом. И мы смотрим в небо, следя за далеким трескучим насекомым. Оно летит неторопливо — из-за великости расстояния — и долго показывает серое брюшко. Это позже самолеты превратятся в холодные ревущие стрелы, уже ненаблюдаемые с велосипедного седла. А потом вымрут — пропавшее звено между воздушным змеем и ракетой. Змей останется примерять маски — то дельтаплана, то птеролета. Ракеты разрежут на железные бочки и будут держать в них солидол и капусту. А велосипед, сменив нудный бег и жеманную аэробику, спасет человечество от мышечной вялости. На нем будут ездить по-прежнему, и не только почтальоны. Видишь, Андрис уже остановился, Марья соскочила с рамы, и они, запрокинув головы, что-то напряженно ищут в опустевшем высоком небе. Впрочем, это было вчера утром. Сейчас сумерки. Лааксо садится в лодку, оснащенный для вечерней рыбалки. Марья отправляется гулять с рыжим английским кокером по кличке Никси. А Велько и Андрис открывают тяжелый бурый переплет с позеленевшими завитушками. Так начинается

глава вторая

Нет, решительно не могу приступить к дальнейшему повествованию, не открыв тебе прежде озабоченности, одолевшей меня при мысли о том, каково нашим героям-вегетарианцам читать эти мясоедные ужасы. У них, поди, в связи со всеобщим благоденствием и по рекомендации нашего прославленного кукольника нежные души с детства защищены от всего страшного. А что есть страшнее смерти, смерти насильственной? Я думаю, в тамошних изданиях волку не вспарывают брюхо, а если и совершают такую операцию для извлечения бабушки и внучки, то непременно под наркозом с последующим зашиванием и залечиванием. Со школьниками немало хлопот. Их ведь нужно питать классиками, иначе прервется культурный процесс. Ну, скажем, с Тургеневым все в порядке. Выкинуть абзац, где он сообщает, как весело было ему смотреть на подстреленных кургузых уток, тяжко шлепавшихся об воду,— и практически все. Но сколько возни с Гоголем! Куда девать запорожцев, молодцевато побросавших в Днепр все еврейское население Сечи? Евреи утонули, смешно дрыгая ногами, а веселые хлопцы отправились гулять по Польше, жечь алтари с прильнувшими к ним светлолицыми паненками, поднимать на копья младенцев. Все эти безобразия, искажающие героический образ Тараса, придется убрать...

Итак, Андрис и Велько сидят за книгой, и могучее воображение режиссера начинает работать.

Кто мог бы, даже вольными словами,
Поведать, сколько б он ни повторял,
Всю кровь и раны, виденные нами?

Данте

— Ты представляешь этот зал — тесный и безграничный одновременно?— сказал Андрис, подняв глаза от страницы.— Толкутся судейские — секретари, адвокаты, присяжные, прокуроры, стражники, судьи, повытчики, барристеры, стряпчие, атторнеи... Может быть, они поют?

— Секретаришко,— подхватывает Велько, — тоненько выводит, со слово-ер-сами. Красавец адвокат, борода холеная,— бархатистым баритоном...

— А вот прокурор, похожий на сову, с тайной печалью во взоре, унылым речитативом перечисляет приобщенные к делу вещдоки: топоры, плахи, виселицы, винтовки, наганы, яды, доносы...

Костры.

Кресты.

Крематории.

В соседнем помещении, тоже немалом, подсудимые толпятся у бака с водой, пьют из прикованной цепью кружки, вытирая усы, сидят на полу и лавках (кто побойчее, ухватил место), выпрашивают покурить у конвоира и галдят, галдят...

— Вы здесь не стояли,— говорит Ирод Великий Наполеону Бонапарту.— И вообще, отдайте кружку.

Наполеон рассеянно отходит. Он задумчив. Он шлифует в уме защитительную речь. Составляет мысленно список свидетелей. Нет той жертвы, которую он не принес бы Франции, ее свободе, миру и процветанию. Разве не французский народ благословил его на кровавый и славный путь? Кто был в той толпе, что ревела у стен Елисейского дворца душной июньской ночью пятнадцатого года: «Не нужно отречения! Да здравствует император!» Лишь одна подробность, засевшая в фантастической памяти Наполеона, не давала ему покоя, когда он брезгливо протягивал оловянную кружку толстому, дурно пахнущему царьку. Те четыре тысячи турок, сдавшихся в Яффе. Им обещали жизнь, и они сложили оружие. Три дня сидели пленные в сараях. На четвертый он велел их расстрелять. Все четыре тысячи. Турок выводили на берег партиями по сто. И так сорок раз. Два офицера, командовавшие расстрелом, бились в истерике.

Наполеон снял шляпу, отер пот. Ведь будет очная ставка. Надо посоветоваться с Цезарем, как себя держать. Найти его. Один из немногих приличных людей в этом сборище, Цезарь. Император снова надел шляпу, заложил руку за борт гвардейского егерского мундира и решительно зашагал на поиски учителя, едва не боднув верзилу в

Не лакомьтесь нюансами — это приводит к ожирению вкуса.

Негативный термин «запаздывающая педаль» плох и неточен. Педаль должна быть своевременной.

Глупость исполнителя нигде так не очевидна, как в паузе.

Учим мы умеренности, а наслаждаемся чрезмерностями.

старомодной треуголке и пыльных сапогах, который грыз ногти, топорщил кошачьи усы и сверкал белками.

Усатый верзила, видимо, тоже был озабочен воспоминанием, крохотным пятнышком, вкравшимся в блистательную череду славных дел. Может быть, вспомнил он, что проведением благотворных для государства реформ истребил пятую часть своих подданных? Нет, то было во славу отечества. Другая мысль смущала. В Трубецком бастионе Петропавловской крепости прочли царевичу приговор — повинен смерти. Наутро, уже приговоренного, велел он царевича пытать, дабы всю истину допреж смерти открыл. И только после пыток послал к сыну четверых близких людей — задушить. «Прими удел свой, яко же подобает мужу царской крови»,— говорили они. Но не слушал царевич, а плакал.

Петр шляпу снимать не стал — покрепче корсиканца. Но посоветоваться тоже был не прочь. «Кто тут из нашего брата, из царей, своих детей убивал?» — напряг он память. Взгляд натолкнулся на группку незатейливо, почти одинаково одетых людей, сбившихся в кучу, поймал на мгновение глаза одного, второго — и метнулся в сторону. Такая жуткая мертвечина стыла за стеклами очков и пенсне, прикрывавших эти уныло схожие одутловато-усатые лица, что венценосный сыноубийца содрогнулся, свернул в сторону и пошел искать репинского старика с горящим взором.

А мертвые взгляды из-за стекол в надежде и страхе стремились к одной точке. Там, один среди базара и гомона, стоял он — их вожак, их пахан, их отец, их кумир. Сейчас оживет его хрупкая сутуловатая фигура с неловко висящей левой рукой, мудрая улыбка осветит бесстрастное лицо, и остро отточенный красный карандаш, зажатый в красивых, немужских пальцах, наложит окончательную резолюцию на это нелепое судилище: «Запретить. Виновных — наказать».

— Стоп!— сказал Велько.— Их череда бесконечна. Но разве не наказаны они уже — смертью и проклятием потомков? Принужден был заколоться Нерон. Зарезали Калигулу. Рак не то мышьяк съел Наполеона. Отравился Николай Первый. Сделал свое дело Брут. Часто ли тираны умирали в преклонном возрасте «при нотариусе и враче»?

— Были, были такие. Возьми хотя бы этого пахана с красным карандашом. Самый крупный в истории изувер, а, говорят, умер стариком и вполне самостоятельно.

— Пусть так, а терзания совести? Ну хоть раз?

— О чем ты, Велько!

— Да и чем их накажешь, кроме самого примитивного ада?

— Не знаю, какой ад ты называешь примитивным. Единственную мне знакомую разновидность я полагаю совершенно неудовлетворительной. Категорически заявляю: мы не можем полагаться на этот институт — нет в нем справедливости. Суди сам.— Андрис снял с этажерки потрепанный том и заговорил с жаром, временами сверяясь с книгой:— Круг первый. Никаких пыток. Умеренный комфорт и какое-никакое озеленение. Однако же атмосфера мрака и безысходности. Снизу — вопли истязаемых, зловонные испарения. Кто же населяет сию юдоль безбольной скорби? Да цвет человечества! Мудрецы — Аристотель и Демокрит, Диоген и Анаксагор. Поэты — Гомер и Гораций, Овидий и Орфей. Целители — Гален и Гиппократ. И множество других достойнейших людей, лишь тем и виноватых, что жили до Христа. Что правда, то правда, он, Иисус, оттуда кое-кого выручил. Вывел, кажется, Ноя, Авраама с родственниками. Но эта полумера лишь усугубляет несправедливость по отношению к широким массам добродетельных язычников.

Покинем этот круг. Нас ждет второй, где адский ветер гонит, и корежит, и тяжко мучит душ несчастных рой, стенающих во мраке. Так за что же их бросили сюда? В чем их вина? Они любили. Милостивый Боже! Зов плоти — грех? Возьми их, Сатана теперь твои Паоло и Франческа. Карай их блуд! Но как их страсть сильна, как полны очи трепетного блеска...

Каких же сладострастников поместил туда Данте? Семирамиду и Клеопатру, Париса и — Бог весть за что — безупречного рыцаря Тристана. Живи поэт позже, он отправил бы в круг второй Каренину с Вронским, Эмму с Леоном, да и Федора Иванович Тютчева с Денисьевой не пощадил бы.

Быть может, ниже, в третьем круге, найдем мы справедливость? Куда! Кто там гниет под вечным дождем, тяжким градом, оскальзывается на жидком пелене гноя? Насильники и убийцы? Грабители растлители малолетних? А вот и нет. Там, в ледяной грязи, ворочаются... любители хорошо поесть. Достойнейшие мужи могли оказаться среди них: Гаргантюа и Портос, Ламме Гудзак и Афанасий Иванович Товстогуб, Петр Петрович Петух и Евгений Дамианидис. А ты, Велько, ты не украсил бы эту компанию? О, я знаю множество людей, наделенных редкими качествами, которые после хорошей лыжной прогулки в ожидании электрички извлекают из рюкзака термос с кофе и промасленный пакет набитый крупными, ладными бутербродами с ветчиной. И модус операнди этих людей в отношении означенных продуктов напоминает действия льва настигшего антилопу после трех дней погони. Я тут и вижу симпатичного Питера (Пьера, Педро, Пьеро, Петю), безмятежно поедающего пудинг (луковый суп, жареную форель, пиццу, горшок щей) спокойного за свою судьбу, меж тем как судьба подбирается к нему с гнусными намерениями. «У меня свои виды на тебя, Питер,— говорит судьба.— Ты, Пьер, обжора. Чревоугодник. Раб желудка, вот ты кто, Петруччо. Нельзя без омерзения смотреть

Невыразительность
как одно из средств
выразительности!

Иногда руки
хотят парить в воздухе,
но... печальная необходимость
извлекать звук
вынуждает их опускаться
на грешную клавиатуру.

Не надо подсвечивать музыку,
она не фонтан.

В спорах рождается
не только истина,
но и враждебность.
Ограничимся первым.

как ты жрешь эти пельмени. А потому мокнуть тебе в зловонной жиже до Страшного суда»*.

Поехали дальше. Круг четвертый. Скряги и расточители сшибаются стенка на стенку. Мне почему-то жаль и тех и других. Жизнь скупца и так безрадостна: отказываешь себе во всем, куска недоедаешь — и, здрасьте, получай в морду. А те, что с широтою и блеском раздают свое добро, вообще мне симпатичны**. И вдруг — на тебе, пожалуйте в четвертый круг на вечное поселение, со скрягами драться.

Проблеск справедливого воздаяния усматриваю я в круге пятом, где вязнут в болоте гневные. Действительно, согнать всех хамов в одно место, где каждый может постоять за себя,— удачная мысль. Никто не ограничивает их свирепости. Рви друг друга в клочья ко всеобщему удовольствию. Но дальше — зрелище, ранящее сердце. В огненных могилах шестого круга пылают еретики и атеисты. Среди них Эпикур. А скольким предстоит туда попасть!

Богатейшая коллекция мучеников собрана в круге седьмом. Чтобы привести все это в относительный порядок, пришлось расселить постояльцев по разным зонам. В первой мы наконец находим коекого из наших подсудимых. Кто там варится в кровавом кипятке? Так это ж Александр Македонский собственной персоной. Давно пора. Дионисий Сиракузский, злобный тиран. Поделом. Бич Божий Аттила, опустошитель Европы,— туда его. Секст Тарквиний, что вырезал целый город и довел до самоубийства несчастную Лукрецию. В тот же красный бульон швырнул бы Данте многие сотни мерзавцев, в коронах и без, с большим усердием вершивших насилие над ближним. А рядом, в соседней зоне, томятся превращенные в сухие деревья насильники над собою — самоубийцы. Быть может, та же Лукреция. Увы! Тяготы жизни, потеря любимых, угрызения совести толкают наименее толстокожих из рода человеческого к страшному решению в отчаянной надежде на покой. Сострадания заслуживают они, не кары! Эх, Алигьери... В третьей, последней зоне — насильники над Божеством. Вид наказания — экспозиция обнаженного грешника огненному дождю. За богохульство! Не мелочно ли со стороны Всеблагого, Всемогущего, Всевсякого?

Чем глубже мы спускаемся, тем тяжелее, по мысли Данте, грех. В круге восьмом казнятся обманщики — что же, обман гнуснее насилия? Здравый смысл восстает. Обманщики распиханы по рвам и траншеям. Обольстителей и сводников бичуют бесы. Туда каким-то чудом попал Ясон, который, как показало углубленное изучение его жизненного пути, до встречи с Медеей обольстил лемносскую царицу Гипсипилу*. Мелькают щели с льстецами, влипшими в зловонный кал, торговцами церковными должностями, чьи пятки прижигают черти, прорицателями — скрученными и пораженными немотой. Наказали последних остроумно: повернули лицом к собственной спине и лишили речи. Дескать, непостижимо будущее. Долой прогноз. Фантасты, знайте, что вас ждет. А вот изо рва ползет запах соснового бора в знойный июльский полдень. То мздоимцы плавают в кипящей смоле. В свинцовых мантиях плетутся лицемеры, топча распятого тремя колами главного из них — Каиафу. Не постигаю, почему причтен сей клирик к лицемерам. Не искренен ли он был, утверждая, что смерть Иисуса убережет от гнева римлян весь народ иудейский? Однако — дальше, дальше, дальше. Вот Одиссей и Диомед, заключенные в огненные оболочки, — приговор военной хитрости. В толпе клеветников, которых треплет лихорадка, раздувает водянка, мучит чесотка, мелькнула обезумевшая от страсти жена Потифара, возведшая напраслину на Иосифа и тем, по капризному решению судьбы, обеспечившая его взлет к славе. В искромсанном теле с зияющим нутром — казнь для зачинщиков раздора — я узнаю Магомета. И покидаю этот круг...

Здесь, Владимир, я вынужден остановить Андриса. На сей раз просто невозможно ограничиться сноской. Рервик так спокойно прошел мимо терзаемого в аду Магомета, а ведь это ярчайшая иллюстрация непригодности Дантовой преисподней для восстановления справедливости. Решительно не могу молчать. И посвящаю Магомету нижеследующее

отступление

Юноша, смуглый и тощий, редко появлялся на главной площади Мекки у стен кубического храма. Да и когда ему было глазеть на неиссякаемый ручей

---

* Тут Андрис, видимо от волнения, впал в анахронизм. Ну, положим, электричкой он мог назвать какой-нибудь электровагон на магнитной подвеске, снующий туда-сюда по́ вакуумному тоннелю. Но ветчина, пельмени — мыслимо ли такое непотребство в просвещенный и, как мы выяснили в предыдущей главе, вегетарианский век, славный умеренностью и предпочтительным употреблением в пищу целебных морковных котлеток и чая из чабреца и зверобоя?

** И мне тоже. А ты, Владимир, разве не испытывал желания послать кому-нибудь в дар караван верблюдов, груженных слоновой костью и благовониями? Конечно, не стоит валить в кучу купца, бьющего зеркала в «Яре», старателя в парчовых портянках и нашего с тобой приятеля Мишу, безотказного до такой степени, что, беря у него в долг очередную пятерку, я испытываю стыд охотника, который стреляет по сидящей утке.

* Андрису, мне кажется, не хватает тут личной заинтересованности. Его речь становится чересчур холодной, академичной. В самом деле, что ему Ясон? Что нам Ясон? Что нам Дон Жуан и Казанова, которых осудили бы по той же статье? Я холоден к этим виртуозам любви, хотя и признаю, что кнутобоище не для них. Но при мысли о том же Мише, чья доброта и безотказность распространяется и на женщин, я кричу: «Нет! Долой этот абсурдный закон, предписывающий добряку и красавцу терпеть удары нагаек на своей атлетической спине».

Не называйте новое искажение старого — новаторством.

Идея, как и человек, дважды родиться не может.

Боясь заблудиться в поисках новых истин, стараюсь не выпускать из поля зрения прописные.

Классу, в котором постоянно сияет «солнце мудрости» учителя, угрожает засуха. Класс нуждается иногда в благодатном дождике глупостей. Мудро поступит мудрость, если вовремя удовлетворит эту потребность.

паломников к Черному камню? Овцы не станут ждать, пока пастух наглядится на цветастую и пахучую мекканскую толпу. Но когда толкался он у колодцев и постоялых дворов среди торговцев изюмом из оазиса Таиф, серебряными слитками из северных рудников, йеменскими благовониями и всеисцеляющим ревенем, слоновой костью и рабами из Африки, индийскими пряностями, китайским шелком, византийским бархатом, когда стоял он в этой круговерти, оглушаемый ревом ослов и верблюдов, смутная тревога поселялась в его душе. «Отец,— попросил он как-то Абу Талиба, старейшину рода,— ведь и ты посылаешь караваны, я знаю. Разве не возил Омар кож в Палестину? А большой табун не погнал ли Асакир византийскому императору? Пусти и меня с караваном». — «Куда тебе, бедняга,— качал головой старик.— Или забыл ты о своем недуге? Кто поможет тебе в пути, если в полную луну постигнет тебя приступ и ты станешь кататься по земле, есть песок и раздирать одежду?» И немощный мальчик возвращался к своим баранам в буквальном смысле слова и снова брал в руки пастушеский посох с крючкообразно загнутым верхним концом.

Как проклинал он болезнь, делавшую его непригодным ни для какого ремесла, кроме пастушества! Однако время шло. Вольная жизнь на пастбищах и простая пища сделали свое дело. Приступы повторялись все реже, пока не прекратились вовсе. Но лишь в двадцать с лишним лет удалось Мухаммеду изменить свою судьбу.

К тому времени случалось ему ходить с караваном и в Сирию и в Йемен — пока простым погонщиком. Добрая слава, которую заслужил расторопный и честный Мухаммед, дошла до Хадиджи, богатой вдовы из Мекки. Почтенная женщина сорока с лишним лет взяла его в услужение. Теперь он водил караваны своей хозяйки. Но когда пестрота мира стала ему доступна, Мухаммед потерял к ней интерес. Все больше времени проводил он в уединении. Забытые приступы стали возвращаться к нему. Но теперь он не бился в припадках, не катался по земле. Мухаммеду являлись видения и звуки иного мира, и он боялся признаться в этом даже Абу Талибу, который всегда был добр к нему, даже Хадидже, которая его полюбила. А вскоре после их свадьбы он поделился с Хадиджей страшным для суеверного араба подозрением: «Я вижу свет, я слышу шум и лязг, а иногда голоса. Я, наверно, одержим духами. Мне страшно, Хадиджа». И женщина, в чувствах которой смешались нежность жены и самоотречение матери, утешала его как могла. Проходили дни. И снова, бледный и худой, бродил Мухаммед вокруг холма близ Мекки, взывая о помощи к богам. Не раз взбирался он на вершину и подходил к обрыву. Здесь вспоминал он мерную речь монаха-несторианца о Боге-отце, чей голос прозвучал когда-то в сердце Исы, сына Мариам. Голос, возвещавший о будущем небесном царстве, но и о предваряющем это царство Страшном суде. И вот однажды...

У меня нет сомнения, что в чистом поэтическом восторге Мухаммед действительно услышал этот голос. Через пятьсот лет другой поэт и мудрец скажет: «Если слова в сновидении ясны и отчетливы, а говорящего не видно, значит, произносит их Бог». Правда, Мухаммед не посмел принять эти звуки за голос самого Бога. То был, как сказано, посредник — Джибрил. В смятенных и полных страсти стихах сообщает Мухаммед соотечественникам первые наставления единого Бога. Он захлебывается, спешит. Не договаривает фраз. И мощный напор откровений, ставших впоследствии первыми сурами Корана, сумасшедшая фантазия, дробный ритмический узор — не мыслей, скорее звуков — обрушивается на слушателей и... разбивается о враждебность шейхов, холодный здравый смысл купцов, суровый герметизм иудеев. А Мухаммед твердит, что послан на землю возродить веру Ибрагима, оскорбленную идолопоклонством бедуинов, обожествлением Исы христианами, попранием священных заветов евреями. Стихи возникают в его мозгу уже готовыми, подобно тому как Кольриджу явились строки Кубла Хана. Немногочисленные друзья боятся за Мухаммеда. Их тревожит его состояние крайнего телесного изнеможения. А другие... Когда он с яростью осуждает мерзости язычества — в том числе обычай закапывать живыми новорожденных девочек, когда объявляет, что нет божества, кроме единого Бога, когда рассказывает древние легенды о пророках, его встречают насмешками и презрением. «Он слышал эти байки от христианина, что торгует браслетами у главного фонтана»,— говорили о Мухаммеде. «Сотвори чудо!» — ерничали продавцы шербета и банщики. Женщины показывали на него пальцем и шептались: «С такими деньгами Хадиджа могла найти себе почтенного человека, пусть и постарше этого сумасшедшего». Лишь верная Хадиджа была с ним. И Голос, певший в нем: «Ни светлым утром, ни темной порою твой Бог не покинет тебя, Мухаммед. Знай, есть жизнь за могильным порогом, и будет она лучше нынешней твоей жизни. Ты получишь щедрое воздаяние. Разве Бог не нашел тебя сиротой — и приютил? Не нашел тебя блуждающим — и направил? Да не обидишь ты сироту, не отвернешься от нищего».

Не то же ли говорил галилеянин? И не был ли он так же осмеян в родном Назарете? Пророк не имеет чести в своем отечестве — про себя он сказал это, и про Мухаммеда. Нищие и рабы окружали Иисуса. Рабы и нищие идут за Мухаммедом. Почтенные жители изгнали Иисуса из города, где он родился. И он ушел в Капернаум. Мекканская знать вынуждает Мухаммеда бежать в Медину.

Но ушел он не прежде, чем позаботился о безопасности своих немногочисленных последователей. И не прежде, чем потерял двух самых близких людей — Хадиджу и Абу Талиба, умерших почти в

Оберегайте навыки от перерождения в привычки.

Не следует называть эпилептические припадки темпераментом.

Фантазия — болезнь инфекционная; если вас окружают только здоровые, не беспокойтесь, она вас минует.

«Покорно мне воображенье...» — однажды твердо сказала А. А. Ахматова. Но я почему-то уверен, что эту победу над воображением поэтесса одержала в жесточайшей схватке с ним.

один день. И не прежде, чем поразил паломников своей последней в Мекке проповедью: «Знайте, о вы, поклоняющиеся камням, что грядет время, когда солнце отвратит свой лик, когда звезды погаснут, когда волосы детей побелеют от горя, а души подобно рою саранчи покинут могилы, когда заживо погребенная девочка услышит Его вопрос: за какое преступление ее умертвили? И будет открыта книга, и каждая душа узнает, что ей воздастся. И услышится голос Бога, вопрошающего ад: «Полон ли ты?» И ад ответит Богу: «Еще, дай мне еще!»

Из Мекки ушел поэт, в Медину пришел законодатель и воин, мудрец и политик. Но ведь и Иисус, вернувшись в Галилею, сказал: «Царство небесное силою берется». И хотя жар и гармония покинули новые суры, обернувшиеся напыщенными проповедями или скучными предписаниями учителя и вождя, Мухаммед сохранил врожденное чувство справедливости и терпимость. В его мединской общине вместе с последователями новой веры живут язычники и евреи. Кончалась история отдельных арабских родов, начиналась история единого народа.

А далее, увы, шло привычное перерождение человека, получившего власть и уверовавшего в свою непогрешимость. Кто знает, каким стал бы Иисус, не прервись его путь на Лысой горе. Ибо сказал: не мир пришел я принести, но меч.

Мухаммед забыл собственную заповедь — насилие и вера несовместны. Он проливает кровь, стремясь утвердить свою власть в Мекке. Он, не бравший второй жены, пока была жива Хадиджа, отбирает жену у приемного сына. Он изгоняет евреев из Медины, грабит караваны. И Бог его становится мрачнее и мстительнее — то был скорее суровый и жестокий Бог Иова, чем Бог-отец, дающий высшее утешение и убежище. Тут расходятся дороги Мухаммеда и Иисуса. И все же...

Мухаммед искоренил пьянство и азартные игры — два порока, которым арабы-язычники предавались с особой страстью.

Мухаммед проклял обычай приносить в жертву младенцев и саму память об этом сделал отвратительной мусульманину. Говорят, Омар, сподвижник Мухаммеда, суровый и яростный защитник веры, пролил в своей жизни лишь одну слезу. Он вспомнил, как в темные прежние дни положил в могилу свою дочь, и рука ребенка смахнула песок с его черной жесткой бороды.

Мухаммед, не успев отменить рабство и многоженство, ввел в обиход немало законов в защиту рабов и женщин. Он упразднил ту легкость, с которой мужчина мог выгнать жену из дома, повинуясь любой прихоти. Он запретил обращать в рабов мусульман и повелел считать свободным ребенка, рожденного рабыней от ее господина.

Чем сетовать, что Мухаммед не сделал большего, следует удивляться тому, как много им сделано. Он вывел свой народ из невежества, сплотил под знаменем ислама и дал ему место в истории цивилизации. А слова, которые вырвались тринадцать веков назад из его мятежной души и были встречены насмешками и бранью, изучают мудрецы в Берлине и Оксфорде — городах, которых не существовало в его время, в Мекке, где он родился, в Медине, где он умер, в Дамаске и Иерусалиме, куда ходил он с караванами,— во всем мире, вместе со словами другого пророка, услыхавшего голос Бога.

Я вижу их рядом: Мухаммеда, сына Амины и Абдаллаха, и Иисуса, сына Марии и Иосифа. Они стоят на холме — близ Мекки или у Мертвого моря, — смотрят перед собой. Видят ли они горящих альбигойцев, варфоломеевскую резню, гибель Сасанидской империи, крушение королевства вестготов, залитую кровью Византию, крестоносных мучителей? Если видят, то, как мне кажется, берутся за руки и вместе спускаются в тот самый восьмой круг ада, из которого Андрис собирается выходить.

— Теперь,— витийствовал Рервик,— мы в последнем круге, где собраны предатели всякого разбора. Нельзя не согласиться, что предательство являет собой омерзительнейшую сферу в богатой гадостями практике человеческих отношений. Обмануть доверившегося — за это положено вмерзание в лед по шею. Но сколь различными оказываются люди, объединенные таким приговором. Возьмем хотя бы четверых, получивших известность в истории. Ганелон, погубивший Роланда,— с ним все ясно. Типичный предатель военного типа, одна из гнуснейших разновидностей. Не принуждаемый к предательству ни пытками, ни угрозами, ведомый одною злобой и завистью. Там ему, в ледяной глыбе, и место. А вот три самых, по мнению правоверного католика и почитателя власти, страшных грешника, терзаемых Люцифером: Брут, Кассий, Иуда. Тут мы вступаем в сложные отношения с историей. Брут и Кассий — убийцы? Да. В позднейшей терминологии — террористы? Пожалуй. Но и тираноборцы. Республиканцы. Как тут быть с Якушкиным, который, «казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал»? С Каховским, застрелившим генерала Милорадовича? Каракозовым? Желябовым? Перовской?

С Иудой еще сложнее. Беря Иуду как символ предательства, мы смело и холодно отворачиваемся от него. Но символ не страдает в преисподней. Там его муки просто обозначены. Возьмем Иуду-человека. Молодого фанатичного парня из маленького галилейского городка, глубоко верующего в загробное воздаяние каждому по делам его. И открывающего Иисусу двери в вечное блаженство после короткого страдания, а себя обрекающего на вечные же страшные муки. Абсурдно полагать, что предание Христа Каиафе объясняется жадностью Иуды. Да он мог просто уйти с общинной кассой, положив в карман куда больше тридцати сребреников. Вот и приходится задуматься, кто, собственно,

---

Полезно иногда порыться в старом хламе своих ошибок. Нет-нет, да и наткнешься на такую, которую время успело возвести в ранг счастливой находки.

Музыка, как и поэзия, бывает неотразима в своей зашифрованности. Не ломайте голову! Наслаждайтесь непониманием!

Несмотря на то что пианист, играя, часто и высоко вздымал брови, музыка продолжала оставаться все на том же уровне.

Музыке нужна арифметика в качестве *неточной* науки.

искупает вину рода человеческого — учитель или ученик?*

Андрис умолк и втиснул книгу в щель на этажерке.

— Так что мы можем сказать после этой прогулки по аду? — сказал он после паузы.— Какие сделать для себя полезные выводы? Какой извлечь, как говорится, урок? А можем мы сказать, что этому учреждению не хватает справедливости. И мы не имеем права доверить ему воспитательные функции, а вынуждены принимать свои меры.

Андрис снова замолчал. Велько облегченно вздохнул.

И я кладу перо и вздыхаю, радуясь окончанию этой затянувшейся речи о преисподней, этой главы, да и всего письма.

Твой Андрей.

P. S. Отвечаю на твой вопрос. Курский — какой-то чин то ли НКВД, то ли министерства юстиции 30-х годов. Идеолог системы устрашения и пыток для получения нужных показаний подследственных. По непроверенным данным, Курскому принадлежит идея транслировать в камеру заключенного запись стонов и криков его истязаемых близких — похвальное понимание роли научно-технического прогресса в деле защиты революционных завоеваний. Подробнее о Курском можно прочесть в книге Абдрахмана Авторханова «Технология власти».

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

22-е декабря, Москва

Андрей!

Буде герои наши возьмут в привычку произносить протяжные комментарии к шедеврам мировой культуры, да еще побуждать нас к пространным отступлениям о пророках, читатель заскучает, отложит в сторону наше произведение и скажет: «Нет, это не по мне. От такого чтения скисает молоко. Вы мне подайте прозу энергичную, динамичную, захватывающую!»

Действия, стремительного развития событий ожидает читатель, а потому Андрис и Велько должны незамедлительно приступить к делу. Начало следующей главы застает их в разгар предсъемочной суеты. Рервик принял решение снимать грандиозный многосерийный исторический фильм — нет, цикл фильмов, объединенных идеей суда над тиранами всех времен и народов. Сейчас он озабочен подбором актеров для сюжета о Генрихе VIII, мрачном убийце великого Томаса Мора, а также множества своих жен и сановников. Итак,

---

* Похоже, Андрис взял эту мысль у Борхеса, но забыл об источнике и принял за свою собственную.

глава третья

Теснитесь ближе к тюремной телеге,
Смейтесь гримасе боли.
Плюньте в глаза. Бросьте последний
укор им.

Проститутка, инок —
Проклинайте живущий еще, трепещущий
труп!

«De lege
Contra diaboli
Ad majorem Dei gloriam*
Повинна
Костру...»

П. Гуров

— Вам нужен звукооператор.

Смуглый мужчина в льняной рубахе и синих тесных штанах произнес эти слова без вопросительной интонации. Он был поразительно худ и высок. Окажись он в поле зрения Евклида, втолковывающего свои постулаты толпе туповатых учеников, тот с радостью использовал бы его как учебное пособие. «Посмотрите!— вскричал бы геометр.— Сколь наглядно иллюстрирует этот человек данное мною определение прямой линии как длины без ширины».

— У меня есть звукооператор, и не один.— Андрис, озадаченный нитевидностью посетителя, не хотел обрывать разговора. Он уже прикидывал ему место в кадре.— А впрочем, что вы умеете?

— Все.

В дверь просунулась голова Велько.

— Будешь смотреть пробы на Анну Болейн?

Андрис кивнул и медленно пошел к выходу.

— Боюсь, эту способность трудно использовать. Нам нужны люди, которые делают не все, а то, что нужно режиссеру. Может быть, хотите сняться? Я найду вам роль.

— Нет.

— Почему?

Краткий и решительный отказ удивил Рервика.

— Догадываюсь, что вызвало ваш интерес.

— Да, у вас редкая внешность. Разве есть что-нибудь зазорное в моем желании использовать это ваше качество?

— Эй, рожа, не хочешь ли сыграть Квазимодо? А вы, девушка с крысиным лицом, приглашаю вас на роль Шушары в мюзикле «Буратино на Альдебаране». Ты, толстобрюхий с мордой-сковородкой, если неделю попостишься, чтобы влезть в кадр, сыграешь сразу всех трех толстяков...

— Мне нравится ваш способ изъясняться,— сказал Андрис.— Пойдемте со мной, я посмотрю, на что вы способны как звукооператор.

На закате, за час до разбора с Михой Льяном роли Генриха, Андрис и Велько встретились в «Шаланде» — крохотной харчевне в двух шагах от студии. По обыкновению, они уселись на расклад-ных брезентовых табуретах под навесом, лицом к морю, и Велько немедленно швырнул пригоршню мидий на раскаленный железный лист, устроенный

---

* Согласно с законом против дьявола к вящей славе Господней *(лат.)*.

Умение правильно прочесть и исполнить текст находится в сфере предыскусства. Сфера искусства начинается с толкования текста.

Интонация демократична, ритм склонен к тоталитаризму.

Найти вопрос, достойный рассуждения, бывает не менее трудно, чем достойно ответить на него.

В искусстве чаще, чем где-либо встречаются люди, весь талант которых заключается в умении скрыть свою бездарность. Некоторые в этом деле достигают гениальности.

над каменным очагом. Солнечный шар коснулся воды.

— Сейчас придет Год,— сказал Андрис.

— Год?

— Тот, что просился в звукооператоры.

— А-а-а.— Велько принялся кропить мидий лимонным соком.

— Он гений.

— Угу.— Вуйчич выбрал моллюска покрупнее и со свистом втянул в рот.

— Слабая реакция на такое сообщение.

— Я просто хорошо владею собой. В глубине души я потрясен количеством гениев, занятых в нашем фильме.

— Много гениев?

— Суди сам. Гениальный режиссер — раз. — Велько сидя шаркнул ножкой.— Гениальный исполнитель роли Генриха — два. Гениальный, как выясняется, звукооператор — три. И наконец... — Велько сделал профессиональную паузу.

— Наконец? — поддался на провокацию Андрис.

— Ну, мне, право, неловко так говорить, но все же, если смотреть правде в глаза, мы не можем пройти мимо очевидного факта, что помощник режиссера...

— Да, да. И все же Год — гений. Ты не представляешь, что он сделал с фонограммой пигалицы, которую ты имел наглость предложить на роль Анны.

— Ай-яй-яй.

— Этот завалящий голосишко Год снабдил богатейшими модуляциями. Патетическими, вкрадчиво-доверительными, жалобными, жестокими. Я бы с закрытыми глазами взял эту девицу на роль Медеи.

— Что же не взял?

— Во-первых, мои глаза были открыты, а во-вторых, я не снимаю Медею, остолоп.

— Кто остолоп?

— Ты жуешь непрерывно третьи сутки, в то время как я пытаюсь говорить о серьезных вещах,— торжественно сказал Рервик.

— По-твоему, мидии — вещь несерьезная? Хорошо, сейчас подадут копченого угря, и я посмотрю, сможешь ли ты устоять против него.

— Когда я спросил, где он научился, подобно кузнецу из сказки, ковать любой голос, он сказал, что озвучивал хронику с речами Цесариума.

— Чьими речами?

— Вот и я спросил, чьими. Цесариума, сказал Год. Цесариума с большой буквы. «Вы слышали о Лехе?— спросил он.— Впрочем, откуда вам. Завалящая планета. Глухая провинция. Большого резонанса тамошние события не имели».

— Лех, Лех,— забормотал Велько.— Рецидив единовластия. Более десяти лет никаких контактов. Только-только подключился к Информаторию и заявил о своих нуждах, желании принимать туристов. Цесариум... это, наверно, тот самый Болт, которого они скинули в прошлом году, отдав власть фронту национального спасения.

— Ты жутко много знаешь, Велько,— сказал Андрис восхищенно.— Так вот, Год оттуда. Большой патриот Леха. Предложил снимать наш фильм именно там.

— И не без оснований,— раздался глухой голос, и Год, переставляя бесконечные ноги, подошел к навесу.— В вашем заповеднике не развернуться. Этого не тронь, тут не взрывай, там не мусори. Кругом святыни. Среднюю массовку тысяч на двадцать статистов с пожарами и ракетной атакой — и то снять негде. А на Лехе к вашим услугам огромные незаселенные территории. Пейзаж неотличим от земного. Разве только вымершие деревни — так они пригодятся. Помощь местных властей и населения обеспечена. И поможете, в свою очередь, планете, которая только начинает приходить в себя. Такая большая съемка оживит экономику, привлечет туристов.

— Познакомьтесь, вчера вы виделись только мельком,— сказал Рервик.— Велько Вуйчич, мой друг и помощник. Те проблемы, о которых вы только что говорили,— его боль. Авсей Год, звукооператор. Я попросил его послушать наш разговор с Льяном.

Год сложился в несколько раз и тоже занялся мидиями. В отличие от Велько, всасывая их, он не свистел, а скорее всхлипывал.

— Теперь я не чувствую себя одиноким, — довольным тоном заметил Вуйчич.— Приятно беседовать с человеком, знающим толк в истинных ценностях. Я думаю, нам нет нужды идти с Михой в студию. Как хорошо здесь, не отрываясь от важного дела, потолковать о мерзопакостях, творимых средневековым корольком.

Великий Льян, коренастый, с тяжелой походкой и рубленым широконосым лицом, кумир землян и землянок, явился уже «в образе» и, остановившись перед Андрисом, посмотрел на режиссера по-королевски, с затаенной грозной усмешкой. Тот включился безотлагательно:

— Генрих, ты повесил, сжег, четвертовал каждого сорокового из своих подданных. Что побудило тебя к этому?

— То были государственные изменники. Во благо Англии и по велению свыше поднимал я карающий меч в неусыпном попечении о процветании страны, вверенной мне Господом.

Генрих — Льян говорил угрюмо, но твердо.

— В чем заключалась измена, совершенная ими? Ты казнил философов и поэтов, сановников и священников, жен и мелких воришек, крестьян и сумасшедших. И всех — по обвинению в государственной измене.

Генрих снисходительно улыбнулся.

— Измена многолика. Да, она многолика, но всегда направлена против высшего принципа, на

Если бы математик занимался своей наукой в той последовательности, в которой занимается музыкой исполнитель, могло бы случиться, что на склоне лет он бы с удивлением обнаружил, что дважды два — четыре.

Смелость композитора-новатора обусловлена неограниченной выносливостью и миролюбием бумаги. Исполнитель-новатор должен быть осторожен ввиду грозного отсутствия этих свойств у публики.

Бездарностей с плюсом не бывает, и потому они не опасны, а вот таланты с минусом бывают — эти и опасны и заразительны.

Ограничив себя задачей, вы сразу совершили первую и непоправимую ошибку.

охрану которого вдохновил меня Создатель,—принципа неограниченности земной власти монарха.

— Лорд Хэнгерфорд был казнен за мужеложство. Судьи и здесь усмотрели измену?

— Противоестественные связи отвлекали его от служения государю, а недостаток усердия есть измена.

— Ну а Мор? Великий Томас Мор. Ты, мнящий себя мыслителем и поэтом, не мог не понимать, кого посылаешь на плаху. «Его душа была белее снега, а гений таков, что Англии никогда больше не иметь подобного». Так сказал про Мора Эразм Роттердамский. А ты велел выставить кол с головой гения на Тауэр-хилле.

— Мор посягнул на мои права главы церкви,— сказал Генрих после минутной паузы.

— Это не убедительно, — покачал головой Андрис.

— Он отказался признать незаконным мой первый брак и тем внес путаницу в порядок престолонаследия.

— Не то, Генрих. Ты цитируешь учебник истории, а нам с тобой нужна истина. Ты не мог отдать Мора палачу из-за дрязг между Екатериной Арагонской и Анной Болейн.

— Ну ладно. Дело в том, что он молчал.

— Это ближе.

— Он отказался от поста лорда-канцлера, где был мне нужен как помощник и друг. И молчал. Он подавлял меня своим молчанием.

— Подавлял — это совсем близко. Ты помнишь, как тебе пришла в голову мысль покончить с Мором? Это была очередная баллада? Или трагедия? Плод бессонной ночи, когда кусаешь перья, меряешь шагами кабинет, а под утро валишься в постель в полном восторге от написанного? Ты просил Мора прочесть и...

— Я не просил.

— Ну конечно. Просто в общем хоре похвал не было его голоса. Особенно желанного, ибо он один стоил всех. Вот если бы Томас Мор, пусть сдержанно, сказал несколько одобрительных слов...

Генрих сопел.

— Когда все кончилось и вестник пришел сообщить о казни, тебе стало страшно. Ты убивал не впервые, но то было первое столь явное убийство из зависти — от подлого, унизительного ощущения неполноценности рядом с истинным величием. И ты крикнул Анне Болейн...

— Ты! Ты причина смерти этого человека!

— Жалкая попытка обмануть самого себя. Не тогда ли, кстати, ты решил избавиться и от Анны?

Генрих снова обрел твердость:

— Анна нарушила обещание дать мне наследника. Она родила девочку. Это значило, что я женился на ней по наущению дьявола и казнь ее была делом богоугодным.

Андрис презрительно усмехнулся.

— Не корчи из себя дремучего фанатика, Генрих. Ты же не чужд культуры. Знаешь классических авторов. Сам сочинял и музицировал. Изобрел что-то — кажется, молотилку?

— То была телега, которая, помимо перевозки людей и грузов, могла обмолачивать зерно,— с достоинством ответил Генрих.— Специалисты признали это изобретение замечательным.

— Английские специалисты?

— Разумеется. Иностранцы оказались неспособными оценить выдающиеся качества моей машины.

— И ты их изгнал — итальянских, французских, португальских инженеров. Но мы отвлеклись. Помнишь свою драму, главным содержанием которой были бесчисленные измены королевы Анны? Ты сам декламировал перед придворными наиболее оскорбительные для королевского достоинства отрывки. Зачем такое самоистязание? Растравлял рану? Искал оправдания для казни? Как там значилось в обвинительном заключении? «Король, узнав о нечестивых поступках и изменах королевы, был так опечален, что это вредно сказалось на его здоровье». Признайся, Генрих, ты не верил, что Анна изменяла тебе. У нее не могло быть любовников после того, как она стала королевой,— она была слишком умна для этого. Она вообще была слишком умна, чтобы безнаказанно жить как королева и твоя жена. Может быть, и она не очень лестно отзывалась о твоих творениях, изобретениях, военно-политических решениях?

— Она смеялась! Со своим братцем, с Рочфордом! Они осмеивали лучшие, сокровеннейшие строки...— Генрих сорвался на визг.

— Вот видишь, Генрих, и здесь зависть.— Ервик чуть помолчал.— Ты имел обыкновение произносить исторические фразы при вести о казни очередной жертвы. Что ты сказал, узнав, что голова Анны благополучно отделена от туловища с помощью — французская новинка! — меча, а не привычной секиры?

— Я не сохранил в памяти этих слов.

— Зато историографы вашего величества сохранили. «Спускайте собак! Будем веселиться!» Вот твои слова — verbatim. И в тот же день ты женился — в третий, кажется, раз. Один султан приказал удавить свою жену, потому что она потела в неподобающие моменты. То был честный, прямой человек. По-моему, ты по сравнению с этим восточным владыкой — жестокий изувер, лицемерный лживый.

— Я правил почти сорок лет, и никто не смеет сказать, что я хоть раз проявил неискренность или выбрал окольный путь. Я всегда был верен слову, всегда любил мир...

— Полно, Генрих. Ты не на заседании парламента и не на приеме послов. Поговорим лучше о Кромвеле, твоем главном министре Томасе Кромвеле. Твоем сподвижнике...

Генрих побледнел.

— ...твоем поводыре...

Устойчивая серьезность — симптом болезни фантазии.

В «храме искусства» ведите себя как неверующий.

Алтайские шаманы не называют свои ритмы современными, они просто шаманят.

Не совершенствуйте совершенное сочинение, совершенствуйте себя.

Генрих покраснел.

— ...организаторе почти всех важных судебных процессов, единственном человеке, которого ты называл своим другом, что не помешало тебе отправить его на эшафот. За что?

— Он напоминал мне об этом ужасном деле, о казни Анны...— сказал Генрих неуверенно.

Андрис только усмехнулся.

— Он подсунул мне эту уродину, герцогиню Клевскую.

— Какой вздор, Генрих.

— Он...

— Он, как и Анна, был слишком проницателен, слишком талантлив, чтобы уцелеть. Сладко было тебе читать его отчаянный вопль в письме из тюрьмы: «Пощады! Пощады! Пощады!»

— Я пощадил его. Я повелел заменить квалифицированную казнь простым отсечением головы.

— Напомни нам, Генрих, от какой же участи избавил ты своего лучшего друга?

— Подвергаемого этому наказанию вешали, затем, еще живого, снимали с виселицы, сжигали ему внутренности, с каковой целью во вскрытую брюшную полость помещали горящую смолу или наливали кипящее масло или свинец либо другую пригодную для данного случая жидкую горячую субстанцию — дело это, кстати, требовало большого мастерства, ибо наказуемый не должен был умереть раньше времени,— после чего преступника четвертовали и обезглавливали.

— Да, ты явил великую милость Томасу Кромвелю. И сказал очередную историческую фразу: «Меня побудили казнить наиболее верного слугу из всех, которых я когда-либо имел». Все были жутко тронуты.

— Я любил Кромвеля! Меня заставили его убить!

— И всех его друзей? И семидесятилетнюю графиню Солсбери, виновную лишь в том, что происходила из рода Йорков, свергнутых полвека тому назад? Ну, а последнюю жену, Екатерину Говард, ты мог бы пощадить — такая молоденькая, ей и двадцати не было.

— Я хотел помиловать ее на эшафоте. Это укрепило бы ее чувства ко мне, которые стали ослабевать в силу моего возраста.

— Но передумал?

— Стоя у плахи, она заявила, что всю жизнь любила простого дворянина и хотела быть его женою больше, чем королевой. Не обо мне вспоминала она на пороге смерти, она оплакивала свою любовь и недостойный ее объект, казненный мною накануне. Как мог я простить ее?

— И здесь зависть, Генрих. Зависть к Мору, к нежнейшему поэту графу Серрею, которому отрубили голову за неделю до твоей смерти, к Анне Болейн, к Томасу Кромвелю, к юной, полной любви Екатерине Говард... Вот какое чувство вело тебя, заставляло купаться в крови... Вот что тебе надо играть, Миха,— всепожирающую, кровоточащую, беспросветную зависть. Это — доминанта роли. В твоей власти расцветить ее, придать глубину, снабдить оттенками, но не в ущерб главному. У тебя есть вопросы?

Льян, с трудом отделяя себя от Генриха, не отвечал.

— Хорошо, Миха. Встретимся завтра, продолжим разговор.

— В это же время,— прогудел Льян. Он кивнул Андрису, еще раз — в сторону Велько и Года и медленно удалился.

Андрис перехватил безучастный взгляд Года.

— Похоже, вам не по нутру такой разбор роли Генриха.

Год пожал плечами.

— Вам предстоит работать с Льяном. Вы видели его на экране? Как он вам показался?

— Я увидел его впервые сегодня. Сейчас. Он слишком покорен. Может быть, это удобно для режиссера.

— Вы не согласны, что режиссер должен дать актеру стержень, основную линию роли?

— В данном случае — зависть?

— Почему бы нет. История Генриха хорошо ложится в это русло.

Год встал и взялся рукой за подпорку навеса.

— Вы, Рервик, никогда не встречали, не чувствовали, не понимали убийцу ранга Генриха Восьмого. Богатейшая натура изверга и садиста сводится вами к скучной и плоской фигуре. Льяна вы загоняете в примитивную схему: играй зависть — черную, всеохватывающую зависть. Генрих страстно любил Анну Болейн и питал искреннюю дружбу к Томасу Кромвелю. Любит — и убивает. Трагический закон, логика тирании. Здесь таятся куда более глубокие, сложные и интересные для художника проявления человеческой души, чем зависть, как ее ни обряжай.— До той поры глухой, голос Года зазвенел:— Дело в том, Рервик, что для вас Генрих — всего лишь исторический персонаж, кукла. Вы не чувствуете живой плоти этого образа. Вы не жили в его время, рядом с ним. Его психика непроницаема для вас. После того, что я сейчас слышал, мне кажется, вам вообще не следует браться за этот фильм.

— Я еще не получал такой отповеди,— сказал Андрис.

— Это тебе полезно, — отозвался Велько, долго молчавший.

— Но я еще не сдался. Я сопротивляюсь.— Андрис повернулся к Году:— Послушайте, Авсей, согласись я с вами, что будет с планами содействия процветанию Леха? Вспомните, вы только что говорили — оживление экономики, приток туристов.

— Все остается в силе. Вам просто придется снять другой фильм — живую трагедию, ужас наших дней, а не картонные исторические страсти. Вы же документалист, как говаривали в старину, ми-

---

Вокруг подлинных гениев кружатся, толпятся, падают и подымаются мысли... и нет этому конца; вокруг выдуманных гениев вертится нескончаемая словесная карусель.

Воспоминанья подобны терриконам, в их шлаке иногда таятся крупицы драгоценных незамеченностей.

«Глубокие» мысли извольте сами извлекать на поверхность, освободите нас от этой непосильной работы.

Законом против порнографии не защищена почему-то только музыка.

лостью Божьей. Я вам дам то, о чем только может мечтать режиссер,— документ. И Льяну не придется рядиться в средневековое барахло и надувать щеки, изображая чуждого ему Генриха.

— Вы сказали — документ?

— Да.

— Какого рода документ?

— Вам, кажется, по душе исторические аналогии. Представьте, что вы хотите снять картину о Фемистокле, а я даю вам то, что раньше называлось магическим кристаллом. Вы приникаете к нему и видите курносого крепыша, который под хохот толпы громит бедного Аристида на ареопаге. Вы слышите его хриплый голос и различаете темное пятно пота на пыльной рубахе. А потом стоите рядом с ним на смолистом настиле триеры и щурите глаза от пламени, охватившего Ксерксовы неуклюжие посудины, набитые награбленным скарбом, слышите шипенье головней и шепот соседа, обращенный к густо тонущим персам: «Нету в Элладе покоя для ищущих крови и злата...»

— Я чувствую, Андрис уже готов приступить к съемке фильма о греко-персидских войнах,— сказал Велько.

— Ничего подобного,— возразил Рервик.— Тем более что Фемистокл к нам не ближе, чем Генрих Восьмой. Я думаю, Авсей хочет подвести нас к другой замочной скважине. Выкладывайте, Год, что у вас в кармане?

— Именно в кармане,— сказал Год. Он извлек из складок рубахи голокристалл и включил проектор. Кружевное платьице девочки напоминало бабочку, влетевшую в угрюмый мир ампирного кабинета. Письменный стол в конце сходящейся мраморной колоннады казался резным зáмком. Человек за столом был неподвижен. Колонны дробили и усиливали голос девочки: «Папа! Папа!»

глава четвертая

И море, и Гомер — все движется любовью.

О. Мандельштам

— Папа, папа! У Нюкты ушанчики народились, ой, как угольки с усиками. — Девочка захлебывается, глаза горят, колпачок сбился, болтается за спиной на шнурке, башмачки мелькают треугольными лепестками отворотов.— Вели скорее их принести!

Лицо Цесариума обрело подвижность. Он привстал, подался вперед. Два голубых листка слетели на ковер. Сухопарый грациозный горбун, разметав полы розового мундира, бросился на колени — поднимать.

— Зачем приносить, Салима. Нельзя их трогать, они должны быть при матери. — Цесариум встал во весь рост и кивнул горбуну: — Хорошо. Пусть это пройдет по линии куратория личных сношений. Пригласить всю семью, сегодня в шесть. Иди пока, я позову.

Розовые фалды скрылись за портьерой. Немного ссутулившись, Цесариум протянул ребенку большой палец:

— Ну, идем, посмотрим твои угольки. Сколько, говоришь, их у Нюкты? Ты уже придумала им имена?

Спина Цесариума расплылась, заняла весь экран. Появился овальный стол, накрытый на четыре персоны. Все в той же скромной серой блузе, чуть приволакивая ногу, Цесариум водил вокруг стола статного красавца в сиреневой рубахе до пят.

— Ты даже не представляешь, Иоска, как огорчил меня отъезд Купки. Я-то, сентиментальный дурак, думал увидеть вас всех, поболтать за чашкой кофе, вспомнить старые дни, перекинуться в тут... Ведь я, подумать только, не видел вашего малыша больше года.

— Что и говорить, редко, очень редко видимся. Знал бы ты, как обрадовал меня твой вызов. — Гость говорил громко, но принужденно.

— Вызов?— Цесариум воздел руки.— Да как у тебя язык поворачивается называть мое дружеское приглашение эдаким сухим словом! Ну, зов, призыв — еще туда-сюда. Да что я тебя заговариваю — за стол, за стол. И запомни крепко, как только Купка с малышом вернутся — ко мне. Пусть дети познакомятся, пусть дружат, кто знает...

Гость почтительно сложил руки.

— О, это такая честь. Мы непременно... Купка будет счастлива...

Цесариум сам разлил вино.

— Ты напряжен, мой милый Иоскега, несвобо-ден. Я не вижу своего старого друга, украшавшего любую пирушку. Вместо него я вижу человека, который пришел к зубному врачу или к начальнику куратория обеспечения свободы. Ха-ха-ха.

Иоскега замер, не донеся до губ бокала.

— Ну же, выпей и поделись со мной своими заботами.

Иоскега встряхнулся и заговорил довольно бодро:

— Знаешь, Болт, я действительно испугался, получив твое приглашение.

— Как можно бояться друга?

— Легба был нашим общим другом. Ты пригласил его. Совсем недавно — и месяца не прошло.

— Легба — другое дело. Он якшался с сол-никами.

— Но ты мог бы...

— Не будем о нем. Дай-ка твой бокал. Вот так. Выпьем теперь за тебя.

— За тебя, Болт.

— Хорошо. За нас. Мы должны верить друг другу. Я, например, верю, что ты мне поможешь.

— Я — тебе? Ты нуждаешься в моей помощи?

Иоскега поперхнулся и отпил большой глоток вина.— Ты нуждаешься в помощи?

— Больше, чем кто-либо другой.

— Не могу себе представить. Ты, Болт, ты — Цесариум,— не могу...

Люк де Вовенарг

Самыми лучшими министрами были те люди, которые волею судьбы дальше всего стояли от министерств.

— Ну да, суровый и мудрый вождь, никогда не ошибающийся, знающий единственно верный путь, ведущий корабль между Сциллой — сольниками и Харибдой — улитками. Думаешь, я окончательно превратился в чванливого идиота, растиражированного старцами из куратория правдивого воспроизведения действительности? Думаешь, я не вижу, что вместо любви и верности, дружеского расположения и нежности мне подносят лесть и страх, ложь и зависть, лицемерие и подлую, трусливую ненависть? Эти рожи, эти гнусные рожи... И только Салима, моя Салима... — Болт помолчал, потом улыбнулся. — Жаль, что нет Купки. Она любит малышку. И Салима ее помнит, помнит игру в этого... — Болт поиграл пальцами. — В паучка. «Паучок паутинку прядет, он к Салимочке в гости придет». Так пела ей Купка. Забыл, что там дальше.

— «Он бредет вразвалку, ставит в угол палку...» — радостно подсказывает Иоскега.

— «Скинул со спины мешок, а в мешке подарки».

И они продолжали вместе:

Из нитки тонкой —
Нюкте попонку.

Из нитки средней —
Няне передник,

Из самой толстой —
Салимочке холстик.

Постелет на кроватку —
Будет спаться сладко.

— Ведь девочка не помнит матери, — сказал Болт, помолчав.

Иоскега испуганно поднял глаза.

— Знаю, знаю, что ты думаешь. Жестоко разлучать мать и дочь. И прочее, прочее, прочее. Ты-то должен понимать, что это была не прихоть тирана, а трагическая необходимость. Катукара дала себя запутать улиткам. Стала знаменем изоляционизма. Мне пришлось удалить ее — для ее же блага. Это была жертва — тяжелая, вынужденная жертва. Моя вина, что я не обеспечил защиту. Не предусмотрел, что эти мерзавцы, потеряв Катукару, решатся на убийство. Помнишь слова Мутинги на суде? «Катукара должна была умереть, чтобы всколыхнуть народ на борьбу с тиранией Болта».

— Не все верили в искренность этих слов Мутинги, — робко возразил Иоскега.

— Напрасно. Мутинга был изобличен полностью. У него не оставалось надежды. К тому же нельзя отказать ему в мужестве — он не просил пощады. Продолжал грозить, зная, что его ждет смертный приговор. — Болт вдруг замолчал, последние слова повисли над столом. — Оставим эту печальную тему. Вернемся к тебе, Купке, малышу. Ты запомнил, что я жду вас к себе?

— С радостью придем, Болт. Ты знаешь, если бы ты... не удалился от всех друзей так стремительно...

— Моя вина. И не пытаюсь оправдываться. Но я хочу все изменить. Я вообще подумываю об отставке.

— Ты?!

— Мы с Салимой уехали бы в какое-нибудь захолустье, — не замечая восклицания Иоскеги, говорил Болт, — и тихо жили бы... Дом над рекой, небольшой садик, огород. Иногда — не слишком часто — нас навещают друзья. Вы с Купкой...

— Но как же так? Ты — основа, символ, вождь... Ты не можешь. Все может заколебаться...

— Нет, — продолжал свою мысль Болт. — В этом плане есть изъян. Девочке нужно живое окружение. Она захиреет наедине со стариком. Я мог бы послать ее в Систему, поучиться. Может быть, даже на Землю. Как ты думаешь?

Иоскега молчал.

— Но кому передать все это? Вокруг — ни одной достойной фигуры. — Болт поставил бокал и обнял себя руками за плечи. Тяжелый взгляд нашел уклончивые глаза Иоскеги.

— Ты догадываешься, зачем я тебя позвал?

Иоскега страшно побледнел.

— Тебе никогда не хотелось стать?..

— Нет, нет, нет! Ни на мгновенье! Ни желания, ни самой далекой мыслишки, клянусь!

— Ты говоришь так, будто в желании стать первым есть что-то постыдное. По-твоему, я должен стыдиться своего места?

— Нет, нет!

— Своих поступков?

Иоскега издал сдавленный писк и замотал головой.

— Своих людей?

— Ни в коем случае!

— А вот тут ты перестарался. Они дерьмо. Потому я и не вижу среди них своего преемника. Есть достаточно умные, довольно изобретательные, весьма распорядительные, но...

— Зачем тебе думать о преемнике?

— Но ни один не одухотворен идеей! Я знаю единственного человека на планете, достойного воспринять мою власть и мою муку.

Иоскега отпрянул. Затрещал стул.

— Ты шутишь, Цесариум!

Болт посмотрел на него с удивлением.

— Ха-ха! О Боже, нет, мой милый. Не о тебе речь. Ты давно видел Кунмангура?

— Ты же знаешь, как я живу. Разве могу я встречаться со Слугами? Кто меня допустит к самому Кунмангуру.

— Придется тебе приблизиться к нему. Я хочу убедиться, что он достоин моего выбора. — И после паузы добавил: — Кто лучше моего друга справится с таким щепетильным заданием?

— Но Кунмангур и без того твой преемник по положению, второй человек на планете, достойнейший Слуга, снискавший любовь...

Бертольд Брехт

Трудности преодоления гор
позади нас.
Перед нами трудности
движения
по равнине.

— Я должен быть уверен, что сам он так не считает. Ты станешь его искусителем. Призовешь спасти Лех от чудовищной деспотии Болта, от рабского пути сольников и тупика улиток. И мы увидим, станет ли у него силы духа, мудрости и благородства найти верную дорогу.

— Но почему я? И как?

— Потому что я тебя люблю и верю тебе. А как? Ты найдешь способ. Я помогу.

— Кунмангур уничтожит меня!

— Не преуменьшай свои силы.

— Какие силы у простого чиновника куратория кадров?

— Огромные. Особенно у такого усердного чиновника, который штудирует досье Слуг и, хотя не делает выписок, отличается превосходной памятью. Я всегда тебе завидовал в школе. Стоило прочитать любую ахинею однажды — и ты знал ее наизусть. Масса свободного времени. Да мы все тебе завидовали.

По лицу Иоскеги пробежала судорога.

— Знал? Ты знал? Болт, Болт! Не думай, я не умышлял против тебя. Наоборот...

— Не мели чушь. Твои паршивые студенты начнут раскалываться один за другим. Половина из них пишет регулярные отчеты для КОС. И в учебники истории ты войдешь не как тираноборец, а как холуй сольников, торгующий честью родины, жалкий предатель, падкий на мелкие подачки и льстивые статейки газетчиков прогнившей и погрязшей в пороке и роскоши Земли. Или как наймит улиток, стоящий на пути свободного развития великого Леха. Я подумаю, кем тебя представить.

Внезапно Иоскега успокоился. Налил себе вина. Выпил полбокала.

— Со мной кончено. Я не стану вымаливать легкой смерти. Знай только, не один я выучил эти досье. Не только у меня хорошая память.

— Знаю, мой мужественный и предусмотрительный друг. Знаю, что у Купки прекрасная память и множество других достоинств. С ней все в порядке, надеюсь? Ведь так она пишет милому Иоске?

— Я не получал от нее писем.

— Как! Она не сообщила, что они с малышом в безопасности, что приняли их хорошо, что она положила записи в известное тебе место? Ты не получил письма? Мне придется строго взыскать с моих людей за это упущение.

Иоскега застонал:

— Ты перехватил Свана? Проклятье. Все равно тебе не добраться до Купки. Не посмеешь! Записи станут известны всем.

— Идиот! Думаешь, я боюсь твоих разоблачений? Да они мне на руку — моего досье там нет, а этих давно пора менять. Впрочем, мне по душе, как ты держишься. Но силу дает тебе не чувство правоты, нет. Уверенность, что твоя жена и твой сын в безопасности. Так?

Иоскега молчал.

— А они здесь, в двух шагах от нас, за стеной.

— Лжешь!

— Ты думаешь, что Купка верна тебе и буде оплакивать твою мучительную смерть, а она сам под мою диктовку написала письмо, которое теб передал Сван.

— Лжешь! — захрипел Иоскега.

Болт положил ладонь на край стола. Явило розовый горбун.

— Пусть войдут.

Лицо женщины было припухшим, пятна пудр лежали под глазами, на лбу. К бедру жался рыжи мальчик лет пяти. Купка подошла к мужу и, упав н колени, уткнулась в сиреневую ткань рубахи.

— Иоска! Нет мне прощенья. Не прощай мен Я не смогла... Он... Он грозил... его... — Она мотн ла головой в сторону сына. — Не могла я-а-а...

Иоскега одной рукой тронул волосы жены, др гой привлек к себе мальчика.

— Пощади ребенка, Цесариум. Ради своей С лимы. Они ровесники. Не губи его, Болт.

— Как можно поднять руку на ребенка, сы моего бывшего друга!

Иоскега задохнулся.

— Ты не тронешь его, Цесариум? Слава теб великий и справедливый! Женщина, не передо мн тебе следует стоять на коленях. Вот человек, досто ный поклонения! Он милостив и великодушен к на предавшим его! Он щадит нашего мальчика. Он причинит ему вреда. Благодари Цесариума, Ку ка! — Иоскега полз к Болту, стараясь дотянуться мягкого желтого сапога.

— Будет тебе! — Болт снова нажал на кр стола. — Уведите женщину и ребенка. А тепер Иоскега, — продолжал он, — теперь — к делу!

Иоскега стоял на коленях.

— У меня нет времени на уговоры. Вернемся Кунмангуру.

— Так ты милуешь меня, Болт?

— Все зависит от тебя. Иди и думай. Как пр близиться к Кунмангуру, не вызвав подозрения. К сплести обширный, разветвленный заговор, во гла которого он встанет. Чем больше Слуг привлече ты под знамена великой борьбы с Болтом, т длиннее и привольней будет твоя жизнь, жиз твоей женушки, жизнь твоего сына. Ровесника, ты справедливо сказал, моей Салимы. Иди!

Изображение погасло. Стало темно. Круп звезды повисли над морем.

— У вас есть еще что-нибудь? — спросил Аб рис. — Какие-нибудь записи?

— Почти ничего. Бессвязные обрывки оф циальной хроники. Салима — ей лет тринадцать въезжает на ейле в Зал изъявления воли нар Черепахового дворца, и отец держит стремя, п она слезает с седла. Сын Иоскеги командует па дом Верных. Болт произносит речь перед воспит никами приюта «Надежда Леха» — детьми, отказ

Гете

Пришел конец союзным взносам.
И денег никаким насосом
Теперь в казну не накачать.

шимися от своих родителей — сольников и...

— Улиток?— догадался Велько.

— Улиток,— подтвердил Год.

— Стало быть, все это снималось давно? Что с ними теперь?

— Над Кунмангуром и большой группой связанных с ним крупных чиновников различных кураториев был устроен показательный процесс. Несмотря на громкие покаянные речи, все были казнены. Сохранил мужество лишь сам Кунмангур. Говорили, что Болт приходил к нему в камеру перед казнью, обещал жизнь в обмен на публичное раскаяние, но получил плевок в лицо. Иоскега возвысился. Через год, однако, выяснилось, что он оклеветал преданного соратника Цесариума Кунмангура и множество других достойных людей. Естественно, Иоскега был судим и казнен. Когда пришли за его сыном, Купка перерезала себе горло. Мальчик, однако, тогда уцелел: Салима вцепилась в него, и стражники отступили. Цесариум распорядился сохранить мальчику жизнь. Подобно Моисею, он воспитывался в доме Цесариума и в шестнадцать лет стал во главе гвардейского манипула Верных. Позже Болт приказал удавить юного любимца армии, после чего устроил погром среди офицеров, приписав убийство начальника гвардии прокравшимся в армию...

— Сольникам?— ехидно спросил Велько.

— Не сольникам и не улиткам,— холодно ответил Авсей Год.— Их к тому времени уже не существовало. Я думаю, их и раньше-то не было. На сей раз удар был нанесен кадильщикам — так назывались злоумышленники, которые извращали и дискредитировали учение и практику правления Болта лицемерным и неумеренным восхвалением. Тут Цесариум, видимо, оплошал. Поняв, что спасения нет, недоеденные Слуги сами его сожрали. Торопливо, с костями и пуговицами. Было объявлено, что Болт скоропостижно скончался. Великий траур пал на Лех.

— Когда это произошло?— спросил Андрис.

— Чуть больше двух лет назад. После пышных похорон слухи ходили разные. Говорили, что Цесариум покончил с собой, бросившись с крыши дворца. Что охрана скинула его со скутера, когда он летел над Сизым болотом к своему охотничьему домику. Поговаривали даже, что он уцелел, бежал с Леха, а погребальному костру была предана кукла.

— А что стало с его дочерью? — поинтересовался Рервик.

Год немного помолчал. Потом, вместо ответа, сказал:

— Если станете снимать фильм о Болте, назовите его «История любви».

— Название не слишком свежее,— заметил Велько, большой знаток древнего кинематографа.

— Согласен. Но что движет этими людьми? Всепоглощающая любовь. Иоскега любит свою Купку и сына. Салима и сын Иоскеги — друг друга. Болт любит только дочь, но как нежно! Наконец, Болта любят все, весь Лех. Где они теперь? Их поглотила любовь.

Год вынул кристалл из проектора, молча кивнул и пошел прочь от навеса.

По случаю Нового года шлю тебе, Андрей, поздравления и жду тебя в скором времени в Москву — ведь обещал.

Владимир.

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Январь 3, Савельево

Не помню, любезный друг Владимир, рассказывал ли я тебе о Томе Бакките, капитане космического флота? Судьба несколько раз сводила этого незаурядного человека с Рервиком, и однажды он спас режиссеру жизнь. А заодно и себе. Было дело. Жадный не только до искусства, но и до политики, вез как-то Андрис в переметной суме папку с документами и пометками, являющими серьезный, как мы бы сегодня сказали, компромат на одну очень и очень важную особу. Документы однозначно свидетельствовали об участии первого лица большой провинции в превосходящих всякое воображение махинациях, в наглом обмане при поставках тонковолокнистого кроттона, основной технической культуры тех мест, но главное — в дерзком попрании законов и попустительстве мелким и крупным сатрапам, терроризировавшим население. Верный решительному своему характеру, собирался Рервик дать этим бумагам ход, да еще и о фильме размышлял. Без особого труда прознало об этом важное лицо, благо агентами его кишело обитаемое пространство. Был отдан приказ изловить режиссера, а в случае чего без хлопот уничтожить. Дважды уходил Андрис от агентов. И в полной почти безопасности ощущал себя, оказавшись случайно пассажиром на грузовом корабле, который пилотировал старина Баккит, давно ушедший из военного флота. Не знал капитан, кстати большой любитель кино, что везет любимого своего режиссера. Но продемонстрировал удивительное мастерство и реакцию, когда посланный вдогонку за Рервиком военный корабль попытался расстрелять безоружный грузовик в открытом космосе вдали от регулярных трасс и посторонних глаз. Впрочем, детали этого эпизода нам еще предстоит прояснить, а сейчас я просто расскажу немного о самом капитане.

Начинал Баккит как левак. Будучи человеком горячим и не склонным к глубокому неспешному анализу, он легко поддавался левацким теориям и загибам. Это и привело его к участию в заговоре Фрола Козловского против Хвощеватого. Надо сказать, что в те времена Баккит был личным пилотом Хвощеватого.

В училище Том слыл хулиганом. Сидел он за

Гельвеций Новая идея появляется в результате сравнения двух вещей, которые еще не сравнивали.

одним столом с неким Хаджем, сухим, точным, исполнительным брюнетом. Характеры противоположные, они сошлись, сдружились на время. Оказались они самыми способными пилотами своего выпуска, обоим прочили блестящую будущность. Странно или нет, но через годы оба стали личными пилотами диктаторов: Баккит — на Альдебаране, Хадж — на другой планете. Том о судьбе Хаджа не ведал, потеряв былого друга навсегда.

Хвощеватый, высокий человек с колючими умными глазками, и сам был в чем-то хулиганом. У него не было трений со своим пилотом. И все же Баккит его предал. Начальный этап правления Хвощеватого был принят Содружеством с энтузиазмом. Но потом правитель зарвался и сам не заметил, что всем успел надоесть. Впрочем, ропот народа — не самое страшное для диктатора. Куда опаснее, когда от него отворачиваются приближенные. Два весьма энергичных министра Фрол Козловский и Шур-Шулепов для элегантности и полноты триумвирата привлекли к заговору незлобливого увальня Лина Буженко. Верхушка армии и службы безопасности легко пошла за ними. В кое-какие детали был посвящен и пилот номер один. Именно он управлял кораблем, на котором после кратковременного отдыха в Висячих садах Трай-Пи возвращался премьер Хвощеватый. Премьеру успели донести, что дома его ждут неприятности. Хвощеватый решил совершить тактический маневр и приказал командиру корабля сесть на промежуточной станции. Но Баккит отказался совершить незапланированную посадку, твердо ссылаясь на соответствующие пункты навигационной инструкции. И Хвощеватый, этот самодур и крикун, устало отступил.

Переворот был осуществлен легко и просто. Но последующие события обманули ожидания некоторых его вдохновителей. Фрола Козловского через полгода разбил паралич. Шур-Шулепова, чей неприкрытый бонапартизм колол глаза, ловко вывели из Правления Содружеством, и он покатился по служебной лесенке, пока не застрял начальником библиотечного коллектора на одной из дальних станций. Власть свалилась в руки сонного Буженко, чья добрая отеческая улыбка всех устроила. Впрочем, всех ли?

Баккит вскоре подал в отставку. Его не удерживали. Какое-то время он водил большие пассажирские ракеты по престижным трассам, но начал попивать и порою даже буянить. Постепенно он скатился, нисколько, впрочем, не горюя, до уровня ломового извозчика на самых задрипанных линиях, летая на Кост-ро-Ману, Нехлюдовку и даже загадочный нищий Лех. Позже он и вовсе уйдет на покой, предавшись на досуге любимому делу, истинному призванию — кулинарии.

Что же касается столкновения со спейс-корветом, то здесь, должен предупредить, ситуация неоднозначная. В сложных условиях временно́го излома несколько траекторий развития событий оказались равновероятными. На одной из этих траекторий Баккит будто бы даже погиб.

Дело было так. В Кост-ро-Мане потрепанный грузовик совершил посадку. Экипаж и пассажиры покинули причал, прошли залитую солнцем лужайку и углубились в парк, где журчали фонтаны, а в бассейнах шныряли огромные золотистые рыбины. И только тут Андрис скромно осведомился у пилота, что это такое стряслось в пути. «Не бери в голову»,— грубовато-нежно ответил Баккит, но было в этом уклончивом ответе и замаскированное кокетство. Дескать, космическому волку привычно попадать в разные ситуации, привычно из них и выходить; дело же пассажиров — вручать свою жизнь опытным пилотам и ни о чем не беспокоиться. Но на самом деле Баккит недоумевал. Он не мог взять в толк, что за сумасшедший пират напал на его мирный грузовик. И уж никак не связывал это событие со скромной персоной своего пассажира-журналиста — так ему Андрис был представлен.

Документальные фильмы Рервика Баккит знал, смотрел с неизменным интересом, но тесная и теплая встреча знаменитого пилота и знаменитого кинодеятеля произойдет несколько позже, на другой траектории событий. В нашем же случае он сказал журналисту и его случайной спутнице, немного браво вируя звательным падежом: «Дружище Андрие! [...] вы, Майю! Погуляйте в этих благословенных местах, развейтесь немного. Ровно через пять местных суток я вернусь, и мы полетим дальше. Здесь сейчас карнавал, скучать вам не придется. Правда, отели переполнены, но я вам дам один адрес. «Ретороманская хижина», там поваром мой друг Брюс Нортон, чудесный рыжий парень, которого я сам научил делать галушки в сметане а-ля Пацюк».

Андрис и Майя (которая позже оказалась Мар[ией], что, впрочем, еще требует выяснения) улыбнулись и, взявшись за руки, нырнули в ближайшую улочку, откуда неслись уже звуки заманчивой музыки.

Через пять дней Баккит не вернулся. И через шесть, и через десять тоже. Прошел слух, что его корабль погиб при столкновении с военной ракетой. Узнав об этом, Андрис побледнел. Он начал добиваться, в чем дело. Перед его взором стоял Т[ом] Баккит, грузный человек с веселыми глазами. И [он] казнил себя за легкомыслие, за то, что его авантюры служат причиной гибели невинных людей. [Но] капитан спейс-корвета доложил шефу: грузовой корабль — в клочья, со зловредным режиссером покончено.

Мы все хотим быть оптимистами, но события всегда идут в желаемую сторону. И вот — погиб Том Баккит. А он еще так нужен для нашего повествования.

Но что не во власти писателя? Рыжий повар Брюс рассказал со смехом, что шалопай Баккит просто прогулял неделю. В Трай-Пи с помпой открылся кинофестиваль, и наш пилот не мог по-

Джордж Оруэлл

...Если когда-нибудь где-нибудь бесповоротно восторжествует тоталитарное общество, оно, вероятно, учредит некий шизофренический образ мышления, допускающий опору на здравый смысл в повседневной жизни и в некоторых точных науках и предполагающий отказ от здравого смысла в политике, истории и социологии. Уже появилась масса людей, у которых фальсификация научного учебника вызовет возмущение, но в фальсификации историческ[ого] факта они не видят никакого преступления. Именно в то

лить себе пропустить новый фильм Андриса Рервика «Бегство палача».

Теперь по поводу того обещания — мол, приеду... Да, да, обещал, но... Человек предполагает и т. д. Пример тому — прогноз погоды. Впрочем, ругать метеослужбу — все равно что резать ножом манную кашу — легко, безрезультатно и немного стыдно. Да, каждое мгновение, поворачивая за угол, ты рискуешь столкнуться с незапланированным фокусом судьбы-индейки. (Птицу эту, кстати сказать, совершив очередное убийство на колоде для колки дров, преподнес мне к Рождеству Ереваныч.) Живешь себе и не знаешь, что в такой-то день и час, купив в «Мелодии» на Новом Арбате пластинку Козина, а в гастрономе напротив — бутылку подсолнечного масла, ты придешь домой и затеешь жарку кабачков под «Осень, прозрачное утро, небо как будто в тумане...». Поставишь сковородку на плиту, пустишь газ — и в комнату, сделать погромче. «Где наша первая встреча, яркая, острая, тайная? Тот летний памятный вечер, милая, словно случайная?..» Собираешься вернуться на кухню, а сладчайший голос зовет:

Не уходи, тебя я умоляю!
Слова любви стократ я повторю.
Пусть осень у дверей, я это твердо знаю,
Но все ж не уходи, тебе я говорю.

И ты медлишь, а оказавшись наконец у плиты. рассеянно зажигаешь спичку. Трах!

Роль подсолнечного масла как инструмента судьбы уже описана в мировой литературе. Поэтому негоже мне отводить много места иллюстрациям побитой молью истины о своевольности фортуны. Так вот, вопреки обещанию, в Москву до весны не вернусь — заручился на то разрешением начальства, данным мне не бесплатно, а в обмен на обещание написать «совместную» с ним, начальством, статью в сборник трудов нашей конторы. По этому поводу предлагаю тебе навестить меня в моей берлоге, и сделать это не откладывая. К тому времени, когда ты получишь это письмо, каникулы подойдут к концу, и мои домочадцы схлынут. Вновь воцарится покой, располагающий к неторопливым беседам, безмолвному глазению на угли в печи, хрустким прогулкам «при дружеском молчании луны». Жду.

А пока несколько слов по поводу полученных от тебя глав.

После справедливых упреков в слабостях сюжетной пружины, вялости повествования, содержавшихся в последнем твоем письме, я с нетерпением ожидал бурного развития событий, стрельбы, погонь и леденящих кровь тайн. Но что же я нашел? Очередной аппендикс о Генрихе VIII, ни на шаг не продвинувший сюжет, и диалог Болта с Иоскегой, призванный, по-видимому, показать жестокость и вероломство первого и покорность и трусость второго. Фигуры весьма плоские. Не очень помогают и усилия Авсея Года придать своими замечаниями некоторую глубину образу Генриха. А уж Цесариум Болт просто подл до омерзения, как сам Год худ до изумления. Но не должен ли тиран вырасти в фигуру трагическую, с душою, раздираемой «дуэнде»? (Это испанское слово, означающее в приблизительном переводе борьбу Бога и дьявола, я услышал от известного актера, игравшего сталкера в одноименном фильме, а он, в свою очередь, прочел его где-то у Лорки. Место действия — провинциальный кабачок, где собрались знатоки канте хондо — народного пения. Среди них торговец быками для нужд корриды, проститутка, известная тем, что когда-то отказала Ротшильду, сам Лорка и человек без определенных занятий, веселый и грязный уроженец Кадиса — испанской Одессы. На возвышении — женщина с миловидным лицом и аккуратно подколотыми волосами. Она заканчивает пение и ждет оценки. «Очень мило,— говорит кадисец, — сеньорита — настоящая француженка!» Это — чудовищное оскорбление для исполнителя канте хондо. Певица срывает заколку, черные блестящие волосы закрывают лицо. Она резким движением отбрасывает их назад и поет. Не звуки — кровь льется из горла. Смерть и страсть выходят с ее хрипом. Она умолкает. И тогда, после долгой паузы, торговец быками откладывает в сторону тонкую едкую сигару и говорит весомо и окончательно: «Здесь есть дуэнде».)

Между тем надо сказать, что политическая жизнь многострадального Леха понемногу проясняется. Сольники, как я понял, — сторонники более открытого общества, связей с солнечной системой, исторической родиной. Течение улиток, очевидно, защищает национальную самобытность лехиян, но в рьяности своей доводит ее до герметизма. Однако как могло случиться, что кровавые дела Болта не вызвали мгновенной реакции? Какие-то сведения, безусловно, просачивались в Систему. Неужто все утонуло в безмятежном счастье и всеобщем неостановимом прогрессе? В таком случае не только на Лехе нелады. Коли души землян не уязвлены страданиями жертв Цесариума, подгнило что-то в тамошнем королевстве.

Но вот Рервик и Вуйчич узнают достаточно много, чтобы их проняло. Вряд ли Рервик отказался от мысли снимать свою грандиозную эпопею, как ему советовал Год. Напротив, он полон азарта и намерен включить историю Болта, «историю любви», в монументальное свое произведение. Они, я думаю, уже на Лехе, где их и застает следующая ниже

глава пятая

Никогда не приведешь столь гнусных и столь постыдных примеров, чтобы не осталось еще худших.

Ювенал

Андрис обернулся через два-три шага, но было поздно. Остался промельк черной головки, углова-

пересечения литературы и политики тоталитаризм оказывает на интеллигенцию самое большое давление. Ничего подобного точным наукам в настоящее время не грозит. Это можно отчасти объяснить тем, что в любой стране ученым легче, чем писателям, выстраиваться в затылок своему правительству.

тое движение локтя, зеленая полоска браслета на смуглой коже. Женщина исчезла в толкучке оболтусов, увешанных пестрыми сувенирными сумками и пакетами. Он вспомнил о Вуйчиче и побрел к таверне «Сигнал Им», привлекавшей неуловимым сходством с «Шаландой», хотя рыба (и сиг и налим) здесь обнаруживалась ныне только в названии заведения. Вокруг царил праздник воды. Почти у каждого гуляки было маленькое ведрышко, ковш или иной сосуд. Согласно ритуалу, следовало зачерпывать воду в изобильно встречающихся фонтанах и фонтанчиках и с идиотски-радостными криками обливать прохожих. Рервик жался к стенам, искал переулки потемнее — наивное и полнокровное веселье лехиян раздражало. Уже у самого порога шустрая девчонка, опутанная водорослями кикимора, плеснула под ноги из кувшина, но Рервик увернулся и распахнул дверь. В нос ударил запах жареных овощей.

Велько был не один. Рядом склонился над тарелкой морщинистый лехиянин с унылыми седыми усами. Он поднял на Андриса нежные голубые глаза.

— Здравствуйте.

— Наконец-то, — сказал Велько. — Хорошее соте, возьми, не пожалеешь.

— Да, да, очень хорошее, — закивал старик.

Рервик повернулся к раздаче, взял блюдо с золотистыми ломтиками баклажан, подложил кучку лука поподжаристей, пару листьев салата и перышко чеснока. Подумал, добавил какой-то кружевной травки и сел к столу.

— Какую Анну я упустил! — сказал он Вуйчичу. — Видно, нырнула в ближайший фонтан. Здесь все с ума посходили...

— Но ты, я вижу, вышел сухим из воды, — сказал Велько.

— Меня почему-то не обливали, — соврал Рервик и посмотрел на старика. — Я — Андрис. Андрис Рервик.

Старик снова закивал и заулыбался.

— Это — Иокл Довид, — представил лехиянина Велько. — Он поможет найти место для съемки охоты. Большой знаток по этой части. Кажется, егерь? — Велько повернулся к старику.

— Смотритель болот. Бывший, бывший, — зачастил Иокл, словно боясь, что его не станут слушать. — Сорок пять лет там прожил, родился там, три года как уехал, но все-все помню, все места знаю. На булунгу сейчас нет охоты, цвигу брать можно. Я все покажу. Тут близко лететь, но скорей надо. Неделя пройдет — цвигу линять будет.

Ему нет пятидесяти, подумал Андрис. По земным меркам он дал бы Иоклу девяносто.

— Скажите, Иокл, что это за праздник? Почему так много воды? — спросил он.

— Очень-очень старый праздник. Сегодня вода, завтра будет огонь. Это — жизнь. Давно не было этого праздника — тридцать лет не было, сорок лет не было. Он не велел.

— Он?

— Цесариум. Теперь стало можно.

— Иокл, вы видели Цесариума?

— Видел, видел. Один раз видел. Близко-близко. Как сейчас вас.

— Говорили с ним?

— Я ребенок был. Пять лет, семь лет. Отец говорил. Отец на весь Лех прославился.

— Вам Велько сказал, зачем мы приехали?

— Сказал, сказал. Кино, большое кино снимаете. Охоту снимаете.

— Мы хотим и о Цесариуме снять фильм. Но мы мало знаем. Поэтому все, что вы можете рассказать...

— Нет, нет, — замахал руками Иокл, — я не помню, совсем был ребенок. Отец... Он умер давно — двадцать лет, может, больше. Я на болоте жил, здесь не бывал. Болото знаю, все покажу. Торопиться надо — начнет линять цвигу, какая охота?

Лететь на болото положили утром. Иокл Довид отправился восвояси, а Рервик и Вуйчич — в гостиницу «Дарамулун», определенную им и всей группе для жительства. Перед тем как разойтись по номерам, Велько вскользь заметил:

— Марья прилетает завтра-послезавтра.

И на молчаливый вопрос Рервика:

— В разговоре она поинтересовалась, достаточно ли велик Лех, чтобы она была уверена, что случайно с тобой не встретится.

— Вот как?

— Ее влечет, она подчеркнула, чисто профессиональный интерес.

— Ах да, психология власти.

— А ты, свинья, ее не пригласил.

— Это она сказала?

— Это говорю я, а она — подумала.

И они отправились спать.

В птерик с Иоклом сел один Андрис. Велько остался подыскивать гримеров — свои не справлялись. Иокл говорил мало, не кивал, не суетился. Жестами показывал курс. Они опустились на островок леса среди тростников — вполне земной пейзаж. Рервик видит, как король Карл на белой лошади, лицо горит румянцем, перемахнет через эти кусты. Цепь вабильщиков в высоченных сапогах побредет по болоту — поднимать цаплю. Зеленые куртки сокольников... Нет, зелень потеряется на фоне травы, придется обрядить их в красное. Или работать на тонкой тональности? Триумфальное «Гой! Гой!» заглушает вопль птицы, забиваемой кречетом. Груди сизых перьев, длинный полураскрытый клюв — деловитый сокол, поспешно, пока не нахлобучили колпак, пьет мозг жертвы. Веселый отдых короля после трудов и нервотрепки ночи святого Варфоломея...

Легкий хрип привлек слух Рервика. Он обернулся. Иокл пытался оттащить тяжелый ствол от полуповаленного белого столбика. Андрис подошел помочь. На грубо обтесанном камне — буквы и цифры

ИЛГА ДОВИД, годы...

Салтыков-Щедрин

...В том-то, собственно, и заключается замысловатость человеческих действий, чтобы сегодня одно здание на «песце» строить, а завтра, когда оно рухнет, зачинать новое здание на том же «песце» воздвигать.

Рервик вычел из правого числа левое. Получилось пятнадцать.

— Это ваша...

Иокл кивнул.

— Уж простите, что затащил вас сюда. Как еще доберешься? Я быстро. Четыре года не был у дочки.— Иокл провел ладонью по камню.— Тянет.

Почувствовав, что Иокл разговаривается, Рервик молчал, боясь спугнуть.

— Меня год как выпустили, а все не смог. Пешком не дойти, а где птерик взять? Таких, как я сейчас, в-о-о-н сколько. И всем что-нибудь нужно. Очень мне повезло, что вам на болота понадобилось.

Собирался дождь. Срывались первые крупные капли.

— За тем холмиком дом у меня. Может, зайдем?

Пока добежали, промокли. Ступеньки крыльца подгнили, одна провалилась. Через петли задвижки пропущен шнурок с большой пломбой. На пломбе витиеватый вензель с загогулинами и хвостиками: КОС.

Иокл остановился в растерянности.

— Я и забыл про печать.

Андрис протянул руку через плечо Иокла, сорвал пломбу и положил в карман.

В доме стоял кисловатый запах, было сыро. Иокл вдруг сделался энергичным и деятельным. Смахнул пыль с лавки. Принес из сеней охапку дров, потом вторую. Растопил печь. Поначалу она сильно дымила, но потом тяга установилась, и дым исчез. Сделалось тепло и уютно. Лехиянин сел на колоду у печи и стал глядеть в полукруглый зев на ревущее пламя. Как-то незаметно заговорил:

— Дом отец оставил. Да-а-авно было дело. Молодой Цесариум охотой увлекался, велел специальный кураторий учинить. Как отец попал на эту службу — не помню, да, пожалуй, и не знал никогда. Определили его смотрителем болот, дали этот самый участок. Он как устроился, нас с матерью перевез. Цесариум часто на болотах бывал, а весной на гон булунгу так приезжал непременно. Нет-нет и на отцов участок попадет. А однажды к самому дому подъехал. Красавец, глаза ясные, ейл под ним — огонь красный. Рядом, стремя в стремя, Катукара. За ним — Легба, Мутинга, Кунмангур. Кругом егерей, охраны, косовцев — видимо-невидимо... Отец выскочил, мундир застегивает, что сказать — не знает. Мы с матерью тоже онемели. А Цесариум просто так говорит: «Ну, Асир Довид, что ж в дом не ведешь?» Отец руками машет, проходите, мол, а слова вымолвить не может. Тут мать опомнилась, бросилась на стол накрывать. В дом вошли только Болт, Катукара и Легба. Что дальше было — память не держит. Все заслонила рука Катукары. Мягкая, душистая — на моей щеке. Потом слышу, Цесариум хвалит мамину стряпню, а отцу жмет руку и говорит что-то о честном труде и единстве в борьбе или наоборот — о честной борьбе и единстве в труде. И еще сказал: «Мы, надеюсь, не в последний раз у вас в гостях».

На следующий день во всех газетах была фотография: Цесариум пожимает руку смотрителя болот. Отец много газет накупил. Снимок на стенку повесил, в альбом вклеил. Всем дарил. Окружной попечитель к нам приезжал, спрашивал, нет ли в чем нужды. Выдали отцу новые сапоги, обещали ейла молодого, сильного — объезжать участок, но отец отказался — двух не прокормить, а своего старика не бросишь.

И стал он ждать, когда Цесариум опять приедет. Год прошел, другой. Отец все помнил, рассказывал, показывал. Меня приучил — гордись, говорит, не каждому в жизни такая честь, почет такой. А что не едет, так времени у него в обрез, шутка ли — всем Лехом управлять, во все вникать, все под присмотром держать.

Так время и бежало. Мать схоронили, отец ослаб — скучал очень. Уж все дела я стал делать. Каждую кочку знал, булунгу подкармливал, сухостой жег. Жену я взял в помощь, да она после первых родов умерла... А за ней вскорости и отец. Хотел здесь его похоронить, да в округе не велели. Нельзя, сказали, человека, которому Цесариум руку жал, на болоте хоронить. И остались мы жить с дочкой.

Иокл помолчал, поворошил угли в печке, отчего там-сям возникали новые всплески пламени. Профиль его стал моложе, морщины разгладились. Андрис терпеливо ждал.

— Красавицей она росла — в мать, только глаза голубые, в меня то есть. Скучно ей было со мной, но виду не подавала. Весь день грибы собирает, желтянку-ягоду, рыбу ловит. Все в доме на ней. А вечером любила, как мы вот сейчас, у печки посидеть. Расскажи, бывало говорит, папа, как к деду Асиру Цесариум с Катукарой приезжали. А я что вспомню, что придумаю, да не всякий раз одинаково получается. То Катукара у меня в зеленом охотничьем костюме с жемчужным шитьем, то в красном плаще и сапожках из узорчатой орнидиловой кожи. То Цесариум пожимал деду руку, а то получалось, что обнимал за плечи. Но всегда вспоминал, что обещали они снова у нас побывать. И такое было у моей Илги желание увидеть Цесариума и Катукару, что и я стал ждать — а ну как и вправду приедут. Когда узнали мы о смерти Катукары, Илга стала сама не своя. Плакала очень. А время все бежало, Илга росла. И стали мы мечтать, как Цесариум приедет к нам с дочкой, Салимой. И будто она, Салима, с Илгой подружится, и возьмет нас Цесариум в столицу. Детский разговор, скажете? Да, а я уже видел себя важной шишкой в куратории охоты, а Илгу — невестой гвардейца из отряда Верных.

И вот, представьте, весной, за неделю до гона булунгу, появились на нашем участке люди. Человек восемь. Молодые, но серьезные, молчуны. У

Елена Боннэр, о XXVIII съезде КПСС

Пять тысяч человек пели: «...Лишь мы, работники всемирной великой армии труда, владеть землей имеем право, но паразиты — никогда». Это они — работники? Это мы — паразиты?

кого на рукавах значки с буквами, как на той печати, что в кармане у вас. Кураторий Обеспечения Свободы. Другие — в мундирах Верных. На поляне, где птерик, поставили палатки. Посреди — шатер. Синий, высокий. Что внутри — не знаю, все в ящиках таскали, потом ящики эти вынесли и за нашим домом сложили. Начальник их, молодой совсем, чуть постарше Илги, у нас поселился. Важный был — не подступись. Ни слова мы от него не слышали целыми днями. Смотрел я на них, на шатер и понял — теперь скоро. Дождались, кажется. Осмелел я и прямо спросил своего постояльца: так, мол, и так, можно ли надеяться? И про отца рассказал. Он посмотрел на меня сверху — будто только заметил, губы тонкие изогнул и сказал: «Кто знает, кто знает». И вдруг как-то утром они забегали, начали палатки сворачивать. Я вышел, а они уже за шатер принялись. Тут Илга меня в дом зовет и показывает на стол. А там — развернутая газета с фотографией. Цесариум пожимает руку старому Ухлакану — смотрителю соседнего участка. Вот и все, думаю, когда теперь наша мечта сбудется? В это время входит начальник. На нас не смотрит, берет свой пояс, сумку — и к двери. Илга моя вслед ему глядит — уедут, и снова тоска болотная, одни грибы да отцовы байки. А он с порога возьми да обернись. Взгляд ее перехватил. Подошел. Палец длинный, тонкий протянул. По щеке провел, вниз, по шее и как рванет рубашку — до пояса располосовал. Илга только руки к горлу — задохнулась. Я захрипел от страха, от неожиданности. Он тут только про меня вспомнил и, не оборачиваясь, спокойно так: «Вон отсюда». И ладони ей на грудь. Она словно очнулась, подалась назад. Он — к ней, руку тянет, и она в эту руку зубами... Про себя плохо помню. Дернулся я к нему и сразу два удара получил — в горло и сюда, видно, коленом. В себя пришел — Илга лежит на полу, а он носком сапога ей под подол и говорит: «Я тебя не трону, и ты всю жизнь об этом жалеть будешь». А потом громче: «Эй, там!» И вошедшему: «Всех сюда. Она ваша. И если кто побрезгует, пусть на себя пеняет».

Лехиянин снова умолк. На этот раз пауза длилась дольше. Он бросил кочергу, походил по комнате, остановился у окна. Глядя в него, он и закончил свой рассказ:

— Меня двое держали, а чтоб не кричал — веревкой сдавили горло. Илга сначала плакала, потом только меня звала. Папа, папа, папа, папа. Потом замолчала.

Пока не стемнело, я с ней рядом сидел, не отходил. Потом лампу зажег. Вернулся, протянул руку — подушку поправить, а она: «Ой, простите меня, пожалуйста, пожалуйста, не надо, не зовите их, я все сделаю, как вы хотите, пожалуйста, не зовите...» Под утро Илга умерла. Так все время и бормотала: пожалуйста, не зовите, пожалуйста, не зовите, пожалуйста... Здесь и похоронил ее. И написал письмо самому Цесариуму. Так и так. Приложил фотографию из газеты — может, подумал, вспомнит. Рассказал, как мы с Илгой его ждали и как жаль, что на этот раз он охотился на соседнем участке. И попросил: может быть, приедет он взглянуть на могилку моей Илги, раз уж так получилось, что не дождалась она счастья увидеть Цесариума при жизни.

А потом пришли такие же молодые и серьезные и меня взяли. Правда, я везучий — пяти лет не прошло, вышел. А теперь вот и здесь побывать довелось, спасибо вам. Повидать бы еще Цесариума — да где там! Разве его найдешь.

Иокл попросил высадить его у стадиона и сразу исчез в щели между домами. Андрис оставил птерик на площади и решил дождаться обещанных Довидом огней. Внимание толпы делилось между финишем бега на коленях и прыгунами через кольца. Рервик двинулся наугад и оказался у длинной дорожки. Полноватый мальчишка шел довольно резво, мелко перебирая загорелыми бедрами. Но уже у самой черты каким-то нелепым витиеватым прыжком его обогнал сухопарый мужчина с седым ежиком, показавший, как утверждало табло, лучшее время дня. Андрис рассеянно огляделся и сразу увидел ее. Тот же смугло-угловатый профиль, те же резкие жесты худых рук. Живые черные глаза смотрят вверх, в лицо собеседницы. И Андрис вздрагивает вторично: медно-рыжий всполох на голове — веснушки без конца и без края — такое не повторяется дважды. Марья.

Рервик бормотал извинения и шаг за шагом приближался к собеседницам. Но, подойдя, испытал легкое разочарование: смуглую незнакомку, почтительно держа за локоть, уводил сутулый, похожий на стручок человечек в узкой зеленой куртке.

Рервик растерянно посмотрел им вслед. Марья легко рассмеялась.

— Чему радуешься, злая женщина! Я должен был изловить, она нужна мне.— Андрис не выдержал и тоже рассмеялся.— Ну, здравствуй!

Она на миг прильнула к нему, отпрянула и заговорила по обыкновению быстро:

— Не отчаивайся, милый, она сама тебя найдет. Екатерина только о тебе и расспрашивала. Видно, ты ей чем-то интересен. Врожденный дефект вкуса, думаю. Признаюсь, я не скрыла от нее, что страдаю тем же. Хотя что тебе до моих страданий! Я длинная, рыжая, и зубы у меня как у Щелкунчика. А тебе подавай жгучих брюнеток с изумрудными браслетами на нервных руках, и чтоб глаза — как блюдца, ресницы — как у теленка, губы — как эти...

— Лепестки роз?

— Именно. Хотя у Екатерины они скорее похожи на двух змеек. Щеки — как...

— Нежные персики?

— Снегири, я хотела сказать.

— Фауна против флоры. Так ее имя — Екатерина?

Н. Струков, народный депутат СССР

Рецидивистов, хулиганов и прочих врагов надо селить в свободные зоны, а не иностранцам эти зоны отдавать. Думаю, что жесткий порядок и дисциплина дадут нам возможность построить города будущего быстрее, чем с помощью японцев. Предлагаю это обсудить и вынести на референдум. Создадим систему взаимодействующих органов, дадим им четкие права и обязанности, подтянем систему контроля исполнения. Будут у нас хлеб, соль, песни и поезда будут ходить по расписанию и не порожняком. А кто будет мешать радостной жизни, тому сполна достанется от государства. Спасибо за внимание. 1989

— Екатерина Платиня. Кроме имени, я о ней ничего не знаю. Мне только показалось, что под этим веселым возбуждением она прячет...

Марья — такое бывало не раз и всегда заставало Андриса врасплох — резко изменила тон. Теперь она говорила тихо и немного в сторону:

— Утром я два часа ждала Велько в гримерной. Там была молодая женщина. Тихая такая. Эва. Ты ее знаешь?

— Не помню.

— Мы стали разговаривать. Так, пустяки. Веселый у вас праздник, сказала я. Да, веселый, сказала она. И погода подходящая. Да, в эту пору редко идет дождь. Я впервые на Лехе, сказала я. Да, теперь многие приезжают, сказала она. Такой вот разговор у нас шел. И вдруг мне, совершенно чужому человеку, она рассказывает... Неловко, конечно, но я незаметно включила диктофон. То, что сделали с Эвой... Мне кажется, они так жадно ликуют, чтобы забыть. Но почему она мне все это рассказала?

Перед Рервиком встали тихие глаза Иокла.

— Может быть, как раз потому, что мы чужие. Мы скоро уедем. А говорить о своей боли таким же, как они сами? Едва ли кто будет слушать. Они опустошены. Они очерствели. Они стали жестокими.

— Эва была художницей, муж — журналистом. Что-то в его статье проскользнуло лестное о Земле. Ему бы покаяться, а он в панике скрылся. Незадолго до этого за похожую провинность взяли его друга, тоже газетчика. Эва получила записку — не ищи, жди. А потом... Я тебе дам кристалл.— Марья встряхнула головой.— Ну ладно, скажи наконец.

— Что?

— Что ты безумно скучал без меня.

— Я безумно скучал.

— О!

— Я измучился от тоски.

— Неплохо. Продолжай.

— Терзался, не находил себе места, страдал от бессонницы, терял в весе, выплакал все глаза...

— Браво! Достаточно. Посмотри туда.

Тьма охватила стадион внезапно. И почти сразу в толпе начали вспыхивать свечи. На глазах рождалось огненное кружево. Оно двигалось, дышало. Оно жило.

— Надеюсь, Велько догадался снарядить оператора все это снять,— сказал Андрис.

— Съемка будет на главной площади, где фейерверк. Сейчас все пойдут туда.

К свечам прибавились факелы, фонари, горящие плошки, вспыхивали пучки соломы.

— Я проголодалась, а ты?

— Что? Ах да, конечно. С утра ничего не ел.

— Господи! Так пойдем немедленно.

Сквозь огненную толпу они двинулись к таверне «Сигнал Им».

Проводив Марью до помпезного подъезда гостиницы «Земля», Рервик, уставший от огненного буйства на площадях и улицах, вернулся в «Дарамулун». В номере Велько он застал Авсея Года. Вуйчич, по обыкновению, сидел на диване, попивая ледяной бледно-желтый сок какого-то местного плода. Год, все в той же белой рубахе и тесных синих штанах, возбужденно ходил по комнате.

— Слышишь, Андрис, — сказал Велько, — у Авсея любопытные сведения о Болте. Не исключено, что он уцелел.

Мысли Рервика и так бродили вокруг Цесариума. Он сел и вопросительно посмотрел на Года.

— Встретил тут я одного старого знакомого. Можно сказать — друга. В те времена, когда я был доверенным оператором ЛЕХроники, он занимал довольно высокий пост в куратории личных сношений. Помните кадры, что я вам показывал? Он там в розовом мундире. Подавал бумаги Болту.

— Помню,— сказал Андрис.

— Я увидел его на площади, где снимали фейерверк. Разговор о старых временах, общих знакомых. О верности традициям. На судьбу жаловался. Не может приспособиться. На глазах в карнавалах и гуляньях гибнет дух Леха. Не только его сердце плачет по утраченному. Надо ждать. Так говорит ОН. ОН меня помнит. ОН соберет всех, когда вернется на Лех.

— Стало быть, Болта на Лехе нет?

— Судя по этим словам, нет. Но может быть, это игра.

— Игра? Прекрасно. Нам ли не принять игру. Мы — люди кино.

— Рервик почувствовал вдохновение, — проворчал Велько.

— Да, но не кинематографическое. Я полон простого человеческого желания свернуть Болту шею. Удовольствие, которое я при этом испытаю, не в пример сильнее творческого наслаждения от исследования психологии выродка. Может быть, для Марьи это большая потеря, но повстречай я его сейчас — не удержусь.

— Насколько спокойней, академичнее ты относился к Генриху,— заметил Велько.— Что произошло?

Внезапно потемнев лицом, с трудом подбирая слова, Рервик рассказал историю Иокла и его дочери.

Наступило тягостное молчание.

— Я встречал этого офицера, — глухо сказал Авсей Год. — Говорили, Болт пожурил его, но простил. «Мальчик так предан нашему делу!» Мальчик сменил сына Иоскеги на посту командира Верных, а чуть позже — в роли возлюбленного Салимы. Последний раз я видел его накануне похорон Цесариума. Варгес, так его звали. Бледный Варгес.

— Неужели этот выродок жив? — сказал Велько.

— Почему же выродок? — Год продолжал ходить по номеру. — Выродок, насколько я понимаю, явление исключительное. Каждый уровень власти на Лехе располагал такими людьми. Если в верхних

Николай Бердяев

Когда во вторую половину XIX в. у нас окончательно сформировалась левая интеллигенция, то она приобрела характер, схожий с монашеским орденом. Тут сказалась глубинная православная основа русской души: уход из мира, во зле лежащего, аскеза, способность к жертве и перенесение мученичества. Она защищала себя нетерпимостью и резким разграничением себя с остальным миром.

этажах их десятки, то в нижних — десятки тысяч. Они не только держали в страхе не вовлеченных в их круг, они истребляли друг друга. На место уничтоженных приходили новые. Развращенным оказался почти каждый лехиянин. Тот же Иокл — как относился он к Болту до гибели дочери? Или его отец. Да что там, все были охвачены неистовой любовью к Болту, трепетным отношением к власти. Дай им сейчас живого Цесариума, что будет?

— Что? — живо спросил Андрис.

Год не ответил. Рервик достал из кармана кристалл, который дала ему Марья, и подошел к проектору.

Голос гримерши Эвы был тих:

— ...не знаю, говорю, представления не имею. Хотите, говорю, сами прочтите записку. Он написал, чтобы не искала. Дома у меня записка, я принести могу.

— Вы об этом? — и подает мне письмо Осгара. — Нет нужды вам идти домой. Даже если это написано не для отвода глаз, я не поверю, что вы совершенно не имеете представления о круге друзей мужа. Расскажите, с кем он имел обыкновение встречаться. Еще раз хочу обратить внимание: в наших общих интересах отыскать Осгара Одульфа как можно скорее. Проступок его не так страшен, чтобы угрожать его свободе. Я думаю, он просто поддался панике, ложным слухам, наветам, очерняющим соответствующие учреждения, призванные блюсти порядок и гармонию во всех сферах жизни и труда наших граждан. Но каждый час промедления, сокрытия от справедливого разбирательства всех обстоятельств служебного упущения усугубляет вину, а стало быть, утяжеляет возможное наказание. Эвлега Одульф! Призываю вас, помогите мужу, себе, сыну. Ведь у вас сын!

Тут только вспомнила я, что уже часа два сижу перед этим вежливым офицером со спокойными, внимательными глазами, а Харальду пора есть и спать и он один, он плачет, зовет меня.

— Пожалуйста, — говорю, — дайте мне сбегать домой. Я покормлю и уложу ребенка, попрошу соседку присмотреть за ним. И сразу вернусь. Ну пожалуйста...

— Как вы могли забыть, что счастье детей, их здоровье и благополучие составляет предмет особой заботы Цесариума! Зачем просить о том, что является вашим неотъемлемым правом. Накормить свое дитя! Спеть ему колыбельную! Пожелать приятных сновидений! Неужели найдется на Лехе хоть одно официальное лицо, честно исполняющее свой долг перед народом и Цесариумом, которое воспрепятствовало бы стремлению матери позаботиться о своем чаде? И незачем вам идти в эту ненастную погоду домой. Гораздо удобнее, уютнее вы будете чувствовать себя здесь, у нас, где вам предоставят все необходимое: помещение, белье, полноценное питание, игрушки для малыша. Вы только вспомните, вспоминайте — все, что может быть полезным нам, а в конечном счете и вам. Поймите, помочь государству — значит помочь себе. А вот и наш маленький Харальд — видите, он уже здесь, с вами.

Хари стоит заплаканный, ко мне ручки тянет. Я к нему, а женщина, что привела его, прямо из моих рук вырвала и к стене оттащила, подальше.

— Сядьте, Эвлега Одульф!

Я села.

— Сейчас вышего сына накормят, вы увидите это сами.

И я вижу, сажают Хари за столик, ставят перед ним блюдце с каким-то коричневым пюре. Салфетку повязывают. Хари голодный, полную ложку ко рту тянет, давится. Ложку проглотил — скривился весь. Женщина вторую ложку ему насильно дает. Он отворачивается, плачет.

— Какой избалованный, невоспитанный ребенок, — говорит женщина. — Не есть такой вкусный паштет! Может быть, он немного пересолен, тогда запьем глотком этого замечательного напитка. — И подносит Харальду стакан чего-то прозрачного, как вода. Хари глотнул, ротик раскрыл — задохнулся. А она льет, вливает в него эту жидкость. Боже, как он бился! Я рванулась было к нему — а встать не могу. Не заметила, как меня ремнями к стулу пристегнули. — Не пить такой вкусный рассол, — говорит женщина, — как тебя испортили родители. Ну ничего, мы воспитаем тебя настоящим бойцом. Поел — марш спать!

— Сейчас вы убедитесь, что вашего сына уложат отдыхать. Так что уход за ним будет самый лучший, не беспокойтесь, — говорит офицер.

Тут я увидела солдата, который внес матрас, скорее не матрас, толстый коврик, и бросил его на пол. Вся поверхность — густые ряды коротких колючек. Женщина...

Голос Эвы стал еще тише, она помолчала. Потом продолжила свой рассказ чужим звенящим голосом:

— Она аккуратно сняла с Хари рубашку и штанишки. Голый малыш даже не плакал. Он широко раскрыл глаза и рот и хрипел. Она положила Хари на колючки и вдруг резко нажала на животик. Как он закричал! Забился! Она ловко застегнула ремни. Потом я заметила: на ремнях тоже были колючки, вернее — крючки. Они впились в кожу Харальда.

— Спи, глупыш, — сказала она. — Перестань плакать. Ты уже большой. В три года нельзя так плакать. Спи, не огорчай мамочку. — И она ушла вместе с солдатом.

А Хари кричал, временами затихал, потом стонал. Он звал меня. Он тянул ручки — мама, мама, ма-а-а... Мамочка, больно, больно, больно...

Сначала я билась в ремнях, не слыша ничего кроме его стонов. Потом до меня начали доходить слова офицера.

— Да, да, очень нервный ребенок. Я вам сочувствую, Эва. Однако не следует отвлекаться. Чем

Бернард Шоу ...Беда среднего человека вовсе не в отсутствии политического мышления. Его беда — неосведомленность, тот вакуум, что заполняется всяким романтическим хламом и нелепыми

скорее мы с вами закончим, тем скорее вы сможете приласкать малютку. Мне кажется, ему не очень удобно спать. Может быть, складочки на простыне? Или сползло одеяло? Беспокойный сон... Не исключено, что дело в непривычной пище. Мы могли не знать его обычного рациона. Я лично рекомендовал накормить ребенка своим любимым блюдом — паштет из соленых головоногов с перцем, прекрасная закуска к пиву, уверяю вас. Итак, я готов записать имена.

И я заговорила. Я начала вспоминать.

Гондла, Снорре, Груббе — друзья мужа со школьных лет.

Харальда отвязали, положили на чистую простыню.

Лаге, Ахти, Лаик — с ними Осгар ездил на охоту.

Израненное тельце смазали обезболивающим бальзамом.

Эдмунд, Гер-Ледер, Хаген — соседи, с которыми Осгар любил играть в тун.

Харальду дали чистой воды.

Все труднее становилось вспоминать — мы жили скромно, редко принимали гостей, чаще всего проводили вечера и выходные вдвоем. Но я старалась, я очень старалась.

Эрик, Гилда, Гудрун...

Хари дали молочной каши.

Ламме, Дитта, Кениг...

Мне разрешили его погладить.

Офицер требовал больше имен, и я не заметила, как начала повторяться. Хари снова положили на шипы.

— Ради ваших детей,— кричала я,— пощадите! Я никого, никого больше не помню... Я вспомню, обязательно вспомню, только отпустите Хари, дайте мне моего Хари, умоляю, дайте мне, дайте...

Когда мне дали сына, он еще пищал. На губах — серая пена. А все тело... Как его взять на руки... Меня, наверно, выпустили, потому что опомнилась я на улице у дверей нашего дома. Хари, говорила я, сынок, это я, мама, мама, ма-ма... Как вы думаете, он слышал? Он еще слышал? Мне казалось, слышал. Я так долго говорила.

Осгар вернулся сразу после похорон Цесариума. Потом еще год-два возвращались те, кого я называла. Они приходили ко мне. Некоторые плакали. Некоторые плевали мне в глаза. У Гилды за это время умерла дочь. «Хорошо бы она пришла и убила меня»,— думала я. Но Гилда проплакала со мной целый день и звала к себе — жить. Ведь с Осгаром мы не могли видеть друг друга. Мы и сейчас не встречаемся. Я слышала, он пробовал писать. Напечатал что-то под названием «Очищение». Или «Оправдание»? Нет — «Отчаяние». У него семья. Он молодец, Осгар. А Гондла, Хаген и Кениг не вернулись вовсе. Так что я убила не только Хари. Сейчас я живу хорошо. Здесь на съемках такие славные люди. Жаль, что они уедут. Я не из-за работы, мне хватает — то вывеску подновить, то витрину украсить. Просто вы какие-то другие. Мне не так душно. Иногда — страшно сказать — забываю о том, что было. Со мной, с нами. Ну, мне пора. Через час съемка — смерть Генриха. Грим очень сложный...

Наутро, как было условлено, Андрис отправился за Марьей. В «Земле», где она остановилась, постояльцев и гостей окружала «романтическая, полная архаических неудобств и роскоши обстановка прародины позапрошлого века» — цитата из рекламной брошюрки, которую Рервик листал в вестибюле, ожидая Марью. Она все не шла. Портье заглянул в книгу и сказал, что дама по имени Марья Лааксо занимает номер одна тысяча четыреста седьмой и, судя по пустому гнезду для ключа, никуда не уходила. Мальчишка в красном кепи с галуном вознес Рервика на четырнадцатый этаж. Малиновый ковер. Темные, с тусклым блеском, прямоугольники дверей. «1407». Андрис позвонил. Нет ответа. «Звонок не работает?» — подумал он, вспомнив подчеркнутый ретростиль отеля. Постучал. Тихо.

— Мааа-у!

Андрис резко обернулся. Рука скользнула по гладкому дереву, наткнулась на бронзовую ручку. Ручка повернулась. Шикнув на кошку, Рервик вошел в номер.

Белый одноногий стол пуст. Кресло лежит на боку. Откинутый угол ковра горит желтой изнанкой. На полу у дивана — перевернутая поникшая сумка, две-три туники, красные мягкие туфли. Андрис открыл дверь в ванную. Под зеркалом — чистая полка. Марья не пользовалась косметикой. Красноватые брызги — крови? — на раковине. Скомканное, в крови же, полотенце свисает с вешалки. На зеленом полу раскрытая пудреница. Андрис торопливо поднял коробочку. В крышку вместо зеркала вставленно стереофото: черноволосая, с живыми сияющими глазами, девочка держит за повод красавца ейла, на котором восседает юный белокурый воин в полном облачении Верных. Знакомое лицо. Конечно, Иоскега. Немного, пожалуй, мельче черты. Худощавый. Сын? А девушка — Салима? Но и она кого-то очень напоминает.

Рервик выбежал в комнату, проверил окно. Не заперто. Бросился в коридор. Кошка проводила его до лифта.

— Увы, я не могу поручиться, что эта дама не проходила мимо меня. Час тому назад я принимал группу туристов с Малой Итайки — это заняло минут двадцать. И хотя у нас принято оставлять ключ, не исключено, что на этот раз...

Рервик уже не слушал портье. Он вспомнил, на кого похожа эта веселая смуглая девушка, державшая под уздцы горбоносого синего ейла,— на Екатерину Платиня.

Остаюсь в ожидании ответного послания.

Твой Андрей.

предрассудками. Мне приходилось просвещать людей, называющих себя консерваторами, социалистами, коммунистами, протестантами, католиками, фашистами, фабианцами, квакерами, ритуалистами. Все они нацепили ярлыки, которым ни один из них не может дать определения, и придерживаются убеждений, которыми ни один из них не руководствуется и от которых многие, сняв ярлык, с негодованием открещиваются. Они входят в клубы, объединяются в политические партии и несут околесицу.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

1-е февраля, Москва

Ага! Так ее похитили, это рыжее длинноногое чудо. Наконец-то будут поиски, погони, возможно, стрельба. Андрис начал с того, что отправился... Впрочем, об этом позже.

По-видимому, уже накипело. Из мозаичного общения с лехиянами — Годом, Иоклом, Эвой — высвечиваются искалеченные судьбы, события настолько трагичные, что гнев Андриса выходит за пределы его устремлений как художника, будит в нем атавистические свойства натуры — «Отмщенье, государь, отмщенье!» (не помню, откуда цитата). Только бы он, Болт, был жив. Уж Рервик до него доберется. Как бы ни прятался Цесариум...

Откуда такие мысли? Неужто все так просто: преступник бежит, герой настигает мерзавца и отдает его на суд многострадального народа, который и выносит справедливый и суровый приговор. История знает и триумфальные возвращения тиранов. Наполеон Наполеоном, но вот какой курьез произошел сравнительно недавно. Жан-Бедель Бокасса, экс-император Центральноафриканской империи (бывшей Убанги-Шари), называвший себя первым социалистическим императором, жил себе в полузаключении в замке Ардикур, что во Франции, используя досужее время (а другого у него не было) для сладких воспоминаний. Среди них чаще всего посещали императора видения коронации, имевшей место в стольном городе Банги в 1976 году.

Все, ну все было как в декабре 1804 года в соборе Нотр-Дам. Несколько малосущественных расхождений: «мерседес» вместо кареты, местный епископ вместо папы Пия VII, чуть меньше генералов (ведь вся армия не доходила до пятисот штыков и сабель). Но в основных моментах церемониал повторялся. Десять фрейлин несли шлейф Августины, облаченной в платье — точную копию наряда Жозефины. Бокасса сам надел корону себе на голову, а вторую, поменьше, возложил на коленопреклоненную императрицу. И всеобщее, естественно, ликование. Пушечные салюты, рокот тамтама, фейерверки, колокола.

Как же случилось, что так скоро — и двух лет не прошло — ликование сменилось глухой враждебностью низов, а пуще всего — молодежи? С кем вообще не стало сладу, так это со школьниками. Толпа этих сопляков забросала камнями императорский автомобиль. Пришлось приструнить. Сообщения печати, вездесущей наглой печати Европы и Америки, что из схваченных двухсот двадцати восьми детей большая часть погибла от побоев или была расстреляна,— гнусная клевета. Расстреляны не более сотни хулиганов, причем сам Бокасса только однажды присутствовал на допросе и лично пристрелил лишь двух парней с наиболее злобными рожами. Тем не менее обстановка стала неблагоприятной для дальнейшего пребывания в империи августейшей семьи. Пришлось переехать во Францию.

Временные неудачи не поколебали веры монарха в любовь своего народа, обманутого завистливыми и лицемерными интеллигентами, этими образованцами, по остроумному выражению не помню уж кого. Высокое уважение, проявленное к Бокассе истинными французскими демократами, еще более укрепило в нем сознание несправедливости изгнания и надежду на благополучное возвращение. Он не будет мстить обманутому народу, нет. Покарает лишь зачинщиков, которые, захватив власть в стране, пытаются вытравить из сердец простых земледельцев память о возлюбленном повелителе.

С этими мыслями Жан-Бедель, раздобыв фальшивый паспорт, сел в самолет и прилетел в Банги. Путь от аэродрома до дворца — когда-то императорского, ныне президентского — ах, как напрашивается аналогия с триумфальным переходом бухта Жуан — Париж, восторгом солдат и крестьян, целованием рук, слезами умиления. Оставалось только постучать табакеркой в ворота дворцовой ограды... Увы. Я думаю, этот путь император преодолел на такси. Нажал на кнопку звонка и был допущен к президенту. А после часовой беседы с глазу на глаз Жан-Бедель Бокасса был под стражей отправлен в тюрьму, где в настоящее время ожидает суда.

Будем считать 1:1. Наполеон прорвался, Бокасса не смог. Но старался. Посмотрим, как изменит этот счет Цесариум Леха. Теперь мы склонны полагать его живым и, как пишут в газетах, вынашивающим планы. Какие?

Дожить в довольстве и покое до конца дней своих, не помышляя о возвращении...

Оправдаться в глазах вселенской общественности, пописывая мемуары и иными средствами объясняя преимущества избранных им методов правления...

Набрать банду из старых соратников и всякого промеж планет шатающегося сброда, захватить власть на Лехе или другой периферийной планете и продолжать старое, завещав престол обожаемой дочери...

Где и в каком качестве он в настоящее время проживает?

По соседству с Лехом, на Малой Итайке, частным лицом, приторговывая наркотиками?..

Пиратствует потихоньку на внешних линиях, перехватывает грузовые беспилотные ракеты, о чем частенько сообщается в печати?..

Живет, глубоко законспирировавшись, на Земле-матушке, где занимает солидный пост научного сотрудника Музея свободы, равенства и братства?..

Все сие, мыслю, вскорости прояснится, купно с судьбою похищенной Марьи Лааксо и дочери тирана Салимы, принявшей имя Екатерины Платиной, поискам которых посвящается

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ (1958), по образованию режиссер, преподает в ГИТИСе. Пишет в «малом жанре» — ироническая проза и поэзия. С 1984 года публикуется в «Юности», «Огоньке», «Литературной газете» и других изданиях.

На болоте может не только стоять город, но и держаться государство.

В обществе изобилия: наручники из драгоценных металлов.

Из книжки афоризмов «Светлые мысли на черный день».

глава шестая

Прежде всего Андрис отправился в управление службы порядка. Пожилой инспектор с четырехугольным лицом беспечно замахал руками:

— Никаких оснований для беспокойства, уверяю вас. Разумеется, мы немедленно направим патруль для регистрации и обследования места события. Вы говорите, пятна крови? Без сомнения, какая-нибудь пустяковая травма. Если б вы знали, что за взбалмошный народ эти туристы. Она может объявиться в своем номере с минуты на минуту и устроить разнос администрации отеля, а заодно и нам, за нарушение неприкосновенности жилища. Или вовсе уехать, бросив вещи. «Земля» вообще славится экстравагантностью постояльцев. На прошлой неделе одну юную особу, дочь очень почтенных родителей, отец занимает немалый пост на Малой Итайке, так вот эту особу умыкнул на птерике наш местный шалопай из бюро обслуживания туристов. Прямо из номера через окно, представляете? Пока родители спали в соседней комнате, он подлетел к окну...— Инспектор перехватил взгляд Рервика и быстро закончил:—О результатах принятых мер вы будете извещены в кратчайший срок.

— Благодарю. У меня еще одна просьба. Помогите мне установить, где живет Екатерина Платиня.

Инспектор сузил глаза, по-черепашьи нырнул в бумаги тяжелой головой.

— Эта... Платиня—жительница Леха?

— Да,—твердо сказал Рервик, не понимая, откуда эта уверенность.

— В таком случае не знаю, смогу ли вам помочь. Обязательная регистрация распространяется у нас только на приезжих,—инспектор поднял голову от бумаг,—это делается исключительно для безопасности гостей Леха. Мы также настоятельно не рекомендуем им совершать самостоятельные поездки в отдаленные от туристических центров районы. После потрясений, имевших здесь место, не везде еще спокойно. Так, вчерашнее ваше путешествие на болота без надлежащей... надлежащей организации было неосторожным, весьма...

— Возможно, Платиня все же есть в ваших картотеках, или как там это называется?

— Извините, я отвлекся. Сию минуту. Если интересующая вас персона пожелала сообщить свой адрес в информаторий, мы узнаем об этом сей же час. — Инспектор повернулся к боковому столику и потыкал в допотопную клавиатуру. Довольно быстро он получил ответ: «Нет сведений».—Вот видите!—радостно сообщил он.—Еще три года назад, при всех изъянах тогдашней власти, вы не получили бы столь обескураживающего отказа. «Нет сведений»! Позор! В управлении службы порядка Леха нет сведений о его коренном обитателе. Немыслимо! Но факт. Оборотная сторона долгожданной свободы. Наш уважаемый гость не может найти... Как вы назвали эту женщину?

— Салима Болт!

Надо отдать должное инспектору. Он очень спокойно сказал:

— Разве? А я наводил справки о некоей, как мне показалось, Екатерине...

— Я думаю, это одно лицо.

— То, что вы говорите,—очень важно. По нашим сведениям, дочь Цесариума покинула Лех.

— А по моим сведениям, она здесь.

— Доказательства?

— Вчера я ее видел собственными глазами, а не позднее сегодняшнего утра она оставила в номере Марьи Лааксо вот это.

Инспектор внимательно осмотрел пудреницу.

— И что же, Салима Болт, не скрываясь, ходит по городу? Ведь ее каждый лехиянин знает в лицо.

— Я узнал ее только по этому изображению.

— Да, фото необычное. Мы привыкли к другим.

— Каким же?

— Были, знаете ли, каноны. Костюм, парик, взгляд, поворот головы. Некая обобщенность. Идеал.

— Может быть, поэтому ее и не узнавали? Тем более я не исключаю грима.

— Вы не могли ошибиться? Уловить сходство с фотографией э-э... десятилетней, если не больше, давности...

— Я—кинорежиссер.

— И все-таки. Может быть, простое сходство. Вы не оставите у меня эту вещицу?

— Нет.—Андрис убрал пудреницу в карман.—Возможно, вы правы. Просто сходство. Так я буду ждать известий?

— Да, да.

Инспектор грузно поклонился, и Андрис вышел.

И тут же столкнулся с Годом.

— Авсей, где Велько?

— Завтракает в «Сигнале».

— Есть важное дело. Вы не присоединитесь к нам?

— Буду через четверть часа. Что случилось?

— Пропала Марья. И еще...

— Еще?

— Поторопитесь. Вам это интересно.

Год кивнул и исчез в толпе.

Андрис ускорил шаг. Трезубец над таверной вынырнул из-за куста мохнянки. Перед Рервиком возник худой морщинистый человек, похожий на стручок. Где-то Андрис уже видел его. Улыбаясь узким лицом, он протягивал крупную ладонь:

— Андрис Рервик, если не ошибаюсь?

— Рервик,—механически подтвердил Андрис, подавая руку.

— Очень рад. Мы почти познакомились вчера. Собственно, я вышел вам навстречу по просьбе Екатерины.

— Екатерины?

— Ведь вы ее ищете?

— Я ищу Марью Лааксо.

— Екатерина вам поможет.

Компромиссный вариант: человек человеку волк, товарищ и брат!

Не зная, что делать с земной цивилизацией, мы стали искать внеземные.

Еще ни один руководитель не пообещал, что будет хуже.

Того, кто нашел выход, затопчут первым.

Стручок не отнимал руки. Она была влажной.

— Я провожу вас.

— Конечно. Я только зайду на секунду в «Сигнал Им».

— Предупредить Вуйчича?— Ладонь сжалась, Рервик почувствовал укол.

Стручок молча улыбался, приближая лицо. Рервик покачнулся. Как хорошо, однако, что этот милый горбун взял его под руку. Вы говорите, до этих зарослей? Точь-в-точь страусовые перья. Я пою? Вы правы, это неуместно. Сколь удивительно их сходство с подсвеченным земным солнцем облаком. Они так и называются — перистые. Ах, господин стручок, не сердитесь, но вы напоминаете мне персонаж старинной итальянской сказки. Там, знаете, кроме горохового стручка действуют и другие симпатичные создания, все по плодоовощному ведомству. Мы пришли? Нет? Полетим на птерике? Вчера мы летели, летели, а внизу болота, боло...

Рервик пришел в себя в стандартной каюте спейс-корвета. Он лежал в гамаке. Некоторое время, скосив глаза, рассматривал обстановку. Откидная доска-стол. Привинченная к полу табуретка. Санблок в углу. Обычная офицерская каюта корабля среднего класса. Андрису случалось проводить в таких недели, когда, в поисках драматических сюжетов, летал он между окраинными колониями, где списанные боевые единицы эс-флота, еще способные покрывать небольшие расстояния, использовались как грузовые и пассажирские корабли.

Стоило Рервику выкарабкаться из гамака, как на пороге возник человек в униформе, знакомой Андрису по фильмам XX века, а большей частью по костюмерным разных студий. Темный глухой пиджак с блестящими пуговицами и плетеными золотыми шнурами на плечах. Человек опустил на стол поднос, прикрытый салфеткой, и вышел, не сказав ни слова. Рервик присел на табуретку, откинул скользкую пленку. Металлический судок под крышкой. Крышку — долой. Ковырнул ложкой клеклый сизый комок артикаши в зеленоватых подтеках комбижира. Отодвинул судок. Два глотка из кружки с теплой бледно-желтой водичкой. Во рту сделалось сладко и противно.

М-да, подумал Андрис, что сказал бы об этой трапезе мой добрый друг Евгений Дамианидис — мудрец и тонкий ценитель гастрономических утех. Как славно они с Велько сиживали за дощатым столом в сакле Дамианидиса в Цихисджвари! «Учитесь, друзья мои,— вещал Евгений,— учитесь извлекать радость из простых, незамысловатых действий. Вот я беру лаваш, теплый,— он поднимал указательный палец,— и заворачиваю в него хороший кусок имеретинского сыра и маленький пучок тархуна. Я держу все это в правой руке, а в левую беру стакан вина из кувшина дяди Самсония. Но прежде чем поднести к губам сосуд с этим нежным, как бархат, напитком, необходимо сделать три важных дела: поднять стакан и взглянуть сквозь него на солнце, посмотреть вокруг и увидеть глаза друзей и, наконец, убедиться, что у тебя под рукой есть сочный спелый помидор, который вслед за вином и сыром отправится в желудок, чтобы сделать тебя совершенно счастливым».

Рервик очнулся от сладких воспоминаний.

— Эй!— крикнул он зычно.

Тотчас появился стюард, молча взял поднос, молча повернулся — уходить.

— Эй!

Стюард остановился.

— Мне нужен стручок.

Стюард смотрел на Рервика пустыми глазами.

— Передайте ему: отвращение к гороху не помешает мне съесть его вместо этой дряни. Идите.

Дверь щелкнула, и Рервик остался один.

Но ненадолго. Улыбаясь, вошел стручок.

— Прежде всего — глубочайшие извинения. За способ доставки на корабль. За скудость пищи. За дурные, недостойные гостя условия. — Горбун низко поклонился.

— Вам больше идет розовый фрак,— сказал Андрис.

— О!— искренне удивился стручок. — Какая осведомленность! Позвольте представиться: заведующий канцелярией куратория личных сношений Цесариума — Наргес, к вашим услугам.

Еще один поклон до пола.

— Где Марья?

— Я уже имел удовольствие сообщить, что вас ожидает встреча с Екатериной, и о Марье Лааксо вы, без сомнения, получите исчерпывающие сведения именно от Екатерины...

— Салимы? Давайте ее сюда.

— О! Степень вашей осведомленности воистину поразительна. Уверяю вас, по прибытии на место вы будете удовлетворены. Но...

— Но?

— Проявите благоразумие. Такт. Я не хочу сказать, что благополучие Марьи Лааксо, женщины вам, безусловно, дорогой, в большой степени зависит от вашей сдержанности и осмотрительности, но смею надеяться, что эти достойные похвал качества от природы присущи величайшему кинохудожнику современности.

— Величайший художник предупреждает, что он плевать хотел на ваши советы. А если с Марьей что-нибудь... Передайте мадам Екатерине, что я подавлю в себе от природы присущие мне сдержанность и осмотрительность, а также с немалым трудом воспитанное почтительное отношение к женщине и уничтожу ее вместе с папашей и всеми бледными варгесами и розовыми наргесами.

— Ах, я, пожалуй, оставлю вас на время. Вы должны отдохнуть, вас ожидает ответственная миссия. Впрочем — молчу, молчу, молчу. Пусть это будет приятным сюрпризом, роскошным подарком, достойным столь выдающегося человека. Я не побеспокою вас до конца полета.

Когда понимают,
что все плохо,— уже хорошо!

Лилипуты не устают
напоминать гулливерам
о скромности.

Человек,
с точки зрения обезьяны,—
пример того, до чего может
довести труд.

Ветер перемен не должен
свистеть в ушах.

— Пусть меня побеспокоит стюард. Если мне не дадут человеческой еды, ответственная миссия окажется под угрозой.

Наргес, пятясь, вышел, а Рервик вновь залез в гамак и погрузился в мрачные размышления. К действительности его вернул визг тормозов. Корабль задрожал, качнулся и замер*. Рервик стал вслушиваться. Топот тяжелых ботинок. Отрывистые голоса — по-видимому, команды. Вскрик — не женский ли? Андрис подошел к двери и замахнулся кулаком — стучать, но в эту минуту дверь отворилась. Вошли двое — стюард и другой, в той же форме, но огромного роста, на голову выше и вдвое толще Андриса, который и сам был мужчиной крупным. Стюард молча подал Рервику широкую ленту и показал на глаза. «Средневековые штучки», — пробормотал Андрис, завязывая узел на затылке. Амбал убедился, что повязка прилегает плотно. Потом взял Андриса за локоть и повел. Пахнуло сыростью. Двадцать ступенек вниз по трапу. Ветер, редкие капли дождя. Под ногами мягко. Каблуки вдавливаются в землю. Рервик проволочил ногу — похоже, трава. Шли не более получаса. Наконец каблуки застучали по камню, пропали капли, исчез ветер. Несколько поворотов, лязг запоров. Негромкие реплики встречных. Лифт, спуск, снова коридор. Нежное движение воздуха, сладковатый запах духов, нет, не духов, пожалуй. Смолы? Ноги ступали по чему-то упругому. Остановка. С пленника сняли повязку.

Андрис был в помещении, отрезанном от мира разного рода портьерами, ширмами, экранами. Складки материи уходили далеко вверх, сходясь в глубокой полутьме. Под ногами толстый пурпурный ковер. Там-сям, без видимого порядка, низкие белые столики, подушки. С каждой стороны камина, большого, тяжелого, — светец с курящимися пахучими палочками. Конвоиры исчезли. Рервик был один. На ближайшем столике он обнаружил поднос, подгреб пару подушек, сел и приступил к делу. Отвар из очень толково смешанных овощей и трав, орехи вестуты в соленом тесте, печеные бананы с медом. Не успел Рервик сытым жестом отодвинуть стакан кисловатого сока, оставившего нежное послевкусие на языке, как явился юноша в белом мундире и убрал поднос, пятясь и кланяясь. Рервик поднялся. Из-за ширмы показалась высокая женская фигура. Одновременно стал ярче свет люстры.

— Рада видеть Андриса Рервика у себя. Там, на Лехе, нам не удалось познакомиться. Это не моя вина, а скорее беда — ведь именно для знакомства с вами я прилетела на родину. Стыдно признаться, но цель знакомства виделась мне не совсем бескорыстной. Да и может ли сам Рервик надеяться на бескорыстное отношение? Его слава, увы, делает такую надежду призрачной...

Грубая лесть в сочетании с пленительными манерами обескуражили Рервика. Он сделал попытку прервать Салиму, но она царственным жестом предложила ему сесть рядом и продолжала свою речь:

— По роду занятий мне часто приходится бывать на Лехе, и каждый раз сложные, противоречивые чувства наполняют мое сердце. Родина. Для изгнанника это слово значит не в пример больше, чем для полноправного гражданина. Много чужого, враждебного народилось там за эти годы. Странное, оскорбительное шутовство охватило всех и вся. Карнавал без конца и без края. Признак духовного здоровья народа, скажете вы. Полнокровный смех, жизнерадостные развлечения. Отброшен страх перед властью. Да, да, это так. Но вместе со страхом пропали и внутренняя собранность, напряженность, энергия... Вместе с ограниченностью и жаждой повиноваться ушли жертвенность, самоотверженность, целеустремленность. Оборвалась трагическая струна, натянутая некогда в сердце всякого лехиянина. А величие и трагедия идут рука об руку. Возьмите историю...

— Не хочу, — решительно сказал Андрис.

— Чего вы не хотите?

— Послушайте, я желаю знать, зачем меня погрузили в корвет и притащили в эту пещеру Монте-Кристо. Кстати, вас здесь все равно найдут.

— Как вы прямолинейны, Рервик! Вы не дали мне докончить. Я хочу лишь убедить вас, что не так все призрачно в прошлом моей родины, как вам представляется. Отец — не монстр, не был им никогда. Его сердце кровоточит. Он, как и я и как — я уверена — вы, хочет одного — справедливой оценки всего содеянного им и при нем. А поскольку вы — лучший режиссер нашего времени — собираетесь включить историю Леха в контекст огромного полотна, посвященного уродливым проявлениям власти, мы хотим, чтобы вы знали правду. Ведь справедливость требует, чтобы были выслушаны обе стороны, не так ли?

— Я бы выслушал сообщение о том, где находится Марья Лааксо.

— Очень близко от нас. Мы рассчитываем на ее содействие.

---

* Конечно, это против правил. По логике научно-фантастического мира Рервик должен был старательно прикидывать, как далеко от Леха умчал его Наргес, и выбрать из соседних планет две-три наиболее подходящих. Скажем, ту же Малую Итайку и Голубую Сколопендру. Скорее, думал бы Андрис, эти мерзавцы свили гнездо на Сколопендре — место глухое, редконаселенное. И тут для приобщения читателя, приваживания и привязывания к построенной модели — вскользь сообщить о кое-каких подробностях тамошней жизни. Скажем, дома у них этакие, из затвердевшей пены, жители передвигаются на одноколесных велосипедах с фотонной тягой, а важные всепланетные дела решаются бросанием кубика, осуществляемым специально для этих целей избранным сколопендрянином. Невредно мазком-другим дать представление о конструкции и скоростных возможностях спейс-корвета, умыкающего Андриса. Гиперпространственный двигатель... Прокол римановой складки. Дюзы, клюзы. Отдать концы. Рубить бом-брам-стеньгу. И никаких тормозов, тем более скрипящих. Боже сохрани. Так что визг тормозов следует считать неуместным, а потому отмененным.

— Что-что?

— Эта в высшей степени благоразумная женщина поможет вам рассказать правду об отце.

— Когда я ее увижу?

— Как только я уйду.

— Так уходите!

Такого Салима, видимо, не ожидала. Она резко поднялась и тут же снова села, но не рядом с Рервиком, а поодаль. Помолчав, она сказала:

— Вам здесь будет удобно, надеюсь. Сейчас вас проводят в вашу комнату. Если будет нужда в чем-либо — кроме свежего воздуха и неба над головой, — обращайтесь к Наргесу.

Теперь она встала вполне величественно и, чуть приподняв длинные юбки, направилась к ширмам.

Вспомнил! Вернее, нашел. «Отмщенье, государь, отмщенье! Паду к ногам твоим: будь справедлив и накажи убийцу, чтоб казнь его в позднейшие века твой правый суд потомству возвестила, чтоб видели злодеи в ней пример». Эти строки француза Ротру Лермонтов взял эпиграфом к своему «На смерть Поэта», но в современных изданиях они не часто приводятся. Кто только не вспоминал! Три писателя, главный режиссер детского театра, литературный критик, маститый переводчик, не говоря уж о коллегах по институту и членах их семей. Предполагали Шекспира и А. К. Толстого, Пушкина и Ростана. Называли даже «Тристана и Изольду»... Сколь неуверенно себя чувствуешь в плотной и душноватой атмосфере цитат, давно бесхозных, потерянно толкущихся в тесном культурном пространстве. «Мавр сделал свое дело...» Или: «Товарищи! Мы выступаем завтра из Кракова». Сквозь лязг шашек и гусениц, через приметы партизанского быта, между землянками, «языками» и танками, идущими ромбом, ощупывая нить пятистопного ямба, ты идешь на этот голос: «...из Кракова?» Неужто майор Вихрь какой-нибудь? Нет, братцы, нет. «Я, Мнишек, у тебя остановлюсь в Самборе на три дня». Приехали. «Борис Годунов». После подобного урока начинаешь с осторожностью относиться к такому тексту: «Милиционеры вбежали в кусты, но из-за завала затрещало один за другим несколько выстрелов». Шейнин? Овалов? Вайнеры? Какой редактор пропустит это з-за-за-за — «из-за завала затрещало»? Ясно, что писал большой начальник, редакторам неподвластный. Так и есть: Толстой Лев Николаевич. Милиционеры охотятся за Хаджи Муратом. А мавр, сделавший свое дело, кстати, — из Шиллера. «Заговор Фиеско в Генуе», юношеская драма периода «бури и натиска».

Вернемся, однако, к Рервику. Пропускаю заведомо нудное описание стража в трико и войлочных тапочках, сопровождающего Андриса по муравьиным ходам в трехмерном пространстве убежища.

Шли долго, но и оказавшись в своей каюте (камере?), Андрис продолжал гадать, почему посулила ему Салима все, кроме открытого неба. Негодная атмосфера? Но он уже дышал ею. Боязнь, что он сориентируется? Напрасная. И на земном небосклоне Андрис с трудом находил Большую Медведицу, а уж дубль-ве Кассиопеи или тем паче крест Лебедя были для него лишь объектами из фантастических романов и кроссвордов. Впрочем, Салима могла этого и не знать.

Рервик неотрывно смотрел на дверь. И дверь открылась.

Он с трудом узнал Марью. Лицо ее осветилось на секунду, но тут же потухло. По-старушечьи пряча плечи в грязно-бурую тряпку, она вошла чуть боком. Остановилась, глядя в пол. Длинные тонкие ноги в резиновых тапочках выглядели беззащитно и жалко.

— Марья!

Дрожь ледяной ладони. Андрис обнял ее, и она застонала. Бурый платок сполз с плеча, обнажив синий кровоподтек. Марья беззвучно заплакала. Бессильно прильнула к Рервику. Он поднял ее на руки и осторожно положил на койку.

— Ай-яй-яй, гордая землянка. Или землячка? Земляничка?.. — Андрис бормотал несусветицу, промокая платком слезы девушки. — Держись, малыш.

— Они... они... били. Я их ненавижу... Я их боюсь.

Андрис начинал понимать, какое потрясение испытала Марья, никогда в своей жизни не знавшая насилия, унижения, страха, не ведавшая стыда от грубой физической боли.

— Теоретик рыжий. Как же ты изучала свои исторические мерзости? Ну, ничего. Тише, тише. Расскажи мне все. С той минуты, когда я ушел из гостиницы...

— Только ты держи меня за руку, ладно? — Марья заговорила сбивчиво, но понемногу успокоилась. — Они ждали в номере. Я вошла, а свет не зажегся. Я удивилась, потянулась к выключателю. Тут меня схватили за руки. И началось. Их было сначала двое. Тот горбун, ты видел его у стадиона...

— Наргес.

— Да, так его называла Екатерина. Они требовали кристалл с записью рассказа Эвы. Хватали меня своими мерзкими лапами. Тот, второй, тонкогубый, пальцами костлявыми... Больно, противно, страшно. Кричать я не могла — сначала от неожиданности, потом мне рот заткнули какой-то пружинистой грушей. Иногда ее вынимали, спрашивали, где кристалл, и опять били. А потом из-за ширм вышла Екатерина. Я уже мало что понимала. Обрадовалась. Она мне: «Отдай им, деточка, кристалл, и они уйдут». А я: «Нет у меня кристалла. Скоро весь мир узнает о ваших мерзостях». Она: «Ты отдала его Рервику, детка? Неужели ты поступила так неосторожно?» И близко ко мне наклонилась. Я рванулась и головой ей в лицо. Она — в ванную. Кровь. Потом вышла: «Не трогать ее». И мне: «Не бойся, не дам тебя в обиду».

Иосиф Сталин

Одно из двух: *либо* крестьянский вопрос является главным в ленинизме, и тогда ленинизм непригоден, не обязателен для стран капиталистически развитых, для стран, не являющихся крестьянскими странами; *либо* главным в ленинизме является диктатура пролетариата, и тогда ленинизм является интернациональным учением пролетариев всех стран, *пригодным и обязательным для всех без исключения* стран, в том числе и для капиталистически развитых. Тут надо выбирать.

Ервик молча гладил Марью по мокрому лицу.

— Потом меня укололи чем-то. Я плохо помню, что было. Мне даже показалось, я сама вышла из гостиницы. А очнулась уже здесь. Когда — не знаю. Очень пить хотелось. Я позвала. Вошли двое, уже другие. Один — огромный. Пить дали, немного. И я поняла — сейчас опять. И закричала. О, Андрис, как мне стыдно. Я боюсь их, боюсь, боюсь, боюсь... Этот, огромный, сжал мне пальцы, навалился. И опять вошла Екатерина.

— Салима.

— Как ты сказал?

— Салима, дочь Болта.

— Ах, вот как. Она их выгнала. И сказала, что скоро я увижу тебя. Что от того, как я себя поведу, зависит и моя и твоя судьба. Что она верит в мое благоразумие. Потом меня покормили. Андрис...

Марья затихла, задремала.

Андрис сидел, боясь пошевелиться. Рука под щекой Марьи затекла. С шумом распахнулась дверь. На пороге стоял тот же детина, что вел Андриса в пещеру. Он уже открыл рот, но Ервик прижал палец к губам, осторожно вытянул руку из-под щеки Марьи и встал.

— Позови Салиму,— сказал он негромко. — Быстро!

Детина пожал плечами и вышел, неслышно прикрыв дверь.

Марья шевельнулась, застонала и снова затихла.

Теперь дверь отворилась осторожно. Мягко ступая сапожками, вошел Наргес. Предупредив возмущенный возглас Ервика, он вытянул перед собой ладони, как бы отталкиваясь:

— Я знаю. Ваше желание говорить с Салимой Болт доведено до ее сведения. В настоящую минуту оно невыполнимо. Придется подождать.

— Сколько?

— Простите?

— Сколько ждать?

— О, недолго. Возможно, день. Или два. Но...

— В вашей богадельне есть врач?

— Разумеется, разумеется.

— Впрочем, нет. Врач не нужен. Ваш врач не нужен. Пришлите все необходимое, чтобы обработать раны и ушибы. Обезболивающее. И поживее.

— Я сам хотел это предложить. Мы позаботимся о пострадавшей. Уверяю вас, излишняя жестокость в отношении Марьи Лааксо, допущенная нашими людьми, вызвала самое суровое осуждение Цесариума. Увы, увы, не всегда приходится работать с людьми, наделенными желаемыми качествами. На сей раз, даю вам слово, я лично прослежу, чтобы наша... гостья не испытывала неудобств. Разумеется, я не могу обеспечить комфорта первоклассного отеля, но приличные условия и уход на протяжении всего визита в наше — увы! — убежище будут предоставлены, без всякого сомнения, в чем прошу принять...

Ервик шагнул вперед, и за спиной Наргеса выросла фигура с трубкой парализатора в руке.

— Ну-ну. Удаляюсь, удаляюсь, удаляюсь. Вынужден, впрочем, настаивать на том, чтобы наша гостья вернулась в отведенное ей помещение, где ей будет гораздо удобнее, уверяю вас. Теперь, когда вы убедились, что Марье Лааксо ничего не угрожает, вы и сами можете предаться заслуженному отдыху в ожидании того знаменательного события, которое не замедлит воспоследовать...

Ервик уже не слушал, а только наблюдал, как два вновь вошедших служителя уложили Марью на полотняные носилки, причем один из них слегка коснулся инжектором ее руки, прервав стон и ловко поправив обмякшее тело. Неслышными войлочными шагами они вышли, за ними скользнул Наргес, последним — страж с парализатором. Дверь с лязгом захлопнулась.

Всего-то примитивный шантаж, размышлял Ервик, повалившись на койку, но именно примитивному шантажу трудно противостоять. Марья в их руках. Но чего они добиваются? Неужели все это затеяно ради того, чтобы он создал образ благородного Цесариума и увековечил его славные деяния? Впрочем, может ли прийти к иному средневековое сознание, так тщательно изучаемое Марьей, его жертвой. И, надо надеяться, последней. Ясно одно — нужно тянуть время. Пока Велько не начнет поиск. Какие у него нити? Разговор с инспектором службы порядка. Но тот почти наверняка человек Болта. Встреча с Годом. Что-то это дает, но мало. Насколько глубоко законспирированы люди Болта? Сколько их? Что принадлежит Цесариуму и Салиме? Кучка людей и этот бункер? Город и целая армия? Вся планета? Один спейс-корвет или мощный флот? И где все это находится?

Ервику представился румяный красавец Цесариум в тоге, на пьедестале, с поднятой в римском приветствии рукой и улыбкой на полных, мужественно очерченных губах. Он смотрит вдаль мудрым взором и глубоким баритоном произносит:

Но много нас еще живых, и нам
Причины нет печалиться.

Вот и явился эпиграф к этой главе. Пусть он, придя с опозданием, здесь и остается. Не тащить же его в начало.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

Душный майский вечер навалился на Рим. Секретарь папской ассоциации католических литераторов, то и дело промокая лоб и затылок батистовым платком, терпеливо увещевал поэта.

— Ей-богу, товарищ Алигьери, зачем вам эти неприятности? — говорил он с милой улыбкой, но кривя губу.— К чему поливать грязью черных гвельфов, достойных граждан и истинных патриотов Флоренции? Ведь нет сомнения, что они беззаветно преданы святейшему отцу, мудрейшему Бонифацию

Мирбобо Мирахимов Клановому режиму в Таджикистане удалось себя сохранить благодаря умело спровоцированному введению войск и чрезвычайного положения.

VIII, нашему славному Бони. Не щадя сил, борются они за новый порядок. А вы? Вы обвиняетесь в подкупе, в кознях против святого престола. Флорентийские патриоты не просто настояли на вашем изгнании — в случае появления в городе вас решено предать костру! Они, конечно, перенервничали. Иначе не кричали бы вам нелепые и, быть может, обидные слова. Что они там кричали? «Данте, убирайся в свой Израиль! А то в следующий раз придем с арбалетом Калашникова!» Скажите, кому на пользу такое ожесточение нравов? Что нужно нам всем? Мир, покой и... Ну, догадываетесь? Твердое и нерушимое единство. Единение! А вы своими стишками хотите разъединить нас, поколебать папский престол. Разумно ли это? Вы устали от скитаний. Вы раздражены. Плохо выглядите. Сам папа справлялся о вашем здоровье. Мы хотим предложить вам путевку в пансионат. Выбирайте — Лазурный берег, Сорренто... А если вас не пугает дальняя дорога, рекомендую Таврию, прославленный Дом творчества в Коктебеле. Целебный климат, питание выше всяких похвал. Хотя, впрочем, в тех местах сейчас обосновались татары, генуэзцы забросили свои крепости, так что это небезопасно. Нет, нет, лучше всего — кардинальский санаторий под Римом. Три часа неспешной езды на двуколке. И мой вам совет — посвятите папе два-три бодрых стихотворения... Что-нибудь такое. Светлое. Обнадеживающее. Тим-пам, ри-ра-ра... Ну, не мне вас учить. И лучезарное будущее вам обеспечено.

Арестован Данте был именно там, в санатории под Римом.

Другой великий изгнанник был взят в санатории на станции Черусти. Третий перед арестом размышлял о Мухаммеде, уничтожавшем поэтов рьяно. Поэты мешают правителям. Мешали всегда.

Друг мой, честно говоря, не помню, кто кому на сей раз пишет. Причина проста: я позабыл поставить прощальную подпись в конце предыдущего послания. Ну вот, разобрался в бумажках, выяснил: то письмо писано Владимиром, стало быть, это пишет Андрей. Пишет, естественно, из Савельева, ну, скажем,

20 февраля

Дорогой Владимир!

С некоторым опозданием, но от души поздравляю с днем рождения. Пусть стада твои не знают мора, множится дичь в твоих угодьях, тучнеют нивы, пусть будет жирным молоко верблюдиц твоих, а рабы твои да не потеряют силы и уменья. Спешу также поздравить домочадцев твоих и пожелать вам всем благополучия и процветания.

Хочу дополнить портрет Жана Бокассы маленькой деталью, промелькнувшей в савельевских газетах: император, помимо прочих увлечений, любил человечину и хранил в холодильнике отдельные части тел своих подданных. По этому роду занятий он вступил в достойное «социалистическое соревнование» с другим прогрессивным императором — угандийским Иди Амином. Поневоле думаешь, каков будет приговор каннибалу-монарху? Если исключить прилюдное поедание преступников, как противоречащее некоторым, пусть интуитивно понимаемым, установлениям цивилизованного общества, как ни зыбки границы последних, остается все же немалый выбор способов выражения неодобрения, широко культивируемых с южных гор до северных морей. Ливийский полковник, например, своих противников вешает, причем процедуру казни транслирует по национальному телевидению. Пронырливые американские телеребята сами, без понукания властей, умудряются показать искаженную удушьем физиономию мультиубийцы за стеклом газовой камеры. Немало обремененных многовековой культурой наций стыдливо «мочит» своих террористов и шпионов, убийц и насильников, валютчиков и налетчиков. Все весьма справедливо en masse и страшно в каждом отдельном случае. Ибо где грань: вот этого — к высшей мере, а того, учитывая кое-какие обстоятельства, — помиловать? Вот и в Витебске (да только ли в нем) группу лиц за тягчайшие — к высшей*. И привели в исполнение. А потом нашли истинных виновников. Что же делать с теми, кто — назовем это так — ошибся и совершил ритуальное убийство «неправильно»? Не убивать же. А то конца не будет.

В замечательное время живем.

Вернемся к Андрису. Мне показалось, что мы отправили его на встречу с Болтом без должной подготовки. Мало он поварился в прошлом Леха. Я вижу его в серьезной работе: режиссер изучает натуру, историю, тонкости быта и нравов эпохи. Пропадает в библиотеках — разрешение работать в спецхране получено не без труда после настойчивых просьб больших людей с Земли. И к рассказам Иокла и Эвы, к видеокадрам Года прибавляются сюжеты ЛЕХроники, картины официальных художников, романы премированных писателей, поэмы и оды, газеты, газеты, газеты...

«Вопрос о взятии высот
по увеличению продуктивности ейловодства

Цесариум учит, что для овладения высотами по доведению продуктивности вселехианского ейлост да до контрольного уровня надо решить вопр откорма, что можно сделать двумя путями, один которых соответствует основополагающим идеям, потому верен, другой же идет с ними вразрез, потому порочен, вреден и преступен, в силу чег должен быть отброшен, осужден и предан забвени как преступный, вредный и порочный.

---

* Слово-то какое. Самое низкое называют самым выс ким. Таковы люди.

Петр Вяземский

Чернила соблазнительны. Они имеют нечто общее с вином, чтобы не сказать с кровью.

Сегодня Цесариум посетил строительство ейловодческого комплекса, ознакомился с положением дел и дал программные указания, служащие руководством к ускорению работ. Строители немедленно встали на вахту и поднялись на борьбу за претворение в жизнь указаний Цесариума. Глубоко осознав, что без опережающего ведения вскрышных работ нельзя добиться увеличения надоев на одну ейломатку, бурильщики провели закладку сенажа на хранение в труднейших погодных условиях...»

Андрис отложил газету и открыл глянцевитый журнал. На ярком снимке — молодой Болт рядом с крепким загорелым мужчиной средних лет. В руках у мужчины — вилы. «Цесариум беседует с честным тружеником Заболотья, первым поднявшим факел пожертвования яиц кицы нуждающимся патриотам. Цесариум, очень занятый делом строительства нового Леха, все-таки выбрал время для встречи с молодым вилосуем и яйцехватом Кимоном Стахом. Широко улыбаясь, Цесариум крепко взял его жесткую, привыкшую к вилам ладонь. Охваченный небывалым волнением, Кимон Стах не мог найти слов. Цесариум, проникнув в сокровенные думы яйцехвата, сказал: «Сегодня простые труженики стали свободными и полноправными хозяевами планеты и могут полноправно и свободно трудиться». Высоко оценивая поступок Кимона, пожертвовавшего недостаточным инвалидам собранные им яйца, Цесариум подчеркнул, что этот поступок является замечательным почином, патриотическим начинанием, вытекающим из глубокого осознания долга каждого честного труженика перед недостаточными инвалидами. Впоследствии Кимон Стах часто говорил о волнующих событиях того незабываемого дня, когда Цесариум пригласил его откушать вместе с ним, и о том, что Цесариум, отдавая все силы мощного ума и могучего организма борьбе на благо честных тружеников, питался исключительно кашей из толченых зерен вестуты, полностью пренебрегая икрой, севрюжкой и коньяком».

Почувствовав легкий звон в голове, Рервик стал механически перебирать газеты. Глаза наткнулись на аршинный заголовок:

«Цех, удостоенный высшей награды

Замечательное событие произошло вчера в игольном цехе комбината имени Кунмангура. Тружеников этого славного предприятия ждала встреча с Любимой Дочерью, которую сам Цесариум послал в игольный цех, чтобы удостоить его замечательной награды за достигнутые успехи. Услышав о радостной новости, каждый работник игольного цеха взял на себя обязательство овладеть передовыми методами заточки игл, повысить культурный и физкультурный уровень и повести борьбу за выполнение.

Любимая Дочь, ознакомившись на месте с жизнью и трудом тружеников игольного фронта, дала указание о заточке игл с обоих концов, что позволит смежному комбинату вдвое повысить производительность швейных операций при пошиве основной продукции.

«Вдвое больше знамен, стягов, флагов, вымпелов, хоругвей и штандартов смогут сшить ваши товарищи, славные швейники комбината имени Мутинги!» — сказала Любимая Дочь.

Потом она остановилась у рабочего места знатной дыробойщицы Квалы Палех. На ее дыробойном аппарате висит гордая надпись: «Дважды образцовый станок», а чуть ниже — «Станок высокой культуры дыробоя». Любимая Дочь ласково улыбнулась Квале Палех и сказала: «Я расскажу Цесариуму, какие замечательные люди трудятся в игольном цехе». Под восторженные клики тружеников Любимая Дочь вручила Квале Палех замечательную награду — слепок указующей десницы Цесариума.

— Рука Любимого Руководителя отныне всегда будет указывать нам путь — единственно правильный путь к счастливым и замечательным свершениям в нашем замечательном труде на благо.— Так сказала скромная труженица, гордая высоким почетом, оказанным ей и всему игольному цеху Цесариумом и Любимой Дочерью.— От имени своих товарищей по цеху я заверяю Любимого Руководителя и Любимую Дочь, что наш цех немедленно приступит к двухсторонней заточке нашей продукции, преодолевая гнусную косность улиток и разнузданное низкопоклонство сольников. Так заточим же больше игл на радость Цесариуму и Любимой Дочери!

И все труженики игольного цеха немедленно возобновили замечательный трудовой процесс».

Ниже шли стихи, написанные Квалой Палех ночью, после знаменательного дня награждения.

Что игла? Пустяк, и только —
Так считалось до сих пор.
Разве стоит на такое
Обращать вниманье нам?

Но Цесариума мудрость
Помогла нам разглядеть,
Что любая в мире малость
Может пользу принести.

Дочь Любимую послал он
В наш родной игольный цех,
Чтобы путь навстречу солнцу
Лехиянам указать.

И теперь на комбинате
Мы клянемся как один
Двухстороннюю заточку
Обязательно внедрить.

Вот теперь, я думаю, Андрис полностью готов к встрече с Болтом, которой и посвящена

Петр Чаадаев

Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное — это любовь к истине.

глава седьмая

Люди его не пускали в дома, города
не пускали
В стены свои, но Метоб не сдавался,
свирепый как прежде.

Вергилий

Андрис ждал в той же ширменной. Он был начеку и все же не заметил появления Любимого Руководителя. Его не было — и он есть. Переход от одного состояния к другому был неуловим. Как будто Болт вечно стоял, опершись рукой о каминную полку. Спокойные темные глаза улыбались. Короткие волосы по-римски набегали на лоб и виски. Голова чуть крупнее античных канонов, но прекрасной лепки. Величавые складки белой тоги. Полные губы разомкнулись.

— Не откажите в любезности, Андрис Рервик. Преодолейте на короткое время укоренившееся в вашем сердце предубеждение и выслушайте меня если не доброжелательно, то хотя бы не враждебно. Прошу вас. — Плавным жестом Цесариум пригласил Рервика сесть, подождал, пока тот опустится на груду подушек, но сам остался стоять.

Андрис поздно понял невыгоду своего положения. Болт возвышался над ним, подавляя еще до начала разговора. Подавляя спокойным величием, красотой лица и позы, звучностью голоса. Разозлившись на себя, Андрис неуклюже поднялся и резко сказал:

— У вас есть обычный стул?

С двух сторон тут же возникли униформисты, и у низкого столика появились две белые табуретки. Однако Рервик и Болт продолжали стоять друг против друга. Наконец Цесариум согнал с лица улыбку и заговорил:

— Не буду извиняться за причиненные вам неудобства, ни за душевные и телесные обиды, нанесенные моими людьми вашей подруге. Не одобряя методов, я тем не менее беру на себя всю ответственность за содеянное.

Он помолчал и снова улыбнулся — мягко и грустно.

— Салима говорила с вами. Думаю, мы обойдемся без околичностей. Я не хочу уходить в небытие монстром. Это нежелание и заставило меня такими — грязными, по вашему убеждению, — мерами вынудить вас выслушать мои аргументы. Я не был уверен, что, встретившись со мной, вы не попытаетесь меня уничтожить. Отсюда эти меры. Увы, жестокие. На вашем языке — шантаж. Пусть будет шантаж. Лишь бы цель была достигнута.

— Цель?

— Освещение истины во всей ее сложности и противоречивости, а не обряженной в двухцветный балахон плохое-хорошее.

Андрис молчал.

— Разумеется, вы как художник сами выберете метод достижения цели. О, я ценю искусство! Жалкие глупцы подняли крик: «Болт разрушил искусство Леха». Ложь. Я просто загнал эту необузданную стихию в приличествующие рамки. Два-три благоразумных критика подготовили в газетах почву. Доступно изложили основные принципы нашего единственно правильного метода народного искусства. Мы, в свою очередь, усилили убедительность их доводов рядом своевременных казней. Я вообще вам скажу: поэты, художники — люди в массе своей физически нестойкие. Чуть пожестче допрос, и они вполне готовы служить. Ну, а в сложении слов — истинные мастера. Искусство во все времена было продажным в достаточной степени, чтобы находить весьма изощренные инструменты для выражения любых идей, угодных и нужных заказчику. В вашей воле использовать какой-либо аргумент из тех, которые я намерен изложить, или изобрести свой. Лично я фундаментом успеха нашего предприятия полагаю тот факт, что Марья Лааксо останется под нашим покровительством, пока вы не решите вашу творческую задачу или мы с вами не найдем более надежную гарантию взаимопонимания.

Андрис продолжал молчать. Повинуясь очередному невидимому сигналу или заранее условленной программе, служители внесли подносы и уставили стол сосудами и сосудиками изысканных форм и расцветок с фруктами, орехами, паштетами, крохотными финтифлюшками из черт знает чего, но жутко аппетитного и дразнящего. В центре встал высокий кувшин с густым темно-красным напитком.

— Здесь все лехиянское. Нелегко доставлять эти милые сердцу дары родины в глушь изгнания, но радость, даваемая ими, столь велика...

Цесариум налил вино в плоские пиалы. Пригубил, кивнул, сел на табуретку.

— Мне кажется, вы не восприняли с открытым сердцем моего замечания о продажности искусства. Это вовсе не хула. Фиксация действительного порядка вещей. Мир безграничен. Человек смертен. Искусство продажно. Сначала оно служило — то есть продавало себя — религии. Потом — деньгам. Потом — власти. Иконы — вершина живописи. Храмы — архитектуры. Мессы, хоралы. Оды, панегирики. Все на продажу — за почетную должность, богатство, славу. Теперь я покупаю вас. Андрис Рервик создаст шедевр, который смоет позорную грязь с имени скромного слуги своего народа, бывшего Цесариума Леха, Жоземунта Болта. В качестве платы предлагаю свободу вам — немедленно по заключении сделки, свободу Марье Лааксо — в оговоренный впоследствии срок. Ну, и соблаговолите выслушать аргументы, могущие помочь в исполнении этой нелегкой, но славной миссии. К изложению последних я и приступаю.

Болт с легким стуком поставил пиалу. Затем поднялся и торжественно произнес:

— Аргумент первый. Путь Леха — свой путь. Земля не может быть эталоном для своих исторических колоний. Следовать примеру землян — погрязнуть в благополучии и животном довольстве, пре-

Станислав Лем

Наука — это та часть культуры, которая соприкасается с окружающим миром.
Мы выковыриваем из него кусочки и поглощаем их не в той последовательности, которая бы нам наиболее благоприятствовала, — ибо никто нам этого любезно не подготовил, — а в той, которая определяется лишь мерой противодействия материи.

вратиться в анемичную, бездуховную нацию, лишенную самосознания. Земля — музей. Она бессильна и чванлива. Подобно позднему Риму, она пьет соки своих провинций, питается их идеями, их энергией. Преодоление физических, материальных трудностей, телесных страданий — залог жизнеспособности, стимул творческого развития, продуктивности. Состояние комфорта — конец поиска, конец борьбы, застой, смерть. Напрягаясь в борьбе с врагами, лехияне укрепили единство, волю, целеустремленность. Поэтому в те периоды истории, когда горизонт был чист и ничто не мешало процветанию, вместо ожидаемого броска вперед возникало торможение. Вот тогда...

— Тогда вы придумывали сольников и улиток, чтобы было с кем бороться,— сказал Рервик.

— Сольники появились сами, а улиток действительно пришлось выдумать. Впрочем, это тактические мелочи нашего развития. Основная же мысль: трудности — вот двигатель прогресса. Из этой мысли и следует исходить при оценке нашего, а следовательно, и моего пути. Я вижу, у вас возникают вопросы?

— Конечная цель вашего движения?

— Конечной цели не существует. Если есть цель, то есть и конец движения. Цель может только провозглашаться. Так же, как народовластие, свобода. Практически же — это слова великого мудреца древности, никем еще не опровергнутые,— нельзя освобождать людей во внешней жизни больше, чем они освобождены внутри. Народу легче выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы. Вы знаете, к чему обычно приводит внезапно обретенная вчерашними рабами свобода? К всеобщей резне. Можете эту мысль использовать как второй аргумент.

— Отказ от дара свободы означает добровольное повиновение. Тот же мудрец, если не ошибаюсь, утверждал, что времена слепого повиновения прошли. Дисциплину можно и нужно нарушать там, где она зовет на злодейство. Или сейчас, через сотни лет, время несвободы вновь пришло?

— Именно, пришло! Здесь и сейчас. Hic et nunc. И повиновение не слепо — оно осознанно. Обусловлено движением к цели.

— Которой не существует.

— Ай-яй. Не передергивайте. Конечной — не существует. Но каждый шаг есть движение к некоторой промежуточной. Или, если хотите, к той самой, конечной, но она на этот шаг сразу и отдаляется.

Теперь — аргумент третий. Зло и добро — равноправные принципы бытия, неразлучные, как две стороны одного листа бумаги. Полторы тысячи лет тому назад это провозгласили великие манихейцы. Видите — я ничего не придумал сам. Но я хороший ученик. Нет чистоты без грязи. Счастья — без страдания. Добродетель предполагает точку отсчета. Мерзавцы и герои — лишь противолежащие точки одной шкалы. Как волки—овец, как булугу — ушанов, так негодяи держат в тонусе добродеев. Зло порождает добро, снабжает его локтями, зубами. А потому, ополчившись на зло, вы одновременно покушаетесь на основополагающий принцип бытия и свергаете с трона добродетель. Зло нельзя уничтожить, не потеряв при этом человека.

— Вас послушать, так у нас с вами одинаковая точка зрения. Получается, вы считаете злом то, что творили?

— Безусловно. Творил сознательно и, будь моя воля, продолжал бы.

— Дескать, для твоего же блага тебя мучаю, говорит палач жертве, висящей на дыбе.

— Для его блага, а пуще — для блага других, которых больше. И это — мой четвертый аргумент. Слушайте.

Было время, когда с легкой руки писателя Достоевского, с безответственного его заявления, что не может благополучие мира строиться на фундаменте, заложенном ценою смерти или, он даже говорил, слезинки хотя бы одного ребенка, так вот, с легкой руки этого писателя распространилась всеобщая озабоченность, чистыми ли средствами пользуется общество в своем движении к благородным целям. Потом, к счастью, с ослаблением воздействия религии на образ мыслей, а главное — на образ действий, слова Достоевского никем уж особенно во внимание не принимались. Восторжествовало здравое мнение: если благополучие большинства требует жертв, таковые должны приноситься. Простейший принцип военной науки: арьергард гибнет, чтобы дать отступить и закрепиться основным силам. Революционный террор. Подавление инакомыслия. Лес и щепки. Чистыми руками, Рервик, светлое общество создать нельзя. Не трагический ли парадокс и фарс, что именно на родине этого писателя пытались достигнуть всеобщего благоденствия и счастья, убивая, убивая, убивая. И не чужих, как Чингисхан, Тамерлан, Гитлер, а своих, своих. Своих! Так их! Так их! Вот была великая школа. И я скажу — только люди великого ума и стальной воли могли постигнуть ее уроки.

Голос Болта взлетел, глаза горели, руки комкали белую тогу. В уголках красивого рта показалась пена. Андрису сделалось не по себе. Но бывший диктатор уже овладел собой и продолжал ровным, бесстрастным голосом:

— Вы должны знать историю, Рервик. Назовите хоть одну историческую ситуацию, когда неизбежность жертв — и немалых — остановила бы победную поступь к великим свершениям для всеобщего блага. Ну-ка, пробегите памятью от древних царств до колонизации дальнего космоса.

«Сейчас он возьмет к себе в союзники моих подопечных, — подумал Андрис, — Нерона, Генриха Восьмого».

— Александр Македонский прославил Грецию, Цезарь — Рим, Петр возвеличил Россию, Наполеон — Францию. Бисмарк, кайзер и Гитлер показали,

Люк де Вовенарг В то время как одна часть народа поднялась до вершин цивилизованности и хорошего вкуса, другая состоит, на наш взгляд, из варваров, но даже эта странная картина не может вытравить в нас презрение к образованию.

сколь мощна может быть Германия. Цилеский завоевал для землян благословенную Нитру, Кеворгян — Малую Итайку. А скольких жертв стоили эти деяния? Так почему вы отказываете мне в праве выбирать свой, пусть драматический, путь к процветанию Леха? Да, мы строили наше благополучие на фундаменте, заложенном ценою многих трагедий. Но тем почетней наша налегкая судьба.

Болт сделал долгую паузу, вновь наполнил пиалу и выпил.

— Я перехожу к пятому аргументу. И снова зову на помощь историю. Народам свойственна неблагодарность. Величайших своих современников они изгоняют, унижают, убивают. Сократ прославил Афины, но они отвернулись от него. Дали его уничтожить. Спинозу, гордость иудеев нового времени, изгнали из общины. Иисус был славой израильтян, которые распяли его. Нет,— Болт протестующе поднял руку,— я не утверждаю, что мой вклад в историю человечества сопоставим с вкладом этих страдальцев. Но я отдал своему народу все, и пусть масштабы моих деяний скромнее, а суть их лежит в стороне от философии и религии, но я вел Лех к счастью и благоденствию той дорогой, которая представлялась мне кратчайшей. И что же? Народ отвернулся от меня. Я изгнан. Я не убит только потому, что горсть друзей помогла мне бежать. Но зачем мне жить, если я ничего не могу сделать для Леха?

— Верная мысль, — согласился Рервик. — Первая, услышанная от вас.

— Даже злодей имеет право на сострадание. Он нуждается в нем больше, чем человек добродетельный. Вы считаете меня злодеем? Так помогите мне! «Когда бы кровью брата был весь покрыт я, разве и тогда омыть не в силах небо эти руки? Что делала бы благость без злодейства? Зачем бы было нужно милосердье?»

Болт стоял и декламировал со страстью, крупная слеза выкатилась из-под прикрытого века и проторила блестящую дорожку на скуле. Голос был напряжен, хотя и негромок. Рервик поймал себя на мысли: как хорошо бы сыграл Болт Клавдия — и самого себя.

— «Отчаиваться рано. Выше взор! Я пал, чтоб встать. Какими же словами молиться тут? «Прости убийство мне»?» Вы помните, что дальше?

Рервик покачал головой.

— «Нет, так нельзя. Я не вернул добычи. При мне все то, зачем я убивал: моя корона, край и королева». Со мной куда хуже. Нет короны. Нет королевы.

— Кстати, Катукару убили по вашему указанию или только с вашего ведома? — спросил Рервик.

Болт с грустью посмотрел на Андриса и вдруг сказал:

— Попробуйте этот паштет из гребешков вилохвоста. Катукара его очень любила. Да, Катукары нет. И нет со мною моего края. Моего Леха. Клавдию легче. Пусть же последним аргументом будет состраданье.

— А раскаянье?

— «Покаяться? Раскаянье всесильно. Но что, когда и каяться нельзя! Мучение! О грудь, чернее смерти! О лужа, где, барахтаясь, душа все глубже вязнет! Ангелы, на помощь! Скорей, колени, гнитесь! Сердца сталь, стань, как хрящи новорожденных, мягкой! Все поправимо».

Болт повернулся и медленно, величаво скрылся за ширмой.

Андрис едва удержался от аплодисментов. «Сейчас он выйдет на поклон»,— подумал Рервик. Но Болт не вышел.

В последующие два дня ни Болт, ни Салима не давали о себе знать. Трижды в день униформисты приносили еду, сохраняя полное молчание. К концу второго дня Рервик потребовал, чтобы ему дали возможность увидеть Марью. Кирпичнолицый стюард выслушал его и с поклоном вышел. Вскоре явился Наргес.

— Могу ли я передать Цесариуму, что вы склонны к сотрудничеству?

— Я склонен повидать Марью Лааксо и убедиться в том, что...

— Я уверяю вас, она в добром здравии, хотя и не очень любезна. В резкой форме отвергает знаки внимания лучших слуг Цесариума. Двое из них уже обратились к нему с просьбой снять ограничения на меры увещевания, могущие быть приняты по отношению к девице, в гордыне своей презревшей благосклонность достойнейших мужчин. Цесариум милостиво выслушал их и обещал подумать. Простите мне смелость предрекать решение Цесариума, но долгие годы службы и даже, я осмеливаюсь с величайшей гордостью сказать — дружбы , подаренной мне великим человеком, позволяют судить о возможном исходе размышлений. Принимая во внимание его безграничную щедрость к верным слугам, а также взяв в соображение вынужденный аскетизм здешнего обихода, связанный с почти полным отсутствием женщин в нашей маленькой колонии, я могу с большой степенью достоверности предугадать, что Цесариуму будет благоугодно внять смиренной просьбе храбрецов, поставивших свой долг выше всех благ, и дозволить им принять в отношении особы, в судьбе которой вы проявляете нескрываемую заинтересованность, те меры, которые будут признаны необходимыми для преодоления препятствий к совершению процедур, имеемых в виду...

Именно в эту минуту Рервик понял, что главный его стратегический замысел — тянуть время в надежде на Велько — никуда не годен. Нужно действовать самому.

— Я хочу видеть Цесариума.

— Мы доведем вашу просьбу до его сведения. Смею надеяться, он вас примет. Вопрос — когда? Цесариум очень занят.

— А вы постарайтесь ускорить нашу встречу. Я

А. Е. Медунин

За пределами Москвы культ «вождя народов» особого успеха не имел. Разве что члены партии (хотя и не все) и при Сталине, и в период застоя обожали диктатора.

Они же издавали газеты и журналы, они же в них писали и славословили сначала И. В. Сталина, затем Н. С. Хрущева, а еще позже — Л. И. Брежнева...

Но надо же когда-нибудь всем понять, что партия — это только часть народа, притом — малая его часть. В самом прямом смысле.

в долгу не останусь. — Рервик медово улыбнулся.

Наргес улыбнулся в ответ. Рервик еще добавил улыбки.

— Сами понимаете, доведись нам встретиться на Лехе, у меня будет больше возможностей отблагодарить вас за содействие.

— Готов служить — в рамках, не противоречащих исполнению долга.

— Естественно! А нельзя ли в тех же рамках посодействовать моей встрече с Марьей?

Тонкие губы Наргеса понимающе изогнулись.

— Я постараюсь. — И тише: — Вот видите, Рервик, как простой шантаж из венца творения делает ничтожество? Чем вы лучше нас? Вы — хуже. Мы по крайней мере не лицемерим.

Услышать упрек в лицемерии от Наргеса! Впрочем, трудно предположить, что такая мелочь могла задеть Рервика. С его-то опытом общения со всяким отребьем, населяющим задворки обитаемой вселенной. Нет, Рервик не был чистюлей. Только не он. Велько, бывало, брюзжал, когда приходилось удирать от погони на ворованном звездолете или обыгрывать в двойной тун пьяных шкиперов каботажных перевозок, чтобы наскрести несколько рубларов на дорогу. Но Андрис считал это в порядке вещей. В этих пределах он вполне полагался на Игнатия Лойолу и не сомневался, что его-то цель оправдает мелкие пакости, причиняемые к тому же людям, не отличавшимся безупречностью поведения и строгостью морали. В практике общения со всякой межгалактической сволочью Рервик, бывало, шел на подкуп, лесть, обман. Однако, закинув удочку Наргесу, Андрис понял — здесь шансы на успех невелики. А время не терпело. О Марье розовый горбун не врал — зачем? Похоже, никто из них не сомневался, что Марья — верный козырь. Надо сдаваться, причем скорее. И требовать неприкосновенности Марьи. Каких-нибудь гарантий. Но какие могут быть гарантии?

В этих размышлениях его застал служитель в войлочных тапочках. Ага, понял Андрис, поведут к шефу. Наргес не подвел. Вторая встреча с Болтом состоялась в том же уставленном ширмами зальце.

И с места Рервик сказал, сухо и мрачно, что согласен, но не видит, как высокие договаривающиеся стороны могут исключить возможность жульничества при выполнении взаимных обязательств.

— Что обеспечит безопасность Марьи в то время, когда я буду снимать фильм? Как могу я быть уверен, что ваши соратники не получат ее в качестве... — Рервик с трудом разлепил губы, — в качестве платы за преданность Цесариуму? И что, с другой стороны, может воспрепятствовать мне разоблачить всю эту затею, как только Марья окажется в безопасности? То есть когда фильм будет снят?

— И широко показан населению Леха, Земли, обеих Итаек, планет малого круга, старых провинций...

— Вот как?

— Именно. И тогда взаимными гарантиями послужат: гениальность Рервика — его картины неопровержимы — и, конечно, то обстоятельство, что я всегда буду знать, где вы — Рервик и Лааксо — находитесь, а вы никогда не узнаете, где нахожусь я.

— В чем же взаимность гарантий?

— Вам, увы, придется положиться на мое слово. А разве у вас есть другой выход?

Именно в этот момент Рервик понял, что Болт никогда не отпустит Марью.

— Вас может это удивить, но выход есть.

— Какой же? — с искренним интересом спросил Болт.

— Оставить все как есть.

— Вы, надеюсь, не заблуждаетесь насчет моих действий?

— О нет.

— Как в отношении вас, так и в отношении Марьи Лааксо?

Рервик кивнул.

— И понимаете, что я начну с дамы? Поделиться с вами своими фантазиями? Впрочем, что мои фантазии. На сей счет у меня есть помощники. Может быть, стоит пригласить их? Живописать, так сказать, подробности?

Андрис молчал.

— У нас будет масса времени. Мы будем поочередно уделять внимание вашей приятельнице и вам. Для работы с женщиной в моем распоряжении есть очень изобретательный молодой человек. Я познакомлю вас. Из прекрасной семьи. В лучшее времена служил в манипуле Верных.

— Какой-нибудь Варгес? — скривив губы, сказал Андрис.

— Рад, что вы о нем слышали. Делает честь вашей осведомленности, но и свидетельствует о его известности, согласитесь. Мы дадим вам насладиться сеансами с участием Марьи Лааксо, Варгеса и, если понадобится, других действующих лиц. Потом мы предоставим даме возможность присутствовать на спектакле, где главную роль будете играть вы. В этом, должен вас предупредить, нам помогут люди из бригады уже знакомого вам Маленького Джоя. Знаете эту безвкусную манеру — называть малышами людей крупного телосложения. Очень услужливый, весьма компетентный работник.

Болт оживленно шагал по ковру, потирая ладони. Потом резко остановился перед Андрисом, вперив в него тяжелый взор темно-карих глаз.

— Думайте до завтра, Рервик. Потом будет поздно. Искусство требует жертв — ха-ха.

И ушел.

Элементарно, Ватсон, думал Рервик в своей камере. Почему меня не выпускают — даже днем, когда нет звезд? Убегу? Невероятно. Узна́ю местность? Что же это за местность, которую я, по их предположению, могу узнать? Земля скорее всего отпадает. Там не найти места для такого бункера.

Если исключить Лех, с которого меня увез Стручок, остаются... Ох, много остается, дорогой Ватсон. До чертовой матери. Выход один — бежать. С Марьей. И немедленно. Ожидание невыносимо. Портос, сильны ли вы по-прежнему, мой друг? Вместо ответа Портос огляделся, подошел к топчану, приподнял его и мощным движением оторвал металлическую ножку. Отлично, сказал д'Артаньян, вот и оружие. Он взял металлическую пластину из рук гиганта, слегка поправил иззубренный конец на каменном полу и спрятал под одеждой. Теперь, друг мой, неукоснительно следуйте моим советам, и, ручаюсь вам, утро мы встретим на свободе, вдали от мрачных стен Рюйеля. С этими словами гасконец подошел к двери и заколотил кулаками по доскам (извините, по орпелиту). Скрипнули петли, на пороге появился сумрачный амбал. «Любезный, — сказал д'Артаньян, — твоя госпожа разрешила мне обращаться к ней, если в том возникнет нужда. Передай — такая нужда возникла. Дело срочное. Ступай, да не забудь — срочное!»

Амбал тяжело повернулся и закрыл дверь.

Потекли минуты. Наконец послышались шаги, возня с замком. Портос, вы займитесь мужчиной, а я обслужу даму, распорядился д'Артаньян. Дальнейшее развитие событий, однако, принесло неожиданное осложнение. Дверь открылась. В проеме стояла Салима, закутанная в длинный черный плащ. Она шагнула через порог и захлопнула за собой дверь. Страж остался в коридоре. Портос нахмурился — он оказался не у дел — и растерянно взглянул на д'Артаньяна. Тот ответил ободряющим жестом. Ничего, дескать, мы успеем залучить телохранителя в камеру, и вы, мой друг, сможете продемонстрировать свою ловкость и мощь ваших мышц.

Салима вопросительно смотрела на Рервика.

— Э-э...— начал тот.

— Вы решились на что-нибудь?

— Э-э... Нет, то есть да. Разумеется. Я и просил вас прийти, имея в виду... Но прежде я хочу убедиться, что с Марьей Лааксо ничего не случилось.

Салима снисходительно улыбнулась. Похоже, крепость пала. Отец прав: страх правит миром...

Впрочем, нет. Так не годится. Вернемся немного назад и вспомним получше.

Ожидание было невыносимым. Заключение в ненавистных стенах по-разному действовало на этих благородных людей. Портос, казалось, дремал, с тоской вспоминая о скудной утренней трапезе и ожидая более щедрую дневную. Д'Артаньян, как тигр, мерил шагами камеру, глухо рыча, когда взгляд его останавливался на закрытой двери. Однако под кажущимся безумием гасконца скрывалась напряженная работа мысли. Чувствуя волнение друга, Портос нарушил молчание:

«Полно, д'Артаньян, не стоит так нервничать. Дайте мне сигнал, и мы выйдем отсюда невредимыми, как те трое храбрецов — Арамис, наверное, помнит их имена, — которые побывали в раскаленной печи и вышли оттуда как ни в чем не бывало».

«Вы имеете в виду Седраха, Мисаха и Авденаго?»

«Да, имена звучат похоже. Я и не знал, что вы такой ученый, д'Артаньян».

«Как же мы выйдем из плена?»

«Очень просто. Я выломаю дверь, убью это чахлое создание в войлочных тапочках, и мы выйдем на свежий воздух, без которого я страдаю изжогой, головокружением и разлитием черной желчи».

«А Марья, друг мой, вы забыли про мадемуазель Марью».

«Прихватим ее по дороге».

«Славный план, клянусь небом. Простой, без затей. Но вы подумали о том, куда мы выйдем?»

«Какая разница? Вряд ли там будет хуже, чем здесь, — учтите, д'Артаньян, я решительно недоволен здешним столом. У Болта отвратительный повар. В Пьерфоне я не стал держать бы такого и дня — выгнал бы, предварительно выпоров».

«Что же, Портос, вы меня убедили. Ваш план великолепен. Сильны ли вы по-прежнему, мой друг?»

Портос с немым укором посмотрел на него. Именно в этот момент Салима снисходительно улыбнулась.

— Марья находится под моим покровительством. Ей ничего не угрожает, пока вы сами не ухудшите ее положения.

— Но я хочу хотя бы взглянуть на нее. Мне будет легче принять решение, если я увижу, что вы выполняете свои обязательства.

— Хорошо,— сказала Салима.— Идемте.

Ну же, подумал д'Артаньян, позови стража, дай работу Портосу. Но Салима повернулась и направилась к выходу.

— Эй,— крикнул Рервик.

Женщина застыла, резко дернула головой. Д'Артаньян стоял в двух шагах с железной ножкой в руке. Держал он ее неловко, но в его глазах Салима прочла ярость.

— Молчите, — прошептал Андрис, приближая рваный край железа к горлу Салимы. — И отойдите от двери.

Салима не двигалась.

— Ну! — Рервик слегка царапнул по коже. Показалась кровь.

— Идиот, — сказала Салима. — Тебе конец.

— Пока — начало. Главное для вас сейчас — не закричать. Мне терять нечего. Один громкий звук и... — Он надавил на железную полоску. Кровь пошла сильнее.

— Чего вы хотите? — спросила Салима сдавленным шепотом.

«Я хочу работы», — сказал Портос д'Артаньяну. «Сейчас вы ее получите», — ответил д'Артаньян.

— Я хочу выйти отсюда, — сказал Рервик.

— Это невозможно, — сказала Салима. — Вас не дадут сделать и двух шагов.

Мы с тех пор все так пьем и пьем чай, а дело никак не доходит до того, чтобы встать из-за стола и убрать посуду.

Льюис Кэррол

— Мы все же рискнем, — сказал Рервик. — Сейчас вы пойдете на полшага впереди и поведете меня прямо к Марье. Имейте в виду: малейшая неосторожность — и вам конец.

«Приготовьтесь, Портос», — сказал д'Артаньян. «Я готов», — ответил гигант.

Рервик сделал шаг назад, пропуская Салиму. Правая нога ступила на тыквенную корку (ее следовало положить на пол страниц пять тому назад).

«О, черт!» — вскричал д'Артаньян, падая на спину и роняя кинжал.

— Джой! — закричала Салима.

На пороге вырос амбал. Ладонь — на рукояти плазмера. Бросок Портоса. Мощный удар каблуком в подбородок, правой рукой — в солнечное сплетение, левой — по кисти, держащей оружие.

— Слишком много шума, — сказал Рервик, когда осела пыль. — Мадам, наш уговор остается в силе. Я пригласил сюда Маленького Джоя, чтобы дать ему возможность отдохнуть, а нам — совершить прогулку без свидетелей. Хотя прогулка на людях в вашем обществе, мадам, возвысила бы меня во мнении окружающих и пролила бальзам на мое самолюбие. Мужчины, увы, тщеславны, и я не исключение. Возьмите моего друга Портоса. Образец рыцаря. Храбрец, красавец, добрая душа...

Салима смотрела на режиссера со страхом.

«Остановитесь, д'Артаньян, я не заслуживаю ваших похвал, — прогудел Портос. — Вы мне льстите». — «Я говорю правду, мой друг. Просто ваша скромность восстает против моих слов, выражающих искреннее восхищение...» — «Неумеренное, д'Артаньян». — «Отнюдь. Но и вас не обошел порок, присущий многим храбрецам». — «Какой же?» — Портос в недоумении приоткрыл рот. «Тщеславие, мой друг. Вспомните обстоятельства нашего знакомства». — «Но прошло столько лет!» — «И все же вспомните». — «Какая-то ссора? Мы, кажется, славно отдубасили гвардейцев». — «А что этому предшествовало?» — «Клянусь, не помню». — «Вы вызвали меня на дуэль». — «В самом деле?» — «Да, мой друг. Вы заявили, что насадите меня на шпагу, как куропатку на вертел». — «Неужели?» — «Очень остроумно, по-моему». — «Не отрицаю. Я всегда был остер на язык». — «Ну, а что послужило причиной вызова?» — «Что же?» — «Я наткнулся на вас на бегу, запутался в вашем плаще и увидел...» — «Что вы могли увидеть?» — «Можно при даме?» — «При этой? — Портос посмотрел на Салиму. — При этой можно». — «Я увидел фирменный ярлык. Плащ был не от Кардена». Портос побледнел. «Подумать только, — сказал он, — из-за этого я вас вызвал?» — «Да. Вы были оскорблены тем, что ваша маленькая тайна, рожденная, увы, тщеславием, раскрыта нахальным юнцом из провинции». — «Ведь я мог убить вас, д'Артаньян». Глаза гиганта увлажинились. «Ах, мой добрый благородный друг, забудьте об этом». И д'Артаньян бросился в объятия Портоса.

Не спуская глаз с позеленевшей Салимы, Рервик разорвал рубаху Джоя на полосы, крепко стянул его руки и ноги, сделал аккуратный кляп и надежно заткнул рот бесчувственного стража. Поменяв ножку от топчана на плазмер, он выпрямился.

— Теперь — вперед.

Они вышли в коридор.

— На всякий случай предупреждаю вас — я галантен только в пределах, обеспечивающих мою безопасность. При непредвиденных встречах, прошу вас, не давайте мне повода к бестактности. Я человек импульсивный. Портос свидетель, не раз рука моя непроизвольно хваталась за плазмер, и я горько оплакивал невольную жертву необузданного темперамента, доставшегося мне в наследство от гасконских родителей...

— Не паясничайте, Рервик. Вы авантюрист, я знала, но на этот раз вам конец. И вашей Марье. Я не дам за вашу жизнь и ломаного...

— Ливра. Или даже денье. Увы, увы! Ага, Портос, мы уже пришли. Мадам, удалите стражу.

Человека, стоявшего у дверей, за которыми, по-видимому, помещалась Марья, Рервик еще не встречал. Был он высок, худ и бледен.

«Черт побери, вылитый Мордаунт», — пробормотал д'Артаньян.

— Откройте дверь, Варгес, — ровным голосом приказала Салима, — и можете идти. Если будет нужно, я позову вас.

Варгес молча поклонился и, исполнив приказ, медленно пошел по коридору. Рервик подождал, пока он скроется за поворотом.

— Войдем, — сказал он.

Марья привстала на локтях. Ее глаза равнодушно прошли по лицу Салимы, дрогнули, схватив Рервика, подержали немного, отпустили. Завершив поворот, голова Марьи прекратила движение и опустилась на комковатую подушку. Она ничего не сказала.

— Марья, — негромко позвал Андрис.

Глаза закрылись. Марья мерно дышала.

— Встаньте туда, — Рервик указал Салиме на угол, — и отвернитесь.

Салима повиновалась.

Пятнистый румянец, сухие губы. Руки холодные. Рервик прижал ладонь Марьи к щеке. Рукав завернулся. На внутренней стороне запястья и выше — до локтя — точки.

— Что ей кололи? — резко спросил Рервик.

Салима повернулась к нему.

— Что кололи? — повторил Рервик.

— Не знаю. У Геле большой выбор. Есть разные схемы.

— Геле?

— Наш врач.

— Давно колют?

— Три дня.

— Зачем?

Салима пожала плечами:

Мераб Мамардашвили

Сегодня многие оглушают себя, например, словом «держава». Но есть ли в самом деле держава или есть только державно-ностальгические чувства? А она сама — призрак, тень?

— Чтобы слепить личность удобную, нужно уничтожить старую.

— Время уколов?

— Следующий через... — она взглянула на часы, — сорок минут. Впрочем, это неточно. Может быть, раньше, может — позже. Геле вообще может пропустить укол, если...

— Если?

— Если сам не очухается.

— Он приходит один?

— Входит сюда вместе с дежурным. В данном случае должен был войти с Варгесом.

— Сколько времени действует инъекция?

— Три-четыре часа. Но говорить с Марьей — все равно что с ребенком. И ходит она с трудом. Вам не уйти.

— Придется оставить ее здесь. Расскажите-ка мне, как выйти из этой норы. Только без фантазий. Точность информации — залог вашей безопасности.

— Я не стану говорить.

Рервик подошел к Салиме и коротко, без размаха, ударил ее по щеке. Женщина дернулась. Брезгливо сложила рот. Но молчала. Рервик ударил в губы. Они стали медленно пухнуть. Андрис посмотрел на Марью, подождал секунду-две и ударил в третий раз. Нижняя губа Салимы треснула, по узкому подбородку потекла струйка крови.

— Слушайте внимательно, Салима. Мне нужно уйти, и я уйду. Вы мне поможете, хотя я ничего не обещаю взамен. Как поступить с вами, я решу позже. Может быть, я вас и не убью. Но сейчас я начну бить вас по-настоящему. Очень болезненны удары в живот. Особенно в область печени. Мне известны полтора десятка болевых точек, давление на которые весьма мучительно. Я знаю это по собственному опыту и поделюсь этим опытом с вами. Очень неприятная процедура — прикрутить газ, что на языке денебских пиратов означает — придушить, но не до смерти. Я не такой специалист, как Варгес или Джой, но я буду стараться. И я успею, хотя у меня мало времени. Я обязательно успею, потому что мне надо выйти отсюда — из-за нее. — Андрис кивнул в сторону Марьи. — Вы мне верите?

Салима молча опустила голову.

— Будете говорить?

— Да. — Она достала платок, вытерла кровь. Осторожно потрогала разбитую губу. Лицо ее передернулось. — Но не все.

— Начинайте.

— Вас убьют. Выйдя отсюда, вы обрекаете себя на смерть.

— Почему?

— Не скажу.

— Есть ли охрана на пути к выходу, у выхода?

— У выхода дежурит один человек.

— Сколько вас в этом логове? Контролируете ли вы окрестности? Какую-либо часть планеты? Или скрываетесь?

— Я не стану отвечать.

— Охрана вам повинуется?

— Нет.

— Лжете.

— Да.

Рервик огляделся, ища, на чем и чем можно написать записку. Махнул рукой. Подошел к Марье, поцеловал ее в щеку.

— Идемте!

В двух-трех местах из стен коридора сочилась влага, бетон осыпался. На полу комья грязи, куски керамической облицовки. В закоулках, отходящих от центрального хода, горели тусклые фонари. Шагов через сто коридор сделал крутой поворот, и перед Андрисом возникла согбенная фигура Наргеса. Горбун озадаченно посмотрел на Рервика, склонился перед Салимой. Андрис едва заметно коснулся локтя женщины. Они свернули за угол. Коридор стал ощутимо подниматься. Гладкая плита преградила путь. На трехногом табурете сидел стражник. При виде Салимы он вскочил и суетливо поправил кобуру с плазмером.

— Открой, Друз.

Юноша закивал, отвернулся и принялся вращать колесо. Плита начала поворачиваться.

— Не закрывай за нами, — сказала Салима, — мы сейчас вернемся.

Рервик скрипнул зубами и мысленно поздравил ее. Друза можно было убить. Нужно было убить — слишком быстро все выяснится. Рервик оглянулся на румяного молодого человека, сияющими глазами пожирающего Салиму. Нет, Портос, я не могу.

Слегка сжав локоть Салимы, он вывел ее на поверхность.

Низкое небо. Кустики, кочки. Ни тропинок, ни дорог. Рервик оглянулся еще раз: входа не видно. Пара валунов, ползучий корень, куст чего-то, похожего на мохнянку. Нечаянное пятно плотного желтого грунта. Рукоятью плазмера Рервик принялся быстро писать то, чего не смог написать в комнате Марьи.

— Теперь вы понимаете, что я не могу с вами расстаться, — сказал Андрис. — Надеюсь на догадливость вашего батюшки. Вы можете им гордиться. Шантаж — надежное оружие. Я постараюсь быть хорошим учеником.

— Вы обещали отпустить меня, когда мы выйдем.

— Отнюдь. Я только сказал, что, возможно, не убью вас. Но отпустить — нет. Мне спокойней, когда вы рядом. Идемте, мне нужно обдумать, как действовать дальше.

Они укрылись в чахлом перелеске на краю болота. Попробовать вступить в переговоры с Болтом немедленно, обменять Салиму на Марью и?.. Их неминуемо схватят, пощады не будет. Потребовать ракету? Есть тысяча способов устроить взрыв при старте или позже... Оставить Салиму заложницей в ракете до конца полета? Экипаж найдет способ обезвредить Андриса... Нет, этот путь не годится.

Василий Розанов

Социализм пройдет как дисгармония.
Всякая дисгармония пройдет. А социализм — буря, дождь, ветер...
Взойдет солнышко и осушит все. И будут говорить, как о высохшей росе: «Неужели он (соц.) *был*?» — «И барабанил в окна град: братство, равенство, свобода?»
«О, да! И еще скольких этот град побил!!» — «Удивительно Странное явление. Не верится Где бы об истории его прочитать?»

Надо уходить, уводить Салиму, выбираться самому — должны здесь быть поселения. Туристы, охотники, колонисты. Планета более чем пригодна для обитания. Славная, в сущности, планета, и она не может оставаться незаселенной. Важно уйти, найти. И не упустить Салиму. На каком же слабом сучке висела надежда Рервика — влюбленном взгляде Болта, обращенном к пятилетней девочке. «Идем, посмотрим на твои угольки». Тот ли сейчас Болт? Рервик пристально глядел на Салиму.

Подходящий конец главы, а? Мой тебе совет: начни следующую теми же словами.

Твой Андрей.

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

12-е марта, Москва

Дорогой Андрей!

Пора наконец выяснить и честно рассказать, что за фильм смотрел Том Баккит на кинофестивале в Трай-Пи.

Фильм Андриса Рервика «Бегство палача»
(в пересказе Тома Баккита)

...По экрану ползут насекомые. Длинные ручейки довольно крупных отвратительных инсектов. Жестких, холодных. В своем узком мирке нацеленных на убийство, на прикол жертвы, на ее пожирание, на высасывание белых и желтых соков ее брюшка и в этой нацеленности — беспощадных. Камера приближается, откровенно любуясь их отточенными орудиями убийства — хоботками, рогами, пилами, жалами, жвалами, жесткими колючими губами, холодными мертвыми насекомьими глазами. Ползут, ползут членистоногие... Нашествие? Куда? Зачем?

Камера отъезжает, уходит вверх. Мы видим узкую тень, которая превращается в прут. Кто-то вторгается веткой в мир инсектов, шевелит их, усатых, шевелит нежно, почти любовно. Камера уходит еще выше, и мы видим этого человека. Он сидел на корточках, а теперь поднимается в рост. Гимнастерка перепоясана ремнями. Фуражка сдвинута на затылок. Делает знак шоферу.

После бессонной работы в застенках возвращается в кургузом черном авто домой подполковник ООВД — Охранного отделения внутренних дел. Машина ползет по аллее заброшенного парка. Подполковник останавливает машину, выходит на обочину, присаживается у муравейника. И смотрит, смотрит, смотрит. Безжизненные, расфокусированные глаза его постепенно обретают нормальный цвет и свет. Отбрасывает ветку. Идет к автомобилю. Под начищенным сапогом хрустят раздавленные муравьи.

Дома он ложится в постель к теплой сонной жене. Пытается заснуть. Глаза — в потолок. Сна нет. Он накидывается на жену. Она вздохнула, всхлипнула во сне, прижалась к мужу, хотела обнять его, но он грубо схватил ее, вывернул ногу, проник в лоно и стал раскачиваться. «Милый, мне так больно»,— выдохнула жена. Тогда он еще сильнее заламывает ей ногу, показывая, что здесь хозяин он, и еще стремительней колышется. И добивается торжества своей воли. Покорная жена захвачена страстью, быть может, она думает, что такова она и есть — любовь. И еще в ее душе живет страх — он давно поселился — за мужа, за опаснейшую его ночную работу, где на допросе какой-нибудь враг может запросто ударить его табуреткой, ударить и убить, а враги вообще кругом, и страшно за мужа, а значит, и за себя, за детей. Вон они сонно шевелятся в смежной комнате, Вовка да Танька, глупые, белобрысые, как жалко их. И еще страх — от мужа. Она живо помнит, как он бил ее, как, пьяный, с низкой бранью, размахивая наганом и почти готовый стрелять, выставлял ее ночью вместе с детьми из квартиры и гнал по лестнице с четвертого этажа до первого и потом по булыжным камням переулка...

Подполковник спит. Губы его хищно вздрагивают, а глазные яблоки под бледными веками ходят туда и сюда. Серые и синие птицы влетают в комнату, парят над ним, клювы их страшны и кривы, все ближе и ближе они к его лбу. Подполковник отмахивается, но из распахнутых клювов валятся белые жирные черви, они валятся, как из мясорубок, подполковник барахтается в груде червей, а какие-то окровавленные наглые морды скалятся по углам. «В несознанку играете?»— хрипит подполковник. Кадры напластовываются, мы теряем ощущение времени, границы и контуры ночных видений и дневной маеты расплываются.

Свежевыбритый, довольный жизнью подполковник завтракает в одиннадцатом часу. Он не торопится, черное авто заедет за ним в полдень. Подперев рукой голову, робко, с оттенком хрупкого счастья, смотрит на него жена. И вдруг подполковник раздваивается. Излюбленный прием Рервика. Уже два подполковника завтракают, смачно жуют ветчину, выпивают яйца, вытирают губы. Один еще плотоядно весел, другой задумывается. Вчера из кабинета напротив увели его коллегу. С майора сорвали сбрую, торопливо обыскали его стол и сейф и увели — разом осунувшегося и постаревшего. Иные следователи не подняли головы, иные глянули вослед, но, быстро справившись с оцепенением, принялись за работу — ворошить бумаги, готовясь к ночным допросам. А был арестованный майор молодцеват, слегка пузат, ремни ловко стягивали его гимнастерку, торчали из-под нее коротенькие ножки в сверкающих сапогах. И хват был, и жуир, и матерщинник. И вот — сгорел. Что случилось? Кто наклепал?

А может, кто-то уже накатал и на него? И наверху приняли решение. Неужели его возьмут вот так же, на работе, на виду у всех? Нет, подполковник почему-то уверен — его возьмут ночью и дома. Первый подполковник все еще пьет чай с зефиром бело-

Цицерон ...Все, что будет ложно сказано о будущем, не может состояться.

розовым, второй уходит в кабинет, достает из стола наган, гладит его, прячет обратно, берет лист бумаги, чертит треугольники, потом какие-то рожи, чертиков. Комкает бумагу, пальцы судорожно корежатся, белеют костяшки кулака, а меж скрюченных пальцев извиваются морды чертей.

Бумага брошена в корзину, план рожден. Серые глаза сверлят точку. Первый подполковник, неловко поднимаясь, толкает стол. На пол летят вазочки и чашки. Чай из разбитого чайника заливает зефир.

Переулок ступеньками сбегает к реке. Предрассветная серая муть. У одного из подъездов семиэтажной громады застыли два автомобиля. Люди в форме молча ждут. Из дверей выводят человека в наспех наброшенном пальто. Урчат моторы. Зажглись два-три окна. Но бóльшая часть людей смотрит тайком из-за темных стекол. Одна из машин трогается. И в этот момент из подъезда выводят женщину и двух закутанных детей. В эту ночь в огромном доме опустела еще одна квартира.

Четыре подъезда дома выходят в переулок. Противоположные четыре — на улицу. Внушительный торец дома смотрит на реку, на жестяно-рыбью рябь воды, на отблески нефтяных пятен, на пароходные трубы фабрички на том берегу. В квартиру подполковника, на третий этаж, попадают с улицы. Почему же наш герой все чаще встречается нам в переулке? Ба, да он в штатском. Он явно не хочет быть узнанным. Он суетится, он быстро ходит, проворно ныряет в подворотню и в чужой подъезд. Он перебрасывается короткими фразами с какими-то людьми. Впервые тут мелькнуло человеческое имя — Глеб. Как будто, сняв на время форму, подполковник немного стал человеком. Освободившаяся на третьем этаже, вход с переулка, квартира очень интересует подполковника Глеба. Глухой своей стеною она примыкает к его собственной. Через подставных лиц подполковник приобретает права на эту квартиру и ключи от ее дверей. Начинаются спешные, как только жена и дети вывезены на дачу, строительные работы. В брандмауэре пробивается тайный ход в параллельную квартиру, который затем маскируется передвижным книжным шкафом. Подполковник доволен работой. В воскресный день он расхаживает босиком у себя дома, время от времени наливает стопарик водки, настоянной на лимонных корочках, выпивает и нажимает кнопку, спрятанную за портретом вождя. Неслышно отъезжает книжный шкаф. Открывается пространство чужого дома с чужими запахами и чужими приметами культуры — прямоугольники на обоях от снятых картин, пыльные чехлы скрипки и виолончели. Пьяный босой подполковник с хитрованскою рожею ходит туда и сюда, потирает руки. Будущие события покажут верность его расчета.

Худенькая женщина играет мазурки Шопена. Щемящая, печальная музыка пытается пробиться к радости. Не получается. Подполковник оперся рукой на рояль. Оказывается, он меломан. Размазаные морды гостей. Подполковник вспоминает минувшую ночь. Один знаменитый ученый, высокий и толстый человек, и еще очень упрямый человек, три дня стоит у него «на стойке». Сержант Клевцов и лейтенант Сидорчук, знающие свое дело люди, трое суток, сменяя друг друга, не дают упрямому ученому ни заснуть, ни сесть. Ноги ученого так отекли, что голенища сапог разрываются. И этот человек не хочет подписывать какую-то жалкую бумажку. Но выбора нет. Подполковник должен его сломить. И он сделает это.

Черное авто подполковника стоит на въезде в деревню, на краю чудовищно вспученной, разбитой тракторами дороги. Подполковник пешком возвращается с дальней пасеки. Затеяна нежная дружба со старым пасечником. Подготовлены кое-какие документы. Все делается неспешно и надежно? Нет, все делается быстро, с авантюрной удалью.

Конец лета. Вовка и Танька да жена Люся уезжают к дальним родственникам. Перрон. Узлы, чемодан, обвязанный веревкой. На нем сидит Вовка и ест эскимо на палочке. Танька читает книгу. Их мать с нелепо завитыми кудряшками смотрит испуганно. Подполковник их не провожает. Так надо. Никто не знает, куда они едут. Мимо проходит носильщик с бляхой на фартуке. Пыхтит паровоз. Звенит колокольчик. Второй подполковник осторожно выглядывает из-за угла.

Потерявший нормальное обличье, сжевывая слезы с усов, пожилой ученый дрожащей рукой подписывает протокол допроса. «Давно бы так», — мягко, грустно говорит подполковник Глеб.

Незаметно налетает осень. Октябрьская листва шуршит в переулке. Как он красив, осенний город. Как здорово снимает его оператор Рервика.

Ночь. В квартире подполковника раздается жесткий, требовательный звонок. Подполковник скатывается с кровати.

Секундное замешательство. Но вот он свертывает свою нехитрую постель, хватает кобуру и бросается к портрету вождя. В дверь квартиры уже колотят приклады.

Еще одна петля сюжета. Странной фугой вплетается история химика, которого должен был допрашивать первый подполковник, но взвихренная судьба подсунула его подполковнику второму.

По осеннему городу бродит болезнь. Желтые листья покрыли рельсы. По листьям медленно катит трамвай. «Аннушка», «Аннушка», «Аннушка». Трамвайный круг. Бульвар. Рыбный магазин. Продавец сачком вылавливает из бассейна живую рыбу. Судак вяло перебирает жабрами, печально вещает что-то белым ртом. По городу бродит болезнь Глюэмбли.

Врачебный кабинет. Преувеличенно натуральные шприцы. Грязно-белые халаты. Табличка на двери. Доктор Синдякин.

Гете

От недокорму чахнут свиньи.
Хозяйство все по швам трещит.
Спим на заложенной перине
И даже хлеб едим в кредит.

— Доктор, я здоровался с Клюквиным еще на той неделе, я держал его за руку. А сегодня он уже там,— пальцем дрожащим ткнул химик сначала вниз, в подвал, потом в небо,— он уже там, понимаете? Скажите, они уже перекинулись на руку ко мне, они ведь уже расползлись по моему телу?

— Кто?

— Да Глюэмбли же!— воскликнул химик чуть не плача.— Помогите, доктор.

— Успокойтесь, Гурин,— говорит доктор.

Гурин преподает катализ в университете. Прожженные химикалиями доски столов, вытяжные шкафы. Бесконечные колбы, резиновые трубки. А запах? О, химическая лаборатория... Девушка, с которой он дружит, учится на филологическом. Они гуляют иногда по холодной набережной, она читает стихи. Ее зовут Валентой. Вместе с паром она выдыхает строчки. Масляно дробится черная вода. На том берегу пыхтят пароходные трубы красно-кирпичного дредноута фабрички.

Антип Гурин мечтает найти такую вакцину, чтобы никто больше не мог заболеть расстрелом. Быть может, он даже объяснил Валенте идею своего лекарства.

— Ты знаешь ли, Валента, почему болезнь называется Глюэмбли?

— Нет,— отвечает девушка.

Тогда он отвечает. Его рассказ длится долго, дни, может быть, недели, месяцы... годы? А тем временем грязно окрашенные безоконные фургоны разъезжают по городу, увозя людей.

Антипа забрали при входе на факультет. За несколько дней до этого болезнь проявилась в виде красных пятен на ладонях, румянца на лихорадочных щеках. В вещих страшных снах ему являлся подвал внутренней тюрьмы и искаженное лицо подполковника Глеба, размахивающего плетью. Сны ошиблись в одном — ни тому, ни другому подполковнику не суждено было допрашивать химика Гурина...

Секундное замешательство. Но вот Глеб скатывает нехитрую свою постель, хватает кобуру и бросается к заветной кнопке. Книжный шкаф с чуть слышным вздохом возвращается на место. Трещит сломанный замок входной двери. В пустую квартиру вваливаются люди.

Спустя пару недель на далекой пасеке появился новый работник. Его приезду никто не удивился, поскольку старый пасечник помощника ждал.

Второго подполковника арестовали в Померанцевом переулке. Два молодых человека взяли его под локти и усадили в автомобиль. Подполковник и не думал сопротивляться. К тому времени он уже знал, что его жена арестована на станции Бузулук, а Вовка и Танька направлены в детский приемник.

Прошло сорок лет. Неузнаваемо изменилась жизнь города. Юноши в ярких одеждах, с нечесаными гривами заполнили центральные улицы. Трамваев почти не стало. И только у старого бульвара делали круг вагончики. Но никто уже не вспоминал этого слова — «Аннушка». Однажды из трамвая вылез старый седой человек, пахнущий землей и медом. Он недоверчиво огляделся. Потом прошептал: «А все-таки я сбежал тогда. Как же ловко я сбежал». И продолжал вглядываться в новый город красными слезящимися глазами.

Такое вот кино. Полет фантазии Рервика. А реальны ли наши фантазии? И что вообще реально? Камни глотать опасно, как установил один поэт, арестованный осенью сорок первого и вскоре погибший классически гениальных тридцати семи лет от роду. Слова? Они тоже могут быть губительны. В начале-то что было? Так называемый социалистический реализм. Ничего более далекого от реализма не придумать. Литература эпохи зрелого тиранства. «Ампир во время чумы». Позже, помню, мы, школьники пятьдесят шестого, уже позволяли себе открыто смеяться над «программным» соцреализмом. Души наши спокойно и твердо отвергали горьковскую «Мать», Фадеева, шолоховскую «Целину». Грибачева или какого-нибудь Софронова для нас просто не существовало. И тьмы других. В пятьдесят седьмом мы прочли необычайно свежего и чудо как романтичного Ивана Ефремова, в пятьдесят девятом доросли до Хемингуэя, в шестидесятом после гнусного скандала заболели Пастернаком, в шестьдесят втором проглотили «Деревушку» и «Особняк», а в шестьдесят третьем добрались до кафкианской «машины казни». И поняли строчку: «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью».

Когда в одном колымском лагере восставшие против бандитов мирные зэки резали на пилораме (колымский вариант кафкианской машины справедливости) бандитского предводителя, одним из развлечений которого было выкалывание глаз не приглянувшимся ему лагерникам, на казнь пришел посмотреть сам начальник лагеря. Свежевыбритый, в новеньком кителе, он стоял и смотрел, как пила с визгом подъезжала к мечущемуся в веревках телу. Об этом нам всем рассказал один поэт, который был в лагере и умудрился там не погибнуть. Какому Кафке снилось такое?

Почему важно судить Болта? Для того лишь, чтобы экс-прокурорам неповадно было обелять палача мертвыми юридическими словами? Не для этого. Суд — одна из форм борьбы с отравой. Болт — отравитель. Это страшнее прямого убийства. Кошмарная болезнь душ, болезнь народов. Отравлены! Бедный Мандельштам... Не с кем слова... Хоть бы Иван Мойсеич кто назвал. Нет, Иван, чеши собак...

Конечно, это ужасно — вытащить желтого воскового Болта на ярко освещенную скамью. Желтого воскового Иосифа. Суд в музее восковых фигур. Обвинение: соучастие в геноциде собственного народа.

Плутарх Когда Агесилаю было нужно, чтобы его воины сделали что-либо быстро, он на глазах у всех первый брался за дело.

У Робеспьера на голове вмятина. Приговор. Гильотина — вжик! Восковая голова медленно падает в корзину. Временна́я петля. По законам фантастического мира действие зацикливается в порочном кругу. Назавтра — очередная казнь друга народа. «Опять новую фигуру отливать», — вздыхают работники восковой фабрики. Триста шестьдесят пять раз казнили Адольфа... Мало! — волнуются народы.

До чего жестоки, немилосердны до чего!

У Болта на Лехе — тоталитаризм или же имперский национальный социализм? Или, наконец, имперский интернациональный социализм? Все же империя с различными нациями — это привычней. Нации склонны к бунтам. Особенно — которые на краю. Мы их дружески увещеваем. Но и цыкнуть можем. «Правильно излагаю, Болт?» — «Правильно излагаешь». А мнение Болта не может быть безразличным. Он — большой специалист по национальному вопросу. Послушаем отца народов.

«Все лехияне — единая братская семья. Это означает, что все они подразделяются на пять сортов.

Первый — высший сорт — ценю и уважаю. Расстреливаю только по суду. Иной раз, конечно, коекого из самых уважаемых приходится отравить. Государственное дело. Зато какие похороны, какие речи! Плач по всей планете — три дня. И два-три болота нарекаем их светлым именем. Вторым сортом идут воины и стражи свободы, эти честные труженики топора и плети. Третьим — тоже труженики, беззаветные и безответные труженики города, деревни и болотных необозримых просторов. Четвертый сорт — это образованные, без них, увы, не обойдешься, особенно в таком наиважнейшем деле, как обеспечение Леха новейшим оружием. А ведь был Лех, что скрывать, окружен злобными врагами, о чем неустанно и непрестанно предупреждали наши газеты, где работали те же — четвертого сорта. Пятый сорт — пришлецы, собственной планеты не имеющие. Нигде не уживаются, но изворотливы, умны, гибки. Пролезали везде, как тараканы, жуткая публика. Часто в четвертый сорт выходили, а то и в первый. Впрочем, пятый сорт — это пятый сорт, но мы все равно его любим и уважаем. Мы вообще всех любим, большое внимание ко всем сортам и стратам проявляем».

Сталина — дошла очередь — вызвали на суд. Иди сюда, сказали, Иосиф Джугашвили, расскажи нам...

«Не пойду, — отвечает. — Кто вы такие? Я у стены седого Кремля покоюсь, мне здесь уютно, соратники рядом. За спиной спит в стене верный Клим, чуть поодаль — Андрей Януарьевич, юрист высшего класса, вам не чета, мастер своего дела, тут же Михаил Иванович, козел старый, жену, понимаете, я у него посадил... А вы меня — как заурядного убийцу из провинции. Что я вам — Джек Потрошитель, зарезавший два десятка, включая старуху и трех сирот? Если вы немного разбираетесь в демографии, подсчитайте — и увидите, что число моих жертв переваливает за сто миллионов. Это уже не убийство, это — я так скромно полагаю — величайшее деяние в истории Земли. А вторым здесь пойдет, готов признать, мой лучший враг Адольф Гитлер. Мальчишка, в сущности... Его итог миллионов пятьдесят, да и то не без моей помощи. Так что потрудитесь сначала дорасти до права судить меня. Пигме́и не вправе судить колосса. Наивные люди. Параноиком называют. Я же не уездный помещик, засекший лакея на конюшне. Объясни-ка мне, как параноик обретает власть над страной в двести миллионов? Становится духовным лидером миллиардов?.. Я презираю ваш суд. О мою несокрушимую волю разобьются все ваши жалкие обвинения, ушей моих не достигнут ваши бессильные вопли, мозг отторгает призывы вашей так называемой совести, грязной и пошлой бабы...»

Возвращаюсь к нашему повествованию. Не знаю, в чем тут дело, но замысел — изобразить Болта фигурой трагической — трещит. Сопротивляется Цесариум этой роли. Что же Андрис молчит в ответ на все тирады Болта, не опровергает, не разрушает его аргументы — сколько их там, пять, шесть? Или сказать нечего? Да разве решишь литературной пикировкой, какие средства нравственны для достижения цели, какие — нет, пусть нравственность самой цели не вызывает сомнений? С одной стороны, салтыковщедринское: «Не может быть, чтоб мерзавец стоял на правильной стезе. Мерзавец — он на всякой стезе мерзавец». А с другой — претит ли насилие натуре человека, коль милость, жалость к насильнику, злодею так естественна, что отказаться от нее — значит обеднеть духовно. Ты, помню, говорил, что твоей Анне тоже жаль Морвеля с рвущимися внутренностями и свистящим дыханием и немецких пленных, ведомых под градом плевков. Астафьевский гнилозубый уголовник избивал, обирал, принуждал к сожительству несчастную старуху, а она бросилась отбивать его у милиции. О, жалость — великая черта народа! А разве не стоит жалости, пусть чуть брезгливой, старик из бывшей лагерной охраны, в юности обманутый, развращенный и натравленный на собственных сограждан, отличавшихся от него, ну, разве более тонкой культурой да, быть может, большей откровенностью и совестливостью? Сотни километров гнала по тундре лагерника-беглеца банда таких же, как он, а настигнув, убивала и — не тащить же труп — отрубала кисти рук для отчета перед начальством. Сколько их, безруких трупов, осталось брошенными в холодной пустыне! Старика же жаль. Хотя жесткие мы стали. Не очень-то на подобьешь на чувства! А что говорит разум? Как там наш рассудок? Не трещит? О, иногда он берет свое, старозаветное — око за око. Кровь за кровь. И тогда — казнь карателя-полицая через сорок с лишним лет. Никто не забыт, ничто не забыто.

М. Скэммел У каждой нации есть свой комплекс... У русских это комплекс Христа: они все время воображают себе совершенный мир, где нет греха, где нет ошибок, где нет фальши. И они сравнивают

Европейская рассудочность века просвещения ну никак не ложится на русскую традицию, а потому стрекоза и муравей, если чуть вдуматься, являют нам модель чудовищных взаимоотношений — чудовищных для людей, не считающих слово «милосердие» пустым звуком. Уродливость басенной морали настолько очевидна, что миллионы школьников (а кто, кроме школьников, читает нынче великого баснописца?), покорно отбарабанив текст, не впускают в свое сознание смысл. Да и можно ли? Детям, к счастью, свойственно отталкивать условные схемы и наглядно проигрывать предлагаемые сюжеты. Хмурое, помертвелое небо. Осенний ветер, дождь срывается. Легкое платье — плясунья ведь! — облепило тонконогую фигуру. Голодно, зябко. Она стучит в окошко приземистого, ладно сложенного дома, откуда веет теплом и сытым запахом щей. «Ну, чего тебе? — спрашивает хозяин, отворив окно. — Да скорее говори, избу выстудишь, дров не напасешься». — «Мне бы, — робеет артистка, — поесть и согреться». — «Много вас тут ходит, дармоедов, голь перекатная. Чеши, пока собак не спустил!» И хрясь — захлопнул окошко.

Гони прочь существо, просящее о помощи, если его образ жизни не соответствует твоему идеалу, сколь бы он ни был узок, пошл, туп.

Однако, как сказал Иисус Иуде, что делаешь, делай скорее. Посему незамедлительно следует открываемая рекомендованными тобою словами

глава восьмая

Судьба обрушивается на человека подобно слепому верблюду.

Борхес

Рервик пристально глядел на Салиму. Четыре луны, взошедшие на небосводе, не оставили никаких сомнений, на какой планете нашел убежище Болт со товарищи. Даже такой астрономический невежда, как Рервик, не мог ошибиться. Но зачем этот корвет, этот полет? Зачем?.. И сразу же явились ответы на громоздившиеся в кучу вопросы. И все становилось на свое место. Малочисленность людей, скудность быта, боязнь, что Рервик увидит открытое небо.

— Так вот почему...

— Да. Но теперь, когда вы знаете, где мы находимся, вам не уйти. Вы подписали себе приговор.

— И вам.

— То есть?

— Не заблуждайтесь, Салима. Судьба у нас будет общей. Хотите жить — выкладывайте, куда идти, далеко ли до метрополии.

— Лех — сплошное болото. Пути до города я не знаю. До ближайшего домика смотрителя километров сорок.

— Домик смотрителя?

— Там никто не живет. Некому охотиться на булунгу. Все веселятся в городе. Празднуют конец тирании. Фильмы снимают о деспотах. Скоро начнут снимать о их детях, внуках... Наивные люди. Не понимают, что за этой пристальной ненавистью кроется любовь. Все та же любовь народа к своему отцу, к...

— Мне приятно, что вас не покидает бодрость духа. Это облегчит наш путь через болота.

Глаза Салимы на мгновение напряженно остановились на чем-то за его спиной. Рервик обернулся, рука на плазмере.

— Эй, — крикнул он Наргесу. — Стойте. И прикажите остановиться своим людям.

Наргес замер. Три фигуры, следующие за ним, сделали то же. Рервик ощутил резкий запах. Салима схватилась за горло и осела.

— Слушайте меня внимательно, — сказал Рервик. — Один шаг — и я убью Салиму. Этот газ на меня не действует, как и любое паралитическое средство. (Сущая правда — Рервику сделали прививки перед какой-то экспедицией в места с дурной репутацией.)

— Рервик, — напрягал голос Наргес, — одумайтесь. Вам не выбраться из болот. Вернитесь, мы договоримся. Дайте Цесариуму с дочерью улететь с Леха.

— Пусть летят. Они не нужны мне. Мне нужна Марья.

— Вы получите ее, как только вернете Салиму.

— А потом?

— Мы дадим вам птерик.

— Который рухнет через две минуты полета?

— Я полечу с вами.

— Залог не слишком ценный. Думаете, Цесариума остановит угроза вашей жизни?

— Кого вы хотите в заложники?

— Салиму.

— Это невозможно.

— Что ж, мы пойдем пешком. Мне нравится общество Салимы — с ней интересно беседовать. Напомните Болту — никаких фокусов с Марьей. И успокойте его — он мне не нужен. Хотя, если ему подучиться, я смог бы предложить ему неплохую роль. Пусть подумает: возьмет псевдоним, никто не узнает, кем он был в прошлом, этот актер. У него недурные способности*. А теперь — уходите. Нам пора. Кстати, теперь в наших общих интересах, чтобы мы быстро и благополучно добрались. Сообщите моему помощнику Вуйчичу — пусть ждет нас в доме смотрителя болот. Какого участка, Салима?

Салима, только пришедшая в себя, тихо сказала:

— Наргес, скажи отцу, мы... Мы проиграли. Я проведу его на участок Иокла. — Салима сделала паузу. — Ты помнишь участок Иокла, Наргес?

---

* Рервик покривил душой. У Болта были выдающиеся способности. Может быть, гениальные. Что-то не позволило Рервику оценить их в должной мере. Да и возможен ли тиран, состоятелен ли деспот, если он не крупный актер, ловкий лицедей с абсолютно безнравственной основой души.

наш действительный мир с таким совершенным миром, который у них в голове или лежит на душе, — можно сказать, что это комплекс утопии... Чисто русская жажда совершенства, которая пленяет европейцев. Но в результате возникает и злая пародия на утопию, изнанка, так сказать, вашей (т. е. русских) утопии...
Строй, который сейчас существует в России, чем-то соответствует русскому стремлению к каким-то абсолютным ценностям, а такая тяга имеет не только привлекательные стороны, но и чревата страшными опасностями.

— Помню, — поклонился Наргес. — Помню, Дочь.

— Туда и направь Вуйчича. Мы будем там через сутки. Прощай. Минуту,— она обратилась к Рервику,— нам понадобится еда.

— Я что-нибудь раздобуду,— сказал Рервик.— Идемте.

«Правильно ли я понял замысел Салимы?» — подумал Рервик. Несомненно, Болт попробует устроить ловушку в доме Иокла. Главное, ни на шаг не отпускать Салиму. Но что же дальше? Не станет же Наргес в самом деле сообщать Вуйчичу о том, где Андрис.

Шли они по три-четыре часа без остановки, и Рервик восхищался стойкостью, с которой Салима переносила трудности. Лехиянские болота мало отличаются от земных — те же проплешины зловонной жижи, чахлые кусты, дрожащие столбики гнуса над головой. Вскоре Андрис убедился, что дорогу Салима знает. Шла уверенно, перечеркивая зигзагами сразу же взятое направление, которое Андрис старался удержать в памяти. Пройдя километров десять, остановились. Жарили на толстом пруте снятую плазмером жирную птицу. Непривычный к мясу Рервик тем не менее ел жадно. Салима хрустела костями и, подняв руки, языком плотоядно слизывала жир с запястий. Трапеза их как-то сблизила. Глядя на острые смуглые локти молодой женщины, Рервик вспомнил первый день на Лехе, карнавал. И снова — какая Анна Болейн! «Ту-ит, ту-гу! Ну и певун! Вся в сале, Анна трет чугун». Тонкие сильные руки. Узкий подбородок. Воля! Актеры, перенесшие сценические убийства в жизнь. Им и создавать полную достоверность на сцене. Болт в гриме с картонной короной! А возмездие? И шальная мысль: не возмездие ли для тирана попасть на сцену? Каждый спектакль — суд. Сегодня и ежедневно! Каждый вечер на манеже...

Они шли дальше, и видение бледного виска Марьи, исколотых ее вен, вытесняло остальное. Говорили мало. «Осторожно, дыра». Или: «Придется в обход, крюк приличный, но вернее», «Все, устала». А то и без слов Салима выбирала высокую кочку и садилась, иногда ложилась, прикрыв глаза и разбросав наглые худые ноги.

Второй раз ели такую же неповоротливую птицу, но с меньшей жадностью. Салима накопала каких-то корешков с мучнистым вкусом. Темнело стремительно — рухнуло покрывало, и тут же выползла квадрига лун. Рервик натаскал кучу кривых стволиков. Выдергивались из трясины они легко, с громким чавком. Горели хорошо, но очень быстро сгорали. Не обращая на Рервика внимания, Салима набросала кучу травы и веток, завернулась в плащ и легла. Сонная одурь накатывала на Андриса. Он отходил от жара, от светлого круга. Осторожно топтался, стараясь не угодить в провал между кочками. Спит? Он подошел к Салиме. Она ровно дышала. Приткнулся к куче хвороста. Огонь упал. Плащ Салимы растворился. Луны затянуло плотной пеленой. В близком омуте плеснуло какое-то животное. Рыжая вислоухая собака метнулась прочь и бросилась вдогонку Марье тыкаться узким холодным носом в тонкие лодыжки. Над Ветлугой висел пласт тумана. Сырость пропитала брюки, тапочки. Он скинул их и шагал босиком, как и Марья. Тебе нужен муж по имени Марей, сказал он. С крутыми белыми кудрями и можжевеловым венком. Будете рыбу ловить, собирать морошку. А жить вон там, у родника. Марей поставит шалаш. Ты натаскаешь мха, сена. Я приходить стану. Это зачем еще?— Марья удивленно поднимает брови. А фильм снимать. По Гамсуну, по Замятину. По Стриндбергу и Сведенборгу. Сведенборг хохотал. Хохотал филин. И она захохотала: не хочу Марея. Почему?— Не люблю кудрявых, да еще с венком. Можжевельник колется. Вон, все руки, видишь... Она тянула руки с исколотыми запястьями. И вдруг обняла его, неловко царапнув шею.

Рервик вскочил. Серело. Салимы не было.

— Эй!— Он забегал вокруг кострища. Неужели ушла?

— Не суетитесь, Рервик.— Темная фигура проявилась на сером фоне со стороны бочажка.— Я могу привести себя в порядок? И возьмите ваш плазмер. Он под ветками, в ногах моей постели. Я не хотела, чтобы вы пристрелили меня, пока я умываюсь.

Резкий голос Салимы вогнал Рервика в краску. Он пошарил под травяным матрасом и нащупал рукоять плазмера. Улыбнулся.

— Нервы. Я, пожалуй, тоже отлучусь.

Почему она меня не убила? Боялась расплаты? Возможно. Если молодцов Болта возьмут, они расскажут. Но что им терять? Разве они не сожгли мостов, уйдя с Болтом? Пожалела? А Марью — нет? И вдруг он ясно себе представил, что все его усилия тщетны. Ведь Салиме ничего не угрожает — ни на Лехе, ни на Земле. Она вовсе не заложница, а потому Болт по-прежнему хозяин положения, вольный сделать с Марьей все что угодно. Просто, планируя всю операцию, Рервик смотрел на нее глазами Болта. Раз Марья — заложница в руках Цесариума, позволяющая ему диктовать условия Рервику, то, стало быть, Салима — заложница в его, Рервика, руках, и он может диктовать условия Болту. Более того, пока Салима во власти самого Рервика, Болт может предполагать, что ей угрожает опасность. Но как только они доберутся до города и Салима предстанет перед властями, она окажется неуязвимой. Зато, с другой стороны, Андрису теперь известно логово самого Болта, и тот это знает. Он может бросить все, взять с собой Марью и скрыться в другом месте. Оттуда Цесариум будет и далее шантажировать Рервика... А Салима — что Рервик сможет с ней сделать? Ничего...

Ни-че-го... Понял, дубина стоеросовая? Возомнил себя профессионалом. Лепит ошибку за ошибкой. Побоялся взять птерик, тащится через болота с

Л. Седов

Русская культура и русский человеческий материал не хороши и не плохи — они особенные. Мы не знаем этой нашей особенности, так как из инструментария наших ученых были исключены методологии и методики, давшие миру такие шедевры, как «Авторитарная личность» Адорно, «Хризантема и меч» Рут Бенедикт, «Икона и топор» Биллингтона

этой венценосной девой, давая возможность людям Наргеса триста раз его опередить. Что они предпримут? Уже, видимо, расположились в доме смотрителя. Какие у него козыри, кроме заложницы, которую он ни при каких обстоятельствах не сможет не только убить, но даже серьезно ранить? Одно дело дать по губам наглой девице, другое...

Поляну он узнал сразу. И насторожился. Тыкать плазмер в бок Салимы было бы бессмысленно и унизительно. Раздвигая камыши, он думал, не покажется ли в просвете длинногубая физиономия Наргеса с парой стражей по сторонам. Но вокруг было тихо и пустынно. Белый каменный столбик с именем Илги. Тропинка, бегущая через холм. Захотелось в дом, к кисловатому запаху, к дыму печки.

— Ну что,— сказал он,— где нас ждут ваши подданные?

Салима молчала.

— Пойдемте к дому.

И, не оборачиваясь, стал взбираться по тропинке.

На петле запора — обрывок шнура. Похоже, в доме после них с Иоклом никого не было. Осторожно перешагнув гнилую ступеньку, Рервик толкнул дверь. Прошел сени. Сейчас он откроет вторую дверь и увидит — Велько или Наргеса?

Увидел обоих. Они мирно беседовали за столом.

— Что за манера...— начал Велько, привстав и отодвигая табурет.— Мне, в конце концов, надоело. Что ты себе позволяешь? Я же... волнуюсь, дрянь ты этакая...

Наргес одобрительно кивал.

— Да, да. Форменное безобразие. Звездная болезнь, а? С гениями вечные сложности. Ни с кем не считаются. Могут вдруг исчезнуть, а тут люди волнуются, переживают. Могут вот так навести на человека оружие, а ведь это опасно. Ну хорошо, что в данном случае...

Рервик смотрел на свой плазмер, направленный в грудь Наргеса.

— В данном случае,— раздался голос Салимы,— он разряжен. Так что, если хотите разжечь огонь в печи, советую воспользоваться другим инструментом.

— Нет, нет,— замахал руками Наргес,— печь не понадобится. Мы сию же минуту возвращаемся, Цесариум ждет. Но, но...

Рервик метнулся к Наргесу, но комната уже кишела какой-то грубой публикой. Человек пять или шесть, потрясая плазмерами, загнали Андриса и Велько в угол и, нанеся несколько профессиональных ударов по печени, связали режиссера и помощника обрывками веревок и ремней.

Салима холодно улыбалась. Наргес заговорил торжественно.

— Я готов выразить глубокое удовлетворение сложившейся ситуацией. Героическое деяние Дочери обожаемого Цесариума привело к тому, что идея запечатления образа великого человека, осуществление которой было под угрозой, теперь, без сомнения, получит свое воплощение. Блистательный художник и его ближайший сподвижник собрались вместе и в самом скором времени окажутся под гостеприимным кровом нашего Цесариума. Выражаю надежду, что более ничто не сможет отвлечь их от вдохновенного творчества и...

Рервик вопросительно посмотрел на Вуйчича.

— Он сказал, будто ты словил Болта и ждешь меня здесь,— негромко произнес Велько.— И что я должен быть один и с аппаратурой. Что у тебя замысел какой-то сумасшедшей съемки.

— И ты поверил?

— Если бы речь шла не о тебе, а о нормальном идиоте средней руки, ни за что не поверил бы.

Ремни глубоко врезались в пухлые запястья. Велько страдальчески морщился.

— Аппаратуру привез?

— Угу.

— Замечательно. Нам придется снимать великого Болта в ореоле славы и преклонения. У них в руках Марья.

— Марья?

Наргес тем временем подбирался к концу своей речи:

— ...послужит утверждению справедливости, света и добра как на Лехе, так и во всех уголках нашей необъятной вселенной.

При последних звуках его фальцета Велько успел шепнуть:

— Потянуть бы до утра.

Им развязали ноги и, грубо подталкивая рукоятками плазмеров, погнали к птерику. Велько чуть замешкался на верхней ступеньке трапа, когда на нижнюю ступеньку встали два стража, навьюченные сумками и баулами с кинооборудованием. Замыкающий страж нес святая святых — кожаный чехол с хрупкой любимицей Рервика суперкамерой «ВОЛК-ПОМО-Р»*. Велько старательно споткнулся и полетел вниз. Завопил рухнувший на землю страж. Захрустела под стокилограммовым помощником режиссера драгоценная оптика.

— Слушайте, Рервик. Я сожалею о поступке вашего друга. Боюсь, вы тоже не одобряете его. Сейчас я доложу Цесариуму о прискорбном обороте событий. И попрошу помощи. А помочь нам сможет только глубоко чтимая и нами и вами мадемуазель Лааксо. Неужели вы хотите обеспокоить ее нашими мелкими проблемами?

— У вас есть связь с Болтом?

---

* Ни к хищному животному, ни к жителю европейского севера России название камеры отношения не имеет. Расшифровывается оно следующим образом: волоконная камера Петербургского оптико-механического объединения. Буква же «Р» означает, что этот аппарат был сделан специально для Рервика. Изготовил чудо-камеру в единственном экземпляре мастер Рувим Стацирко, прославленный изобретатель, которому суждено сыграть важную роль в этом повествовании, о чем ниже.

«Ригведа» Из чего возникло это мироздание,
создал ли
кто его или нет?
Кто видел это на высшем небе,
тот поистине знает. А если
не знает?

— Мы же цивилизованные люди, Рервик.— Наргес вытянул из кармана передатчик, состряпал почтительную физиономию и набрал комбинацию цифр.

— Слушаю, Наргес. Что там?— Низкий голос Болта был глух и спокоен.

— Цесариум, я счастлив сообщить. Дочь невредима.

Подошла Салима.

— Отец!

— Салима!

Женщина нежно коснулась решеточки микрофона.

— Вылетай скорее, я жду.

Салима смотрела на Андриса.

— Мы немного задержимся. Придется послать птерик в город за камерой.

— Разве...

— Аппарат разбился. Случайно. Я думаю, Рервик сможет быстро достать другой.

— Хорошо, жду.

Наргес широким жестом пригласил Андриса за стол.

— Напишете или наговорите на кристалл?

— Напишу.

Он набросал несколько слов. Наргес посмотрел на сообщение.

— Авсей?

— Авсей Год. Найдете его в студии.

— Авсей Год... Кажется, я слышал это имя.

Сделав жест одному из охранников — следуй за мной,— он пошел к птерику.

Рервик и Вуйчич сидели на лавке под дулами плазмеров. Салима вышла во двор — в окно была видна ее фигура в черном плаще, медленно идущая к опушке.

— Утром здесь должна быть группа. Сцена охоты...— пробормотал Велько по-русски.

— Только на интере!— закричал страж.

— А пошел ты!— по-русски же сказал Велько, стараясь придать голосу благодушный тон.

Хмурые стражи производили смену караула, когда из лесу послышалась похоронная музыка. Уныло-торжественные звуки неприятно подействовали на стражей, и они, сжимая рукояти плазмеров, уставились на дальнюю опушку. Оттуда на поляну выступала процессия. Вслед за музыкантами, которые дули в рожки, извлекая печальный свист, и угрюмо били в тарелки, на открытой повозке, влекомой четырьмя ейлами, показался убранный цветами гроб. По сторонам церемониальным шагом выступали гвардейцы Цесариума в золотых пятиуголках. За повозкой в тяжелом молчании двигалась толпа скорбящих. Стражи похолодели от ужаса: недвижный и строгий, лежал в гробу великий гений Леха, несравненный Цесариум Жоземунт Болт.

— Ва-ва,— сказал старший страж и опустил плазмер.

— И-ех,— сказали остальные стражи.

Салима и Наргес, стоя на пороге, оцепенело смотрели на приближающуюся скрипучую повозку. Она была совсем рядом с домом, когда музыка оборвалась, а мертвец вдруг сел в гробу и грозно огляделся.

Дальнейшие события развивались быстро. Нарядные гвардейцы мгновенно обезоружили стражей — те, впрочем, и не думали сопротивляться. Салима и Наргес поспешно скрылись в доме. На пороге их сменили полуосвободившиеся от пут Вуйчич и Рервик. Велько с изумлением взирал на осыпанное мукой белое лицо Цесариума. Андрис, обладавший более острым глазом, вдруг заорал:

— Миха! — и бросился в объятия воскресшего тирана. — Миха! Как ты здесь?

Миха Льян умел сохранять дистанцию в любом положении. Мягко освободившись от режиссерских объятий, он сказал с достоинством:

— Я никогда не считал для себя зазорным участвовать в пробах. Знаменитый режиссер забыл про меня — и я сам прибыл на Лех.

— Превосходно! Но как ты очутился здесь, на болотах?

Один из музыкантов откинул капюшон и сказал голосом Авсея Года:

— Обстоятельства вынудили нас вместо сцены охоты отрепетировать сцену похорон. Она показалась нам эффектным психологическим ударом. Ведь оружия у нас нет — бутафорские аркебузы...

Надо отдать должное Наргесу. Когда в дом с толпой деловитых киношников вошли Андрис, Велько и Авсей Год, старый царедворец самоотверженно закрыл Салиму щуплым телом и высоким голосом провозгласил:

— Рервик, ты не тронешь эту женщину!

Но Андрис уже говорил в переговорник:

— Послушайте, Болт, я немедленно вылетаю к вам за Марьей. Не дай вам Бог совершить ошибку. Запомните: Салима не у ваших приятелей из управления порядка и не на Земле. Она останется у моих друзей до тех пор, пока я не вернусь с Марьей.

Оставив Салиму с Вуйчичем, Рервик взял с собой Наргеса и троих из съемочной группы: двух гвардейцев Цесариума и церемониймейстера. Вопросительно глянул на Льяна. Тот приглашение с достоинством отклонил. В последний момент в птерик вскочил Авсей Год.

— Я знал про этот бункер, — говорил звукорежиссер, когда птерик лег на курс. — Мог бы раньше догадаться. Просто в голову не приходило, что Болт осмелится остаться на Лехе. Между прочим, когда я сказал Вуйчичу, что видел вас и что стоило бы вас поискать, он ответил...

— Я знаю, что он ответил.

— Что же?

— Если Рервик захочет, чтобы его искали, он даст об этом знать Верно?

А. Иванов, В. Лоскутов

Объявляя «врагом-механизмом» Административно-командную систему, или бюрократию, мы, сами того не желая, вольно или невольно, оказываемся «по ту сторону» баррикад. Предпринятый нами анализ сталинщины и сталинизма убеждает нас в том, что целям и идеалам, практическим силам перестройки противостоит не бюрократия вообще, а *социалистическая* бюрократия, не Административно-командная система, а несколько «обновленный» *сталинский тоталитаризм*.

— Почти. Потом куда-то исчез и Вуйчич. А еще через пару дней заявился некий тип в толщинке и стал гнусаво просить камеру и совать мне под нос вашу записку. Он прекрасно подковал себе голос. О парике, усах и румянах я уж и не говорю. Все было вполне натурально, и я готов был отдать ему одну из ваших камер. Но слух! Слух звукооператора. Вот чего не учел Наргес. Я узнал его по голосу. И подумал: что это? Ловушка? Какие общие дела могут быть у ближайшего соратника Болта и у Рервика? Заварил ему чайку, а сам пошел в закуток к Рувиму Стацирко. «Рувим, — сказал я, — мне нужна вот такая горошина, эдакий радиомаячок. И нужен он мне сию минуту. Я хочу вставить его в чехол камеры». Рувим поднял на меня свои ореховые глаза и сказал: «Вы знаете, Авсей, я люблю вас, как родного племянника, но то, что вы просите, невозможно. Сию минуту такие вещи не делаются. Мне нужно по крайней мере полчаса». И полчаса этот мерзавец, Наргес, пил у меня чай. А потом вместе с прибывшим Льяном мы разработали эту похоронную идею.

— Что ж, киношного Болта вы похоронили вполне успешно. А настоящего скоро увидите в полном здравии.

Год молча скривил рот. Потом скрылся под капюшоном своего плаща и до приземления птерика хранил молчание.

В узкую щель между валунами пришлось входить по одному. Вел Рервик, последним шел Год. У входа никого, в коридорах пусто. Пуста была и открытая камера Марьи. Рервик повел всех в комнату с ширмами. Болт обставил сцену в провинциально-трагическом вкусе. На красном ковре — Марья. Глаза закрыты, лицо зеленоватое. Около нее — человек, вялыми пальцами ловящий пульс. «Геле, доктор», — понял Андрис. Остальное он стал различать, лишь убедившись — по дрогнувшим губам, по теплой руке, — что Марья его узнала. Болт сидел в кресле. За спинкой — громада Джоя. В глубине — несколько темных фигур. Рервик узнал Варгеса. Наргес соскользнул мимо Рервика к ногам Болта и стал на колени. Цесариум сухими пальцами потрепал гладкую щеку любимца. Ситуация просто требовала патетики.

И патетика расцвела, но не сразу. Сначала была растерянность. Горькие взгляды на Марью. Сухие глотательные движения. Дрожь пальцев. Потом что-то сказал Болт. Что-то ответил Наргес. И Рервик заговорил:

— Болт! Сотни лет назад человечество отказалось от смертной казни даже для преступников, поправших святое право человека — право на жизнь. Даже для убийц по умыслу, убийц детей, стариков и калек. Люди отвергли ритуальное лишение жизни, сопровождаемое представлением-судом, величавыми жестами обвинителей и адвокатов, барабанным боем, кривлянием врача и священника. Нелегко было отказаться от такого зрелища. Симфонический рев костра. Глухой и окончательный стук топора. Изящная графика виселицы. Вершина гуманности — взвод. Никто не знает, от чьей пули. Телевизионные шоу двадцатого века — убийство убийцы в камере с отравляющим газом. Экзекутор кладет палец на кнопку. Граждане с любопытством наблюдают гримасы казнимого. Стынет чай на столе и кровь в жилах. Ах! Но почему? Почему отказано нам в радостном переживании торжества справедливости, наказания порока? Потому что невыносимо бремя выбора. Между беспросветным негодяем, поджигающим автобус с детьми в знак политического протеста, и праведником, отдающим дырявый плед продрогшему сироте, лежит сплошная, неделимая область, населенная живыми людьми. А стало быть, где-то при каких-то обстоятельствах возникал пограничный, спорный, неясный случай — можно вроде и помиловать, а с другой стороны, дрянь все-таки, не жалко и шлепнуть. Или доказательства почти, ну почти неопровержимы, на многомного девяток после запятой. Остается пустяк: выбрать, кого убить, кого оставить в живых. И вот родилось, вернее, восстало из пепла рожденное полуварварами в самое кровавое столетие земной истории установление: «Государственная Дума считает недопустимым применение даже и по судебному приговору наказания смертью. Смертная казнь никогда и ни при каких условиях не может быть назначена».

Всякое пробовали люди с тех пор. Острова забвения и одиночные камеры. Психореконструкцию и принудительную амнезию. Публичное покаяние и публичное осмеяние. И нигде, даже в самых дальних колониях, живущих по земным законам, не применялось официальное умерщвление людей как мера наказания. Только здесь, на Лехе. Только тобой, Болт.

Ты выпал из времени. В тот смутный промежуточный слой, в пору, мало понятную современному человеку, в межвременье, в щель, по одну сторону которой — нищие, полуголодные века, когда люди гибли от чумы и туберкулеза, забивали насмерть воров, боялись сглаза, но и подавали милостыню, стрелялись из-за поруганной чести, верили в ту милосердную ипостась духа человеческого, которую называли Богом, и, верой этой освещенные, творили храмы, подобные остановившейся музыке, и музыку, подобную воспаряющему храму, сплетали из слов и красок образы, полные слез и боли, любви и света, мечты и тайны, а по другую сторону — время, когда уже не было нужды в милостыне, но сохранилась нужда в милосердии, когда изобилие притупило интерес к вещам, но подняло цену на ласку и привет, когда размышлениям, любви, дружеской беседе — потехе — настало время, а изготовлению различных предметов, отличающихся материалом, размером и цветом, — делу — отводился час. В этой щели шириной в два века шкала ценностей так скособочилась, вывернулась наизнанку, что

М. Титма Конечно же, политика центра не была избирательно антиэстонской, как не была она антилатышской, антигрузинской или какой-либо еще. Она была просто антинародной...

лишь способные к перевоплощению, нравственной мимикрии философы и историки, наделенные, помимо знаний, искусством вживания в самые безумные обстоятельства существования, пытаются как-то объяснить, описать, сохранить для изучения более мудрыми потомками факты, картины жизни, деяния людей того времени.

Мир их представлял собой скопления металлоцементных конструкций преимущественно прямоугольной формы, связанные между собой полосами аналогичного материала. Предметом особой гордости жителей этого мира явилось возведение всевозможных сооружений, высшим достоинством которых признавалась приложимость к ним эпитета «самый». Самый первый, длинный, высокий, быстрый, тихий, желтый, острый... Вся эта деятельность питалась энергией от неуклюжих и изредка взрывающихся атомных котлов, производящих горы радиоактивных отходов, которые закапывались в землю и топились в океанах. Основным занятием жителей было перемещение по планете в наземных, подземных и воздушных аппаратах с различной скоростью, но с одной целью: способствовать развитию так называемой экономики, то есть изготовлению все тех же предметов различной формы, размера и окраски в возможно большем количестве. Люди живо обсуждали и переживали сведения о том, где и что изготовлено, куда перевезено, как съедено, изношено или другим образом уничтожено. Мысли людей были заняты движением неких бумаг, называемых акциями (тайный намек на действие). Привлекали всеобщее внимание возимые в черных лакированных тележках говорливые мужчины с хорошей дикцией и набором эффектных поз. Большим успехом пользовались игры в так называемый научно-технический прогресс. Обожали общаться с автоматами, очеловечивая их и приноравливаясь к ним всячески — языком, ходом мысли, стандартным набором реакций. У окошек, называемых дисплеями, умирали фантазеры и философы, гибли интуиция и юмор, поэзия и сострадание. Потом возникли новые увлечения — игры с генами. В панической погоне за жратвой люди создавали новые виды растений и животных, нарушали межвидовые связи, корежили биоценозы. Дорвавшись до термоядерного синтеза, они получили море энергии, нагрели планету и изуродовали климат... Детей в это время, в это безвременье, уже не учили, как бывало, пасти скот, сеять зерно и выделывать горшки из глины. Основное время отводилось на операции с различными знаками и буквами, совершаемые на листах бумаги, воображаемым попыткам вкатить шарик по наклонной доске на некоторую высоту и бросанию его с той же высоты, сливанию в прозрачной посуде дурно пахнущих жидкостей и насильственному заучиванию цепочек слов с созвучными окончаниями.

Только эти века с присвистом кнута и лживой болтовней о свободе, только эти века порождали подобных тебе, давали им развиться, возносили их, а потом, развенчав, помещали в пространство меж двух листов картона, именуемое энциклопедией...

Такую вот странно длинную и неуместную речь произнес Рервик, поскольку мне надо было выговориться. Между тем Болта, по-видимому, вовсе не беспокоила точка зрения Рервика на то, в какую временну́ю дыру он выпал. Скорее занимал его вопрос, сохранит ли он шкуру и относительную свободу. Ну и, конечно, хотел он гарантии неприкосновенности своего чада. Все это прочел Рервик в тревожном взгляде Болта.

— Меня более не занимает судьба ваша и этих... — Рервик брезгливо повел рукой на свиту Болта. — Останетесь вы здесь или уйдете, а если уйдете, то куда — все это дело ваших бывших подданных. Только их суду вы подвластны, а законы Леха мне не знакомы. Не знаю, насколько они изменились с тех пор, как вы покинули пост верховного судьи.

— Вы не повезете меня в город? — резко спросил Болт.

— Я — нет.

— Правильно. Землянам не должно быть до этого дела. Мы сами разберемся. Когда я увижу Салиму?

— Она будет здесь, как только Марья окажется в городе.

— Так берите ее и улетайте. Я не желаю вас видеть. Все, связанное с Землей, ее юродством, хамством, мне отвратительно.

Болт тяжело встал и направился к выходу. «Сыграть бы ему — Болта, — подумал Андрис снова. — Лучшего не найти».

Он уже взялся за ручки носилок, на которых лежала Марья, когда негромкий голос заставил его остановиться:

— А с соотечественником не останетесь на минуту, Цесариум?

Год стоял в центре зала и смотрел вслед Болту. Тот обернулся.

— Кто это?

Год откинул капюшон. Болт медленно пошел к нему, всматриваясь.

— Авсей? — Он остановился. — Но ты...

— Жив, да-да.

— Я рад. Почему ты исчез? Почему тебя не было рядом? Не думал, что ты предашь меня.

— Я предал тебя. Но не в тот момент, когда все твои приближенные, кроме Варгеса и Наргеса, бежали, как трусливые ейлята, а эти двое цеплялись за тебя, потому что не могли ждать пощады.

— Ложь, — сказал Наргес тихо, но внятно.

Год обернулся к креслу, у которого, все еще на коленях, стоял Наргес.

— Да, я несправедлив, — сказал Авсей, подумав. — Вы оба любили, любите это чудовище. Тогда, в ночь, когда горел дворец и тебя искали,

Владимир Вернадский

Жизнью выдвинуты два коренных вопроса, которые должны быть разрешены во что бы то ни стало. С одной стороны, в России неизбежно установление свободных условий личной и общественной жизни на принципах равенства, а с другой — коренное разрешение земельного вопроса... Жизнь дошла до такого предела, что эти вопросы будут или легально разрешены сверху, или взяты силою снизу.

мог тебя выдать, но не стал. Я видел твой птерик, даже снял отлет — вы бежали с крыши правого флигеля. Ничего не стоило поднять тревогу. Вы бы не ушли — птерик был парадный, полный роскоши, но тихоходный. Его потом нашли на болоте. Я понял, ты специально устроил это представление с обугленным трупом. Кого, интересно, ты убил для этой цели? Экспертиза была небрежной. Совет поверил уловке. Он даже не обнародовал находку обломков и трупа. Но я-то знал — ты жив. Ты сказал, что рад меня видеть. Я тоже. Очень рад.

— За что ты ненавидишь меня? — спросил Болт. — Только не говори, что ты — тираноборец. На Лехе таких нет. Здесь каждый борется не против, а за. За себя. Разве я не приблизил тебя? Разве не завидовали тебе не столь удачливые коллеги?

— Ты прав, Цесариум. Как хорошо ты нас знаешь! У меня действительно была причина ненавидеть тебя. Личная причина. Я открою ее. Чуть позже. Я разрывался между любовью к тебе — кто не любил нашего Цесариума? — страхом — кто его не боялся? — и жалостью к сестре — кто не испытывает жалости к родной сестре, особенно если она воспитала тебя, заменила мать?

— У тебя есть сестра?

— Была.

— Я ничего не знал о ней. — Болт обернулся к Наргесу: — Почему я ничего не знал о сестре Авсея? — И, не дожидаясь ответа, Году: — Разве ты не мог обратиться ко мне, если с ней случилась беда? Что с ней произошло?

— Она избрала себе несчастливого мужа и имела смелость любить его не только в дни славы, но и в дни падения.

— Она погибла?

— Да.

— Почему же ты отпустил меня тогда?

— Тебя могли убить при погоне.

— Ты не хотел этого?

— Смерти? Твоей смерти? Ни в коем случае.

— Милосердие?

— Напротив. Что тебе смерть? Минутный страх. Нет, Болт. Ты должен жить. Долго. Чем дольше, тем лучше. И вспоминать всех. Казненных и униженных. Раздавленных, превращенных в ничтожества. Обесчещенных. Сведенных с ума. Я позабочусь, чтобы ты — случайно, по умыслу ли — не погиб. Я буду охранять тебя от наивных мстителей, которые, узнав о том, что ты жив, что ты так близко, задумают свести счеты. Как я хочу, чтобы ты жил вечно, Болт. У меня была мечта: увековечить дела твои, имя твое, облик твой, увековечить их гением Рервика!

Тяжелая улыбка смяла щеки Болта. Рервик понял смысл этой гримасы: Цесариум хотел того же. И он жаждал увековечить себя руками Андриса. И был близок к воплощению мечты.

— После этого фильма я мог бы позволить тебе умереть, Цесариум. Но теперь вижу — фильму не бывать. Нет актера, способного сыграть главную роль. И почти нет зрителей, которых такой фильм — не заинтересует, таких еще можно найти — обожжет, ударит, повергнет в ужас. У этого фильма нет адреса. Уцелевшие жертвы хотят одного — забыть. Люди Земли и Содружества так озабочены собственной чистотой и величием, что не пропустят в души свои свидетельства собственного позора. Главным ценителем картины был бы ее герой. А как бы он сыграл! О! Натурные съемки! Что, Болт, если дать тебе планету — тот же Лех, вернуть власть и — снимать, снимать, снимать... Уговорите его, Рервик, он согласится. Он сыграл свою прошлую жизнь, теперь — на бис. Уговорите! А пока нужно сохранить героя-актера. Он будет мысленно репетировать. Вспоминать. Я буду показывать тебе самые интересные сюжеты, Цесариум. А когда ты утомишься созерцанием старых хроник, я стану приводить к тебе живых людей. Так и будут они чередоваться: живые и покойники, известные и те, чьи имена ничего не скажут великому Болту: Мутинга и Эва Одульф, Кунмангур и Илга Довид, Катукара и Купка. И не забудьте, Рервик: снимая сцену самоубийства Купки, тщательно выбирайте ракурс. Попросите актрису сделать широкое, эффектное движение ножом. Когда я снимал происходящее в доме Купки, я слишком доверился автоматам. В результате такой важный и красивый эпизод — перерезывание горла женой изменника — оказался снятым ниже всякой критики, за что я получил строжайший выговор. И поделом! Буду знать, как уклоняться от честного исполнения долга. Ну что с того, что Купка — моя сестра?

Болт дернулся, хотел что-то ответить, но махнул рукой и скрылся за ширмой.

Пока. Твой Владимир.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Апрель 28, Савельево

Не в силах ожидать ареста, некто Коган, большевик из Одессы, бросился в Ярославле под поезд. Эх, Коган, Коган! Не ты ли в двадцатом ужинал в украинской хате житняком и медом? Не ты ли большевистским разговором смущал мужиков? Не ты ли, Коган, сказал им: разорите богатых, убейте их — и станете счастливы?

Так чего же ты ожидал, комиссар?

В Ярославле ты был не таким уж малым начальником, и тебя возил тарахтящий автомобиль, и стал ты вроде как знатен и богат. Что ж удивляться, что тебя захотели убить? В Ленинграде прямо в коридоре обкома застрелили большевика в сапогах, и ты почувствовал страх. А ведь не боялся, когда в кон-

Петр Чаадаев Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

ной армии Городовикова над курчавой твоей головой свистели пули. Не испугался, когда на краю овсяного поля тебя расстреливали два махновца. (Неплохие оказались ребята. Отпустили. Умилились твоим бесстрашием да блеском пенсне.)

Тебе не было страшно, когда в двадцать девятом, в тридцатом разоряли мужиков, ссылали мужиков, убивали мужиков. Ты думал — убирают богатых, и сомнения не терзали твою душу. Когда схватили инженера Рамзина и историка Тарле, тоска шевельнулась в сердце, но страх ты в него не впустил. А теперь, в преддверии тридцать седьмого, ты празднуешь труса, Коган.

Почему ты, бесстрашный комиссар, овцою лег на рельсы?

Почему же не запасся двумя револьверами — один за пазухой, другой за укороченным голенищем сапога? Что ж не задумал прикончить хоть пару наиболее гнусных энкаведешников? Почему не сбежал — в степь, в тайгу, в городские трущобы? К уголовникам, ворам? Тоже ведь выход. Правда, труден этот путь для нормального человека. Но был ли ты нормальным человеком, Коган?

На суде, бледный и хмурый, он стоял между салазаровским полковником Беанишем и рыцарем Гецем фон Берлихингеном, предавшим крестьян Мюнцера. Когда Когану задали вопрос о револьверах, он долго молчал, а потом заговорил глухо и решительно:

— Сейчас, из могилы, многое передумав, я скажу вам... — Он пожевал пепельными, бесплотными губами. — Вы спрашиваете, почему не задумал я убийства Болта? Отвечу. Ни убивать, ни устранять его было не нужно... Нет. Это явление должно было обнажить себя до конца, отработать до гниения, распада, естественной смерти. Только тогда оно будет распознано, и не останется романтической легенды о борце за народное счастье Жоземунте Болте, который хотел, да не успел. Не дали... Нет, дали! Успел! Выстроил! А теперь — смотрите, что он выстроил на костях ста миллионов...

Теперь ты видишь, Владимир, что повесть наша катится под гору. Вот-вот, махнув прощально, герои станут выпадать за пределы страниц. Но как? И главное — куда? Жаль, что, поместив логово Болта на Лехе, мы лишились резона продолжать линию космического волка Баккита, заманившего Болтов спейс-корвет в черную дыру. Главу эту, возбужденный сиднокарбом, ты, помнится, сочинил в новогоднюю ночь, когда замысел «Похищения» только брезжил в наших мозгах. Как она начиналась? «В форме СФ с витыми шнурами, кажущийся кавалергардом с картинки, зорким глазом оглядывающим места недавнего жаркого сражения, вышел и угнездился между двумя трапами в торце «Игоря Сикорского» старый навигатор с Андромеды Баккит-Улад...» Но вот мы загнали Болта в лехиянские болота, и надобность в Бакките отпала. А какое, казалось бы, удобство. Погрузить в спейс-корвет всю компанию — и в черную дыру. Акт возмездия, и ломать голову не надо. А теперь — выкручивайся. Впрочем, что-нибудь придумаем, дай время. До той поры я успею рассказать тебе о тете Поле, Полине Васильевне, старухе Леонихе — своей соседке, склочным своим характером держащей в напряжении всю деревню, не дающей уснуть ни местным, ни приезжим. Тонизирующее средство, будоражит она очередь за хлебом в деревне Кореничено, бросает в топку слухи, домыслы, соображения о скудной на события деревенской жизни, и полыхает костер до послезавтрашней очереди — хлеб здесь привозят через день. Рассказ мой и составит второе по счету

отступление

Ко мне она пришла через десять минут после того, как я открыл дверь дома, и с порога потребовала изоляционную ленту — починить шланг. Ленты у меня не было. Полина улыбнулась и исчезла.

Потом я понял, что это не улыбка. Впечатление улыбки давал беззубый запавший рот.

Едва успел я разобрать рюкзак, Полина снова появилась в сенях, стукнула о стол кринкой и сказала:

— Вот. Попробуй, какое молоко-то бывает.

И тут же ушла опять. Теперь, кроме проваленного рта, успел заметить я белесые водянистые глазки и седые жидкие волосы, кое-как убранные под ядовито-зеленый платок.

Так началась наша жизнь. Мы — Наташа и я — лебезили, мерзко и униженно заговаривая с Леонихой о погоде, видах на урожай, ассортименте в магазине. Полина Васильевна иногда отвечала благосклонно, иногда отмалчивалась. Молока больше не приносила. Через неделю я привез ей из Ржева изоленту и предложил достать новый шланг. Изоленту она взяла, принесла полтинник, а от шланга отказалась:

— На хрена мне пятнадцать рублей платить, он и так еще поработает.

В тот же день разразился первый скандал. Я услышал визгливую матерщину. Полина с косой гналась за Никси. Я судорожно схватил собаку на руки.

— На цепи держите, убью! За курями повадилась, стерва. У меня уж одна подохла, я в овраг снесла — ее работа! Ой, жаль, не догнала, ой, не догнала!

Наташку трясло. «Она убьет Никси, — повторяла она. — Уедем отсюда. Я не смогу тут жить».

К вечеру я слышал истошные вопли Полины, проклинавшей всех дармоедов дачников. «Лучше вылью я молоко, на дорогу вылью, чем им продавать стану, тьфу!»

Наташа уехала, увезла Никси. Через пару дней старуха неслышно вошла в дом, когда я вымучивал конец исторического обзора и застрял на дистриб

Фидель Кастро Рус

...Революциям обычно свойственны периоды утопии, когда их участники, посвятившие свою жизнь благородной задаче... полагают, что исторические цели находятся гораздо ближ и что воля, желание и намерения людей всесильны стоят превыше требований объективной действительности.

тивном анализе. В черных пальцах Полина держала глубокую тарелку с творогом.

— Ешь!

И снова пропала на два дня. Только издали было видно: обкашивает бугор за своим подворьем, тянет на веревке старое ржавое корыто с торфом, латает забор, гремит ведрами, вбивает кол — привязать корову...

После экзаменов на три дня приехала Анна. В узких коротковатых джинсах, закатав под лопатки и завязав на груди рубашку, она пыталась влезть на Ереванычина жеребца Букета, когда ее увидела Полина. Она смотрела на Анну полными глазами. Потом увела в недра своей усадьбы, а через полчаса выпустила — с корзиной в руке и кринкой у груди. В корзине оказались дюжины две крупных светло-коричневых яиц и толстый шмат сала, в кринке — сметана. Следом пришла и сама Полина. Села на лавку у крыльца и сколько-то молчала, глядя то на Анну, то на меня.

— Ты подкорми дочку-то, тоща-то, мать твою, эх!

Она тихо просидела, пока Анна вылизывала сметану, а я — с ее, Полининого разрешения (да стучи ты, дятел, я так посижу) — продолжал дописывать введение.

Весь следующий день Анна пропадала у Леонихи, возилась с курами, ласкала и поила теленка, пробовала доить леонихину Красотку, косила, полола. Пришла в сумерках, рухнула на постель.

— Есть будешь?

— Не-а. Меня тетя Поля накормила. Та-ак вкусно! Пироги с картошкой и луком. Она говорит, Таня очень их любила.

— Таня — это кто?

— Дочка ее, Таня. Ты что, не знаешь? Столько живешь — и не знаешь. У нее дочка, Таня. Моя ровесница.

— Не мели. Полине за семьдесят. Какая дочка, какая ровесница?

— Была дочка, нет ее, умерла, утонула...

Наутро я проводил Анну к автобусу, вернулся и подошел к дому Леонихи. Она кивнула из окна, и я поднялся на крыльцо. Пахло хлевом, на столе горка грязной посуды, половики сбились в комья. Романтический образ чистой деревенской бедности рушился. На сундуке в картонных рамках две фотографии: девочка с темными нагловатыми глазами, правда, похожа на Анну — носом и оттопыренным ухом, и мужчина, плохо выбритый, с узким лбом и тяжелым подбородком.

— Ты уж не сердись, что Анюту я к себе на весь день заманила. Уж очень вспомнилось. Я ведь в Молокове-то, на кладбище, целый год не была. С прошлой весны, как Тимофею памятник ставили, с тех пор... А как твою увидела! Как живая, как сейчас стоит.

— Сколько лет прошло? — сказал я, как идиот, чтобы сказать что-нибудь. Ох уж это показное сочувствие. Почему не могу я сочувствовать молча? Или не верю, что она это молчание поймет?

— Ой, посчитай сам — с пятьдесят первого года.

— Сколько ж ей было?

— Пятнадцать ей в октябре, а это все в июле было, на Петров день. Рано ушла с девчатами. Мы с Тимофеем косили за шорой. Юрка Селиванов прибежал — идите, говорит, на Волгу. Таня, говорит, утонула. И знаешь, погоревали — и перегорело горе-то. Володька родился. Да в колхозе, да дома, хозяйство. Так и жили, я и, сказать стыдно, на могилку не ходила. А как Тимофей помер... Третий год как помер. Помер Тимофей на Сретенье. Много народу тогда было. Лида приехала, привезла покров белый, шелковый. Это, говорит, тебе, батя, от меня. Колбасы привезла три палки, сыру, масла. Мясо-то я в колхозе взяла, двенадцать кило. Председатель выписал. Вина два ящика. Из Молокова были Морозовы, да Павел Дмитрич, да Михаил Тихоныч, да Чугунников Алексей, художник московский Володя, Лена хромая. Из Теличена Коля Солянкин с Зиной, Вера Дроздова, Маша горбатая, Николай Арсентич. Из Кореничена Глуховы, из Федурнова Гутя пришел, он с Тимофеем в кузне еще до войны работал. А Сашка приехал с одним чемоданчиком. Я говорю: «Сынок, неужто закуски какой привезть не мог?» А он: «Мне, мать,— говорит, — это без надобности». Я ему: «Дай хоть двадцать пять рублей». Ну он дал. Мне Валька, невестка, писала: «Мам,— говорит,— сколько он тебе денег дал?» Я и постеснялась сказать, что на отцовы похороны только двадцать пять рублей дал, да и скажи — двести. Она говорит: «Мало с него, подлеца, взяла». Дал бы он впрямь двести, я бы Тимофею хороший памятник поставила, а то бедный памятник. Ограда-то хорошая, крепкая, а памятник бедный. Володька говорит: «Я, мам, заработаю, поставим бате памятник, не проси,— говорит,— Сашку, ну его к матери». Фотографию-то уж сделали, на этом, на стекле. Эту, видать, в нагрузку дали, бумажную. Я с ней разговариваю — скучаю. Плачу вот. Или Тайгу, собаку, увижу — а она родилась-то как раз когда Тимофей вставать перестал,— увижу и того гляди... Скучно, иной раз зимой так скучно, хоть вой. Во всей деревне — Юрка с Машкой да Арсентий Палыч, учитель. Володька рано уйдет, я Красотку накормлю, курам кину — и на печь. И есть не хочется, и ничего не хочется. Я и продала бы корову, да пенсия сорок четыре рублика, не прокормишься, да и Володьке надо. Бутылку ему в выходной надо? Надо. Свои-то он сразу просвистит на рыжую Гульку. Ой беда с ней. Баба с двумя детьми малыми, мужем брошенная, а Володьку присушила. Он уж что задумал — я, говорит, Тайгу зарежу Гульке на шапку. Я умолила — не тронь собаку. Это мне об отце, об Тимофее память. Молока-то возьмешь? Я только надоила, теплое. Ну иди, иди, стучи свое, может, чего выстучишь. А за суку свою не сердись — в сердцах я, не трону боле, и Наташке скажи — не

Николай Бухарин

...Пролетарское принуждение во всех формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи...

трону. Анюта-то еще приедет?

Я шел домой, прижимая теплую кринку к животу, и встретил остромордую грязную Тайгу. Она злобно ощерилась и обошла меня стороной.

«А впрочем,— думал я, садясь за машинку,— почему мы должны поставить крест на космическом волке Бакките? Разве сюжет властен над нами, а не мы над сюжетом? Разве человек для субботы, а не суббота для человека?»

Я заправил свежий лист и смело напечатал:

глава девятая

> Во время этого головокружительного падения я инстинктивно вцепился изо всех сил в бочонок и закрыл глаза.
>
> Э. По

В форме СФ с витыми шнурами, кажущийся кавалергардом с картинки, зорким глазом оглядывающим места недавнего жаркого сражения, вышел и угнездился между двумя трапами в торце «Игоря Сикорского» старый навигатор с Андромеды Баккит-Улад.

Пока по левой аппарели скользили вниз и разбегались по складским ангарам кибертележки с транзитным грузом — тюками кирийского табака, мешками желтого сахара с Трай-пийского архипелага, цистернами сгущенки из Кост-ро-Маны и прочим колониальным товаром, по правому трапу такие же автопогрузчики втаскивали в корабельное брюхо и рассовывали по трюмным закоулкам всякий технологический хлам вроде стержней из металлического водорода, слитков сверхчистого арсенида галлия, универсальных киберблоков, паровозных свистков и двутавровых балок.

Подошел белый от волнения экспедитор В'Анья:

— Б-баккит; б-беда. П-пропали две б-бочки б-бусидийской сельди.

— Две?

— Угу.

— Как ты обнаружил пропажу?

— Об-бнаружил тем, что не об-бнаружил б-бочек.

— Вот и хорошо, вот и не ищи.

— Как так, не ищи?

— Ты не кричи, В'Анья. Ты займись своим делом.

— Мое дело — об-беспечить сохранность груза.

— Чушь! Твое дело — оформить протокол на исчезнувший груз. Иди и пиши акт. Я распишусь.

— А селедка?

— В'Анья, ты когда-нибудь пробовал буссидийскую селедку под шубой из перьев молодого орнидила?

— Я не ем острого,— холодно сказал экспедитор.

Лицо Баккита пошло пятнами. Серые усы раздувались. Дыхание сбилось.

— Это буссидийская-то сельдь остра?

— Не знаю, не п-пробовал.

— Так слушай внимательно. Ты замачиваешь тушку в молоке ейлицы, выдерживаешь два часа, вынимаешь хребет и режешь на ломтики. Ломтики укладываешь в селедочницу, покрываешь слоем красного лука, нарезанного кольцами, потом посыпаешь мелко нарубленными перьями орнидила, сверху поливаешь гагуазским соусом и подаешь на стол. Как приготовить гагуазский соус, ты знаешь?

— Заб-был.

— Чем, интересно, набита твоя голова? После погрузки напомни — расскажу. И дам тебе пару селедок. Иди, В'Анья. Встретишь Кристиана, скажи, пусть идет сюда.

— Вон он, сам идет.

Молодой помощник Баккита, блистая серебристым комбинезоном, полубежал к «Сикорскому». За ним катился невысокий толстяк с багровым мокрым лицом.

— Том, это мой шурин, Вуйчич. Он снимает кино.

— Иди, В'Анья,— повторил Баккит.— Тебе про кино не надо. Ты иди на склад.— Баккит хмуро посмотрел на помощника.— Ты где был? Почему посторонние?

— Тут, видишь ли, такое дело,— начал было Кристиан, но Велько вышел вперед и заговорил сам:

— Баккит, я знаю, вы идете домой, на Андромеду. Но мне надо, чтобы вы отвезли человека, а вернее, троих, на Землю.

— Шутка?

— Женщина больна. Ее надо срочно отправить отсюда.

— У меня груз.

— Это не ответ, Баккит. Она в тяжелом состоянии.

— Хорошо, я возьму ее на Андромеду. Там ей помогут, хотя я не понимаю, почему ей не могут помочь здесь.

— Баккит, в полете я с радостью расскажу вам об этом со всеми подробностями. Сейчас нет времени. Мы должны стартовать немедленно.

Баккит повел тяжелой головой и с откровенным любопытством оглядел наглого киношника.

— Впрочем, если за час-два вы успеете закончить погрузку, я не возражаю. С Земли вы сможете сразу же лететь по назначению. Не нужно будет возвращаться на Лех. Все-таки экономия.

— Вы идиот?

Вуйчич пожал плечами.

— Вы представляете, сколько все это стоит?

— Земля заплатит.

— Меня выгонят с работы.

— Мы вас восстановим.

— Вы?

— Я и Рервик.

— Андрис Рервик?

— Да, он полетит с нами.

Николай Бердяев

Русские сплошь и рядом бывают нигилистами-бунтарями из ложного морализма. Русский делает историю Богу из-за слезинки ребенка, возвращает билет, отрицает все ценности и святыни, он не выносит страданий, не хочет жертв. Но он ничего не сделает реально, чтобы слез было меньше, он увеличивает количество пролитых слез, он делает революцию, которая вся основана на неисчислимых слезах и страданиях.

— Что с ним?

— Я же сказал, в тяжелом состоянии женщина.

Рядом опустился птерик. Авсей Год и Андрис вынесли Марью. Она лежала на спине, неподвижно. Баккит подошел, наклонился над носилками. В белых заведенных глазах Марьи жил ужас.

— Ладно, идите за мной,— сказал капитан и направился к свободному левому трапу.

Так мягко Баккит еще не стартовал. Марья лежала лицом к иллюминатору. От удаляющегося Леха она отвернулась, закрыла глаза. Велько отправился в салон экипажа. Рервик откинулся в кресле, вытянул ноги и задремал.

Усевшись на упругом диване, Велько с удовольствием осмотрелся. Баккит листал истрепанный журнал «Юный кулинар», Кристиан тихо улыбался своим мыслям. В'Анья завел глаза к обзорному экрану и мусолил карандаш — считал утруску товара. Поднял глаза к экрану и Вуйчич. Зеленый Лех уходил. «Сплошь болота!» — подумал Велько. Покосившись на Баккита, он прошелся пальцами по клавиатуре. Лех сгинул. Пошли фрагменты обзора по секторам. Баккит повел бровью и, не отрываясь от журнала, бросил:

— Дисплей — не игрушка. И не кинокамера. Ничего интересного там быть не может — пустая зона. — Он поправил индивидуальную лампочку, перевернул страницу.

— Это что за насекомое?

— А? — очнулся Кристиан.

— Что за таракан висит в пространстве? — спросил Велько.

В свете недалекого солнца стальным блеском отливает полосатое брюшко. Членистыми изломами торчат антенны, усики лазерных пушек.

— Том, а ты говорил, что спейс-корветы давно разоружены. Этот-то, видишь, как пляшет.

Спейс-корвет перебирает лапками. Открывает и поворачивает черный ротик.

— А-а! — брызжа слюной, кричит Баккит, обрушивая пудовые кулаки на панель.

«Сикорский» зайцем метнулся в сторону. Кристиан и Вуйчич на полу. В мозгу Велько мелькает мысль о Марье. Хоровод красных огней опасности, на экране — кусок пространства, где только что был грузовик. Там рвутся ракеты. Второй залп почти накрывает «Сикорского». Еще прыжок. Корвет маневрирует, занимая удобную позицию для окончательного удара. Кристиан уже в своем кресле. Они с Баккитом играют в четыре руки.

— Что может эта лохань против спейс-корвета? — бормочет Кристиан.

— Четвертую! — кричит Баккит.

Кристиан кивает, набирая программу четвертой трассы. Компьютер дает отказ. Корвет, обгоняя «Игоря Сикорского», идет по красивой параболе.

— Эллипс,— говорит Баккит,— надо пройти по эллипсу.

— При чем здесь эллипс? — кричит Кристиан.— Ты спятил?

Том Баккит срывает панель защиты, выдергивает плату ограничителя.

— Том, ты...— Кристиану изменяет голос.

— Отключаю компьютер.

— Зачем?

— Мы пройдем по четвертой трассе. Нужен эллипс.

— Не понимаю.

— Он пойдет за нами. Но у нас масса в пять раз больше.

Судорога проходит по длинному телу грузовика. Балка из хозяйства В'Аньи сорвалась с держателей и, пробив перегородки, пожаловала в кабину пилота. Вуйчич тупо смотрел на бугристый, грубо окрашенный торец. Невидимый командир корвета закладывает элегантный вираж...

Сухой, с запавшими щеками, командир корвета впился в клавиши, стараясь не думать о присутствии Болта. Цесариум рядом — это мешало. Командира восхищало искусство навигатора грузовика. На секунду он пожалел, что должен уничтожить и сейчас уничтожит этот неуклюжий корабль, ведомый с таким мастерством.

— Уйдем, Салима,— раздался спокойный, внушительный голос,— не будем мешать Хаджу выполнять свой долг. Мы приглашаем вас к нам в салон, капитан Хадж, когда бой кончится. Выпить бокал за победу, за благополучное путешествие. За Гадес — там нас ждут друзья.

Болт выплыл из рубки, за ним Салима, опираясь на руку Варгеса. Наргес задержался у кресла пилота.

Траектория грузовика на экране походила на отрезок эллипса. Два крестика подползали к яркой зеленой точке, обозначавшей местоположение цели.

— Все, конец старику Баккиту и всей компании,— хихикнул Наргес.

— Баккит? — Капитан Хадж вздрогнул.— Это корабль Баккита?

— Да. Ты знаешь его?

— Я с ним учился. Мы вместе летали на таких корветах, когда они только появились. Ах, Баккит, Баккит...

— Ну же, бей!

— Сейчас, сейчас. Не суйся не в свое дело, розовая обезьяна! Убирайся отсюда!

— Жалеешь приятеля? Смотри, капитан, Цесариум не любит...

— Убирайся!

Корвет обходил «Сикорского» справа. Мощное уродливое тело грузовика занимало весь экран. Пальцы Хаджа напряглись.

Кристиан бессильно откинулся в кресле. Все. Не уйти. Баккит рычал. Две кривые на экране слились. Вуйчич смотрел в иллюминатор. Серая с колючим блеском рыба корвета чуть повернулась и начала

Вл. Соловьев

Признавать в человеке только деятеля экономического — производителя, собственника и потребителя вещественных благ — есть точка зрения ложная и безнравственная.

удаляться. Вправо, все дальше вправо.

— Уходит! — закричал Кристиан.

Баккит мотал головой. Бег корвета ускорялся. Траектория на экране искривилась, линии разделились, просвет между эллипсом и параболой ширился.

— Попался! — загремел Баккит.

— Что с ним, Том? — спросил Кристиан.

— С ним — все, — ответил капитан. — Конец.

— Да объясни ты!

— Ты редко заглядываешь в лоции, малыш. У этого карлика в партнерах черная дыра. Он тоже про нее забыл. И попался.

— А мы?

— Проскочили. Пойди посмотри, что с пассажирами. В'Анья, проверь груз.

...Хадж остановился на пороге салона. Болт, не вставая с кресла, сделал ему ободряющий знак. Салима протянула бокал с густой желтой жидкостью.

— Я сочувствую вам, капитан. Пассажирский, вернее грузовой, корабль — не лучшая цель для боевого космолетчика. — Болт говорил печально и проникновенно. — Но вы выполняли свой долг. Ответственность перед историей я беру на себя. А теперь выпьем за успешный полет — и возвращайтесь к пульту. А то я уже ощущаю некоторое неудобство. Корабль, видимо, ускоряется, перегрузка становится неприятной.

Хадж медленно выпил вино.

— Он не стал, он не стал стрелять, — высоким, резким голосом заговорил Наргес, вошедший следом. — Баккит улизнул, они улизнули...

Болт тяжело посмотрел на Хаджа. Капитан похолодел. И вдруг усмехнулся: он испугался теперь, когда всякий страх бессмыслен. Болт сделал попытку встать — неудачно.

— Поговорим потом, — сказал он. — Возвращайтесь к себе и погасите перегрузки.

Хадж смотрел на Цесариума с любопытством. Капитан знал нечто, неизвестное никому — Наргесу, Любимой Дочери, самому Цесариуму. Сказать им? Почему бы нет? Будет время — сколько его осталось, минут пять-шесть, потом ускорение станет непереносимым — будет время посмотреть на их страх, на Его страх. Хадж принял почтительную позу.

— Цесариум, я не в силах погасить перегрузки. Корабль тянет к черной дыре.

— Что ты мелешь!

— Баккит надул меня. Выхода нет. Это не протянется долго, но две-три минуты тяжесть и боль будут чрезмерны. Я советую вам помочь Дочери. Прощайте, Цесариум. Прощайте все. Я не нарушил... Остался...

— Нет! — закричал Наргес. — Ты лжешь, негодяй.

Хадж вынул из кобуры плазмер.

— Нет! — Наргес сорвался на визг.

Капитан с трудом подошел к Болту, опустился на колени и протянул ему оружие.

— Если станет чересчур тяжело...

И впился глазами в лицо Цесариума.

Розовый горбун, всхлипывая, полз к креслу Болта. Но дыра уже тащила его к стене, где стоял на коленях Варгес. В руке у гвардейца тускло светился ствол.

— Меня, — простонал Наргес. И лег. Варгес кивнул, ткнул плазмер наугад и выстрелил. Наргес застыл. Гвардеец повернул голову к Салиме, сунул ствол в рот и нажал на спуск.

Дочь Цесариума этого не видела. Она смотрела на отца. У нее хватило сил подползти поближе, дотянуться до его колен. Он вытянул правую руку, положил ее на голову Салимы. Губы Цесариума искривились. Что это — улыбка? Гримаса боли? Или просто черная дыра уже лепила лица своих жертв по своему вкусу?

До свидания.

Твой Андрей.

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

3-е июня, Москва

Тут был случай необычный. Необычный был и приговор.

Постановили: извлечь его из мраморного склепа, неспешно все ему рассказать, все показать. Унижение и тихо-загадочную смерть его вдовы; растоптанное, убитое крестьянство; звездный час иуды-прокурора — того самого, что охотился за ним летом семнадцатого; показать в подробностях, с костями в колесе, тридцать седьмой; войну, вымерший от боли и голода Питер — блестящую некогда столицу империи; взорванные храмы, разоренные музеи и библиотеки, кастрированное искусство; безумных от страха интеллектуалов — безродных космополитов, ошельмованных врачей; отравителей, отравителей, отравленных, отравленных — и так дальше, дальше, дальше — до геройских звезд социалистического бая Адылова и магазинных прилавков конца восьмидесятых...

Этот человек не стоял в общей группе. Был какое-то время с нею, но и тогда как бы поодаль. Точнее сказать, был в ней одинок. А потом он пошел по кремнистой дороге, отблескивающей лунным оловом, и шел долго, бесконечно долго. Иногда он останавливался, что-то будто бормотал. И когда камера подлетала близко, слышался страстный и гневный, грозный и горький его голос. И еще было видно, что отличный костюм-тройка сидел на нем превосходно, хотя внимательный взор обнаружил бы, что костюм этот изрядно поношен.

— Вы хотите судить меня? — говорил человек. — Пожалуйста. Я никогда не был против. Сейчас тем

Цицерон

И хотя будущее, если оно истинно, так же невозможно изменить, как и прошлое, не следует из-за этого пугаться судьбы или необходимости.

более. Я казню себя куда страшнее. Я оказался плохим садовником. Я нес щепоть замечательных семян, и мне казалось, что передо мною бескрайнее и доброе поле. Но поле это было беременно сорняками, сорняками страшными. Насилия, погрома, низкой зависти, холопского пресмыкания перед хозяином. А я сыпал щепотку нежного зерна и надеялся взрастить невиданный сад доброты и гармонии. И думал, что ради этой высокой цели собственную доброту я могу и даже должен на время урезать. И потому вместе с зернами я сыпал (глаза его гневно сузились) пиретрум, этот яд, дабы вытравить сорняки, извести насекомых. Кого-то этот яд уничтожил, да вслед такие рыла полезли... Чувствительной к яду оказалась именно старая культура. А ее место заняло нечто чудовищное! Сего не предвидел. В этом виноват.

Отпустите мое тело. Отдайте его земле. Я не хочу лежать на площади в холодном мраморном доме.

Видимо, я ошибся. Хорошо помню, как Федор Дан говорил страстно, будто творил молитву: «Господи Боже мой, быть может, ты освободишь нас от этого человека, спасешь российскую социал-демократию! Этот человек идет один против всех. И мы бессильны перед ним. Воля его страшна и несгибаема. Прибери его, Господи, иначе вижу впереди ужасные несчастия России!» Глупец — у Бога просить моей смерти.

Да, я отказался от союза с образованными людьми. Мне казалось, они идут не туда. Я называл их презрительно: господа буржуазные профессора. Я сделал ставку на людей необразованных, но решительных и преданных идее. Эти люди при надлежащих управлении и дисциплине могли свернуть горы. И свернули. Для этого нужны были жертвы. Я не хотел убивать миллионы для будущего счастья. Но возникла нужда расстрелять тысячу. Ну, две. Ну, три. Оставьте меня. Я устал. Очень устал.

Я давно хочу покоя. Отдайте мне мое тело. Отдайте его вечности. Столько лет я лежу и смотрю. Лежу и смотрю. Я вижу все. Мне тяжко, больно, страшно. Я устал. Отпустите в вечность. В правовом государстве есть права и у мертвых...

Дорогой Андрей!

В сущности, предложенной тобою главой ты задумал перевести партию в эндшпиль. Не рано ли? Угробив всю компанию, ты, конечно, решил чисто практическую задачу, но похоронил множество более тонких и любопытных литературных решений. Ухнул в дыру тиран с любимой и любящей дочерью, телохранителями, приближенными, обслугой. Ну и что? Наказан порок? Где же вынесенное в заглавие похищение, суд народа, справедливое возмездие — людское, не Божье или осуществленное физическим феноменом? Я не вижу эндшпиля. Может быть, вижу пат — там, за горами. А сейчас — один из поворотов середины игры.

Дело сейчас, впрочем, не в Болте. Дело-то в нас. В тебе, во мне, в миллиардах наших современников и сопланетников. В наших душах, в нашей крови. Сгинул Болт, но отравлена наша кровь. Яд вождизма, фанатизма, кровавого утопизма — малой пусть, но жуткой толикой растворен в нашей крови. И низменная его противоположность — отрава холопства, пресмыкания, жалкого неверия в себя, отрава постыдного стяжательства и тупой, дубовой бездуховности. Какова сила и жизнестойкость этих ядов?

Вопрос велик, неподъемен, рассыпается на крупицы. Одна из них — самая, быть может, заметная ныне: откуда болезненный интерес и внимание к палачу? Как будто мы силимся разглядеть, смертно очарованные, огромный сгусток этого яда, явленный в одном человеке. Не в силах мы оторвать от него завороженного взора. И вот опять — о нем.

Пусть Болт, поняв, что его берлога раскрыта, пытается переселиться на тот же Гадес, захватив с собой дочь и приспешников. В операцию, конечно, вовлечен преданный инспектор службы порядка с четырехугольным лицом (некогда мы могли его видеть в скупой телехронике — всегда позади августейшей особы, хорошо одетый детина с равнодушным и одновременно нервно-зорким взглядом). Авсей Год, и сам не спускающий с него глаз, догадывается о чем-то. Он предлагает Андрису и Велько захватить Болта, привезти в столицу и предать суду. Они запугивают детину, выведывают подробности, пытаются схватить Цесариума при посадке в корабль и... сами попадают в плен. Никто не знает об их судьбе — операция похищения готовилась в тайне, даже Марья ни о чем не догадывалась. Спейскорвет летит к Гадесу, где у Болта есть единомышленники. Он лелеет планы вновь стать вождем и когда-нибудь отомстить лехиянам. Но! Корвет терпит крушение. Его разбивает о рифы, то бишь об астероиды. Большая часть экипажа гибнет. Оставшиеся в живых — Болт, Салима, Наргес, Год, Вуйчич и Рервик, уцепившись за обломки (втиснувшись в спасательный катер), оказываются на необитаемом острове. Так и живут вшестером, образуя вполне самодостаточное общество: мужчины и женщина, добрые и злые, честные и мерзавцы. Жизнь скудна. Чтобы уцелеть, нужна взаимопомощь, разделение обязанностей. Надежд на возвращение к людям — никаких. Как они будут жить? Просто досуществуют, если не перебьют друг друга? Вознамерятся продолжить род? Полиандрия, кажется, называется такой союз. Останутся ли людьми?..

Или так: они спасаются. Наткнулся на них какой-то шальной звездолет. Болта оставляют, как Айртона, на необитаемой планетке, пообещав забрать через сколько-то лет. Дабы одиночеством искупил. Салима терзается — остаться с отцом или уехать к людям. Остается. Нет, в последний момент со стоном — прости, отец! — на корабль. Болт — коротко рукой — езжай, мол, будь счастлива.

Фридрих Ницше

Воскресение духа.
На одре политической болезни
народ обыкновенно обновляет себя и вновь приобретает свой дух, который он постепенно утратил в искании и утверждении своего могущества.
Культура обязана высшими своими плодами политически ослабленным эпохам.

Или вот: привозят-таки Болта на Лех, в столицу. А там — толпы восторженных приверженцев. Марширует молодежь: возродим былую славу Леха! Прогресс и порядок! Железной рукой! Долой сатанизм праздников воды и огня! Умников — в болото! Очистить родную планету от пятой категории! Болт! Бо-олт!! Бо-о-о-олт!!!

И тихие старцы-опекуны довольно кивают головами. О, Болт — человек железных принципов, которыми мы поступиться не можем. И так сладко грезится им, что множатся колонны марширующих, и в такт их шагу воздевают они похудевшие кулачки и открывают вялые рты: Болт! Бо-олт! «Горе народу, если рабство не смогло его унизить».

Но теперь уж поздно. Главные негодяи, предводители негодяев, — в черной дыре. Приспело время коснуться дальнейшей судьбы наших главных героев. С этой целью открываю очередную — и, видимо, последнюю — главу.

глава десятая

Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было...

Екклесиаст

Марья настояла на том, чтобы, следуя старинному обычаю, взять фамилию Андриса, и старый Лааксо надулся. Впрочем, обещал прийти. К тому же склочный характер Вересницкого изрядно ему надоел, и он снова вернулся в свой дом, по соседству с избой Рервика. Ждали еще Года. Он обещал заехать попрощаться перед отлетом на Лех. Остаться на студии Рервика Авсей не захотел, как его ни уговаривали.

Итак, в доме над Ветлугой намечалась небольшая пирушка по поводу:

а) бракосочетания Андриса Рервика и Марьи Рервик, в девичестве Лааксо;

б) завершения супермультисериала «Судный день», снятого Рервиком, Вуйчичем и Годом на Земле, Лехе и в иных местах по сценарию неизвестного автора, содержащемуся в некогда присланной Андрису книге в старой коже с медными уголками и дополненному эпизодами из трагической истории Леха;

в) возвращения Авсея Года на родину, которую, как он говорил, он любил больше всего на свете, потому что, как говорил он же, больше он не любил ничего.

Сейчас утро. Туман еще не поднялся. Зябко. На крыльцо, кутаясь в халат, выходит Марья.

МАРЬЯ. Эй!

ЭХО. Эй-эй-эй.

МАРЬЯ. Есть тут кто-нибудь?

ВЕЛЬКО *(появляясь из-за угла дома, недовольным голосом)*. Ну есть, спала бы ты, ей-богу. Чего над ухом орать.

МАРЬЯ. Ты что делаешь? Андрис где? Который час? Авсей не приехал? Я бы съела что-нибудь, а ты?

ВЕЛЬКО. Пять.

МАРЬЯ *(недоверчиво)*. Пять?

ВЕЛЬКО. А это шестой. Поэтому остановись.

МАРЬЯ. Остановилась.

ВЕЛЬКО. Отвечаю по порядку на *(подходит к крыльцу и показывает растопыренными пальцами)* пять вопросов. Первое. Я насаживаю косу на черенок.

МАРЬЯ. Зачем?

ВЕЛЬКО. Если ты начнешь новую серию вопросов, никогда не получишь ответы на старые. Итак, второе. Андрис ловит рыбу, чтобы было чем кормить ораву, которая сюда вот-вот заявится.

МАРЬЯ. Боже мой! Неужели так поздно?

ВЕЛЬКО. Против этого вопроса я не возражаю, потому что он, по существу, совпадает с ранее заданным под номером три. Отвечаю: сейчас восемь часов десять минут. В-четвертых, Авсей не приехал, но, как я сказал, вот-вот явится, образовав ровно половину ожидаемой толпы, вторую половину которой образует твой отец. Наконец, в-пятых, да, да и еще раз да!

МАРЬЯ. Ты о чем?

ВЕЛЬКО. Женщина! Не ты ли спросила меня, съел бы я чего-нибудь? Отвечаю категорически — съел бы. Но пока нечего. Займись настоящим делом, если древний инстинкт, повелевший тебе принять родовое имя мужа, не исчерпал этим свою силу. Выполняй свой долг, корми семью!

Марья, пожав плечами, исчезает в доме.
Вуйчич продолжает колдовать над косой.

ВЕЛЬКО. Тьфу ты, кольцо-то лопнуло. *(Озабоченно вертит головой.)* Эй, Марья!

МАРЬЯ *(из дома)*. Чего тебе?

ВЕЛЬКО. Кольцо для косы у вас есть?

МАРЬЯ *(по-прежнему из дома)*. Кольцо? Какое кольцо?

ВЕЛЬКО. Для косы, говорю, кольцо есть?

МАРЬЯ *(появляется на крыльце со скалкой в руке)*. Не понимаю, о чем ты.

ВЕЛЬКО. Да что с тобой говорить — баба, она и есть баба.

МАРЬЯ. Посмотри в клети, там у Андриса много хлама, железок всяких. Я подожду блины печь, пока Андрис придет, чтоб горячие. Или невтерпеж? *(Уходит в дом)*.

Открывается правая кулиса: дряхлое крыльцо почерневшего дома, фрагмент ветхого забора. Старуха в грязной зеленой кофте с трудом нагибается и поднимает большой камень. В левой руке у нее кол. Водянистыми глазами она скользит по фигуре Велько и поворачивается к нему спиной.

ВЕЛЬКО. Бабушка!

Старуха не оборачивается.

Постойте, мамаша.

Гете
Достигло крайнего размаха
Укоренившееся зло.
Все потеряли чувство страха.
Жил тот, кто дрался. Так и шло.

СТАРУХА. Тьфу, сынок сыскался.

ВЕЛЬКО. Ну простите, не знаю вашего имени.

СТАРУХА. А зачем тебе?

ВЕЛЬКО. Да просьба у меня.

СТАРУХА. Ну, Полина.

ВЕЛЬКО. Полина... А по отчеству?

ПОЛИНА. Васильевна.

ВЕЛЬКО. Полина Васильевна, что-то я вас не встречал здесь. Недавно, видно, построились. А дом вроде и не новый. Так специально заказывали?

ПОЛИНА. Куда там! Его еще дед мой ставил, и-и-и когда — колхозов не было еще, во когда.

ВЕЛЬКО *(озабоченно трясет головой)*. Да вы веселая женщина, Полина Васильевна. Не найдется ли у вас...

ПОЛИНА. Ах ты, засранец, куда...

ВЕЛЬКО *(ошарашенно)*. Да я только...

ПОЛИНА. Я те дам в огород, я тебя... Вот сукин сын, вот...

Берет конец веревки, лежащей на земле, и тянет. На сцену выползает, упираясь, большой козел. Веревка привязана к рогам.

ВЕЛЬКО *(с облегчением)*. Я говорю, не найдется у вас кольца для косы? Косу мне наладить?

ПОЛИНА. Кольцо-то... От скотина, чуть что — в огород. Найду, как не найти. Ты подожди, я сейчас — привяжу его и приду. *(Полина исчезает за кулисами, слышен стук камня о кол. Снова появляется.)* А сам насадишь? Я вот Юрку прошу, Селиванова. Он насадит, коль не пьян. Ну пошли, кольцо найдем.

Полина и Велько исчезают в доме. Появляется Андрис. С его плеча свешивается гигантская щука. Хвост касается земли.

АНДРИС. Марья!

На заднем плане появляется курчавый темноволосый бородач. Он несет две табуретки, ставит их, уходит.

МАРЬЯ *(выходит на крыльцо)*. Ого! Но, Андрис, что я с ней буду делать?

АНДРИС. Вызовем Баккита. Положение действительно серьезное. К тому же ты его не видела... С тех пор как из больницы вышла.

МАРЬЯ. Сейчас ему позвоню. А ты зови Велько — я блины пеку.

Бородач снова появляется — на этот раз с пишущей машинкой. Устанавливает машинку на одной из табуреток. Уходит. На крыльце дома Полины появляются хозяйка и Велько.

ВЕЛЬКО. Спасибо, Полина Васильевна, выручили. Если не получится, я зайду, научите.

ПОЛИНА. Отбить — покажу, а насаживать к Юрке иди.

АНДРИС. Велько!

ВЕЛЬКО *(замечает рыбу)*. Ух ты!

АНДРИС *(Полине)*. Здравствуйте.

ПОЛИНА. Здравствуйте. Отродясь такого не видала. Лавливал мой щук — вот таких *(показывает руками)*. А такое полено...

АНДРИС. Да, ничего рыбка. Велько, Марья звала блины есть.

ВЕЛЬКО. Ага. Полина Васильевна, пойдемте с нами.

ПОЛИНА. Благодарствуйте, я уже поемши. Да и дел полон рот. Пойду. *(Уходит.)*

ВЕЛЬКО *(ей вслед)*. Хоть на рыбу-то придете? К вечеру, праздник у нас.

ПОЛИНА *(из-за кулис)*. Вечером, может, зайду.

АНДРИС. Кто это?

ВЕЛЬКО. Не знаю.

АНДРИС. Когда этот дом-то появился? Чудят. Нет чтоб подальше поставить. И дом уж больно с претензией. Я таких и не встречал.

ВЕЛЬКО. Да, интересная старуха. А внутри у нее такой музей! Ухваты, прялка, телевизор, плоские фотографии. Корову держит, козу, птицу...

Снова выходит бородач. В руках у него папка. Он садится за машинку, заправляет в нее лист бумаги и начинает стучать.

АНДРИС. Что-то здесь людно становится. Пошли, что ли?

Андрис и Велько скрываются в доме.

БОРОДАЧ *(бормочет, печатая)*. «...остаются, конечно, кое-какие нерешенные вопросы. Например, откуда взялась та книга в коже с медными углами? Имел ли успех снятый Рервиком фильм? Что станет Андрис делать дальше — вернется в лоно документального кино или продолжит съемки фильмов художественных? Если да, то каких? Снова погрузится в изучение исторических мерзостей или станет снимать историю же, но в светлых ее проявлениях? Скажем, о савельевских Полине и Ереваныче. Вот собрать бы их всех вместе, за одним столом, перезнакомить — глядишь, что-нибудь и вышло бы...»

На сцене материализуется прозрачная кабинка, из нее выходят Баккит и В'Анья. Баккит, плотный, коренастый, с засученными рукавами, становится посередине и жестами начинает давать указания. Худой, чуть суетливый экс-экспедитор бегает по сцене, машет руками. Пространство между домами Андриса и Полины наполняется людьми. На специальном помосте идет разделка щуки. Этим занимаются Велько и Юрий Иванович Селиванов — он же Ереваныч. Звучит музыка из «Прекрасной Елены» Оффенбаха. Там-сям плотоядные голландские натюрморты. В них, как в поваренную книгу, время от времени заглядывает Том Баккит. Из кабинки появляется Авсей Год. Он включается в общую деятельность. Накрывается длинный стол. Бородач бодро стучит на машинке, изредка поглядывая на происходящее. Полина и Марья расставляют посуду,

Плутарх

Когда кто-то выразил неудовольствие, что Леотихид Первый часто меняет свои решения, царь сказал: «Я-то меняю по обстоятельствам, а вы — вследствие подлости».

блюда, кадушки, кувшины, миски, лохани. Всего жутко много. Авсей Год танцует менуэт на фоне раблезианского стола. Тут же бегают дети и собаки, среди последних — рыжий кокер Никси. Очень похожее на кокера существо с длинными, но стоячими ушами, как у осла, и совершенно черное, доверительно обнюхивает Никси. По-видимому, это ушан Нюкта. Бок о бок с Полининой козой пасется пегий ейл. Постепенно все занимают места за столом. В это время на велосипеде подкатывает краснолицый крупный мужчина в белой рубахе и фуражке с синим околышем. Это Лааксо.

ЛААКСО *(Андрису)*. Ну, родственничек. Уже за столом, не дождавшись тестя? А я, старый дурак, привез вам подарок. *(Прислоняет к дереву велосипед, вешает на руль кожаную почтальонскую сумку и снимает с багажника небольшой продолговатый сверток.)* Теперь, как человек женатый, будешь стремиться почаще удрать из дома, а для этого нужен хороший предлог. Вот тебе *(развязывает сверток, собирает длиннющий спиннинг)* снасть — будем вместе удить. Я тебя научу.

АНДРИС. Спасибо, тестюшка. Садись пока моей рыбки отведать. Не на спиннинг, правда, ловил. Да уж чего там, мелочь, конечно. Том, старина, скоро рыбку-то подашь?

Баккит и В'Анья устанавливают на середину стола блюдо с гигантской щукой. Начинается всеобщий пир, галдеж, тосты, смех, танцы. Бородач время от времени прерывает трескотню на машинке, подходит к столу, опрокидывает рюмку, накладывает на тарелку того-сего и снова возвращается на свою табуретку.

ГОД *(Андрису)*. Давно хотел спросить, кто дал тебе замысел фильма? Ведь жил ты на этой благополучной Земле, откуда тяга к кровавой истории?

АНДРИС. Честно говоря, до сих пор не знаю. Вот этот родственник, который ничего не слышит, потому что с ушами зарылся в паштет... Вот он и привез пакет, в котором...

ЛААКСО. Слушай, зять, а ты помнишь, какая была жара, когда я привез тебе этот чертов пакет? Именно после этого я и решил — баста! Хватит, сказал я себе, хватит крутить педали и развозить почту в любую погоду!

АНДРИС. Да, там был пакет, а в нем книга. Велько, ты помнишь книгу?

ВЕЛЬКО. Книгу? Конечно, я помню книгу. Ничто не заставит меня забыть эту книгу. На ней были медные углы, а внутри всякие страсти. Ты жутко заинтересовался. Виду-то не подал, просто сидел, читал, а всей своей позой подчеркивал, что это как бы пустяк...

АНДРИС. Но кто все это написал, ума не приложу.

Лааксо встает из-за стола, идет к велосипеду.

ГОД. Тебе теперь нужен сценарий о будущем. Оно не менее страшно, чем прошлое. А снимать, конечно, на Лехе.

АНДРИС. Фантастику? Ты предлагаешь мне снимать фантастику? Все эти фокусы со временем? С разгоном света до семи *«с»*, хотя точно доказано, что максимум достижимо шесть. С трансмутацией вши в человека? Хотя известно, что возможна лишь обратная процедура — человека в вошь. Нет, это не для меня.

ЛААКСО. Вот, голубчик, прими и распишись. *(Подает пакет.)*

АНДРИС. Велько, почерк-то, почерк. Тот же! Или нет? И бумага такая же.

ЕРЕВАНЫЧ *(встает со стаканом в руке)*. Эй, сосед, ты того. Письма читать потом будешь. Глянь, хозяйка-то совсем притихла. А почему она притихла? А потому, что стыдно. Стыдно ей. Что со стола ни возьмешь — все горько. Горько! Слышь?

Весь савельевский конец кричит вразнобой: «Горько!» Марья растерянно смотрит вокруг. На Андриса. Тот пожимает плечами. На Велько. Тот берет в рот кусок рыбы, подозрительно жует.

ВЕЛЬКО. Нет, Юрий Иванович, это вы загнули. Рыба отличная. Я знаю, щука горчит, но Том постарался — никакой горечи.

Теперь растерян Юрий Иванович. Всеобщее замешательство. К Марье подходит бородач. Наклоняется к уху. Она несколько раз кивает. Бородач подходит к Андрису и что-то шепчет ему.

АНДРИС. Вы это точно знаете?

БОРОДАЧ. Абсолютно.

АНДРИС. Ну, это легко уладить. *(Подходит к Марье и нежно целует ее в губы.)*

ЕРЕВАНЫЧ. Во, теперь есть можно. *(Опрокидывает стакан, закусывает.)* А теперь, милый, читай, читай.

МАРЬЯ. Погоди-ка. *(Обхватывает голову Андриса и целует его.)* Теперь точно, можешь читать.

АНДРИС *(разрывает пакет, достает письмо)*. «Рервику — привет!»

ВЕЛЬКО. Начало, насколько я помню, такое же.

АНДРИС. Пока только приветствие. И книги нет. Письмо, правда, длинное. Потом, наверно, прочтем, а?

ВЕЛЬКО. Какой ты нелюбознательный, право. Чего тянуть, читай. Вон все гости делом заняты.

Действительно, гости не обращают внимания на Андриса, Марью и Велько. Савельевцы нажимают на выпивку и закуску, Баккит что-то энергично втолковывает В'Анье — видимо, по кулинарной части. Авсей Год задумчиво гладит собаку. Лааксо, подняв в одной руке стакан, а в другой насаженный на вилку маринованный огурец, понимающе кивает Юрию Ивановичу, который что-то показывает широко разведенными ладонями.

АНДРИС *(продолжает читать письмо)*. «Что, приятель, дал себя охомутать? Так-так. Устал, видно, прыгать с места на место. По планетам шастать,

Вл. Соловьев

...Все согласны,
что непозволительно
обогащать
посредством преступления
ни себя, ни своего друга...
или целую область,
в которой живешь.

Но эта ясная как день
нравственная истина вдруг
тускнеет и совсем затемняется
как только дело доходит
до *своего народа*.

кино снимать про нечисть всякую, кровопийц, изуверов, душегубов. Да, триумф «Судного дня» неоспорим. Потрясенные зрители вновь и вновь впитывают чудовищные картины давней и близкой истории рода человеческого. Ты заслужил передышку. Ты и твои соратники. Но Андрис! Но Велько! Но Авсей!..»

ГОД. Я?

ВЕЛЬКО. Ты, ты. Мы с тобой к славе приобщились, чуешь?

ГОД. Вот как?

Он встает, отпускает собаку и подходит ближе к Андрису. Тот продолжает читать.

АНДРИС. «Страшная опасность грозит сообществу людей, безмятежно процветающему на ухоженных планетах. В чем она? А вот представьте...» Нет, Велько, удивительно знакомый почерк. Но решительно не могу вспомнить, где я его видел. Совсем недавно... Нет, не помню...

ВЕЛЬКО. Я вспомнил!

АНДРИС. Что?

ВЕЛЬКО. Ну и баба!

АНДРИС *(заинтересованно)*. Где?

ВЕЛЬКО. Именно эти каракули я видел на рецепте приготовления фаршированной рыбы, который Том Баккит продиктовал два часа назад Марье Рервик, в девичестве Марье Лааксо.

АНДРИС. Ты хочешь сказать, что все это...

ВЕЛЬКО. Да.

АНДРИС. И все то...

ВЕЛЬКО. Да.

АНДРИС. И книгу....

ВЕЛЬКО. И книгу. Это, черт возьми, ее профессия.

АНДРИС. *(Поворачивает голову к Марье.)* Дорогая!

МАРЬЯ. Да, милый?

АНДРИС. Ах да, кажется, здесь... *(хлопает себя по карманам)*.

МАРЬЯ. Что ты ищешь?

АНДРИС. Записку, что ты написала мне утром. Вернее, оставила вчера с вечера. Ах, вот она, я завернул в нее грузила... *(Вынимает из кармана ком бумаги, разворачивает.)*

ВЕЛЬКО *(читает через плечо Андриса)*. «Андрюсик, сделай себе яичницу с помидорами. Не забудь яйца взболтать со сливками. Целую».

АНДРИС. Вот видишь. Ты был прав. Это она.

ВЕЛЬКО. Это она.

АНДРИС. Зачем ты это сделала, Марья?

МАРЬЯ. Милый, мне казалось, что, если я отвлеку тебя от прежних твоих занятий и займу добрым, длинным фильмом, да еще на тему мне близкую, это как-то сблизит и нас... И видишь, я не ошиблась. А продолжай ты снимать свои сумасшедшие репортажи или фильмы о камнях и насекомых, что бы с нами было?

АНДРИС. Вот видишь, Велько, видишь, Авсей, как все просто. Это отвечает на твой вопрос, откуда взялся замысел «Судного дня».

ГОД. Просто-то просто. Но эта женщина разрушает мои планы.

АНДРИС. Каким образом?

ГОД. Я думал поехать на Лех, а теперь...

АНДРИС. А теперь?

ГОД. Надо снимать.

МАРЬЯ. Авсей, вы вполне сможете хотя бы часть фильма снять на Лехе.

ГОД. Ты так считаешь?

МАРЬЯ. Уверена. А ты как думаешь, Андрис?

АНДРИС. Очень мило с твоей стороны, что ты решила со мной посоветоваться.

МАРЬЯ. Не обижайся, милый. Год ведь так хочет на Лех. Велько, а ты что скажешь?

ВЕЛЬКО *(мрачно)*. Знаешь, я, пожалуй, сначала отвечу на тот, последний твой вопрос.

МАРЬЯ. Это какой же?

ВЕЛЬКО. Ты спрашивала, зачем я насаживал косу на черенок.

МАРЬЯ. В самом деле?

ВЕЛЬКО. Я обещал ответить — и отвечаю. Чтобы косить!

Велько берет косу, прислоненную к стене дома, вскидывает ее на плечо и отправляется за кулисы.

Сидящие за столом постепенно расходятся. Остается только курчавый бородач за машинкой. Он печатает и приговаривает вполголоса:

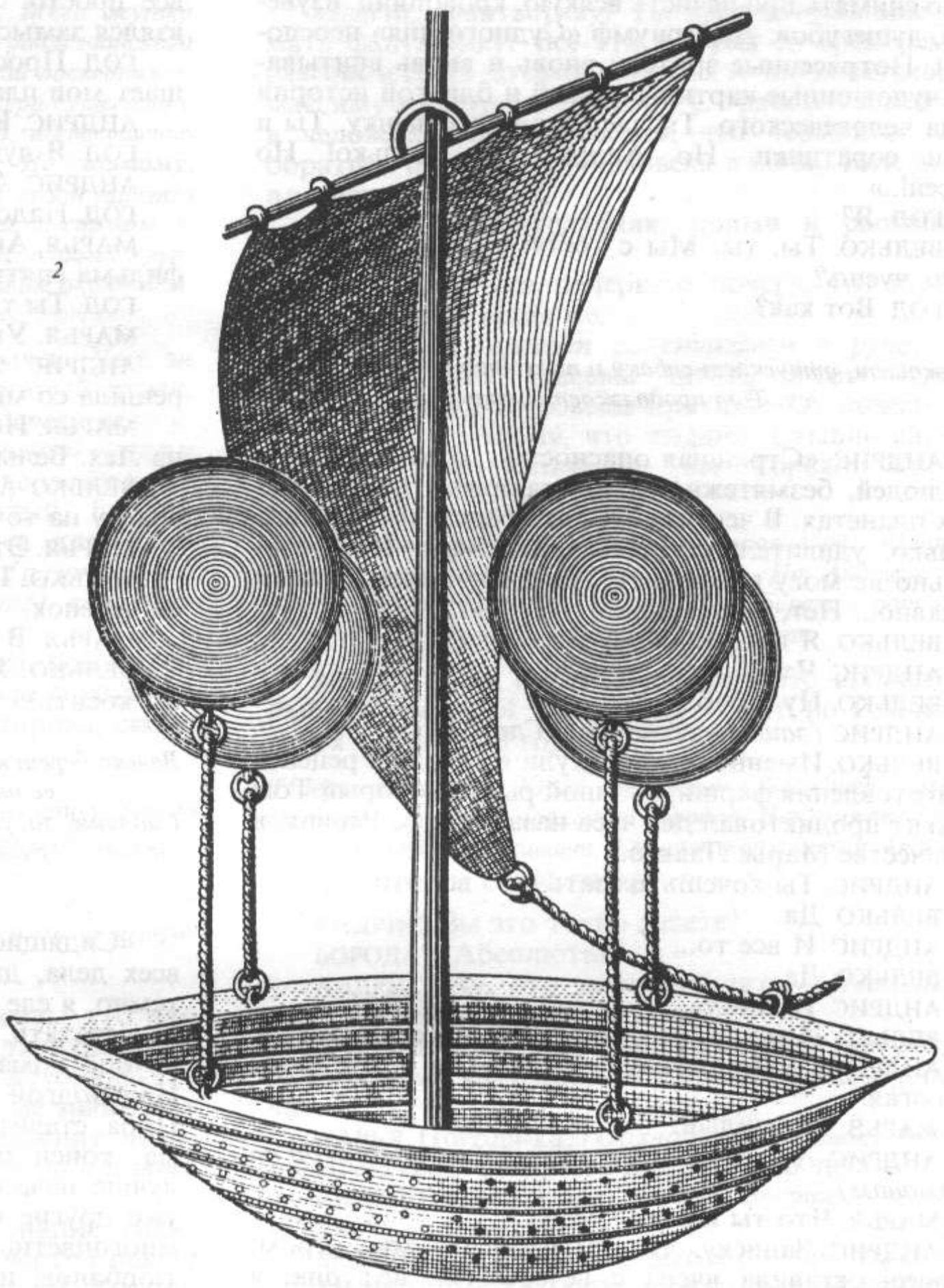
«Сидящие за столом постепенно расходятся. У всех дела, да и вставать завтра рано. Становится темно, я еле различаю клавиши — так и не научился печатать вслепую. Большая луна повисает над трубой дома Андриса. Над всеми трубами домов. Над Волгой и Ветлугой. Над прошлым и будущим. Пора ставить точку — конец главы, конец письма, конец повести. Где-то сказано: «Конец дела лучше начала его». Конец всегда венчает дело — уже другие берега маячат за листа пределом, как многоцветные луга. Смешение времен и красок, тюрбанов, шляпок, шлемов, касок. Литература — карнавал, так этот жанр Бахтин назвал. Но в бутафорского огня игре, в шутих надсадном вое вдруг просквозит лицо живое — нет, нет, приятель, чур меня! Я прочь бегу, я снова рад в беспечный кануть маскарад».

Не говори, что это невозможно: невозможного нет.

Турецкая пословица

1

2

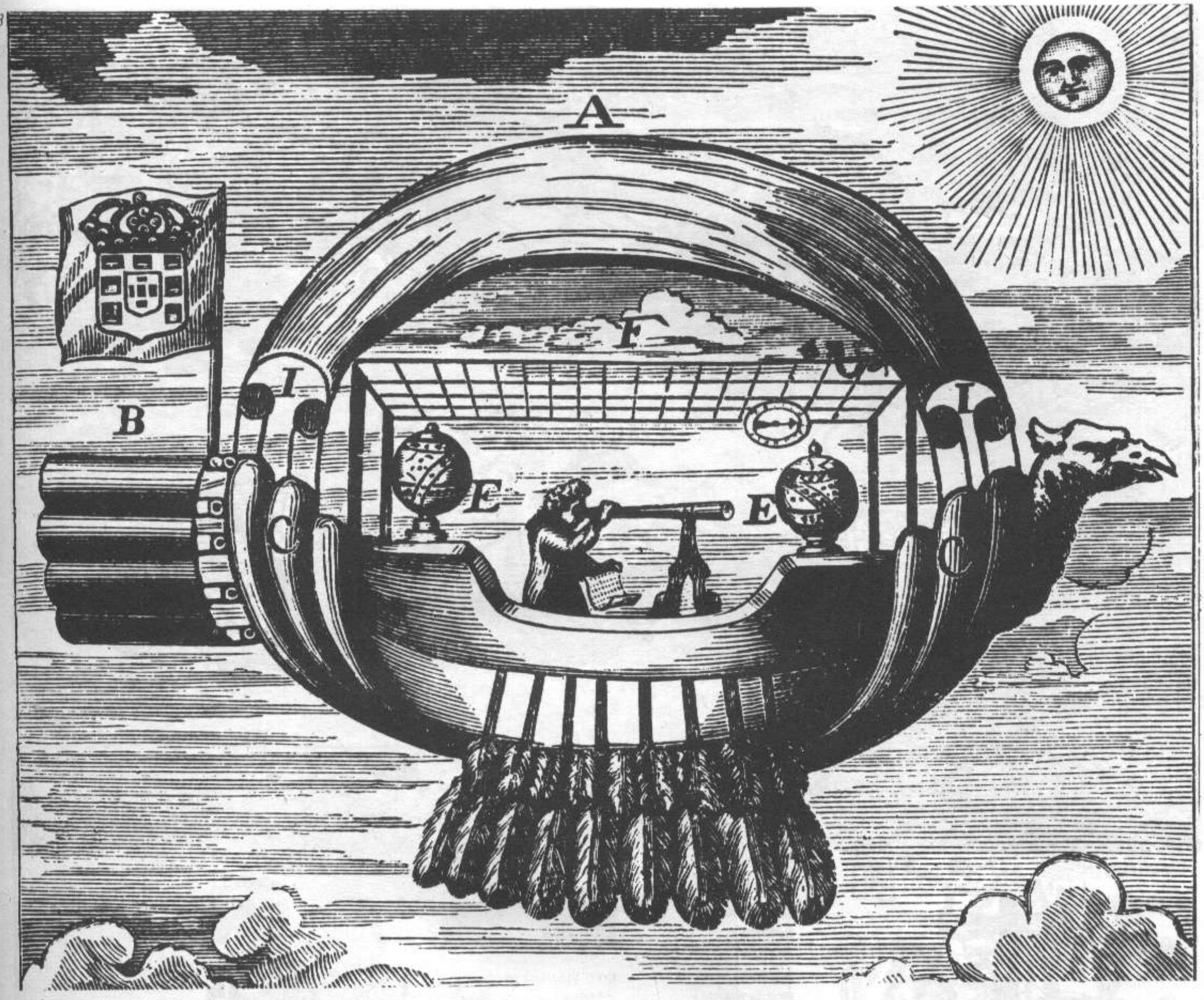


4

5

6

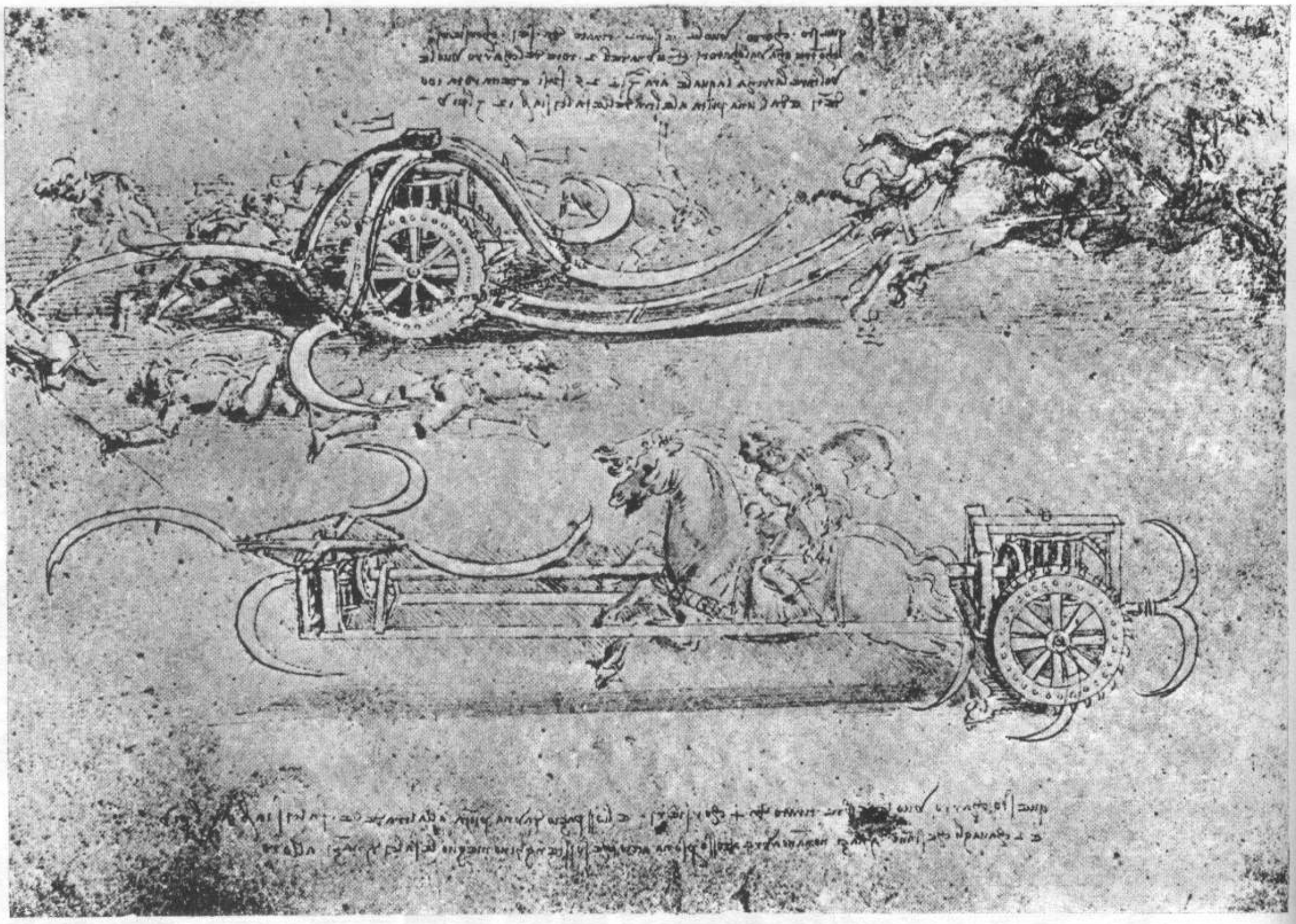
3



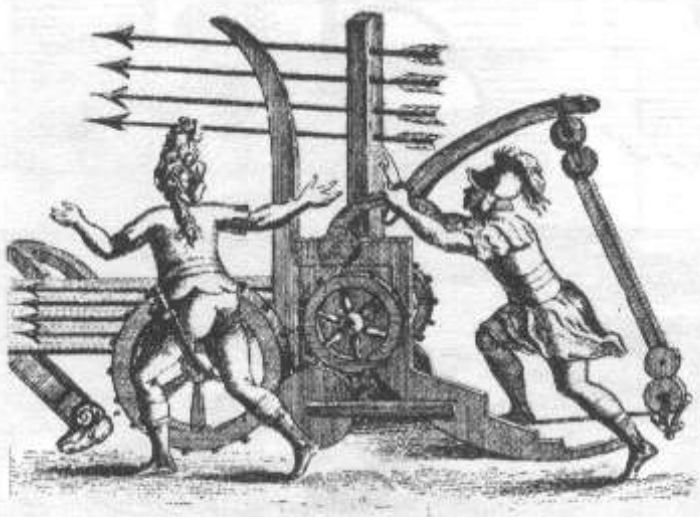
7

8

9



5

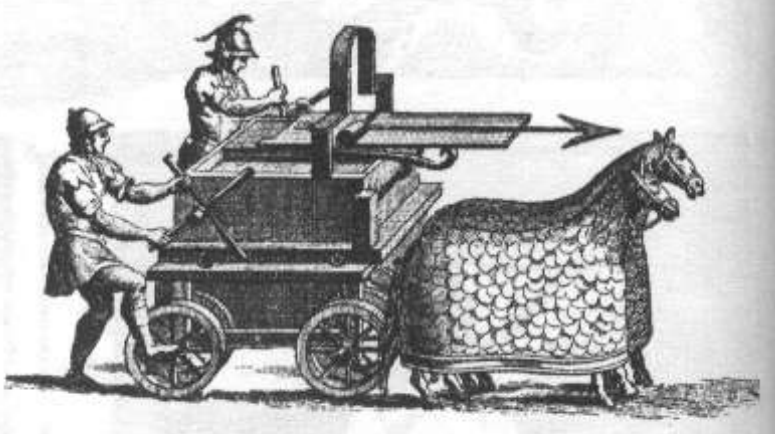


К сожалению, почти все изображенное здесь было реализовано на практике. Исключение составляют только

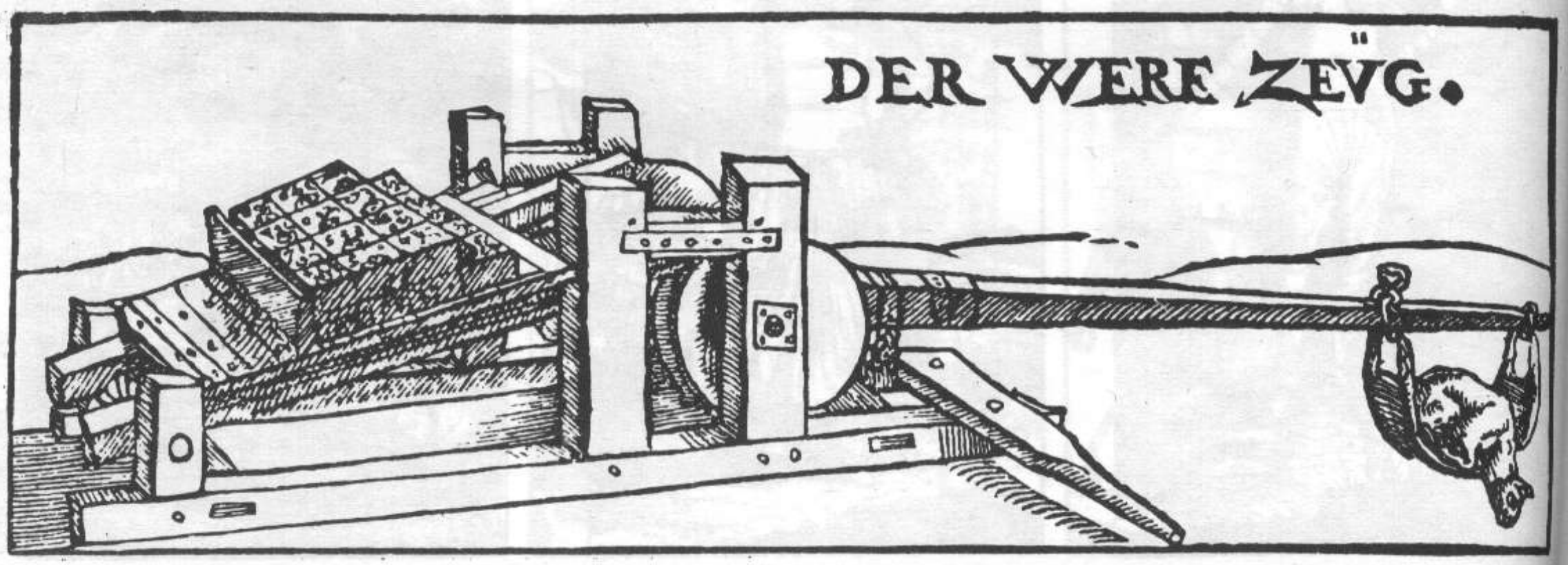
[redacted]

воздушный шар «Минерва» да еще колесница с косами, предназначенными для срезания человеческих голов, которую придумал Леонардо да Винчи

6

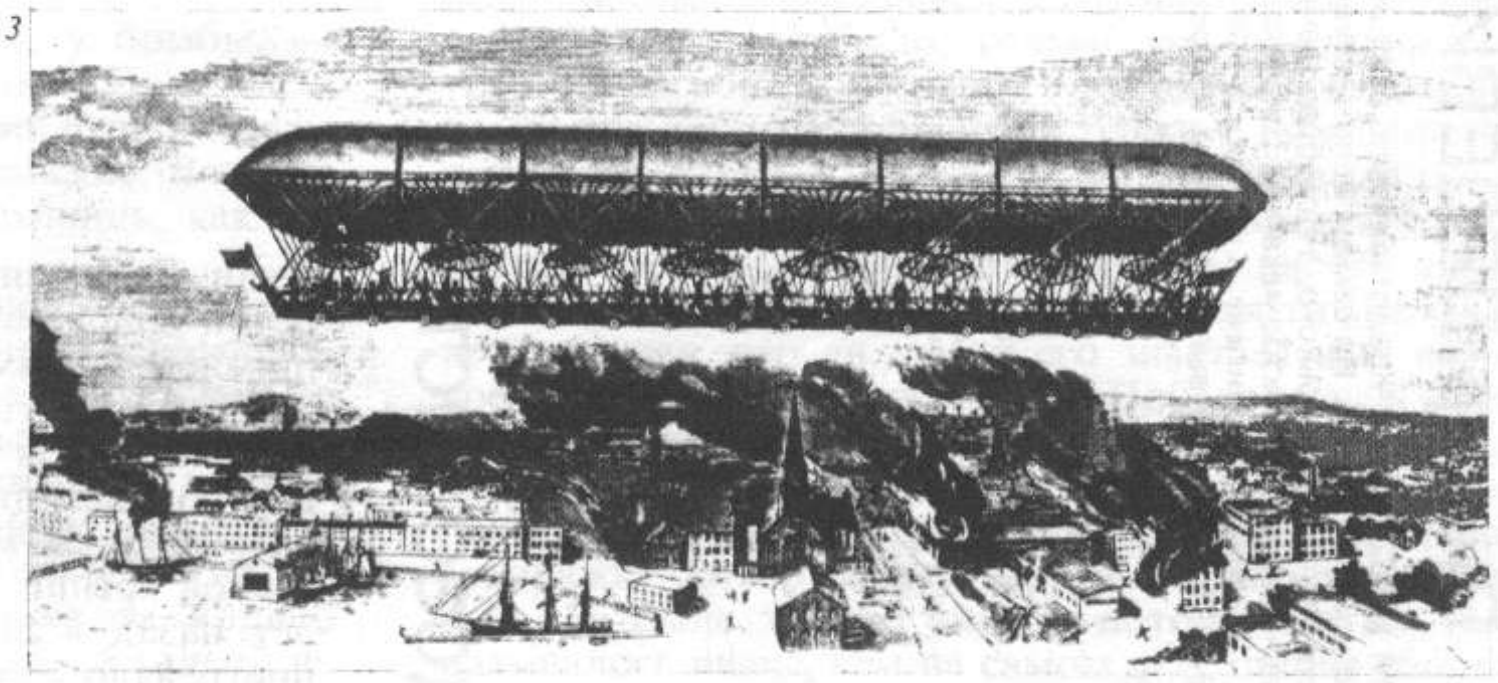


9



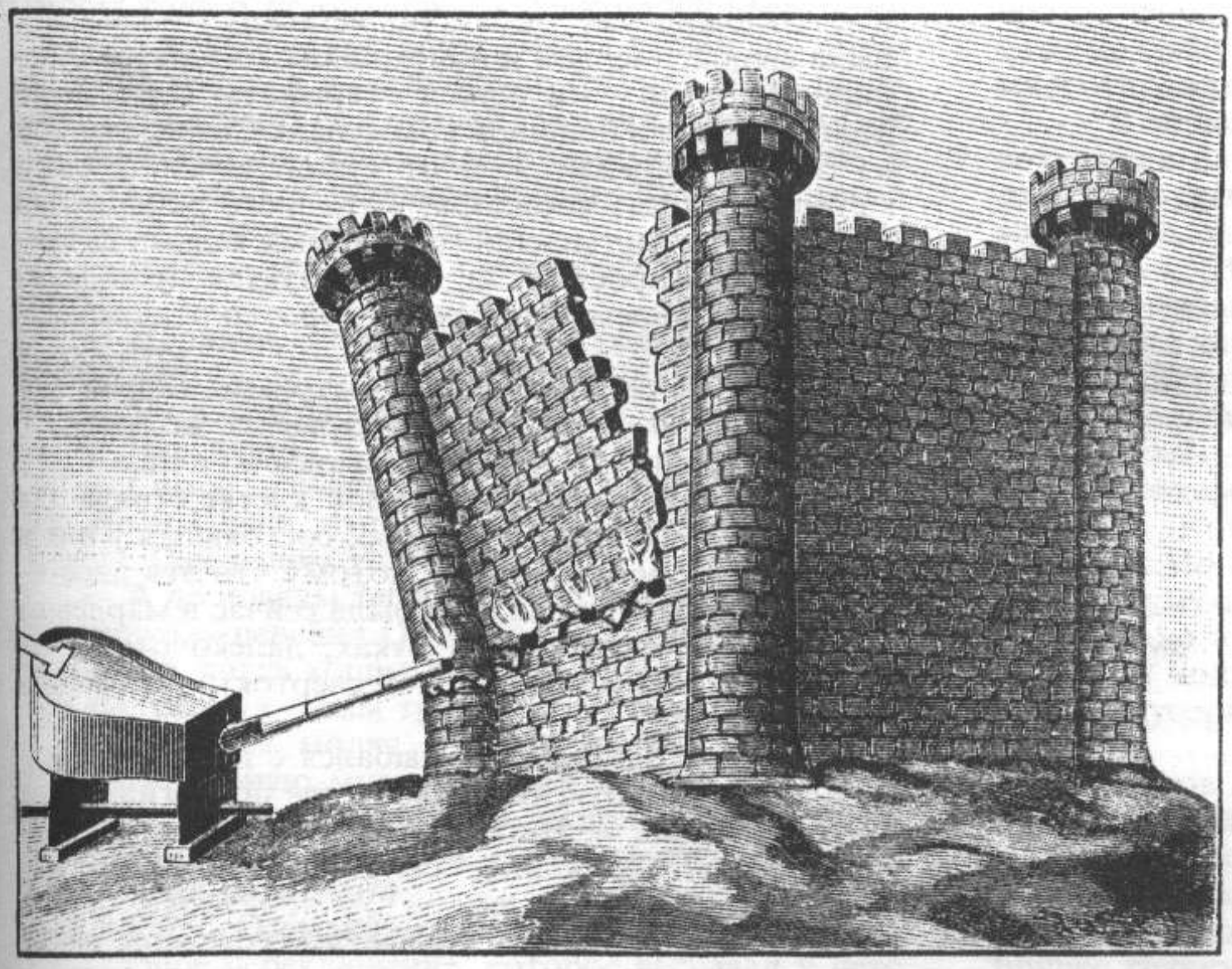
2

3



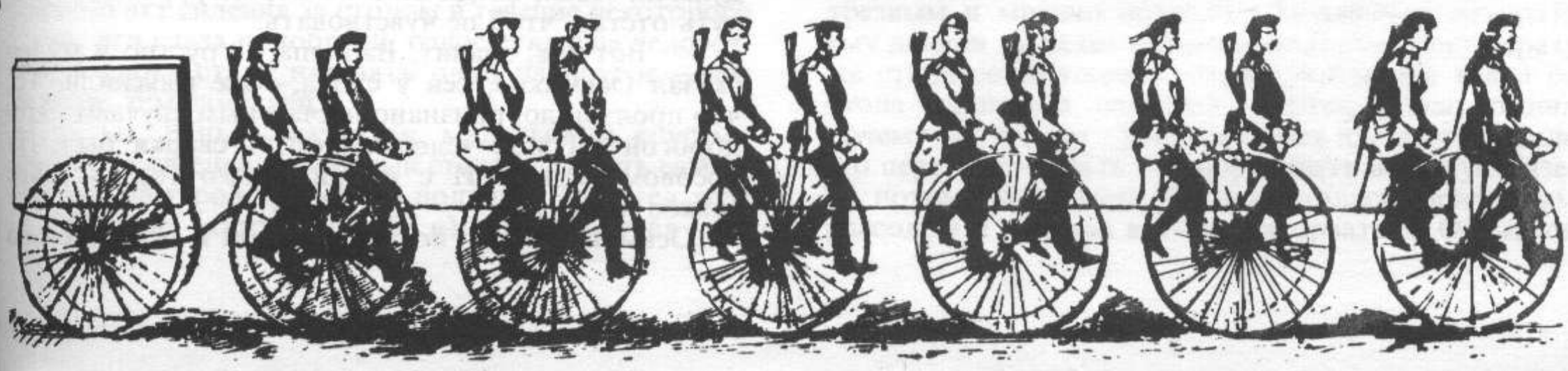
4

7



8

10



Виктор ПЕЛЕВИН

Виктор ПЕЛЕВИН (1962) любит представляться: «водолаз, специалист по компьютерам». На самом деле — студент Литературного института имени Горького, а по образованию, полученному ранее, — инженер-электромеханик. Публикаций пока очень мало — в «Науке и религии», в «Химии и жизни» и в альманахе ЗАВТРА, первом выпуске. Живет в Москве.

День бульдозериста

Что они делают здесь,
Эти люди?
С тревогой на лицах
Тяжелым ломом
Все бьют и бьют.

Исикава Такубоку

I

Иван Померанцев упер локти в холодный сырой бетон подоконника с тремя или четырьмя изгибающимися линиями склейки (Валерка, когда жену пугал, ударил утюгом), сдул со стекла ожиревшую черную муху и выглянул в залитый последним осенним солнцем двор. Было тепло, и снизу поднимался слабый запах масляной краски, исходивший от жестяной крыши пристройки, покрашенной несколько лет назад и начинавшей вонять, как только чуть пригревало солнце. Еще пахло мазутом и щами — тоже совсем несильно. Слышно было, как вдали орут дети и ржут лошади, но казалось, что это не природные звуки, а прокручиваемая где-то магнитофонная запись — наверно, потому казалось, что ничего одушевленного вокруг не было, кроме неподвижного голубя на подоконнике через несколько окон. Улица была какой-то безжизненной, словно никто тут не селился и даже не ходил никогда, и единственным оправданием и смыслом ее существования был выцветший стенд наглядной агитации, аллегорически, в виде двух мускулистых фигур, изображавший народ и партию в состоянии единства.

В коридоре продребезжал звонок. Иван вздрогнул, отложил уже размятую пегасину — сигарета была сырой, твердой и напоминала маленькое сувенирное полено — и пошел открывать. Идти было долго: он жил в большой коммуналке, переделанной из секции общежития, и от кухни до входа было метров двадцать коридора, устланного резиновыми ковриками и заставленного детскими кедами да грубой обувью взрослых. За дверью бухтел тихий мужской голос и время от времени коротко откликалась женщина.

— Кто? — спросил Иван бытовым тоном. Он уже понял кто — но ведь не открывать же сразу.

— К Ивану Ильичу! — отозвался мужчина.

Иван открыл. На лестничной клетке стояла так называемая пятерка профбюро, состоявшая у них в цехе из двух всего человек, потому что эти двое — Осьмаков и Алтынина (она была сейчас в марлевом костюмчике и держала в руках, далеко отнеся от туловища, пахнущий селедкой сверток) — совмещали должности.

— Иван! Ванька! — заулыбался с порога Осьмаков, входя и протягивая Ивану две подрагивающие мягкие ладони. — Ну ты как сам-то? Болит? Ноет?

— Ничего не болит, — смутясь, ответил Иван. — Идем в комнату, что ли.

От Алтыниной еще сильнее, чем селедкой, пахло духами; Иван, когда шли по коридору, специально чуть отстал, чтоб не чувствовать.

— Вот так, значит, Ванюша, — грустно и мудро сказал Осьмаков, сев у стола, — все выяснили. То, что произошло, признано несчастным случаем. Это, дорогой ты мой человек, дефект сварки был. На носовом кольце. И с имени твоего теперь снято всякое недоверие.

Осьмаков вдруг потряс головой и огляделся по

сторонам, словно чтобы определить, где он, — определил и тихонько вздохнул.

— У ней ведь корпус из урана, у бомбы, — продолжал он,— а кольцо-то стальное. Надо спецэлектродом приваривать. А они, во втором цеху, простым приварили. Передовики майские. Вот оно и отлетело, кольцо-то. Ты хоть помнишь, как все было?

Иван прикрыл глаза. Воспоминание было какое-то тусклое, формальное,— словно он не вспоминал, а в лицах представлял себе рассказанную кем-то историю. Он видел себя со стороны: вот он нажимает тугую кнопку, которая останавливает конвейер, кнопка срабатывает с большой задержкой, и щербатую черную ленту приходится отгонять назад. Вот он цепляет крюком подъемника за кольцо отбракованную бомбу с жирной меловой галкой на боку (криво приварен стабилизатор и вообще какая-то косая), включает подъемник, и бомба, тяжело покачнувшись, отрывается от ленты конвейера и ползет вверх; цепь до упора наматывается на барабан и срабатывает концевик.

«Уже четвертая за сегодня,— думает Иван,— так, глядишь, и премия маем гаркнет».

Он нажимает другую кнопку — включается электромотор, и подъемник начинает медленно ползти вдоль двутавра, приваренного к потолочным балкам. Вдруг что-то заедает, и бомба застревает на месте. Так иногда бывает — вмятина на двутавре, кажется. Иван заходит под бомбу и начинает качать ее за стабилизатор — так она набирает инерцию, чтобы колесо подъемника перекатилось через вмятину на рельсе,— как вдруг бомба странным образом поддается, а в следующую секунду Иван понимает, что держит ее в правой руке над своей головой за заусенчатую жесть стабилизатора. Дальше в памяти — окно больничной палаты: шест с бельевой веревкой да половина дерева...

— Вань,— прозвучал осьмаковский голос,— ты чего?

— Порядок,— помотал Иван головой. — Вспоминал вот.

— Ну и что? Помнишь?

— Частично.

— Самое главное,— сказала Алтынина,— что вы, Иван Ильич, из-под бомбы выскочить все-таки успели. Она рядом упала. А...

— А по почкам тебе баллон с дейтеридом лития звезданул,— перебил Осьмаков,— сжатым воздухом выкинуло, когда корпус треснул. Хорошо хоть, баллон не грохнул — там триста атмосфер давление.

Иван сидел молча, слушая то Осьмакова, то большую черную муху, которая через равные промежутки времени билась в окно. «Верно, гости растревожили,— думал он,— раньше тихо сидела... Чего ж они хотят-то?»

Скоро с Осьмаковым произошло обычное рефлекторное переключение, которое вызывал у него простой акт сидения за столом в течение некоторого срока: его глаза подобрели, голос стал еще человечней, а слова стали налезать одно на другое — чем дальше, тем заметней.

— Ты, Вань,— сказал он, маленькими кругами двигая по клеенке невидимый стакан,— и есть самый настоящий герой трудового подвига. Не хотел тебе говорить, да скажу: про тебя «Уран-Баторская правда» будет статью печатать, уже даже корреспондент приезжал, показывал заготовку. Там, короче, написано все как было, только завод наш назван уран-баторской консервной фабрикой, а вместо бомбы на тебя пятилитровая банка с помидорами падает, но зато ты потом еще успеваешь подползти к конвейеру и его выключить. Ну и фамилия у тебя другая, понятно... Мы советовались насчет того, какая красивее будет — у тебя она какая-то мертвая, реакционная, что ли... Май его знает. И имя неяркое. Придумали: Константин Победоносцев. Это Васька предложил, из «Красного полураспада»... Умный, май твоему урожаю...

Иван вспомнил — так называлась заводская многотиражка, которую ему пару раз приходилось видеть. Ее было тяжело читать, потому что все там называлось иначе, чем на самом деле: линия сборки водородных бомб, где работал Иван, упоминалась как «цех плюшевой игрушки средней мягкости», так что оставалось только гадать, что такое, например, «цех синтетических елок» или «отдел электрических кукол»; но когда «Красный полураспад» писал об освоении выпуска новой куклы «Марина» с семью сменными платьицами, которой предполагается оснастить детские уголки на прогулочных теплоходах, Иван представлял себе черно-желтую заграницу с обложки «Шакала» и злорадно думал: «Что, вымпелюги майские, схавали в своих небоскребах?» Правда, уже полгода «Красный полураспад» распространялся по списку,— как было объяснено в редакционной статье, «в связи с тем значением, которое придается производству мягкой игрушки»,— и Иван даже не сразу сообразил, что речь идет о заводской многотиражке.

— В общем, жужло баба,— тихо говорил Осьмаков, глядя на что-то невидимое в метре от своего лица,— трудяга... Я ей кричу: какого же ты мая, мать твою, забор разбираешь...

— Это, Иван Ильич,— перебила Алтынина,— вообще первый случай, когда про наш завод городская газета напишет. И еще, может быть, с телевидения приедут. Мы уже место нашли, где снять можно. И совком не против.

— Чем?— не понял Иван.

— Совком,— отчетливо повторила Алтынина.— Товарищ Копченов сейчас занят — здание детям передает. Но сам лично звонил.

— Шуму-то сколько, Галина Николаевна.

— Надо ж на чем-то детей воспитывать. А то от них одни поджоги со взрывами. Вчера на Санделя опять мусорный бак взорвали. По песочницам бродят...

Осьмаков вдруг издал булькающий звук и повалился головой на стол. Началась суета — Иван побежал на кухню за тряпкой, Алтынина захлопотала вокруг Осьмакова, приводя его в чувство и объясняя, как он сюда попал и где находится. Когда Иван принес тряпку, Осьмаков выглядел уже совершенно трезвым и мрачно позволял Алтыниной оттирать ему лацкан пиджака носовым платком. Гости сразу же стали собираться — встали, Алтынина взяла со стола пахнущий селедкой сверток (Иван решил почему-то, что тот предназначался для него) и стала его переупаковывать — заворачивать в свежую газету, потому что бумага уже пропиталась коричневым рассолом и грозила вот-вот разорваться. Осьмаков

с фальшивым интересом уставился в настенный календарь с изображением низенькой голой женщины у заснеженного «Запорожца». Наконец селедка была упакована и гости попрощались — Иван так и проводил их до выходной двери с тряпкой в руке и с этой же тряпкой вернулся в комнату, кинул ее на пол и сел на диванчик.

Некоторую странноватую вялость своего состояния он объяснял тем, что из-за ушиба почек не пил уже целых две недели: одну неделю в больнице, а вторую — дома. Но всерьез смущало его то, что никак не удавалось вспомнить свою жизнь до несчастного случая. Хоть он более или менее помнил ее фактическую сторону, воспоминания не были по-настоящему живыми. Например, он помнил, как они с Валеркой пили после смены «Алабашлы» и Валерка на отрыжке произнес «слава труду» в тот момент, когда Иван подносил бутылку к губам, — в результате полный рот портвейна пришлось выплюнуть на кафельный пол, так было смешно. А сейчас Иван вспоминал самого себя смеющимся, вспоминал короткую борьбу с мышцами собственной гортани за отдающий марсианской нефтью глоток, вспоминал хохочущую рожу Валерки, но совершенно не мог припомнить самого ощущения радости и даже не понимал, как это он мог с таким удовольствием пить в пахнущем мочой закутке за ржавым щитом пятого реактора.

То же относилось и к комнате. Вот, например, этот календарь с «Запорожцем» — Иван совершенно не мог представить себе состояния, в котором могло появиться желание повесить этот глянцевый лист на стену. А он висел. Точно так же непонятно было происхождение большого количества пустых, зеленого стекла, бутылок, стоявших на полу перед шкафом — то есть ясно, сам Иван с Валеркой их и выпили, да еще не все здесь остались — много повылетало в окно. Непонятно было другое — почему весь этот портвейн оказался выпитым, да еще в обществе Валерки. Словом, Иван помнил все недавние события, но не помнил себя самого посреди этих событий, и вместо гармонической личности коммуниста или хотя бы спасающейся христианской души внутри было что-то странное — словно хлопала под осенним ветром пустая оконная рама.

— Марат, — убеждал за стеной женский голос, — будешь писать в окно, тебя в санделята не примут. Послушай маму...

II

С утра весь город узнавал, что дают в винном. Бесполезно было бы пытаться понять как — об этом не сообщали по радио или телевизору, но все же каким-то странным образом это становилось известно, и даже малыши, обдумывая планы на вечер, вполне могли думать что-нибудь вроде: «Ага... сегодня в винном портвейн по два девяносто... папа будет после восьми. А водка уже кончается. Значит — до одиннадцати...» Но они не задавались вопросом, откуда это узнали, — точно так же, как не спрашивали себя, откуда они знают, что сегодня стоит солнечная погода или, наоборот, хлещет проливной дождь. Винных магазинов в городе было, конечно, не один и не два, но продавали в них всегда одно и то же; даже пиво кончалось одновременно и в подвале на улице Спинного мозга, и в бакалее на Сухоточном проезде, на противоположном конце Уран-Батора, так что жители любого района думали обобщенно: «винный», о какой бы конкретной точке ни шла речь.

Вот и Иван, прикинув, что сегодня в винном коньяк по тринадцать пятьдесят, а с черного хода — еще и болгарский сушняк по рупь семьдесят плюс полтинник сверху, решил, что Валерка, сосед и кореш, наверняка возьмет сушняка, а потом еще задержится в подсобке поболтать с грузчиками, — и, подойдя к винному, наткнулся прямо на него. Валерка тоже не удивился, увидев Ивана, — словно знал, что тот возникнет в прямоугольнике света между рядами темно-синих ящиков, на фоне уже повешенной на заборе напротив гирлянды тряпичных гвоздик.

— Пойдем, — сказал Валерка, перекинул позвякивающую сумку в другую руку, подхватил Ивана под локоть и потащил его вниз по Спинномозговой, кивая друзьям и огибая пронзительно пахнущие лужи рвоты.

Дошли до обычного места — дворика с качелями и песочницей. Сели: Валерка, как всегда, на качели, а Иван — на дощатый борт песочницы. Из песка торчали несколько полузанесенных бутылок, узкий язык газеты, подрагивавший на ветру, и несколько сухих веток. Эта песочница очень высоко ценилась у бутылочных старушек — она давала великолепные урожаи, почти такие же, как избушки на детской площадке в парке имени Мундинделя, и старухи часто дрались за контроль над ней, сшибаясь прямо на Спинномозговой, астматически хрипя и душа друг друга пустыми сетками; из какого-то странного такта они всегда сражались молча, и единственным звуковым оформлением их побоищ — часто групповых — было торопливое дыхание и редкий звон медалей.

— Пить будешь? — спросил Валерка, скусив пластмассовую пробку и выплюнув ее в пыль.

— Не могу, — ответил Иван. — Ты же знаешь. Почки у меня.

— У меня тоже не листья, — ответил Валерка, — а я пью. Ты на всю жизнь, что ли, дураком стал?

— До праздника потерплю, — ответил Иван.

— На тебя смотреть уже тошно. Как будто ты... — Валерка сморщился в поисках определения, — как будто ты нить жизни потерял.

Кисло пахнуло сушняком — Валерка задрал голову вверх, опрокинул бутылку над разинутым ртом и принял в себя ходящую из стороны в сторо-

Павел Флоренский

Жизнь меняет науку, эта перемена совершается вопреки ее строго консервативной сущности. Жизнь тащит на поводу упирающуюся науку.

И ход ее, исключаемый ее природой, столь же непреднамерен, как и сама жизнь, ее влачащая. История науки — перманентная революция.

ну из-за каких-то гидродинамических эффектов струю.

— Вот,— сказал он,— птиц сразу слышу. И ветер. Тихие такие звуки.

— Тебе б стихи писать,— сказал Иван.

— А я, может, и пишу,— ответил Валерка,— ты откуда знаешь, знамя отрядное?

— Может, пишешь,— равнодушно согласился Иван. Он с некоторым удивлением заметил, что дворик, где они сидят, состоит не только из песочницы и качелей, а еще и из небольшой огороженной клумбы, заросшей крапивой, из длинного желтого дома, пыльного асфальта и идущего зигзагом бетонного забора. Вдали, там, где забор упирался в дом, на помойке копошились дети, иногда подолгу задумчиво замиравшие на одном месте и сливавшиеся с мусором, отчего невозможно было точно определить, сколько их. «В центре дети воспитанные и уродов мало,— подумал Иван, глядя на их возню,— а отъехать к окраине, так и на качели залазят, и в песочнице роются, и ножиком могут... И какие страшные бывают...»

Дети словно почувствовали давление Ивановой мысли: одна из фигурок, до этого совершенно незаметная, поднялась на тонкие ножки, походила немного вокруг мятой желтой бочки, лежавшей чуть в стороне от остального мусора, и нерешительно двинулась по направлению к взрослым. Это оказался мальчик лет десяти, в шортах и курточке с капюшоном.

— Мужики,— спросил он, подойдя поближе,— как у вас со спичками?

Валерка, занятый второй бутылкой, в которой отчего-то оказалась тугая пробка, не заметил, как ребенок приблизился,— а обернувшись на его голос, очень разозлился.

— Ты!— сказал он.— Вас в школе не учили, что детям у качелей и песочниц делать нечего?

Мальчик подумал.

— Учили,— сказал он.

— Так чего ж ты? А если б мы, взрослые, стали бы к вам на помойки лазить?

— В сущности,— сказал мальчик,— ничего бы не изменилось.

— Ты откуда такой борзой?— с недобрым интересом спросил Валерка.— Да ты знаешь, что у меня сын такой же?

Валерка чуть преувеличивал — его сын, Марат, был с тремя ногами и недоразвитый — третья нога была от радиации, а недоразвитость — от отцовского пьянства. И еще он был младше.

— Да у вас, может, и спичек нет?— спросил мальчик.— А я говорю тут с вами.

— Были бы — не дал,— ответил Валерка.

— Ну и успехов в труде,— сказал мальчик, повернулся и побрел к помойке. Оттуда ему махали.

— Я тебя сейчас догоню,— заорал Валерка, забыв даже на секунду о своей бутылке,— и объясню, какие слова можно говорить, а какие — нет... Наглый какой, труд твоей матери...

— Да плюнь,— сказал Иван,— что, сам, что ли, таким не был? Давай поговорим лучше... Со мной, знаешь, что-то странное творится. Как будто с ума схожу. Вроде все про себя помню, но так, словно не про себя, а про кого-то другого... Понимаешь?

— А чего тут не понять?— спросил Валерка. — Ты сколько уже не пьешь?

— Две недели,— ответил Иван.— Сегодня как раз.

— Так чего ж ты хочешь. Это у тебя черная горячка начинается.

— Нет,— сказал Иван,— не может такого быть. Мне главврач сказал, что она раньше чем через полгода не бывает.

— Ты их слушай больше. Может, они думают, что ты через неделю первомай отметишь, и утешают — чтоб не мучился зря.

— Все равно,— сказал Иван,— не в этом дело. Я, представляешь, детства не помню. То есть помню, конечно,— могу в анкете написать, где родился, кто родители, какую школу кончил, но это все как-то не по-настоящему, что ли... Понимаешь, для себя ничего вспомнить не могу — для души. Закрываю глаза — и чернота одна или груша желтая, если лампочка отпечатается...

По двору торопливо пробежали дети с помойки и скрылись за углом. Последним бежал мальчик, искавший спички.

— Ну ты загнул, брат,— сказал Валерка. (Пока Иван говорил, он добил третью бутылку.) — Да кто ж его помнит, детство-то? Я тоже только слова одни помню. Так что можешь считать, с тобой все в порядке. Вот когда картинки всякие вспоминать начнешь — это и будет черная горячка. И потом, какого мира его помнить-то, детство? Чего в нем хорошего? Как раз и...

В углу двора, среди металлолома, багрово сверкнуло и оглушительно грохнуло — словно по ушам хлопнули чьи-то огромные ладоши. Вверху провизжали осколки, и кусок желтой жести вонзился в борт песочницы в нескольких сантиметрах от ноги Ивана.

— Вот оно, детство твое,— придя в себя от неожиданности, сказал Валерка.— Пошли. Я тут больше пить не смогу — какую вонь подняли...

Иван встал и пошел за Валеркой. Все-таки ему не удалось выразить того, что он хотел сказать,— все, что он произносил вслух, оказывалось путаным и полоумным, и Валерка был совершенно прав в своем раздражении. «Выпить бы»,— почесал Иван в затылке. Что-то подсказывало ему: стоит выпить, даже совсем немного, бутылки две сухого — и все пройдет. «А что пройдет?» — подумал Иван. Действительно, непонятно было, что должно пройти. У Ивана, скорей, было чувство, что что-то уже прошло, и теперь именно этого, прошедшего, и не хватает. «Ладно. А что прошло?» Это было совсем неясно, и, как Иван ни старался, единственное, что

Петр Чаадаев

У меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество.

он мог сказать себе,—что прошло то состояние, в котором этих вопросов не возникало. Самое главное, что он даже не помнил, существовало ли в его памяти до несчастного случая какое-нибудь другое, отличное от нынешнего, воспоминание о прошлом — или и тогда все ограничивалось бесцветными анкетными формулами.

Вышли на Спинномозговую. Валерка оглядел багровые кирпичные стены и развешанные к празднику красные шестерни на фасадах.

— Ну, куда теперь?—спросил он.

Иван пожал плечами. Ему было все равно.

— А пошли к совкому,—сказал Валерка.—Прямо на площади и выпьем. Может, там кто из наших будет...

До площади Санделя, где находился совком, идти надо было вниз по Спинномозговой. Иван задумался, а от задумчивости незаметно перешел к тихому внутреннему оцепенению, так что на площади оказался как-то незаметно для себя. На фасаде серого параллелепипеда совкома уже были вывешены три профиля — Санделя, Мундинделя и Бабаясина, а напротив, над приземистой совкомовской баней, развернута кумачовая лента со словами: «Да здравствует дело Мундинделя и Бабаясина!» Еще видно было несколько черных телег с мигалками, и помахивали хвостами пасущиеся на газоне совкомовские мерины Истмат и Диамат.

— Слышь, Валер,—сказал Иван,—а почему тут Мундиндель с волосами? Он же лысый был. И про дело Санделя ничего не пишут — что оно, хуже, что ли? Раньше же вроде писали.

— Откуда я знаю?—отозвался Валерка.—Ты еще спроси, почему трава зеленая.

Выстланное рубчатыми бетонными плитами, протяженное пустое пространство перед совкомом больше всего напоминало бы военный аэродром, если бы не огромный памятник прямо напротив здания — трехметровый усатый Бабаясин, занесший высоко над головой легендарную саблю, и худенькие крохотные Сандель и Мундиндель, словно подпирающие его с двух сторон и почти прекрасные в своем романтическом порыве. Со стороны памятника светило солнце, и своим контуром он напоминал воткнутые кем-то в бетон огромные толстые вилы. В тени памятника на вынесенных из совкома белых табуретах сидели несколько человек; перед ними, прямо на бетоне, была расстелена газета, на которой зелено блестели бутылки и краснели помидоры.

— Пошли к этим, что ли,—сказал Валерка.

По гноящимся воспаленным глазам в сидящих у памятника легко было узнать рабочих с «Трикотажницы», пригородной фабрики химического оружия. Двое из них кивнули Валерке — весь город знал его как виртуоза-матершинника (даже кличка у него была — «Валерка-диалектик»), а ребята с «Трикотажницы» очень гордились своими традициями краснословия.

— Пить кто будет, мужики?—спросил Валерка.

— Не,—после некоторой паузы ответил один из химиков,—мы секретаря ждем. Уже тяпнули, хватит пока.

— А... Ну и день, прямо не верится—даже на маяву не пьют...

Валерка сел на бетон и оперся спиной о низкую ограду памятника. По поверхности серой плиты покатилось полиэтиленовое колесико пробки. Иван сел рядом, также подоткнув под зад край ватника, и зажмурил глаза. На душе у него по-прежнему было беспричинно грустно — зато и спокойно, и даже мелькнуло на секунду в какой-то словно бы щели воспоминание — странного вида красная кепка, и еще пластмассовая поверхность стола, на которой...

— Валерка!—тихо позвал кто-то из химиков.—Валерка!

— Чего?—перестав булькать, спросил Валерка.

— Как там у вас, на Самоварно-Матрешечном? Выполнит план ваш коллектив?

Иван чуть вздрогнул. Это был откровенный вызов и оскорбление. Но, сообразив, что химики вовсе не собираются затевать разборку, а просто хотят посостязаться с мастером языка, которому не обидно и проиграть, он успокоился. Валерка тоже понял, в чем дело,—давно привык.

— Выполняем помаленьку,—лениво ответил он.—А у вас как трудовая вахта? Какие новые почины к майским праздникам?

— Думаем пока,—ответил химик.—Хотим у вас в трудовом коллективе побывать, с передовиками посоветоваться. Главное ведь — мирное небо над головой, верно?

— Верно,—ответил Валерка.—Приходите, посоветуйтесь. Хотя ведь у вас и своих ветеранов немало, вон Доска почета-то какая — в пять Стахановых твоего обмена опытом в отдельно взятой стране...

Кто-то тихо крякнул.

— Точно, есть у нас ветераны,—не сдавался химик,—да ведь у вас традиция соревнования глубже укоренилась, вон вымпелов-то сколько насобирали, ударники майские, в Рот-Фронт вам слабое звено и надстройку в базис!

«Хорошо,—отметил Иван,—а то уж больно он от нервов по-газетному начал...»

— Лучше бы о материальных стимулах думали, пять признаков твоей матери, чем чужие вымпела считать, в горн вам десять галстуков и количеством в качество,—дробной скороговоркой ответил Валерка,—тогда и хвалились бы встречным планом, чтоб вам каждому по труду через совет дружины и гипсового Павлика!

Иван вдруг подумал, что сегодняшняя беседа с мальчиком у качелей все же как-то повлияла на Валерку, хоть он ни словом не обмолвился об этом,—что-то горькое прорывалось в его речи.

Химик несколько секунд молчал, собираясь с

Виссарион Белинский

Что за дикая мысль разгадывать и определять будущее народа, писать его программу? На основании многих данных можно быть убеждену, что Россию ожидает великая и блестящая будущность, но какая именно

мыслями, а потом уже как-то примирительно сказал:

— Хоть бы ты заткнулся, мать твою в город-сад под телегу.

— Ну так и отмирись от меня на три мая через Людвига Фейербаха и Клару Цеткин,— равнодушно ответил Валерка. Победа, как чувствовал Иван, не принесла ему особой радости. Это был не его уровень.

— Дай выпить, а?— пробормотал смущенный химик. Иван открыл глаза и увидел, как тот принимает протянутую Валеркой бутылку. Химик оказался совсем молодым парнем, но, судя по цвету лица и фиолетовым нарывам на шее, поработал уже и с «Черемухой», и с «Колхозным ландышем», а может, и с «Ветерком». Все молчали — Иван хотел было что-то сказать для сердечности, но передумал и уставился на черный кончик тени от сабли Бабаясина, незаметно для глаза ползущий по бетону.

— А ты ничего маюги травишь,— сказал через некоторое время Валерка,— только расслабляться нужно. И не испытывать ненависти.

Парень посинел от удовольствия.

— А вы чего тут маетесь?— спросил кто-то из химиков.— Ждете кого-то?

— Так,— ответил Иван,— нить жизни ищем.

— Ну и чего, нашли?— раздался сзади звучный голос.

Иван обернулся и увидел секретаря совкома Копченова, зашедшего, видно, со стороны памятника, чтобы послушать живой разговор в массах. Копченова Иван видел пару раз на заводе — это был небольшой плотный человек, совершенно неопределенного вида, носивший обычно дешевый синий костюм с большими лацканами, желтую рубашку и фиолетовый галстук. Раньше он работал в каком-то банке, где украл не то двадцать, не то тридцать тысяч рублей, за что его частенько поругивали в печати.

— Послушал я вас, ребята,— сказал Копченов, потирая руки,— и подумал — ну до чего ж у нас народ талантливый... Как это ты, Валерий, диалектику с повседневной жизнью увязал — ну, хоть сейчас в газету. Будем тебя в следующем году в народные соловьи выдвигать... А вы, ребята, чего?

— Записались,— ответил кто-то из химиков.

— Выслушаю,— сказал Копченов,— выслушаю. Ты, Иван, тоже не уходи — кое-что тебе вручить должен. Пошли...

Первое, что бросалось в глаза внутри совкома,— это огромное количество детей. Они были всюду: ползали по широкой мраморной лестнице, покрытой красной ковровой дорожкой, висели на бархатных шторах, паясничали перед широким, в полстены, зеркалом, жгли в дальнем углу холла что-то вонючее, убивали под лестницей кошку — и непереносимо, отвратительно галдели. Пока поднимались по лестнице, Ивану два раза пришлось переступать через синюшных, стянутых пеленками младенцев, которые передвигались, извиваясь всем телом, как черви. Пахло внутри совкома мочой и гречневой кашей.

— Вот так,— обернувшись, сказал Копченов.— Отдали детям. Дети — самый наиважнейший участок, а бывает порой самым узким.

Поднялись на пятый этаж. В коридорном тупике в глубоких креслах неподвижно сидели пять-шесть ребят в круглых авиационных шлемах с прозрачными запотевшими забралами.

— Это кто?— полюбопытствовал Валерка.

— Эти-то? Юные космонавты. Подсекция Дворца пионеров. У нас тут теперь Дворец пионеров, а внизу — еще детский сад и ясли.

— А зачем они в шлемах?

— Чтоб ацетон дольше не испарялся. За каждую бутылку деремся.

Наконец дошли до кабинета Копченова. Кабинет оказался совсем маленьким и скудно обставленным. Почти весь его объем занимал длинный стол для заседаний, из-под которого Копченов за ухо вытащил и пинком выпроводил в коридор маленького слюнявого олигофрена. Иван заметил, что штора на окне как-то подозрительно шевелится — видно, за ней тоже прятались дети, — но решил не вмешиваться.

— Садитесь,— сказал Копченов и показал на стол. Иван с Валеркой сели под портретом матери Санделя, пронзительно глядящей в комнату из-под белого чепца, а остальные присели к столу.

— Вот, значит,— сказал химик, который пытался состязаться с Валеркой,— хотим, значит, на хозрасчет переходить. И на самоокупаемость. Коллектив прислал.

— Хозрасчет,— сказал Копченов,— дело хорошее. Вы как, по какой модели собираетесь?

— А май его знает,— ответил, подумав, химик.— Ты и расскажи. Мы, думаешь, понимаем? Вот, допустим, сколько фосгена к хлорциану добавлять надо, чтоб «Колхозный ландыш» получился, это я знаю, а про модели эти — откуда? Вся жизнь в цеху прошла.

— Верно,— сказал Копченов.— Ох, верно. И правильно сделали, ребята, что сюда пришли. Куда ж вам, как не сюда...

Он встал из-за стола и заходил взад-вперед по узкому проходу вдоль стола, одной рукой держа себя сзади под пиджаком за брючный ремень, а другой — с оттопыренным большим пальцем — тыкая вперед, словно для незримого рукопожатия, сильно наклоняя при этом туловище вперед. Иван вспомнил виденную когда-то дээспэшную брошюру, называвшуюся «Партай-чи», где был описан целый комплекс движений, благодаря которым человек даже самых острых умственных способностей мог настроить себя на безошибочное проведение линии партии. Упражнение, которое выполнял Копченов, было оттуда.

— Да...— сказал он, вдруг остановившись.

и каким образом, — стараться или надеяться узнать это, — такая же чудовищная нелепость, как и думать, что можно узнать будущую участь каждого человека... Что за нелепость судить о будущем народа по его отдаленному прошедшему, которое так оторвано даже от его настоящего? Что общего между новогородцем IX, московитом XV и русским XIX века? Если можно предчувствовать и предугадывать (в идее) будущее, то не иначе, как на основании настоящего, которое одно есть испытанная мера, и прошедшего, как результат его.

Иван поглядел на него и поразился — глаза Копченова изменились и из прежних хитро прищуренных щелочек превратились в два оловянных кружка. Теперь он как-то по-другому дышал, и его голос стал на октаву ниже.

— Чего сказать-то вам,— медленно произнес он и вдруг с каким-то горьким пониманием затряс головой.— Вижу! Все ведь вижу, что думаете, газет почитавши! Верно, долго нам врали. Долго. Но только прошло это время. Все теперь знаем — и как шашель порошная нам супорос закунявила, и как лубяная сутемень нам уд кондыбила. Почему знаем? Да потому, что правду нам сказали. Теперь так спрошу — должны мы о детях и внуках думать? Вот ты, Валерий, соловей наш, скажи.

— Вроде должны,— сказал Валерка.— Конечно.

— Понятно. Так вот прикинь: они подрастут, дети наши, а к тому времени и новая правда поспеет. Так как мы хотим, чтоб им эту новую правду сказали, как нам нынче?

— Хотим, чего спрашивать-то,— зашумели за столом.— Ты дело говори!

— А дело самое простое. Руководство-то сейчас приглядывается: как народ работает? Будем плохо работать, так кто ж нам правду скажет? Да уж и из благодарности простой надо бы. А не икру чужую считать и дачи. Вот это и есть настоящий хозрасчет.

Копченов о чем-то на секунду задумался и подобрел лицом.

— А вообще,— сказал он,— если сказать, черт возьми, по-человечески — до чего же хочется жить!

Видно, он нажал на какую-то кнопку — тотчас после его слов в кабинет ввалилась толпа пионеров и плотно-плотно обступила Валерку, Ивана и химиков. Пионеры были в отглаженных белых рубашках с галстуками и пахли леденцами и крахмалом, отчего у Ивана в прокуренной груди поднялась и опала волна ностальгии по собственному детству, а точнее даже — по выветрившейся памяти.

— В музей славы их,— сказал Копченов.

— Пошли,— скомандовал один из пионеров, и красногалстучный поток в две секунды смыл и Ивана с Валеркой, и химиков с пола копченовского кабинета.

Дальнейшее Иван помнил весьма смутно. От музея славы у него остались только обрывки воспоминаний — сначала их всех подвели к совсем маленькой стеклянной витрине, за которой хранился первый декрет народной власти в Уран-Баторе (тогда еще называвшемся как-то по-другому):

«С первого числа мая месяца сего года
под страхом смертной казни
запрещается въезд и выезд из города.
Комиссары:
Сандель, Мундиндель, Бабаясин».

Дальше почему-то шел стенд «Жизнь народов нашей страны до революции», где к обтянутой холстом доске были проволокой прикручены подкова, желтая лошадиная челюсть и сморщенный лапоть. Рядом, в освещенном стеклянном шкафу висели крошечные дамские браунинги Санделя и Мундинделя, а под ними — зазубренная сабля Бабаясина, показавшаяся не такой уж и большой. Всюду были фотографии каких-то усатых рож, и все время что-то говорил голос пионера-экскурсовода, объяснявший, кажется, какую-то непонятную разницу. Потом голос приобрел глубокие и мягкие бархатные обертона и начал говорить о смерти — описывать разные ее виды, начиная с утопления. Неожиданно Иван понял...

III

— Я тебе покажу, щенок, как надо при матери разговаривать! Я тебе дам «майский жук»!

Это кричал где-то за стеной Валерка, и еще долетал детский плач.

— Маратик, потерпи,— говорил другой голос, женский.— Потерпи, милый, — папа ведь...

Иван повернулся на спину и уставился на чуть золотящийся под потолком крендель люстры. Это была Валеркина комната, и он почему-то лежал на его кровати в брюках и пиджаке. Но главным было не это, а тот сон, который только что кончил ему сниться.

В этом сне он попал в какое-то странное место — в какую-то мрачноватую комнату со стрельчатыми окнами, бывшую когда-то, видимо, церковным помещением, а сейчас полную старых ободранных лыж с размокшими ботинками, от которых шел сырой тюремный дух. В узкой щели окна был виден кусочек серого неба и изредка мелькали поднимающиеся вверх клубы пара. Сам Иван сидел на крохотной скамеечке, а перед ним, на огромной куче старых ватников, спал старик с широкой бородой на груди — так во сне выглядел Копченов. Иван попытался встать — и понял, что не может сделать этого, потому что ноги Копченова лежат у него на плечах. И еще Иван понял, что умирает, и это связано не столько даже с ушибленной почкой, сколько с лежащими у него на плечах ногами. А наступить смерть должна была тогда, когда Копченов проснется.

Иван попытался осторожно снять со своих плеч копченовские ноги, и Копченов начал просыпаться — зашевелился, замычал, даже чуть приподнял руку. Иван в испуге притих. Старик захрапел опять, но спал он уже неспокойно, вертел во сне головой и мог, как казалось, проснуться в любую минуту. Иван очень не хотел умирать — в его жизни было что-то, ради чего имело смысл терпеть и кислую вонь этой комнаты, и копченовские ноги на плечах, и даже тяжелую мысль, словно висящую в воздухе вместе с запахом размокшей кожи,— о том, что ничего, кроме этой комнаты, в мире просто нет.

«Должен быть какой-то способ,— подумал

Никита Моисеев Угадать то новое, что приходит в нашу жизнь по мере ускорения темпов перемен, становится все труднее и труднее. Мне долгое время казалось, что наука и, в частности, информатика позволят создать инструмент, который даст нам возможность заглянуть за горизонт, увидеть поступь приближающихся столетий. Сейчас я боюсь, что это утопия, и глубина предвидения ограничивается, может быть, лишь несколькими десятилетиями. И то только тогда, когда речь идет не о частностях, а об общих тенденциях.

Иван,— выбраться. Обязательно должен быть». И тут он заметил, что на копченовских ногах надеты лыжи — их концы только чуть-чуть не доставали до пола. Тогда Иван вытащил из-под себя скамеечку и стал осторожно сгибаться, прижимаясь к полу. Концы лыж уперлись в пол, и Иван почувствовал, что может вылезти из-под копченовских ног. И как только он выбрался из-под них и сделал два шага в сторону, так сразу же перестала болеть ушибленная почка. А потом Иван понял, что он вообще никакой не Иван — но эта мысль его совершенно не опечалила. Главное, он уже твердо знал, что нужно делать. В стене напротив стрельчатого окна была маленькая дверца. Иван на цыпочках дошел до нее, открыл, протиснулся в тесную черноту и стал на ощупь продвигаться вперед. Его руки прошлись по каким-то пыльным рамам, стульям, велосипедному рулю — и нащупали новую дверь впереди. Иван перевел дух и толкнул ее.

Снаружи был жаркий солнечный день. Иван стоял в маленьком дворе, по которому расхаживали куры и петухи. Двор был обнесен корявым, но прочным забором, за которым были видны поднимающиеся вверх оранжевые каменистые склоны с торчащими кое-где синими домиками. Иван подошел к забору, схватился за его край и поднял над ним голову. Совсем недалеко, метрах в трехстах, был берег моря. И там ослепительно сверкал на солнце тонкий белый силуэт... Больше Иван ничего не запомнил.

— Оклемался?— спросил Валерка, входя в комнату.

— Вроде,— вставая, ответил Иван.— А что со мной было?

— Переутомился, маёк. Нас в музей этот повели, на четвертый этаж, а потом Копченов спустился, стал говорить, как ты тонущего ребенка от смерти спас — и хотел тебе от имени совкома альбом преподнести. Вот тут-то ты и грохнулся. Тебя сюда на совкомовской телеге привезли, прямо как короля. А альбом вот он.

Валерка протянул Ивану пудовую книжищу в глянцевой обложке. Иван с трудом удержал ее в руках. «Моя Албания» — было крупными буквами написано на обложке.

— Чего это?

— Картины,— ответил Валерка.— Да ты погляди, там интересные есть. Я тоже сначала думал, что одно гээмка, а посмотрел — ничего.

Иван открыл альбом и попал на большую, в разворот, репродукцию. Она изображала большое полено и лежащего на нем животом вниз голого толстого человека.

— В поисках внутреннего Буратино,— прочел Иван название.— Непонятно только, где он Буратино ищет — в бревне или в себе.

— По-моему,— ответил Валерка, — одномайственно.

Иван перевернул страницу и вдруг чуть не выронил альбом из рук. Он увидел — и сразу узнал — огороженный дворик с петухами и курами, забор, за которым по оранжевым горным склонам взбегали вверх синие домики с белыми андреевскими крестами на ставнях. В центре двора на растрескавшейся лавке сидел человек в сером военном френче с закатанными рукавами и играл на небольшом аккордеоне, открытый футляр от которого лежал рядом.

— Ожидание белой подводной лодки,— прочел Иван, подхватил альбом и отправился в свою комнату, даже не поглядев на Валерку.

Ключ лежал не как у всех, под половиком, а в кармане висящего на гвозде ватника. Иван понял, почему он оказался в комнате у Валерки,— видимо, те, кто привез его домой, не смогли отпереть дверь.

Все в его комнате было по-прежнему: на скатерти — пятно от селедки; громоздился маленький бутылочный кремль у двери шкафа и, изо всех сил стараясь казаться обнаженной, улыбалась фотографу голая баба у «Запорожца» на календаре. Иван повалился спать.

С той самой минуты, как он коснулся головой поролоновой подушки, ему снова начали сниться сны. Он стоял на какой-то невероятно высокой крыше и глядел вниз, на раскинувшийся далеко кругом ночной город, похожий на нагромождение гигантских кварцевых кристаллов, освещенных изнутри тысячами оттенков электрического света, и совершенно не боялся, что сейчас его схватят и куда-то поволокут (в Уран-Баторе самым высоким зданием был пятиэтажный совком, но и мечтать было нечего когда-нибудь поглядеть на город с его крыши). Потом он оказался внизу, на широкой и светлой улице, полной веселых и беззаботных людей, и даже не сразу сообразил, что дело происходит ночью, а светло вокруг от фонарей и витрин. В следующий момент он уже несся по висящей на тонких опорах дороге в тихо ревущей машине, и перед ним на приборной доске загорались синие, красные, оранжевые цифры и линии, а вокруг в несколько рядов шли машины, среди которых невозможно было найти и двух одинаковых. Потом он оказался за столиком в ресторане — вокруг сидели несколько человек в военной форме, которых он отлично знал, а на столе, между неправдоподобными стаканами и бутылками, лежало несколько пачек «Винстона».

— А-а-а,— завыл Иван, просыпаясь,— а-а-а-а...

Странный сон рассыпался и исчез — когда Иван открыл глаза, вокруг была знакомая комната, и за черным окном привычно тренькала гитара. У него осталось неясное воспоминание об испытанном потрясении, а в чем было дело, он не помнил совершенно. Но оставаться в кровати было страшно. Он встал и нервно заходил по крашеным доскам пола. Надо было чем-то себя занять.

«А не убраться ли в комнате?— подумал он.— Такое свинство, просто страшно делается... свинство... свинство,— повторил он несколько раз про се-

Карл Маркс
Фридрих Энгельс

Коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности.

бя, чувствуя, как от этого слова внутри что-то начинает подниматься,— свинство...»

Странное ощущение постепенно прошло.

Оглядевшись, он решил начать с бутылок. «Чего-то такое странное было,— вспомнил он, раскрывая окно и выглядывая вниз, в заваленный мусором двор,— насчет аккордеона...»

Во дворе было пусто — только в его дальнем конце, там, где были качели и песочница, дрожали сигаретные огоньки. Дети давно разошлись по домам, и можно было выкидывать мусор прямо вниз, на помойку, не боясь кого-нибудь изувечить. Иван швырнул несколько бутылок в окно, прошла примерно секунда, и тут снизу долетел немыслимый по своей пронзительности кошачий вой, которому немедленно ответило радостное улюлюканье со стороны качелей и песочницы.

— Давай, трудячь, в партком твою Коллонтай! — закричал оттуда пьяный голос Валерки — видно, успел спуститься. Захохотали какие-то бабы.— Всем котам первомай сделаем в три цэ-ка со свистом!

— Со свистом,— повторил Иван,— свинство... со свистом... винстон...

Он вдруг отшатнулся от окна и схватился руками за голову — ему показалось, что его плашмя ударили доской по лицу.

— Господи!— прошептал он.— Господи! Да как я забыть-то мог?

Он кинулся к шкафу, раскидал оставшиеся бутылки — они покатились по полу, несколько разбилось,— и распахнул косые дверцы. Внутри стоял ободранный футляр от аккордеона; Иван вытащил его из шкафа и перенес на кровать. Потом щелкнул замками, откинул крышку и положил ладони на шероховатую панель передатчика. Одна его ладонь поползла вправо, перешла в другое отделение и нащупала холодную рукоять пистолета, другая нашла пакет с деньгами и картами.

— Господи,— еще раз прошептал он,— а ведь все позабыл, все-все. Не долбани эта штука по спине, так ведь и сейчас с ними пил бы... И завтра...

Он встал и еще раз прошелся по комнате, ворошa волосы ладонью. Потом сел на место, пододвинул к себе раскрытый футляр и включил передатчик, который словно раскрыл на него два разноцветных глаза — зеленый и желтоватый.

IV

На следующее утро Ивана разбудила музыка. Проснувшись, он первым делом ощутил ужас от мысли, что все позабыл. Вскочив на ноги, он метнулся было к шкафу — и выдохнул, убедившись, что все помнит. Оказалась лишней сделанная карандашом на обоях контрольная надпись: **с самого утра — первым делом сыграть на аккордеоне.** Стало даже чуть смешно и стыдно своего вчерашнего страха.

Иван повернулся на спину, заложил руки за голову и уставился в потолок. Со стороны окна долетела еще одна волна неопределенно-духовой музыки, похожей на запах еды. К ней примешались густые и жирные голоса солистов, добавлявшие в мелодию что-то вроде навара. «Почему музыка-то?» — подумал Иван и вспомнил: сегодня праздник. День Бульдозериста. Демонстрация, пирожки с капустой и все такое прочее — может, и легче будет уходить из города в пьяной суете, по дороге на вокзал спев со всеми что-нибудь на прощание у бюста Бабаясина.

В дверь постучали.

— Иван!— крикнул Валерка из-за двери.— Встал, что ли?

Иван что-то громко промычал, постаравшись не вложить в это никакого смысла.

— Договорились,— отозвался Валерка и пробухал сапожищами по коридору. «На демонстрацию пошел»,— понял Иван, повернулся к стене и задумался, глядя на крохотные пупырчатые выступы на обоях.

Через некоторое время во дворе стихли веселые, праздничные звуки построения и переклички — стало совсем тихо, если не считать иногда залетавших в окно музыкальных волн. Иван поднялся с кровати, по военной привычке тщательно и быстро ее убрал и стал собираться. Одев праздничный ватник с белой нитрокрасочной надписью „Levi's" и дерматиновый колпачок „Adidas", он тщательно оглядел себя в зеркале. Все вроде бы было нормально, но на всякий случай Иван выпустил из-под шапочки-колпачка длинный льняной чуб и приклеил к подбородку синтетическую семечную лузгу, вынутую из аккордеонного футляра. «Теперь — в самый раз»,— подумал он, подхватил футляр и оглядел на прощание комнату. Шкаф, женщина с «Запорожцем», кровать, стол, пустые бутылки. Прощание оказалось несложным.

Внизу, у выхода на улицу, стоял Валерка. Прислонясь к стене, он курил; как и на Иване, на нем был праздничный ватник, только „Wrangler". Иван не ожидал его здесь встретить — даже вздрогнул.

— Чего,— добродушно спросил Валерка,— проспался?

— Ну,— ответил Иван.— А ты разве с колонной не ушел?

— Ты даешь, мир твоему миру. Сам же орал через дверь, чтоб я подождал. Совсем, что ли, плохой?

— Ладно, май с ним,— неопределенно сказал Иван.— Куда пойдем-то теперь?

— Куда, куда. К Петру. Посидим с нашими.

— Это ж через центр мирюжить,— сказал Иван,— мимо совкома.

— Пройдем, не впервой.

Иван вслед за Валеркой поплелся по пустой и унылой улице. Никого вокруг видно не было — только откуда-то издалека доносилась духовая музыка, к которой теперь добавились острые и особен-

Фред Эйдлин «Мыслепреступление» сегодня процветает в коммунистической Восточной Европе даже и среди членов «внутренней партии». Всякий, кому пришлось много путешествовать по этим странам в последние годы, очень хорошо знает, что даже до периода кризиса люди были вполне способны отличить положение вещей в реальном мире от видения мира, навязываемого им официальной идеологией. Дело обстоит так, что люди, на самом деле находящиеся

но неприятные удары тарелок, раньше отфильтровывавшиеся окном. Улица перетекла в другую; другая — в третью; музыка становилась все громче и, наконец, полностью вытеснила из ушей Ивана шарканье его и Валеркиных сапог об асфальт. После очередного угла стал виден затянутый красным помост, на котором стоял певец с неправдоподобно румяным лицом; он делал руками движения от груди к толпе и, несмотря на широко открытый рот, ухитрялся как-то удивленно улыбаться тому, что вот так запросто дарит свое искусство народу. Одновременно с тем, как он стал виден, долетели слова песни:

Стра-на моя! Сво-бод-ная!
Как бом-ба во-до-род-ная!

Тут певца скрыл новый угол, и музыка опять превратилась в мутное месиво из духовых и баритона. Впереди стал виден хвост идущей к центру города колонны, и Валерка с Иваном прибавили шага, чтобы догнать ее и пристроиться. Мимо проплыли хмурый Осьмаков с застиранным воротником плаща и улыбающаяся Алтынина с приколотым бантом. Они стояли в стороне от потока людей, в боковой улочке, возле лошадей, впряженных в огромный передвижной стенд наглядной агитации в виде бульдозера.

Вскоре вышли на площадь перед совкомом. Памятник Санделю, Мундинделю и Бабаясину был украшен тяжелыми от дождя бумажными орхидеями, а на острие высоко вознесенной над головой бронзового Бабаясина сабли был насажен маленький подшипник с крючками на внешнем кольце; от этих крючков вниз тянулись праздничные красные ленты. Их сжимали в своих левых кистях человек двадцать членов городского актива — все они были в одинаковых коричневых плащах из клеенки и блестящих от капель шляпах, и ходили по кругу, снова и снова огибая памятник, так что сверху, будь оттуда кому посмотреть, увиделось бы что-то вроде красно-коричневой зубчатой шестерни, медленно вращающейся в самом центре площади. Остальные живые шестерни, образованные взявшимися за руки людьми, приводились в движение главной, а зубчатую передачу символизировало крепкое праздничное рукопожатие.

Иван и Валерка переминались с ноги на ногу, ожидая, когда их колонна вытянется в длинную петлю, чтобы пронестись мимо центральной шестерни. Ждать пришлось долго — руководство с утра здорово устало и крутилось теперь значительно медленнее.

— Валер,— спросил Иван,— а чего в этот раз все как-то по-другому?

— Радио, что ли, не слушал? Коробку передач усовершенствовали. Новая модель бульдозера теперь будет.

Валерка с опасением потер пальцем белые буквы на ватнике — не расплываются ли. Такие случаи бывали. Наконец народу впереди осталось совсем мало, и Иван с Валеркой, взявшись за руки и сцепившись с соседями, прошмыгнули между двух ментов и понеслись к центру площади.

Рукопожатие прошло как-то незаметно, если не считать того, что Иван не догадался перекинуть футляр из правой руки в левую сразу — из-за этого он чуть замешкался перед памятником, но все же успел. Руку пожал редактору «Красного полураспада» полковнику Кожеурову, а Валерке достался мокрый черный протез совкомовского завкультурой, который, по примете, приносил несчастье. От этого Валерка расстроился, и когда площадь Санделя осталась позади и народ вокруг опять споро собрался в колонну, он обернулся назад и погрозил кулаком уплывающему серому фасаду с огромными красными словами МИР, ТРУД, МАЙ.

Ватник Ивана сильно пропитался водой и отяжелел. Но идти до Петра оставалось недолго. Милиции вокруг становилось все меньше, а пьяных все больше, но казалось, что происходит просто внешнее изменение некоего присутствия, общее количество которого остается прежним. Наконец, вокруг оказались крытые толем парники проспекта Бабаясина, и Иван с Валеркой, доплыв вместе с толпой до знакомого дома, вышли из колонны и пошли наперерез движению, не обращая внимания на свист и маюги распорядителя. Быстро добрались до знакомого подъезда и поднялись на третий этаж; уже на лестничной клетке возле двери в общежитие, где проживал Петр, запахло спиртным, и Валерка, совершенно забыв зловещую встречу на площади, заулыбался и пихнул Ивана в плечо. Иван как-то неестественно улыбнулся. Общежитие сотрясала музыка.

Петр открыл дверь и высунул в проем свою небольшую голову — как всегда, показалось, что он стоит с той стороны дверей на скамеечке.

— Привет,— без выражения сказал он.

— Ну и гремит,— заходя в коридор, сказал Валерка,— кто это так трудячит?

— «Ласковый май»,— ответил Петр, уходя по коридору.

Петрова комната отличалась от Ива́новой расположением кровати и шкафа, количеством бутылок на полу и календарем на стене — здесь голая баба (другая), улыбаясь, протягивала в комнату стакан мандаринового сока,— ее выкрашенные зеленым лаком ногти показались Ивану упавшими в стакан и потонувшими в нем мухами.

Иван сел на кровать, взял с тумбочки журнал и открыл наугад — на него глянул какой-то старый мушкетер в берете. Между Валеркой и Петром завязался односложный разговор, из которого Иван выцеживал вполуха только редкое Валеркино красное словцо.

«В коммунизме есть здоровое, верное и вполне согласное с христианством понимание жизни каждо-

во власти официального
языка, воспринимаются
всеми
как простодушные
и глуповатые.
Поразительно, что несмотря
на то, что прошло
уже сорок лет
со времени
написания «1984», не возникло
никаких заслуживающих
упоминания
коммуникационных
барьеров между людьми,
живущими в странах
Восточной Европы,
и людьми
в западных демократиях.

го человека,—писал мушкетер,—как служения сверхличной цели, как служения не себе, а великому целому».

Эти слова как-то очень гладко проскользнули в голову, настолько гладко, что совершенно неясен остался их смысл. Иван начал вдумываться в них, и вдруг в комнате стало темнее, и сразу стих разговор за столом.

Иван поднял глаза. Мимо окна проплывал огромный снаряд наглядной агитации — плоский фанерный бульдозер алого цвета, со старательно прорисованными зубьями открытого мотора. Поражали в нем и величина, и то, что весь он был выполнен из цельного куска фанеры, специально для этой цели выпущенного местной фабрикой. Но было и какое-то странное несоответствие, которое Иван заметил еще на демонстрации, когда проходил мимо стоящего в боковой улочке снаряда и вглядывался в зеленые магниевые колеса, на которых тот стоял,— это, кажется, было шасси тяжелого бомбардировщика Ту-720. Тогда он не понял, в чем дело, а сейчас — видно, из-за того, что в окне была видна только верхняя часть агитационной громадины, — догадался: кабина бульдозера была абсолютно пустой. Не было даже нарисованных стекол — вместо них зияли просто две пропиленных квадратных дыры, сквозь которые сквозило разбухшее серое небо.

Бульдозер проплыл мимо, и Иван, кивая головой набегающим мыслям, погрузился в журнал, дожидаясь, когда все напьются до такой степени, что можно будет незаметно уйти. Статья увлекла его.

— Какого молота ты там высерпить хочешь?

Иван поднял глаза. Валерка и Петр напряженно глядели на него. Тут он вдруг понял, что уже минут пять в комнате стоит полная тишина, и отложил журнал.

— Да тут интересно очень,—сказал он, на всякий случай поднося руку к карману, где лежал пистолет.—Философ Бердяев.

— И чего же?—странно улыбаясь, спросил Петр.—Чего пишет?

— Есть у него одна мысль ничего. О том, что психический мир коммуниста резко делится на царство света и царство тьмы — лагери Ормузда и Аримана. Это в общем манихейский дуализм, пользующийся монистической до...

Удара табуреткой в лицо Иван даже не почувствовал — догадался, что получил именно табуреткой, когда увидел с пола, как Петр с этим инструментом в руке делает к нему медленный шаг. Сзади Петра так же медленно пытался остановить Валерка — и успел. Иван потряс головой и вытащил из кармана пистолет. В следующий момент в него попала табуретка, метко пущенная Петром, пистолет отлетел в угол, тихонько хлопнул, и на потолке появилась заметная выщербина. На пол посыпалась штукатурка.

— Под блатного косит, ударник,—сказал растерявшемуся Валерке Петр, нагибаясь за пистолетом. — Я полтора года сидел, музыку эту знаю. Сейчас,—повернулся он к Ивану,—будет тебе эпифеномен дегуманизации. Аккордеоном по трудильнику.

Он потянулся к футляру.

V

— Смотря на какую зарплату,—говорил Иван, прижимая к углу рта скомканный носовой платок,— и смотря какую машину. Зря вы думаете, что у вас тут царство тьмы, а у нас — царство света. У нас тоже... Негры всякие бездомные... Спид разносят...

Ничего, кроме каких-то обрывков из телепередачи «Камера смотрит в мир», Ивану не вспомнилось, но этого было достаточно. Валерка с Петром слушали открыв рты — и Ивану даже не хотелось вставать из-за стола. Но было уже пора.

— Ты им скажи там,—говорил Валерка, пока Иван одевал ватник,—что мы люди незлые. Тоже хотим, чтоб над головой всегда было мирное небо. Хотим спокойно себе трудиться, растить детей... Ладно?

— Ладно,—отвечал Иван, пряча пистолет в футляр с рацией и аккуратно защелкивая никелированные замки,—обязательно скажу.

— И еще скажи,—говорил Петр, идя с ним по коридору с одинаковыми резиновыми половиками перед каждой дверью,—что наш главный секрет — не в бомбах и самолетах, а в нас самих.

— Скажу,—обещал Иван,—это я понял.

— Возьми журнал,—сказал Петр в дверях,—в дороге почитаешь.

Иван взял. Потом обнялся на прощанье с Петром и притихшим Валеркой и, не оборачиваясь, вышел на лестницу. За ним щелкнула дверь. Он спустился вниз, вышел на темную улицу и глубоко вдохнул воздух, пахнущий мазутом и сырыми досками. В небе ало сверкнуло — Иван шарахнулся было к подъезду («Неужто?» — мелькнула мысль), но сообразил, что это салют.

— Ур-а-а-а!—нестройно закричали на улице.—Ур-а-а-а!

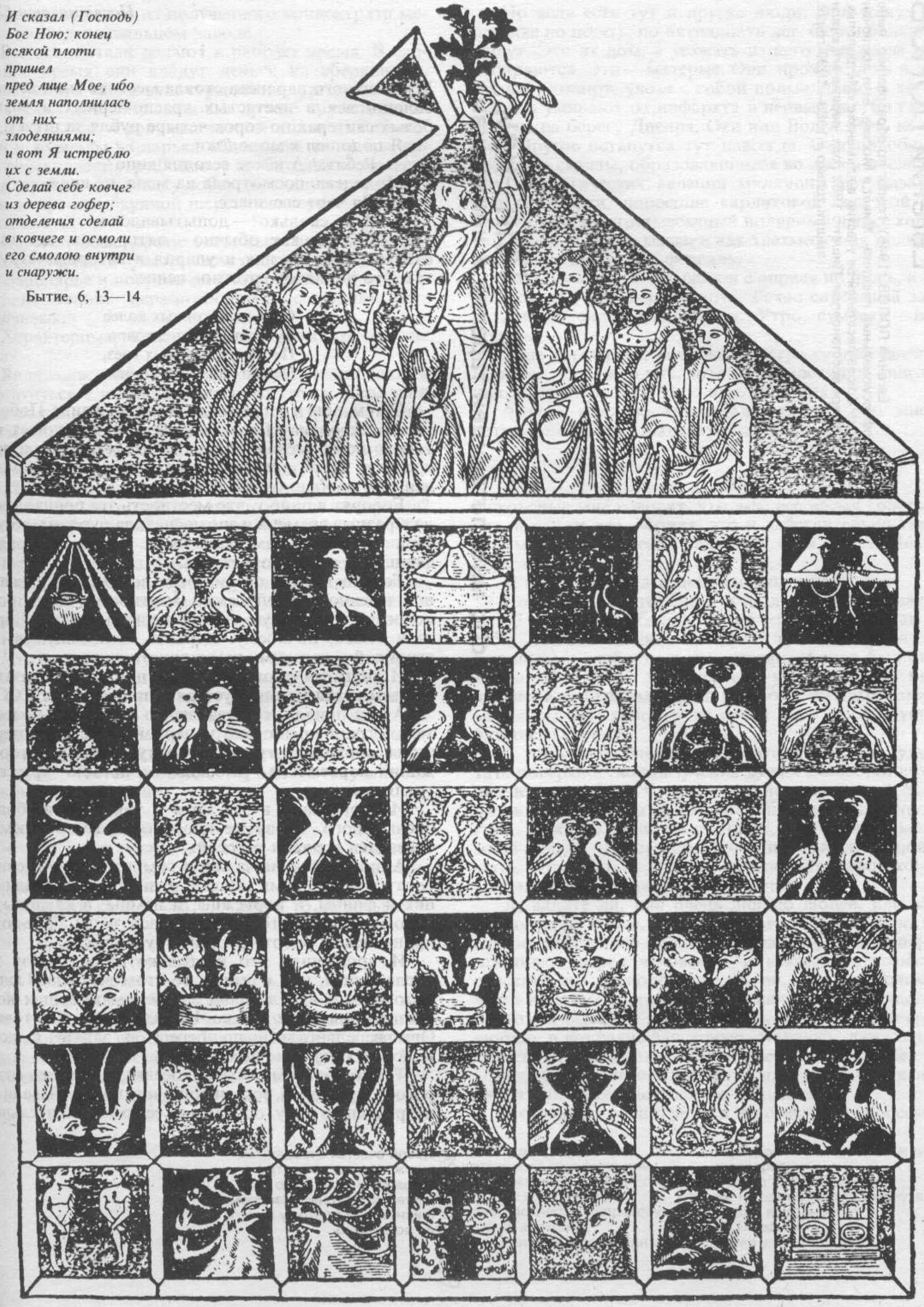
— Ура-а-а!—закричал Иван.

В небе разорвалась новая пачка ракет, и все опять осветилось — желтые заборы, желтые трехэтажки, желтые полосы не то дыма, не то тумана в близком косматом небе. Издалека-издалека долетел тревожный и протяжный механический вой — словно напоминало о себе что-то огромное и ржавомасляное, требуя внимания от людей, а может быть — просто поздравляя их с праздником. Потом все стало зеленым.

Иван зашагал к вокзалу.

И сказал (Господь) Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи.

Бытие, 6, 13—14



Евгений ПОПОВ

Евгений ПОПОВ (1946), геолог по образованию, ныне профессиональный писатель. Живет в Москве. Был исключен из Союза писателей за участие в альманахе «Метрополь», теперь восстановлен. Пишет с 1962 года, первые его книги вышли только в 1989—1990 годах.

Или—или...

обо мне, летающей тарелке и коммунизме

Посвящается С.К.

1

У гранитного парапета стояла местная молодежь — сплошь вся в цветастых красно-черных и черно-белых свитерах по сорок четыре рубля за штуку.

Я подошел к молодежи.

— Ребята! А какое сегодня кино?

Молодежь посмотрела на меня, не видя.

— Да черт его знает.

— А во сколько?— допытывался я.

— Сеансы как обычно — пять, семь, девять,— ответил один из них и ударил в гитарные струны так, что полилось грустное пение:

Стук монотонных колес
Будет нам петь до зари
Песню утраченных грез,
Песню надежд и любви.

С тем они и удалились. Вниз по улице Победы мимо ресторана «Полярная звезда», из окошек которого по временам доносятся томительные и прекрасные звуки аргентинского танго, взрываемого изнутри дробью барабанов.

Говорят и пишут, что местность эта принадлежала в разные времена и эпохи сначала русским, потом финнам, норвежцам, канадцам, немцам, и опять финнам, и опять норвежцам.

Только потом, сразу после войны, обнаружили вот именно в этой самой местности, на острове посреди озера, белую старую церковь святых, Бориса и Глеба, по-моему. Церковь, относящуюся постройкой к далекому шестнадцатому веку.

И лишь тогда окончательно поняли и доказали, что земля эта искони русская и принадлежит СССР.

А раз поняли и доказали, то перенесли полосатый пограничный столб за церковь, и там, по озеру, стала проходить граница, по ту сторону которой жили норвежские рыбаки, а по сю — русские трудящиеся.

Их понаехало в эти края и так и по вербовке очень много. Сразу же после того, как эта земля оказалась все-таки русской.

А причина заключалась в том, что здесь имелись богатые в то время медные рудники. И черпали из них и финны, и норвежцы, и немцы, и канадцы, а потом эта территория оказалась наша. Тут-то и принялись за работу русские трудящиеся.

И произошло это настолько давно, сразу же после войны, что я сейчас об этом вспомнил лишь потому, что видел вдали за озером живущих норвежцев. Они были далеко. Их было двое. Две точки. Они передвигались по берегу и зашли в дом. И потом оттуда не выходили.

Таким образом, жители поселка, молодежь которого я спрашивал, есть ли кино и какое, добывали из недр медную руду, обогащали ее на обогатительной

Сёрен Кьеркегор

Двери счастья отворяются,
к сожалению, не внутрь —
тогда их можно было бы
растворить бурным напором,—
а изнутри, и поэтому ничего
не поделаешь.

фабрике и плавили из полученного концентрата металл на медеплавильном заводе.

Все это жители делают в рабочее время. В свободное время они кладут деньги на сберкнижку, ходят в клуб «Дом культуры металлурга», посещают кружок коллекционеров и другие кружки, катаются на лыжах и коньках, читают книги из библиотеки и журналы из ларька «Союзпечать», устраивают соревнования рыболовов-любителей и хоккеистов, проводят выводку собак, празднуют праздники и вяжут из покупной шерсти свитера, варежки и шапки.

Неустойчивые, кроме того, пьют запоем, но они не характерны и быстро исчезают из поселка, так как Заполярье и пограничная зона не терпят тунеядцев, не терпят неработающих, не терпят неустойчивых.

Характерные, конечно, тоже уезжают, но не сразу.

Видите ли, здесь имеется неплохая возможность обогатиться с помощью честного труда. Довольно большая заработная плата, премии из фонда материального поощрения и плюс к тому каждые полгода надбавка к основной зарплате 10%. Называется «полярка». Надбавка через полгода идет до трех лет. То есть через три года человек получает на 60% больше, чем он получал раньше. Неплохо, правда? А потом через год надбавка по 10%. И так до 80%. Неплохо ведь, а?

Очень многие, выработав свои «полярки», уезжают «на материк»: на Украину или в Подмосковье, где покупают личные квартиры, личные машины и заканчивают личное воспитание повзрослевших детей.

Что ж, верный путь к счастью. Правильно поступают эти люди, и они будут жить хорошо.

Только скучно в поселке по вечерам и немного страшно, когда по единственной улице туда-сюда снуют люди, вырабатывающие «полярку» и не знающие, чем им заниматься по вечерам ближайшие три года. Часты разводы. Я одного случайного знакомого спрашиваю:

— Ты женат?

— Да как тебе сказать,— отвечает.

— Вот так и скажи,— говорю,— женат или нет.

— Я подженился,— отвечает он.— Я сам из Питера, а тут подженился.

— Значит, если уезжать будешь, то не возьмешь ее с собой?

— Ни за что. Что ты!

— Как зовут-то хоть?

— Нэлка,— отвечает.— Нинель.

Вот какие дела. Или еще — от забойщиков жены по ночам бегали к крепильщику Ваньке. Потому что забойщики работали на вибробурах и ничего не могли. Жены бегали, а забойщики плакали. Некоторых вылечили, а крепильщик Ванька уволился и смылся. Впрочем, может быть, все это — сказки.

Но ведь есть тут и другие люди. Они живут в поселке по десять, по пятнадцать лет. Они и бо́льше живут. Это их дом, и уезжать из него они вроде не собираются. Эти — матерые. Они, прожив здесь всю жизнь, уезжают, увозя с собой полмиллиона в кармане, и умирают от инфаркта в первый же год где-нибудь на берегу Днепра, Оки или Волги. Речь не о них. Другие останутся тут навсегда. Они подобны здешним скалам, образовавшимся во время последних магматических явлений миллионы лет назад; они как сопки, поросшие карликовой березкой и сосной, они как трехмесячный полярный день с конца апреля по июнь месяц и как трехмесячная полярная ночь с ноября по февраль.

Да. С ноября по февраль и с апреля по июнь, а в промежутке — ночная слякоть. Вечно сиреневый закат, вечно сиреневый восход. Утро, сумерки — не понять.

И не о тех речь, которые, быстро скопив денег, уезжают. Нет, не о них, хотя и они достойны описания и изучения. Нет. Не о них. Не о них.

А речь и слово здесь далее пойдет обо мне, летающей тарелке и коммунизме.

2

Некоторые мне говорят, что я-де все время говорю «я», и «я», и «я». Может, это и действительно так, что меня более всего занимает своя собственная персона.

И может быть, это действительно нехорошо.

Но с другой стороны — кто лучше меня знает меня? И если бы каждый изучал себя и изучил, как я себя, то все люди всё знали бы о себе, а в основном — слабости и недостатки. И мир был бы хорош. А об их достоинствах им сообщили бы другие. Как был бы хорош мир, если каждый занимался бы сам собой и не совал свой нос в душу ближнего своего!

А так мир не очень хорош, потому что в результате поверхностного изучения чужих слабостей возникают сплетни и человеческая неврастения. А это очень нехорошо и тормозит общественный прогресс. Так что, если вы считаете, что занятия мои мной самим — нехороши, то извините меня. Но поймите, что ведь и я хочу называться человеком. Поймите и не откажите мне в моем.

Я, видите ли, или очень люблю людей, или же равнодушен к ним, как только могу. Или — или. В случае, если я кого полюбил и уважаю, то невольно заискиваю перед человеком и всячески стараюсь снискать его расположение. А он, между прочим, часто не стоит этого. Он часто ничтожен, как часто ничтожен бываю я и бываете вы. А я все равно его люблю, и все равно заискиваю, стараюсь, даже если отчетливо понимаю: «Он, наверное, ничтожен». Очевидно, что он если и ничтожен, то лишь объективно, а для меня имеет какую-то ценность.

В случае же равнодушия к человеку — груб я сам,

Алексей Хомяков

Ничего доброго, ничего достойного уважения или подражания не было в России. Везде и всегда были безграмотность, неправосудие, разбой, крамолы, личности угнетение, бедность, неустройство, непросвещение и разврат. Взгляд не остановится ни на одной светлой минуте в жизни народной, ни на одной эпохе утешительной.

не знаю почему и зачем. Груб. Хам. Не замечаю его и не включаю в свою жизнь. И совершенно это точно, и мной проверено, что поступаю я зря, так как именно от этого человека большей частью зависит моя жизнь и мое пропитание, тот, так сказать, кусок хлебца с маслом, который я кушаю.

С начальниками. Я часто ругаюсь с начальниками, если они не нравятся мне. А это — зря. Начальников не исправишь, меня — тоже. Так что конфликты зря. А я уже поменял после института три работы.

Но я не склочник. Я ругаюсь только по поводу выполнения работ. Впрочем, я вас, кажется, невольно ложно информирую. Я сказал, что сменил три работы, а вы подумали, что из-за начальников.

Нет. Не из-за начальников. Те меня все равно любят, потому что я тих и вежлив, а грублю и ругаюсь только иногда, редко. И это все равно ничего не меняет. А что касается работы, то я ее менял просто так.

Интересный народ начальники. Ведь если он начальник, то он должен быть умней меня. Ведь верно? А он иной раз дубина. А как же он тогда стал начальником? Стал. А почему? Не знаю. Впрочем, видимо, знаю, но не могу высказать связно. Да и никто не может. Может социолог, но он даст и гипотезу, во-первых, и частность, во-вторых. Социолог имеет теорию, и социолог будет не прав. А я если еще хоть чуток буду говорить про это, то окончательно буду не прав и, кроме того, все окончательно запутаю.

Поэтому говорю честно. Все вышесказанное про меня почти не имеет отношения к нижесказанному. А может быть, и имеет. Черт его знает.

3

В воскресенье я гулял по поселку. Делать было нечего. Воскресенье. Я гулял.

Я приехал в поселок по командировке: внедрять на руднике мероприятия по материальному стимулированию рабочих за металл.

Приехал я с начальницей. Начальница моя довольно мерзкая личность. Я к ней равнодушен. Мерзкая, сорока с лишним лет, хорошащаяся (тоже слово плохое, но верное), толстая, хватающая, рвущая, достающая, посылающая посылки, скупающая мебель, жрущая. Щая и щая без конца. Противная, честное слово. И конечно же, это мое субъективное мнение, и, может, я не прав. Хотя и многие другие характеризовали ее как личность невыносимую.

Внедрение мероприятий у нас шло хорошо. «У нас». Баба, приехав, села мне с ходу на шею и поехала к цели — выполнению намеченных нашим НИИ работ. Баба занялась выколачиванием из местного магазина рижского спального гарнитура, столового сервиза и получением контейнера для перевозки мебели.

У меня же других занятий не имелось никаких, забот и привязанностей тоже, поэтому я весь отдался работе. О, стихия работы!

И работа шла бы хорошо, если бы она, сидя у меня на шее, не ерзала и занималась только своим. Доставала бы себе свой гарнитур. Так нет! В свободное от гарнитура время она мешала мне, разрушая с трудом мной налаженное, и требовала разъяснений по совершенно ясным вопросам. Стерва! Как я ненавидел ее в те минуты, когда она, закатив карие глазки и сделав тревожное лицо, говорила: «А теперь объясните мне, почему вы сделали так-то и так-то. Это — неверно. По-видимому, мы сделаем все по-другому», — говорила она. Но сделать ничего не могла, так как не умела. И она знала это, и знал это я. Ненавидел я ее. Вернее, был равнодушен. Да, равнодушен. Я равнодушно ругался с ней по делу, равнодушно трясся от злобы, выслушивая ту чушь и дичь, которую она несла, равнодушно пил таблетки из ГДР — мепробамат, чтобы успокоиться, и равнодушно беседовал с ней о том и о сем. В частности, даже и о мебели, когда она после стычки первая заговаривала со мной. Первая? Да, первая, потому что я был нужен ей, ибо кто бы тогда вел работу? Она, что ли? Нет. Она была занята, и я был ей несомненно нужен, и это ничуть не странно.

Так вот. В воскресенье я гулял по поселку. В субботу мы с начальницей немного повздорили, но и это, как и сама начальница, тоже почти не имеет отношения к рассказываемому.

В воскресенье я гулял по поселку. У меня пообоврвалось пальто, и я присматривался к встречным. Я хотел увидеть какое-нибудь хорошее и купить такое же, если оно не очень дорогое.

Воскресенье. Апрель месяц. Светило во весь небосвод круглое заполярное солнце, и по улице Победы вниз текли весенние ручьи. Но — холодно. Было холодно так: течет ручей, и в нем мокнет подошва ботинка, а потом ступаешь по асфальту, и подошва примерзает. Особенно в тени. Все-таки Заполярье, все-таки холод, все-таки не зря 10% полярных надбавок через каждые полгода и отпуск длиною в два месяца. Холодно, а ты возьми отпуск и поезжай в Крым, ты в Одессу поезжай, загорай, набирайся сил, трудящийся, для достижения новых трудовых успехов! Воскресенье. Апрельское утро.

И жители занимались в это весеннее апрельское утро своими личными делами. Как и я.

Я подошел к ребятам, игравшим на гитарах, и спросил, какое в клубе «Дом культуры металлурга» идет сегодня кино.

— Да черт его знает, — сказали ребята, — наверняка какая-нибудь лажа.

— А сеанс во сколько? — допытывался я.

— В пять, семь и девять. А вообще-то есть еще и в час. Ты иди, иди, — объяснили они и зашагали вниз, напевая:

Гете

Мы сообщили твой приказ,
Они не стали слушать нас.
Мы не жалели просьб, угроз,
Но не был разрешен вопрос.
Конец желая положить,
Мы стали вещи выносить.
Тогда их охватил испуг,
И оба испустили дух.
А гость, который был там скрыт,
Сопротивлялся и убит.

Поезд устал тебя ждать.
Ты не пришла провожать.
С детства знакомый перрон.
Только тебя нет на нем.

И я пошел. Тоже вниз. Медленно ступая и по ручью и по асфальту.

4

Светило во весь небосвод солнце. И было тепло. И шли, туда и сюда шли отдыхающие трудящиеся. А в одном доме из раскрытого окна вдруг грянуло «Дорогой длинною, да ночью лунною». Хорошая музыка. И из этого же окна выглядывали какие-то лукавые девочки. Я был равнодушен, но остановился и стал слушать музыку, потому что она мне нравилась. А девочки истолковали это, конечно, по-своему. Они захихикали, и в окне появилась усатая физиономия, посмотревшая на меня неодобрительно. И я тогда пошел дальше.

А тек ручей сверху вниз, и шли туда и сюда трудящиеся. И на углу, около кафе «Северянка», продавали с лотка какие-то печеные вкусные вещи, и кто-то что-то говорил, и кто-то что-то отвечал, и все это смахивало на какое-то неорганизованное представление. Со своей музыкой, со своим ритмом, со своим световым и художественным оформлением.

Тут мне повстречалась начальница. Она шла навстречу и несла что-то из ширпотреба, завернутое в оберточную бумагу. Она не сказала, что это у ней завернуто в оберточную бумагу. Она сказала, что только что обедала в кафе «Северянка».

— Там так хорошо! На первое дают бульон с курицей. Вы можете его поесть. Правда, там перчику много, — заметила начальница, устроившаяся на моей шее.

— Спасибо. Спасибо,— поблагодарил я.

И стал с некоторым удовольствием с ней говорить, потому что спешить я не спешил, а находиться на свежем солнечном воздухе приятно, даже если ты беседуешь с начальницей.

Мы не виделись со вчерашнего дня. Она сказала, что вчера весь вечер работала. Что она делала — она не сказала. И что завтра она будет звонить в Москву руководству. Скажет, что опытное внедрение системы идет успешно, и мы с ней справляемся с объемом работ.

— Ведь верно? — Она заглядывала мне в глаза.

— Верно,— ответил я.

Начальница еще больше оживилась, и я услышал, как вчера она собиралась ложиться спать в первом часу ночи, но к ней в номер зашла особа, живущая напротив.

— Она попросила у меня что-нибудь почитать. Я ей дала. А она не уходит. Я предложила ей присесть. И она села. Она сидела у меня до двух часов. Жуткая особа. Она плела мне, плела. По-моему, она без опеределенных занятий.

Жуткая особа представилась ей как работающая по снабжению. Начальница поинтересовалась, что та может достать из ширпотреба. Та сказала, что ничего. И захохотала. Начальница удивилась, а жуткая особа стала жаловаться:

— У нас в снабжении! Я в бухгалтерии работаю. У нас за окном часто что-нибудь дают. А нам даже и не скажут. Бессовестные. Но вы не думайте, все, что на мне, куплено не в магазине,— объявила особа. И опять захохотала.

— И мне стало подозрительно, Утробин, — докладывала начальница. — Сидит, болтает, хохочет, а потом и говорит, что если у вас денег с собой много, то вы их берегите. Что-нибудь, дескать, все равно купите. Какое дело ей до моих денег?

— Странная дама, — поддерживал я разговор. — На вашем месте я бы обязательно навел справки, уважаемая Альбина Игнатьевна.

— А я навела, — обрадовалась начальница. — Она мне сказала, что приехала в командировку. На один день. А живет уже четыре. А дежурной она сказала, что хочет работать здесь юрисконсультом. Та ей: «Вы идите на рудник, вас там возьмут». А та ей: «Рудник стоит на горе, а мне неохота в гору подниматься». Представляешь? Только где же здесь еще работать, если не на руднике?

Начальница стала мне надоедать. Ей сорок с лишним. Она белокура, расплылась, сюсюкает, подхалимничает, всякую чушь несет. Не люблю я ее.

— И что несомненно самое главное, — она приблизила ко мне возбужденное лицо, — эта женщина мне говорит: «А вы почему сейчас ЗДЕСЬ?» — «А где же мне быть ночью?» — отвечаю. А она: «В поселке полным-полно денежных мужчин». И это мне. Ха-ха-ха. Это мне.

И начальница захохотала, как дитя, а я хотел уйти, подумав: «А почему бы и нет». Но начальница продолжала:

— И та особа пояснила, что шла ночью. И ее остановил молодой человек. Он сказал: «Идемте ко мне на квартиру». И вынул бумажник и показал ей сто рублей. А? Как вам это нравится?

— Да уж какая тут ночь. Одно названье ночь. Заполярье. Ночь — день. День — ночь. Не разберешь, — невпопад заметил я.

— Все равно. А она отказалась и пошла в гостиницу. Так вот, Утробин, — начальница сделала паузу, — она НЕ ОТКАЗАЛАСЬ. Иначе откуда бы у ней взялись деньги, а ведь она живет сейчас в одноместном номере. Напротив моей комнаты одноместный номер. Я все проверила.

— Держитесь от нее подальше, — советовал я. — Наведите справки.

— Я навела. Как она от меня вышла, я пошла к дежурной и пересказала ей наш разговор. И дежурная велела, чтоб я ее, особу, не слушала, потому что она — пьяная. «У нас пограничная зона. У нас норвежцы бывают. Мы ее скоро выставим. Мы таких особ не держим», — пообещала дежурная.

Вл. Соловьев

Степень подчинения лица обществу должна соответствовать степени подчинения самого общества нравственному добру, без чего общественная среда никаких прав на единичного человека не имеет...

И я пошла назад к себе и заглянула к ней в замочную скважину. И у ней было темно. Она спала. Книга была не что иное, как ПРЕДЛОГ. Она СПАЛА. Но зачем же она ЗАХОДИЛА, — так закончила начальница свой рассказ, и я поскорей распрощался с ней и дал ей советы, как жить и существовать в безопасности.

5

Я дошел до Дома культуры. Вниз по улице Победы. Взял билет на пять часов. Фильм «Девушка без адреса». Я его потом посмотрел. Это плохой фильм. Но я против этого фильма ничего не имею и, пожалуй, даже люблю его, потому что видел его 1000 раз и привык к нему, как привыкают к старым разношенным шлепанцам. «Девушку без адреса» почему-то любят крутить в маленьких северных поселках, где я часто бываю.

Но эта самая «девушка» не имеет отношения к моему рассказу. К моему рассказу имеют отношение только я, летающая тарелка и коммунизм, почему и рассказываю дальше.

На площади около ДК шумели и веселились. Там имел быть вывод собак-лаек.

— Ты видела, там вывод собак, — сказала одна девушка другой в очереди за билетами на фильм «Девушка без адреса».

— Дворняжек? — спросила другая девушка.

— Лаек, лаек. Ха-ха. Тоже мне — лайки. Вывод лаек! — сказала первая девушка, захохотав.

— Вот так лайки! — хохотали они обе.

И я тогда не пошел близко смотреть выводку собак, тем более что я и так все хорошо видел, стоя на мраморном крыльце ДК и подпирая плечом колонну.

Лайки оказались действительно не лайки. Люди удивлялись им, что они подпрыгивают и грызутся. Там еще сидел какой-то человек, за вынесенным из ДК столом. Равнодушно сидел.

А на широченных мраморных ступенях дети поселка играли в классы. В поселке чрезвычайно много детей. Их воспитывают. Дети же очень любят играть в классы на мраморных ступенях ДК.

Расчертили и играют. Мальчики и девочки.

Один мальчик смошенничал. У него камушек, который он пинал, попал на меловую черту в надпись «Огонь», а он его подвинул свободной ногой. Которые дети заметили, так те закричали: «Огонь! Огонь! Сгорел! Сгорел!»

Мальчик важно отвечал.

— Нет, — отвечал мальчик. — Я не сгорел.

Тогда дети закричали:

— А, хлюздишь! Хлюздишь! Ты — хлюзда-мнузда!

«Хлюзда-мнузда» не вынес оскорбления и вышел из игры. Тут подвернулась какая-то женщина и тревожно спросила:

— Сережа, а где наша Лена?

— Сколько раз отвечать, что заходил Павел и они уехали на мотоцикле! — заорал Сережа.

— Ага. Ну, играй, играй. Ох, беда, беда, — сказала мать и тихо ушла.

А Сережа был в резиновых сапожках, в свалявшемся шерстяном костюмчике и нейлоновой курточке. Вышедши из игры, он тотчас подозвал какую-то собаку из свободных и стал дразнить ее и пинать сапогом в морду. Собака зарычала и ухватила озорника за штаны. Но она любила его, и он ее тоже, и они упали на мраморные ступени и стали по ним кататься, создавая безобразие. Потом собака надоела мальчику, он крепко пнул ее напоследок и стал проситься обратно в классы.

Старшие — с лайками. Младшие — в классы. А что же делают самые маленькие?

А самые маленькие еще ничего не понимали ни в классах, ни в собаках, ни в фильме «Девушка без адреса». Они либо смирно лежали в своих колясках, либо нетвердо стояли на земле, поддерживаемые своими мамашами. И с вежливой улыбкой смотрели на непонятный для них мир.

Я вот тоже: смотрел, смотрел и, заскучав, очень ждал скорейшего начала киносеанса. Для развлечения я разглядывал у людей пальто, желая, если вы помните, купить себе подобное аналогичное за дешевую цену. Всякие я видел пальто, и некоторые мне даже настолько нравились, что я согласился бы купить их за дешевую цену. Но не об этом. Не об этом. Я не об этом, я о себе, летающей тарелке и коммунизме. Я начинаю волноваться, хотя, как вы заметили, я весь день был равнодушен, и ничто не трогало мое сердце.

Потому что тут вдруг я увидел ИХ. И заныло, и я сразу полюбил ИХ горькой, но, конечно же, безответной любовью. Они выделялись. Он — здоровенный. Лось. А она маленькая, в широких брюках по моде, в каком-то пальтеце таком.

Это ведь я их выделил, а так они совершенно ничем не отличались от остальных. Я специально смотрел, не выделяет ли их и еще кто-нибудь, но нет — все спокойно приняли их появление, их проход через собачников, через детей с играми, через меня. К кассам ДК.

Я поплелся за ними. Они были равнодушны. Они тихо переговаривались.

Он из матерых, что ли? Здоровый мужик. Заполярный волк. А она или дочь его, или юная жена.

Они подошли к кассам ДК. А я за ними. Куда я денусь? Я их полюбил.

— Ты хочешь смотреть? — спросил он.

— Эту-то глупость, — сказала она.

— Может, посмотрим? — сказал он.

— Смотри, как хочешь, — ответила она.

— Мне один черт.

— Да, а там Гарин играет.

— Давай я на самое поздно возьму все-таки, — предложил он.

— Бери.

Фридрих Ницше Людей, замышляющих общественный переворот, следует разделять на таких, которые хотят достигнуть этим чего-либо для себя самих, и на таких, которые имеют при этом в виду своих детей и внуков. Последние опаснее всего: ибо им присуща вера и спокойная совесть бескорыстных людей.[...] Опасность начинается, когда цели

И он пошел, а она занялась своей сумочкой. Я подпирал колонну. Она посмотрела по сторонам. Посмотрела и на меня. Но никого и ничего не увидела.

Возвратился лось. И был уж с билетами.

— Ну, пошли, — сказал он.

— Идем, — сказала она.

А я за ними. Осторожно, медленно. Я гуляю.

Остановились.

— У, какие собачки! — сказала она.

— Дерьмо! — сказал он.

— Точно дерьмо, — сказала она. — Миленькие какие!

Двинулись. Повторяю, напоминаю: я не понимаю, почему. Почему, например, они стали объектами моей любви. Ведь речь их ничтожна, и движения ординарны, и никто, кроме меня, не выделяет их?

Двинулись. Они раскланивались со своими знакомыми и останавливались поболтать. И речи их были точно пусты, но как любил я их!

Остановились около «Северянки». Они остановились. Он — лось, бык. Она — в брючках, зеленое пальто, волосы на плечах. Он, наверное, ведь лысый, а уж зубы-то точно металлические.

— Пошли, что ли, к твоей Ольге зайдем, — сказал он.

— Ну, идем. Песенки новенькие послушаем, Высоцкого, — сказала она.

И они исчезли.

Они вошли в ту дверь, которая вела к той квартире, в которой находилось то окно, из которого доносилась давеча «Дорогой длинною», то окно, из которого высовывалась тогда усатая физиономия. Наверное.

Исчезли. Их поглотила дверь. А я глянул на часы. Мать честная! Да я ведь в кино опоздал. Без киножурнала-то ладно. Я переживу, хотя и это неприятно. Я люблю киножурнал. Но смотреть кино без начала. Бр-р. Все равно что без конца. И я побежал скорей.

Потому что, вы понимаете, они исчезли. А я — реалист. Я знаю, что могу стоять около подъезда хоть всю жизнь, но эти люди никогда не полюбят меня, потому что я никогда не смогу объяснить им, что люблю их. Или — или. И не смогу заговорить с ними никогда, потому что мне не о чем говорить с ними. Мне скорей с начальницей есть больше о чем говорить, чем с ними. Они уходят в закрывающуюся дверь, они близки к летающей тарелке и коммунизму. Что ж, прекрасно. А я пойду в кино, мы пойдем другим путем.

И я заспешил, заспешил в кино. И я, представьте, не опоздал, потому что они или сеанс начали позже, или у меня вперед часы. У меня часы то вперед, то назад. Надо бы их отдать в ремонт. А «Девушка без адреса» — это один из наших лучших плохих фильмов. Я его смотрел раз тысячу.

К сожалению, на этом я и заканчиваю свой рассказ о моем «или — или».

Если я кого-то огорчил, а кто-то ждал большего — какого-либо действия или же связного конца, то прошу прощения.

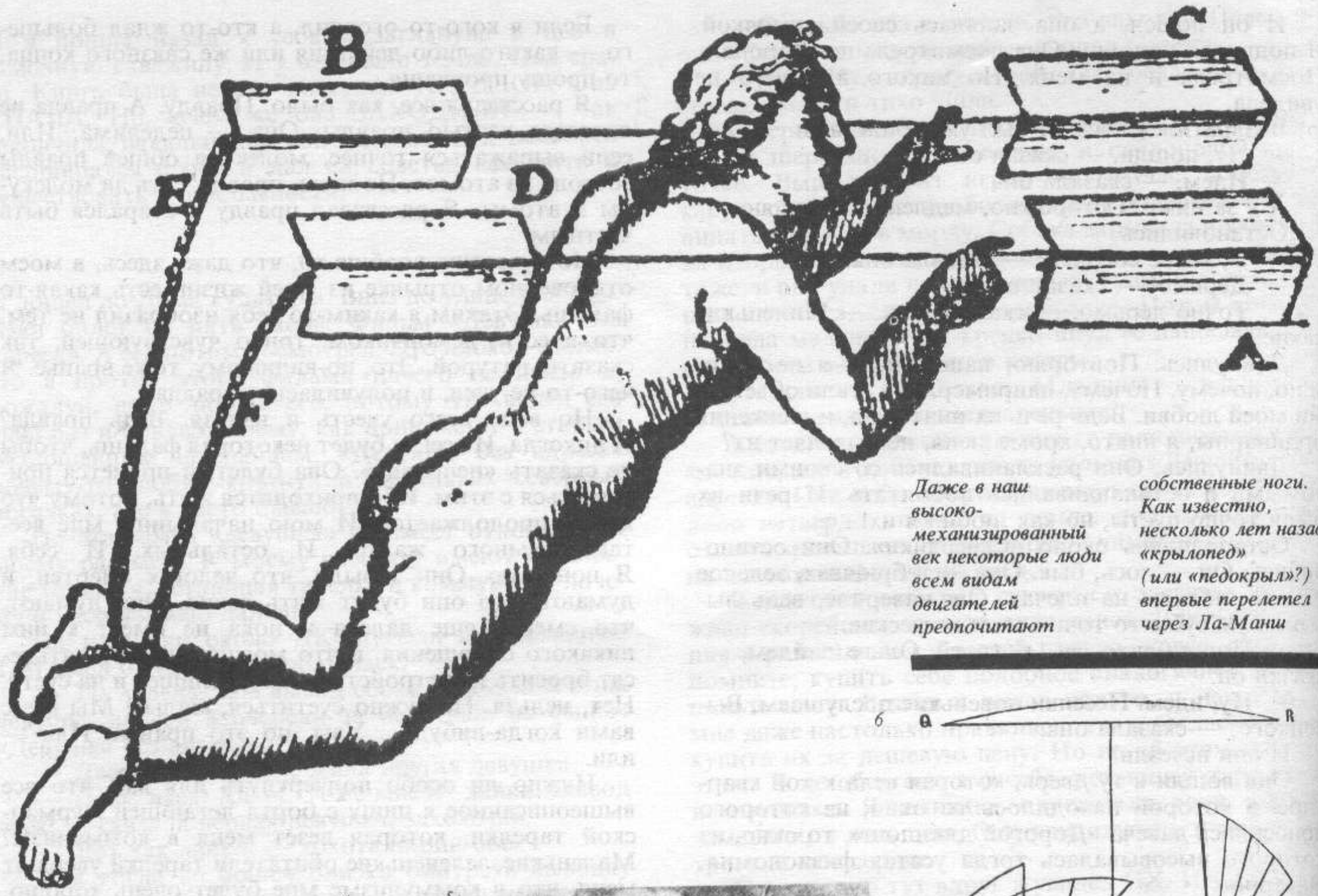
Я рассказал все, как было. Правду. А правда не является частью правды. Она — неделима. Или, если выражаться точнее, молекула общей правды состоит из атомов. Не знаю, правда, есть ли молекулы и атомы. Я рассказал правду и старался быть честным.

Но чувствую вообще-то, что даже здесь, в моем откровенном отрывке из моей жизни есть какая-то фальшь. Этаким я каким-то себя изобразил не тем, что я есть: демончиком, тонко чувствующей, так сказать, натурой. Это, по-видимому, тоже вранье. Я чего-то не учел, и получилась неправда.

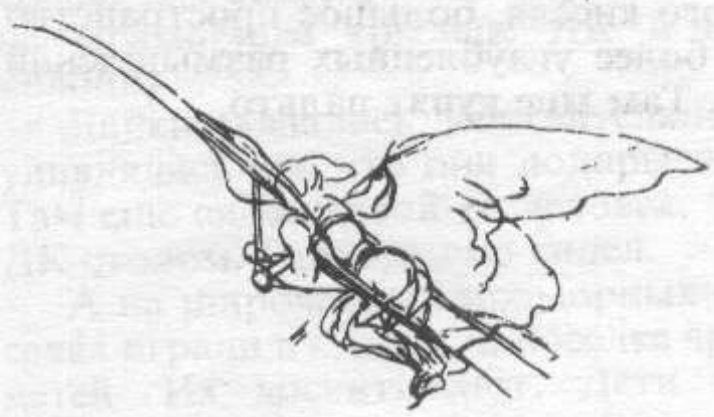
Но ведь всего учесть и нельзя. Ведь правда? И никогда. И всегда будет некоторая фальшь, чтобы не сказать «неправда». Она будет, и придется примириться с этим. Ибо приходится жить, потому что жизнь продолжается. И мою начальницу мне все-таки немного жалко. И остальных. И себя. Я понимаю. Они забыли, что человек смертен, и думают, что они будут жить вечно. Они думают, что смерть еще далека и пока не имеет к ним никакого отношения, и что можно еще лет пятьдесят бросить на устройство своих делишек и на суету. Нет, нельзя. Не нужно суетиться, милые! Мы все с вами когда-нибудь... Увы, но это правда. Или — или.

Нужно ли особо подчеркнуть для вас, что все вышеописанное я пишу с борта летающей мурманской тарелки, которая везет меня в коммунизм? Маленькие, зелененькие обитатели тарелки уверяют меня, что в коммунизме мне будет очень хорошо. Там много вкусного киселя, большое пространство и время для еще более углубленных размышлений обо всем на свете. Там мне купят пальто.

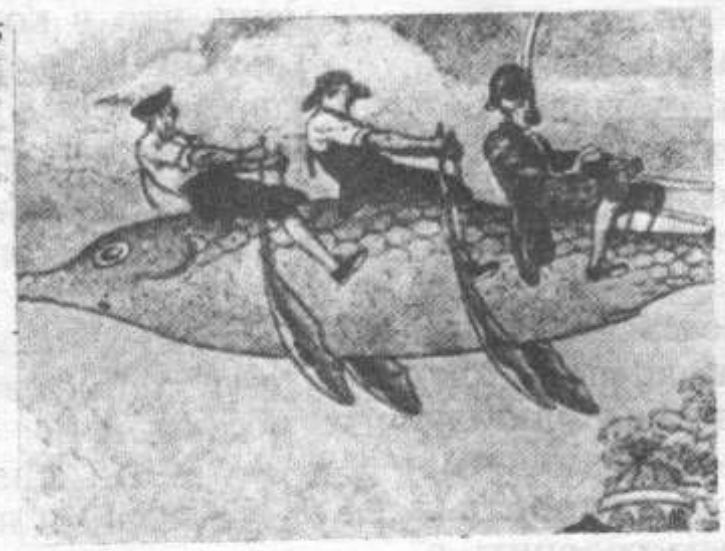
становятся безличными; революционеры из безличного интереса имеют право рассматривать всех защитников существующего порядка как людей, лично заинтересованных, и потому чувствовать себя выше последних.



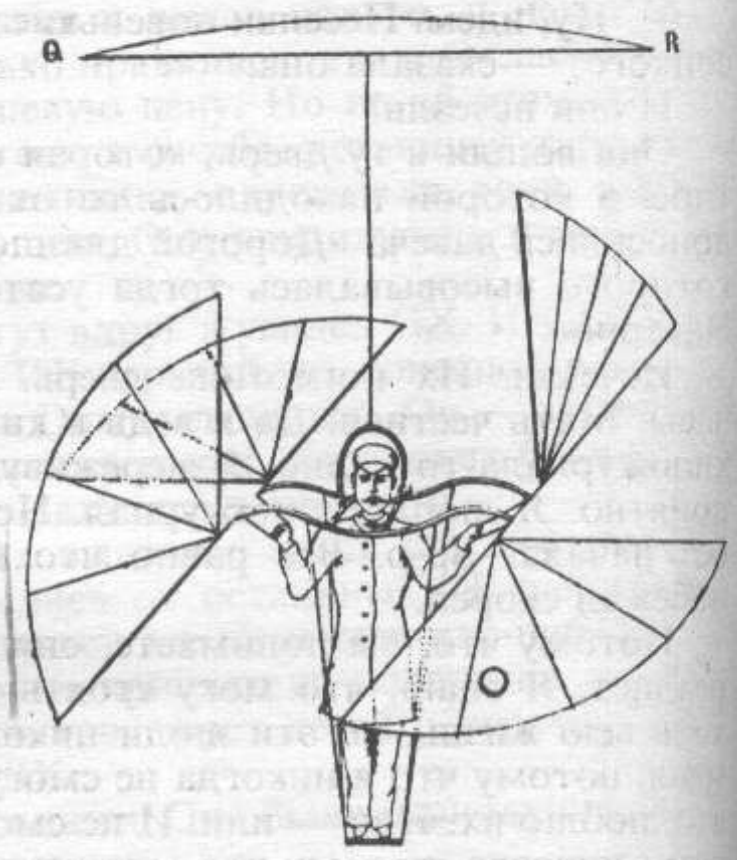
Даже в наш высоко-механизированный век некоторые люди всем видам двигателей предпочитают собственные ноги. Как известно, несколько лет назад «крылопед» (или «педокрыл»?) впервые перелетел через Ла-Манш



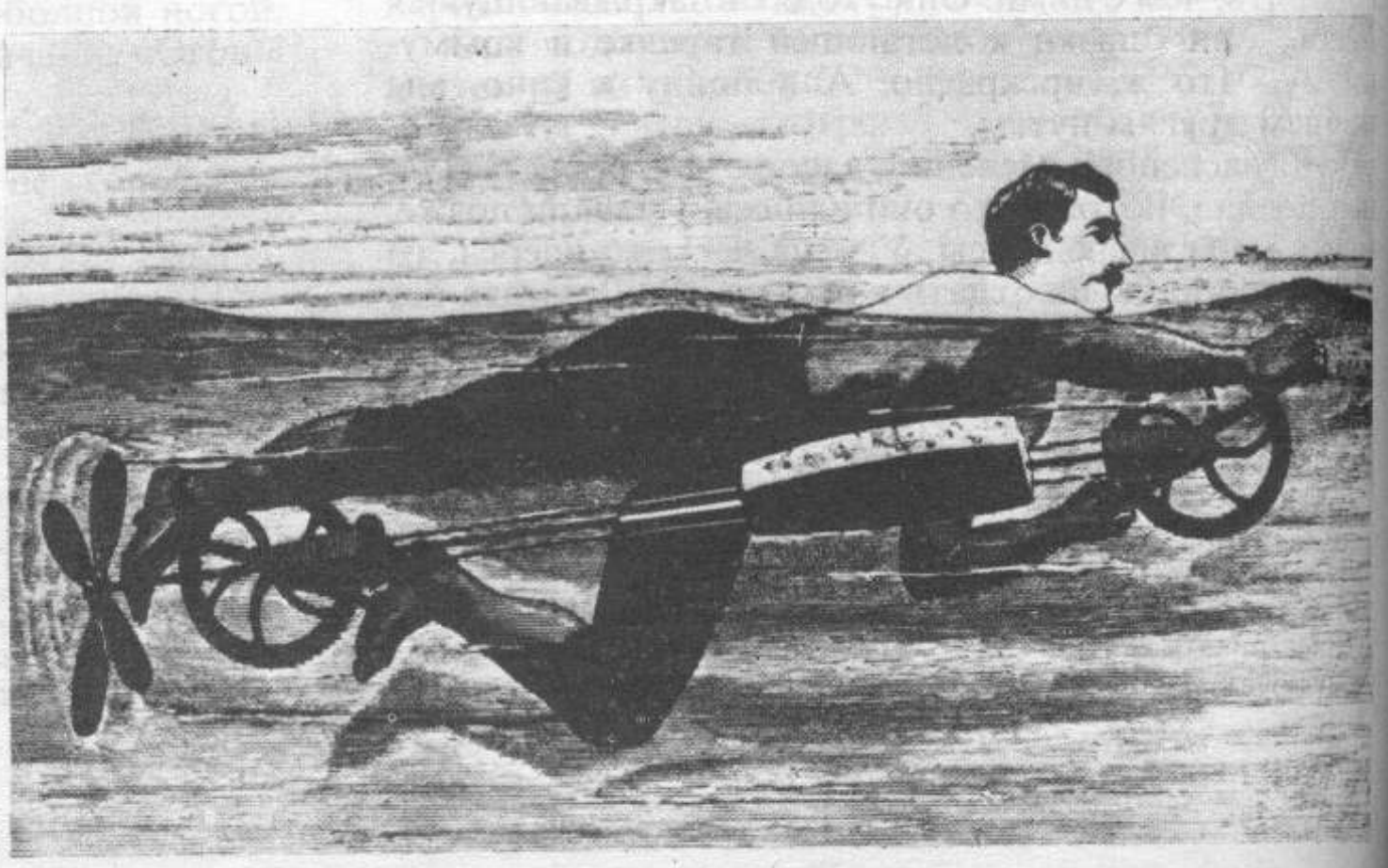
4



5

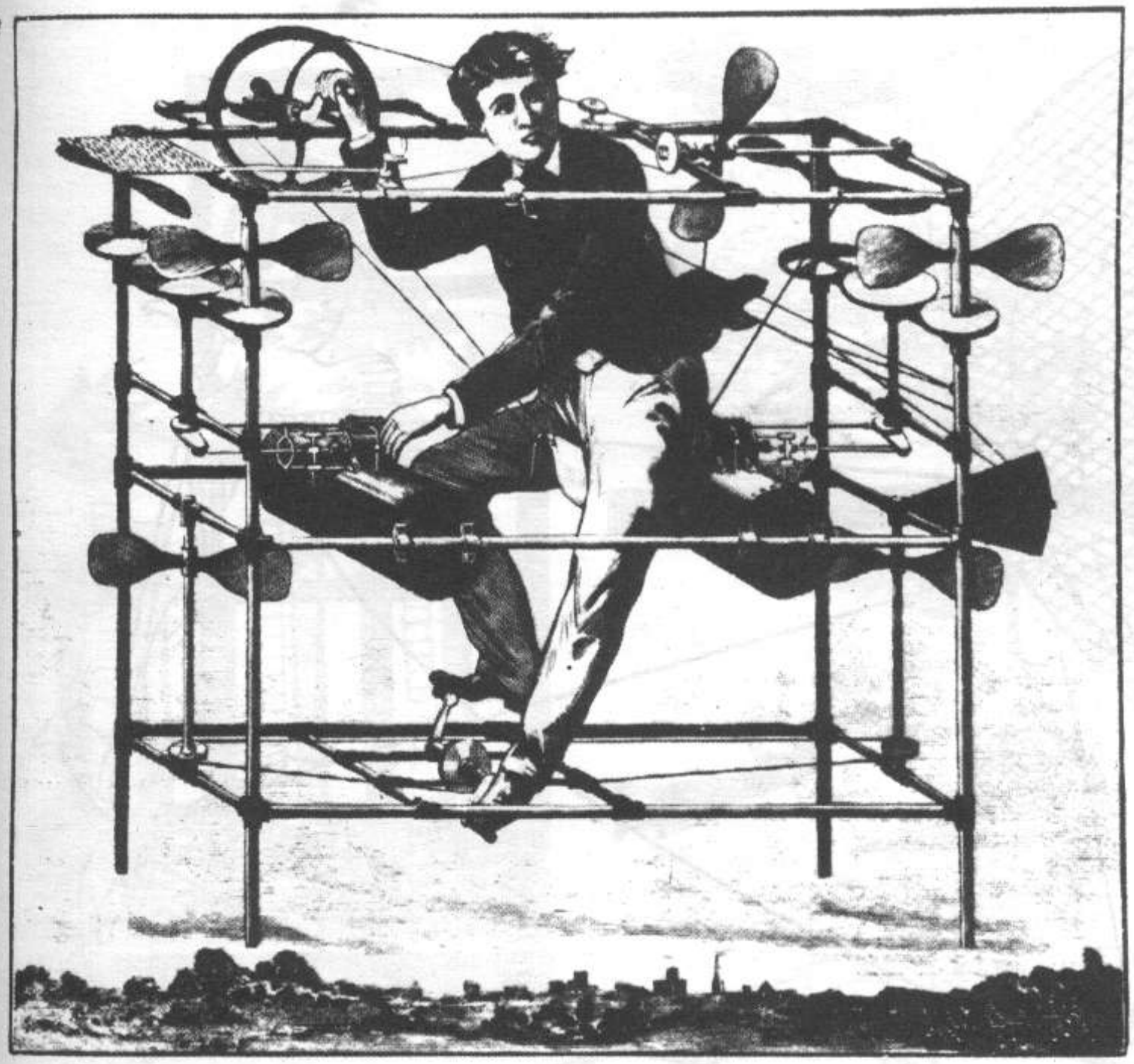


10

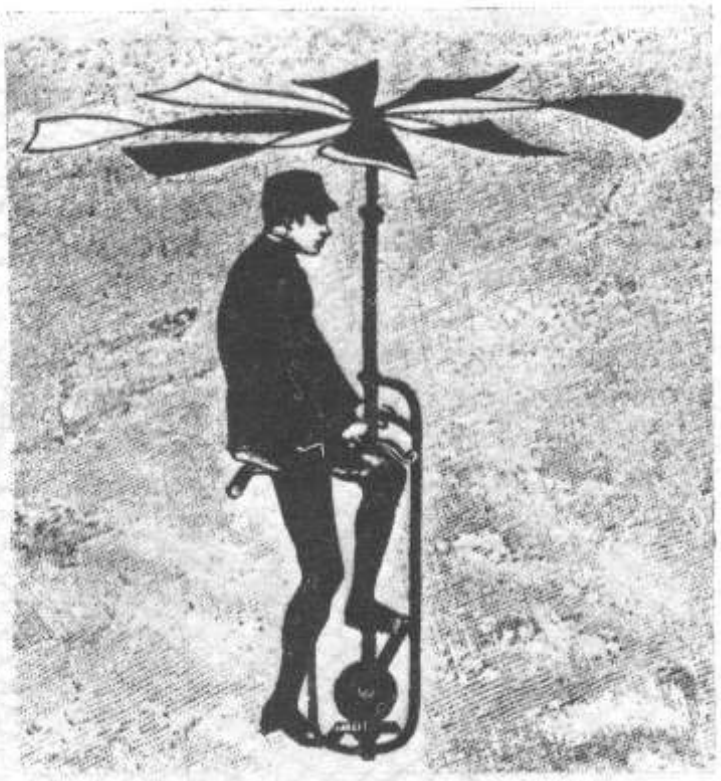


11

2

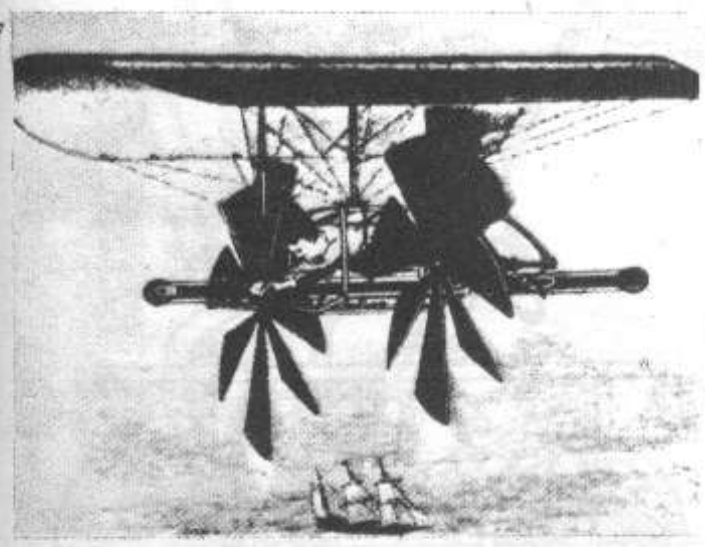


3

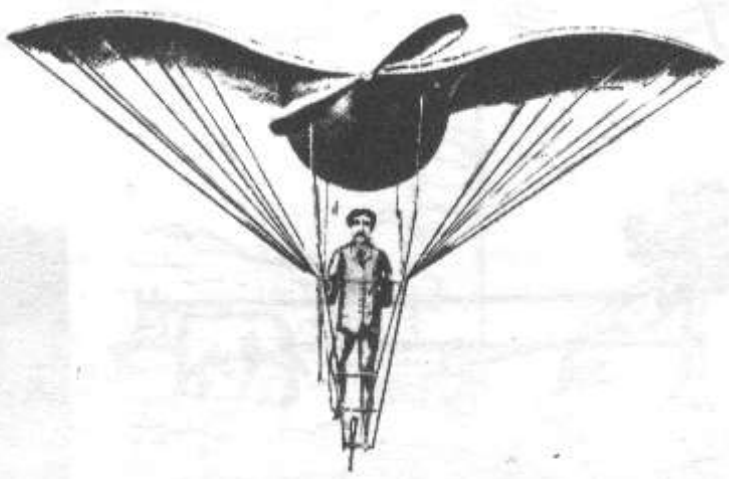


9

7



8



12

1

Если есть л. с. — лошадиная сила, то почему не может быть о. с. — ослиной или осьминожьей?

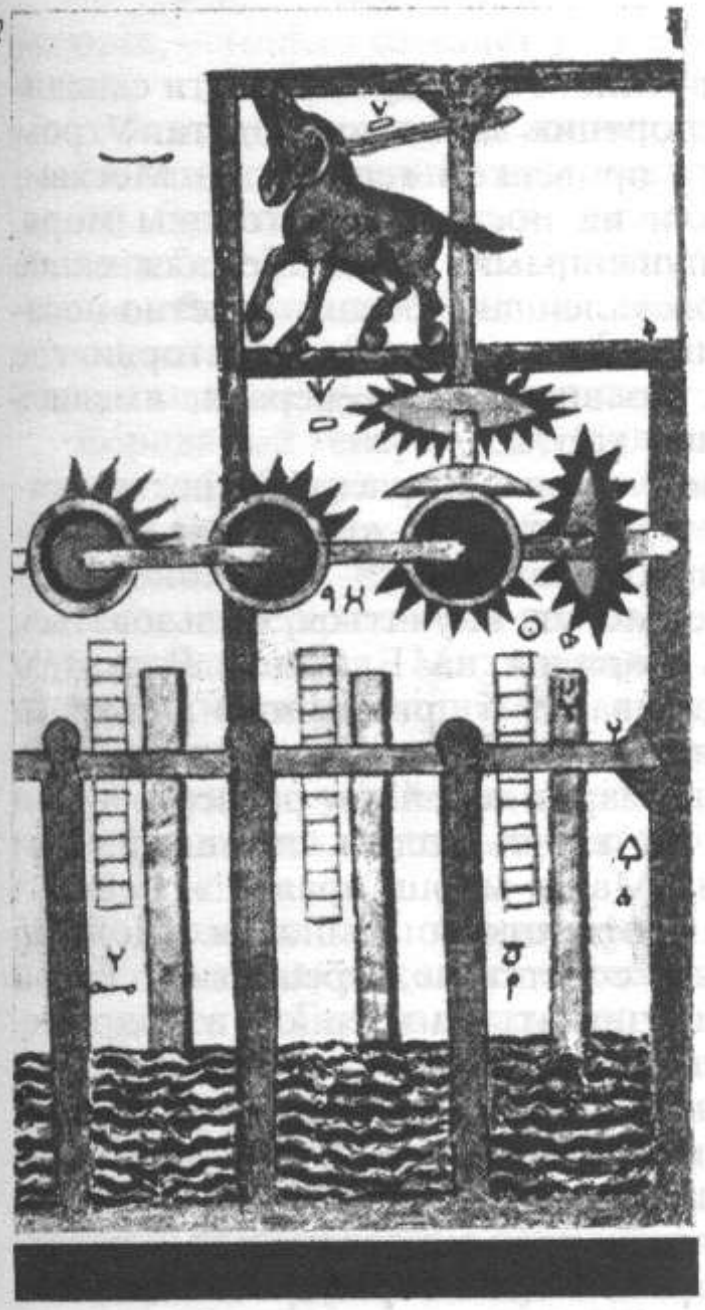
6

7

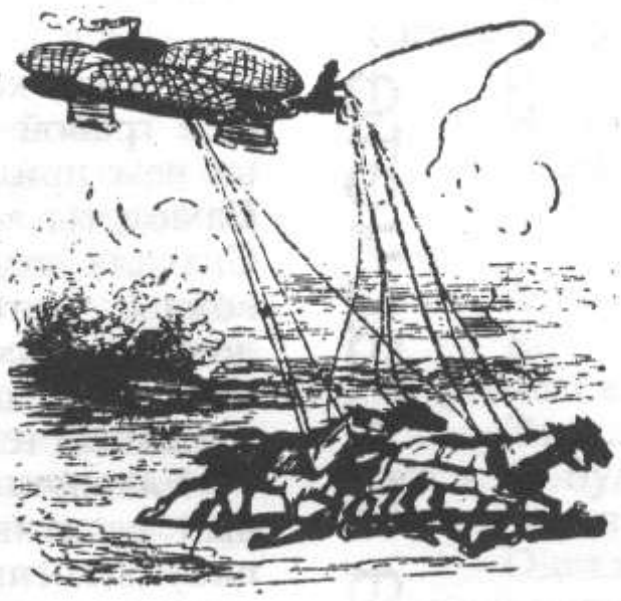
8

9

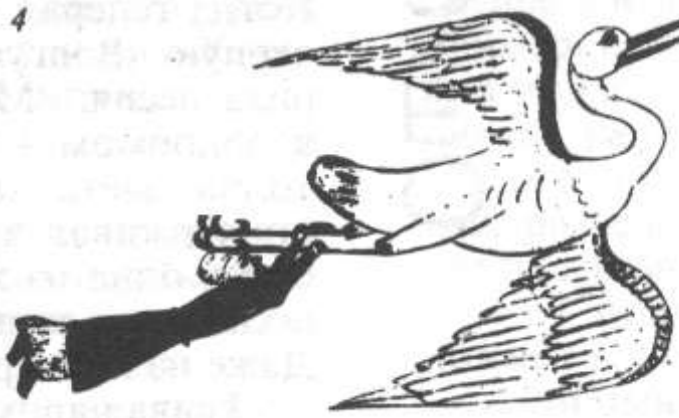
2



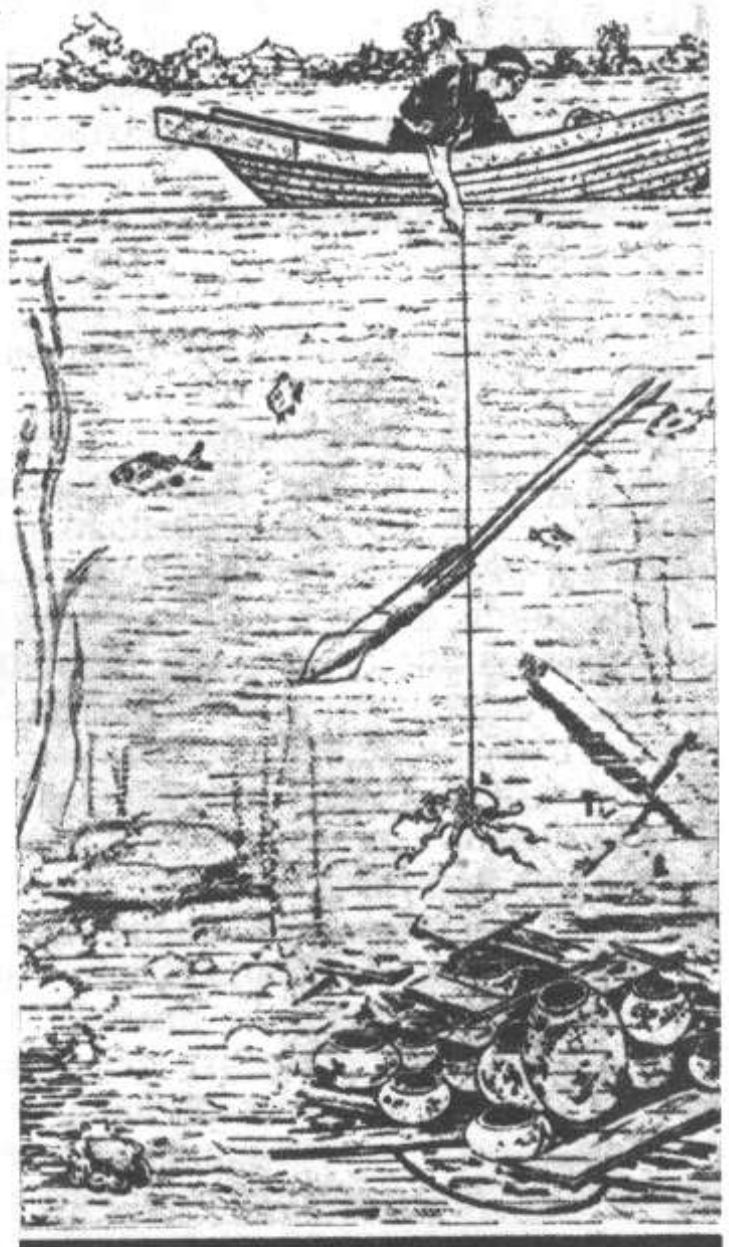
3



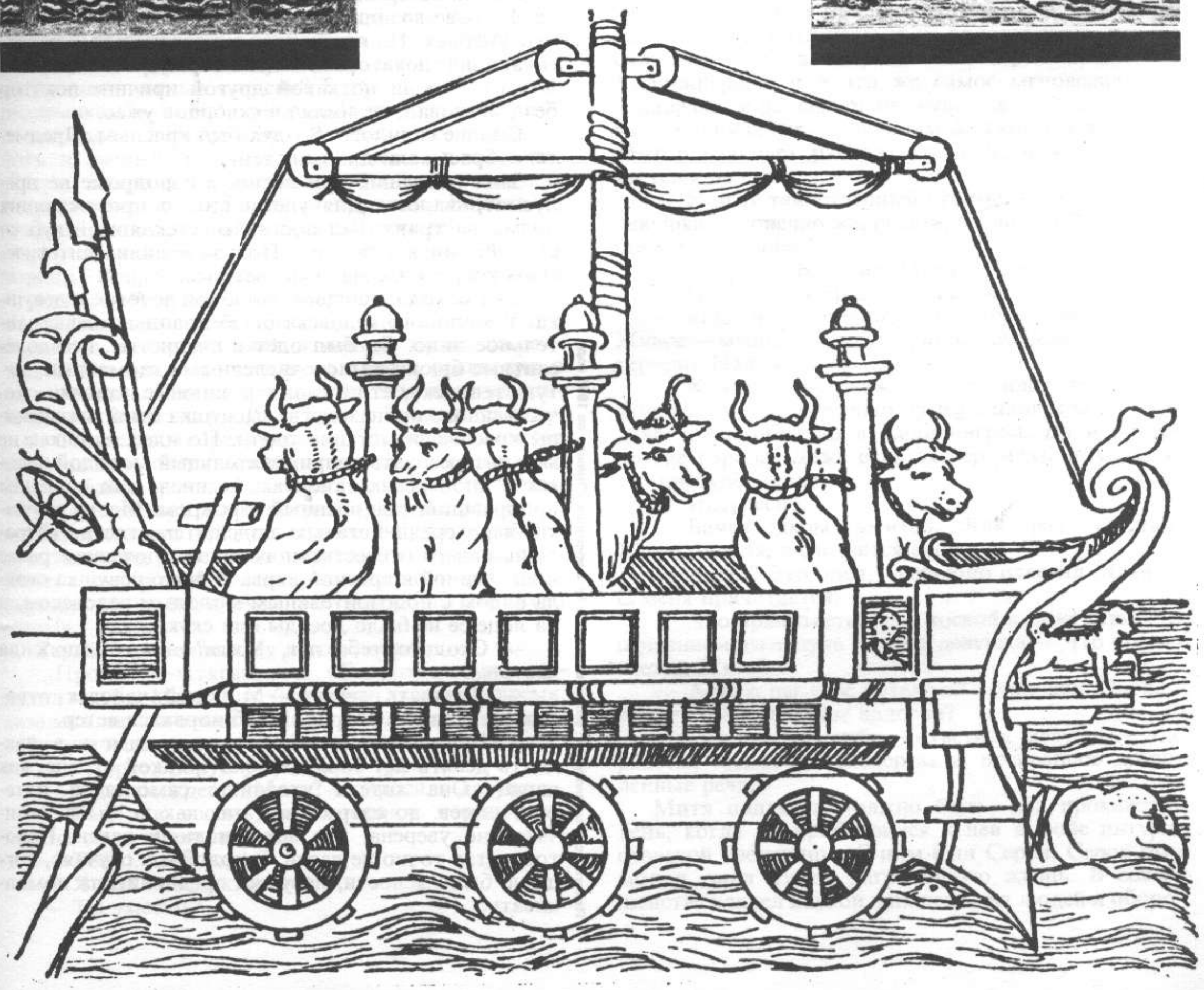
4



5



10



Ошибка в расчете

I

В дальнем конце военного аэродрома почти сливался с травой транспортник защитного цвета. Утром на нем прилетел с проверкой генерал из Москвы. Самолеты заходили на посадку со стороны моря. Сначала под выпущенными шасси бежали синие волны, потом раскаленная белая взлетно-посадочная полоса. В правительственном санатории, где отдыхало множество знакомых генерала, имелись отменные теннисные корты.

Главную стоянку занимал красивый шестиместный реактивный «Барритрон». «Наверное, какой-нибудь военный араб с гаремом,— уязвленно подумал генерал.— Не могут научиться пользоваться оружием, навести порядок на Ближнем Востоке!» Когда генерал усаживался в присланную из округа черную «Волгу», из окна кабины «Барритрона» ударила песня. «Марш-марш левой! — разнеслось над аэродромом.— Я не видел толпы страшней, чем толпа цвета хаки! Марш-марш правой!» Генерал придерживался на этот счет иного мнения. «Должно быть, одна из жен — советская»,— решил он. Такой песне не полагалось звучать на военном аэродроме. Даже из иностранного самолета.

Трава напоминала выгоревший брезент. Осенний крымский ветер был горяч, словно нажрался бензина. В траве возились скворцы. Они летели в Северную Африку. На них нацелился специальный распугивающий локатор. То ли потому, что не было полетов, то ли по какой другой причине локатор бездействовал, не вселял в скворцов ужас.

Солнце садилось. Воздух был красным. Предметы отбрасывали длинные тени.

Зала ожидания при военном аэродроме не предусматривалось. Для улетающих и провожающих прямо на траву был поставлен стеклянный куб со скамейками вдоль стен. Пол застелили синтетическим ковром. Сейчас куб светился.

Там находились двое: молодой человек и девушка. У молодого человека было довольно невыразительное лицо. Он был одет в пятнистые, псевдодесантные брюки с многочисленными карманами, мятую тенниску, стоптанные резиновые тапочки отечественного производства. Девушка была вызывающе красива, изысканно одета. По идее, ее никак не мог интересовать непримечательный молодой человек в пионерских тапочках, не иначе как обманом пробравшийся на военный аэродром. Место девушки было среди богатых людей, там, где не встретишь ничего отечественного, за исключением разве лишь черной и красной икры. Однако девушка стояла рядом с подозрительным молодым человеком, и на лице ее не было досады или скуки.

— Сколько тебе лет, Митя?— вдруг спросила девушка.

— Двадцать девять.— Молодой человек отворил стеклянную дверцу. В куб ворвался ветер.

— Неплохо,— сказала девушка,— иметь в двадцать девять лет свой самолет в такой стране, как наша.— Она хотела уточнить: самолет и пятерых лакеев, но сдержалась, так как не была окончательно уверена, что все эти люди лакеи. Некоторые так точно не лакеи. В подобных случаях, когда не было ясности, девушка предпочитала помалкивать.

Печатается по тексту, опубликованному в № 2 журнала «Знамя» за 1990 год.

Юрий КОЗЛОВ

Юрий КОЗЛОВ (1953), московский писатель и журналист. Был разъездным корреспондентом «Огонька» и «Юности», издал несколько книг, в том числе за рубежом; последний его роман — «Пустыня отрочества», (М., 1988).

— Да-да,— рассеянно подтвердил молодой человек,— только самолет у меня был уже шесть лет назад.

...Он тогда оканчивал аспирантуру мехмата. Ему сообщили, что военное ведомство интересуется его темой. Он пожал плечами. Это было ему в высшей степени безразлично. Он как раз завершал теоретическое обоснование Закона единого и неделимого пространства, собирался опубликовать основные тезисы в математическом журнале.

Бородатый генерал (это был первый и последний бородатый генерал из всех им виденных) отыскал его в Хлебникове — в бабушкином доме на берегу водохранилища. Вместе с ним приехал полковник с железными бесцветными глазами. Был июль, стояла чудовищная жара. Митя увидел из окна двух военных у калитки, длинную черную машину, едва втиснувшуюся в узенькую дачную улицу. «Хорошо, бабушка уехала в Москву,— подумал он,— черная машина, военные — это бы ей не понравилось...»

Полковник стал задавать нелепые вопросы: что за машинистка, в скольких экземплярах перепечатывала работу? Генерал изъявил желание искупаться. Они пошли к воде. Оставшись в широченных сатиновых трусах, генерал произнес: «Поздравляю вас с защитой кандидатской диссертации,— потом добавил: — А если хотите, докторской, как вам будет угодно». Митя молчал. Это интересовало его, но не в первую очередь. «Вы уполномочены единолично присуждать ученые степени? Вдруг я захочу стать академиком?» — «Не придирайтесь к словам,— неожиданно добродушно засмеялся генерал,— я хоть и ученый, но военный, привык, понимаете, решать вопросы по-быстрому. Особенно вопросы второстепенные». Он поплыл на спине. Борода то исчезала, то вылезала из воды. Позже генерал расскажет Мите, каких трудов стоило ему отстоять бороду. Вопрос решался на уровне заместителя министра. «Есть вещи более серьезные. Вы, конечно, знаете цену своей идее. Вы стоите на пороге открытия, которое может изменить жизнь человечества. Расщепление атомного ядра в сравнении с ним игрушка. Атом — это энергия, Земля, сегодняшний день. Ваше открытие — время, Вселенная, будущее. Сейчас вы теоретизируете. Это прекрасно. Но все должно проверяться, испытываться на практике. Нужна база, причем база могучая. Я здесь затем, чтобы предоставить в ваше распоряжение ресурсы... не лаборатории, нет, не какого-нибудь опытного производства, даже не института. Государства, слышите, государства! А если речь идет о таком государстве, как наше, значит, ресурсы почти что всего мира!»

Тогда-то и появился у него самолет.

...Прощание затягивалось. «Барритрон» уже подрулил к кубу. Молчание, бесцельно уходящее время, казалось, не тяготили молодого человека. Не тяготили они и девушку, хоть было очевидно: она не из тех, кто теряет попусту время.

— Чего ты ждешь, Митя?— спросила девушка.

— Ровно в восемь мне откроют коридор на высоте семь тысяч двести.

— Тебе... коридор?

— Я сам поведу самолет.

— Ты умеешь?

— Это не очень трудно. Хочешь, когда вернусь, слетаем в Батуми?

— Почему именно в Батуми?

— Не знаю. Просто пришло в голову.

— А сейчас ты...

— В Калининград, на побережье Балтийского моря.

— А потом?

— Во Владивосток, на Тихий океан. Если потребуется.

— Этот... как его... Фомин взял с меня расписку, что я не буду выспрашивать тебя о работе, но ты объясни: в чем суть эксперимента?

— Однажды я восстал против Фомина,— словно не расслышал ее Митя,— мне тут же принесли секретную американскую режимную инструкцию по группе доктора Камерона. Этот тип занимается там примерно тем же, чем я здесь. Не знаю, настоящую или поддельную. Там сказано, что, как только возникнет реальная опасность захвата Камерона или любого другого члена группы агентами иностранных разведок, гангстерами, террористами, ученого следует немедленно пристрелить.

— Стало быть, Фомин твой добрый гений? Ты должен благодарить его, что до сих пор жив?

— Фомин, к сожалению, неизбежен, как физические отправления,— сказал Митя.— Суть эксперимента вот в чем: я придумал штуку, она определенным образом воздействует на пространство, как бы скручивает его в спираль. Мы берем предмет в Калининграде, и в это же самое мгновение, а в идеале еще и раньше он оказывается во Владивостоке. Ты поняла? Вроде невидимой искры в зажигании. Мотор начинает работать раньше, чем поворачивается ключ.

— И этот таинственный предмет,— усмехнулась девушка,— конечно же, ракета, неуловимая для обороны противника?

— Это интересует их. Меня — Закон.

— Ну и что за предмет... выбрали?

— Еще не выбрали. Что-нибудь небольшое. Живое — мышь, крысу — рано. Железное — неинтересно. Надо среднее. Вот думаю.

— Хочешь, подскажу?— спросила девушка.— Только это уже передано из Калининграда во Владивосток и обратно в Калининград. Да и во все другие города. Даже если эксперимент не удастся, это пребудет везде.

— Интересно.

— Банка икры минтая. Как раз — среднее. Жрать нельзя, а считается едой.

— А что? Это идея,— серьезно ответил Митя.— С меня причитается.

— Что причитается?— с тоской и даже каким-то отчаянием взглянула на него девушка.— Что причитается, Митя?

— А чего бы тебе хотелось?— спросил Митя.— Может быть, мы вам надоели?

— Это решать тебе,— ответила девушка,— где ракеты, там я, как Шахерезада, прекращаю дозволенные речи.

Митя подумал, должно быть, она проклинает день, когда он приблизился к ней в фойе интуристовской гостиницы. С ним был Серов. Серов был молод, знал языки, заграничную жизнь. В совершенстве владел наукой нападения на людей и оборо-

ны от людей же, ловил пальцами муху, кулаком вышибал замки из дверей, стрелял быстро и без промаха. Был почти что приятель. Если, конечно, бывают приятели, которых не выбирают. Мите частенько вспоминалась свирепая американская режимная инструкция.

Отплавав в бассейне, они спускались по застланной ковром лестнице. Девушка стояла у газетного киоска — невозможно красивая, свободная, недоступная. У Мити дух захватило. «Иностранка?» — спросил у Серова. «Наша,— ухмыльнулся Серов.— Знаешь, сколько тут таких иностранок?» Митя что-то спросил у нее. Она брезгливо скосилась на его мятые брюки. «Могу одолжить сто долларов,— громко сказал Серов,— но лучше решить этот вопрос по-другому. Валюту надо экономить!» — злобно подмигнул девушке. Митя тогда не понял. Понял позже, когда вдруг увидел ее в зале приемов дома отдыха Академии наук. Только что прошли выборы, чествовали новоизбранных. «Митя, поздравляю, ты членкор! — бросился к нему кто-то из знакомых.— Не поверишь, Митенька, этот козел Глуздо голосовал против!» Тут он увидел ее. Она была одна за столиком с бутылкой минеральной воды. И почему-то вся в черном. «Справляете траур по нашей науке?» — подсел к ней. «Вот медицинское освидетельствование. — Она выложила на стол справку.— СПИДа и вензаболеваний не обнаружено. Я справляю траур по самой себе».— «По-моему, тут надо радоваться»,— заметил Митя. «Я бы радовалась,— вздохнула девушка,— если бы не вы».— «Прямолинейность хороша в математике,— растерялся Митя,— в жизни это выглядит не так изящно».— «Может быть, я и прямолинейна,— согласилась девушка,— но не вам меня укорять. Вы действуете как бандит. Хотя, что бандит? Он хоть рискует. Вы — хуже!» — «Я?..» — смутился Митя, но вспомнил про Серова. «Вот-вот,— подтвердила девушка,— альтернативный, в случае моего отказа, вариант с выездом на постоянное место жительства в Вологду был совершенно неприемлем. Ваш дружок взял меня за горло. Так что вы хуже бандита. Бандит рассчитывает на себя. А вы?»

— Смотри, Митя, полно звезд,— тронула его за руку девушка,— уже пятнадцать минут девятого. Лети, а то закроют персональный коридор.

Митя подумал, что их близость, поначалу вынужденная для девушки, постепенно обрела хоть и смутное, но человеческое содержание. Они теперь были интересны друг другу и, похоже, оба не знали, как с этим быть. Знал Митя, что и девушку мучает неопределенность. Пока она с ним — это одно. Ну а что потом? Митя сам не знал: что потом? Он подумал: даже если он больше никогда не вспомнит о девушке, ей все равно не вырваться. Она причастна. Таких не отпускают. Они в неравном положении, и он этим пользуется. «Может, жениться на ней?— подумал Митя.— Только... женятся ли на таких?»

Девушка нравилась ему. В ней было столько недостатков, что количество их переводило девушку в иное качество, где недостатки в их прежнем понимании уже значения не имели. Но в жизни, в шахматах, в науке качеством сплошь и рядом приходилось жертвовать. В математике — особенно. Какое-либо из ничего возникшее уравнение вбирало в себя вселенскую энергию, казалось самим совершенством, откровением, хотелось отвлечься от главного, работать только с ним. Но избранное направление неумолимо выводило яркое уравнение за границы расчета, делало некорректным. Мите казалось, он видит, как гаснут краски и торжествует серый цвет. Красота приносилась в жертву итогу. Митя думал: точно так же и в симфонической музыке бесконечное множество блистательных вариаций приносится в жертву тяжелому финалу. У него закрадывались сомнения в полноценности научных и прочих способов познания действительности без красоты. Сейчас он сомневался в полноценности жизни, если при любом раскладе такая девушка должна была страдать. Но в жизни, как и в математике, Митя мог позволить себе больше, нежели простой смертный. Поэтому и не торопился решать.

— Я вернусь через две недели,— ласково сказал он,— слетаем с тобой в Батуми. Не волнуйся, тебя никто здесь не обидит. Хочешь, живи в моем номере в академической гостинице, хочешь — в домике на объекте. Если эксперимент удастся, за банку минтая включу тебя в состав научной группы. Получишь награду. Хочешь стать орденоносцем?

— Митя,— тихо произнесла девушка,— зачем ты надо мною издеваешься?

— Вероятно, потому, что не знаю, что тебе сказать.

— Неужели власть — это так сладко?

— Над человеком — не очень. Это для маньяков. Над вырываемым из пустоты Законом — да. Тебя как бы избирает Бог, чтобы первому сказать. Через тебя его тайна начинает править миром.

— Бог — это здорово, Митя. Но что будет со мной?

— О, вариантов бесконечное множество. Эксперимент должен подтвердить обратимость времени. Мы с тобой выберем минутку где-нибудь в подходящем местечке, скажем, в саду Семирамиды, на острове Корфу и превратим ее в вечность. Прошлое, люди, сплетни, фомины, серовы — в нашей новой жизни это не будет иметь никакого значения... Адама и Еву Бог изгнал из рая. Нас примет обратно.

Это выговорилось легко, так как едва ли было исполнимо. Так возник в их — блудницы и атеиста — разговоре Бог. «Во всяком случае, — подумал Митя,— если ему не нравится, он может поразить самолет молнией. До Калининграда путь неблизкий».

Поднимаясь по трапу, Митя оглянулся. Девушка стояла на выгоревшей траве, русые волосы метались на ветру. Что-то хищное и одновременно бес-

Семен Франк

Пушкин мечтал, как Россия «вспрянет ото сна» и «на обломках самовластья» прославит его имя! Реальная Россия, как она есть, на обломках самовластья написала имя — Демьяна Бедного!

помощное было в лице девушки. «Она просчитала все возможные варианты,— подумал Митя,— но нынешний — со мной — даже не мог прийти ей в голову. Такую программу ей пока не осилить. Но она пытается».

Митя не видел ничего противоестественного в сравнении человека с компьютером, ибо не существовало на свете ничего более похожего.

Выруливая на взлетную, он еще подумал, что вряд ли после знакомства с ним девушка сделалась счастливее. Однако в сравнении с чем? С детством, которое навсегда кануло? Или с прежней жизнью, где едва ли могла идти речь о счастье? Точно так же Митя не представлял, станет ли счастливее от его Закона человечество? Опять-таки какое? Идеальное, то есть несуществующее? Или какое есть: жертвующее красотой во имя... чего? Над этим следовало подумать.

«Барритрон» легко оторвался от бетона и через несколько секунд оказался над морем. Еще раньше оказался там истребитель, которому предстояло вести «Барритрон» первую половину пути, а в небе над Львовом передать другому истребителю.

II

Некоторое время было относительно светло. Самолет летел на запад. Но чтобы догнать падающее солнце, надо было лететь гораздо быстрее. Такой скоростью «Барритрон» не обладал. Вскоре он отстал от света. Накатили звезды. Внизу ненормально и мощно горели газовые факелы.

Заданная высота была набрана, делать за штурвалом стало нечего. Митя решил пойти в салон, посмотреть новейшую компьютерную подсистему.

Пока Митя в Крыму на объекте «С» делал последние расчеты, Серов смотался на «Барритроне» в Стамбул, где одна турецкая компания продала не подлежащую продаже подсистему. Она разместилась в четырнадцати коробках. «Теперь они будут доставать нам все, что попросим,— уверенно сказал Серов,— и не за такие бешеные деньги. По турецким законам, если всплывет — им пожизненное, а то и расстрел. Они на крючке!» — «Мне нужна «Яшида», — ответил Митя, — одна-единственная «Яшида». У доктора Камерона день и ночь работают четыре. Я его обогнал, но технология способна сама рождать идеи. Д. К. может получить все на блюдечке. Тогда нам останется только повыгоднее продать лицензию. Без технологии будущего нет. У нас нет технологии».— «Люди работают, — помрачнел Серов,— нашли что-то в Иокогаме. Да что толку в чертежах, если все равно сделать не сможем? Просись, Митя, в Японию, я с тобой, на месте пошарим, может, чего и подберем...»

Подсистему следовало соединить с главным компьютером, но и без подсоединения можно было начать предварительную прикидку на икру минтая. «У нас есть в холодильнике икра минтая?» — поинтересовался Митя. «Такого дерьма не держим, — с отвращением отозвался Серов; — крабы, нормальная икра, печень трески — пожалуйста».— «Сообщи в Калининград на главный, будем передавать банку минтая. Это то, что нужно».

Внизу поблескивал Днепр. Судоходный фарватер был размечен огнями бакенов. Большой туристический теплоход стоял на черной воде, как подсвечник. На палубе, должно быть, играла музыка, в баре выпивали и заводили знакомства, в каютах... Страшно представить, что творилось в каютах. Митя подумал, что шесть лет назад бородатый генерал несколько преувеличил насчет ресурсов всего мира. Мир с тех пор еще дальше убежал вперед, схватив под мышку ресурсы.

Его позвали в салон к радиотелефону. Звонила мать. Через коммутаторы, высоко- и низкочастотную связь она отыскала его, летящего над Днепром в коридоре на высоте семь тысяч двести. Мать не вполне представляла себе, чем он занимается. Почему-то считала генералом, хоть он не имел никакого воинского звания. «Ах, Митя, почему ты не носишь форму?— спросила в одну из редких встреч.— Мне так хочется пройтись с тобой по двору. Чтобы все увидели!»

Голос матери звучал напористо, звонко. «Хоть бы помехи»,— подумал он. Но эта связь действовала без помех.

Митя не сразу понял, зачем понадобился матери, а когда понял, бросать трубку было поздно. «Митя, это безобразие, до сих пор не привезли!» — «Не привезли?» — «Ты что, забыл? Панели в спальню! Я заказала в этой мастерской, неделю назад должны были привезти, где они, Митя?» — «Где... что?» — «Митя, я понимаю, ты занятой человек, но умоляю: прими меры! Скажи адъютантам. Мы с папой неделю сидим на жаре, как привязанные, а они не чешутся! И последнее, Митя, они сказали, что на складе только наши унитазы. Это убожество, Митя, каменный век. Не говоря о том, какое это неуважение к тебе. Для какого-то ничтожества из горкома у них нашлось все, абсолютно все! Я сама видела. Черт с ним, с финским, но чешский-то, чешский они могут достать? Как ты думаешь?» — «Да-да, мама, больше нельзя занимать линию, чешский они могут». Он положил трубку, попросил радиста соединять только в случае крайней необходимости. Единственным человеком, с которым он всегда был рад говорить, была бабушка. Но она не научилась ему звонить, сколько он ни объяснял. Сейчас бабушка лежала в больнице.

Каждый раз, когда Митя вспоминал ее голову в пластмассовом коконе под проводами, смуглое острое личико, усыхающее с каждым месяцем, настроение портилось. Даже работа, единственное, что интересовало, казалась постылой.

Полгода назад у бабушки начались дикие головные боли. Она ничего не говорила, но когда одна-

Гете

Большое множество простых умов
Живет постройкой карточных домов.

жды прямо на его глазах потеряла сознание, он настоял на обследовании.

Виной всему оказалась давняя черепно-мозговая травма. Много лет она не давала о себе знать. «В старости в головном мозге идут весьма активные процессы. Мозг перестраивает свою энергетическую основу, готовится к загробной жизни,— объяснил французский нейрохирург, приглашенный для консультации.— Процесс обнажил давнее поражение, необходима сложнейшая операция. Смешно говорить о гарантиях, когда речь идет об операции на открытом мозге. Гарантий нет».

После консилиума француз поинтересовался, верует ли пациентка в Бога? Лечащие врачи пожали плечами. «Верует»,— ответил Митя. «Для подобной операции,— сказал француз,— необходимо письменное, нотариально заверенное согласие больного. Мой опыт свидетельствует, что верующие люди соглашаются на эти операции менее охотно, нежели убежденные атеисты. Впрочем, все зависит от человека, твердых правил тут нет».

Пока что он сумел как бы отключить пораженный участок. Бабушка спала и, по утверждению француза, не чувствовала во сне боли.

Какая такая давняя травма? Бабушка прожила суровую жизнь. В тридцать восьмом была взята как германская шпионка. После заключения с Гитлером пакта о ненападении получила замену лагеря на ссылку там же, в Карелии. С началом финской войны местом жительства ей был определен Красноярский край, а потом Магаданская область. В Москве, точнее под Москвой, в Хлебникове бабушка оказалась в пятьдесят седьмом. Таким образом, возможностей за эти годы получить черепно-мозговую травму у нее было более чем достаточно.

Француз сказал, что необходимо установить время и характер травмы. Это позволит подобрать наиболее эффективные препараты в предоперационный период. Еще сказал, что у него операция в Аргентине. Он вернется через две недели, и у него будут два свободных дня. К этому времени следует окончательно решить. Так что сразу после эксперимента Мите предстояло лететь в Москву, испрашивать у бабушки согласие на операцию.

Как только Митя задумывался о семейных делах, сразу словно оказывался в темном лесу. Он проблуждал в нем все детство и совершенно не имел охоты блуждать сейчас. Ему хотелось и одновременно не хотелось разобраться. Словно кто-то дикий, безграмотный изуродовал, обессмыслил семейное уравнение, внес в него чуждые — из других разделов — элементы. Мать и бабушка не ладили. Бабушка родила мать в ссылке. От кого — неизвестно.

Помнится, у него был на эту тему разговор с Фоминым. «Я знаю, что ваша бабушка была необоснованно репрессирована,— сказал Фомин,— и, поверьте, искренне об этом сожалею». Установить подробности, по словам Фомина, не представлялось возможным. Вместе с лагерями уничтожались архивы. А какие не уничтожались, пришли от времени в негодность. Бумага была дрянь, да и чернил не хватало, разбавляли водой. «Хранить вечно» — это кто-то пошутил. Фомин сказал, что даже весьма высокопоставленные люди не могут ничего доподлинно узнать о судьбе репрессированных родственников. «У меня самого отец расстрелян,— вздохнул Фомин,— а я понятия не имею, где его могила».

Митя не дослушал, пошел к себе работать. Странное дело, математический мир был более познаваем. Единственно возможным в нем движением было движение внутри законов: от познанных к непознанным. Математический мир был тоже противоречив, но не трагедийно. Вопрос: быть или не быть законам, правде, в нем не стоял. Стоило забыть, утратить, сознательно пренебречь единственной формулой, все обращалось в абсурд, бессмысленную кабалистику. Человеческий мир как бы цинично игнорировал эту очевидность. Со времени Сократа и Платона мир мучился вопросом: быть или не быть правде, справедливости на Земле? И каждый раз как-то так оказывалось, что не быть. Это «не быть» изувечило жизнь бабушки, двадцать лет за воду и баланду валившую лес, добывавшую уголь в Сибири. Матери — сознательно выбравшей путь безмыслия, растительно-бытового существования. Его самого — охраняемого, засекреченного, летающего на персональном — со всеми удобствами — иностранном самолете, в то время как подавляющее большинство сограждан стояло в суточных очередях за авиабилетами, коротало ночи на застеленных газетами полах аэровокзалов. «Не быть» признавало единственный путь: от трагедии через фарс снова к трагедии. Это вело к тому, что чистый математический Закон, материализуясь, ускользал из его рук, превращался в тяжелый груз для все тех же вечных весов — быть или не быть правде на земле. И вовсе не Мите, оказывается, решать, на какую чашу класть.

Было время, он ненавидел действительность за ее тупое противостояние правде. Человек, поднявшийся до правды, был обречен. Что оставалось не желающему погибать человеку? Ему оставалось искать крупицы правды в обыденном, то есть в понятном, привычном большинству. А что более всего понятно, привычно большинству? А то, что есть, ну разве с исправлением совсем уж вопиющего зла. Таким образом, приверженцу правды, не желающему погибать, оставался единственный путь: не соглашаясь в мелочах, в целом принимать и даже защищать то, что есть. Довольствуясь тем, что есть, опасаться, как бы не стало хуже. Скучный, а главное, старый как мир путь. Так живут миллионы.

Странный этот расклад открылся Мите в юности. Тогда ему было четырнадцать. Он был первым учеником по математике и физике. То вдруг увлекался теорией пределов, штудировал труд Валлиса, пугал учительницу невероятными мыслями, то напрочь забывал про математику, играл днями напролет в футбол, лепил ошибки в элементарных задачках. Но и когда штудировал Валлиса и когда играл в футбол — в комсомол ему не хотелось.

Всю жизнь единственным его другом была бабушка. С матерью серьезно говорить о чем-то было невозможно. Она или действительно ничего не понимала, или делала вид. Наверное, поначалу делала вид, потом и в самом деле перестала понимать. Отец считался историком, специализировался по новейшей истории Вьетнама. К юбилейным датам в газетах появлялись его статьи о Хо Ши Мине, о крепнущем вьетнамском социализме. Во время заседаний Общества советско-вьетнамской дружбы

отец, случалось, сиживал в президиуме. «Видите? Вон я — слева от трибуны! — кричал, если сборище мимолетно показывали в конце программы «Время».— На мне дольше всех держали камеру!» Отец был воинственно чужд Митиным представлениям. Глубокомысленно вчитывался в информационные бюллетени «для служебного пользования». Делал вид, что причастен. Когда объявили о вводе войск в Афганистан, он раз десять повторил за завтраком: «Гениальное решение!» По молодости лет Митя задирался с отцом. Тот не принимал его всерьез, снисходительно ухмылялся: «Хорошо бы тебе, дружок, в армию, там бы вправили мозги! Да боюсь, объедешь службу с этой своей математикой...»

Все свободное время Митя проводил в Хлебникове. Водохранилище, небольшие домики, сады, палисадники, узкие улицы, заборы стали милее каменной Москвы. Митя переехал бы жить к бабушке, если бы не школа. Иногда бабушка приезжала в Москву. Домой к ним не заходила. Они встречались возле церкви на набережной Яузы. Митя стоял в церкви в сторонке, пока шла служба. Потом провожал бабушку до метро или автобуса.

Бабушка была немногословна. Митя ценил ее немногословие. Мать топила в словах смысл. Отец говорил о вещах, не существующих в действительности, слова его как бы умножались на ноль и, следовательно, цены не имели. Бабушка молчала.

Митя извелся с этим комсомолом. Вступать не хотелось, но и отказаться было страшновато. Он носил в портфеле чистую анкету. Она уже истрепалась, а Митя не решался ни заполнить ее, ни выбросить.

Как сейчас помнил: они вышли с бабушкой из церкви на набережную. Митя поделился сомнениями. Некоторое время бабушка молчала. Сухая, легкая, она ходила очень быстро. В тот день она была в белом платье и казалась летящим вдоль чугунной ограды пером. «Вот думаю,— сказал Митя,— а что делать, не знаю».— «О чем думаешь?» — спросила бабушка. «Да я же сказал, о чем!» — «Сам-то как? Хочешь или нет?» — «Нет, конечно!» — «Тогда чего думать?— пожала плечами бабушка. — Нет, так и нет. Тут вредно думать».— «А когда не вредно?» — «А когда чего-нибудь сильно хочешь. Вот тут думать и думать».

На следующий день Митя вернул анкету комсомольскому секретарю. «Не буду».— «Почему?» — «Не хочу». К нему подходили еще, и каждый раз он твердо отвечал: «Не хочу!» Митина непреклонность произвела впечатление. К тому же сами уговаривальщики, вероятно, были не вполне искренни, убеждая Митю. В столкновении с непреклонностью это обнажилось. Уговаривальщики давно забыли, что в жизни можно по-другому. Митя им напомнил. Возникла неловкость. Его оставили в покое.

Но вопрос — как жить?— по-прежнему занимал Митю. Он в общем-то знал, как не надо. Но как надо?

В церкви он всегда стоял в сторонке. Пока шла служба, в голове у него роились математические формулы и символы. Теперь он старался понять, что происходит вокруг. Но церковного полумрака, колеблющихся свечечных язычков, золотых икон, коленопреклоненного шепота, жалобного пения было явно недостаточно для «как надо». Мнимое это неприятие было густо замешано на смирении. Глядя на скорбно поджатые бабушкины губы, сурово нахмуренный лоб, Митя подумал, что бабушка сильный человек и ходит сюда не за утешением. Но и она, и все, кто здесь, смирились, что правде на земле не быть. Митя вдруг понял, что и сам почти смирился, что дальше отказа от комсомола не пойдет. Он капелька, ничтожная частичка в неведомо куда стремящемся потоке. Митя успел только подумать, что имя потоку — смирение и что тем, кто смирился, не дано знать — зачем и куда поток?— как наваждение кончилось. Перед глазами вновь запрыгали формулы и символы. Но на сей раз отнюдь не хаотично. Пунктирно они оконтурили идею, от которой у Мити дух захватило. Чем пристальнее всматривался Митя в иконы, тем яснее становилась идея. «Неужели Бог хочет, чтобы я — неверующий — открыл Закон единого и неделимого пространства? — растерялся Митя.— Но тогда при чем здесь смирение? Разве поиск Закона — смирение? Стало быть, он выбирает меня, а вместе со мной русский народ, чтобы мы шагнули вперед! Да как шагнули!»

Митя ни к селу ни к городу вспомнил, как однажды, проходя мимо церкви, увидел спускающегося по ступенькам багрового милицейского полковника. На асфальте его дожидалась черная «Волга». За полковником угодливо поспешал батюшка. Оба были навеселе. Перед тем как погрузиться в «Волгу», полковник одобрительно похлопал батюшку по плечу. Тот заливисто засмеялся. «Волга» рванула, а батюшка, икая, все топтался на тротуаре, улыбаясь холуйски и в то же время как-то хитренько. А между тем было время поста. «Как же Бог терпит это издевательство?» — подумал Митя тогда. «Может, потому и терпит, что вместе с ним терпит бедная Россия?— подумал сейчас.— Да только можно ли вознаграждать за... терпение, пусть и безмерное? Что это за добродетель?»

На набережной Яузы он рассказал бабушке о том, что случилось. «Что за Закон такой?» — спросила бабушка. Митя как мог объяснил. Бабушка поняла. «Знать, изверился Господь, хочет вывести нас в иные светлые времена. Тебе, стало быть, Моисеев посох...» — «Да есть ли они где, светлые-то времена?» — усмехнулся Митя. «На что воля Божья, то светло,— ответила бабушка.— Благодать, Митенька, как тюремный приговор, надо принимать ликуя. Не нам, Митенька, Его судить».— «А вот я бы посудил»,— вдруг сказал Митя. «Ты уж, Митенька, сам решай, от кого на тебя эта благодать»,— словно не расслышала его бабушка.

Митя совсем забыл, что сегодня у него городская математическая олимпиада. Посмотрел на часы: уже на полчаса опоздал. «Черт с ней, не пойду».— «Да нет, Митенька,— бабушка достала из кошелька деньги,— нехорошо лениться. Давай-ка на такси!» Митя без особой охоты поехал, его не хотели пускать, потом все-таки пустили. Задачи показались интересными, он решил их по-своему, в теоретической части поразмышлял о формуле Бернулли.

Через неделю Митя забыл о церкви, мифическом Законе единого пространства, олимпиаде. Вскоре его вызвали к директору. Директор недоуменно вручил Мите диплом победителя олимпиады, сказал,

что его приглашают на собеседование в математическую школу. Митя перешел учиться в эту школу и с тех пор занимался только математикой.

III

Митя сам точно не знал, когда ему явился план. Может быть, под Калининградом на песчаной косе, где они заканчивали последние приготовления к эксперименту. Они планировали начать в двенадцать дня.

В десять пришел телекс, что доктор Камерон вчера в восемнадцать ноль-ноль вылетел на своем «Боинге» из Сан-Франциско в Рим. Вся касающаяся доктора Камерона и его группы информация немедленно передавалась Мите. «К бабе намылился»,— ухмыльнулся Серов. Все знали: в Риме проживает любовница д. К. Лаура Постум, к которой он гоняет тяжелый «Боинг» каждые две недели.

Доктор Камерон был лысоват, носил коротенькую бородку, чуть затемненные очки. Он был похож на того, кем и являлся в действительности: шестидесятилетнего американца мексиканского происхождения. Митя так долго изучал снятые скрытой и открытой камерой видеоматериалы, что ему казалось: между ним и д. К. установился мысленный контакт. Митя очень опасался, как бы этот контакт не привел к насильственному обмену научными идеями. Пока что д. К. серьезно отставал. Но у него четыре «Яшиды». Они сами способны думать. У Мити — ни одной. Ситуация складывалась тревожная.

Была на пленке и Лаура Постум, полноватая итальянка тридцати с небольшим лет. Серов бесстрастно сообщил, что она бывшая проститутка. Еще и это, помимо конечной цели — Закона — странно сближало Митю и д. К. «Наверное, Бог избрал не только меня и Россию, но и д. К. с американским народом,— подумал Митя,— только зачем так примитивно дублировать ситуацию?»

Через некоторое время пришел телекс, что «Боинг» д. К., по всей вероятности, приземлился не на базе итальянских ВВС под Римом, а где-то в другом месте. «Чего они темнят?— возмутился Серов.— В другом месте! Не могут запросить данные со спутника?» Перед самым началом эксперимента поступил третий телекс: д. К. и Лауру видели в клубном римском ресторане. «Козлы,— сказал Серов,— они потеряли его почти на полсуток! Гнать из Италии!» Митя похолодел. Он понял то, чего не мог понять Серов. «Боинг» вообще не приземлялся — спутник это подтвердит!— доктор Камерон попал к Лауре иным путем: сквозь пространство!

Митя отдал должное романтическому мужеству старого мексиканца. «Воздушный путь» сам Митя всесторонне проработал полтора года назад. Разреженный, почти стратосферный воздух обещал хорошее свертывание пространства. Но этим все и ограничивалось. Коэффициент соединения со временем был ничтожно низок, а если говорить точнее, попросту отсутствовал. Д. К. с неземной скоростью пронесся по воздуху, но... не сквозь время! Митя, помнится, даже не стал экспериментировать, настолько это было очевидно. Хотя, конечно, забавно было бы полетать демоном! Коэффициент времени следовало искать не в воздухе, а на земле. Американцы не могли пройти спокойно мимо скорости. Митя подумал: пока они увлечены скоростью, «Яшиды» автоматом просчитывают бесчисленное множество возможных коэффициентов соединения со временем, ловят в темной комнате черную кошку, ищут иголку в стоге сена. При круглосуточной работе «Яшиды» выдадут единственно правильный ответ не раньше, чем через полгода. Доктор Камерон на блюдечке получит Закон, который Митя выстрадал, на который положил жизнь. Это было не очень справедливо. Еще полгода уйдет у них на создание установки. «Год,— подумал Митя,— у меня всего год, чтобы покончить с этим делом». Ему захотелось отменить эксперимент, чтобы потом поставить его по-другому, но слишком много людей и техники было задействовано от Калининграда до Владивостока. «Начинаем!» — скомандовал Митя. И в ту же секунду ему явился план.

Тогда это еще был не весь план. Весь план в технических и прочих подробностях явился после разговора с бабушкой.

Француз, как и обещал, прилетел в Москву в назначенный день. Кроме него и Мити, в палату вошли лечащие врачи, медсестра, Серов, вызвавшийся быть переводчиком. Медсестра сделала в почти прозрачную бабушкину руку укол, отключила электроды, сняла с бабушкиной головы пластмассовый колпак. Под колпаком бабушка была в белом платочке. Митя чуть не расплакался, такая родная и одновременно беспомощная она была. «Сейчас придет в сознание. Не злоупотребляйте разговорами, у нее сразу же начнутся сильные головные боли. Мы вас оставляем. Войдем через пять минут. Она должна подписать согласие на операцию добровольно, в присутствии свидетелей, то есть нас. У вас пять минут». — Француз приглашающе повел рукой в сторону двери. Все вышли. Серов замешкался. Ему не хотелось. Француз угрюмо посмотрел на Серова. Серов вышел, пропустив француза вперед.

Бабушка открыла глаза, улыбнулась, увидев Митю. Улыбка вышла мученическая. Митя почувствовал, как чудовищно болит у нее голова. Заговорил сбивчиво, быстро: необходима операция, хирург считает, что всему виной давняя черепно-мозговая травма, была ли такая, когда, как ее лечили, он берется сделать операцию, необходимо ее согласие, надо соглашаться, вот форма — надо подписать, единственное, что может случиться: она кое-что забудет, какие-нибудь второстепенные события из жизни, станет немного другой, но только на короткое время, это обычное дело при нейрохирургических операциях, потом образуется, это ведь несуществен-

Петр Чаадаев

Народы — существа нравственные, точно так же как и люди. Они образуются веками, как люди годами. Но мы, почти можно сказать, народ исключительный. Мы принадлежим к нациям, которые, кажется, не составляют еще необходимой части человечества, а существуют для того, чтоб со временем преподать какой-нибудь великий урок миру. Нет никакого сомнения, что это предназначение принесет свою пользу; но кто знает, когда это будет?

но в сравнении с тем, что болей не будет, она практически выздоровеет.

«Но ведь это буду уже не я»,—чуть слышно произнесла бабушка. Она всегда верно схватывала суть. Даже когда Митя объяснял сложные научные вещи. И он, в свою очередь, как бы проверял: что понимала бабушка, то было истинно. «Не надо, Митя, обойдемся. Как ты живешь?»—«Да не обо мне сейчас речь! Надо делать операцию!»—«Зачем? Что я буду? Ты вырос, у тебя своя жизнь. А... что я? Жениться не надумал? Показал бы невесту».—Она говорила спокойно, словно у нее не раскалывалась от боли голова. Митя понял: если ее не убеждает боль, он тем более не сумеет.

Они вдруг заговорили о чем-то несущественном. Что в саду в Хлебникове пропадают яблоки. «Ты бы съездил, Митя, сказал соседям, чтобы брали». Мите казалось, стены рушатся, надо куда-то бежать, спасаться, а он тупо и старательно шнурует ботинки. Какие яблоки? «Так что пожалей меня, Митенька,—сказала бабушка,—не хочу, чтобы голову распиливали, копались в мозгах. Докторам-то нашим я не сильно верю, ты уж заступись... Чтобы без обмана...»—закрыла глаза, видимо, боль сделалась нестерпимой. «Не отказывайся, прошу тебя!»—«Нет, Митя. Хватит об этом». Митя понял, что не уговорит. «Что хоть за травма-то была? И когда?»—«Да кому это сейчас интересно, Митенька? В конце тридцать восьмого... Под Новый год как раз. Дубиной по башке, а сказали потом, сама, мол, под падающую сосну сунулась. Пять часов валялась в снегу, думали, замерзла, а вот выжила как-то...»—«Кто ударил?»—«Уголовная одна, здоровая, бритвой всех полосовала. Велели ей...»—«Кто велел? Как фамилия начальника лагеря? Он жив? Я добьюсь, у меня есть возможности, его привлекут!»—«Нет, Митенька, ушел тот поезд... Осталась же живая. И ребеночка родила... А ты хочешь, чтобы опять череп ломали. Хватит, пожила всласть. Домой бы, а, Митя?»

За спиной кашлянули. Медсестра снова сделала бабушке укол, приладила к голове колпак. «Она не соглашается»,—глухо произнес Митя. «Я думаю, в таком деле не надо слушать больную, — выразительно посмотрел на него Серов,—надо все взвесить, всесторонне обсудить...»

«У нее действительно была черепно-мозговая травма пятьдесят лет назад, когда она находилась в заключении,—повернулся Митя к французу. — Никто ее там, конечно, не лечил. Можно обойтись без операции?» Француз ответил: операция — единственный шанс. Ну а лечение... Что лечение? Чередование сильных—вплоть до наркотических—снимающих боль препаратов, постоянное наблюдение. «Да-да, санаторий, уход, покой»,—закивали лечащие врачи. «Мне кажется, месье, вы бросаете больную на произвол судьбы», — заметил Серов. «Я зарабатываю на жизнь операциями, — задумчиво ответил хирург,—но не скрою: каждый раз испытываю облегчение, если операцию делать не надо...» — «Еще бы, консультация у него ненамного дешевле!» — шепнул Мите Серов. «Мне все же непонятно, месье, — Серов уже не считал нужным скрывать свое презрение,—что нам делать? Ждать, когда она умрет?» — «Молиться, — серьезно ответил француз,—молиться за нее и за всех остальных». Серов поморщился, словно у него вдруг заболели зубы.

«Митя, не мое, конечно, дело,—сказал он в больничном коридоре,—но ты совершаешь ошибку. Французишка—спец. Сделал бы по-быстрому операцию, она бы очнулась и знать не знала: делали, не делали? Не делали! Зато была бы здоровая, Митя!—Помолчав, добавил:—А так ты сам обрек ее на страдания».

Митя не ответил. В Серове, безусловно, было что-то человеческое. Но куда больше было в нем от машины, работающей в заданном режиме. Серова беспокоило, что, отвлекаясь на бабушку, Митя теряет время. А надо спешить. Таков режим. Фраза: «А так ты сам обрек ее на страдания»—изрядно позабавила Митю.

Он вспомнил, как однажды крепко выпил с Серовым в Крыму на объекте «С». Разговор зашел о «Яшиде». Серов сказал, что почти ухватил ее в Японии, но его засветили—даже не японцы, а американцы. Раскрут был суровый, у него не было дипломатической неприкосновенности, пришлось все бросать, сматываться через Южную Корею по чужому паспорту. А все три его японца попались. Это был провал, настоящий провал. Какой-то козел в центре решил выслужиться, дал приказ форсировать «Яшиду». Дофорсировались. Теперь ее стерегут в три глаза. «А кем были эти японцы?» — спросил Митя. Серов на мгновение замкнулся, протрезвел, остро взглянул на Митю ясными глазами: «Бизнесмены, Митя, это были бизнесмены».—«То есть богатые люди? Сколько же ты им платил?»—Митя не верил, что Серов располагал большими суммами. «Конечно, в сравнении с тем, что они имели, крохи,—ответил Серов,—ну там еще кое-какие выгодные контракты в соцстранишках через подставных лиц. Вообще-то ты прав, тут какая-то загадка. Работаешь—не задумываешься, а вот на досуге... Митя, ты даже представить себе не можешь, как дешев человек! Ну совсем как песок!»—Взял горсть, сыпанул из ладони в ладонь. Последнюю бутылку они пили на пляже.

«Человек дешев,—напомнил Митя Серову в коридоре, — неужели забыл?» — «Дешев-то дешев, — согласился Серов,—но иногда лучше вовремя заплатить много, чтобы потом не платить совсем уж непомерно». Митя хотел возразить, что дешевизна и человек—понятия несовместные, как гений и злодейство. Все, основанное на «человек дешев», кончается крахом. Но промолчал. Это был бессмысленный разговор, из тех, что если и вести, то не с Серовым.

Альберт Эйнштейн

Плановая экономика как таковая может сопровождаться полным порабощением личности. Достижение социализма требует разрешения некоторых исключительно сложных социально-политических проблем, например: как с учетом далеко идущей централизации политической и экономической власти предотвратить превращение бюрократии в силу, обладающую всей полнотой власти?

1949

«Боюсь, придется платить непомерно, — вздохнул Митя.— Без «Яшиды» мне никак».

...Без «Яшиды» его план был неосуществим.

IV

Когда Митя вновь появился в Крыму, бархатный сезон заканчивался. Но еще можно было купаться, и генеральский транспортник с зачехленным носом опять маячил в дальнем конце военного аэродрома. Перед самым отлетом из Москвы Митя вспомнил, что девушка просила привезти последние записи советских рок-групп. Разъярившийся Серов приволок целую сумку кассет. «Тут все, какие есть! Самолично конфисковал у спекулянтов!» Когда набрали высоту, легли на курс, Митя сунул одну в магнитофон. «Товарищ, верь, взойдет она — звезда пленительного счастья, и на обломках самовластья взойдет над миром русский рок!» Серов выругался. Митя подумал, что доктор Камерон дарит Лауре Постум более ценные подарки. «Ишь, зачастил с проверками! — недовольно покосился на транспортник Серов.— Из Афганистана не на чем военное имущество вывозить, а он жирует... Шугануть?» — «Шугани,— пожал плечами Митя,— будет летать в Сочи».

Эксперимент прошел хоть и с неожиданностями, но в целом успешно. Попутно сделали крупное открытие в области физики. Это усложнило работу. Опять Бог испытывал Митю. На «воздушный путь» Митя не купился. Теперь — «невидимый путь». Почти по Герберту Уэллсу. А от Мити ждали результата. От результата зависела политика государства. Государство блефовало, как бы имея в кармане результат. Но результата не было. В кармане у государства был пока что кукиш. Да и тот невидимый.

После эксперимента Митя, как от него и требовали, составил список отличившихся, включил девушку, включил Серова. Награды получили все, кроме Серова. Девушке дали даже более почетный орден, чем предполагалось. Напротив фамилии Серова обнаружилась стертая ластиком карандашная приписка: «Где «Яшида»... мать?»

Серов рассвирепел, расценил это как вызов. «Опять форсируют!» По последним сведениям, американцы самостоятельно склепали-скопировали две или три «Яшиды». Отступать было некуда. Все чаще Серов заводил речь об Афганистане. Там горела земля, гибли люди, а, по Серову, самый верный путь к «Яшиде» лежал через Афганистан. «Можно еще через Ливан,— угрюмо добавлял Серов,— но сионисты настороже».

Чем ближе был конец, тем призрачнее становилась Митина связь с действительностью. Ему казалось, он летит, связанный по рукам и ногам, в аэродинамической трубе, не в силах ничего изменить. Митя забыл о Боге. Забыл о людях. Он сознавал, что сделался маньяком, но это мало беспокоило его. Митя требовал от Серова «Яшиды» любой ценой, то есть проводил в жизнь ненавистную идею дешевизны человека. Он сам, его помощники едва ли спали больше четырех часов в сутки. Работы на объекте «С» велись безостановочно. Даже девушка-орденоносец стала раздражать Митю.

Она раздражала тем, что безропотно примирилась со своей участью. Лаура Постум, случалось, захлопывала дверь перед носом доктора Камерона, спускала его с лестницы. Ей было плевать, что он ученый с мировым именем, да к тому же миллионер. Девушка слишком уж терпеливо несла службу. Митин самолет, мнимая его власть приводили ее в трепет. Лаура Постум никогда не говорила с д. К. о правах человека, проблемах выезда за рубеж, социальной несправедливости, государственном и политическом устройстве Соединенных Штатов или Италии. Она говорила д. К., что любила в жизни только одного человека — уругвайского богослова, пятнадцать лет назад стажировавшегося в Ватикане. Девушка, напротив, все время заводила речь о том, о чем Митя во время работы предпочитал не думать. Он, как и все, смирялся, внутренне не соглашаясь. Эта язва разъедала все вокруг, превращала страну в хлев, людей — в говорящих животных. Митя убеждал себя, что он выше этого, но девушка заронила сомнение.

— Сверли лацкан для ордена,— сказал Митя, когда вернулся.

— Славный минтай оправдал надежды? — Девушка за время его отсутствия еще больше загорела и в сумерках напоминала негритянку, если только возможны светлоглазые, русоволосые негритянки.

— Еще как!

Митя вспомнил, что поначалу эксперимент казался блистательно проваленным. Икра минтая, исчезнув с песчаной косы под Калининградом, не возникла в указанном квадрате неподалеку от Владивостока. Ни раньше, ни позже. Время шло. Над косой кричали чайки. Связь с Владивостоком была непрерывной. С Москвой тоже. Не было только банки минтая. Это обстоятельство делало связь с Москвой несколько тягостной. «Пусть ищут,— распорядился Митя,— должна быть. Надо разбить квадрат на сантиметры, вызвать солдат, желательно первого года службы. Пусть пообещают: кто найдет — немедленно на дембель!» Где-то в тех краях служил младший брат девушки. Он присылал ей на главпочтамт до востребования полные тоски и ужаса письма. «Может, повезет малому»,— подумал Митя.

По мере того, как во Владивостоке ничего не происходило, в Калининграде — через Москву — атмосфера сгущалась. Помощники попрятались. Серов мрачно ходил из угла в угол, мускулы под белой рубашкой шевелились. Наверное, ему хотелось выявить виновного и убить на месте.

Вошел еще более спокойный, чем обычно, Фомин, посмотрел на Митю, как на пустое место, велел представить копии всех компьютерных программ, вполголоса распорядился, чтобы никто никуда не отлучался до выяснения. Митя обозвал его бериевцем, заорал, чтобы убирался. «Зачем горячитесь? — равнодушно спросил Фомин. — Вы делаете свое дело, я — свое». От бессонницы, напряжения Мите в голосе Фомина почудился грузинский акцент. Он расхохотался. Смех его в придавленной трусливой тишине звучал странно.

По белому с золотым гербом на диске телефону позвонил из Москвы помощник руководителя, курирующего их работу. Если к самому руководителю Митя относился нормально, во всяком случае, ме-

жду ними была ясность, то с помощником ясности не было. Митя старался его избегать, но это было невозможно — все дела шли через него. Помощник сказал, что Сергей Андреевич (так звали руководителя) просит доложить ему результат. Как только это случится. В любое время дня и ночи. Почему-то Митя был уверен, что Сергей Андреевич ничего не просит, во всяком случае, в данный момент не просит, помощник давит по собственной инициативе. Но разобраться, дойти до истины был бессилен. Бессилие угнетало. «Вам доложат»,— бросил трубку Митя.

Мысли стали путаться. Банка могла быть где угодно: на Марсе, в походном шатре князя Игоря, в Бермудском треугольнике.

Когда Митя под бдительным взглядом Фомина, якобы ожидающего звонка министра обороны по правительственному телефону, наливал в фужер коньяк, из Владивостока растерянно сообщили, что банка вроде бы найдена, но она... невидима. То есть они чувствуют руками, внутри булькает, но она... невидима, потому не могли столько времени найти. А лежит, видать, давно, вся в росе. «Немедленно подключите датчики истечения энергии! — заорал Митя, забыв про коньяк.— Диктую формулу. Вводите в программу, начинайте рассчитывать временной коэффицент!»

Забегали помощники. Фомин и Серов встали навытяжку, ожидая приказаний. Митя давно заметил: когда получалось, он был всемогущий Бог, когда нет — сомнительный подозреваемый смертный. «Я думаю,— перевел дух Митя,— скоро она станет видимой».

И действительно, минут через десять ошеломленные владивостокцы сообщили, что банка стала «как из студня», а еще через минуту, что она «совершенно нормальная, только какая-то бледная».

Так было экспериментально установлено, что, пройдя через единое пространство, предмет некоторое время остается невидимым. Оптическое изображение движется через единое пространство медленнее, чем материя. Но потом нагоняет, налепляется, как этикетка на коробок.

— Эксперимент прошел блистательно, — повторил Митя.— Банку долго не могли найти, она вдруг стала невидимой.

— Как невидимой? В самом деле?— удивилась девушка.

— Правда, ненадолго. Но достаточно, чтобы все там взбесились.

— Теперь тебя упрячут под землю,— вздохнула девушка.

Все это время она жила в его домике на объекте «С». Митя обнаружил кое-какую перестановку мебели в комнатах. На кухне был сделан ремонт. Везде стояли цветы. Терпкий степной запах был удушающ. Как и то, что теперь Митя не мог быть в домике один, рядом все время была девушка.

Он допоздна работал на объекте. Вернувшись к себе, посидел еще за персональным компьютером. Это была детская в сравнении с «Яшидой» машинка, но и она кое на что годилась.

В общих чертах план представлялся хоть и рискованным, но вполне выполнимым. Кратковременная невидимость давала дополнительные преимущества.

Митя вдруг подумал, что, если его действиями движет Бог, он должен в ближайшие же дни позаботиться о «Яшиде», чтобы Митя смог рассчитать так называемый «коэффициент судьбы» — понятие в математике абсолютно новое, можно сказать, революционное. Богу было нелегко открыть Мите свою, быть может, последнюю тайну. Потому он и не торопился с «Яшидой».

Почему-то Митя был уверен, что коэффициент судьбы — величина ничтожно малая, близкая к абсолютному нулю, но весьма склонная к обратной прогрессии. То есть что бы ни произошло с человеком ли, с отдельной страной или целым миром, Бог уже как бы это предусмотрел и решил. Неужто Бог — недобросовестный прокурор, задним числом утверждающий любой приговор, эдакий Вышинский? Мите не хотелось так думать. Но он не мог отделаться от мысли, что коэффициент судьбы — величина не только бесконечно малая, но еще и постоянная, неизменная. Как отношение окружности к диаметру, как ускорение, с каким падает в пространстве по отношению к своему весу предмет. Поэтому: что бы ни было предпринято во изменение судьбы человека ли, общества ли, результат будет ничтожен. Мите хотелось вычислить коэффициент судьбы и тем самым математически это доказать. Налицо была явная странность: Митя желал научного подтверждения того, что его план хоть и осуществим теоретически, но... бесполезен, как попытка привести в чувство скончавшегося с помощью нашатыря. Зачем? Митя не знал. Шевелилась смутная надежда, что Бог не оставит, выручит. Так было до сего дня. «Выполнить в виде исключения» — такую резолюцию накладывали на Митины рапорты высокие руководители. Может, и Бог выполнит «в виде исключения»?

Компьютер между тем начал выдавать галиматью. Митя забылся, поставил ему непосильные задачи. Выключил, подошел к окну, увидел кусок доцветающей степи, узкую полоску белого песка, гладкое, как экран, море. Над морем стояла луна. Море фосфоресцировало, словно Бог на огромном дисплее решал какую-то свою задачу.

Услышав то ли всхлип, то ли вздох, Митя обернулся. В глубине комнаты на белых простынях тело девушки казалось темным. Глаза блестели. Блеск не обещал ничего хорошего.

— Я все думала...— сказала девушка, подтянув колени к подбородку.

— О чем?— Митя подумал, вероятно, она будет делиться с ним какими-то иными мыслями. Не теми, какими делилась с многочисленными иностранными клиентами, а в дождливое межсезонье — с седыми золотозубыми южанами, отваливающими по пятьсот рублей за сутки. «Но разве от этого ее мысли менее интересны?— усмехнулся про себя Митя.— Может, она расскажет мне про своего уругвайского богослова?»

Но он ошибся.

— Я думала, как они ухватятся за эту невидимость,— продолжила девушка.— Столько дополнительных возможностей.

— Вероятно,— ответил Митя,— но этим будут заниматься другие люди. Меня интересует единое пространство.

— Но ты хоть представляешь, что ты им даешь?

Как они распорядятся? Ведь это попадет в руки Фомину!

— Фомину?—удивился Митя.—Ну, даже если и Фомину, что дальше?

— А то,—шепотом произнесла девушка,—что ты своими открытиями усиливаешь царующее зло, делаешь его неуязвимым. Разве мы свободные люди, Митя? Неужели наша жизнь кажется тебе столь привлекательной, что ты хочешь, чтобы она длилась... всегда? Чтобы твои дети, внуки тоже так жили? Ты, Митя, ты собираешься дать им все для того, чтобы они... законсервировали нас... как банку минтая от Калининграда до Владивостока! Если они сделаются самыми сильными, мы—самыми несчастными. Зачем им тогда что-то менять?

«Царующее зло,—подумал Митя,—это... Добролюбов? Или Чернышевский? Не хватает нам устроить диспут о свободе».

— Не понимаю, тебе-то нужна какая свобода?—усмехнулся Митя.—Доллары, что ли, легально менять?

Глаза девушки наполнились слезами. Как-то очень быстро она утратила профессиональные навыки: острый язык, настороженность, готовность к отпору. Стала обидчивой и изнеженной. Своим поведением она опровергала пословицу: «Сколько волка ни корми...» Девушка явно не смотрела в сторону леса.

— Говоришь прямо как Фомин,—вздохнула она.—Мне нужна такая свобода, чтобы, как твою бабушку, не сажали неизвестно за что, не били в лагере дубиной по черепу. Слишком многого хочу?

Митя подумал, что, в сущности, свободен во всем, что касается работы. На остальное времени нет. «В виде исключения,—вспомнил резолюцию на рапортах.—Я существую в этом мире в виде исключения...»

— В том, что ты говоришь, безусловно, есть резон,—ответил Митя,—но ты как-то слишком уж непримиримо разграничиваешь: «они» и «мы». А это части единого целого. «Они» такие, потому что такие «мы», потому что позволяем им быть такими. Меняться нам можно только вместе, порознь не получится...

...Митя вспомнил белые стены в огромном кабинете Сергея Андреевича, чистые окна, вид на собор, золотые купола. Купола в тот день сверкали нестерпимо. По блестящей, как начищенное голенище, брусчатке ползли желтые и красные осенние листья. Все здесь дышало покоем, казалось незыблемым, вечным. Митя подумал: начнись завтра война, взлети все на воздух, и на то окажется воля Божья, столь ничтожен в мире коэффициент судьбы. «А как, интересно,—усмехнулся Митя,—соотносится коэффициент судьбы с коэффициентом власти?»

Сергей Андреевич был бодрым человеком лет шестидесяти с небольшим. Митя застал его посреди кабинета делающим подобие зарядки. Сергей Андреевич был в белой рубашке. У него было утомленное, несколько капризное выражение лица человека, сжившегося с властью и в то же время постоянно помнящего, как легко эту власть потерять. Однако терять отнюдь не собирающегося. Поэтому в его лице была еще и твердость. На большом письменном столе стоял всего один телефон. Прочие находились в приемной.

Митя коротко рассказал об эксперименте, охарактеризовал общее положение на сегодняшний день.

Сергей Андреевич слушал внимательно. С ним было легко говорить. Он разбирался в математике и физике примерно на уровне студента-третьекурсника, скажем, энергетического института. Этого было достаточно.

«Эффект невидимости в сочетании с единым пространством, — задумчиво произнес Сергей Андреевич, — все равно что эликсир вечной юности в придачу к философскому камню. Даже Фаусту так не везло. Не страшно?» — «Хотите посадить меня как американского шпиона?» — Митя подумал, в случае необходимости Фомин и Серов вполне могли бы дать нужные показания. «Неужели наша обновляющая действительность дает основания для столь мрачных предположений?» — засмеялся Сергей Андреевич, но как-то не победительно. «Она неопределенна, — пожал плечами Митя, — а всякая неопределенность, согласитесь, чревата...» — «Чревата, — согласился Сергей Андреевич, — конечно, чревата, я даже знаю, чем именно чревата, — и, помолчав, добавил: — Но в наших с вами силах покончить с неопределенностью, сделать жизнь более человечной». — «Сделаться всем невидимыми и уйти за границу?» — «Боюсь, такой вариант никак не устроит заграницу, — вздохнул Сергей Андреевич. — Я сейчас объясню, что имею в виду. Но сначала два неизбежных вопроса: всем ли вы обеспечены, когда можно ждать результата?» Митя ответил, что обеспечен в общем-то всем. За исключением новейшего суперкомпьютера «Яшида». «Мы делаем все от нас зависящее, — пометил что-то в блокноте Сергей Андреевич, — в ближайшее время должно решиться. Но это не по моей линии. Со своей стороны могу предложить такой вариант. Мы собираемся заключить соглашение с одной японской электронной фирмой. Они согласны принять делегацию наших экспертов. Поезжайте, может, удастся собрать по частям? Возъмите с собой двух или трех помощников, остальные члены делегации, — развел руками, — охрана». Митя объяснил, что «Яшида» — принципиально новый компьютер, японцы никого к нему не подпускают. Только американцы сумели вырвать четыре штуки, да вот еще, говорят, несколько штук сами склепали. Вряд ли от такой поездки будет толк, хотя, конечно, ему бы хотелось побывать в Японии. Митя сделал значительную паузу. «Вы молоды, у вас все впереди», — неопределенно отозвался Сергей Андреевич. Митя понял, что этот вопрос волнует его не в первую очередь. «Я надеюсь, ре-

Василий Селюнин

Реформаторы подменили право собственности на средства производства вздорным понятием самостоятельности трудовых коллективов. Это поистине

зультат будет к первому марта, — сказал Митя, — в феврале закончим последнюю серию испытаний». — «К первому марта, — повторил Сергей Андреевич, — к первому марта... Теперь попробую объяснить: каким образом мы могли бы покончить со столь надоевшей всем нам неопределенностью? Вам известно, каким тяжким бременем ложатся на наш бюджет военные расходы. Я полагаю, ни для кого не секрет, что экономическая реформа, которую мы начали проводить, означает в действительности демонтаж прежней модели развития — экстенсивного, экологически самоубийственного. Начальная стадия реформы неизбежно вызовет спад, ухудшение общего и без того не блестящего положения. Начальная стадия — самая опасная. Мы как бы попадаем в замкнутый круг. Останавливаем ряд предприятий. Чтобы быстро их модернизировать, резко повысить производительность, выкарабкаться из спада, нужны колоссальные средства. Где взять? На нефть и газ цены упали. Еще за трубы не расплатились. Древесины самим не хватает. Торговать нечем. Значит, необходимо снять средства с военной промышленности. Поставить об этом вопрос можно будет только в случае достижения соглашения, в результате которого противная сторона откажется от своего космического варианта, мы — от альтернативной программы. Не будет соглашения — не будет дополнительных миллиардов для реформы. Не будет миллиардов — не будет модернизации промышленности, самой экономической реформы. Не будет экономической реформы — не будет демократии. Какая при крепостничестве демократия? Не будет демократии — настанет экологическая катастрофа. При безгласии-то кто будет думать о природе? Затопчут даже те робкие ростки, которые мы с таким трудом сейчас оберегаем. Нас сметут. Придут другие. И тогда вы действительно можете оказаться американским шпионом. О себе я уж не говорю, — мрачно посмотрел на Митю Сергей Андреевич. И продолжил: — Как мы можем убедить противную сторону отказаться от космического варианта? Только если докажем: у нас есть возможность доставлять боевые заряды на околоземные платформы вопреки самой совершенной противоракетной обороне. Каким образом? Благодаря использованию открытого нашим ученым Закона единого пространства. Наш ученый опередил группу доктора Камерона. Мы первые создали установку, позволяющую ракетам преодолевать единое пространство. Платформы будут уничтожены раньше, чем сигнал поступит на локаторы! От единого пространства защиты нет! Только это сможет их остановить. Таким образом, Митя, в ваших руках в некотором роде судьба социализма. Не того, безрадостного, какой был, а будущего — светлого, счастливого, свободного, который мы мечтаем построить. И что самое на сегодняшний день великое научное открытие сделал молодой русский ученый, родившийся после пятьдесят шестого года, не изведавший ужасов сталинизма, это, Митя, уже довод в пользу того, будущего социализма. Такое открытие могло быть сделано только в стране, у которой великое будущее. Какие еще нужны доказательства, что свобода лучше крепостничества? Мы только начинаем! Мы еще скажем свое слово! Ваше открытие, Митя, — камень в фундамент, с которого мы начинаем строить новое демократическое общество. Единственно, Митя, — доверительно обнял его за плечи Сергей Андреевич, — мы очень просим вас поторопиться. В январе возобновятся переговоры. Они будут продолжаться месяц. Результат должен быть к концу января! Мы не можем выйти на переговоры с пустыми руками. Потом, конечно, у вас еще будет время...»

Митя хотел поговорить с Сергеем Андреевичем об удушающем отставании в науке, о новоизбранных академиках, о бессмысленной, унижающей его достоинство опеке со стороны Фомина, о ненормальном количестве бумаг, которое ему приходится сочинять чуть ли не каждый день, наконец, о девушке, чтобы ее не замуровали в стену секретности, о путешествиях — Мите давно хотелось побывать в других странах, познакомиться с их институтами, лабораториями, повстречаться с учеными. Но какими-то мелкими оказывались каждый раз эти проблемы в сравнении с тем, о чем говорил, на какие высоты взмывал Сергей Андреевич. Митя бы не молчал, возражал бы, если бы в чем-то был несогласен. Но Сергей Андреевич говорил так, как говорил бы на его месте сам Митя. Спорить, следовательно, было не о чем. Митя пообещал, что сделает все от него зависящее, чтобы результат был к концу января. «Если будет что-то важное, обращайтесь прямо ко мне,— протянул на прощание руку Сергей Андреевич,— со всеми другими вопросами к помощнику». Митя вспомнил, что давно хотел поговорить и об этом помощнике, но опять смолчал. Во-первых, они уже попрощались. Во-вторых, помощник был мелкой сошкой, а речь шла о том, быть или не быть новому социализму.

Помощник Сергея Андреевича выслушивал Митю с неизменной улыбкой. Поначалу Митя не обращал внимания на эту противную улыбку, считал помощника не более чем исполнителем воли начальника. Но быстро понял, что ошибается. Помощник был не исполнителем — толкователем воли Сергея Андреевича. Он толковал ее так, как находил нужным. Спорить с ним было бесполезно. У помощника было куда больше возможностей доказать Сергею Андреевичу, что он толкует его волю правильно, нежели у Мити, кричащего что-то через тысячи километров в трубку телефона с золотым гербом.

Какой-то он был безликий, этот помощник. В толпе на улице Митя не узнал бы его. Худощавый, лысеющий, остролицый, в сером костюме, он, казалось, не владел в нужном объеме человеческой речью, изъяснялся коротко, казенно, убого. Он понятия не имел о новом социализме, общечеловеческом

безумие: сохранить средства производства за государством и в то же время дать людям самостоятельность в их использовании — как хочешь, так и распоряжайся чужим добром. Результаты не заставили себя ждать ... Казенное, бесхозное, — да кто ж его станет беречь да приумножать? Урвать побольше заработка с казенного завода, урвать немедля, пока хозяин не застукал, — вот это славно, это по-нашенски, по-люмпенски, однова живем...

1990

значении Митиного открытия. Когда Митя ссылался на Сергея Андреевича, помощник лукаво разводил руками: «Сергей Андреевич — это... идеализатор. Луну с неба пообещает. Надо смотреть на этот вопрос практически». Когда Митя звонил по телефону, помощник сам решал, соединять или нет. Это было утомительно. У Мити не было желания справляться о здоровье жены помощника, интересоваться, не нужно ли чего помощнику из Крыма. Каждый решенный на высоком уровне вопрос, как днище корабля ракушками, обрастал десятками дополнительных, мелких, унизительных. Сергей Андреевич тревожился о судьбах социализма, существовал в мире высоких, чистых идей. Идеи спускались в руки косноязычного помощника и странным образом утрачивали высокую чистоту, превращались в обычную текущую рутину. Над рутиной власть помощника была императорской. Он мог двинуть дело в минуту, мог придушить на месяцы. Причем во втором случае установить его вину было крайне затруднительно, так отлаженно действовала машина бессмысленных согласований, ссылок на объективные обстоятельства.

Как-то Митя спросил у Сергея Андреевича: зачем рядом с ним такой человек? Сергей Андреевич ответил: «Нам бы с вами, Митя, разобраться со своими проблемами. Если мы начнем еще обсуждать кадровые...» Митя был готов поклясться, что Сергей Андреевич после этого стал относиться к нему прохладнее. И помощнику каким-то образом сделались известными его слова. Он смотрел на Митю с нескрываемой иронией, чуть было не отобрал у него самолет.

Митя навел справки, узнал, что Сергей Андреевич — четвертый по счету шеф помощника. Первый умер. Второго тихо сняли. Третьего отправили на пенсию за развал работы. А помощник переходил от одного к другому, как оклад, как черная могучая машина, как госдача за зеленым забором. В чем незаменимость этого человека? Почему он ни за что не отвечает? Встречаясь с Сергеем Андреевичем, затем с помощником или сначала с помощником, затем с Сергеем Андреевичем, Митя не мог отделаться от впечатления, что стоит перед двуликим Янусом и, если хочет чего-нибудь добиться, должен ладить с обоими ликами божества.

Но не получалось.

Митя вспомнил, как однажды прямо из Кремля ему надо было попасть в Крым на объект «С». Оттуда позвонили: метеопрогноз на ближайшие четыре часа идеально соответствует условиям эксперимента. У них все готово, надо начинать. Но Митя был в Москве. Тут была совсем другая погода. Бушевала летняя гроза. В окне — серая стена падающей воды. Только когда вспыхивали молнии, из серого небытия возникали купола, редкие, вставленные в брусчатку, деревья. Сергей Андреевич позвонил министру гражданской авиации. Тот доложил: грозовой фронт невиданного насыщения протянулся над Европой. От Украины до Норвегии в небе сейчас нет ни одного самолета. В таких условиях взлет невозможен. Как только будет просвет, он даст знать. Сергей Андреевич связался с командующим ВВС. Истребитель отпадает, сказал командующий, там нет места для пассажира. Можно, конечно, поднять стратегический бомбардировщик. Но... Во-первых, взлетная под Москвой заливается водой, взлет небезопасен. Во-вторых, специальная посадочная в Крыму сейчас ремонтируется, бомбардировщик сможет доставить пассажира только на Черноморское побережье Кавказа. В-третьих, в этом случае придется давать оповещение, иначе ВВС НАТО в Турции будут приведены в боевую готовность. Оповещение передается по каналам МИДа. У него нет полномочий единолично решать этот вопрос, необходимо согласовать. «Не имеет смысла, — сказал Митя, — не успею за четыре часа. Ладно, пусть проводят без меня». Сергей Андреевич развел руками: «К сожалению, бессилен помочь. Стихия не в моей власти».

Митя вышел в приемную. «Соедините с объектом «С», — попросил помощника. Гроза усиливалась. Молнии сверкали ежесекундно. Меньше всего Митя думал в эти минуты о помощнике: крысистом, перекладывающем на столе бумажки. «Очень надо в Крым?» — вдруг услышал его голос. Помощник смотрел ему в глаза, но не снисходительно-иронично, как раньше, а испытующе-серьезно. Митя всегда знал, что помощник — непростой человек. «Очень, — вздохнул Митя, — но не судьба». — «Подожди, не суетись», — в одностороннем порядке перешел на «ты» помощник. Снял трубку, набрал номер: «Федорыч? На хозяйстве? Что там у тебя с самолетами? Есть это... в боевой готовности? Да вижу, что дождь. Надо. Дело государственной важности. Министр с командующим не сумели, а мы отправим товарища. Да уж пригодится, пригодится... — подмигнул Мите. — Что ты заладил: дождь, дождь! Это тут дождь. А взлетит, там сухо и светло! Да. Выезжает. Будет через полчаса. Он скажет, куда лететь. Ничего-ничего, риск — благородное дело. И это... чтобы побыстрее. Кто не рискует, тот в тюрьме не сидит, — положил трубку, повернулся к Мите: — Через два с половиной часа будешь на месте. Я позвоню на объект, что вылетаешь». Казалось бы, Митя должен был испытывать благодарность, он же почувствовал тревогу. Внутри одной — видимой — власти скрывалась иная — невидимая. Невидимая была сильнее. И не особенно это скрывала. Он бы отказался лететь, если бы не так нужно было на объект.

Другой случай произошел, когда Митя составлял наряд на японскую компьютерную технику. Он должен был встретиться с Сергеем Андреевичем, но того вызвали на срочное совещание. Митя оказался в кабинете у помощника. Его, помнится, удивило, с какой оперативностью помощник решал все вопросы. Бабушку в клинику? Пожалуйста. Нужна консультация зарубежного специалиста? Как фамилия? Ага, француз. Уже приезжал к нам. Много берет, пес. Будет консультация. Изыщем средства. Девушка просит однокомнатную квартиру в Ялте? Позвоним в горисполком, решим. Как-то незаметно в руках у помощника оказался перечень заказанной Митей аппаратуры. «Сегодня же завизируем, оформим в международном банке платежное поручение, вечером уйдет дипломатической почтой в Токио, в посольство». Помощник выдержал значительную паузу. Митя понял, что это не просто так. «Ну да, — подумал он, — французский специалист, квартира для девушки... Специалиста можно пригласить на следующей неделе, а можно и через полго-

да. Квартиру можно дать сразу, а можно в очередной пятилетке, в доме на окраине, на первом этаже».

— Я понимаю, — сказал Митя, — будут брать оптом, выйдет экономия. Пожалуйста, я впишу. Что вам нужно: видеомагнитофон, телевизор, камера, персональный компьютер? — достал ручку, чтобы внести в список.

— Вы это... не вполне понимаете, — недоуменно посмотрел на ручку помощник, рассчитанным ударом ноги подкатил Мите кресло на колесиках: — Садись! Слушай сюда! — заговорил азартно, быстро, опять в одностороннем порядке перейдя на «ты»: — В Сингапуре торговым атташе сидит мой кореш. Вместе начинали в комсомоле. Я его и пихнул в посольство, когда он погорел на девочках. Я тут говорил с ним по телефону: он берется все, что там у тебя в списке, даже с перехватом, взять у местных китайцев в два раза дешевле! Документы, номера, бирки будут японские, как из Токио. Это, не бойся, верняк. Ты вот мне от щедрот персональный компьютер предлагаешь, а у меня на даче пять штук лежат, распечатать некогда. Сам могу тебе подарить. Мы с ним прикинули: экономия триста тысяч! Врубился?

— Чего... триста тысяч?

— Зеленых! Долларов! Немного возьмем, остальные кинем в банк, пусть нарастут проценты. Годика через два поделим. Ты сейчас засекреченный, я тебя рассекречу. После Женевы поедешь в Европу. Хочешь с этой... бабой ялтинской, хотя там этого добра навалом. Копейки считать не будешь. Ну? Меняем адрес: Токио на Сингапур? Только быстро, быстро, у меня дела!

Пока он говорил, в голове у Мити гремело, как в погремушке. Вопрос, провалиться ли миру или ему пить чай, помощник решал в пользу чая. «Какой, к черту, новый социализм, — подумал Митя, — когда... тут такие люди?»

Он и раньше замечал в речи помощника блатные словечки. Мите захотелось плюнуть ему в морду, только имел ли право он, требующий «Яшиду» любой ценой, плевать кому бы то ни было в морду?

— Сингапурское вакуумное производство не идет в сравнение с японским, — сказал Митя помощнику, — это халтура, они штампуют схемы. Оборудование выйдет из строя, назначат комиссию, хлопот не оберешься, — и, не прощаясь, вышел.

...Митя не стал рассказывать об этом девушке. Он вдруг подумал, что напрасно она тревожится, что открытие попадет не в те руки. «Они, — подумал Митя, — не приобретатели, а растратчики. Руки у них устроены не так, чтобы удержать случайно доставшееся. Только чтобы украсть, промотать, загубить, отдать за бесценок...»

Несколько дней на объекте «С» все шло своим чередом. Нарушил покой Серов, среди ночи доставивший на конфискованном генеральском транспортнике «Яшиду». Часть проводов была обрезана, на дисплеях запеклась кровь. «Не сошлись, понимаешь, в цене», — усмехнулся Серов. Это было поправимо. Провода заменили. Кровь оттерли. Теперь Мите ничто не могло помешать.

V

...Асфальта в подмосковном городе Булине пятьдесят лет назад почти не было. Мите показалось, лица у женщин в ту пору были проще и добрее. Мысли читались без труда. Среди мужчин было много бородатых. Одеты почти все были убого. Но пьяных не было заметно, хотя в бревенчатом сарае под вывеской «Магазин» продавались водка, вино, пиво. Даже импортный германский «доппель-кюммель» в красивой — черного стекла — квадратной бутылке.

Мите все время приходилось осторожничать, хотя в принципе он мог этого не делать. Те, с кем он соприкасался, ощущали что-то похожее на порыв ветра. Они, конечно, могли удивиться: откуда ветер при полном безветрии? Но увидеть Митю никак не могли. Полностью физические параметры вернутся к нему через четыре часа. Он станет абсолютно видимым. А еще через час подключенная к установке «Яшида» вернет его обратно. Мите, честно говоря, хотелось, чтобы это случилось раньше. Что ему — видимому — целый час делать в жутком тридцать восьмом году? Но коэффициент времени превращал пять минут, которые Митя отсутствовал в настоящем, в пять часов в прошлом. Только начиная с этого — пять минут и пять часов — уровня в работе с единым пространством начинала наблюдаться относительная стабильность. Сократи Митя время, он вполне мог бы угодить в другой век и не в Подмосковье, а куда-нибудь в Прованс. Митя бы и рад не сидеть в прошлом лишний час, да не получалось.

Первое, что сделал Митя, заполучив «Яшиду», заменив обрезанные провода, оттерев дисплеи от крови, — рассчитал так называемый «коэффициент судьбы». Результат превзошел ожидания. Коэффициент оказался величиной не просто бесконечно малой, но отрицательной, то есть почти что иррациональной. Все было предопределено и одновременно непредсказуемо. Митя не рисковал изменить прошлое, пытаясь уберечь бабушку от чудовищного ареста и как следствие — удара дубиной по голове. Он рисковал лишь поверить в Бога, если путешествие окажется удачным.

Улица, где жила бабушка, называлась Воздвиженской. Но сколько Митя ни ходил по городу, такой улицы не было. У него закралось сомнение: тридцать восьмой ли это год? Но городская газета «Сталинский путь» свидетельствовала: 30 июня 1938 года.

Митя оказался на окраине. Тут стояли черные заколоченные дома. На огородах, небольших полях перед домами росли сорняки.

Возвращаясь в центр по пыльной главной улице, Митя внимательно вглядывался в лица прохожих. Прежде он как-то не задумывался, что он русский. Сейчас вдруг чуть не заплакал от жалости к этим людям, таким непохожим на тех, которые окружали его в его время. Эти люди с малолетства жили трудом, а не словами. Среди них не было белолицых, гладкоруких. Митя читал на лицах страх, складкой засевшее меж бровей сомнение. И — покорность. Она главенствовала надо всем. Завоевателей вроде не было видно, но городок казался оккупированным. Митя подумал, что присутствует при генетическом перерождении людей. Возможно, то

были ощущения, навеянные знанием истории. В действительности же люди были обычными. Им хотелось жить, а их понуждали умирать. Умом этого не постигнуть. Это хуже, чем вражеская оккупация.

На одном из угловых домов Митя разглядел свежую табличку: улица Гусева. Прежнее название было густо закрашено. Но Митя разобрал: Воздвиженская. «Ну да, — вспомнил он, — я же смотрел архивы. Гусев — тогдашний секретарь горкома, его расстреляют в следующем году. Улица станет Четвертой Пролетарской». Митя пошел по улице, заглядывая в окна. Наконец отыскал дом по почтовому ящику, на котором было выведено: Ярцевы. Это была бабушкина фамилия.

Дома никого не было. Бабушка училась в техникуме, ее родители, должно быть, косили сено. Им оставалось жить чуть более трех лет. Осенью сорок первого немецкий снаряд похоронит их под обломками дома.

Неожиданно Митя понял, почему ему удался план, почему он первым среди смертных преодолел единое пространство, почему он сейчас стоит перед домом своей двадцатилетней бабушки. Это Бог снова выбрал его, но на сей раз, чтобы не тайну открыть, а горько посетовать: каково вот так смотреть на людей, зная не только их судьбу, но и то, что, как ее ни изменяй, она не изменится. Коэффициент судьбы — величина иррациональная! Митя вдруг ощутил порыв ветра, невозможный при полном безветрии. Кто-то куда более могущественный и невидимый, чем он сам, дружески прикоснулся к нему. Митя похолодел: это мог быть только Бог — властелин единого пространства. Да, между ними определенно установились доверительные, «в виде исключения», отношения. Митя подумал, они всегда худо заканчиваются не для того, кто снизошел, а для того, кто осмелился. Но, может, и тут Мите — «в виде исключения»?

Будет о чем поговорить с девушкой по возвращении. Митя словно очнулся, посмотрел на часы. Все было бы прекрасно, если б не одно обстоятельство: сегодня бабушку возьмут, а он еще ничего не предпринял.

Митя решительно зашагал к центру, к одному из немногих в Булине каменных зданий. Там помещался горотдел НКВД. Проходя мимо инвалида, скучавшего возле бочки с квасом, Митя снова почувствовал встречный, как бы предостерегающий его ветер, но не придал этому значения.

Каким-то суетливым, бестолковым показалось ему учреждение. Ходили точно такие же, как на улице, люди, только сплошь с красными глазами. В кабинетах шла будничная работа. Допрашивали перепуганного священника. Обсуждали: остановится или нет выпечка, если возьмут все руководство хлебозавода. Решили: пока не брать главного инженера. Какого-то туповатого малого убеждали перейти из конвоиров в следователи. Собственно, тут была надводная часть айсберга. Имелся еще огромный подвал, куда вела железная дверь. Там шла черновая работа. Туда Митя не решился. Слишком часто ходили через дверь заключенные и конвоиры. Каждый раз, когда дверь открывалась, из подвала доносилось зловоние.

Митя проник в приемную начальника. Два кожаных дивана показались ему продавленными до пола. Много, видать, пересидело на них людей в бессмысленном ожидании. Секретарша отвечала на все звонки, что Ивана Петровича нет, вызвали в Москву. «Иван Петрович... Косицын... Или Косичкин? — с трудом припомнил Митя. — Начальник горотдела. Зимой, что ли, расстреляют? Почему мне стоило таких трудов получить эту тощую папку из архива? Фомин прав: чернила разбавляли водой, и бумага — гниль! Так Косицын или Косичкин?»

Секретарша обманывала. Иван Петрович был у себя. Из кабинета доносилось покашливание. Пока Митя размышлял, как туда пробраться, дверь распахнулась. Иван Петрович был в штатском. Серый костюм, хоть и сидел мешковато, не мог скрыть молодой спортивной фигуры. Должно быть, тренировался в бытность комсомольцем, подумал Митя. Осоавиахимовец, ворошиловский стрелок! Вот только рубашка была на Иване Петровиче несвежая, да обострившимся обонянием уловил Митя сладковатый запашок разложения, какой сопровождает людей, выпивающих на жаре, подолгу не моющихся, спящих в одежде, одним словом, махнувших на себя рукой, опустившихся людей. Глаза у него были такие же красные, как у остальных в этом учреждении. «Маша, они там взбесились в Москве? Кто такой Ширяев? Кто Хлоплянников? Меня не поставили в известность о назначении этих людей, а теперь идут от них приказы — упрекают в бездействии. Каком, к черту, бездействии? Полгорода пересажал! Мало им?»

В коридоре послышались громкие голоса. В приемную вошли двое. Один — щеголеватый, в ремнях и в фуражке. Во втором Митя узнал конвоира, которого, судя по всему, убедили перейти в следователи. «Ваня! — обрадовался щеголеватый. — Хорошо, что застал тебя, тут вот какое дело, Ваня. Дьяконову из финотдела мы позавчера взяли. Муж дал показания. Тут их бывшая домработница притащилась с мальчишкой, куда, спрашивает, девать шпионского выблядка, орет, говорит, кормить нечем, и еще говорит, они ей за два месяца не заплатили...» — «Сколько?» — хмуро перебил Иван Петрович. «Не заплатили сколько?» — удивился щеголеватый. «Да нет, ему сколько?» — «Кому? — опять не понял щеголеватый. — Дьяконову? Ваня, ты же сам подписывал — расстрел». — «Мальчишке, спрашиваю, сколько лет?» — «А черт его знает! В пеленках, сосунок. Да не об нем речь, Ваня». — «О чем?» — «А вот слушай, Ваня. Вчера четырех в пересылку отправил. Сегодня у нас всего двое на пополнение. Два места остаются. А завтра из Москвы комиссия. Там

Сёрен Кьеркегор

Ничего не хочется. Ехать не хочется:
слишком сильное движение;
пешком идти не хочется: устанешь;
лечь — придется или валяться попусту,
или снова вставать, а ни того,
ни другого опять не хочется.
Словом, ничего не хочется.

же все новые люди, Ваня. Вонь поднимут: врагов жалеете, камеры пустуют! Давай я эту сучонку как пособницу оформлю. Сама же притащилась! Ишь ты, за два месяца не заплатили. А что люди пропали, ей дела нет... Вот...» — Щеголеватый выругался. «Гы...» — хмыкнул конвоир-следователь. Иван Петрович зевнул, пожаловался неизвестно кому: «Глаза слипаются, не высыпаюсь. А лягу — ну хоть убей не могу заснуть! Может, снотворное попробовать?» Щеголеватый ткнул в бок конвоира-следователя: «Задержи эту, а то уйдет еще!»

Они вышли. Иван Петрович запер дверь на ключ, поманил к себе пальчиком секретаршу. «Хочешь, чтобы и меня вот так же, с сосунком? — усмехнулась она. — Вслед за тобой?» Иван Петрович вздохнул. У него было красивое, мужественное, но какое-то нехорошее лицо. На нем лежала печать обреченности. Запах тления усилился. «Ты бы в баню сходил», — пожалела его секретарша. «В баню? В баню это хорошо...» — Иван Петрович заглянул в шкафчик у окна. Руки его дрожали. «Вчера, Ваня, допил», — отвернулась, чтобы он на нее не дышал, секретарша. «Возьми две штуки, — Иван Петрович положил на стол синие с пропеллерами деньги, — если магазин закрыт, заскочи к Хорькову, скажи, я просил». — «Ваня, — словно не расслышала его секретарша, — уеду-ка я на Дальний Восток, а? Кто там найдет? Мне в этой квартире... ну до того погано! Хоть бы вещи, что ли, увезли? Там же их фотографии еще висят! Девчонка какая-то с косой!» — «Ты сними фотографии-то, — посоветовал Иван Петрович, — а вещами пользуйся, не стесняйся». — «Я боюсь, — прошептала секретарша, — вдруг вернутся?» — «Вот этого можешь не бояться, — уверенно ответил Иван Петрович. — Эти точно не вернутся».

Пока они разговаривали, Мите удалось войти в зашторенный кабинет. Тут, однако, ничего интересного не было. Разве что снятый с предохранителя пистолет, почему-то лежавший прямо на столе.

Вернулся в кабинет и Иван Петрович. Он все время морщился, потирал пальцами виски. С какой-то странной задумчивостью смотрел из окна, как Маша прошла мимо закрытого магазина, свернула в переулок.

Неподалеку протекала река. К вечеру сделалось прохладнее. Митя тоже взглянул в окно. Неземное спокойствие было разлито над землей, но не было жизни на этой земле. По площади, по улицам — с ведрами и мешками — ходили, покуривали, посмеивались люди, делающие вид, что живут.

Происходило что-то неладное. Митя и раньше догадывался, что коэффициент судьбы — своего рода защитная система. Теперь ему открылось, что это система замкнутая, то есть существующая сама по себе, для себя, внутри себя, охраняющая лишь самое себя. «Зачем Бог терпит этот кошмар? — подумал Митя. — Какой смысл в массовом насилии? Ужели это и есть мир Божий?»

Тем временем Иван Петрович извлек из сейфа пачку чистых — с печатями — ордеров на арест и обыск, уселся за стол, положил их перед собой. Взял ручку и тяжело задумался. Он вставал, ходил по кабинету, снова садился за стол. Смотрел в окно, но Маша задерживалась. Иван Петрович и стакан приготовил, и огурец разрезал и посолил, а ее все не было.

Вздохнув, принялся за работу. Первые десять ордеров заполнил, сверяясь с записями в блокноте. Потом дело застопорилось. Иван Петрович позвонил в сельхозотдел райкома, уточнил фамилию какого-то бригадира. Затем поинтересовался, с кем разговаривает. «Рерберг», — вписал прямо в ордер фамилию незадачливого райкомовца. Еще два ордера.

Стало совсем невмоготу. Глаза у Ивана Петровича налились, на лбу вспухли синие жилы. Он стоял у открытой форточки, крестьянский сын, комсомолец, хватал воздух, но прохладный вечерний воздух не приносил облегчения. Где-то далеко отбивали косу. Тонкий железный и жалобный звук был явственно слышен в кабинете. Тут тоже шел сенокос.

Наконец вернулась Маша, угрюмо поставила на стол бутылки. «Выпьешь со мной?» Секретарша вышла, не удостоив ответом. Иван Петрович осушил в один присест стакан, заел огурцом. Взгляд прояснился, неуверенность, сомнения ушли с лица. Он даже улыбнулся. Достал из стола папку: «г. Булин. Список жителей. Адреса». (Секретно.) И пошел заполнять ордера один за другим.

Он был уже на букве «П», когда до Мити дошло, что до «Я» осталось немного, что единственная возможность спасти бабушку — украсть страницу, где ее фамилия — Ярцева. Митя тихонько приоткрыл дверь кабинета. «Маша? Еще не ушла?» — оторвался от писания Иван Петрович. В приемной надсаживались все три телефона. Митя громко хлопнул дверью, выходящей в коридор. Потом еще раз. «Да кто там... вашу мать!» — заорал Иван Петрович. Митя опрокинул стул. Иван Петрович поднялся из-за стола, вышел в приемную. Пока он смотрел в коридор, где не было ни души, Митя на цыпочках пробежал в кабинет, быстро нашел нужную страницу, вырвал, скомкал, забросил за сейф. После чего отошел в угол. Ему хотелось убедиться, что Иван Петрович заполнит все ордера.

Может быть, Мите показалось, но Иван Петрович как-то уж очень пристально вдруг уставился в угол, где он стоял. Даже сделал несколько шагов в ту сторону. Но остановился, провел рукой по воздуху, как бы прогоняя наваждение. Налил водки, выпил. Опять посмотрел в угол.

Митя понял, что пора сматываться. Он становился видимым. Митя осторожно двинулся к двери. Путь лежал мимо стола. Иван Петрович как раз изготовился заполнить последний ордер. «Я...» — вывел он, рука мелко задергалась, на лбу выступил

Николай Бердяев Есть Россия киевская, Россия времен татарского ига, Россия московская, Россия петровская и Россия советская. И возможно, что будет еще новая Россия.

пот. Он дико посмотрел по сторонам. Иван Петрович должен был написать — Ярцева. Но не мог. Такой фамилии не было. Иррациональный коэффициент судьбы тряс его, словно он ухватился за оголенный провод. Три раза Иван Петрович пробегал глазами по столбику фамилий на «Я». Ялуторовская — наконец вывел с неимоверным трудом, обессиленно ткнулся грудью в стол. Митя легонько приоткрыл дверь, выскользнул в коридор, а оттуда на улицу.

Его тоже пошатывало. Должно быть, он был сейчас «как из студня». А вскоре станет «совершенно нормальным, но каким-то бледным». Время истекало, а он еще не видел бабушку. Спасенную ли? Неужели из-за нее вскоре пострадает неведомая Ялуторовская? Митя преодолел единое пространство, чтобы спасти бабушку, но не такой ценой.

Думать над всем этим можно было бесконечно, а можно было вовсе не думать. Через полтора часа «Яшида» вернет Митю в его время — на объект «С». Тогда и будет ясен результат. Митя поспешил на улицу Гусева, бывшую Воздвиженскую, будущую Четвертую Пролетарскую.

Было на удивление тихо. Издали было не очень заметно, что церковь на горе изуродовали: сорвали кресты, исписали стены ругательствами. Церковь все еще была неотъемлемой частью пейзажа. В отличие от похожего на гигантскую летучую мышь репродуктора на столбе. Он вдруг похабнейшим образом нарушил тишину — заиграл, захрипел, потребовал смерти вредителям, подсыпавшим в борщ рабочим толченое стекло. Над рекой поднимался туман. Закат сгорел, но небо осталось светлым. С реки возвращались утки. Мир был так хорош, чист, промыт, что всякая деятельность в нем, в особенности слова, вызывала отвращение.

Дом напротив бабушкиного по бывшей Воздвиженской стоял заколоченный. Митя сел на лавочку. Калитка была как на ладони.

Он то ли заснул, то ли задумался. Очнулся, услышав тихий смех. Возле калитки стояли две девушки. Митя сразу узнал бабушку. Вот только лицо ее не мог рассмотреть в сумерках. Девушки шептались, смеялись, зажимая ладошками рты. «Как же можно... таких молодых?» — Митя подумал, что, вполне возможно, вторая девушка, — та самая Ялуторовская. Он чуть не закричал: бегите, спасайтесь!

Девушки наконец расстались. Митя побрел в сторону леса. Делать в городе Булине больше было нечего. Кратчайший путь к лесу лежал через заросшее сорняками поле. Там была тропинка.

Митя в общем-то не удивился, когда на опушке к нему подошли двое: Иван Петрович и щеголеватый в ремнях. Дурных предчувствий не было. Как во время кошмарного сна, когда краешком сознания понимаешь, что это сон, что скоро проснешься.

— Оружие есть? — буднично поинтересовался щеголеватый.

— Каким образом вы проникли в мой кабинет? Кто вам помогал? — спросил Иван Петрович, в то время как щеголеватый быстро обшаривал Митины карманы.

«Значит, увидел, — подумал Митя, — пьяный-пьяный, а глаз — ватерпас!»

Потом они велели Мите раздеться.

— Германское производство, — обрадованно показал щеголеватый Ивану Петровичу Митину рубашку. — Руки за голову! — совсем другим голосом крикнул Мите. — Пошел вперед! Шаг в сторону — стреляю!

Мите показалось, комедия затянулась. К тому же нещадно жрали комары. Подключенные к «Яшиде» электронные часы показывали, что осталось сорок минут и двадцать секунд этого бреда. Скорей бы. Он шел, положив руки на голову, по опушке леса и не мог слышать, о чем говорили Иван Петрович и щеголеватый.

— Ясно как божий день, Ваня, это связной, — горячился щеголеватый. — Раз связной, значит, здесь разведгруппа. Нельзя его в Москву, Ваня! Там же сразу: в городе столько времени орудовала вражеская разведгруппа, где были органы? Просмотрели? А почему? У нас тоже его нельзя оставлять. Завтра же комиссия. Не сносить, Ваня, нам головы!

— Что предлагаешь?

— При попытке к бегству, Ваня, единственный выход. Это же парашютист, тренированный бандит! С чего это ему сдаваться без сопротивления? А все, кого раньше взяли и еще возьмем, пойдут как разведгруппа. Всё! Группа ликвидирована, мы давно за ней следили. А если его в Москву, хрен знает, какие он даст показания... А так ордена получим, Ваня!

— Я за машиной, — сказал Иван Петрович.

— Медэксперта захвати, — попросил щеголеватый.

...Митя обернулся. Дальше идти было некуда. Стеной стояли деревья. Щеголеватый был на тропинке один.

— Можешь одеться. — Митя торопливо оделся.

— Опусти руки, — разрешил щеголеватый. Митя опустил.

— Отвернись и стой спокойно!

Митя отвернулся. Он и так был спокойнее некуда.

Щеголеватый достал из кармана пистолет, спустил предохранитель и выстрелил Мите в затылок.

Через пятнадцать минут приехал Иван Петрович с сотрудниками и медэкспертом. Медэксперт констатировал смерть. Машина уехала.

Иван Петрович и щеголеватый пошли пешком. Пока шагали через поле, сапоги намокли от росы.

— Да, — зевнул Иван Петрович, — надо взять этих девиц, с которыми он выходил на связь. У нас на сегодня двое? Вот их и возьми. Но запиши арест и допрос вчерашним днем. Они сообщили место, время, пароль для встречи со связным. А он при задержании оказал сопротивление.

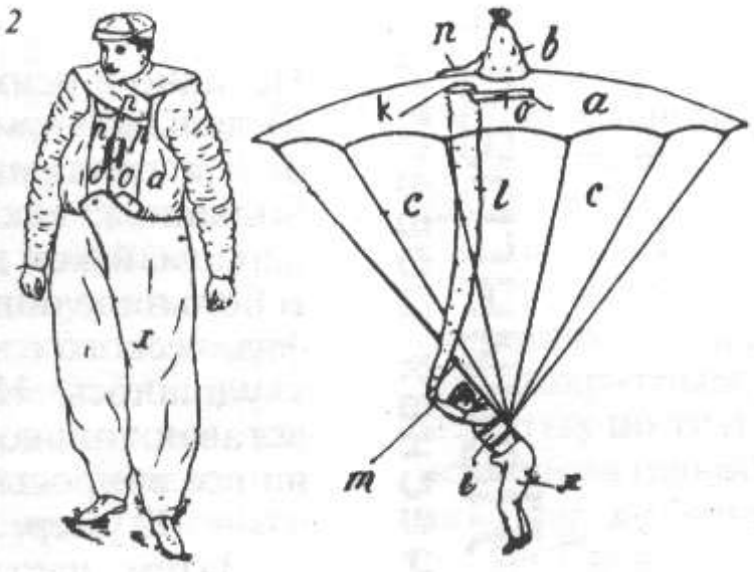
— Не волнуйся, Ваня, все будет в лучшем виде, — ответно зевнул щеголеватый и подумал, что выспаться сегодня опять не удастся.

VI

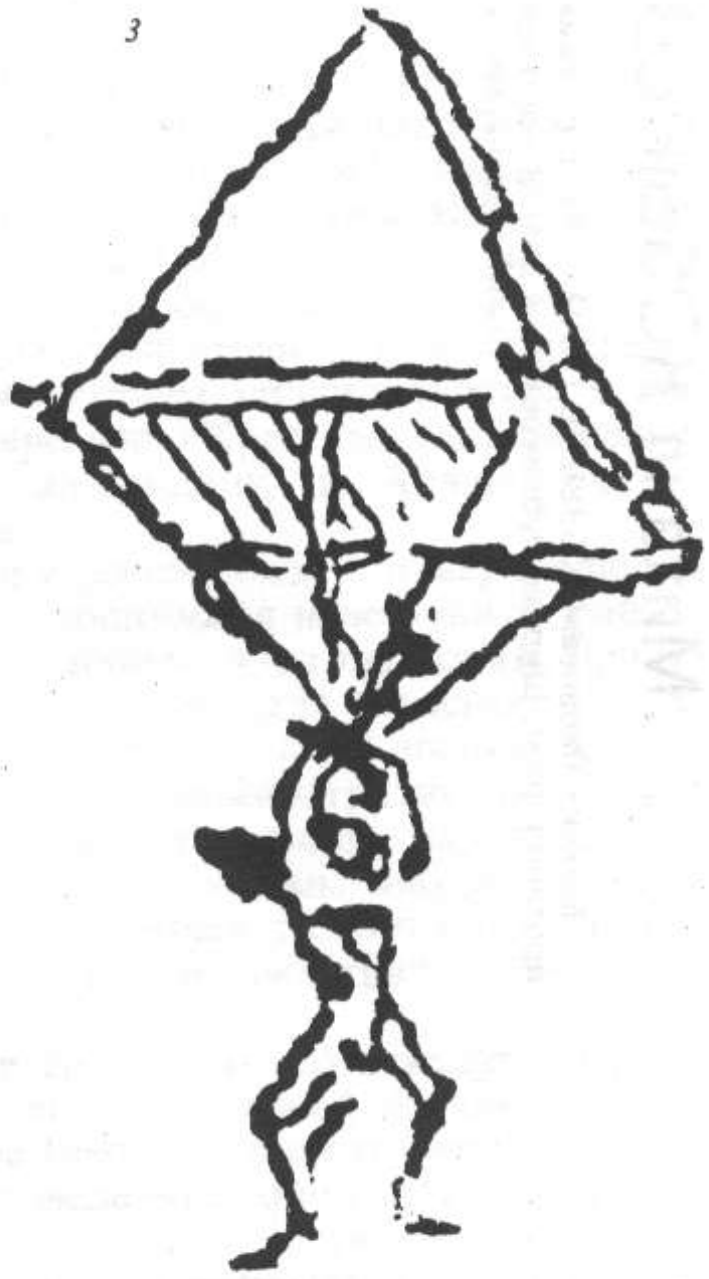
...Серов стучал, но Митя не отзывался. Серов подергал ручку двери. Дверь была заперта изнутри. Серов обошел вокруг, забрался в дом через открытое окно. Митя сидел в кресле, уткнувшись носом в дисплей «Яшиды». «Спит?» — подумал Серов, но тут же устыдился. Он был опытным человеком. Ему ли не отличить спящего от того, кто уже никогда не проснется?

1

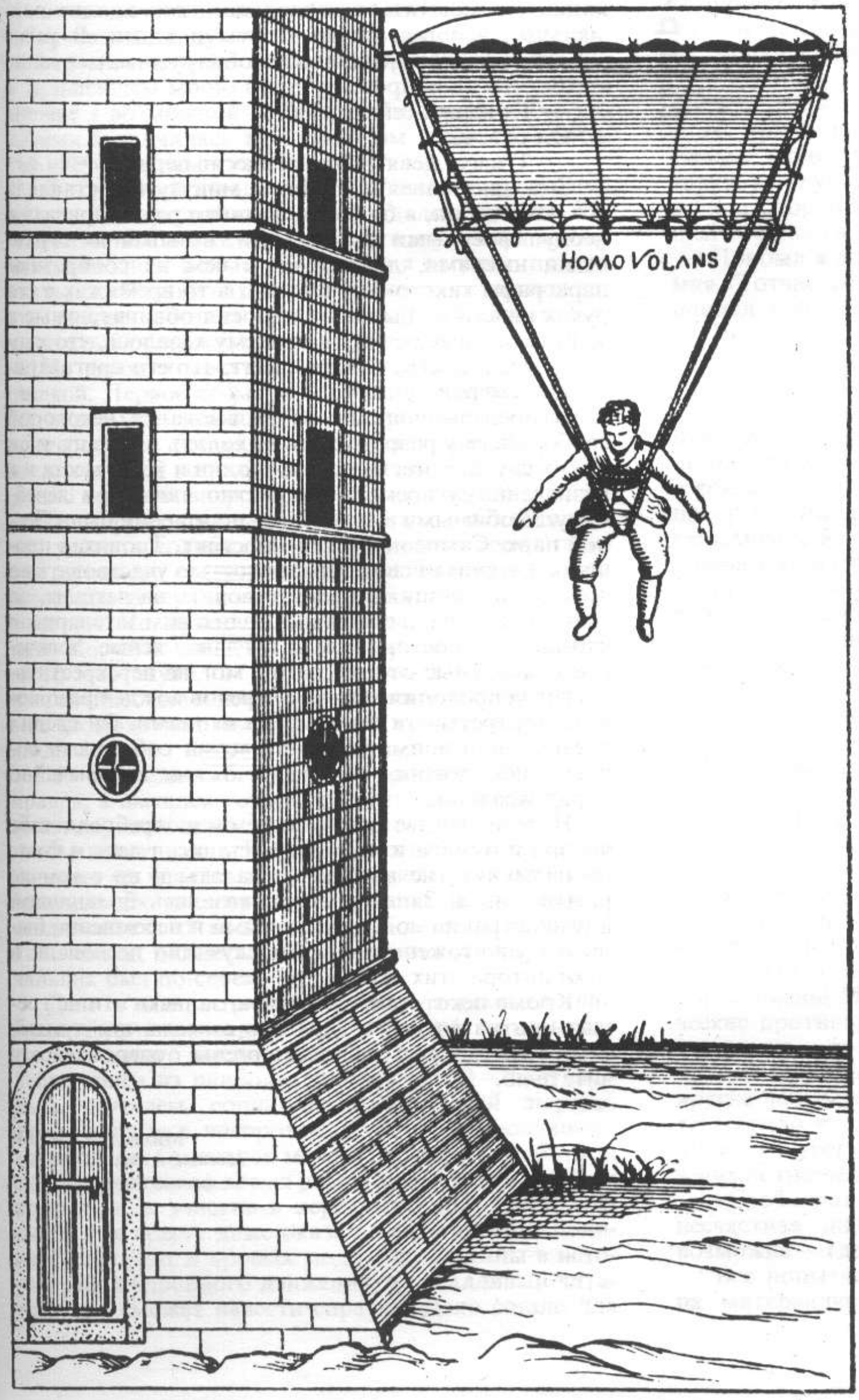
2



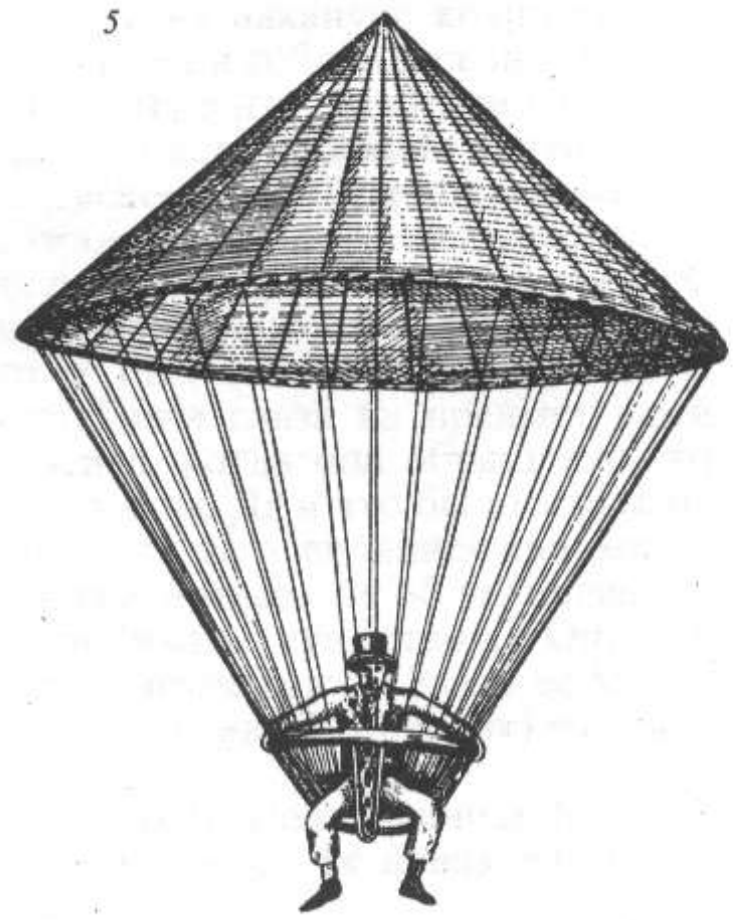
3



4



5



Парашюты рванулись и приняли вес,
Земля колыхнулась едва.
А внизу — дивизии «Эдельвейс»
И «Мертвая голова».

Автоматы выли, как суки в мороз,
Пистолеты били в упор.
И мертвое солнце в стропах берез
Мешало вести разговор.

И сказал Господь: «Эй, ключари,
Отворите ворота в Сад!
Даю команду: от зари до зари
В рай пропускать десант...»

Михаил Анчаров
Баллада о парашютах

Михаил КОЗЫРЕВ

Михаил Яковлевич КОЗЫРЕВ (1892—1942), русский прозаик и поэт. Широко публиковался в двадцатые годы. Погиб в заключении.

Ленинград

сатирическая повесть

ПРЕДИСЛОВИЕ

Недавно в психиатрической лечебнице близ станции «Удельная» умер странный пациент. Доставлен он был в тринадцатом году из выборгской тюремной больницы: как будто он попал в свалку во время первомайской демонстрации и был помят лошадью. В больнице обнаружилось, что в связи с улучшением физического состояния умственное все ухудшалось и ухудшалось. Несколько лет он лежал на кровати, вставая только в случаях крайней необходимости, и на все вопросы отвечал:

— Я умер. Не будите меня.

Затем наступило значительное улучшение. Он ходил по палатам, разговаривал, как вполне нормальный человек, читал газеты и книги. В такие моменты его ненормальность обнаруживалась лишь в том, что на вопрос:

— Который сейчас год?

Он отвечал:

— Тысяча девятьсот пятьдесят первый.

Эта навязчивая идея ни на минуту не оставляла его. Иногда он, в безумии, начинал разговаривать с неодушевленными предметами, называя их странными именами, долбил ни с чем не сообразные параграфы какого-то учебника, в то время как в его руках ничего не было, произносил обвинительные и защитительные речи. Иногда ему казалось, что кто-то преследует его, что его судят, что его приговаривают к смерти.

В последнее время он пользовался некоторой свободой, ему разрешалось выходить на улицу, и он в этих случаях всегда посещал одни и те же места и к назначенному времени аккуратно являлся в лечебницу. Любимыми местами его посещений были Лесной парк, Сампсониевский проспект, Троицкая площадь. Он считал своей обязанностью участвовать во всех манифестациях, присутствовать на лекциях, на спектаклях в рабочем клубе. Если с ним заговаривал кто-либо из посторонних — он давал ясные, логически правильные ответы, но не мог не перекреститься, когда проходил мимо портретов вождей революции; портреты эти он называл иконами. Он следил чрезвычайно внимательно за всеми событиями современной жизни, но судил о них чрезвычайно парадоксально.

Недели за две до смерти он потребовал себе чернил и бумаги и не отрываясь писал день и ночь, ни на минуту не выходя из палаты и ни с кем не разговаривая. Записки его показались больничной администрации подозрительными и несомненно были бы уничтожены, если бы случайно не попали в руки автора этих строк.

Кроме некоторых моментов, записки эти не грешат против логики и здравого смысла, и я думаю, что они будут небезынтересны современному читателю.

Михаил КОЗЫРЕВ

Москва, 3 октября 1925 г.

первая глава

ВСТУПЛЕНИЕ. МОЯ БИОГРАФИЯ

Через две недели меня не будет в живых. Стены моей тюрьмы крепки, законы государства строги, исполнители действуют с точностью и безжалостностью машины. У меня нет надежды ни на бегство, ни на помилование. Мне дана только двухнедельная отсрочка для того, чтобы сам я описал историю моего преступления. Эту историю думают они напечатать в нескольких миллионах экземпляров в качестве неопровержимого свидетельства бесплодности всех попыток к свержению существующего порядка.

Я уже дал подписку, что отрекаюсь от всех своих заблуждений, и думаю, что наличность ее избавит мой труд от прикосновения цензорского карандаша: в дальнейшем мною будет руководить только стремление к возможной точности в описании событий, какими закончилась моя слишком длинная и богатая впечатлениями жизнь.

Я — рабочий завода «Новый Айваз», находившегося на Выборгской стороне неподалеку от Лесного. Эти названия, может быть, ничего не скажут моему читателю, но к новым названиям я не успел привыкнуть, а сейчас не нахожу ни времени, ни возможности навести соответствующие справки; пусть сам читатель на свободе сделает это.

На завод я поступил тринадцатилетним мальчишкой. Первое время мои обязанности были весьма и весьма несложны: я должен был подметать мастерскую и бегать за водкой для мастера. Но к двадцати семи годам, когда произошла катастрофа, речь о которой впереди, я мог уже занимать должность старшего подмастерья. Моего читателя может удивить подобная карьера, но в то время переход из одного состояния в другое был значительно легче, чем теперь, и притом судьба благоприятствовала мне. Четырнадцати лет встретился я с товарищем Коршуновым, тогда студентом Технологического института, и его старания, вместе с моей настойчивостью и некоторыми способностями, дали мне возможность выбиться, как говорили тогда, в люди.

Но в «люди» я так и не выбился. Одно время, правда, я пытался кое-что сделать для этого: так, я хотел держать экзамен на аттестат зрелости, с тем чтобы поступить в Политехнический институт, но попытка не удалась мне. Санкт-петербургский градоначальник категорически отказал мне в выдаче свидетельства о политической благонадежности — это понятие, надеюсь, знакомо каждому. И градоначальник был по-своему прав.

Дело в том, что мой учитель, а впоследствии близкий друг и товарищ — Коршунов (я не называю его настоящего имени, потому что имя это является ныне одним из наиболее чтимых имен) — был видным деятелем социал-демократической партии, стремившейся к ниспровержению существовавшего тогда строя. Он вовлек меня в партийную работу, и еще мальчиком во время революции 1905 года я был арестован за участие в неразрешенной демонстрации и при аресте даже оказал сопротивление полиции; факт этот и процесс подробно описаны в истории революционного движения, и догадливый читатель сам сможет навести справки. Дело сошло для меня вполне благополучно, но политическая благонадежность потеряна была навсегда.

Неудача на легальном поприще заставила меня окончательно и целиком отдаться партийной работе. В течение четырех предшествовавших катастрофе лет я был членом партийного комитета, деятельным агитатором, активным участником партийной газеты, организатором профессиональных союзов и больничных касс. За эту деятельность я подвергался неоднократным репрессиям, сидел в участке, в знаменитых по тому времени «Крестах», был высылаем последовательно: на родину, в Архангельск и, наконец, в Сибирь.

Из Сибири мне удалось бежать, и, вернувшись в Петербург, я снова продолжал нелегальную работу на том же самом «Айвазе», куда был опять принят на работу в качестве слесаря. Для объяснения этого, невероятного с современной точки зрения факта я должен напомнить, что административная машина в то время не была так хорошо налажена, как теперь: люди убегали из тюрьмы иногда накануне казни, а получить подложный паспорт и поступить с этим паспортом на завод не представляло ни малейшей трудности.

Прибыл я в Петербург как раз накануне первого мая. Тотчас связавшись со своей организацией, я принял деятельное участие в подготовке праздника.

Две недели, проведенные мной в Петербурге со дня возвращения из Сибири до роковой катастрофы, я до сих пор люблю вспоминать и считаю их самыми светлыми днями моей прежней жизни. Вынужденные «отсиживаться» накануне крупного выступления, я и мои товарищи собирались по вечерам в комнатке легального студента, жившего где-то на проспекте Шадрина — то есть в районе почти недосягаемом для полицейского ока. Там я в первый раз влюбился, и, к сожалению, почти безнадежно, в белокурую голубоглазую курсистку: надо сказать, что, лишенный с малолетства женского общества, в роли влюбленного я был до смешного робок и наивен. Я только таращил глаза на предмет моей страсти и глупо краснел, когда она обращалась ко мне с каким-либо вопросом. Да и что было ждать от человека, для которого слово «свидание» напоминало о тюремной решетке, а никак не об условленной заранее встрече с любимым существом? Описать предмет своей страсти я не решаюсь. Звали ее Марусей, а студент (и мой счастливый соперник) называл ее Мэри.

Вечера наши проходили в оживленных беседах, темой которых была, конечно, та новая жизнь, за которую мы боролись.

В каких розовых красках представлялась нам эта новая жизнь! Мы не сомневались, что все экономические противоречия будут уничтожены, мы не сомневались, что в новом обществе не будет голода, холода и нужды,— нас занимали в то время совсем другие вопросы: семья, брак, любовь — вот что интересовало нас. В этом счастливейшем общежитии будут ли урегулированы те сложные человеческие взаимоотношения, которые мы называем любовью?

«Свободная любовь» — отвечала теория. Ну, а несчастная любовь? Возможна ли она? А если возможна — где же полное счастье?

Все попытки разрешить эти вопросы, опираясь на материалистическое мировоззрение, оканчива-

лись неудачей: был какой-то дефект в самом мировоззрении, но в этом мы не решались сознаться. Если читатель примет во внимание, что среди спорящих трое были влюбленных, причем один из них явно безнадежно, то он поймет, до какой степени длинны, горячи и бестолковы были наши споры.

Только Коршунов не принимал участия в этих беседах. Он предпочитал, спрятавшись в угол, спокойно пить чай, изредка отвечая своим собственным мыслям едва заметной иронической улыбкой.

— А вы что думаете?—спросили мы его однажды.

Он усмехнулся и ответил:

— Я думаю, что все это—пустая болтовня.

Мы стали горячо возражать ему. Он холодно заметил:

— Мы ничего не можем знать о будущем.

— Тогда за что же мы боремся?—выкрикнул я.

— Мы не можем желать того, чего не знаем, — поддержала меня Мэри.

— Мы боремся за новые экономические взаимоотношения,—ответил Коршунов,—а там посмотрим, что вырастет на почве этих новых отношений. А наше дело—борьба.

Я, а может быть, и другие услышали в этих словах нечто вроде упрека: вы занимаетесь пустой болтовней и забыли о самом главном! Разговор перешел на другие предметы, но в каждом из нас остался неприятный осадок.

вторая глава

КАТАСТРОФА

Две недели прошли незаметно. Завтра первое мая. Я рисковал больше, чем все мои товарищи, — за мною был самый длинный хвост «преступлений», мне грозила в случае неудачи или Сибирь, или виселица.

Думал ли я об этом? Мало. Меня занимало два вопроса: выступление и... любовь. Ночь перед выступлением я провел в квартире того же студента. Мэри была особенно ласкова со мной, и мне стоило большого труда уйти, не сказав ей ни слова. Я бы, возможно, и сказал, если бы не присутствие Коршунова: его холодный взгляд и сухая ироническая улыбка преследовали меня и отравляли мое едва народившееся чувство. Если бы это продолжалось дольше—я возненавидел бы Коршунова...

Но—довольно. Вот и день выступления. Сборный пункт назначен в Парголовском лесу. С утра поодиночке стали собираться рабочие; клочки бумаги и разноцветные тряпочки, развешанные по деревьям, указывали дорогу. Когда почти весь развод был в сборе, я встал на пень и развернул красное знамя. Кто-то затянул «Марсельезу», другие подхватили — мощные звуки революционного гимна взметались все выше и выше, возбуждая, опьяняя и сплачивая в одну бурную лавину разрозненные до того толпы рабочих.

Я начал говорить. Я говорил о будущей революции, о мощи рабочего класса. Я говорил, что час нашей победы недалек.

Я не могу передать этой речи, но по силе революционного чувства это была лучшая из моих речей. Я видел, каким огнем загорались глаза моих слушателей, я чувствовал—они встанут все как один и пойдут на гибель, на лишения, на смерть...

И вот—обычное для того времени явление: близкий конский топот, захрустел валежник. Кто-то крикнул:

— Спасайтесь! Казаки!

Заплясали кони, засвистали нагайки. Крики, проклятия, стоны.

Я крепко держу в руках знамя. У меня даже мелькнула тщеславная мысль—«умру со знаменем в руках». Чем смерть со знаменем в руках лучше всякой другой смерти—я не смогу объяснить читателю. Конечно, это было безрассудство, но в нашей среде безрассудство называлось героизмом.

Я помню: лошадиные копыта, бородатая физиономия казака с выпученными, налитыми кровью глазами—и... ничего больше.

Очнулся я в тюремной больнице. Меня здорово помяла казацкая лошадь и казацкая нагайка. Открыв глаза, я первым долгом бросил взгляд на висевшую над моей койкой дощечку, и каков был мой ужас, когда я увидел на ней свою настоящую фамилию! Бежавший с каторги! Мне предстояло теперь или длинное путешествие в Сибирь, или очень короткое, но еще более неприятное путешествие в иной мир при помощи самой обыкновенной веревки и двух обыкновенных столбов с обыкновенной перекладиной.

Но я был молод и отчаянию не умел предаваться. Если у меня нет плана спасения—значит, мне нужно время для обдумывания этого плана — бежать из больницы все-таки легче, чем бежать из тюрьмы. Я притворился более слабым, чем был на самом деле, и старался оттянуть время.

Случай помог мне.

Рядом со мной на соседней койке лежал длинный худощавый человек со смуглым до черноты лицом, большими черными пронизывающими глазами и черной колючей бородой. Что это за человек, за что он посажен в тюрьму, какова его профессия, его национальность? Но все мои старания были тщетны. Незнакомец заметил мое внимание к его особе и обратился ко мне с незначащим вопросом. Голос и акцент окончательно сбили меня с толку, и я прямо без обиняков спросил его: кто он, чем занимался и как попал в это неприятное место.

Незнакомец и не думал скрывать своего имени и профессии.

— Я—знаменитый индийский факир,—сказал он.

Имени его я повторить не могу, но помню, что афиши с этим именем не раз попадались на улицах. Оказалось, что он произвел не совсем удачный опыт

Петр Чаадаев

Позволительно, думаю я, пред лицом наших бедствий не разделять стремлений разнузданного патриотизма, который привел страну на край гибели и который думает вывести ее из беды, упорствуя в своих иллюзиях, не желая признавать отчаянного положения, им же созданного.

с распарыванием живота одного «желающего из публики» и одновременно поранил самого себя.

Я был рад случаю потолковать с таким интересным человеком. Пользуясь отсутствием сиделок, кстати сказать, мало обращавших внимания на больных, мы беседовали целыми днями. Факир рассказал мне о своем прошлом, знакомил с индийской мудростью и даже показал несколько опытов, подтверждающих правильность его учения. Он говорил, что современный европеец не умеет пользоваться силами, живущими внутри нас, и не хочет научиться этому, а вот индусы настолько изучили свою бренную оболочку, что могут не обращать внимания на прихоти своего тела. Он — знаменитый факир — может три месяца не прикасаться к пище и может на любое время остановить действие своего сердца.

Я не поверил этому.

— Можно показать на примере,— возразил индус.

И вот через две-три минуты я заметил, что мой сосед умер. Он даже вытянулся, как покойник, и похолодел. Я готов был крикнуть сиделку — как вдруг покойник зашевелился, открыл глаза и произнес как ни в чем не бывало:

— Я мог бы пролежать так любое количество времени. Год, два...

После этого опыта я не спал целую ночь. Еще бы! Видеть такое зрелище не с галерки цирка, думая, что все это в конце концов шарлатанство, а рядом с собой, да еще в тюремной больнице. Но скоро, по свойственной мне практичности, я стал думать о том, как бы использовать необыкновенные знания факира в своих собственных интересах.

И наконец я придумал.

— А не можете ли вы,— сказал я факиру,— сделать и меня мертвым?.. Ну хотя бы на полчаса...

— На любое время,— ответил факир.— Не хотите ли попробовать?

Я выразил согласие.

— Посмотрите на солнце.

Я заметил местонахождение солнца по тени, падающей от решетки.

Не знаю, что он сделал со мной, но когда, как мне показалось — через секунду, я открыл глаза — солнце стояло значительно ниже.

— Прошло полтора часа,— сказал мне факир,— у вас очень податливая организация, вам стоило бы родиться в Индии.

Тогда я познакомил его с моим планом. План этот был прост до гениальности: факир умерщвляет меня дня на два — по моим расчетам большего не требовалось. Доктор свидетельствует мою смерть, меня выносят в мертвецкую, а оттуда на кладбище. Я хорошо знаю тюремные обычаи: телега, запряженная клячонкой, на телеге гроб, на гробу сторож, мирно раскуривающий цигарку: мертвец — самый спокойный из арестантов. Проснувшись, я сильным ударом открываю крышку гроба, выскакиваю и убегаю на глазах перепуганного возницы.

— Но ведь надо мной могут произвести вскрытие? — вспомнил я.

— Не беспокойтесь,— ответил факир,— как только к вам прикоснется нож, вы проснетесь.

Следовательно, я ничем не рисковал. Самые мрачные предположения были ничто в сравнении с той участью, которую готовили мне судья и палач.

Десятого мая мой план был приведен в исполнение.

Я помню: сознание мое затуманилось, промелькнули смутные видения — как бы в дремоте — и все...

третья глава

ЛЕНИНГРАД

Проснулся я от свежего весеннего ветерка. Первое инстинктивное движение — поднять руку и протереть глаза. Но рука моя уперлась во что-то твердое. Я вспомнил все, снова толкнул крышку и снова потерял сознание.

Когда я открыл глаза, я увидел солнце, опускающееся к западу, распаханное поле и деревушку вдали. С трудом поднявшись, я осмотрелся и заметил в стороне дымящиеся фабричные трубы.

Неужели меня не довезли до кладбища и бросили посреди поля? Где мой возница?

Но тут я заметил, что мой полуистлевший гроб со всех сторон засыпан землей. Значит, меня зарыли. Почему же так неглубоко? Сколько времени провел я в могиле?

Но долго раздумывать было некогда. Я чувствовал слабость, мне надо было как можно скорее найти пищу и ночлег. Город невдалеке — это, конечно, Петербург, я думал только, что вижу его с незнакомой мне окраины, — и направился к городу.

Миновав безлюдное поле, я выбрался на широкое шоссе. Навстречу мне изредка попадались люди, одетые в лохмотья, подобные моим. Они исподлобья поглядывали на меня.

«Это нищие выбираются из города»,— подумал я и, подойдя к одному из них, спросил:

— Как мне пробраться в Лесной?

Нищий удивленно посмотрел на меня. «А что, если это не Петербург?» — промелькнула быстрая мысль, и я спросил его:

— Какой это город?

Тот недоверчиво осмотрел меня с головы до ног и ответил:

— Ленинград.

Этот ответ изумил меня. Я напряг все силы своей памяти, но не мог вспомнить такого города ни в России, ни за границей. Но так как нищий понимает по-русски — это Россия,— сообразил я, но все-таки название города смущало меня. Я бы подробнее расспросил нищего, если бы он не убежал от меня с быстротой, свидетельствовавшей о его малом доверии к моей особе. Постояв несколько минут в раздумье, я направился к городу, будь что будет.

У меня была надежда: пробраться на вокзал и с первым же поездом доехать до Петербурга. Не может быть, чтобы такой большой город не был связан с Петербургом железной дорогой.

Я вышел на обширный болотный пустырь с двумя десятками покосившихся деревянных домиков, окруженных палисадниками и чахлыми болотными березками. Домики эти были расположены с удивительной правильностью, как будто бы кто-то задумал построить здесь дачный поселок, а потом бросил постройку: в этом окончательно убедила меня огромная вывеска с полустершимися от времени буквами: «Город-сад имени Н. А. Семашко». Теперь для меня было ясно, что лежавший передо мной большой город был построен тем же самым строителем, который планировал, хотя и неудачно, город-сад. Может быть, я где-либо в окрестностях Петербурга?

Скоро достиг я и городских окраин. Серые захудалые домишки разочаровали меня: нет, этот город построен очень давно. Несмотря на сравнительно ранний час, на улицах никого не было. Редкие встречные с такой подозрительностью поглядывали на меня, что я не решался заговорить с ними и шел как бы ощупью с завязанными глазами.

Дома стали появляться все чаще и чаще, шоссе кончилось — началась длинная широкая улица, застроенная большими каменными домами. Тут меня ждало небольшое испытание: на перекрестке я заметил фигуру в фуражке с малиновым кантом и револьвером на боку. Чутье старого революционера подсказало мне, что это полицейский. Заметил он меня или нет? По счастью, он смотрел в противоположную сторону, а я немедленно шмыгнул в один из близлежащих переулков.

Встреча с полицией не могла радовать меня по многим основаниям: во-первых, я не знал, кто я и откуда явился, во-вторых, я — бывший арестант, в-третьих, у меня нет паспорта. Пошарив по карманам, я нашел нечто вроде паспорта: входной билет завода «Новый Айваз» с моей фотографической карточкой. Но, быть может, этого мало? На всякий случай я выбирал самые темные переулки.

Но скоро таких переулков стало немного. Я вышел на застроенный многоэтажными домами проспект и не замедлил узнать, что он называется: Проспект семнадцатого июля. Это название опять-таки ничего не сказало мне.

Над одним из домов я заметил большой, как мне показалось, золотой флаг с золотым гербом; эмблему герба я не мог рассмотреть, но это не был двуглавый орел. Я терялся в догадках, но спросить первого встречного о том, где нахожусь, боялся: хорошо одетые солидные господа, наполнявшие эту улицу, могли принять меня за нищего и позвать полицейского. И притом они так подозрительно смотрели — не только на меня, но и друг на друга.

Улица эта была, по-видимому, одной из самых главных. Мимо меня прошел трамвай, красный, испещренный надписями и рисунками, которых на ходу невозможно было разглядеть. Я пытался читать вывески — но и это занятие не помогло мне: странные, часто бессмысленные слова глядели на меня. Мне было тем более не по себе, что в глазах у меня рябило, окружающее то всплывало, то исчезало — может быть, я не могу как следует прочесть эти вывески? Со мною и прежде не раз бывало так, и я знал, что это кончится ужаснейшей головной болью.

Изредка я закрывал глаза и, открыв их часто на одну секунду, чувствовал себя в Петербурге. Вот этот высокий дом, облицованный красным изразцом, — кажется, я когда-то видел его. Вот церковь — опять что-то знакомое. Вот переулок — кажется, я когда-то был здесь, — но когда? Может быть, во сне? А вот название переулка, вывеска, золотой флаг на церкви вместо креста — нет, здесь я никогда не был. Знакомый магазин — кажется, только вчера я заходил сюда, — а над ним странное бессмысленное название: «**лепо**» — то ли это владелец магазина, какой-нибудь француз, то ли название товара. Иногда вместо названия — номер, иногда — только инициалы.

Но чем дальше я шел, тем чаще и чаще мне казалось, что я в Петербурге. Почему же так изменился город? За сколько лет он мог так измениться? Может быть, все мои знакомые и друзья умерли, и я — только странная и смешная тень прошлого? От этого сознания у меня больно сжималось сердце, а слабость и невероятная головная боль еще более усиливали безнадежность моего положения.

И вот — я стою на тротуаре. Мне надо перейти второй и еще более широкий проспект; усиленное движение регулируется полицейским — я угадал, что человек в малиновой фуражке — полицейский. Вот он поднимает палочку, и я вместе с другими переходу дорогу. Посреди улицы — второй поток экипажей. Я останавливаюсь, я имею возможность оглядеться. Смотрю: четыре бронзовых коня неподалеку и на самом конце проспекта блестящая золотом игла.

Сомнений не было:

— Да, это Невский проспект.

Меня не смутила надпись: «Проспект 25 октября». Теперь я знал, что я в Петербурге.

Свободно вздохнув и по-прежнему стараясь избегать полицейских, направился я к Выборгской стороне.

Мое спасение — казалось мне — было недалеко.

четвертая глава

НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ

Здесь я вынужден сделать небольшой перерыв. Я не помню, каким образом добрался до Выборгской стороны, как перешел Литейный мост и, главное, как не попал в руки полиции. Я знаю только одно, что очнулся я в сквере неподалеку от нобелевского

Хаген Байнхауэр, Эрнст Шмакке

К 2000 г. ожидают появления самолета на тысячу пассажиров, который будет летать со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука (более 12 тыс. км/час). Комфортабельные пассажирские поезда будут развивать скорость 300 км/час и даже более. В 1985 г. обыденным явлением станет использование видеотелефона. Начиная с 1980 г. газеты станут доставляться подписчикам бесплатно по каналам телевидения (проектирование газетных полос на экраны

завода, не сразу вспомнил, где я и что со мной произошло, а вспомнив, быстро поднялся и направился к Лесному. Там у меня была собственная комната, а если комната была кем-либо занята, то я во всяком случае мог разыскать знакомых: большинство их работало на заводе «Новый Айваз» или «Лесснер» и жили в этих краях.

Улицы были еще пустынны, городовые и сторожа мирно спали каждый на своем посту. Я без труда разыскал завод, который сравнительно мало изменился, скоро я нашел и тот дом, в котором жил до катастрофы. Он сильно постарел, подгнил и, как казалось мне, готов был ежеминутно обрушиться. Из окна моей комнаты выглянуло женское лицо и тотчас же спряталось. Я постучал. За дверью долго шевелились, спорили, и, наконец, не открывая двери, женский голос спросил:

— Что вам нужно?

Я назвал свое имя, потом имена лиц, которые бывали и жили в этом доме, но в ответ получал недоуменные возгласы.

— Когда? — заинтересовалась женщина.— По крайней мере, мы уж двадцать лет безвыездно живем в этой квартире.

Двадцать лет! Неужели я пролежал в могиле два десятилетия?

— Скажите по крайней мере, где я могу видеть дворника — я прописан по книгам...

Женщина добивалась точной даты.

— Вы скажите, когда именно вы жили здесь?

— Ну, в девятьсот тринадцатом,— нехотя ответил я.

— В девятьсот тринадцатом?— Она произнесла это таким тоном, что я воочию мог представить широко раскрытые глаза. Дверь полуотворилась, и я увидел испуганное и удивленное лицо.

«Она не верит мне, она принимает меня за сумасшедшего».

— А разрешите спросить, какой год теперь?

— Пятидесятый,— просто ответила она и, чтобы мне было понятнее, добавила,— тысяча девятьсот пятидесятый.

Было о чем подумать мне в эту минуту... Тридцать семь лет! Что могло произойти за эти тридцать семь лет? Но думать о чем-либо я не был способен: чувство голода пересиливало все остальное.

— Дайте мне хоть кусочек хлеба,— простонал я.— Я не ел уже тридцать семь лет.

Женщина рассмеялась и вынесла мне сухую корку черного хлеба, которую я тут же принялся уничтожать. Представляю себе, какое чувство возбудил я в наблюдавшей за мной женщине: оборванный, грязный, еле стою на ногах и с жадностью собаки грызу черствую корку...

— Уходите как можно скорее,— сказала женщина,— я подала милостыню, а это запрещено законом. Советую вам вернуться туда, откуда вы пришли...

Она была уверена, что я бежал из больницы Николая-чудотворца. Но, к сожалению, я не мог последовать совету доброй женщины и, поблагодарив ее, отправился в парк Лесного института.

У меня было достаточно времени, чтобы, отдыхая на скамейке парка и доедая скудный завтрак, обдумать свое положение.

Прошло тридцать семь лет; все мои преступления покрыты давностью, если бы даже меня узнала полиция — но полиция меня не может узнать. Следовательно, я вполне свободный и благонадежный гражданин. А с другой стороны: у меня нет знакомых, моим рассказам никто не поверит и, пожалуй, меня упрячут в сумасшедший дом. Что же мне делать? Никому не рассказывать о своей истории!

Можно выдумать что-либо более правдоподобное, ну хотя бы, что я приехал из дальней деревни и ищу работы. Проще всего обратиться на тот же самый завод. Разве там не нуждаются в хороших слесарях?

Меня беспокоил только костюм — но, вспомнив о нищих, встреченных мною на шоссе, я нашел, что мой костюм, если его хорошенько почистить, будет вполне приличным костюмом для безработного.

Щетка из еловых веток помогла мне привести в порядок пиджак и брюки, в пруду я постирал рубашку, умылся сам и направился на поиски.

Я подошел к заводу в тот момент, когда раздался второй гудок и к закопченным воротам потянулись худощавые плохо одетые люди, с голодным блеском в глазах и признаками чахотки на лицах.

В наше время рабочие были здоровее, — подумал я, — но, вспомнив, что за сорок почти лет приток свежих сил из деревни должен был сократиться, а потомственный рабочий, да еще петербуржец, не может не быть чахоточным, я мало тому удивлялся.

Подойдя к воротам, я спросил сторожа:

— Можно ли видеть заведующего?

— А вам на что? — удивился сторож.

В его глазах забегал недоверчивый огонек.

— Я приехал из деревни, ищу работы... Моя специальность — слесарь.

Эти слова часто открывали передо мной двери заводов. Но только не на этот раз.

— Зачем же вам заведующий? Он ничего не может сделать...

С большим трудом я узнал, что дело найма рабочих сосредоточено в особых учреждениях, ведающих учетом рабочей силы. Тем лучше, я запишусь в очередь, и у меня через неделю будет работа. А может быть, это бюро выдает и пособия безработным?

Но и тут меня ожидало разочарование. На дверях бюро висела записка, предупреждавшая об отсутствии свободных мест на заводах и фабриках Ленинграда.

— Кто вас направил сюда? — спросила барышня, скучавшая в обширных залах бюро. — Где ваша командировка?

телевизоров). Мировые потребности в энергии вырастут к 2000 г. в 5 раз. Использование новых сортов сельскохозяйственных культур и новых удобрений поможет увеличить урожаи в 4 раза. Лишь 15% всех занятых будут работать в производственной сфере — остальные в сфере услуг.

1973

Я не мог ответить на этот вопрос. У меня не было никакой командировки.

— Ну так поезжайте назад, откуда приехали...

Откуда приехал! Если бы она знала, откуда я приехал!

От поисков места по специальности пришлось отказаться. Я отправился в гавань: в мое время каждый мог найти там, правда, не особенно легкую и плохо оплачиваемую работу по разгрузке кораблей и барж. Но в гавани было тихо: две-три разбитых баржи, остов большого корабля, рыбацкие лодки. Я прошел в контору и получил вежливое разъяснение, что контора не нуждается в рабочей силе, конечно, до поры до времени, пока не восстановится экспорт. Я не расспрашивал, почему прекратился экспорт, что́ причиной запустения этого, в мое время такого живого места, — мне было не до того.

После безрезультатных поисков работы я вернулся в Лесной парк, на ту скамейку, которая заменяла мне квартиру. Заморосил обыкновенный петербургский дождь — ночевать на улице было небезопасно. Надо было найти комнату. Кто сдаст комнату беспаспортному оборванцу? Я не подумал об этом и долго бродил по Лесному, отыскивая зеленый билетик. По моим расчетам, в это время свободные комнаты должны быть в каждом доме. Но их не было. Идти в гостиницу? Но являться в гостиницу без документа просто смешно.

Поневоле придется ночевать на улице.

Я опять вернулся к своей скамейке и вдруг почувствовал, что дьявольски хочу есть: еще бы, я с утра ничего не ел, и только другие, более важные заботы заглушили на время чувство голода.

Где достать хлеба? Просить? У кого? Но это — последнее дело. Может быть, на мое счастье у меня сохранились деньги? Я долго рылся в карманах, обшаривал подкладку — не завалялась ли где случайная монета. Наконец после долгих поисков нащупал небольшой кружок. Медь или серебро?

С каким трепетом я распарывал подкладку и как был обрадован, когда держал в руках почерневшую от времени серебряную монету. Теперь я буду, по крайней мере, сыт!

Разыскать булочную не представило большого труда. Мне даже отвесили три фунта черного хлеба, и я уже подошел к кассе и бросил на стекло свою драгоценную монету. «У нее настоящий серебряный звон — она не фальшивая». Но кассирша была другого мнения. Она долго рассматривала ее, вертела в руках, а потом безапелляционно заявила:

— Не годится!

Я вышел из булочной без хлеба, но зато с раздраженным аппетитом и бросил злосчастную монету на тротуар.

Голод по-прежнему мучил меня и особенно был ощутителен здесь, рядом с пахнущей свежевыпеченным хлебом пекарней. Я не уйду отсюда. Может быть, кто-нибудь сжалится надо мной и даст мне хоть один кусок.

Люди один за другим входили и выходили, унося домой французские булки, пахучие ковриги черного хлеба, мягкие куски горячего ситного. Я боязливо протягивал руку, но никто не обращал на меня внимания. Прошла женщина, показавшаяся мне симпатичнее других. Я жалобно простонал:

— Подайте Христа ради...

Она недоверчиво посмотрела на меня и только ускорила шаги. Тогда я начал просить у каждого, выходившего из дверей, и все настойчивее и настойчивее: их бессердечие раздражало меня. Но никто не обращал внимания на мои просьбы. Люди бережно несли свои фунты и полуфунты, и только разве силой можно было отнять у них хоть маленький кусочек.

«Неужели я умру с голода?»

У меня очень богатое воображение. Картина голодной смерти до такой степени ярко предстала передо мной, что заслонила все остальное.

«Но я хочу жить, черт возьми!» — подумал я и решил во что бы то ни стало раздобыть хлеба.

«Преступление? Но разве не было случаев, что преступление заставляло обратить внимание на человека... И притом — какое же это преступление? Право на существование и на хлеб имеет каждый...»

«Лучше попасть в руки полиции, чем умереть от голода».

В тот момент, когда я пришел к этому решению, из булочной вышел тщедушный молодой человек, довольно-таки прилично одетый. Он нес под мышкой фунта два черного хлеба. Я обратился к нему с вежливой просьбой — он как будто не слыхал моих слов. Я пошел сзади и стал просить все настойчивее и настойчивее. Он молчал и только ускорял шаги. Я не отставал. Я возненавидел этого человека за его скупость и черствость. Я готов был наброситься и задушить его...

Но я не сделал этого. Я только толкнул его и вырвал из его рук драгоценную ношу.

Он упал и закричал не своим голосом, как будто его резали по крайней мере. Я же с остервенением вгрызся в мягкий пахучий кусок — я был опьянен его запахом и ничего не чувствовал, кроме желания есть без конца...

Раздались тревожные крики, свисток полицейского. Нас обступила толпа. Кто-то взял меня под руку и повел куда-то, а я с удовольствием грыз вожделенный кусок хлеба...

Когда я пришел в себя, мне бросились в глаза железные решетки на окнах, белые стены, ряды больничных кроватей.

— Какой страшный сон, — сказал я и взглянул на соседа, ожидая увидеть худощавое черное лицо своего приятеля-факира. Но на его кровати спал кто-то другой.

— Значит, и факир — только сон.

Я взглянул на карточку, висевшую над моей кроватью: «Неизвестный».

Вл. Соловьев

Нет такого нравственного отношения, которое не могло бы быть правильно и общепонятно выражено в терминах правовых.

Где я? Что сон и что явь? Все перепуталось в уставшем от впечатлений мозгу. Я обратился к сиделке:

— Где я? Давно я здесь?

— Около недели, — ответила она.

— Меня задержали на демонстрации? — продолжал я спрашивать ее.

Сиделка удивилась:

— На какой демонстрации? Вас арестовали за грабеж...

Расспросив ее, я узнал, что все происшедшее было отнюдь не сном, что я действительно арестован за нападение на улице и что я был накануне смерти, как это ни странно — от обжорства: мой желудок не выдержал такого количества свежего хлеба после почти сорокалетней голодовки.

Мне оставалось только ждать своей участи. Я даже радовался такому исходу: в больнице меня будут кормить и, конечно, не выбросят на улицу.

пятая глава

ПЕРЕД СУДОМ

В больнице я узнал, что меня будут судить.

— Что же грозит за мое преступление? — смеясь спросил я у сиделки.

— Лет десять изоляции, — просто ответила она. Имея дело с тюремными жителями, она неплохо разбиралась в законах. — Вас будут судить за бандитизм...

Десятилетнее заключение за то, что голодный отнял у сытого кусок хлеба? Бандитизм? До чего дошла наглость эксплуататоров! Во мне снова заговорило чувство бунтовщика и революционера. Я не боюсь суда — им же будет хуже. Я скажу большую речь о собственности, о социализме...

Я начал припоминать цитаты из книг моих великих учителей. Я составлял сногсшибательно резкую речь. Она должна быть обвинительным актом против капиталистического строя, против эксплуатации человека человеком. Яркими красками готовился я описать изможденные лица рабочих у завода «Новый Айваз», роскошь магазинов на Невском и Литейном, сытых буржуев и их жестокие законы.

Я чувствовал, что моя речь будет иметь успех, и заранее радовался...

Но мне пришлось пережить неожиданное, но на этот раз приятное разочарование.

Расскажу по порядку.

Когда я немного поправился, меня перевели в одиночную камеру. Там я мог достать карандаш и бумагу и около недели работал над своей речью. Кормили меня не особенно хорошо, но я не ждал лучшего и был доволен. Когда моя речь была готова, я устроил репетицию. Встав в позу оратора и вообразив перед собой вместо сырых стен тюрьмы каменные лица судей, я шепотом произнес эту речь. Мне казалось, что даже стены были потрясены моей речью. И когда на другое утро железные двери раскрылись передо мной, и, под конвоем, я проследовал в суд, я чувствовал себя не преступником, ожидающим справедливого наказания, а героем, ожидающим триумфа.

Скамья подсудимых. Напротив — накрытый красным сукном стол. За столом судьи — один худощавый, с вытянутым пергаментным лицом, другой толстенький, как я решил — буржуйчик, и изящно одетая дама. Эти типичные представители господствующего класса слишком толстокожи, чтобы на них могла подействовать моя горячая речь.

«Но зато тем больший отклик будет она иметь в сердцах слушателей»,— подумал я.

Рядом со мной сидел потерпевший — у него еще не зажили синяки: оказывается, я так неловко и так сильно толкнул его, что он упал лицом на фонарный столб. Он был жалок, и во мне зашевелилось нечто вроде чувства раскаяния. Но что же делать? Он не виноват — но не виноват и я!

Виноваты возмутительные порядки.

Обычные вопросы:

— Имя, отчество, фамилия. Год и место рождения.

Я ожидал, что меня будут расспрашивать о мотивах моего преступления, о том, как я решился на такой шаг и т.д. Не тут-то было. Меня спрашивали о другом.

Кто был мой отец и чем занимался, кто была моя мать, имела ли она кроме заработка какие-либо нетрудовые доходы, не служил ли мой дед в стражниках, не был ли он женат на дочери городового... Я отвечал правду, но судьи не верили моим словам, задавали по два раза один и тот же вопрос. О подробностях моей биографии я решил умолчать, мое прошлое могло только повредить мне.

— А где вы были в семнадцатом году?

Я ответил, что не могу точно сказать, где я был в семнадцатом году. Судьи переглянулись.

— Ну, а до семнадцатого года?

— До семнадцатого года я работал на заводе «Новый Айваз» в качестве слесаря.

Сухощавый судья проскрипел:

— Доказательства!

Я вынул из кармана билет и подал судье. Билет долго рассматривали все члены суда, передавая из рук в руки. Наконец полная дама спросила:

— Так вы рабочий?

В тоне этого вопроса я с удивлением почувствовал признак некоторого уважения к этому званию и поспешил ответить утвердительно. Судья сухо сказал:

— Достаточно!

Недоумевая, я сел на скамью.

Судьи перешли к допросу потерпевшего. Его допрашивали так же, как и меня. Я узнал, что отец его был портным, а сам он — конторщик.

— А ваш отец, — спросил его толстый судья,— состоял на службе или имел собственное заведение?

Потерпевший смутился, покраснел, обвел глазами присутствующих, словно ища у кого-либо поддержки, и шепотом пробормотал:

— Нет. То есть — да... собственное...

— Достаточно,— проскрипел худощавый судья,— можете сесть.

Суд удалился на совещание.

Я был удивлен и раздосадован. Когда же мне дадут возможность произнести мою горячую защитительную речь?

— Почему они не допрашивают меня? Почему не спросили, какое преступление я совершил? — спросил я конвойного.

— А они и так знают,— ответил конвойный.

Это было сказано так резонно, что я стушевался.

Ожидание длилось недолго. Минут через пять сухощавый судья скрипучим, как испорченное перо, голосом прочитал длиннейший обвинительный акт и, наконец, заключение, которое одно я, в сущности, только и слышал:

— Ввиду пролетарского происхождения — оправдать.

Такое решение удивило меня. И еще более, чем решение суда, меня удивило то, что судья, закончив чтение, объявил перерыв и, подойдя ко мне, сделал мне приветственный знак рукой и спросил, каким образом попал я в столь тяжелое положение. Я рассказал.

— Это невозможно, — ответил он.

Из публики выделилось два человека, и оба подошли ко мне.

— Вы рабочий? — спросил один.

— Вы — партийный? — спросил другой.

Я говорил им то, что описано на первых страницах этой правдивой повести. Они удивлялись, наперерыв приглашали меня к себе, кто на обед, кто на ужин. Мне оставалось только записывать адреса.

Скоро я очутился в прекрасно обставленной гостиной наедине с молодым человеком, очень заботливо угощавшим меня самым изысканным ужином. Я не понимал, что со мной происходит.

— Да скажите же, наконец, в чем дело? — спросил я.

Этот молодой человек будет в дальнейшем играть некоторую роль в нашей повести, и я должен описать его. Он был начисто выбрит, со впалыми щеками, вытянутым лицом и носил монокль. По внешности он больше всего напоминал лицеиста.

— Спрашивайте, — сказал он, — я весь к вашим услугам.

Я заметил, что он даже картавит, как настоящий лицеист.

Я собрался с мыслями и стал задавать вопросы.

шестая глава

Я НАВЕРХУ БЛАЖЕНСТВА

— Скажите, почему вы и все остальные на суде приняли во мне такое участие? Кто эти люди?

Молодой человек закинул ногу на ногу.

— Рабочие! — ответил он.

— Рабочие? — удивился я.

— Ну да! Разве вы не знаете, что в эти сорок лет у нас произошла победоносная пролетарская революция?

Это известие ударило меня как обухом по голове. Я перестал что-либо понимать во всей этой бестолочи.

— Пролетарская революция?

— Ну да, — самодовольно ответил Витман — так звали моего собеседника. — Пролетариат выдержал отчаянную борьбу и победил. По крайней мере в нашей республике...

Он кратко познакомил меня с тем, что произошло в течение этих сорока лет. С каждым словом мое удивление росло, и вместе с тем росла моя радость. То дело, которому я отдал лучшие годы своей жизни, наконец восторжествовало: я в рабочем социалистическом государстве, где все законы написаны рабочими и на пользу рабочим, где рабочие стоят на верхушке, управляют фабриками, заводами, государством... У меня закружилась голова.

— А буржуазия? — спросил я.

— Буржуазия? — переспросил Витман. — Этих кровопийц, — очень хорошо выходило у него это слово при его картавом выговоре, — этих кровопийц мы заставили нести самую тяжелую и неприятную работу... Мы заняли их особняки и дворцы, а их переселили в подвалы... Да, это полная и окончательная победа.

Признаюсь, я был наверху блаженства в этот вечер. Я забыл обо всем, что пришлось мне пережить за последние дни, и только одно угнетало меня: почему в этой великой борьбе я был лишен возможности принимать личное участие? И из-за чего? Из-за какой-то глупой случайности...

Но скоро во мне заговорило сомнение:

— Как могло выйти, что в социалистическом государстве я чуть не умер от голода и никто не хотел помочь мне?

— Вы начали не с того конца... Вы действовали по-старому. Вы пошли искать работы. Как глупо! В то время, когда каждый человек на учете и у каждого есть свое место, — вы ищете работы! Вы должны были выяснить сначала свое социальное происхождение. Вы просили подаяния на улице у прохожих. Вторая глупость: кто же вам что-нибудь даст? Наши граждане отлично знают, что если у вас нет хлеба, значит, вы заслужили того и не дело частного лица вмешиваться в распоряжения государства...

Оказалось, что государственная машина слишком хорошо налажена, ни одно событие не усколь-

Фридрих Ницше

Существуют политические и социальные фантазии, которые пламенно и красноречиво призывают к перевороту всего общественного порядка, исходя из веры, что тогда тотчас же как бы сам собой воздвигнется великолепнеший храм прекрасной человечности. В этой опасной мечте слышен еще отзвук суеверия Руссо, которое верит в чудесную первичную, но как бы *засыпанную* посторонними примесями благость человеческой природы и приписывает всю вину этой непроявленности учреждениям

зает от этого аппарата и все мое несчастие заключалось в том, что я не мог попасть на тот самый зубчик машины, которому надлежало ведать моим делом.

— Поймите, что ваше положение было более чем необыкновенным.

Мне пришлось согласиться с этим.

— Теперь ошибка будет исправлена... Вы увидите, какая у нас прекрасная организация и как хорошо живется теперь рабочему человеку...

Со своей стороны он расспрашивал меня о нашей работе в царское время, о забастовках, спрашивал, с какими из известных вождей я был знаком, и очень удивился, когда я сказал, что был одним из друзей товарища Коршунова.

В его квартире я остался и на ночь.

— А завтра мы позаботимся о том, чтобы у вас был собственный угол.

На следующее же утро при содействии Витмана я был одет в новенькое, с иголочки, платье, в кармане у меня был паспорт и партийный билет. К обеду у меня была уже квартира.

— Отличная квартира, — говорил Витман, — она была до сих пор занята остатками одного буржуазного семейства, всячески пытавшегося скрыть свое происхождение. Только вчера их вывели на чистую воду и переселят в подвал. Вам очень повезло, — добавил он, — теперь так трудно получить приличное помещение...

Мы поехали осматривать квартиру. Она помещалась в доме номер семь по Большой Дворянской улице. Я очень любил это место: чугунные узоры на ограде дворца Кшесинской, голубой купол мечети, Петропавловская крепость и вздыбивший кошачью спину Троицкий мост. А исторические воспоминания? Александровский парк — отсюда девятого января шли толпы рабочих к царю, здесь озверевшие солдаты и казаки расстреливали пытавшихся спрятаться за деревья мальчишек. Помню, в детстве сюда приводил меня отец показывать домик Петра Великого — память о том времени, когда героическими усилиями народа построен был этот город — окно в Европу.

Местность изменилась мало, как будто сорок лет прошли без следа. Все было так же, как и тогда, если не считать одного несущественного обстоятельства: новых названий. Названия эти были даны в первые годы революции и должны были напоминать о наиболее важных моментах в истории революционной борьбы, и раздавались очень щедро. Мне хотелось познакомиться с происхождением некоторых из них, но когда я спросил Витмана, кто такой Блохин, именем которого названа одна из улиц, тот, поморщившись, ответил:

— Зачем вам это знать? Никто не знает!..

Меня заинтересовало, как далеко зашло это переименование, не переименован ли и домик Петра Великого, но от этого вопроса я воздержался.

Во дворе дома номер семь увидал я двух женщин: старушку в очках, очень бедно одетую, и милую девушку лет двадцати двух, показавшуюся мне красавицей. Она напомнила мне... Ну да я не буду говорить, кого она мне напомнила... Такие же ясные глаза и белокурые волосы... Они посторонились, чтобы пропустить нас. Я снял шляпу и раскланялся. Девушка не ответила на мое приветствие, а Витман с удивлением посмотрел на меня. Девушка отвернулась, и я заметил, что на глазах ее показались слезы.

— Это выселенное буржуазное семейство, — шепнул мне Витман. Мне стало жаль девушку, и я, подойдя к ней, сказал:

— Уверяю вас, что я не хотел сделать вам неприятности...

Но Витман не дал мне кончить начатой фразы — он отвел меня в сторону и предупредил, что я не имею права разговаривать с этой девушкой. Я удивился.

— Ведь она из другого класса, — объяснил он.

Это объяснение мало удовлетворило меня, я понял только, что надо до поры до времени не возражать и не расспрашивать.

Мы прошли в квартиру.

Вещи не были вынесены, и во всей обстановке чувствовалась рука заботливой хозяйки. Большие книжные шкафы, картины на стенах, безделушки на полочках.

— Все это останется вам, — сказал Витман, заметив, с каким вниманием разглядываю я обстановку.

— Но ведь это их имущество?

Витман презрительно поморщился.

— Предметы роскоши... Буржуазия не имеет права владеть ими.

Мне пришлось согласиться, но с тайной мыслью, что я передам эти вещи их прекрасной хозяйке. То, что я не мог прямо сказать об этом моим друзьям и чувствовал, что они не поймут меня, несколько омрачило мою радость. Была какая-то грань между ними и мною, и я даже несколько побаивался этих чрезвычайно любезных и в то же время чрезвычайно черствых людей. Но все-таки я сделал одну попытку: когда после ужина на моей новой квартире Витман развалился на оттоманке с дорогой сигарой в зубах, я сказал ему:

— А все-таки мне жаль эту милую барышню...

Он ответил мне:

— Вот еще... Ведь они пили нашу кровь!..

И при этом так ужасно картавил, что мне стало противно. Этого чувства я и впоследствии не мог преодолеть.

седьмая глава

ГОРОД ЗНАКОМИТСЯ СО МНОЙ

Если забыть эту маленькую неприятность — я был счастлив. Засыпая в теплой и мягкой постели, в уютной, убранной женской рукой спальне, я не мог верить, что только вчера был бездомным бродягой

культуры — обществу, государству, воспитанию. К сожалению, из исторического опыта известно, что всякий такой переворот снова воскрешает самые дикие энергии — давно погребенные ужасы и необузданности отдаленнейших эпох; что, следовательно, переворот хотя и может быть источником силы в ослабевшем человечестве, но никогда не бывает гармонизатором, строителем, художником, завершителем человеческой природы.

и уголовным преступником. Что-нибудь одно было сном — или мои невзгоды, или мое неожиданное счастье, и я скорее склонялся к второму предположению. Закрыв глаза, я боялся вновь открыть их — а вдруг я снова очнусь в арестантской больнице.

Спал я плохо, меня мучили кошмары: мне снилось, что я арестант и меня ведут вместе с партией других таких же арестантов этапным порядком в Сибирь, рядом со мною идет Мэри, только черты ее лица напоминают скорее черты лица той девушки, квартиру которой я занял. Она закована в кандалы, она спотыкается, она плачет. Угрюмый конвойный подталкивает ее в спину прикладом. Я хочу ей помочь, я хочу с кулаками броситься на конвойного, но руки мои в кандалах...

Я говорю Витману, который идет тут же:

— Нельзя ли помочь ей?

— Они пили нашу кровь, — отвечает Витман.

И я только тут замечаю, что на Витмане солдатская шинель, а в руках у него нагайка.

Тут я проснулся.

Встав с постели, я несколько минут ходил по комнате, стараясь убедиться, что я действительно не сплю.

— Но ведь тогда все великолепно! — сказал я вслух. Опять лег в постель, заснул и снов уже не видал.

Утром я нашел на ночном столике газету и с жадностью принялся за чтение.

«ИЗВЕСТИЯ Совета рабочих и крестьянских депутатов» — прочел я заголовок.

Значит, не сон!

Я долго глядел на этот заголовок, на знакомый мне лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», и мне вспомнилась другая газета, с тем же заголовком и с тем же лозунгом, маленькая, скверно отпечатанная в подпольной типографии...

И мне опять стало досадно, что я буквально проспал столько великих событий.

Первое, что бросилось мне в глаза: статья о моей собственной особе. Я с интересом принялся читать ее. Я прочел сообщение о процессе, в котором очень подробно описывались мои показания, а также и показания потерпевшего, излагалось постановление суда. Говорилось о моем удивлении приговору — и в виде беседы со мной — сообщалась моя краткая биография.

Что это была за биография — судите сами.

Я с удивлением узнал, что за свой короткий век был раз двадцать ссылаем в Сибирь, что мне при каждой ссылке вырывали ноздри и ставили на лоб по клейму, что семь раз я был приговорен к повешению и даже проснулся будто бы с веревкой на шее; снимок с этой веревки был помещен тут же с надписью: «Орудие убийства царских палачей». Наконец, я был сдан насильно в рекруты и отбывал военную службу в арестантских ротах.

Я не говорю об удивительных моих приключениях во время подпольной работы, которые шли в этом же номере газеты в виде подвала: этот фельетон мало задел меня, но что сказать о статье, в которой с моих будто бы слов утверждалось, что рабочие в царское время проводили на заводе двадцать четыре часа в сутки, а иногда и больше, а чтобы они не убежали, их заковывали на ночь в кандалы. Меня, знавшего действительную тяжесть заводской работы в старое время, эта наивная ложь только рассмешила, но какое впечатление произведет такая статья на читателя? Он тоже посмеется, или он отбросит газету и не будет верить ни одному ее слову?

О моих личных качествах сообщались столь же невероятные вещи: оказалось, что я не умею ни читать, ни писать (царское правительство, как известно, не давало рабочим возможности учиться), а через две-три строки я уже оказывался редактором подпольной газеты. Дочитывая последние строки, я потерял способность смеяться. Наглая, бесстыдная ложь корреспондентов возмутила меня.

— Сейчас же напишу опровержение.

«Редакция, — писал я, — доверилась интервьюеру, не потрудившемуся не только поговорить со мной, но и навести, хотя бы в словаре, необходимые справки. Он основывался исключительно на своем собственном вымысле».

Дальше я подробно изложил историю своей жизни, не прибегая к преувеличениям, так как положение рабочего, и в особенности революционера, было настолько тяжело, что не нуждалось в наивных и глупых прикрасах. «Вся сила наших старых подпольных газет, — писал я, — была только в правде. Лгать — значит вредить делу пролетариата и лить воду на мельницу наших врагов. Кто же поверит той бессмыслице, которая, конечно, случайно попала на страницы вашей газеты...»

Когда я заканчивал последние строки, вошел Витман. Я поспешил поделиться с ним моим негодованием. Он молча слушал меня, нетерпеливо отряхивая пепел с сигары. Мое воодушевление значительно ослабело от такого приема, и я поспешил закончить свою речь.

— Я уже написал опровержение, — сказал я.

— Зачем? — холодно спросил Витман.

— Да ведь это ложь, явная и вредная ложь...

— Вы ничего не понимаете, — поморщившись, пробурчал Витман, — во-первых, газет никто не читает, а во-вторых, это нужно для пропаганды...

Я не послушал Витмана и снес свое опровержение в редакцию. Замечу, кстати, что оно не увидело света.

Завтракал я вместе с Витманом в столовой. Это было довольно-таки хорошо обставленное просторное помещение, напоминавшее первоклассный ресторан. В отличие от ресторанов, стены столовой были украшены плакатами и лозунгами — «Не трудящийся да не ест», «Владыкой мира будет труд», «Долой горшки, да здравствует коммунизм». Прислуживали молчаливые официанты. Посетите-

Коран

И не будьте как те,
которые говорили: «Мы
слышали»,
а сами не слушают.

ли — в большинстве солидные господа и дамы — разглядывали меня с таким же интересом, с каким я — обстановку первой увиденной мною коммунальной столовой. Как это мало походило на наши харчевни у Нарвской или Невской заставы, в которых любили собираться рабочие. Вы понимаете мое чувство: завтракать в такой обстановке, поедать в неограниченном количестве самые отборные кушанья — и сознавать, что я не эксплуатирую никого, что я не отнимаю куска у голодного... Капиталисты никогда не испытывали подобного чувства.

Я поделился своими соображениями с Витманом. Он одобрительно наклонил голову.

— Вы должны показаться в клубе нашего союза, — сказал он, — вами все интересуются...

«Ну и разочаруются же они», — подумал я, вспомнив, каким красавцем изобразили меня утренние газеты.

Клуб находился через дорогу в помещении бывшей церкви. Крест с церкви был снят, колокола тоже, а внутри рядами стояли стулья, как в театре. Но что меня удивило, так это иконостас. Иконостас сохранился в полной неприкосновенности: иконы с золотыми и серебряными окладами, золоченые хоругви... Неужели не могли убрать или хоть завесить, подумал я. Но, ближе вглядевшись в лица святых, я не узнал ни одного, и что более всего поразило меня, так это современные костюмы изображенных на иконах людей.

Я тотчас же сказал об этом Витману.

— Что вы, — удивился он, — да ведь это портреты вождей революции.

Тут только я понял свою ошибку. Разглядывая портреты, я увидел несколько знакомых мне лиц, в том числе и своего старого друга — Коршунова. Знакомое лицо — и на иконе. Это было так странно.

— Зачем же, — сказал я Витману, — так похоже...

Витман не успел ответить. Из алтаря вышел священник и встал за аналоем. Я не точно выражаюсь, это был не священник, а скорее лютеранский пастор. Из объяснений Витмана я узнал, что это был заведующий клубом, он же старший инструктор по внешкольному образованию.

Но все-таки я с трудом мог отделаться от мысли, что нахожусь на протестантском богослужении. Мы все хором пропели «Интернационал», напев которого несколько изменился, так что он скорее напоминал церковное песнопение, чем бравурный марш парижских коммунаров, затем последовала проповедь. Проповедник рассказывал о победе рабочего класса над капиталом и подробно остановился на сегодняшнем дне, объясняя его значение для мировой революции. В довершение сходства — никто не слушал проповедника, но все сидели смирно и только изредка перешептывались.

После проповедника получил слово я. Зал тотчас же оживился. Говорил я недолго, предупрежденный Витманом, что не следует вступать в пререкания с анонимным газетным сотрудником. Я выразил свое восхищение перед героями, доведшими до конца дело пролетариата, и свою веру в конечное торжество этого дела. Иначе и нельзя было говорить в такой торжественной обстановке.

После моей речи присутствующие почтили вставанием память революционеров, которым был посвящен этот день, опять хором пропели «Интернационал» и чинно разошлись по домам.

Витман был доволен моим выступлением — я же решил и впредь не нарушать правил приличия, не мною выработанных и имеющих, может быть, особенное, для меня непонятное значение.

Из клуба меня провезли в высшую государственную коллегию, где я сделал очень подробный доклад о своей особе. Меня выслушали внимательно и поручили в двухнедельный срок письменно изложить мою историю для отдельного издания. Я был доволен, что хоть таким образом опровергну невероятные сплетни, распускаемые газетами. Признаться, меня больше всего мучил такой пустяк, как двадцать раз вырванные ноздри, но сознайтесь, читатель, и вам было бы не особенно приятно фигурировать на столбцах газет в качестве каторжника, да еще с вырванными ноздрями.

восьмая глава

Я ЗНАКОМЛЮСЬ С ГОРОДОМ

Первые дни моей новой жизни проходили как бы в фантастическом сне. Я не успевал вбирать в себя впечатлений, которые вдруг нахлынули и заполнили меня. Я ездил с собрания на собрание, читал лекции, отвечал на многочисленные вопросы и, признаюсь, мне настолько нравилось стоять в центре общественного внимания, что я даже мало наблюдал окружающую обстановку. Да как мне показалось, особенных изменений и не произошло: чудеса техники, о которых так много говорили романисты, нисколько не удивляли меня. Я видел отправку воздушного поезда с грузоподъемностью в несколько тысяч тонн, я имел возможность, сидя в своей комнате, не только слушать концерт, но и видеть артистов и даже разговаривать в антрактах со знакомыми, которые, подобно мне, сидели у себя дома и в то же время были в театре. Но все это удивляло только на одно мгновение, чтобы затем с большей остротой чувствовать несовершенство диковинных аппаратов. Вы поймете это, если вспомните, что обыкновенный телефон являлся в свое время для многих чудом природы, чтобы затем сделаться предметом одних неприятностей. Когда вы стоите у телефона и тщетно вызываете барышню, или когда слышите из трубки хрипение чужих звонков и чей-то незнакомый голос, или когда, наконец, ваш оживленный разговор будет неожиданно прерван — вы не чувствуете изумления перед чудом науки и техники и ругаетесь самым допотопным образом.

Так и со всеми изобретениями.

Джузеппе Мадзини Ересь священна, но лишь как переходная ступень от низшей к высшей истине.

В наше время все увлекались воздухоплаванием, я сам как-то сконструировал в тюрьме весьма затейливый аппарат, чертежи которого отобрал от меня один жандармский полковник,— и что же? Прошло сорок лет, и эти сорок лет убедили меня только в преимуществах сухопутного сообщения: все-таки спокойнее, дешевле и безопаснее.

Только одно ценное наблюдение сделал я — и наблюдение несколько неожиданное — все технические усовершенствования имели тенденцию идти от более сложного к более простому: паровые машины кое-где были вытеснены обыкновенными ветряными мельницами, и эти ветряные двигатели стоили так дешево, что любая швея могла поставить его к своей машинке. К сожалению, этих аппаратов еще не могли делать в России, а заграничные почему-то продавались по невероятно дорогой цене.

Внешний облик города изменился мало. Если отбросить огромное количество новых названий, то все остальное сохранилось в полной неприкосновенности: город за это время почти не вырос. Объяснялось это отсутствием той торговли с заграницей, которую вел в свое время Петербург: теперь внешняя торговля значительно сократилась — отчасти вследствие натянутых отношений с заграницей, до сих пор не желающей признавать первую коммунистическую республику, отчасти вследствие того, что центр внешней торговли перебрался на Крайний Север, где на месте прежнего Мурманска вырос большой, широкого значения порт.

Что же еще? Магазины, продавцы, покупатели, праздношатающиеся на улицах — все было таким же, как и в мое время, вплоть до нищих, предупредительно открывавших перед тобой дверь магазина, оборванных ребятишек с папиросами и спичками, назойливых, жуликоватых, со следами преждевременных пороков на лицах.

Наличие нищих в столице победившего пролетариата было непонятно мне, но первое время я мало задумывался над подобными вопросами: я был в каком-то чаду, и этот чад старательно поддерживали все окружающие.

Возвращался домой я очень поздно, усталый, взволнованный, и тотчас же садился писать мемуары. Часов в одиннадцать мне приносили анкету, где услужливо написано было мое имя, фамилия, а от меня требовалось только, чтобы согласно вопросам я дал отчет обо всех событиях своего трудового дня. Этот обычай очень понравился мне, я писал, ничего не скрывая, обо всем: и что я делал, и о чем я думал (был и такой вопрос).

На какие средства я жил? Мне была назначена пенсия в размере жалованья по семнадцатому разряду союза металлистов — самого влиятельного и получавшего наибольшие ставки. Получив удостоверение в том, что я мастер одного из заводов, я собрался было идти на работу, но мне объяснили, что все равно мне там нечего делать. Производительность труда поднялась настолько, что люди моего возраста могут совсем не работать.

Я узнал, что и вообще рабочие мало времени проводят теперь на заводах: два часа в сутки, и этого вполне достаточно. Зная из книг, что так и полагалось бы в социалистическом обществе, я нисколько не удивился краткости рабочего дня: я бы больше удивился, услышав обратное. А так как мой возраст был довольно-таки преклонен — шестьдесят шесть лет, я мог ничего не делать и первое время не чувствовал скуки, слишком заполнена была моя жизнь новыми впечатлениями. Выглядел же я совсем молодым человеком: сорок лет, проведенные в могиле, нисколько не отозвались на моем здоровье.

Итак — я был молод, обеспечен, окружен друзьями, меня знала вся страна, я видел воплощенными свои мечты о радикальном переустройстве общества...

Чего мне оставалось желать? О чем думать?

Одним словом, я был вполне счастлив, как только может быть счастлив человек на земле.

девятая глава

НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА

Когда судьба хотя бы на одну минуту бывает милостива к человеку, он способен не замечать несчастий другого. Сейчас, сидя в тюрьме, накануне неминуемой смерти, я не понимаю, каким образом мог я не заметить тех противоречий, которые скоро заставили меня выйти из колеи и дойти до того положения, в каком нахожусь сейчас...

Но это, конечно, излишнее отступление.

Останусь строго последовательным, иначе тот или иной факт ускользнет от описания, и моя повесть тем самым сделается неполной и, следовательно, неправдивой.

Поселился я в доме номер семь по Большой Дворянской (если хотите знать новое название этой улицы, купите за три копейки справочник, а я не помню). В этом доме, населенном, как я узнал, исключительно рабочими, было все необходимое: и столовая, и прачечная, и продовольственный магазин, и клуб. Можно было жить, не выходя из дома, особенно если принять во внимание, что радиоаппараты были поставлены в каждой квартире и можно было слушать любое театральное представление. Каждое утро доставлялась газета, вероятно, той же самой невидимой рукой, которая ежедневно подбрасывала анкету. Для прогулок и дальних поездок у ворот дома стоял автомобиль: когда уезжал один из жильцов дома, подкатывал другой, так что ходить пешком или ездить на трамвае мне не приходилось. Может быть, этот способ передвижения отчасти способствовал тому, что я ни разу не подумал о тех исхудалых, чахоточных рабочих, которых я ведь собственными глазами видел у ворот завода «Новый Айваз». Что это за люди? Преступники? Военнопленные? Рабы?

Вокруг себя я видел только благополучие.

Шамфор

Можно иметь в голове
множество идей и быть
при этом неумным человеком,
как можно командовать
множеством солдат и быть
при этом плохим генералом.

Сколько я ни встречал людей — на лестнице, во дворе, в клубе, в магазине, это все были хорошо упитанные господа и дамы, приветливо раскланивающиеся друг с другом, всегда довольные, изысканно вежливые. Скоро я завел более близкие знакомства среди людей из этого круга.

Однажды я проснулся раньше обыкновенного. Срок окончания заданной мне работы приближался, и мне приходилось наверстывать потерянное в постоянных разъездах время. Надо сказать, что к работе своей я относился со всей тщательностью человека, первый раз пишущего для печати, и мне не хотелось ударить в грязь перед моими новыми знакомыми и перед правителями рабочего государства.

Я сидел за письменным столом, обдумывая довольно-таки сложный период, разбухший помимо моей воли от большого количества придаточных предложений. И вдруг — я слышу слабый скрип двери и чьи-то слишком мягкие и поспешные шаги.

«Воры!» — подумал я и, бросив перо, выбежал в коридор, захватив тяжелую бронзовую лампу.

— Кто здесь? — крикнул я и, заметив маленькую фигурку, чуть не обрушил на ее голову это тяжеловесное орудие.

— Извиняюсь, — пролепетал тихий, немножечко хриплый, немножечко сладкий голосок, — извиняюсь, но это моя обязанность...

— В чем дело? — громко спросил я, держа оружие наготове.

Маленький человечек засмеялся.

— О, да вы не знаете наших порядков, — сказал он, — я политруководитель вашего дома...

Я пропустил странного гостя в свою комнату. По одежде его нельзя было принять за вора, а в манерах было что-то кошачье, одновременно хищное и до приторности ласковое. Я попросил его присесть на минутку и объяснить свое поведение.

— Я доставляю вам анкеты и беру их обратно, — сказал он, — делается же это для того, чтобы никто не мог прочесть вашего дневника. Вы пишете его ночью, когда никого нет в квартире, и рано утром я уношу его... Ведь, правда, неприятно, если ваши интимные излияния прочтет посторонний человек?

Я не понимал.

— Но ведь вы читаете их?

— Хе-хе! Это моя обязанность! Как в ваше время можно было обо всем говорить священнику, так теперь можно обо всем говорить мне... Вы можете положиться на мою скромность...

— А ключ? — заинтересовался я.

— У меня есть ключ от каждой квартиры...

Мне стало неприятно. Этот непрошеный гость может нагрянуть в любое время ночи... и что если...

Он понял мою мысль:

— Если вы не делаете ничего противозаконного, то вас это не должно беспокоить... И притом мы редко пользуемся своими правами... Вы видели, что я делал? Я вошел в коридор и дальше — ни шагу... Конечно, когда обстоятельства потребуют того, — сурово добавил он, — я могу войти, и не один!

Вышел он так же тихо, как и вошел, почти не шаркая мягкими туфлями, съежившись и выставив вперед маленькую мордочку с тонкими черными усиками.

Этот незначащий случай расстроил меня. Весь день я просидел дома. Меня вызывал Витман — я сослался на нездоровье. Мне звонили некоторые из знакомых и большей частью товарищи Витмана — студенты коммунистического университета, но я твердо решил не выходить из дома. Мне хотелось выяснить все обычаи, чтобы в дальнейшем не было никаких неожиданностей, вроде внезапного визита таинственного политрука.

В десять часов я пошел в домовый клуб, где мог увидеть почти всех жильцов дома. Они тихо дремали в своих креслах, слушая проповедь, подобную той, какую я слышал в клубе союза металлистов, испещренную ссылками на вождей революции, цитатами — а в общем даже для меня слишком элементарную и скучную.

Надо ли говорить, что в проповеднике я узнал своего непрошеного гостя? И тотчас же мне вспомнились его слова о священнике и исповеди.

«Да ведь он и есть священник!» — подумал я.

Слушать проповедь у меня не было никакой охоты. Я стал рассматривать публику и заметил, что публика занимается тем же: большинство из них смотрит на меня, кто с любопытством, кто с недоверием. Одна пожилая женщина, заметив мой взгляд, не могла сдержать улыбки. Я ответил ей легким поклоном. Она расцвела и победоносно оглядела окружающих. Я понял, что она не прочь завязать со мною более близкое знакомство, и по окончании службы подошел к ней.

— А ведь мы соседи, — сказала она, когда я отрекомендовался, — почему же до сих пор вы чуждались нашего общества?

Я поспешил сослаться на срочную работу.

— А вы прежде всего должны были связаться с нами, — ответила она, — а через нас у вас установился бы контакт с широкими массами, населяющими наш дом.

Во мне нашлось достаточно такта, чтобы не удивиться напыщенности ее языка. Я принял приглашение провести сегодняшний вечер в ее семье.

— У нас будет тесная смычка, не правда ли? — кокетливо улыбаясь, сказала она на прощанье.

Я ответил любезным поклоном. Чтобы не забыть, отмечу, она, подобно всем женщинам, живущим в этом доме, носила коротко остриженные волосы, была несколько небрежна в костюме, но зато подкрашивала губы и щеки.

Марк Аврелий У всех нас, разумных существ, разум один; если так, то каждый понимает, что можно и чего нельзя; если так, то есть закон, общий для всех; если так, все мы сограждане; если так, мир — единое государство.

десятая глава

КВАРТИРА НОМЕР ДЕВЯТЬ

В тот же вечер я поспешил воспользоваться приглашением. Вся семья была в сборе, и ждали только меня. Кроме дамы, ее мужа — толстенького смешливого человечка, директора какой-то фабрики, двух дочерей, были еще и гости. Признаюсь, войдя в квартиру, я почувствовал неловкость: надо сказать, что я не привык к буржуазной обстановке. Где я жил? В деревенской избе, в углу, вместе с другими рабочими, в казарме, в тюрьме, в студенческой комнате — и до сих пор нахожу, что каждое жилище из перечисленных выше, не исключая и тюрьмы, имеет свою прелесть или, если так можно выразиться — поэзию. Но все эти виды жилищ лишены одного — буржуазного комфорта. Даже теперешняя моя квартира, обставленная хорошо, если и не сказать богато, по сравнению с квартирой номер девять казалась бедной студенческой комнатой. Здесь меня поразило огромное количество тяжелых, громоздких и ненужных предметов: шкафы, буфеты, широкие диваны, стулья и стульчики, кресла и креслица, этажерки, фигурки, картины в золотых рамах, статуэтки и статуи делали эту квартиру похожей на антикварный магазин. Сходство усугублялось тем обстоятельством, что владелец этих вещей не заботился о том, чтобы выдержать какой-либо стиль: здесь были собраны предметы всевозможных эпох и стилей, и в то время, как некоторые из вещей поражали меня своей неуклюжестью, другие, наоборот, ласкали взгляд изяществом и тонкостью линий.

Задавленный количеством предметов, я, вероятно, был очень неловок, так как девицы, увидев меня, переглянулись и одна из них шепнула что-то другой — вероятно, весьма неодобрительное — о моей особе. Моя неловкость увеличилась, я покраснел от смущения и постарался бы скрыться, если бы хозяйка не вывела меня из затруднения, предложив сесть и заняв меня разговором о погоде.

Усевшись в глубокое кресло, я имел возможность подробнее осмотреть гостиную. Я заметил, что большинство картин написаны на революционные сюжеты, причем предпочтение давалось героическим темам: Девятое января, расстрел рабочих, еврейский погром. Статуэтки изображали рабочего с молотом или крестьянку с серпом. В углу, как и во всех квартирах, висело несколько икон, над которыми красными по золоту буквами была сделана надпись: «Ленинский уголок».

Я не знал, о чем говорить с хозяйкой. Перетрогав все темы и не найдя ни одной подходящей, я сказал, что очень рад видеть благосостояние рабочего класса и жалею, что не участвовал в революции. При этих словах я заметил, что лица хозяйки и ее дочерей странно изменились: они вытянулись, стали постными, суровыми, и водворилось неловкое молчание, после которого хозяйка, вздохнув, продолжала говорить о пустяках. Впоследствии я понял, что разговор о подобных вещах, вполне приличный в клубе, так же странен в обществе, как в наше время разговор на религиозные темы во время веселой пирушки.

В столовой нас ждали изделия госспирта, винсиндиката и винторга (названия современных фирм) и обильные закуски. Языки развязались, хозяева и гости оказались весьма милыми собеседниками. Они изумительно хорошо передразнивали политрука, рассказывали пикантные анекдоты и перетряхнули все косточки каждого из жильцов огромного дома. Один этот вечер дал мне больше, чем предыдущие две недели, проведенные в автомобиле и на докладах: я был за два часа посвящен во все тайные подробности жизни этих людей, во все их интересы. Наряды, легкий флирт, борьба честолюбий, мелкая зависть и мелкая ненависть — все сохранилось в неприкосновенности, несмотря на прошедшие сорок лет и несмотря на глубокие социальные изменения.

После ужина мы играли в карты. Я тоже присоединился к обществу, узнав, что играют в преферанс: этой игре я научился в ссылке. Но какое было мое удивление, когда вместо карт я получил картонки с лозунгами и изречениями Маркса, Ленина и других вождей революции. Я растерялся и заявил, что в эти карты не умею играть.

— Пустяки, — сказал хозяин, — сейчас вы поймете.

Игра оказалась очень занимательной. Это был преферанс, но роль карт выполняли тексты из писаний отцов революции (так именно выражались мои новые знакомые). Тексты были подобраны по мастям, причем бóльшая карта каждой масти являлась ответом на меньшую — покрывала ее и в то же время заключала вопрос, покрываемый высшей картой. Масти соответствовали вопросам партийной программы, профдвижения, диалектического марксизма, революционной тактики: вопросы менялись соответственно уровню развития играющих и располагались от самого простого — шестерка, до самого сложного — туз. Козырная масть носила название «Фронт», вопросы ее именовались ударными, и она покрывала любой из предложенных вопросов.

Мне приходилось немало ломать голову, прежде чем я научился находить карту, соответствующую заданному вопросу, но скоро я привык — обращался с этими картами, как с обыкновенными.

— Отличное изобретение, — сказал один из гостей, — мы таким образом усваиваем полный курс политграмоты!

При этих словах лица моих партнеров вытянулись, минутное молчание, вздох — и игра продолжалась по-прежнему. Я понял, что гость поступил нетактично, и только мое присутствие оправдывало его.

Надо ли говорить, что я был в восторге от этого остроумного изобретения. Игра в карты стала орудием пропаганды!

Владимир Ленин

Конечно, мы провалились.
Мы думали осуществить новое
коммунистическое общество
по щучьему велению...
Мы должны ясно видеть,
что попытка не удалась,
что так вдруг переменить
психологию людей, навыки
их вековой жизни, нельзя.

1923

Но пропаганда пропагандой, а когда игра закончилась, мне пришлось уплатить около десяти рублей моим более счастливым партнерам. Весьма понятно, что хозяин крепко жал мою руку и приглашал заходить в любое время.

Пришел я домой около половины одиннадцатого и в первый раз, заполняя анкету, на некоторые вопросы постарался ответить как можно короче и общими словами.

«Что думал я от десяти часов вечера до одиннадцати» — значилось в анкете.

Я написал:

— Думал о преимуществах нового строя над старым.

А на вопрос, что я делал в этот же промежуток времени, мною еще раньше было написано:

— Играл в преферанс по маленькой.

одиннадцатая глава

Я НАЧИНАЮ РАЗОЧАРОВЫВАТЬСЯ

Моя книга закончена и сдана в печать. Никто больше не интересуется мной, никто не хочет слушать моих докладов и речей. Я в первый раз чувствую пустоту, наличность ненужного времени, которое так или иначе надо убить. Это было совсем новое для меня чувство: подвергаясь постоянным опасностям, в лишениях и в борьбе я никогда не скучал. Правда, приходилось скучать в тюрьме, но это совсем не то... Эта скука была совершенно новым для меня явлением — скука от пресыщения.

Но довольно — я буду излагать только факты.

Вышеописанный вечер оказался образцом для нескольких таких же вечеров. Когда мои соседи узнали, что я был в гостях в квартире номер девять, каждый пожелал пригласить меня к себе. Квартиры, и люди, и способы провождения времени были всюду одинаковы: казалось, что они боятся в чем-нибудь выказать свою оригинальность. Если в квартире номер девять на стенах висели изображения Девятого января, расстрелов и погромов, то и в квартире номер десять, и в квартире номер одиннадцать можно было найти то же самое: соперничество ограничивалось только рамами, и рамы действительно были где хуже, где лучше, но всюду чрезвычайно широки, но всюду чрезвычайно блестящи. Если в квартире номер девять играли в преферанс по копейке, то можно быть уверенным, что в квартире семьдесят девять тоже играют в преферанс, но, может быть, по полкопейке. Если в квартире номер девять говорят о погоде, о кушаньях и сплетничают о соседях, то в квартире сто девять вы не услышите иных разговоров.

Надо ли говорить, что мои новые знакомые быстро наскучили мне. Я решил бросить бесцельное хождение по гостям и заняться самообразованием: подумать только, как я отстал за эти сорок лет. И вот я в книжном магазине, я выбираю самые новые исследования по общественным вопросам, чтобы освежить и пополнить мои знания. «Опыт революции, — думаю я, — не прошел бесследно, сколько интересных мыслей, сколько новых открытий...»

Но первая же попавшаяся в мои руки книжка разочаровала меня: это была переполненная цитатами из Маркса и Ленина компиляция о заработной плате. Я взялся за другую книгу — опять жестокое разочарование: снова цитаты, снова компиляция. Авторы как будто сговорились: я брал книжку за книжкой по самым разнообразным вопросам, и все они одинаково повторяли наиболее ходовые и в наше время изречения учителей социализма. Я вспомнил Коршунова — насколько живее и интереснее умел он излагать то же самое!

За этим занятием застал меня Витман. Он пришел немного навеселе.

— Э, полно, — сказал он пренебрежительно, отбросив книги, — оставьте... Это все для маленьких детей...

Я, признаться, с большим удовольствием отбросил книги и поехал вместе с Витманом на празднование годовщины Коммунистического университета. Это учреждение, насколько я мог понять, было учреждением привилегированным: там обучались дети старых партийцев, их подготавливали на ответственные административные посты. Витман представил меня нескольким молодым людям, щегольски одетым, весьма беспечным, пресыщенным и весьма иронически относящимся ко всему на свете.

— Они имеют за собой пять поколений истинных пролетариев! — сообщил он мне.

Но несмотря на то, что я находился в таком избранном обществе, мне было не по себе. Молодые люди разговаривали о собаках, о скачках, о женщинах — и обо всем одинаково, так что трудно было понять, чьи ноги они расхваливают — собачьи, лошадиные или женские. Я не принимал участия в их беседе, они тоже мало обращали внимания на мою особу. Я сердился, дулся и, признаюсь, был бы более доволен, если бы они стали расспрашивать меня о моем прошлом, выражать свое удивление и сочувствие... Но они, очевидно, успели забыть о том, кто я такой.

Вечер начался, как и полагается, — молебном. Старенький политрук отчитал скучнейшую проповедь об основателе Коммунистического университета, банальнейшую, как и все проповеди на свете. Молодые люди не слушали проповедника и, правда, немного потише, продолжали свой разговор.

Общее пение «Интернационала», звонок. Открывается занавес, и начинается театральное представление: Витман объяснил мне, что пойдет живая газета.

Это было весьма интересное зрелище. Представьте себе обыкновенную сцену небольшого провинциального театра, уставленную трапециями, лестницами, обручами, барьерами и — увешанную иконами. Артисты в трико под пение революционных песен выскакивают из-за кулис, взбираются на

Вл. Соловьев Глубочайшею основой славянофильства была не христианская идея, а только зоологический патриотизм, освобождающий нацию от служения высшему идеалу и делающий из самой нации предмет идолослужения. Провозгласили себя народом святым, богоизбранным и богоносным, а затем во имя всего этого стали проповедовать... такую политику, которая не только святым и богоносцам, но и самым обыкновенным смертным никакой чести не делает.

лестницы, прыгают через барьеры, ходят на руках, вертятся колесом, ходят по проволоке.

— Что это такое? — спросил я Витмана.

— Это иностранные державы хотят погубить нашу республику, — ответил Витман.

Я ничего не понял из этого ответа и продолжал смотреть. Артисты кувыркались все энергичнее и энергичнее, их движения становились быстрее и быстрее. И вот, наконец, задняя часть сцены осветилась ярким красным огнем. Артисты завыли. Огонь разгорается все ярче и ярче. Артисты стараются спрятаться, залезают в люки, в суфлерскую будку, взбираются на потолок и ходят по потолку вниз головой.

И вот — на задней стене образ женщины с ярко горящим факелом в правой руке и звездою на лбу. За ней — новая толпа артистов, хор исполняет «Интернационал».

— Это наша республика,— сказал Витман.

Женщина на переднем плане сцены. Звуки органа. Откуда-то появившийся священник произносит громогласную проповедь, достоинство которой в том, что она коротка, — и занавес.

Мне понравилась эта смесь циркового представления с церковной службой, и я не преминул осведомить об этом Витмана.

— Это же обычное вечернее представление в наших клубах, — ответил он, — неужели вы ни разу не видели?

Я должен был признаться, что по вечерам ни разу не посещал клуб. И хорошо: это же самое зрелище видеть каждый день. Как осточертеет оно!

Конечно, последнюю мысль я сохранил при себе: мало ли что мог подумать после этого Витман?

Вечер закончился ужином.

Это был лучший из ужинов, какие только бывают на свете: тропическая зелень и фрукты, дорогие иностранные вина, какие-то безобразнейшие раки и улитки, к которым противно было прикоснуться. Мои знакомые уничтожали этих раков и улиток с большим аппетитом, я, наоборот, искал на столе что-нибудь более вкусное и питательное и налег на обыкновенную ветчину.

За столом прислуживало несколько лакеев, очень предупредительно ухаживавших за гостями. Я обратил внимание на их лица — бесстрастные, спокойные, но с затаенной скорбью, а может быть, и ненавистью в полуопущенных глазах. Мне стало не по себе.

Выпив стакана два шампанского, я пустился в философию: я доказывал своему соседу, что бедняги уже отработали свои два часа, и надо же наконец дать им отдых. Витман отодвигался от меня и со смущенной улыбкой отвечал, что они в этот вечер отработают за две недели. Но мой сосед справа оказался более откровенным.

— Нам, чистокровным пролетариям, нет дела до предпринимателей, обогащающихся нашим потом-кровью, — заявил он.

Я начал философствовать о поте и крови, но мне налили один за другим два бокала очень крепкого вина, и я не мог больше пошевелить языком.

Как во сне помню: поездка в автомобиле, раскрашенные женщины, разбитая посуда, голый Витман, танцующий на кончике стола. Было все это или нет, я не мог бы утверждать под присягой — до такой степени смутно помню я происходившее в эту ночь: дело, конечно, в свойствах вина.

Я очнулся на другой день с головной болью, скверным вкусом во рту и смутной тяжестью. Только постепенно стали вырисовываться в моем представлении отдельные моменты: ресторан, растрепанные физиономии соседей, я произношу тост, я говорю речь — и насмешливо-скорбное лицо лакея, наклоненное надо мной с вежливым вопросом.

«Вот! — подумал я. — Здесь есть какое-то...»

Но мысль тотчас же убежала от меня, и я снова заснул.

двенадцатая глава

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Утром опять явился Витман, справлялся о моем здоровье, и мы поехали доканчивать вчерашний ужин. Выпив вина, я развеселился и, вспомнив неловкое выступление, стал подражать в разговоре и отношении к вещам своим новым знакомым: так же безапелляционно высказывал суждения о женских ножках, собаках и лошадях, так же грубо обращался с лакеями и пытался безумными выходками затмить самого Витмана.

Вспоминать эту полосу жизни теперь мне всего более неприятно. Золотая молодежь пролетарского общества, беспечная, самовлюбленная, порочная, ничем не отличалась от молодежи буржуазно-дворянского общества. Ночные кутежи, цыгане, женщины, издевательства над цыганами и женщинами — и притом полная уверенность в своей правоте, полное отсутствие хотя бы проблеска сознания, что так жить нельзя...

И я жил так, я во всем участвовал...

А что другое мне оставалось делать? Работы никакой, жизненные блага сваливались мне на голову неизвестно откуда и неизвестно за что, общественная работа больше не нужна, бороться не с кем, в клубах — скучные проповеди днем и ежедневная живая газета вечером, газета, наполненная всегда одним и тем же материалом... Книги — но я уже говорил, что это были за книги! Но я все-таки не мог удержаться от того, чтобы, проходя мимо магазина, не захватить с собой какую-либо новинку. И что же? Эта новинка оказывалась читаной-перечитаной. Стихи, рассказы, романы, повести — все было наполнено доказательством одной и несложной мысли: что мы живем в самом хорошем государстве, что мы счастливы, что все хорошо... Тенденция насквозь просачивала каждую вещь, и после прочтения десятка книжек мне стало тошно смотреть даже

на обложки — чрезвычайно красивые обложки, сделанные лучшими художниками.

Когда я сказал Витману, что не могу читать современных книг, он с обычным для него цинизмом ответил:

— Только круглые идиоты читают теперь книги. Порядочные люди любуются обложками.

И у него самого в кабинете была полка, заставленная неразрезанными книгами в самых лучших обложках.

Театр.

Мои товарищи смотрели только балет. Я не любил и не понимал балета, я мало любил оперу, а на драму, опять-таки, можно было только взглянуть.

Как ни пытались авторы и режиссеры разнообразить свои сюжеты и постановки — брали темы из индийской, китайской, египетской жизни и из жизни каменного века, но все пьесы и все постановки были похожи одна на другую: буржуи египетские, с папирусами и зонтами, буржуи китайские, буржуи каменного века — голые с каменными топорами — притесняли рабочих, которые восставали и в последнем акте пели «Интернационал». Целые вечера посвятить выслушиванию подобных пьес — это значило обречь себя на неслыханную пытку. Единственно, что было интересно в драме, — декорация, но и ее пестрота очень скоро надоедала.

Что же оставалось делать мне, привыкшему к неустанной работе, рассчитывавшему часы и минуты каждого дня своей жизни?

Пьянство, кутежи, цыгане, женщины... Надо было произойти чему-то исключительному, чтобы я снова мог встать на правильный путь. И это исключительное событие не замедлило произойти.

Толчком послужило обычное в этом обществе явление. Однажды после сытного ужина в квартире номер девять я не сел играть в карты, а остался с мамашей и ее дочерьми. После незначащего разговора мамаша пожелала вести беседу о моей особе.

— Вам, вероятно, скучно одному,— спросила она.

Я сознался, что не знаю, куда употребить излишек свободного времени.

— О, все дело в том, что вы одиноки,— ответила она.— И вы ведете неправильную жизнь, я должна это сказать вам, как молодому человеку...

— Я старше вас,— напомнил я ей,— по паспорту мне шестьдесят шесть лет.

— Что вы говорите! Вы еще молоды, вам нельзя дать больше тридцати. Вам нужно подумать о том, чтобы найти себе женщину...

Я смутился.

— Полноте,— сказала она,— мы судим об этих вещах очень просто. Вам необходимо удовлетворять половую потребность, а у меня есть дочь, которая нуждается в том же...

Я взглянул на одну из ее дочерей, но та нисколько не смутилась.

— Ах, я и забыла, что вы полны буржуазных предрассудков, — сказала дама, заметив мое смущение, — вы думаете о любви, вы хотите романтики, но ведь все это отрыжки чуждой нашему классу идеологии... Мы смотрим на дело проще и хотим поделиться с вами тем, что имеем в избытке...

Она опять показала на дочерей.

— Хорошо, я подумаю,— ответил я, краснея как вареный рак. Я почувствовал, что готов провалиться от стыда — не за себя, нет, но за эту женщину и за ее дочерей.

Дама просто приняла мой ответ и тотчас же перешла на пустяки.

Что же? Согласиться на бесцеремонное предложение? Если стоять на точке зрения существующего порядка — да. Но я не согласился.

За картами — я имел достаточно такта, чтобы не уйти тотчас же — я спросил своего партнера:

— Вы были когда-нибудь влюблены?

— О нет,— ответил он,— нам нет дела до этого. События развертываются так быстро, так много активности в нашем обществе, что нам некогда заниматься психологической пачкотней...

По его торжествующей физиономии я понял, что он произнес самую длинную и самую трудную цитату, какую ему когда-либо приходилось произносить.

Кстати — привычка к цитатам. Меня сначала удивляло, что все мои знакомые не могут слова сказать без цитат, и только потом я убедился, что это особый способ мышления, вероятно, внедренный воспитанием в головы моих новых современников. Меня коробило только одно — малое соответствие этих цитат действительному положению дел: ну какие, скажите, события могут быстро развертываться в жизни моего собеседника, половину своего времени проводящего за картами, а другую половину позевывающего и плюющего в потолок?

Дома у меня было достаточно времени для размышлений. Конечно, надо серьезно отнестись к предложению. В этом обществе никогда не шутили и не умели шутить. Юмор был вытравлен из них — они все были серьезны, как индюки. Что же? Соединить свою жизнь с судьбой деревянной девицы, бренчащей на фортепьяно и знающей десяток-другой цитат из произведений отцов революции, разжиреть, играть по вечерам в карты, ходить в клуб, вздыхать, когда кто-либо в моем присутствии назовет одно из сакраментальных имен или упомянет о революции?

Нет, я не могу пойти на это!

Вести образ жизни каплуна и говорить, что активность мешает мне заниматься психологической пачкотней?

Удовлетворять половую потребность?

Лежа на кровати, я закрыл глаза ладонью, и вот мне представилась студенческая комната, белокурая девушка, отчаянно спорящая о преимуществах свободной любви... Да, любви...

И с необычайной яркостью — другая картина: у

Александр Герцен

Рабство — первый шаг к цивилизации. Для развития надобно, чтоб одним было гораздо лучше, а другим гораздо хуже; тогда те, которым лучше, могут идти вперед на счет жизни остальных. Природа для развития ничего не жалеет.

дверей моего дома такая же белокурая девушка, милая, нежная, несчастная... Она отвернулась от меня, чтобы скрыть свои слезы.

Я быстро вскочил с кровати и хлопнул себя по лбу.

— А ведь я мерзавец! Я обещал вернуть этой девушке ее вещи — и что же? Я забыл! Быстрый темп моей жизни помешал мне вспомнить о ней — как сказали бы мои знакомые...

Небольших трудов стоило мне узнать в домкоме адрес прежней жилицы и собраться к ней. Для первого раза я захватил с собой пачку книг: этого никто не заметит, а там, понемножку, я перенесу и остальные вещи.

Для меня это было тем более просто, что в большинстве вещей я не нуждался совсем.

тринадцатая глава

ЕЕ ЗОВУТ МЭРИ

Ехать пришлось на Выборгскую сторону. Я не заглядывал в эту часть города с тех пор, как меня постигла странная перемена судьбы, — и вот теперь, как в смутном сне, припомнилось мне мое первое путешествие. И припоминались еще какие-то стертые впечатления. Стоило только мне увидеть закопченный корпус фабрики Эриксона, насыпь Финляндской дороги, станцию на возвышении невдалеке, как я вспоминал торопливо пыхтящий паровозик, себя на империале, пышущий пламенем завод Лесснера — и мной овладевало беспокойство, подобное тому, какое испытывает человек, преследуемый тайной полицией. Нужен был сильный волевой нажим, чтобы перенести себя в новый мир, где, как я знал, тайной полиции не существовало. Конечно, теперь никто не следит за мной — хозяином жизни. Я выпрямлялся, победоносно оглядывался по сторонам — но странно: в плечах у меня оставалось чувство преследуемого человека.

Мой автомобиль пролетел под мостом Финляндской дороги, повернул к Лесному парку и остановился у небольшого деревянного домика на углу Болотной и Песочной улиц. Место это было памятно мне по моей прежней жизни, и с тех пор оно мало изменилось, только значительно постарело и выцвело. Я прошел заросшим жидкой травою двором, по которому теперь, как и прежде, разгуливали бродячие собаки, и постучал в окно.

Мне открыла она сама, пригласила войти, но смотрела на меня с недоверием и односложно отвечала на мои вопросы. Я тоже не знал, о чем говорить, и, как мне показалось, очень глупо улыбаясь, осматривал обстановку.

И было чего осматривать мне, привыкшему к роскоши пролетарских семейств, живущих в центре города. Обстановка была бедна до крайности: поломанный стул, две простых табуретки, деревянная кроватка, этажерочка, сделанная самой хозяйкой из досок и обтянутая дешевой материей,— как остро воспринималась мною эта бедность! Но странно — по мере того как я привыкал к этой обстановке, она становилась мне все милее и милее. Вспоминались какие-то забытые давным-давно запахи, и чем-то теплым пронизывало это воспоминание все мое существо...

Да ведь эта комната так похожа на те комнаты, в которых я жил, когда некоторая передышка позволяла мне обзавестись собственной квартирой!

— Я принес вам книги,— сказал я, когда первое смущение прошло, и положил на стол толстую связку.

Я заметил, что глаза девушки заблестели, но тотчас же поблекли, и она с прежней недоверчивостью смотрела на меня.

— Я перенесу и остальное,— поспешил добавить я,— ведь я же дал слово...

Несколько пустых фраз, несколько минут молчания, и, не помню как, только через полчаса мы уже разговаривали, как старые знакомые. Разговорились мы как раз о книгах. Она сказала мне, что именно эти книги, случайно захваченные мною сегодня, для нее всего дороже. Я не одобрял ее восхищения.

— Это — буржуазная поэзия,— сказал я.

Она на секунду смутилась, но потом стала смело отстаивать свою точку зрения. Я доказывал свое. Я всегда был сторонником гражданских мотивов.

В пылу спора я воспользовался следующим аргументом:

— Разве гражданская поэзия не сыграла своей роли в той великой борьбе, которая закончилась победоносной революцией?

При этих словах глаза моей собеседницы поблекли. Я в недоумении смотрел на нее:

— Разве я вас чем-нибудь обидел?

— Не говорите, пожалуйста, об этом,— насилу выдавила она.

Только тут я воочию убедился, какая пропасть разделяет нас. Я совсем забыл, что она принадлежит к буржуазному классу и не может сочувствовать революции.

Если не считать этой маленькой заминки, все остальное было великолепно. Да и так ли глубока эта пропасть, думал я: разве в наше время молодые люди из буржуазного класса не становились хорошими революционерами, преданными, самоотверженными?.. Почему бы не сделать из этой девушки не врага, а друга? Да и вся она, худенькая, с большими мягкими глазами и мягкими движениями, не вязалась в моем представлении с понятием классового врага.

— Может быть, пройдемся по парку,— предложил я.

Мы пошли. Была ночь. Мелкие капли дождя скатывались с деревьев. Мы шли по мягкому песку, то и дело наступая на еще более мягкую траву. Она молчала. Мне тоже не хотелось говорить, но я чувствовал себя превосходно.

Николай Карамзин

Мудрость человеческая имеет нужду в опытах, а жизнь кратковременна. Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала их бурное стремление, чтобы учредить порядок, согласить выгоды людей и даровать им возможное на земле счастие.

— Не правда ли, хорошая прогулка?— сказал я, когда мы снова оказались около ее дома.

Она наклонила голову в знак согласия. Я сказал:

— Ведь я до сих пор не знаю, как вас зовут.

Она смутилась, опустила глаза:

— Можете называть меня так, как называют друзья. Меня зовут Мэри.

При звуках этого имени у меня сжалось сердце. Я долго не мог выпустить ее руки из своей и, вероятно, очень глупыми глазами смотрел на нее, потому что она улыбнулась и немного резко сказала:

— Ну что ж... Вам пора.

Но, если к этому прибавить, что она пригласила меня зайти и в другой раз, то вы поймете, как я был счастлив в этот вечер.

Вернувшись домой, я долго ходил по комнате, мысленно продолжая разговор с Мэри и убеждая ее в правоте своих взглядов. Увидев заготовленную политруком анкету, я не замедлил заполнить ее, ни словом, однако, не упоминая о моей прогулке в Лесной.

Во сне я видел ее глаза и мокрые тропинки Лесного парка.

четырнадцатая глава

Я ПЕРЕЖИВАЮ НЕПРИЯТНЫЕ МИНУТЫ

Следующий день начался неприятным предзнаменованием: когда я выходил к завтраку, навстречу мне попался политрук. Он пробирался наверх, по обыкновению вытянув вперед голову, словно обнюхивая лестницу. Унюхав меня, он ехидно улыбнулся и почти не ответил на мое приветствие.

В столовой я заметил такие же взгляды и улыбки со стороны совершенно незнакомых людей. Это заставило меня быть более непринужденным, чем когда-либо, я нарочно громко говорил, задавал соседям ненужные вопросы. Отвечали мне неохотно, сторонились меня, как зараженного. Я не понимал, что это значит, но мне все-таки было не по себе.

Часам к двенадцати дня приехал Витман. Он был чем-то озабочен и смотрел на меня с сожалением. Я не понимал ни его озабоченности, ни его взглядов, а он долго не мог начать разговора и начал его издали.

— Поверьте мне,— сказал он,— я ваш первый и лучший друг.

Я ответил, что никогда не сомневался в искренности его дружеских чувств.

— А вы подводите меня,— с упреком сказал он.

Я выразил неподдельное изумление. Витман поднял на меня бесстрастные глаза.

— Вы ничего не знаете?— сказал он.— Вы не знаете, что нарушили один из важнейших законов нашей республики?

— Что вы говорите? Какой закон?

Я искренно не знал за собой никакой вины.

— А ваше знакомство с классовыми врагами?

— Какими врагами?

В первую минуту я не понял, на что намекает Витман.

— Не притворяйтесь,— оборвал он, — вспомните лучше, где вы были вчера вечером!

Я невольно покраснел. Витман победоносно посмотрел на меня сквозь монокль.

— Ну и что же из того?— сухо ответил я.

— Вы не должны больше этого делать,— сурово ответил он. Меня взорвало:

— Вы мне запретите?

Жидкая мразь, да я растопчу тебя в одну минуту, думал я. Меня возмутило вмешательство постороннего человека в мою личную жизнь. И потом — откуда он узнал об этом? Следил, что ли?

Он понял мое настроение.

— Да, я имею право запретить вам. И мне именно, как вашему ближайшему другу, поручено сообщить об этом.

Он сильно напирал на слово «поручено».

«Вот как,— подумал я,— кто-то уже успел обсудить мое поведение и вынести приговор!»

Все это по весьма понятным причинам только раздражало меня.

— А мне плевать на ваше запрещение!— грубо ответил я.

Я думал, что он ответит еще большей грубостью — такие разговоры не были редкостью среди подпольных работников в царское время. И тогда товарищи следили друг за другом и останавливали друг друга, если казалось, что один из них делает ложный шаг. Но тогда шла упорная борьба. Этой борьбе мы должны были отдавать все свои силы — без остатка, — а теперь?

Но мое воодушевление снова пропало даром. Витман не ответил на мою грубость. Вместо того он вынул из кармана записную книжечку, сделал в ней какую-то отметку и просто сказал:

— А теперь пойдемте в клуб. Я выполнил свою обязанность и больше не возвращусь к этому вопросу.

Его хладнокровие до того поразило меня, что я подчинился беспрекословно. Я пошел в клуб, выслушал скучнейшую проповедь, подошел после обедни к даме из девятого номера. Та смотрела на меня с сочувствием — она, вероятно, тоже знала, что я совершил нехороший поступок, но не осуждала, как другие, а жалела меня.

«Вот видите,— как будто говорила она,— до чего доводит одиночество». Я ждал продолжения неоконченного в прошлое свидание разговора и не ошибся.

— А вы подумали о моем предложении?— улыбаясь сказала она.— Вы обещали подумать...

Я вспомнил деревянную девицу, и этот образ теперь внушил мне еще большее отвращение.

— Нет,— сухо ответил я.

Дама тотчас же оставила меня и, сохраняя ту же приветливую улыбку, стала разговаривать с други-

Никита Моисеев

Сколько раз в своих предсказаниях за последние десятилетия ошибались ученые, причем виднейшие, и в своих профессиональных прогнозах. Они оказывались, как правило, очень в малом совпадающими с тем, что затем нам являла действительность. Даже такой провидец, как В. И. Вернадский, был уверен, что с победой над фашизмом исчезнет мировое зло и перед человечеством откроется перспектива перехода в эпоху ноосферы.

1990

ми. Я понял, что совершил большую тактическую ошибку: надо было ответить помягче, надо было оттянуть ответ, но вы знаете мое настроение и поймете, что отнестись к этому повторному предложению иначе я не мог.

Я нажил себе врага. Но я в тот момент не жалел об этом так, как жалею теперь: в ту минуту мне хотелось даже сказать этой даме что-нибудь весьма оскорбительное, мне хотелось выругаться, наконец... Каша в голове была чрезвычайная — хуже, чем после похмелья.

И с тем большим нетерпением я дожидался вечера. К ожиданию радостной для меня встречи присоединялось желание вырваться из насыщенной подозрительностью и чуждой мне атмосферы.

Но до вечера было не близко. Поневоле мне пришлось провести весь день с Витманом, который видел мою нервность, но как будто не замечал ее. Меня злила его невозмутимость и уверенность в своей правоте: меня злило, что он смотрит на меня как на взбалмошного ребенка.

Может быть, теперь мне понятно, что я и был таким в глазах людей, насквозь проникнутых сознанием своей правоты и важности исполняемых ими обрядов, но тогда я не понимал этого. Я сделал еще ряд тактических ошибок: пробовал начать спор с Витманом по поводу какой-то газетной статьи, но он недоумевающе взглянул на меня и что-то записал в книжечку. Книжечка эта стала раздражать меня.

— Что вы записываете? — спросил я.

— Так, — неопределенно ответил Витман, — вспоминаю некоторые дела...

Я был очень рад, когда развязался с этим человеком, и тотчас же стал готовиться к вечернему визиту. Я связал большую пачку книг и хотел уже потребовать автомобиль, но рассчитал, что приеду слишком рано.

— А не пойти ли пешком?

Через пять минут я был уверен, что надо идти пешком. Откуда весь дом узнал о моем путешествии? Ясно, что наболтал шофер. Может быть, он, так же, как и я, заполняет анкету, и на вопрос, что он делал в такой-то промежуток времени, он ответил: возил меня в Лесной.

Я выйду из дома пешком, а на Выборгской сяду на трамвай или возьму извозчика.

Но извозчик, встреченный мною на Финляндском проспекте, отказался везти. Он был прикреплен к определенному дому. На трамвай меня не пустили.

— А у вас есть билет?

— Я могу купить...

Кондуктор засмеялся и дернул звонок. Трамвай показал мне хвост, и я отправился пешком в такую даль, и притом с тяжелой ношей за плечами. Но пока я шел, я не думал о дальнем пути и о тяжелой ноше: я думал только о предстоящем свидании.

пятнадцатая глава

Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ЧТО-ЛИБО ПОНИМАТЬ

Это была первая прогулка по городу после рокового дня моего пробуждения. Идя через всю Выборгскую сторону пешком, я старался идти тем же самым путем, каким шел тогда. Противоречие между первым впечатлением и рассказами моих новых знакомых до сих пор время от времени мучило меня, и мне хотелось проверить. Надо сказать, что мое первое впечатление оказалось более верным.

Чем дальше входил я в глубь рабочих кварталов, тем ощутительнее была бедность, поразившая меня во время первого путешествия. Нищих здесь было еще больше, чем в центре, — нищих молчаливых, скромных, но от того еще более жалких. Неужели так много людей не попало на зубья усовершенствованной государственной машины? — вспомнил я объяснение Витмана. Но тогда надо сделать какую-то проверку...

У ворот завода толпились изможденные усталые рабочие.

«Неужели двухчасовая работа так утомительна?»

Все эти наблюдения и мысли разрушали представление о легкой, веселой, хотя и несколько однообразной жизни граждан государства, заменившего царскую Российскую империю. В довершение всего дойдя до дома Мэри, я узнал от ее матери, что Мэри еще не вернулась с работы.

— А когда она ушла?

— С утра. Она возвращается в пять, но, наверное, осталась на сверхурочные.

Это окончательно добило меня. Я готов был хлопнуть себя по лбу и сказать: «Эх, дурак, дурак! Эты, тупая скотина!»

Я проспорил с ней целый вечер о каких-то пустяках и не догадался спросить, где она работает, сколько времени, сколько зарабатывает... Может быть, она нуждается в помощи?

Я присел на скамейку во дворе и не скоро дождался ее. Пришла она в простеньком ситцевом платье, у нее было утомленное, измученное лицо.

— Я принес вам книги, — начал я.

— Благодарю вас, — равнодушно ответила она, попросила подождать, пока переоденется. Я с нетерпением ждал ее. Я чувствовал, что сегодняшний вечер даст мне больше, чем два года жизни в том кругу, который я должен считать своим кругом.

Я не ошибся. Каждое ее слово было для меня целым откровением. Я слушал ее с раскрытыми от удивления глазами: такой контраст со всеми виденными мне представлениями!

Я узнал, что после выселения она некоторое время зарабатывала шитьем на дому, но низкая плата и налог на роскошь заставили ее бросить это занятие и искать работы на фабрике.

— А что вы делали прежде?

Константин Леонтьев

Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей восходил на Синай, что эллины строили себе изящные акрополи, римляне вели пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арбеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский или немецкий, или русский буржуа в безобразной

Оказалось: она училась в художественной школе и оказывала большие успехи в живописи. Остался один год, когда ее постигло несчастье: она познакомилась с одним студентом Коммунистического университета, по ее описанию чрезвычайно похожим на Витмана — если не с самим Витманом. Студенту этому она очень понравилась, он начал ухаживать за нею, сначала робко, потом все настойчивее и настойчивее.

— Вы понимаете, он был так груб,— почти в слезах произнесла Мэри.

Я понимал ее. Если преклонного возраста дама могла так грубо предложить мне свою дочь, то чего ждать от молодого человека, да притом из того круга общества, который я поневоле отлично знал. Ведь они на моих глазах обращались с женщинами как со скотом! А здесь — девушка из буржуазной семьи, воспитанная на старых книгах... Она, наверное, не считала любовь глупым предрассудком...

— Он был противен мне. Я запретила ему показываться мне на глаза.

Что же он сделал? Он стал следить за ней, окольными путями он стал выяснять подробности ее родословной, и ему удалось доказать, что ее дед был офицером царской армии.

Мне непонятно, но Мэри понимала, что иначе и не могло быть,— она была исключена из училища за буржуазное происхождение и выселена из квартиры.

После долгих мытарств и голодовки она получила работу в золотошвейной мастерской, где вышивает флаги и портреты вождей. Работа эта очень тяжелая и плохо оплачивается: чтобы платить за квартиру и прокормить мать, приходится работать по шестнадцать часов в сутки.

— А двухчасовой день? — удивился я.

— Двухчасовой день — для рабочих, а я не принадлежу к этому классу.

Мне осталось только руками развести. Еще больше удивило меня то, что за нищенскую квартирку ей приходится платить две трети заработка.

— Ведь это самый дешевый район!

— Теперь это ничего не значит. Я плачу по ставкам, установленным для буржуазии. И кроме того — моя квартира на три аршина больше установленной жилищной нормы...

Понятие жилищной нормы опять-таки оказалось мне недоступным.

— Но ведь вы работаете на фабрике, у вас есть союз...

— Союз! Я — буржуйка и не могу пользоваться правами члена союза. Я плачу в союз десять процентов заработка, но ничего от него не получаю.

Я хотел получить более подробные сведения о тех удивительных порядках, которые установились в этом лучшем из государств, но мне помешали гости: молодой человек, отрекомендовавшийся поэтом, и старик, которого Мэри назвала философом.

— Это представители среднего класса,— шепнула она.

Я не понял, что это значит, но расспрашивать при них было неудобно.

У поэта был тонкий профиль, тонкие узкие руки, фигура философа была несколько мужиковата. Широкая седая борода, толстый нос и небольшие серые глазки делали его похожим на Толстого. Если бы не слишком гладко зачесанные волосы на висках и скользкая улыбка, я принял бы его за вставшего из могилы яснополянского мудреца.

На меня эти люди не обратили внимания. Я посидел минут пять и счел лучшим ретироваться. По дороге я раздумывал о тех открытиях, которые сделал в этот вечер.

«Завтра же пойти к Витману и узнать все!»

Занятый размышлениями, я не заметил даже, что брошюра, написанная мною по заказу верховного совета государства, уже отпечатана и лежит на моем столе.

шестнадцатая глава

Я РАЗГОВАРИВАЮ С ЦЕНЗОРОМ

Судьбе угодно было поразить меня еще одним испытанием. Проснувшись, взялся я по привычке за газету и в отделе «Рабочая жизнь» с удивлением увидел свою фамилию.

Заметка называлась: «Клеймим презрением изменников общего дела».

«Нужно было рабочему классу сорок лет страдать под красным знаменем, чтобы отдельные субъекты, позорящие имя честного пролетария, забывали свой классовый долг и изменяли делу мировой революции, как (здесь стояло мое имя). Означенный дезертир и предатель...»

Я не буду повторять тех грязных слов, которыми обзывал меня неизвестный автор заметки, скрывшийся под псевдонимом «рабкор Шило». Скажу только, что я обвинялся в сношениях с лицами, стоящими по ту сторону баррикады, и неведомый автор высказывал предположение, что целью моих посещений является контрреволюционное выступление. «Гепеу, где же ты?» Так кончалась заметка.

Меня интересовало одно: кто следит за мной? Кто ходит за мной по пятам и доносит о каждом моем шаге? В первый раз я подумал на шофера — но ведь я шел пешком.

Тайная полиция?

При этой мысли кровь в моих жилах похолодела.

Я ходил из угла в угол по своей уютной комнатке, и эта комната казалась мне звериной клеткой. Мое возбуждение искало выхода, и этот выход скоро нашелся: нечаянно зацепив за стол, я уронил что-то. Смотрю, а это только что отпечатанная брошюра «Сорок лет назад», написанная мною по заказу верховного совета. Книга отвлекла меня от мысли о незримых доносчиках.

Если читатель вспомнит, что моим намерением было реабилитировать себя, что она заменяла опро-

комической своей одежде благодушествовал бы «индивидуально» и «коллективно» на развалинах всего этого прошлого величия?.. Стыдно было бы человечеству, чтобы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки.

вержение газетной статьи, распространившей обо мне самые чудовищные слухи, то будет понятно, с каким нетерпением разрезал я листы этой брошюрки, с какой жадностью принялся я перечитывать свою работу.

Первая страница точно принадлежала мне, и я с удовольствием прочел ее. Но дальше! Дальше кто-то, очень хорошо подделавшийся под мой слог, рассказывал самые невероятные вещи, повторяя все те сказки, которые рассказывали обо мне газеты.

Чаша терпения была переполнена. Я торопливо оделся и, не позавтракав, отправился в то учреждение, которому сдал свою книгу. Я набросился на заведующего чуть ли не с ругательствами, но он хладнокровно ответил, что его функция — только передаточная. Он даже не читал моей брошюры, а передал в другой отдел. Этот другой отдел заявил мне, что его функция — исправление грамматических ошибок, а за дальнейшее он не отвечает. Третий отдел передал книгу какому-то рецензенту, тот — другому рецензенту, — и только перебывав в двадцати двух учреждениях и объездив весь город, я нашел виновного. Это был главный цензор государства. Я немедленно отправился к цензору.

Он принял меня очень приветливо. Высокий, с длинными белокурыми волосами, с широким раздвоенным носом, без всякой растительности на лице, покрытом прозрачной кожей, с ехидно улыбающимися глазками, он напоминал одновременно и провинциального поэта из неудачников, и старую архивную крысу, если возможно такое противоестественное сочетание.

— Что вы скажете?— ласково произнес он, приветливо поздоровавшись со мной.

Я был взволнован и довольно несвязно изложил суть дела. Цензор слушал и покровительственно улыбался.

— Ну и что же?— спросил он, когда я окончил свою речь.

— Я хочу знать, кто написал такую чепуху и зачем она выпущена в свет под моим именем?

Цензор выразил притворное удивление:

— Что вы? Что вы? Если бы я не знал, с кем имею дело, я мог бы принять вас за представителя враждебного класса. Вы говорите такие вещи, что всякий другой на моем месте привлек бы вас к ответственности за контрреволюционное выступление...

Я смутился.

— Но ведь я же не писал этого... Ведь эта книжка — наглая ложь.

Цензор принял торжественный тон:

— Я думаю, что вас кто-то ввел в заблуждение. Изменения были сделаны цензурой, а цензура есть орган пролетарского государства, и как таковой — она не может лгать...

Этого я не ожидал. Минутное замешательство — и целый ворох мыслей заполнил мою уставшую от всяческих сюрпризов голову. Разве может цензура изменять смысл представленной ей книги? Разве она имеет право до такой степени уродовать мою мысль? Пусть она вычеркнет то, что не нравится ей, пусть она запретит всю книгу, но так переделывать!.. И потом — разве в социалистическом обществе может существовать цензура?

Все это я изложил цензору в несвязных и путаных выражениях. Но, по-видимому, ему не в первый раз приходилось вести такие разговоры, он только плотнее уселся в своем кресле и прочел мне целую лекцию.

— Да, конечно,— говорил он,— в социалистическом обществе цензура не нужна. Но поскольку у нас еще сохранилась буржуазия, мы не можем дать и ей полную свободу печати. Мы должны следить за тем, чтобы буржуазная идеология не проникла в нашу печать.

— Но ведь вся печать в наших руках,— возразил я.

— Ничего не значит: буржуазия хитра. Вот хотя бы ваша книга. Вы — настоящий пролетарий, вы имеете почти пятидесятилетний стаж, а ваша книга насквозь проникнута буржуазной идеологией. Она восхваляла старый строй.

Я чуть не вскочил со стула.

Восхваляла! Старый подпольщик, гнивший в тюрьмах, еле спасшийся от виселицы,— я мог восхвалять старый строй! Мне казалось, что я уничтожал этот ненавистный мне строй каждым словом, каждой запятой своей книги. И вот является цензура и уничтожает весь мой труд...

— Не уничтожает, а исправляет,— поправил меня цензор.— Наше отличие от старой цензуры — что мы ничего не запрещаем. Мы выпускаем все, что нам представляет издательство...

— Для того ли мы боролись за свободу печати, — продолжал я, не слушая цензора.

— Вы боролись — и вы добились свободы печати, — прервал меня цензор.— Для революционных произведений у нас полная свобода печати, а ваше — контрреволюционное...

Меня возмутил последний аргумент.

— Но ведь это хуже, чем при старом режиме!— закричал я.

— Не хуже, а лучше,— спокойно поправил цензор,— у нас все лучше, в том числе и цензура.

Переспорить его не было никакой возможности. Я чувствовал, что он и я — люди двух разных миров, мое мышление чуждо и непонятно ему. Я переменил тон.

— Возможно,— сказал я,— виновата моя отсталость. Может быть, вы подробнее познакомите меня с вашей системой?

Он был настолько любезен, что дал подробные объяснения.

Свобода печати существует. Каждый рабочий имеет право писать в газеты обо всех злоупотреблениях, обо всех замеченных им недочетах. Каждый рабочий имеет право написать любого содержания

Сёрен Кьеркегор

Полезный совет писателям: следует набрасывать свои размышления, как придется, и прямо отдавать в печать; при чтении же корректуры могут появиться и хорошие мысли. Итак, те, у кого до сих пор не хватало храбрости выступить в печати, — смелее! Не следует пренебрегать и опечатками; блеснуть остроумием, хотя бы только благодаря опечаткам – по меньшей мере законное право писателя.

книгу и сдать ее в печать. Но для выпуска книги в продажу существуют некоторые, вынужденные необходимостью ограничения — и вот тут-то приходит на помощь рабочему писателю главный цензурный комитет. Не желая лишить каждого права свободно высказаться в печати, он исправляет идеологическую сторону представленной в цензуру книги.

— Ведь это не запрещение, как практиковалось у вас, а помощь автору, который делает ошибку по незнанию или по неумению высказываться.

Каждая рукопись поступала в особый отдел, где специалисты умело перерабатывали рукопись, достигая кристально ясной идеологии. В результате — ничто действительно ценное не пропадало, всякая изобретательность использовалась, а идеология не страдала нисколько.

— Но каково положение авторов? — спросил я.— Получить книгу и прочесть в ней черт знает что!

Цензор удивился моему непониманию:

— Авторы довольны! Ведь мы им платим высокий гонорар.

Только теперь я понял, почему так скучны и нудны все книги, которые мне пришлось прочесть, я понял, почему они все так бездарно пережевывают одни и те же навязшие в зубах истины, истины, известные даже мне, человеку другой эпохи.

Называть это свободой печати!

Во мне кипело негодование, я способен был броситься на кого-то с кулаками, рвать и метать, но все эти чувства должны были одиноко перекипеть в моей душе. Кому я скажу о них? Кто поймет меня?

Я первый раз пожалел о том, что не остался спокойно спать в своей могиле...

семнадцатая глава

Я НАЧИНАЮ ПОНИМАТЬ

Вернувшись от цензора, я узнал, что меня вызывают в ячейку: это орган надзора и руководства, имевшийся в каждом доме и в каждом учреждении. В ячейке меня встретил политрук и мягким движением руки предложил мне сесть.

— На вас поступил целый ряд жалоб,— сказал он.— Во-первых,— он загнул один очень длинный и искривленный палец,— вы продолжаете сношения с нашими классовыми врагами, что равносильно государственной измене. Во-вторых,— он загнул второй такой же длинный и искривленный палец,— вы оскорбили человека, сделавшего вам первое предупреждение. В-третьих, вы два дня не заполняли анкету, следовательно, эти два дня делали и думали такие вещи, о которых не можете сказать своему руководителю. В-четвертых, вы произносили контрреволюционные речи в одном из государственных учреждений, о чем мне только что донес главный цензор государства...

Он перечислял мои преступления, методически загибая пальцы и не глядя в мои глаза. Я молча выслушал его речь и, поднявшись с кресла, сказал:

— Ну так что же? Вы посадите меня в тюрьму?

Плавным движением руки он снова усадил меня в кресло.

— Нисколько. Мы обсудили ваше поведение и нашли вас идеологически невменяемым...

— Так вы запрячете меня в сумасшедший дом?— продолжал я.

Мне во что бы то ни стало хотелось как-нибудь оскорбить этого невозмутимого человека. Но он разговаривал со мной, как с маленьким ребенком.

— Вы опять не поняли меня. Скажите, пожалуйста, вы сдавали когда-нибудь экзамен по политграмоте?

Мне пришлось сознаться, что я не только не сдавал экзамена по этой науке, но даже не прочел учебника, полагая, что эта книга не даст мне ничего нового.

— Ну так вот. Вы не получили самого элементарного образования, необходимого для каждого, и поэтому вы допустили ряд непозволительных промахов. Мы вполне оправдали вас, но с одним условием — вы должны прослушать полный курс политграмоты, сдать экзамен, а до этого вы не будете появляться в обществе, чтобы не наделать более грубых ошибок.

— Что же это? Домашний арест?— спросил я.

— Нет, это временная изоляция.

О словах спорить не приходилось. Изоляция или арест, но я должен сидеть дома и зубрить какую-то политграмоту: не подчиниться этому постановлению я не мог. Не забыв, конечно, уведомить Мэри о том, что со мной произошло, я принялся за работу.

Меня посадили в самую низшую группу, рядом с детьми в возрасте от десяти до двенадцати лет, мне дали потрепанный испещренный детской мазней учебник, мне задавали уроки «от сих до сих», совершенно не принимая в расчет ни моего возраста, ни уровня моего развития.

Получив книжку, я не замедлил прочесть ее от крышки до крышки в первый же вечер. Это была небольшая брошюра, составленная в форме вопросов и ответов подобно Филаретову катехизису, с которым я познакомился, собираясь сдавать экзамен на аттестат зрелости. Истины, заключавшиеся в этой книжке, были не новы, многое я слышал от своих знакомых, которые, как оказалось, очень часто пользовались цитатами из этой книги, что неудивительно, если принять во внимание, что истины эти касались всех сторон жизни, от государственного устройства до правил, как вести себя во время свидания с любимой женщиной. Приведу несколько вопросов и ответов из этой замечательной книги.

Вопрос: Что должен делать рабочий, встретив другого рабочего в доме или на улице?

Ответ: Должен обратиться к нему с коммунистическим приветствием.

Вопрос: Что такое коммунистическое приветствие?

Ответ: Это не бессмысленное козыряние, а напо-

Петр Чаадаев

Все времена мы создаем себе сами, в этом нет сомнения; Бог времени не создал: он дозволил его создать человеку.

минание о том, что в пяти странах света угнетенные борются за освобождение и что ты должен ставить интересы класса выше своих личных.

Дальше следовали указания, как держать себя с друзьями и с врагами, причем указывалось, что у рабочего не может быть иных врагов, кроме классовых. При встрече с классовым врагом надо было пройти мимо него с гордо поднятой головой и ни в коем случае не отвечать на его поклоны, а тем более запрещалось вступать с ним в какой бы то ни было разговор. «Очень легко,— говорилось в книжке,— подпасть под влияние буржуазии, тем более что живем мы в буржуазном окружении».

Предусматривались и недоразумения между рабочими, которые могли закончиться ссорой и даже более или менее крепкими словами. Список подобных слов приводился тут же.

Вопрос: Какие самые страшные ругательные слова?

Ответ: Меньшевик и социал-предатель.

Вопрос: В каких случаях подобное оскорбление допускается законом?

Выучив наизусть всю книжку, я мало продвинулся в понимании существующего порядка: она не давала ответа ни на вопрос о цензуре, ни на вопрос о шестнадцатичасовом рабочем дне. Усиленно вбивалось в голову одно: что существующий строй есть самый лучший строй, что рабочий класс добился того, за что боролся, и что обязанность каждого рабочего охранять этот строй. И вместе с тем говорилось, что трудящийся обладает при этом строе всеми политическими правами, что каждый рабочий имеет право высказывать все приличные рабочему мысли в любое время и в любом месте.

Вопрос: Какие мысли приличны рабочему?

Ответ: Все те мысли, которые направлены к защите его классовых интересов.

Вопрос: Какие основные классовые интересы рабочего?

Если бы не идиотская форма Филаретова катехизиса, то учебник можно было бы признать неплохим. Он удовлетворительно излагал теорию классовой борьбы, он знакомил с государственными учреждениями и законами. Правда, была и ненужная регламентация поведения каждого рабочего, но если принять во внимание, что наука эта преподавалась детям, которым нужно знать правила приличия, то и с этой регламентацией можно было согласиться.

Прочитав книжку, я решил завтра же сдать экзамен. Но меня постигла полная неудача: выслушав мое заявление, политрук улыбнулся, раскрыл книжку и задал мне следующий вопрос:

— Почему это последнее важно для пролетариата?

Я смутился и сказал, что не понял вопроса. Инструктор повторил его еще раз, я опять не понял. Тогда он закрыл книгу и сказал:

— Вы не можете сдать экзамена. Вам следовало ответить на этот вопрос: потому что это необходимые условия для победы.

Нет, не отвертишься! Надо выучить всю эту книжку наизусть и уметь отвечать на все вопросы буквально по учебнику, как подряд, так и вразбивку.

Вопрос: Отчего необходимо полное и точное знание катехизиса?

Ответ: Чтобы произвольным расположением слов и произвольным их толкованием не впасть в какой-либо из нежелательных уклонов.

Вопрос: Какие суть нежелательные уклоны?

Ответ: Троцкизм, меньшевизм, правый мелкобуржуазный уклон и эсерство.

Вопрос: Какие уклоны не вменяются в преступление?

Но память моя еще не ослабла: я в две-три недели усвоил все бездны Филаретовой премудрости и мог при случае ввернуть в разговор ту или иную цитату.

Мои успехи в политграмоте дали возможность несколько ослабить режим моей изоляции. Так, ко мне снова, после долгого перерыва, заехал Витман. Я обрадовался ему и поспешил воспользоваться его присутствием, чтобы разъяснить некоторые неясные для меня вопросы. Не помню, с чего начался разговор, но только я между прочим спросил его:

— Скажи, пожалуйста, почему в этом городе так много нищих?

Он уклончиво ответил:

— Среди рабочего класса нет нищенствующих.

— Позвольте, очень трудно представить, что нищенствует буржуазия.

— Но ведь мы отобрали от них все имущество и заставили их работать.

— А раз они работают, значит, они трудящиеся, а не буржуи,— возразил я.

Витман мне ничего не ответил. Он снова вынул из кармана книжечку и что-то записал в нее. Я знал по прежнему опыту, что такая запись не предвещает ничего доброго, и от дальнейших расспросов отказался.

Признаюсь, я с некоторой тревогой ждал завтрашнего дня. Теперь я знал, что может повлечь за собой неосторожный вопрос. Может быть, новый экзамен, может быть, просто сумасшедший дом. И то и другое мало радовало меня.

восемнадцатая глава

Я УСВАИВАЮ ВЫСШУЮ МУДРОСТЬ

Утром к воротам моего дома подкатила наглухо закрытая карета, двое вооруженных усадили меня, и карета двинулась. Куда? Мне не объяснили. Может быть, бросят в Петропавловку, может быть, отправят в Сибирь, а может быть...

Впрочем, не все ли равно. Моя жизнь становилась день ото дня все интереснее и интереснее.

Высадили меня из кареты около большого серо-

Джузеппе Мадзини

Бог всегда свергал, свергает и будет свергать всех идолов прошлого, настоящего и будущего.

го дома, провели темным коридором и оставили одного в пустой комнате, посреди которой стоял покрытый черным сукном стол с эмблемами власти. Я ждал несколько минут, рассматривая портреты вождей в траурных рамках, висевшие по стенам этой таинственной комнаты. Наконец явился застегнутый в черный сюртук человек и предложил мне сесть. Я подчинился.

— Мне поручено сделать вам выговор, — произнес он глухим голосом.— В вашем поведении мы заметили нечто странное, заставляющее нас сомневаться в вашей нормальности или, что еще страшнее, в вашей принадлежности к рабочему классу. То, что мы заметили в вашем поведении, не случалось уже двадцать лет в нашей практике,— продолжал он и, понизив голос до шепота, добавил: — Вы обнаружили наклонность к самостоятельному мышлению в области тех вопросов, которые подлежат компетенции высших органов государства...

Как я ни был напуган мрачной обстановкой судилища, но при этих словах я даже подпрыгнул в кресле.

— Разве можно запретить думать?

— Свобода мысли — буржуазный предрассудок, — ответил тот.— Вы можете думать обо всем, кроме некоторых вопросов, о которых думать разрешается только двадцати пяти лицам в государстве.

Видя мое изумление, он утешил меня:

— Но и об этих вопросах вы можете думать, но ваши мысли не должны противоречить мнениям высшего органа государства.

— Но позвольте,— начал я...

— Я не могу вам позволить возражать мне и той коллегии, которую я представляю.

— Как же можно не думать?— не унимался я.

Мой собеседник усмехнулся:

— А зачем вам думать? Ведь все эти вопросы уже разрешены и обдуманы до конца. Зачем вам утруждать свой мозговой аппарат? Сознайтесь, что бесплодно ломать голову над разрешенными вопросами.

— А если эти вопросы разрешены ошибочно?— не унимался я.

— Тридцать лет, как не найдено ни одной ошибки. Верховный совет из уважения к вашим заслугам поручил мне передать вам список тех вопросов, о которых вы не имеете права ни думать, ни рассуждать с другими людьми.

Он торжественно протянул мне небольшую в черном переплете книжку. Я тотчас же открыл ее и убедился, что это тот самый катехизис, который я знал назубок, слово в слово.

Я с негодованием отбросил книжку и сказал:

— Товарищ, давайте действовать начистоту,— сказал я.— Я знаю многое, что противоречит этой книжке. У меня накопилось много вопросов, и ни одна из ваших книжонок не ответит мне. Или вы удовлетворите мое законное любопытство, или я буду постоянно тревожить вас своим поведением.

— У нас есть достаточно средств, чтобы заставить вас замолчать,— возразил собеседник.

— Ну так что же, посадите меня в тюрьму, убейте меня, наконец...

Я не буду рассказывать о том, какие мытарства мне пришлось перенести на пути к уяснению истинного положения дел в этом удивительном государстве. Мое упорство превозмогло все: мне наконец-то объяснили то основное, чего до сих пор я никоим образом не мог понять и до чего не мог додуматься сам без посторонней помощи и что ясно для каждого из вас.

Оказалось, что я просто не понимал слова «рабочий».

По моему мнению, «рабочий» — это профессия. Тот, кто продает свой труд за заработную плату, является рабочим. Тот, кто покупает чужой труд, — капиталист. Великая революция перевернула все понятия: рабочим называется тот, кто владеет средствами производства, а буржуем — тот, кто продает свой труд.

Это был ключ к уразумению того строя, который вырос и укрепился за последние десятилетия. Пролетариат действительно победил и первые годы фактически управлял страной — но путем долгой и незаметной эволюции верхушка пролетариата оторвалась от масс и присвоила себе все завоевания революции. Рабочие, выдвинутые на административные посты, на должности директоров фабрик и трестов, составили новую аристократию, которая удержала за собой звание рабочего. Дети их, выросшие в совершенно новых условиях, уже забыли о том, что значит слово «рабочий», и вкладывали в него те же понятия, что в наше время вкладывались в слово «дворянин». За ними были закреплены те высокие посты, которые занимали их родители.

С другой стороны, рабочие, оставшиеся на производстве, смешавшись с городским мещанством, постепенно были лишены всех своих прав, а так как в их число случайно попало несколько бывших капиталистов, у которых было отобрано имущество, и так называемых нэпманов, которые с уничтожением частной торговли должны были искать работы на заводах и фабриках, и притом работы самой черной, вследствие их неподготовленности, то этот низший класс общества получил наименование буржуазии. Это было тем более удобно, что буржуазия по законам не пользовалась никакими правами. Этот закон, таким образом, распространялся и на рабочих, остававшихся на производстве.

Среднее сословие, носившее официальное название «расхлябанной интеллигенции», составилось из тех людей, которые, как при царизме, так и в первые годы революции, были служащими или занимались свободными профессиями.

И вот — только первая группа пользовалась все-

Виктор Гюго

Россия восходит...
Ее будущее чрезвычайно весомо
для наших судеб...
«варварство» России, столь важное сегодня для Европы,
придает особую значимость
ее прошлому.
Чтобы верно
предугадать, чем станет этот народ, следует тщательно
изучить, чем он был.

ми провозглашенными конституцией правами, только первая группа фактически управляла государством, заводами и фабриками, только члены этой группы имели двухчасовой рабочий день, право на автомобиль, на квартиру с неограниченной площадью.

«Расхлябанная интеллигенция» — этим термином пользовалось и законодательство,— а равно и мещане были значительно урезаны в правах: у них был шестичасовой рабочий день, а в некоторых случаях и восьми-, высших должностей они не имели права занимать, а если фактически и занимали как «спецы» (одна из наиболее привилегированных подгрупп), то юридически ответственным за их действия лицом являлся один из членов первой группы. За квартиру, ограниченную санитарной нормой, они платили смотря по заработку, но не свыше довоенной квартирной платы.

Низшее сословие, или так называемая буржуазия, имело неограниченный рабочий день, очень низкую жилищную норму и платило за квартиру в тройном против довоенного размере: эта группа включала в свой состав всех лиц физического труда, работающих по найму на фабричных и заводских предприятиях.

Конечно, мне стоило большого труда привыкнуть к этим перевернутым понятиям. Законы о рабочих, права рабочих — все эти слова получили теперь совершенно новое значение. Но зато я теперь перестал многому удивляться: Мэри работает шестнадцать часов, я не могу ходить пешком и не имею права нанять извозчика — и то и другое обусловлено нашим социальным положением. Нечто подобное, вспоминалось мне, было когда-то в истории, кажется, в средние века — наследственная аристократия и наследственное рабство...

Но и мое положение — положение члена высшего класса — во многом обязывало меня. Я мог потерять это положение в любой момент, коль скоро не уберегусь от какого-либо вредного уклона из указанных в катехизисе. Я был связан этим катехизисом по рукам и ногам во всех своих мыслях и поступках. И тем более трудно было уберечься от падения мне, которому все эти нормы не были внушены с детства... Лучше всего было не думать, не рассуждать, лучше всего — заучить наизусть эти несложные правила и твердо исполнять их...

Так и делали все мои новые знакомые. Я теперь перестал возмущаться их поведением, мне стало даже жаль их — этих несчастных, принужденных, как попугаи, повторять чужие, ими самими не продуманные и непонятные им самим мысли.

И я твердо решил: немедленно начать борьбу с искажениями революционных учений, начать борьбу за подлинный социализм, за подлинный коммунизм, за подлинное рабочее государство. Но начать борьбу надо было во всеоружии знаний. В один прекрасный день я заявил, что от всех своих прежних заблуждений отрекаюсь, что считаю порядки непреложными и правильными и, чтобы впредь не ошибаться, я желаю усвоить высшую мудрость, доступную для человека моего класса.

В ответ на это я получил назначение в университет.

девятнадцатая глава

В УНИВЕРСИТЕТЕ

Каждый мой шаг в этом странном обществе ознаменовывался большим или меньшим сюрпризом. Кажется, я уже знаю все, кажется, я никогда не совершу ни одной ошибки — и вот жизнь дает мне оплеуху за оплеухой...

С трепетом вступал я под крышу старинного здания на Васильевском острове. С молодыми, почти юношескими надеждами... Университет. Разве не о нем мечтал я в пору своей первой жизни на этой земле, разве не было моментов, когда я — подпольщик и революционер — все бы отдал за то, чтобы под крышей этого здания углубиться в науку? А теперь? Разве не радостно бьется мое сердце в предчувствии полной трудов, волнений деятельной общественной работы среди еще не погрязшей в мещанском болоте молодежи? Свободная наука, полное благородными мечтами студенческое товарищество — та среда, в которой я найду первых последователей и первых борцов за правое дело.

Надо ли говорить, что мои мечты не оправдались. О студентах я буду говорить потом, а сначала скажу несколько слов о той науке, которая там преподавалась. Прежде всего меня спросили, кем я хочу быть, так как университетская наука приняла давно уже практическое направление. «Чистая» наука оказалась буржуазным предрассудком. Я сказал, что хочу быть юристом. Мне предложили на выбор: курс науки, подготавливающий на должности политруков при домах и учреждениях, курс наук, подготавливающий судебного работника, и курс административный.

Я попросил программу и убедился, что первый курс мне ничего не даст: студенты усваивали на этом курсе политграмоту и революционные святцы. Каждый политрук должен был твердо знать, в какой день какое революционное событие празднуется, и краткие биографии лиц, особенно выделившихся в этом событии, а также ритуал клубной работы, или, что понятнее для меня, — богослужения. Я не хотел быть богословом, и я не хотел быть администратором. Я выбрал судебную часть: меня прельщало то, что в программе значились две достаточно интересные для меня науки: классовый кодекс и диалектика.

Занятия производились в классах, напоминающих больше классы наших гимназий, чем университетские аудитории, состав слушателей по умственному развитию тоже показался мне стоящим чрезвычайно невысоко. Меня утешало в этом отношении только одно, что это слушатели первого курса, что они разовьются под влиянием университетской

Михаил Горбачев

Направляющая
и руководящая роль партии —
непременное условие
функционирования
и развития
социалистического общества.
Партия теоретически
разрабатывает и корректирует
политический курс.
Она несет
разработанную ею политику
в массы, организует
и сплачивает их
на осуществление

науки после одного года научной работы, но и это утешение оказалось фальшивым...

Дело в том, что наука, преподаваемая нашими профессорами, не столько развивала молодые умы, сколько притупляла еле-еле начинающую зарождаться самостоятельную мысль. Начнем с диалектики.

Это была наука, учившая логически мыслить и защищать в спорах свои мнения. Обучение состояло в следующем: обычно бралось какое-либо положение из творений одного из отцов революции, и студент должен был выводить при помощи правил логики целый ряд новых понятий, вытекающих из первого, причем считалось чуть ли не преступлением, а во всяком случае грубейшей ошибкой, если окончательный вывод в чем-либо расходился с заученным мной в школе политграмоты катехизисом. В первое время ученик, чтобы не сбиться, пользовался логической машиной, которая, вбирая в себя написанные на узких лентах бумаги тезисы, выбрасывала механически готовые выводы.

— Зачем же самому продумывать все это, если машина может дать единственно правильный ответ?— спросил я на первом же уроке у профессора.

— Не будете же вы всюду носить с собой машину?— резонно ответил мне профессор.

Этого было достаточно, чтобы я окончательно разочаровался в диалектике. Сама наука нисколько не увеличила моего умственного багажа, другое — в отношении содержания и понимания некоторых тезисов.

Я с интересом отдался такому занятию: заготовив дома выдержки из творений отцов революции, я приходил еще до начала занятий в аудиторию и одну за другой отправлял эти выдержки в машину. Оттуда выползали ответы, которые я прочитывал с жадностью новичка и с изумлением человека совершенно другой культуры. Понятно, что первые вопросы, заданные мною, касались событий моей собственной жизни. Прежде всего я отправил в машину такое положение, вычитанное мною в катехизисе: «Нравственно то, что служит на пользу рабочему классу». И задал вопрос: можно ли отнять кусок хлеба у голодного? Ответ гласил: можно, если он принадлежит к низшему классу. Логическое развертывание идеи: низший класс — наш классовый враг. Вредить ему — значит помогать своему классу. Голодный он или нет — это для машины значения не имеет.

Так был объяснен мне смысл суда над моей особой: я отнял хлеб у человека и толкнул его, причинив телесное повреждение,— я совершил преступление. Но так как я этим спас себя — представителя высшего класса — от голодной смерти, я был прав, а не он.

Так же несложен был и кодекс гражданских и уголовных законов. Главное место в нем занимали правила определения классовой принадлежности индивида: для судьи важнее всего было определить, с кем он имеет дело, и уже от этого зависело решение. Предполагалось, что так называемый рабочий прав, прав всегда, когда не доказано противного, а так называемый буржуй всегда не прав, даже когда доказано противное.

— Раньше законы писались в пользу буржуазии, — объяснил мне профессор, — теперь законы написаны рабочими и в пользу рабочих. Мы не придерживаемся буржуазного лицемерия, — пояснил он, — и не утверждаем, что наши законы равны для всех.

— Следовательно, они пристрастны?— спросил я.

— Да... Но они пристрастны в пользу трудящихся, а это не одно и то же,— ответил профессор.

Втайне я не разделял этого мнения, но горький опыт уже научил меня не возражать. Я слушал все, что говорили мне мои учителя, и повторял за ними слепо, не рассуждая, все утверждаемые ими истины. Моя понятливость, мое прилежание, мои способности были оценены по достоинству, и мне был назначен экзамен на полгода ранее, чем то полагалось по уставу.

На экзамене мне были предложены следующие задачи:

«Некто А, отец которого был в семнадцатом году помощником присяжного поверенного, поступил в двадцать втором году на завод и работал там в качестве слесаря. Каково социальное положение внука этого А, если он работает на том же заводе?»

Я смело ответил:

— Буржуй.

И это было единственно правильное решение вопроса. И другая:

«Рабочий ситценабивной мануфактуры имел сына, торговавшего на базаре селедками. Кто его внук?»

Ответ:

— Рабочий от станка.

Я получил диплом, и опала моя кончилась. Снова я на свободе, как и в первые дни моей новой жизни. Мои учителя и наставники пророчат мне будущность. Снова знакомые встречают меня приветственными улыбками, я получаю доступ в лучшие дома и квартиры. Узнав глубину премудрости, я цепко держался за свои права и привилегии, которые, казалось мне, могут помочь задуманному мною делу.

Но я забыл одно обстоятельство...

двадцатая глава

Я ПРОДОЛЖАЮ БЫВАТЬ У МЭРИ

Своей свободой я прежде всего воспользовался для того, чтобы навестить Мэри. Теперь я понимал, что нельзя брать автомобиль или переносить вещи, я должен был воспользоваться опытом подпольной работы, принимая во внимание, что теперешний сыск, как и цензура, были куда лучше царского.

поставленных задач, проводит соответствующую кадровую политику. Собственно, в этом и состоят основные функции партии как политического авангарда общества. Сейчас в условиях перестройки, демократизации ленинское учение о партии, ее деятельности в условиях социализма должно быть возрождено в полном объеме.

1988

Строгая конспирация прежде всего.

Я сел в автомобиль и приказал везти себя в один из негласных публичных домов, носивший солидное наименование балетной студии. Заведение это считалось весьма нравственным и не возбуждало ничьих подозрений. Там я, предварительно сговорившись с лакеем, занимал комнату с отдельным, ведущим во двор ходом и заявлял, что остаюсь в этой комнате до утра. Одежда лакея и его трамвайный билет помогали мне неузнанным добраться до Лесного, а возвращался я ночью и, как ни в чем не бывало, на собственном своем автомобиле приезжал домой.

Как видите, маневр был чрезвычайно сложный, но зато конспирация обеспечена.

Мэри совсем перестала дичиться меня. Ее постоянные гости — поэт и профессор — тоже очень скоро привыкли ко мне и относились уже безо всякого следа былой подозрительности.

Кстати, о подозрительности: я только теперь мог объяснить и оправдать эту особенность населения Ленинграда, так поразившую меня в первые дни пребывания в новом государстве. Положение гражданина лучшей из республик мира так было связано всякого рода правилами, часто весьма трудно выполнимыми, что очень легко человек мог сорваться в социальную пропасть, из которой выхода уже не было. Зависть, мелкие корыстные расчеты заставляли людей ловить друг друга, доносить о малейших проступках, а за доносом неминуемо следовал суд. Усугублялось все это тем, что донос не считался безнравственным и доносчик, кроме того, получал известное вознаграждение от государства. Разговаривая с человеком, даже дружески настроенным, нельзя было ручаться, что он завтра же не передаст разговор куда надо. Ясно, что люди опасались друг друга, ясно, что подозрительность и недоверчивость стали с течением времени основными свойствами характера, особенно среди людей, принадлежавших к высшему классу. Все были, кроме того, чрезвычайно нервны, вздрагивали при каждом звонке, при каждом шорохе — следствие тайных посещений политруководителей и добровольных шпионов, имевших право затребовать в домкоме с особого разрешения властей ключи от любой квартиры. Знакомства налаживались с трудом и притом только между лицами, равными по социальному положению, так как равенство положения исключало чувство зависти, тоже весьма свойственное гражданам города.

Продолжаю рассказ.

В одно из моих посещений я не застал Мэри, а встретился в ее комнате с поэтом, который тоже дожидался ее. Я двойственно относился к этому человеку: с одной стороны, он был мне бесконечно симпатичен, а с другой — мне казалось, что Мэри предпочитает его общество моему... Конечно, я ревновал.

Некоторое время мы оба неловко молчали.

Я первый почувствовал неловкость и начал разговор.

— Мы с вами встречаемся довольно часто,— сказал я,— мне вас представили как поэта, но вы до сих пор не показали мне ваших стихов.

— А я собирался сегодня прочесть новое стихотворение,— ответил он.

Мы разговорились. Я как сторонник гражданской поэзии поспешил изложить свой взгляд и думал, что начнется спор, подобный тому, который мы вели с Мэри. Но, к моему удивлению, поэт не спорил.

— Это верно,— сказал он,— но нас, поэтов, все-таки больше интересует техника, чем содержание. Я сам люблю писать на гражданские, как вы говорите, темы...

Это заинтересовало меня.

— Может быть, вы подарите мне вашу книгу?

— Нет,— отмахнулся он,— моя книга еще не вышла из печати. И сомневаюсь, что она когда-либо выйдет...

При этих словах он погрузился в горестное раздумье. Только появление Мэри развеселило его. Я понял, что и на этот раз оказался нетактичным, и при Мэри разговора не возобновлял. Мы пили чай, болтали о пустяках, пока сам поэт не вспомнил об обещании.

Какие это были стихи! Таких стихов я не слыхал никогда. Они были написаны на исторические темы — греческие, римские, французские — но все одинаково были пропитаны гневом, ненавистью, пафосом революции. Я был так растроган, что чуть не обнял его, когда он кончил читать, и обнял бы, если бы не вспомнил правила катехизиса, запрещавшего объятия и поцелуи, как антигигиенический обычай...

Этот проклятый катехизис — он вечно будет мешать мне...

Поэт скромно, но с достоинством, принял мои восторги, но скоро снова впал в задумчивость. Я спросил его о причинах этой задумчивости.

С горечью, почти с отчаянием он воскликнул:

— Да ведь эти стихи никогда не увидят света!

И я был настолько осведомлен в законах, что сам догадывался почему...

— И это в так называемом пролетарском государстве, которое слово «революция» склоняет во всех падежах,— сказал я, в возмущении вставая со стула.— Так не должно продолжаться!

Этот возглас произвел на моих друзей неодинаковое впечатление: поэт посмотрел на меня с надеждой, а Мэри — с сожалением. Между этими двумя взглядами надо было выбирать, и я скоро сделал этот выбор.

Но об этом после.

— Что же вы можете сделать?— спросил поэт.

Признаюсь — в тот момент я и сам не знал, что ответить.

Василий Розанов

Какая же чепуха эти
«Солнечный город»
и «Утопия»,
суть коих — *вечное счастье.*
То есть окончательное
«устойчивое равновесие».
Это не «будущее», а смерть.

двадцать первая глава
Я НАЧИНАЮ ДЕЙСТВОВАТЬ

Вернувшись домой, я бросил под стол анкету, оставив ее незаполненной. Слишком долго я оставался равнодушным ко всем мерзостям и безобразиям окружавшей меня жизни.

— Да ведь это старый режим наизнанку,— говорил я сам себе.— Если я боролся со старым режимом, то неужели должен отступить теперь?

Мне казалось, что моя задача теперь значительно проще. Что случилось? Верхушка рабочего класса оторвалась от масс и присвоила себе наименование и права рабочего класса в целом. Надо восстановить истинное положение, надо назвать вещи их настоящими именами — и это будет уже половина дела, тем более что все изучали политграмоту, все имеют понятие о марксизме, о классовой борьбе, существуют профсоюзы, советы рабочих депутатов.

В старые формы надо влить новое содержание.

И почему бы не начать борьбу совершенно легально, пропагандируя свои взгляды в высшем классе общества? Разве им так хорошо живется? Пусть их кормят как свиней, пусть они ничего не делают, но ведь угроза нищеты висит над каждым из них: достаточно пустого доноса, чтобы вчерашний хозяин стал бесправным рабочим, не смеющим поднять голос. Наконец, они лишены права думать!

Я буду вести работу среди этих людей, на следующих выборах мои сторонники получат большинство, и самые вопиющие безобразия будут уничтожены...

Теперь все эти рассуждения мне самому кажутся наивными, но в то время казалось, что и этот план может иметь успех. С чего же начать? Говорить об этом с Витманом? С нашим политруком? Проповедовать в клубе нашего дома среди тупых и жирных мещан?

Я решил выступить в университете. Молодежь всегда была чутка и отзывчива, она поймет меня. Навербовать среди них десяток сторонников, а там... Собственно, я мало думал, что будет в этом таинственном **там**. Но разве, устраивая первомайскую демонстрацию, явно обреченную на неуспех, я задумывался о последствиях?

Где выступить? Поскольку я представлял себе студенческие аудитории, я знал, что выступать там невозможно. Общественная жизнь была развита слабо, каждый старался поглубже уйти в свою скорлупу, и студенты не составляли исключения. Да и что могло тянуть людей в общество? Общество интересно, когда идет борьба мнений и интересов — без этого на любом собрании люди останутся тупыми, равнодушными посетителями, исполняющими скучную повинность. Разве не ежедневно можно было наблюдать это в каждом клубе? Сонные лица, стремление как можно скорее уйти домой...

Я сравнивал клуб с церковью, но ведь и в церкви было время, когда в ней жил дух ересей и борьбы. Ведь, говорят, на вселенских соборах дело доходило до драки. И вот — если в пеструю, скучающую толпу посетителей клуба бросить острую мысль — как они заговорят, как они будут возбуждены...

Конечно, надо выступать в клубе, и в студенческом притом. Это выступление, казалось мне, имело все шансы на успех.

В воскресенье я отправился в клуб университета. Был какой-то маловажный революционный праздник, слушателей было сравнительно немного, и я с особенной радостью заметил, что Витмана не было среди присутствующих, — признаться, я побаивался его и в его присутствии вряд ли решился бы заговорить. Проповедник тянул что-то весьма нудное и ненужное. Слушатели тупо позевывали.

По окончании проповеди я попросил слова. Мне дали. Свобода слова для меня существовала: никто не знал, что я буду высказывать еретические мысли.

Я не буду повторять своей речи. Скажу только, что она была переполнена страстностью и иронией. Я клеймил людей, забывших заветы великих учителей социализма, которым они кадят фимиамы, я говорил, что мертвая буква заслонила от нас живую жизнь, я говорил о лицемерной морали, о мертвой схоластике, заедающей наши души, — и так далее и так далее.

В середине речи я неожиданно почувствовал, что спадаю с тона. К концу — я говорил медленно и вяло. Отчего? Значит, мои слова не доходят?

Я кончил. Я ждал хоть малейшего отзвука — я не говорю уже о бурных аплодисментах, на которые вначале рассчитывал,— гробовая тишина.

Я медленно сошел с трибуны и заметил только зевок проповедника, равнодушно взглянувшего на меня. Слушатели встряхнулись, встали, пропели «Интернационал» и спокойно разошлись по домам.

Я был настолько обескуражен, что остался в клубе один и, стоя за колонной, долго не мог сообразить, что же такое произошло. Я не заметил, как кто-то подошел ко мне и положил мне руку на плечо. Подняв глаза, я с удивлением увидел перед собой философа, с которым встречался у Мэри.

— Я вполне согласен с вами,— тихо произнес он,— я думаю то же самое, что и вы...

Я обрадовался, увидев неожиданного союзника. Может быть, их больше, чем мне казалось до сих пор? Крепко пожав ему руку, я сказал:

— Мы будем работать вместе...

Но старик не разделял моего энтузиазма.

— Нет, нет,— ответил он,— я подошел к вам для того лишь, чтобы предупредить... Я стар,— он показал на свою седину,— я пережил революцию от начала до конца, я слышал много речей, подобных вашей... Я сам верил этим речам, я, тогда молодой человек, яростно рукоплескал ораторам... Я ждал от выполнения их программы всего, чего только можно ждать на этой земле...

Старик задумался и провел рукой по волосам.

— Да, прошло много лет с тех пор. Я видел, как

Вл. Соловьев

...Насильственное вторжение внешней общественной организации в духовную сферу человека с лживой целью ограждение внутренних благ — род насилия, который *всецело* определяется злом и ложью, а потому по справедливости должен быть назван *дьявольским.*

постепенно тускнели речи тех же ораторов, как постепенно уходило из их слов живое содержание, и тем пышнее продолжали цвести эти слова... Но то был пустоцвет. Я видел, как разрастались сорные травы и приносили дурные плоды...

Он остановился на минуту и добавил:

— Такие пышные цветы, а их плод — сорные травы.

Я не понимал, к чему, собственно, разводит он эту философию.

— Так было, а будет иначе,— ответил я.— Если каждый сознательный человек будет помогать мне, то мое дело увенчается успехом. Иначе на кого же я буду рассчитывать?

— Вам не на кого рассчитывать,— ответил философ.— Я вижу, что ваш путь ведет вас к гибели. Эти люди не послушали вас, и они правы.

— Они не слышали ни одного слова,— сказал я с горестью,— это непроходимые тупицы.

— Не тупицы, а защищены от вашей агитации хорошим воспитанием. У них закрыты уши на все ваши разглагольствования. Они более правы, чем мы с вами...

Я поспешил не согласиться с его мнением.

— Они хотят сохранения существующего порядка, вы — насильственного переворота. Вы хотите крови и жертв, чтобы в результате ничтожное меньшинство оседлало большинство и правило по своему усмотрению.

Он изложил мне в кратких словах историю революций во Франции, в Риме, Египте, Китае. Он отлично знал историю — и везде, по его словам, было одно и то же. Хуже или лучше, но новый строй копировал старый до мелочей.

— Так что же делать?— в отчаянии спросил я.

— Когда-нибудь мы еще раз поговорим с вами на эту тему,— уклончиво ответил философ.— Наш длинный разговор может возбудить подозрения. Одно скажу: примиритесь и живите так, как живете сейчас...

— Но ведь так нельзя!— воскликнул я.

— Да,— ухмыльнулся философ,— это правда. Я сам раньше думал это, а вот видите — живу...

В его словах почуялось мне что-то знакомое. Я вскинул глаза — и мне резко бросилось: толстый нос, серые узкие глаза и длинная пушистая борода. Как он похож на Толстого...

— Об этом я слышал давно,— резко ответил я, и мы расстались.

В самом деле — разве можно жить с такой безнадежной философией? Что бы ни говорил выживший из ума старик — мы еще · поборемся. Мы еще поборемся.

Старик, как мне показалось, с сожалением смотрел на меня от дверей клуба. Уходя, он крикнул:

— Подумайте. Еще не поздно отказаться от вашего замысла.

Но я не послушался его. Может быть, он и прав, но я не жалею, что не принял его совета.

двадцать вторая глава

НА МЕНЯ НАПАДАЕТ ПРЕССА

Странно, но факт. Мое выступление в университетском клубе прошло незамеченным. Не только не узнали о нем Витман или политрук — о нем не узнал никто. Все, кроме философа, приняли мою речь за обыкновенную проповедь, клеймящую недостатки старого режима...

Но все-таки моя жизнь не была лишена довольно-таки крупных неприятностей.

На меня неожиданно стала нападать пресса.

Каждое утро, развертывая газету, я находил в отделе «Рабочая жизнь» две или три заметки о своей особе. Кто-то чрезвычайно интересовался моей личностью и торопился о каждом моем шаге сообщать в газету.

Сначала обвинения были пустяковые: один корреспондент утверждал, что видел у меня на шее нательный крест, и предавал меня анафеме, как подверженного религиозным предрассудкам. Другой корреспондент обвинял меня в неумеренном потреблении спиртных напитков. Третий — в посещении подозрительных ресторанов. Последнее было правильно, но уголовного преступления не представляло.

Дальше — больше. Обвинения становятся все более тяжкими и все более нелепыми. Сообщалось, что я в своей квартире устраиваю по воскресеньям тайные богослужения, в чем мне помогает бывший поповский сынок (имярек), то говорилось, что я занимаюсь по ночам спиритизмом, то доказывалось, что я вовсе не рабочий, что моя бабушка была просвирней в церкви Николы на курьих ножках и потому я, как принадлежащий к духовенству, должен быть немедленно подвергнут остракизму.

Ну да не стоит повторять всех этих мерзостей. Меня удивляло и возмущало одно: как газета может уделять столько места подобным пустякам? Перечитывая ее всю от доски до доски, я скоро убедился, что она вся наполнена подобными же пустяками.

Вот ежедневное содержание газеты: в передовой — шипящая злобой статья о том, что надо возбуждать классовую ненависть, подтвержденная фактами — вроде того, что такой-то или такая-то — всегда полное имя — поддерживают буржуазию, что выразилось в том, что они дали малолетнему правнуку капиталиста две копейки. «Мы в буржуазном окружении,— вопиет статья,— мы должны всегда помнить, что наше слабодушие подрывает нашу силу».

В фельетоне — длинная статья о приходящемся на этот день революционном празднике, причем в связи с восхвалением героя обливались помоями деятели, часто известные мне и мною уважаемые по прежней подпольной работе. Пусть они ошибались, но разве смерть не покрыла все их грехи? Но для них безвестные фельетонисты не жалели бранных слов:

Фридрих Ницше

За переворотом мнений
не тотчас следует переворот
учреждений; напротив, новые
мнения еще долго живут
в опустевшем и неуютном
доме
своих предшественников
и даже
сохраняют его из нужды
в жилище.

иуды, предатели, мерзавцы, сволочи и идиоты.

За передовой — самая тоскливая часть газеты — съезды, конференции и речи вождей. Обычно это было разрешение ряда задач, с которыми так искусно справлялась логическая машина. Я сам решал эти задачи, в общем, недурно и, конечно, отчетов и речей не читал никогда.

Дальше — телеграммы из разных городов: ядовитые доносы на некоторых провинциальных деятелей; критика, театр, музыка — ряд небольших доносов на авторов, режиссеров, драматургов и композиторов, и даже на самого главного цензора — и он, оказывается, не удовлетворял идеологической чистоплотности корреспондентов.

Но самое отвратительное — отдел «Рабочая жизнь». Если в первых отделах газеты отмечались только преступления или проступки, то в этом помещались обычно сплетни, ни на чем не основанные. Здесь газета вторгалась в частную жизнь отдельных граждан и смешивала с грязью их репутации. Газета заканчивалась громогласным заявлением редакции, что по всем присылаемым заметкам прокуратурой производится расследование. Сколько же работы было у прокуратуры?

По отношению к заметкам, касающимся меня лично, мне интереснее всего было знать: кто доносит? Кому нужно сочинять эти маловероятные сказки? По-видимому, весьма мало осведомленный человек, иначе бы он пронюхал о моих путешествиях в Лесной и о моих знакомствах с лицами, принадлежащими к враждебному классу...

Обстоятельства очень быстро натолкнули меня на решение этого вопроса.

После двух-трех путешествий в прокуратуру я был оставлен в покое. И в первое же утро, не омраченное чтением очередной нелепости, я получил приглашение от дамы из девятого номера на чашку чаю. Она так любезно улыбалась, была так ласкова, что отказаться было нельзя. Часов около пяти я был уже у нее. После длинного перерыва обстановка ее квартиры, эта убогая роскошь, эта безвкусная мазня на стенах, слишком тяжелая мебель, раскрашенное лицо хозяйки, тупое — хозяина, и деревянные — обеих девиц,— все показалось мне безнадежно скучным: скука, казалось, застилала улыбки, скука приглушала звуки голосов...

Боже мой, куда бы я бежал от такой жизни!..

— Как вы провели это время?.. Что делали? Я вас давно, давно не видела...

В тоне хозяйки я почувствовал легкий оттенок ехидства:

— Кажется, вас беспокоили наши рабкоры?

Лица деревянных девиц исказились гримасой, похожей на улыбку.

«Те-те-те,— подумал я.— Так вот где разгадка!»

— Да,— стараясь оставаться спокойным, ответил я,— признаюсь, эти заметки очень раздражали меня... Я не знаю, до чего можно довести человека таким путем.

— И доводили,— ответила хозяйка.— Правда, это было очень давно, а иногда бывает и теперь, но не в такой форме. Вы слышали об убийствах рабкоров? Эти мученики долга,— она завела глаза к потолку,— эти мученики долга умирали от руки кулаков и бандитов...

— Позвольте,— возразил я,— не знаю, так или иначе было в те времена, о которых вы говорите, но если оклеветанному человеку негде найти защиты, в чем я вполне убедился на своем собственном опыте, то вполне естественно...

Я не ожидал, что эти слова произведут такое действие на мою собеседницу: она сделала такие большие глаза, она так глубоко вздохнула, она с таким ужасом посмотрела на меня, что я склонен был полагать, не выросли ли у меня на лбу рога — иначе чем бы еще я мог привлечь такое внимание со стороны столь равнодушной особы, как моя собеседница.

— Что вы! Что вы!— шепотом и дрожа от страха произнесла она.— Мы здесь в своем кругу, но если кто-нибудь услышит...

— Я не сказал ничего особенного.

Еще большее удивление. Деревянные девицы покраснели и поспешили уйти. Неужели я сказал что-нибудь неприличное? Но ведь девицы были не из таких, чтобы краснеть от неприличного слова!

Дама успела оправиться.

— О, вы дитя... Вы — совсем дитя... Вы, сами того не зная, оскорбляете святое святых каждого пролетария. Но вы не бойтесь,— добавила она,— я не дам вашему делу дальнейшего хода.

Уж не думает ли она донести? Так и есть!

— Я никому не скажу о вашем поступке... Ни слова! Ни одна душа не будет знать, но и вы со своей стороны...

Она на минуту замялась и, глядя мне прямо в глаза:

— Вы помните о моем предложении?

Так она продолжает навязывать мне эту деревянную особу под угрозой доноса? Хорошо!

— Нет, не помню!— резко ответил я и быстро поднялся.

— Разрешите вам пожелать всего хорошего!

Если бы вы видели ее лицо! Оно как живое стоит перед моими глазами...

В этот же вечер я посетил Мэри. Было столько вопросов, накопилось столько негодования. И кому-то назло я не принял никаких предосторожностей.

— Зачем вы рискуете? За вами следят, — встретила меня Мэри.

Я ответил, что не могу выносить такой жизни и готов идти на что угодно. Пусть меня переводят в низший класс:

— Ведь тогда я буду иметь возможность чаще видеться с вами...

Она опустила глаза, и я заметил легкую краску на ее лице. Откровенно рассказав ей обо всем, что мучило меня, я между прочим спросил:

Салтыков-Щедрин

Гласность в настоящее время составляет ту милую болячку сердца, о которой все говорят дрожащим от радостного волнения голосом, но вместе с тем заметно перекосивши рыло в сторону.

— Зачем эта женщина так некрасиво навязывает мне свою дочь?

— Очень просто,— ответила Мэри,— у вас хорошая квартира. Вполне понятно, что она заботится об участи дочери.

Опять новое открытие. В городе нет квартир. Постройка идет слишком медленно, чтобы могло разместиться увеличивающееся население. Молодожены ютятся у родителей, пока специальное учреждение не подыщет им комнатку, освободив одну из квартир, до сих пор занятых так называемой буржуазией. Но этот фонд постепенно иссякает, буржуазия, привыкшая к урезанным жилищным нормам, строит для себя не дома, а клетушки — не вселять же в эти клетушки семейство рабочего? И вот идет борьба за жилищную площадь, борьба, в которой стороны не брезгуют никакими средствами.

— Не проще ли было построить несколько сотен новых домов?

— Что вы! Если бы захотели построить, все равно не хватило бы строительного материала. Гораздо проще выселить буржуя, а тот уж сам позаботится о своем жилище.

Остаток вечера мы провели за чтением старинных стихов, а потом спорили о религиозном вопросе. Я с азартом отрицал религию как вековой дурман. Мэри полагала, что можно верить в Бога или не верить в него, а в самой религии не находила ничего предосудительного.

— Я сама не знаю, верю или нет. Но, понимаете, иногда бывает такое чувство... Ну, одним словом, бывают минуты, когда я хочу, чтобы Бог существовал.

Во время спора пришел поэт и тоже встал на мою сторону. Мы почти убедили Мэри в том, что она не права, но когда, разгорячившись, я несколько грубо задел существо религии, она испугалась:

— Не надо, не надо, это страшно!

Наивную девушку можно было убедить в чем угодно, но после всего она оставалась при своем мнении. И это правильно: меня не раз убеждали во вреде куренья, а я все-таки продолжал курить. Так и с религией: я высказал эту мысль вслух, и мое сравнение показалось Мэри забавным.

Потом мы бродили по парку. Я влезал на самые высокие деревья, вспоминая годы своего детства. Настроение у меня было отличное, и, вернувшись домой, я не только не заполнил анкету, но и не прочел груды повесток, лежавших на столе.

— Утро вечера мудренее,— решил я.

двадцать третья глава

НАКАЗАНИЕ

Повестки были чрезвычайно важные и исходили от самых разнообразных учреждений. Прежде всего, наш политрук предлагал явиться и дать объяснение по поводу незаполненной анкеты; домовая ячейка сообщала, что вопрос о моем поведении в квартире номер девять будет сегодня поставлен на обсуждение и что я могу явиться для самозащиты; гепеу требовало немедленной явки, конечно, без объяснения причин; наконец, Витман в дружеском письме сообщал, что мои сношения с лицами враждебного класса заставляют его, Витмана, временно прекратить знакомство со мной.

Куда идти? Перед кем оправдываться? Вероятно, я не пошел бы никуда, если бы специальный автомобиль не отвез меня в высшее контрольное учреждение, следящее за идеологической чистотой пролетариата.

По дороге я обдумывал речь, в которой как дважды два доказывал, подкрепляя свою речь цитатами из катехизиса, что я прав, — что ж делать, это моя застарелая привычка. Никаких защитительных речей в этом государстве не говорят, нет даже допроса, и большинство дел, касающихся преступлений высшего класса общества, рассматривается в отсутствие обвиняемого. Как юрист, я должен был знать, что мое дело, как важное, рассматривается в открытом заседании суда только в том случае, если процессу придан показательный характер.

Полчаса просидел я в небольшой приемной. Передо мной была наглухо закрытая дверь с надписью: «Во время заседания вход воспрещен». Там за дверью сейчас разбиралось мое дело.

Осмотревшись, я заметил на другой скамье молодого человека, почти мальчика, который смотрел на роковую дверь, иронически улыбаясь, и подмигивал мне. Я подхватил его улыбку, таким образом мы познакомились.

Я узнал, что он — рабфаковец, осмелившийся поставить в тупик своего преподавателя каверзным вопросом:

«Скажите, пожалуйста, профессор, — почему один мой знакомый владеет рыбным магазином, а у него в паспорте значится: рабочий от станка? Не лучше ли было бы написать: рабочий от прилавка?»

Этот вопрос дал основание привлечь несчастного мальчика к суду за то преступление, в каком я сам был повинен: за попытку к самостоятельному мышлению.

Звали этого мальчика Алексеем.

Наш разговор был прерван худощавым секретарем, явившимся объявить решение. Меня переводили в средний класс «за мещанство, выразившееся в отказе от сожительства с гражданкой — следовало имя девицы из девятого номера, — за оскорбление института рабкоров и за сношения с лицами, принадлежащими к другому классу». Отныне я терял право на звание рабочего и получал новое звание — расхлябанного интеллигента. Приговор оказался чересчур мягким — что здесь повлияло: мои ли заслуги перед революцией, исключительность ли биографии или чье-то заступничество — сказать не могу. Алексей был наказан значительно строже: его причислили к буржуазному классу, и он в течение пяти минут должен был решить, на какую работу он

Петр Чаадаев

Один великий гений когда-то сказал, что человек обладает воспоминанием о какой-то лучшей жизни; великая мысль, не напрасно брошенная на землю; но вот чего он не сказал, а что сказать следовало, — но здесь лежит предел, которого не мог преступить ни этот блестящий гений, ни какой-либо другой в ту пору развития человеческой мысли, — это то, что утраченное и столь прекрасное существование может быть нами вновь обретено, что это всецело зависит от нас и не требует выхода из мира, который нас окружает.

переходит. Я заявил секретарю, что хотел бы работать на заводе «Новый Айваз», Алексей, которому по молодости лет было безразлично, где работать, тоже попросил назначения на этот же завод. Я одобрил его решение, и секретарь не возражал.

Так я приобрел нового товарища.

Постановление суда не опечалило меня, а, наоборот, обрадовало. Я почувствовал, что вместе со званием рабочего тяжелый груз свалился с моих плеч: ведь я наконец свободен! Я мог передвигаться по городу на трамвае, я мог сам выбирать себе знакомых, тем более что лица среднего класса были вхожи и в дома пролетариев, наконец, я получал настоящую работу, а это наиболее действительное средство от скуки.

Я поспешил поделиться своей радостью с Мэри, но застал ее в слезах. Она сегодня была переведена на низшую ставку и, насколько я мог понять, — из-за меня. Знакомство со мной ей вменили в преступление.

— Моя обязанность возместить вам потерю,— сказал я.

Она была настолько умна, что не отказалась от помощи и принимала мои подарки просто — без жеманства и без излишней благодарности. Не раз хотелось мне заговорить с ней о главном — о том, что я люблю ее, что она должна стать моей подругой, но я не умел начать, я стеснялся... Притом мне казалось, что у меня есть более счастливый соперник, и я безмолвно уступал ему дорогу.

Итак, в моей жизни началась новая полоса. На другое же утро я оделся в простой рабочий костюм и в девять часов стоял у ворот завода «Новый Айваз». Дальше — обычные формальности: пройти в контору, заполнить несколько анкет, содержащих большое количество вопросов, иногда не имеющих, на мой взгляд, прямого отношения к делу: об отце, о дедах, о прадедах, о том, пристрастен ли я к алкоголю и в какой степени. Директор принял меня чрезвычайно любезно, выразил желание, чтобы опала моя была временной, и даже обещал впоследствии похлопотать перед властями. Я понял, что это не более чем простая вежливость, и поблагодарил его за беспокойство о моей участи. На анкете директор поставил резолюцию: должность старшего подмастерья, тринадцатый разряд.

В мастерской я увидел Алексея, он ждал меня — своего непосредственного начальника. Это обстоятельство чрезвычайно обрадовало меня.

Мы немедленно принялись за работу.

В мастерской произошло очень мало изменений. Некоторые машины были заменены новыми, усовершенствованной конструкции. Я попросил рабочего пустить эти машины в ход. Рабочий с недоверием посмотрел на меня и подошел к машине. Он долго возился над ней, вставляя кусок металла, повернул выключатель. Машина сделала несколько оборотов, заскрипела, загрохотала — и встала.

— Ну что же?— спросил я.

— Ничего,— недовольным тоном ответил рабочий. — Она всегда так — пустишь, а ее заест... Да мы ведь больше на старых работаем.

Машины эти оказались изобретением одного русского инженера, для них требовались некоторые части, которые на наших заводах изготавливать не умели, а в покупке частей за границей отказано. Кое-как сделали эти части на русском заводе, но произошла какая-то ошибка в расчетах, и машины не работали.

— Давно они так стоят?— спросил я рабочего.

— Да уж лет десять стоят,— ответил он.

Я тотчас же принялся за разборку машины, приспособив к этой работе Алексея, и решил во что бы то ни стало пустить станки в ход: они экономили работу процентов на пятьдесят.

— А что же смотрели инженеры? Что думал директор?

Рабочий только рукой махнул.

Обстановка заводской работы осталась та же. Правда, кое-где сохранились следы чьей-то заботы о санитарных условиях работы, стоял бак с испорченной водой, испорченный вентилятор, но, несмотря на это, в воздухе — облака пыли, пол не мыт года два, а при выходе из мастерской я услышал из-за двери раскатистое матюганье своего помощника.

Обо всем этом я в тот же день доложил директору.

— Завод не бережет рабочую силу,— сказал я.— Рабочие скоро устают, часто заболевают, производительность труда падает.

— Не рабочие, а буржуазия,— поправил меня директор,— рабочие у нас и не заходят в мастерские... А зачем же нам заботиться о здоровье этих кровопийц?

Я понял, что спорить бесполезно. Для меня эти измученные чахоткой, темные и забитые люди оставались рабочими: трудно было поверить, что они — потомки фабрикантов и купцов. Да и оказалось в действительности — большинство их были настоящие рабочие, потомственные, подобно мне, но не сумевшие вовремя выдвинуться на административные посты.

Я решил действовать на свой страх и риск, провести все необходимые в работе улучшения, хотя бы и за свой счет. У меня был еще выход: недели через две пустить новые станки, и тогда все улучшения я проведу за счет экономии рабочей силы.

«Да, здесь я принесу самую реальную пользу,— думал я,— и если бы мне предложили в этот момент вернуться к прежнему положению привилегированного тунеядца, я вряд ли бы согласился».

Вечером меня ждал небольшой сюрприз. Вернувшись в свою квартиру, я нашел ее дверь запертой на замок. Постояв несколько минут у двери, я обратился в домоуправление.

Александр Герцен

Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены *внутри*. Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы.

— Вас выселили по постановлению суда как лицо, не занимающееся физическим трудом, — ответили мне в домоуправлении, — ведь этот дом — рабочая коммуна.

— Где же мне ночевать?

Больших трудов стоило добиться разрешения переночевать. На другое же утро я получил ордер на новую квартиру. Комнаты мои были заняты девицами из девятого номера — они добились своего.

двадцать четвертая глава

Я РАБОТАЮ НА ЗАВОДЕ

И вот — я живу на Большом Сампсониевском проспекте, занимая комнату в шестнадцать аршин — моя норма, работаю восемь часов в сутки. Ни Витмана, ни даму из девятого номера я не имею счастья считать в числе своих знакомых. Обедаю в недорогой столовой, завожу знакомства с лицами среднего и низшего классов общества.

Одна неделя — и я был уже в курсе всей заводской работы и как свои пять пальцев знал быт и нужды рабочих — буду называть их своим именем, вопреки официальной терминологии. Положение их не улучшилось, а в некоторых отношениях и ухудшилось по сравнению с тринадцатым годом. Правда, официально провозглашенный в первые дни революции восьмичасовой день не был отменен, правда, заработок был несколько выше прежнего, но хлеб и мясо вздорожали в значительно большей пропорции, а предметы промышленности по своей цене были недоступны не только рабочему, но и высшим служащим, получавшим вдвое-втрое больше рабочего.

Через две недели, придя в контору за получкой, я имел возможность убедиться, что такое заработок рабочего. Мне причиталось получить сто тридцать рублей. Я подхожу к кассе, получаю деньги и уже собираюсь уходить.

— Позвольте, — останавливает меня молодой человек, сидящий у кассы, — членский взнос в союз...

Я не возражал, с меня взяли в пользу союза пять процентов. Но этим дело не кончилось: рядом с молодым человеком сидела барышня, потом еще барышня, еще молодой человек, и так далее, и так далее. Все они предъявили претензии на мой кошелек: я должен был внести в шефское общество, на беспризорных детей, подоходный налог, сбор на дома отдыха для рабочих, гербовый сбор и членство в целом ряде добровольных обществ. Только тут я узнал, что я член добролета, авиахима, доброармии, общества ликвидации неграмотности и общества русско-турецкой дружбы.

— Позвольте, я вовсе не хочу состоять в этих обществах.

— Вас никто не приневоливает, — возражали мне, — общества добровольные... Но тем самым, что вы поступили на наш завод, вы записались и во все эти общества. Вы заполняли анкеты.

Мне пришлось сознаться, что анкеты заполнял, не читая заголовков.

— Ну, а теперь вы не можете отказаться.

Спорить было бесполезно: остающихся денег мне при моих скромных потребностях будет достаточно. Но как живут рабочие, получающие тридцать рублей? Десять рублей? — ведь есть и такие! Наконец, классовая ставка за жилплощадь поглощает последние гроши — поневоле добровольно превратишь восьмичасовой день в шестнадцатичасовой и еще будешь радоваться возможности подработать.

При заводе была школа для детей «рабочих». В этой школе бесплатно обучались дети высшей администрации завода, а буржуазия, то есть рабочие, должны были платить за обучение своих детей. Из каких средств? Понятно, дети рабочих (настоящих рабочих) росли неграмотными, и только время от времени неграмотность их ликвидировалась особыми отрядами учителей, на содержание которых и делались вычеты из скудного жалованья рабочих. При заводе был клуб, в клубе читались лекции по политграмоте, но заманить в этот клуб рабочих было невозможно: они предпочитали пивные, где и оставляли до половины заработка. Около пивных в рабочих районах частенько происходили драки, в дело вмешивалась полиция и отводила виновных в участок.

Как мало я знал, сидя в дорогом ресторане и разговаривая с Витманом о торжестве социализма!

Весь опыт старого подпольщика я мог применить здесь.

Прежде всего мне нужны были сообщники. В первый же воскресный вечер я затащил к себе Алексея. Он оказался чрезвычайно понятливым мальчиком, он был молод, сердце его еще не очерствело, и он был способен на самопожертвование: чего еще нужно было желать? Я сравнивал свое положение относительно Алексея с положением Коршунова в отношении меня: так же, как когда-то Коршунову, мне приходилось охлаждать безрассудные порывы Алексея.

Но одного помощника было маловато. Надо было привлечь новых сторонников, предпочтительно занимающих одно положение со мной: прямо идти в низы было опасно.

Случай скоро представился, так как дом, в котором я поселился, был населен именно таким элементом.

Однажды вечером ко мне зашел сосед по квартире и попросил спичку: магазины заперты, а он не успел запастись этим предметом первейшей для курильщика необходимости. Возможно, что это был только предлог, тем более что он остался у меня на целый вечер. Он оказался помощником бухгалтера нашего же завода.

Конечно, мы разговорились на общую для нас обоих тему — о заводской работе. Он жаловался на хамское отношение администрации, на вычеты, на

Сёрен Кьеркегор

Право, я похож на люнебургскую свинью. Мышление — моя страсть. Я отлично умею отыскивать трюфли для других, а сам не получаю от этого ни малейшего удовольствия. Я подымаю носом вопросы и проблемы, но все, что я могу сделать с ними, это — перебросить их через голову.

обилие ничего не понимающего в делах начальства. Потом он перешел на заводские сплетни, рассказал о целом ряде злоупотреблений, происходящих на заводе.

— Мелкие попадают в печать,— сказал он,— а крупные никому не видны. Попробуй написать, тебя так взгреют, что до смерти не забудешь...

— А что же делают рабкоры?— спросил я.

— Когда они узнают о крупных «делишках»? Явятся к тому, кто в этом деле замешан, и получат с него порядочный куш... Ведь рабкоры сами принадлежат к высшей администрации.

Жаловался он и на заводские порядки:

— Шесть директоров приезжают каждый на два часа, и все никуда не годятся.

— А инженеры?

— Разве им дают работать!

Из этого разговора я заключил одно: помощник бухгалтера недоволен. Наверное, недовольны и конторщики. Вероятно, недовольны инженеры. А недовольство — лучшая почва для моей агитации.

Я заикнулся было о положении рабочих, но помбухгалтера поморщился и так же, как когда-то директор, сказал:

— Ну что говорить об этих буржуях!

И принялся их ругать за грубость, невежество, пьянство.

— Мы же сами виноваты,— возразил я.

Вместо ответа он принялся ругать администрацию.

Дня через два я отдал ему визит и на этот раз застал у него целое общество: в гостях у него сидели двое инженеров, конторская барышня и двое молодых людей — по-видимому, родственники. При входе в квартиру я был поражен одним обстоятельством: на стене у него висела картина, изображающая ленский расстрел, а в углу был маленький «Ленинский уголок».

Это была квартира номер девять в миниатюре.

двадцать пятая глава

замы

Это странное название носят независимые в силу своих знаний люди, которыми дорожат и за которыми иногда ухаживают. Оба инженера были **замдиректорами**, в сущности, фактическими заправилами нашего завода.

Здесь придется сделать небольшое отступление. Когда вы попадете на фабрику, на завод, в учреждение, где от служащего требуются специальные познания, то там вы не найдете инженера, мастера, заведующего и так далее: вы найдете заминженера, заммастера, замзава. Должности семнадцатого разряда замещаются исключительно рабочими, получившими образование в объеме курса политграмоты, — естественно, что они никуда не годились на этих должностях и им в помощь назначались специалисты, носившие наименования замов. Заведующие являлись только комиссарами, контролирующими, а чаще всего только тормозящими работу этих замов. Насколько была рациональна подобная организация, вы увидите после.

Возвращаюсь к рассказу. Когда я пришел, вечеринка была в полном разгаре, и вино уже успело произвести свое действие на языки гостей.

— А, мертвец!— закричал помощник бухгалтера. — Имею честь представить существо, вылезшее из могилы. Вы не поверите — ему шестьдесят семь лет.

— Что вы? Неужели?

Я сразу стал центром внимания.

— Это вам двадцать раз вырывали ноздри?— спросил один из гостей.

Я смутился.

— Чепуха! Ничего этого не было!

— Мы отлично понимаем, отлично,— ответил толстенький инженер в очках,— мы ведь тоже немножко знакомы с историей.

И тут же начали ругать правительство. Я по опыту знал, к чему могут привести подобные разговоры.

— Да вы не беспокойтесь,— сказали они, заметив мое смущение,— мы здесь в своей компании. Шпионов нет.

— Кого они хотят обмануть? Народ? Западную Европу?

— Сказки для детей младшего возраста!

Потом перешли к заводским порядкам и особенно обрушились на директоров.

— Сидели бы дома, получали жалованье...

— А разве на одно жалованье проживешь?

— Они работают два часа, а вот один ухитрился ускользнуть от контроля и проводил на заводе не больше пяти минут. Так вот, когда ему сказали, что он вводит завод в убыток, знаете что он ответил: «Если бы я сидел на заводе два часа, было бы еще больше убытку».

— Верно! Они только разрушают дело! Возьмем хотя бы у нас...

Инженер в очках начал перечислять причины, от которых разрушается дело. Я не буду вдаваться в технику, но он насчитал около десятка таких промахов, из которых каждый в наше время довел бы предприятие до банкротства. Я удивился.

— Почему же все-таки завод сводит концы с концами?

— Отсутствие конкуренции... Ведь ввоз из-за границы запрещен.

— Запрещен?— удивился я.— А ведь мне говорили, что он теперь вовсе не нужен.

— Ну да, не нужен!— засмеялись все.— Да вы с луны, что ли, свалились? Ах, да ведь вы выходец из могилы!

И опять все бесцеремонно захохотали. Не знаю, верили они мне или считали ловким шарлатаном. Во всяком случае, эти люди были не так настроены,

Стивен Коэн

Во всех странах с настоящей многопартийностью партии играют важную роль и как легальная *оппозиция*, и как реальная альтернатива правящей партии. Если к власти приходит партия-авангард, она быстро становится администрацией, номенклатурой. И когда я *слышу призывы к созданию* второй, третьей и т. д. партии в СССР, мне хочется спросить, какой именно?

чтобы верить чему бы то ни было. Они были полны самой бесшабашной иронии.

— Но если вы видите недостатки, почему не стремитесь исправить? Ведь многое зависит от вас.

— Очень нужно!— ответил один инженер.

— Попробуйте!— возразил другой.

За попытки вмешаться в управление некоторые слишком беспокойные люди были сосланы в очень отдаленные места — «ловить рыбку», как выражались инженеры.

— А мы предпочитаем ловить рыбу в мутной воде,— сострил помбухгалтера, накладывая на тарелку кусок осетрины.

Может быть, в его шутке больше правды, чем кажется ему самому. Ведь все покупки, все распоряжения администрации, все, наконец, злоупотребления происходят не без их участия. Они виноваты во многом. В этом, приблизительно, смысле я высказался в ответ на замечания моих собеседников. Толстый инженер принял серьезный тон.

— Не так опасно украсть,— сказал он,— как опасно возразить директору.

Так было и при старом режиме, с тою лишь разницей, что тогда директор понимал кое-что и притом был заинтересован в благосостоянии предприятия. Теперь другое: директора отбывают повинность, инженеры — тоже, ну а рабочие — рабочие, как и прежде, — только живые машины, о которых заботятся много меньше, чем о машинах неживых.

— Вот если бы мы... Вот если бы я...

Таким припевом кончались разговоры спецов.

Интересно знать, перейдут ли эти люди от разговоров к делу, примирились они со своим положением или нет. Я закинул удочку.

— Меня очень удивило то обстоятельство,— сказал я,— что рабочие поставлены в невозможные условия. Неужели мы не можем им чем-нибудь помочь?.. А тогда они помогли бы нам...

Удочка была закинута именно туда, куда нужно. Несмотря на то, что гости достаточно выпили, они подошли к вопросу очень серьезно. Водворилось молчание. Потом инженер в очках неуверенно сказал:

— Но ведь они абсолютно бессознательны.

— Они забиты и запуганы,— подтвердил другой инженер,— они ненавидят всех, кто устроился лучше их...

— Мы можем поделиться с ними своими знаниями,— возразил я.

Мое предложение вызвало длинные разговоры. Конечно, все соглашались, но, с другой стороны, боялись рисковать. Из этих разговоров я понял, что моим собеседникам не улыбалось спуститься вниз по социальной лестнице.

«А все-таки их можно использовать — до поры до времени, — решил я. — Конечно, они попытаются оседлать движение, как только оно возникнет, но тогда их можно будет и осадить». Чтобы не терять удобного момента, я предложил им завтра же начать действия: мы организуем просветительное общество и устроим в рабочем клубе ряд лекций. Они согласились.

— Но ведь нас заставят проповедовать политграмоту!

— Чем же нам повредит политграмота? Даже она, если ее хорошо усвоить, повышает культурный уровень,— возразил я.

Серьезного желания работать я не заметил ни в одном из присутствовавших на вечеринке. Один только толстый инженер после ужина, развалясь в кресле, сказал мне:

— Если вы серьезно, то мы вам поможем... Начинайте...

Плотно покушавший человек всегда настроен филантропически.

Но для моей цели большего не требовалось. Для замов я свой человек, и если они не помогут, то они во всяком случае не будут мешать. А культурно-просветительная работа в клубе станет ширмой для моей политической деятельности.

двадцать шестая глава

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Я правильно учел положение, выбрав клуб центром своей деятельности. Это было учреждение, уже однажды проделавшее огромную работу, но замершее на время в связи с общим окаменением государственного строя. Что происходило в фабричном клубе? Такие же богослужения, как и в любом другом, с той разницей, что сюда насильно сгонялись рабочие. Скучнейшая проповедь на непонятном для рабочего языка — я и забыл сказать, что проповедники говорили на особом языке — странной смеси русского с латинским. Между прочим, этот язык употребляли и газеты, торжественные заседания, общие собрания, на которых опять-таки не произносилось ни одного живого слова. Вполне понятно, что в клуб никто не ходил — в пивной было интересней и веселее.

Что мне оставалось делать? Влить жизнь в омертвевшее тело полезного учреждения.

Из переговоров с администрацией я выяснил, что препятствий не будет: только мои лекции не должны выходить за пределы курса политграмоты. Требовали сначала, чтобы я буквально повторял тексты катехизиса, но мне удалось отстоять самостоятельность изложения.

— Ведь усвоение марксизма, — доказывал я, — приведет только к укреплению существующего порядка. Есть же скрытое недовольство, ведь многие не понимают, что они живут в совершеннейшем из государств...

Одним словом, я убедил администраторов, приведя несколько цитат из катехизиса. Мне оказало большую пользу их благоговение перед цитатами:

Нет, Сталин — это мы! Даже
в большей степени,
чем подозреваем.
И в этом смысле он —
вечно живой, как раньше
и говорили,
но совсем другое подразумевая.

стоило только подкрепить свою мысль ссылкой на катехизис, как лица администраторов вытягивались, они постно улыбались — и дело в шляпе. Лица, которые могли повредить — замы, были на моей стороне.

Первая лекция объявлена была о классовом строении общества. Слушателей собрать было нелегко. Администрация предложила издать приказ, но в моих интересах было видеть на лекции только действительно интересующихся: пусть придут двое, зато я не буду видеть перед собой сонные физиономии отбывающих скучную повинность.

Но собралось не двое, а около сорока человек. Не знаю, но, вероятно, тут повлияла моя репутация: я в противоположность многим своим товарищам не ругался, не придирался к мелочам, держал себя с рабочими как свой человек и скоро заслужил хорошее отношение мастерской. Моя мастерская и была главным образом представлена на лекции. Присутствовал также политрук завода и даже — минут пять — один из директоров. Я так построил свою речь, что придраться было не к чему: это была обычная клубная проповедь, но изложенная понятными словами. Рабочие слушали меня с интересом и, расходясь, оживленно беседовали между собою.

Я понял, что план мой удался: мысль была разбужена. На следующей лекции было уже человек пятьдесят, а на третьей мне пришлось перенести собрание в мастерские.

После четвертой лекции некоторые из рабочих подошли ко мне и выразили желание задать мне несколько вопросов. Я согласился, но предупредил, что в клубе задавать вопросы неуместно, а если они хотят поговорить со мной, пусть приходят ко мне на квартиру. В следующее же воскресенье у меня состоялось первое рабочее собрание, на котором я начал настоящую пропаганду. Дело в том, что первым вопросом, смутившим моих слушателей, был такой:

— Сказано, что власть принадлежит трудящимся, а вот они трудящиеся — и...

А уж если появился такой вопрос — мое дело в шляпе. Я раскрыл рабочим хитрую механику правящего класса, подмену понятий «рабочий» и «труд», подмену класса сословием. Это для всех было открытием. Они научились по-новому понимать официальную терминологию, и мне оставалось только указать литературу и посоветовать почаще посещать клуб.

У меня было чрезвычайно выигрышное положение: мне не приходилось печатать прокламаций — прокламации частью продавались в магазинах, частью даже раздавались даром самим правительством. Несколько тысяч учебников политграмоты были присланы по моему требованию бесплатно. Мои помощники вели деятельную пропаганду в мастерских, в пивных, в рабочих семьях. Скоро я стал получать сведения о возникавших тут и там ячейках, и уже приходилось обдумывать план создания настоящей рабочей партии.

Сравнивая подпольную работу с прежней, я каждый день убеждался, что теперь вести ее значительно легче. На помощь мне приходила государственная организация, хранившая все необходимые для меня элементы в зачаточном или замершем виде. Партийная ячейка, профессиональный союз, завком, делегаты — все эти учреждения надо было только наполнить новым содержанием. Я покамест развертывал на своем заводе сеть параллельных учреждений, поджидая того дня, когда они займут надлежащее место.

Созданные мной учреждения не имели никакой власти, но зато они пользовались большим моральным авторитетом. На них смотрели с надеждой, к ним обращались во всех затруднительных случаях. Мне уже приходилось сдерживать тягу к немедленному выступлению, которую я замечал у многих своих последователей, в частности у Алексея, который так и рвался в бой. Момент еще не наступил. И притом я решил первое выступление сделать в легальной форме, благо это представлялось возможным.

Нужно было найти и внешние символы движения: я остановился на красном флаге, лишенном золотых украшений, тем более что политграмота рекомендовала как раз такой флаг. Нужен был и гимн, — но так как напев «Интернационала» был достаточно неприятен по ассоциации с торжественным богослужением, я выбрал мотив одной запрещенной в то время песни — «Сухой бы я корочкой питалась», — она была запрещена как мещанская. На этот мотив распевались слова, написанные моим приятелем поэтом, которого я скоро втянул в активную работу.

Несмотря на колоссальную работу, проделанную мною в течение нескольких месяцев, я посещал Мэри еще чаще, чем прежде. Я старался всячески втянуть ее в работу, я поручил ей организацию золотошвеек, но мои старания не увенчались успехом. Или она боялась, или была слишком погружена в старое, слишком полна предрассудков — окончательного суждения высказать не решаюсь. Но и она не оставалась пассивной: были минуты, когда она умела ненавидеть, были минуты, когда она пошла бы на самый рискованный шаг. Она даже предложила проект уничтожения отдельных представителей высшего класса общества, с тем чтобы навести панику на остальных, но, конечно, это предложение не выдерживало критики, и я отказался от него. Во всяком случае, эту женщину можно было использовать в решительный момент — она была у меня на учете.

Собираясь в ее квартире то втроем, то вчетвером, то впятером — я говорю об Алексее, которого я сам познакомил с Мэри, мы мало говорили о нашем деле, а при философе даже совсем не говори-

«Литературная газета»

В судорожных попытках
реализовать свои агрессивные
замыслы американский
империализм бросает на карту
все: бомбы, чумных блох
и философствующих невежд.

Усилиями последних
и сфабрикована кибернетика —
лжетеория, предельно
враждебная народу и науке.

1952

ли. Я помнил его отношение к моему предприятию и несколько побаивался его.

Не могу не рассказать еще об одном эпизоде.

Однажды мы вышли на прогулку. Все разбрелись по лесу, а мы с Мэри остались вдвоем. Дело было в лесу неподалеку от Парголова — в этом лесу в старое время происходили митинги и массовки, я был полон воспоминаниями и восторженно делился ими с Мэри. У нее тоже было необычное настроение. Как это произошло, я не помню, но мы взялись за руки и долго шли куда глаза глядят, пока не увидели перед собой обрыв, покрытый заросшими могилами, и серебряное вечернее озеро, над которым носились белые чайки. Мы присели на могильную плиту и долго любовались открывшимся перед нами видом. Она утомилась дальним путешествием и положила голову на мое плечо. Я не мог пошевелиться, так мы просидели в полном молчании до утра.

Но то, что произошло, казалось нам обоим таким важным, таким особенным, что для меня вся жизнь разделилась на две половины: до этого вечера и после. Надо ли говорить, что я простил ей равнодушие к моему делу, ее неспособность к активной работе — все, все. И притом — надо ли говорить об этом — я был счастлив. Я пел в моей мастерской, мне казалось, что я не хожу, а плаваю над землей.

На другой день после работы я, конечно, поспешил к ней.

двадцать седьмая глава

НЕСЧАСТЬЕ

Обстоятельства помешали мне выполнить мое намерение. Выйдя из дому, я встретился у ворот — с кем бы вы думали — с Витманом.

Он по-прежнему носил монокль и по-прежнему безбожно картавил. Я был в таком настроении, что обрадовался даже Витману.

— У меня к вам очень важное дело,— сказал он без лишних предисловий и предложил проехаться за город. Я пытался было отказаться, но он настаивал. Пришлось согласиться.

Мы ужинали в отдельном кабинете вновь выстроенного на Поклонной горе ресторана, и Витман очень заботился о том, чтобы я больше пил шампанского. Эта заботливость показалась мне странной, и я нарочно воздерживался, зная по опыту, что с этим человеком надо держать ухо востро.

После ужина мы приступили к деловому разговору.

— До нас дошли сведения о волнении среди буржуазии,— начал он.

Я насторожился. Если бы я был пьян — при этих словах хмель вылетел бы из моей головы.

— В чем дело, мы в точности не знаем, но на некоторых заводах они начинают слишком много разговаривать, и даже была одна попытка устроить забастовку. Вы понимаете, что это недопустимо. Ведь все завоевания революции могут пойти насмарку...

Я сделал вид, что в первый раз слышу о волнениях, тем более что на «Новом Айвазе» никаких выступлений не было.

— Неужели?— спросил я.— Чего же хотят эти кровопийцы?

— Я не знаю, чего они хотят,— пробурчал Витман, вероятно, он полагал, что я выдам себя, и был недоволен моим слишком правоверным ответом,— но дело угрожает стать серьезным и потребует напряжения всего аппарата.

Потом он начал говорить о преимуществах положения в высшем обществе, расспрашивал, как я живу, вспомнил даже о Мэри.

— Она очень хорошая девушка,— сказал он,— и ей можно выхлопотать прощение. Государство великодушно и умеет прощать даже своих врагов, если они раскаются...

Он хочет сказать, что государство способно пойти на уступки, — нет! Я знаю цену уступкам.

Но он подошел к делу с неожиданной для меня стороны.

— Не согласились бы вы,— неуверенно начал он,— я знаю, что вы пользуетесь некоторой популярностью. Не согласились бы вы...

Сущность его предложения была до того возмутительна, что я не привожу даже его подлинных выражений.

— Неужели вы хотите, чтобы я стал провокатором? — закричал я.

— Провокатором? — удивился он. — Я предлагаю вам должность корреспондента...

Конечно, я наотрез отказался. Как отнесся к этому Витман, не знаю. Он тотчас же перевел разговор на другую тему, но все-таки успел сообщить, что именно он является организатором целой сети корреспондентов, называющихся **буркорами**, — они должны осведомлять правительство о состоянии умов буржуазии и мещан. Конечно, это была очень важная новость, так как до сих пор корреспонденты следили только за действиями членов высшего класса.

Воспользуюсь случаем, чтобы объяснить одну особенность государственного аппарата, налаженностью которого хвастал Витман в первое время нашего знакомства. Аппарат действительно был налажен великолепно, но это был хороший механизм — и только. Отличительная особенность каждого механизма — действовать в одном направлении — была свойственна и этому аппарату. Он с невероятным успехом мог следить за чистотой идеологии высшего класса, он мог вести борьбу с примазавшимися, мог даже препятствовать проявлению свободного мышления, но средний и тем более низший класс были вне сферы действия этого аппарата. Для пресечения преступлений достаточно было милиции и гепеу; проявлений политической активности низших классов не замечалось в течение тридцати лет, и мало-помалу классы эти ускользнули из поля бдительного надзора. Надо было наверстать потерянное, надо было всякими правдами и неправдами привлечь провокаторов из враждебного лагеря. Я оценил по достоинству государственный ум правителей и кое-что намотал себе на ус.

Расстался я с Витманом дружески и даже обещал изредка заходить к нему. По-видимому, запрещение знаться с лицами низших классов было временно отменено.

Я чувствовал, что золотое время движения прошло. Надо или сейчас же выступить решительно и открыто, или дальнейшая работа столкнется с непреодолимыми трудностями... Но подготовка! Как

можно выступать сегодня — ведь это верный провал...

Вернулся домой я очень поздно и к Мэри не пошел, отложив визит до завтра. Утром, выходя на работу, я увидел в окне магазина книжку стихов моего друга и поэта и намеревался весь вечер провести вместе с Мэри за чтением этой изумительной книги.

После работы я, не заходя домой, поспешил к Мэри. День был пасмурный, дорога грязная — это несколько понизило мое настроение.

Но все-таки то, что я узнал, как громом поразило меня.

— Он умер,— закричала она, увидя меня.

Я в изумлении остановился. Мэри плакала, ломая руки.

— Он умер! Он умер!— кричала она.

— Кто умер?

Она не могла ответить и только бросила мне такую же книгу, какая была в моих руках. Я понял все.

— Когда? Как?— спрашивал я.

Из слов взволнованной девушки я понял, что вчера вечером поэт получил книгу, читал ее, запершись в своей комнате, потом долго ходил взад и вперед, а наутро его нашли повесившимся. Ни записок, ни писем он не оставил.

Прочитав несколько стихотворений, я понял все: он не мог вынести надругательства над своим искусством. Книга была так изуродована, что некоторых стихотворений нельзя было узнать.

Конечно, причина вполне уважительная, но я не понимал его до конца. Разве так бы поступил я? Никогда! Я только бы с удвоенной энергией продолжал борьбу. Он был членом нашей организации, и его самоубийство было даже преступно! Это малодушие! Может быть, читатель обвинит меня в черствости, но у меня возникла и такая мысль: не лучше ли для нашего дела, если поэты не будут участвовать в нем?

Что было ответить взволнованной и плачущей Мэри?

Я ничего не мог сказать, кроме:

— Нет, мы этого так не оставим!

— Что же вы сделаете?— сквозь слезы спросила она.

— Будем бороться!

Она посмотрела на меня с восхищением и вместе с тем — с жалостью. Кого она больше любила — его или меня? Но этот вопрос был неуместен после трагической смерти соперника.

Скоро пришел старый философ и долго утешал Мэри, говоря, и очень длинно, о покорности судьбе, о преступности самоубийства и т.д. По его уходе Мэри сказала:

— Будьте осторожнее с Фетисовым (так звали философа).

— Почему?— удивился я.

— Не знаю почему... Он начал очень мертво говорить.

Девушка чувствовала инстинктом что-то неладное. У меня не было никаких оснований подозревать старика в чем-либо, но я поспешил согласиться с Мэри. Люди, привыкшие к опасности и риску, склонны к суевериям, и я не представлял исключения.

двадцать восьмая глава

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

Трагическое событие только ускорило развязку: оно явилось толчком к более энергичной работе по подготовке решительного выступления. Я не буду переоценивать своей роли в начавшемся движении: в дальнейшем оно развертывалось стихийно, и моя роль в последнее время была скорее сдерживающей, чем возбуждающей. До меня каждый день доходили слухи о возникновении тут и там новых ячеек, тут и там вспыхивали частичные забастовки, мне приходилось предостерегать, останавливать, уговаривать беречь силы для общей и решительной схватки.

На заводе мою политику истолковали по-своему.

— Вы знаете, что говорят о вас,— сказал мне как-то Алексей,— что вы — агент правительства!

Это возмутило меня. После того, что я сделал для них, они не верят мне.

— Говорят, что вы подосланы от правительства со специальной целью. Они вправе не верить вам, так как вы — выходец из их класса...

О, этот проклятый катехизис! Не сделал ли я ошибки, дав его рабочим в неизменном виде? Он научил их видеть своего врага, но и сделал способными видеть врага в каждом, принадлежавшем не к их классу.

Хорошенько обдумав вопрос, я сказал:

— Что же — надо начать действовать...

Алексей обрадовался. Мы обсудили положение и выбрали момент, который считали наиболее удобным.

Каждый год на заводе происходили выборы: завкома, делегатов (то есть сборщиков всяческих «добровольных» взносов), депутатов в советы и т.д. Заседания эти выродились в своего рода молебен с проповедью. Приезжал инструктор, торжественно открывал собрание «Интернационалом» и речью, затем провозглашался список намеченных ячейкой товарищей, инструктор торжественно провозглашал:

— Кто против?

Против никто не высказывался, и собрание так же торжественно закрывалось. Одним словом, это была столько же торжественная, сколько и ненужная процедура.

На таком собрании мы и решили провести первое сражение. Мы раздобыли текст никем не отмененной конституции, в которой черным по белому было сказано, что избирательным правом пользуются все граждане, не опороченные происхождением от бывшего царского дома, кроме священников и лиц, эксплуатирующих наемный труд. Только давление со стороны господствующего класса сделало так, что на выборное собрание не являлся никто, кроме членов высшей администрации, — теперь же настало время восстановить свободные выборы.

Мы с Алексеем наметили список кандидатов во главе с товарищем Алексеем — свою кандидатуру я не решился предложить, зная недоверие ко мне со стороны некоторой части рабочих, а с другой стороны, не желая показывать администрации, что я яв-

ляюсь главой оппозиции, что до сих пор мне удавалось скрывать. Рабочие были предупреждены о выборах, и в день торжества скромное помещение заводского клуба было переполнено.

Тысяча избирателей — это было неожиданностью для администрации. Предчувствуя что-то неладное, избирательная комиссия затянула проверку списков, рассчитывая на то, что рабочие разойдутся по домам. Но рабочие держатся крепко. Часть их, исключенная под разными предлогами, разошлась по домам: наших сторонников было так много, что мы решили не возражать и соглашались во всем с мнением избирательной комиссии.

Заслушан доклад. Оглашен список кандидатов.

И вот произошло событие, какого, может быть, тридцать лет не видели стены клуба: один из рабочих потребовал слова.

Избирательная комиссия в замешательстве. Продолжительное совещание, шепот, переговоры, тревожные звонки телефонов.

Слово дано.

— Мы не знаем ни одного из предложенных вами кандидатов,— говорит рабочий,— я предлагаю выбрать из нашей среды такого человека, который бы защищал наши интересы.

И он огласил список во главе с товарищем Алексеем.

Я ликовал.

Президиум не ожидал подобного выступления. Один из кандидатов избирательной комиссии заявил, что все они из рабочей среды и что чистота их пролетарского происхождения удостоверяется метриками, выданными загсом Ленинградской стороны.

В ответ — громкий смех. Президиум объявил перерыв и полчаса совещался. Зал гудел, как улей. Я видел единодушие рабочих, вера моя окрепла.

Снова открыто собрание. Президиум пытается отвести наших кандидатов — но они удовлетворяют условиям закона. Надо приступать к голосованию.

— Кто за?— произнес председатель, назвав имена кандидатов избирательной комиссии.

Руки поднялись только за столом президиума. Десять голосов.

— Кто против?

Лес поднятых рук. Зал торжествует. Председатель спокойно подсчитывает голоса.

— Девятьсот сорок семь.

И, нисколько не смутившись, объявляет:

— Кандидат избирательной комиссии избран большинством десяти голосов против девятьсот сорока семи.

Шум, топот, свистки. Президиум торопливо собирает бумаги.

— Голосуйте наших кандидатов!

— Не признаем выборов. Насилие!

— Алексея!— кричала толпа.

Президиум опять удалился на совещание и появился только через полчаса.

— Так как собрание недовольно выборами, мы проведем повторное голосование. Голосуется кандидат избирательной комиссии...

И опять тот же результат: десять за и девятьсот сорок семь против.

— Кандидат избирательной комиссии считается избранным,— заявляет председатель.

Крики, свистки. Их покрывает голос одного из членов комиссии:

— Девятьсот сорок семь человек по постановлению комиссии лишены избирательных прав... за то, что отказались голосовать за...

Что тут было! Толпа ринулась к трибуне. Одна минута, и произошла бы жестокая схватка, а вслед за ней кровавая расправа. Надо было водворить порядок. Я вышел на трибуну:

— Товарищи, спокойствие! Выборы будут обжалованы и отменены.

Опять поднялся крик. Кто-то кричал мне:

— Изменник!

Я спокойно стоял на трибуне. Я знал — никто не посмеет выступить против меня. Моя выдержка помогла, собрание понемногу утихомирилось и приняло предложенный мною протест. Расходились все возбужденные и обозленные, а я в глубине души радовался, что такое настроение обещает быстрый успех.

С другой стороны, мною были довольны и члены президиума: я нашел выход из тяжелого положения. Не желая разочаровывать их, я с достоинством принял благодарность.

В тот же день заседание подпольной ячейки решило готовиться к активному выступлению и назначило день — первое мая. «Все легальные пути использованы,— говорилось в выпущенном в тот день воззвании,— остается возложить ответственность за будущую кровь на правящий класс, а самим готовиться к борьбе и — победить или умереть».

Я сам ни на минуту не сомневался в успехе.

Оставалось только порадовать Мэри — и я отправился к ней.

двадцать девятая глава

Я РАЗГОВАРИВАЮ С ФИЛОСОФОМ

Несмотря на позднее время, Мэри не было дома, все чаще она в последнее время стала надолго пропадать из дому: я заметил это после трагической гибели поэта. Куда скрывалась она, где проводила время, я не знал, а выспрашивать не решался.

В ее комнате я застал Фетисова. От нечего делать мы завели незначащий разговор, перешедший на политические темы. Я проговорился и рассказал кое-что о происходившем на заводе собрании, стараясь в то же время скрыть свое отношение к этому выступлению: предупреждение Мэри заставило меня быть осторожным с этим человеком. Но старик отлично знал мою роль — я заметил это по легкой снисходительной улыбке, с которой он выслушивал меня.

«Неужели он следит за мной?» — подумал я и содрогнулся. Внушительный вид философа рассеял мои сомнения. Мудрец не может быть шпионом.

Случилось так, что мы не дождались Мэри, и Фетисов предложил проводить меня. Предчувствуя серьезный разговор, я согласился.

— Как обстоят дела вашей партии?— прямо спросил он, когда мы вошли в парк. Я испугался —

мне казалось, что о партии знают только наиболее близкие товарищи.

— Я не знаю, о чем вы говорите,— ответил я.

— Мы уже однажды говорили с вами об этом,— напомнил он таким тоном, что мне стало стыдно: я пытаюсь что-то скрыть от человека, который первым откликнулся на мою проповедь.— Я знаю, что ваше дело зашло далеко... Но может быть, вы все-таки оставите его... Еще есть время...

— Нет, я не оставлю этого дела,— ответил я.

— Напрасно. Вот о чем я хотел поговорить с вами: верите ли вы, что разбуженная вами масса пойдет с вами до конца?

Он попал как раз в точку. Этот вопрос я сам не раз задавал себе, особенно с тех пор, как среди рабочих зародилось недоверие ко мне. Но все-таки я твердо ответил:

— Думаю, что пойдет до конца.

— А уверены ли вы в том, что они хотят того же, чего хотите вы?

— Странный вопрос. У нас с ними общее дело. Мы боремся за справедливость...

Горькая усмешка промелькнула на лице старика:

— Справедливость. Сколько раз на своем веку я слышал о справедливости. И чем кончилось?

Несколько минут мы шли молча. Погруженный в глубокое размышление, он казался старше своих достаточно преклонных лет: казалось, тысячелетняя дума застыла в его покрытом морщинами лице.

— Справедливость... Разве **они** борются за справедливость? Предложи любому из них обеспеченное положение, и все они отрекутся от вас. Если бы правительство сейчас смогло всех подкупить — разве кто-нибудь остался бы с вами?.. И наконец, вы сами, что вы внушаете им? Чувство справедливости? Нет! Вы внушаете им чувство зависти, вы заставляете их ненавидеть друг друга. Злоба рождает злобу, ненависть растет, и самая полная победа будет торжеством самой злой, самой отчаянной ненависти...

— Конечно, я должен внушать им ненависть к врагу,— ответил я,— но, когда будет уничтожен враг, не останется места для ненависти.

— Так вы думаете,— возразил философ,— а вы уверены в том, что устроенный вами порядок всех удовлетворит? А если нет — разве вам не придется держать одну часть населения в подчинении?

— Временно — да!

— Старая Россия сотни лет управлялась временными законами. Нет, научив людей видеть в других людях врагов, вы уже ничем не вытравите этого чувства. Победивший класс будет дрожать за свою власть, он побоится кого-нибудь близко подпустить к власти. Он закрепит свои права навеки — возникнет сословие, — а вместе с тем все то, что вы видите вокруг себя...

Я видел, куда гнет старик: слишком понятна мне эта философия, заменившая образованным людям религиозный дурман. Утешиться в мысли о неизбежности существующего — это проповедует он. Или он, как новый Христос, хочет выступить с проповедью любви? Тогда бы он был со мною — а вместо того он пишет дрянные брошюрки, оправдывающие современное положение вещей.

Послушать такого человека — он передовой из передовых. Я — старый революционер и подпольщик — щенок перед его радикализмом. А на деле? На деле он весь насквозь пропитан моралью господствующего класса, на деле — он лучший слуга буржуазии, как бы эта буржуазия ни называлась!

Нет, на его удочку я не поддамся.

— Что же вы предлагаете?— в упор спросил я.

Он мог ответить только длинной тирадой о том, что буржуазия — понятие психологическое, что борьба классов — вздор.

— Я помню,— сказал он,— когда революция победила на всех фронтах, когда рабочий класс торжественно праздновал победу — вдруг оказалось, что буржуазия, которую, казалось, уничтожили, так сильна, что устами рабочих требует себе некоторых прав. А дальше больше: буржуазия получила высшую власть и правит именем рабочих. Вас ожидает то же, если вы не начнете постепенно перевоспитывать массы. Но можно ли перевоспитать их?

Я понял, к чему он клонит. Но когда подобные учения приводили к реальным результатам? Никогда. Проповедь Христа — разве она не выродилась так же, как, по словам Фетисова, может выродиться наше движение?

Мы расстались друзьями, но этот разговор убедил меня только в том, что я стою на правильном пути. Только стремление мещанина оправдать свое равнодушие к борьбе угнетенных масс говорит языком подобных людей. А если дело пойдет о покушении на их право? О, тогда они заговорят при помощи пушек!

Пусть он искренно желает мне добра, советуя отказаться от дела всей моей жизни,— спасибо.

Разрешите не послушать вас, господин Философ!

тридцатая глава

НАКАНУНЕ

Разговор с философом отвлек меня, но только я расстался с ним на крыльце своего дома, как опять мною овладело беспокойство за Мэри. Где она? Что с ней? Я поступил как мальчишка: проследил, что философ пошел не в ту сторону, где живет она, и побежал назад.

В комнате Мэри светился огонь. Я тихонько постучал в окно — она не спит. Она подошла к окну, увидев меня, не обрадовалась — нет, а как будто испугалась. Но это только на миг. Радостная улыбка, она открывает дверь.

— Мэри, вы что-то скрываете от меня?

Она спряталась куда-то глубоко-глубоко — так прятаться умеют только женщины:

— Я ничего не скрываю от вас.

И стала расспрашивать меня о моей работе. Какая великая дипломатка жила в этой скромной и беззащитной, казалось, женщине. Она знала, чем отвлечь меня от расспросов. Я, конечно, увлекся, рассказывая о собрании на заводе, и забыл о том, с чего начался разговор.

Трудно начало. Камень, лежащий на вершине горы, трудно сдвинуть с места, но если уж раз мы придали ему движение, он будет лететь с неудержимой силой, и его тяжесть будет только ускорять его движение. Трудно было разбудить сознание в

первом десятке рабочих — а теперь, я уверен, только горсточка охранников и полицейских останется на стороне правящего класса в решительный момент.

Через месяц после разговора с философом, который, кстати сказать, все ближе и ближе сходился со мной и даже выполнял некоторые мои поручения, — вышел первый номер подпольной газеты.

Технически она была выполнена плохо, но зато содержание! Она называла все вещи собственными своими именами. Это было не так мало, когда правительство больше всего боялось именно правды. Мы втихомолку запасались оружием, а я, углубившись в старинные — эпохи великой революции — книги, учился революционной стратегии и тактике ее великих вождей.

План был простой: это была операция, рассчитанная на неожиданный натиск. Мы захватываем пункты, в которых сосредоточено оружие, арестуем правительство — а дальше все идет как по маслу: войска не поддерживают правительство, которое не способно само защитить себя.

И как мне казалось, обстоятельства благоприятствовали нам. Правительство слепо и глухо. Отсутствие малейших репрессий, отсутствие намека на наше движение в официальной прессе, полное бездействие коллегии корреспондентов, организация которых была поручена Витману. Не было сомнений, что наше выступление ударит как гром из ясного неба и сметет все препятствия на нашем пути к свободе.

Единственный человек, который не верил в успех, — это Мэри. Когда я, увлекаясь, излагал ей свои планы, она не радовалась, она грустно покачивала головой.

— Я не понимаю,— говорила она,— почему правительство не действует?

— Машина неповоротлива,— объяснял я,— подождем, встретить лицом к лицу врага никогда не поздно. Я доволен, что мы сумели уклониться от преждевременной схватки.

Она опять недоверчиво покачала головой:

— Ой ли! А может быть, оно уклоняется от схватки?

Она с грустью смотрела на меня. Казалось, она старается запомнить мое лицо, мой голос. И грусть невольно подчиняла меня, уничтожала ту радость, которой я был охвачен.

— Уедем отсюда! Бежим!

Ну, этого-то я не ожидал от нее. Бежать накануне сражения? Что скажут товарищи? Что станется с моим делом?

— А если я вам скажу,— голос ее прозвучал убедительно и твердо,— что нам и нашему делу грозит неминуемая гибель?

— Ну так что же? Мы погибнем! — просто ответил я. Мэри задумалась. Она несколько минут сидела лицом к окну, не шевелясь и не глядя на меня.

Но вот она взглянула на меня, поразил синий цвет ее глаз и стальной решительный блеск.

— Мы остаемся.

Красивее женщины я не видел никогда в жизни. Я забыл нерешительность, обнял и поцеловал ее.

Этот разговор расстроил меня. Не знаю, чем объяснить, но слова девушки, ни на чем реальном, по-видимому, не основанные, навсегда убили во мне уверенность в успехе дела.

Но зато я был уверен в другом: в ее любви ко мне. И странно — я не знал, что перевешивает — то или другое.

тридцать первая глава

МЭРИ

Работа по подготовке выступления была в разгаре, когда нужно было совершиться неизбежному и когда я в полной мере оценил, какую женщину мне довелось увидеть и любить накануне конца своей земной жизни.

То, что совершилось, по-моему, много помешало успеху нашего дела.

Я возвращался с массовки, устроенной нами в Парголовском лесу. Время было позднее, и я хотел забежать к Мэри, с которой давно не виделся. Но, не дойдя до площади, носившей по старой памяти наименование «Круглый пруд» (пруд был давно засыпан), я заметил необычайное оживление на прилегающих к Круглому пруду обычно весьма тихих улицах. Население — в большинстве рабочие — кучками ходили по улицам и вели тихий разговор. Когда я подходил к какой-либо из групп, разговор замолкал. Меня охватило беспокойство — я ускорил шаги.

Может быть, припасенное нами оружие заговорило раньше срока?

Я больше всего боялся преждевременного выступления, и мое волнение понятно.

Круглый пруд. Остановка трамвая. Взволнованный газетчик (я первый раз увидел газетчика на улице, обычно газеты разносились по домам) не своим голосом кричит:

— Жестокое убийство! Тайное общество! Буржуазия поднимает голову!

Я с трепетом развертывал газетный лист — с таким же трепетом, как незадолго перед тем подпольную газету. Волнение мое станет понятно, если читатель вспомнит, что официальные газеты обычно не содержали ни одной свежей новости.

«На Старопарголовском проспекте в проезжавший автомобиль брошена бомба. Убит шофер и председатель коллегии корреспондентов товарищ Витман. Убийство произведено, вероятно, с целью грабежа,— успокаивала газета,— тем более что из кармана убитого Витмана пропали весьма важные документы. Милиция ищет убийц».

Это известие взволновало меня. Таинственная обстановка убийства, бомба, пропажа документов — все это так напоминало мне события девятьсот пятого года, знаменитые экспроприации, совершаемые неуловимыми преступниками. И притом в душе у меня зародилось другое, совсем смутное волнение, которое заставило меня ускорить шаг и поспешить к Мэри.

Закутанная в платок, она стояла на крыльце и, казалось, ждала меня.

— Стойте! Я узнала все!

Она была расстроена, она была возбуждена. Я заметил, что руки ее дрожали.

Не знаю, чем объяснить, но я вместо всяких приветствий спросил:

— Мэри — ты?

Она отшатнулась от меня и, глядя в мои глаза, ответила:

— Я!

Вот что сделала эта, теперь непонятная мне женщина. Несколько дней спустя после беседы со мной к ней заявился Витман. Надо ли говорить, что он еще циничнее, чем мне, предложил ей поступить к ним на службу. Она не согласилась. Он стал преследовать ее — и наконец она решилась на отчаянный шаг: выведать его план борьбы с начавшимся движением. Сколько хитрости, коварства, сколько умелой игры потребовалось для того, чтобы обмануть бдительность этого черствого человека! Он уверял ее, что покамест борьба еще не началась, что они не могут наладить аппарат, что необходимо ее участие в деле. Она не сдавалась.

После разговора со мной, когда она твердо решила остаться, тогда же она решила силой вырвать от Витмана его план. Она носит в ридикюле бомбу, она выслеживает врага...

Остальное понятно.

Меня больше всего удивляло то, что она ни словом не проговорилась, и перед кем — перед самым близким ей человеком.

Полиции на месте происшествия не было, разбитый автомобиль был найден на другой день после катастрофы, ночью шел небольшой дождь — и Мэри была в безопасности. Нужно было скорее разобрать украденные у Витмана бумаги и выяснить план врага. Только эти бумаги могли выдать Мэри. Я немедленно согласился взять их себе, а ей посоветовал на время уехать куда-нибудь, спрятаться от возможных преследований.

— Зачем,— просто ответила она,— я здесь буду нужнее.

Бумаги, отобранные от Витмана, были написаны каким-то неизвестным мне шифром, и разбор их пришлось отложить до раскрытия шифра. Я сам по вечерам работал над этими бумагами, так как звать специалиста было слишком рискованно.

Как повлияло это событие на рабочих? Одни осуждали, другие, наоборот, говорили, что террор вернее приведет к победе, чем путь, избранный мною. В движении стало намечаться два русла, и во главе второго стояла Мэри.

Какие меры приняло правительство в отношении к возможному повторению террористических актов? Неизвестно. На другое же утро газеты как воды в рот набрали: ни одной строчки об убийстве Витмана, и только в отделе происшествий милиция сообщала, что на Старопарголовском проспекте из-за плохого состояния дорог произошла катастрофа с автомобилем, в котором ехал студент Коммунистического университета Витман.

Пресса прикусила язык, это обстоятельство меньше всего могло радовать меня.

тридцать вторая, и последняя, глава

ПЕРВОЕ МАЯ

Двухнедельный срок подошел к концу. Мне остается наскоро изложить события последних дней моей жизни.

Канун Первого мая. Весеннее солнце и холодный ветер с Ладожского озера. Все подготовлено. Все на своих местах.

И — острая возрастающая тревога.

Почему никто не арестован перед выступлением? Неужели мы сами идем в ловушку?

Такое дьявольское хладнокровие!

Трудно поверить, но я был бы обрадован, если бы получил известие об аресте лучших из своих товарищей: тишина была слишком подозрительной.

Днем я обошел весь город. Магазины открыты, нарядная публика спешит по домам. Как будто ничто не предвещает грозы.

На одной из центральных улиц я встретил Мэри.

— Я знаю все, все,— могла только проговорить она и поспешила скрыться.

Около двенадцати ночи — стук в дверь. Я открываю — Мэри стоит, взволнованная, как и тогда на улице.

— Скорее, я приготовила все, мы можем бежать...

Я удивился:

— Зачем бежать?

— Но ведь они все знают... Завтра — гибель!

Оказалось, она успела произвести сложнейшую разведку. Она проникла в солдатские казармы, в приемные высокопоставленных лиц, она прислушивалась к разговорам — и везде и всюду чувствовалась тщательно скрываемая тревога.

— Где бумаги Витмана?— спросила Мэри.

— Я ничего не могу разобрать.

— И не надо. Они знают, что эти бумаги в наших руках, и успели изменить план. Ничего не надо. Вот билеты, мы можем отменить выступление и бежать...

— Чтобы пострадали наши товарищи?

Этот аргумент убедил ее.

— Я должен быть на своем посту,— сказал я,— но думаю, что вам следует просидеть весь день дома.

— Ну что ж,— ответила она,— если так... прощай.

Я горячо поцеловал ее, и мы расстались.

Утром в обычное время я пошел на завод. Солнце ярко освещало уже выстроившиеся колонны, по колоннам бегали распорядители с повязками на руках. Я знал, что у каждого под одеждой спрятано оружие.

Мы двинулись к центру. К нам присоединялись колонны с других фабрик. Выбросить красное знамя, двинуться на правительственные здания... Таков был план.

Меня поразила тишина и безлюдие улиц. Все двери заперты, спущены занавески на окнах, где есть ставни, закрыты ставни. Высшая администрация не явилась.

Троицкий мост. Наша колонна выбрасывает красный флаг. Раздается стройное пение революционной песни. Я уже готов скомандовать — вдруг...

Выстрел с Петропавловской крепости. Облако дыма. Мост колеблется. Со стоном падают люди...

И больше я ничего не помню.

Вероятно, меня подобрали на улице и отвезли в

лазарет. Сиделка не ответила мне ни на один из моих вопросов.

Мучительная неизвестность продолжалась до того момента, пока меня не вызвали к следователю. За столом я, к удивлению моему, увидел Фетисова. Старик философ сидел рядом со следователем, и, когда я пытался скрыть что-либо, он поправлял меня и притом так смотрел в мои глаза, что мне приходилось поневоле соглашаться.

Признаюсь, его поведение — самое темное и непонятное для меня место во всей этой истории.

Теперь о Мэри. Мне удалось сегодня увидеть ее. Нам, правда, не разрешили разговаривать — она только смотрела на меня глубоким скорбным любящим взглядом. Этот взгляд — самое драгоценное сокровище, оставленное мною на земле.

.....

Что еще? Теперь я спокойно жду смерти. Я знаю, что начатое мною дело не погибнет. Пусть половина города уплыла по Неве, но зароненная мною искра зажжет пожар. Мой первый опыт научит их осторожности, первая неудача только укрепит руку, несущую карающий меч.

И я закончу эти записки выражением твердой веры в грядущее торжество того дела, которому я служил всю свою жизнь, в конечное торжество справедливости.

Конец

МАШИНА ВРЕМЕНИ МИХАИЛА КОЗЫРЕВА

Известно, что в «деле» Александра Чаянова роковую роль сыграла одна из написанных им фантасмагорий. Не мудрствуя лукаво, следователи отождествили литературных персонажей с автором и его реальным жизненным окружением и выстроили таким образом обвинение в вооруженном заговоре против советской власти. Прием понравился — простотою употребления и безотказностью действия. И просуществовал лет тридцать пять, в последний раз, насколько мне известно, будучи использован в ходе суда над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем, «получившими» соответственно семь и пять каторжных лет за высказывания — и действия! — своих вымышленных героев.

Думаю, что повесть Михаила Козырева «Ленинград» (1925) сыграла подобную же роль в трагической судьбе автора. Прямых указаний на этот счет нет, но хранящиеся в «деле» Козырева отрывки из доносов, послуживших поводом к его аресту в июле 1941 года, с которыми недавно смог познакомиться племянник писателя, поэт Владимир Соколов, подтверждают это предположение. К тому же повесть, хоть и неопубликованная, отнюдь не была неведомой современникам.

Михаил Яковлевич Козырев родился в 1892 году в Лихославле. Окончил Петербургский политехнический институт. Семнадцатилетним дебютировал в печати — стихами. И до 1916 года считал поэзию своим призванием. Высшим достижением, по его воспоминаниям, был отзыв знаменитого В. П. Буренина, назвавшего козыревские стихи «образчиком явной бессмыслицы». Окончательно перешел на прозу в 1921 году. И со следующего года стал печататься весьма интенсивно, если не сказать бурно: бывали годы, когда он выпускал подряд четыре, пять, а в 1927-м — целых восемь книжек: от «солидных», в семь-восемь авторских листов, до тоненьких, в несколько рассказов, приложений к журналам «Смехач», «Бегемот», «Огонек». Заметный успех имели его «авантюрные повести» — «Мистер Бридж» и «Неуловимый враг», а также роман «Подземные воды», выпущенный в 1928 году дольше всех просуществовавшим кооперативным издательством «Никитинские Субботники». (Благодаря Евдоксии Федоровне Никитиной, вдохновительнице издательства и одноименных литературных вечеров-чтений, сохранилась небольшая часть архива Козырева, где, среди прочего, — один из нескольких дошедших до нас экземпляров «Ленинграда».)

Взгляды Козырева на происходящее в послереволюционные годы были в творчестве его явлены недвусмысленно, что дало основание написать о нем в томе Литературной энциклопедии (1931) следующее: «В поисках стиля Козырев неизменно тяготеет к приемам Гоголя, Щедрина, отчасти Гофмана. В советской литературе Козырев по социальной направленности примыкает к правому крылу писателей-попутчиков, не обнаруживая сдвигов в сторону революции и явно перерастая в писателя буржуазного. Сплошной «идиотизм» деревни, сплошной бюрократизм в городе, управляемом чиновниками типа щедринских персонажей, издевательский показ явлений новой советской общественности — таков общий фон сатиры Козырева. Не случайно участие Козырева в необуржуазном журнале «Новая Россия» (1926)». (Замечу, что в журнале этом, к концу двадцатых годов благополучно удушенном, одновременно с Козыревым редактор Исай Лежнев печатал таких, например, писателей, как Михаил Булгаков и Сигизмунд Кржижановский.)

«Ленинград» написан Козыревым, можно сказать, по горячим следам переименования Петербурга-Петрограда. Можно, конечно, удивляться, что уже в ту раннюю пору, одновременно с окончательным захватом власти Сталиным, писателю с такой сухой, даже несколько схематической точностью открылось будущее. Но по мере того, как восстанавливается истинная история нашей литературы, поводов для такого удивления остается все меньше. Ведь картины эти — каждый по-своему, но с равною отчетливостью — видели и Евгений Замятин, и Андрей Платонов, и Михаил Булгаков, и Сигизмунд Кржижановский, и Константин Вагинов, и Александр Введенский...

Кстати, замятинский роман «Мы» Козырев читал (сообщено А. Ю. Галушкиным). Его повесть, пожалуй, всего ближе к этой книге, но и совсем другая. Поучительной, судя по всему, оказалась для него и судьба автора «Мы», вынужденного покинуть Россию. Не потому ли Козырев поначалу и не пытался издать «Ленинград»? Ну, а потом это стало и вовсе невозможно, не говоря уже о смертельной — не метафорически — опасности такой попытки. Он не был по своей природе самоубийцей. Однако дар художника определяет его судьбу — особенно в эпохи тщательно контролируемого единомыслия и единодушия. Шансов уцелеть у Козырева было немного. То, что он был арестован вскоре после своего доброго знакомого Михаила Левидова, автора отличной книги о Свифте, и погиб почти одновременно с ним, в 1942-м, и там же — в Саратовской тюрьме — конечно, совпадение, но оно не кажется случайным. Новая действительность не выдерживала испытания свифтианой. И мстила за это.

Вдову Козырева поэтессу Аду Владимирову не без труда удалось в пятидесятых годах уговорить заняться реабилитацией мужа. Пережив кошмары тридцатых — сороковых годов и чудом не погибнув в той мясорубке, она боялась. И все же получила справку — с ложной, как теперь выяснилось, датой смерти: декабрь 1941. На попытки переиздать книги Козырева ее уже не хватило: кто возьмет на себя моральную храбрость ее в том винить?

Надеюсь, публикация «Ленинграда» пробьет наконец брешь в пелене забвения, окутывающей имя замечательного писателя.

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР

И масличное растение, и часы —
двойная польза. Задумка 1643 года

Арсений ТАРКОВСКИЙ

Арсений ТАРКОВСКИЙ (1907—1989), выдающийся русский поэт и переводчик. Первая книга его стихов вышла лишь в 1962 году, относительно полное «Избранное» — в 1982-м.

Вещи

Все меньше тех вещей, среди которых
Я в детстве жил, на свете остается.
Где лампы-«молнии»? Где черный порох?
Где черная вода со дна колодца?

Где «Остров мертвых» в декадентской раме?
Где плюшевые красные диваны?
Где фотографии мужчин с усами?
Где тростниковые аэропланы?

Где Надсона чахоточный трехдольник,
Визитки на красавцах адвокатах,
Пахучие калоши «Треугольник»
И страусова нега плеч покатых?

Где кудри символистов полупьяных?
Где рослых футуристов затрапезы?
Где лозунги на липах и каштанах,
Бандитов сумасшедшие обрезы?

Где твердый знак и буква «ять»
с «фитою»?
Одно ушло, другое изменилось,
И что не отделялось запятою,
То запятой и смертью отделилось.

Я сделал для грядущего так мало,
Но только по грядущему тоскую
И не желаю начинать сначала:
Быть может, я работал не впустую.

А где у новых спутников порука,
Что мне принадлежат они по праву?
Я посягаю на игрушки внука,
Хлеб правнука, праправнукову славу.

Манекен

В мастерской живописца сидит манекен
Деревянный, суставчатый, весь на шарнирах,
Откровенный, как правда, в зияющих дырах
На местах сочленений локтей и колен.

Пахнет пылью и тленом, пахнёт скипидаром,
Живописец уже натянул полотно.
Кем ты станешь, натурщик? Не все ли равно,
Если ты неживой и позируешь даром.

Ах, не все ли равно. Подмалевок лилов,
Черный контур клубится под кистью шершавой.
Кисть в союзе с кредитками, краска со славой.
Нет для смежных искусств у поэзии слов.

Кто хозяин твой? Гений? Бездарность? Халтурщик?
Я молве-клеветнице его не предам,
Потому что из глины был создан Адам.
Ты — подобье Адама, бесплатный натурщик.

Кто я сам, если плачут и ходят окрест
На шарнирах и в дырах пространство и время,
Многозвездный венец возлагают на темя
И на слабые плечи пророческий крест?

Лазурный луч

Тогда я запер на замок
двери своего дома
и ушел вместе с другими.
Г. Уэллс

Сам не знаю, что со мною:
И последыш, и пророк,
Что ни сбудется с землею,
Вижу вдоль и поперек.

Кто у мачехи Европы
Молока не воровал?
Мотоциклы, как циклопы,
Заглотали перевал,

Шелестящие машины
Держат путь на океан,
И горячий дух резины
Дышит в пеших горожан.

Слесаря, портные, прачки
По шоссе, как муравьи,
Катят каторжные тачки,
Волокут узлы свои.

Потеряла мать ребенка,
Воздух ловит рыбьим ртом,
А из рук торчит пеленка
И бутылка с молоком.

Паралитик на коляске
Боком валится в кювет,
Бельма вылезли из маски,
Никому и дела нет.

Спотыкается священник
И бормочет:
— Умер Бог,—
Голубки бумажных денег
Вылетают из-под ног.

К пристаням нельзя пробиться,
И Европа пред собой
Смотрит, как самоубийца,
Не мигая, на прибой.

В океане по колена,
Белый и большой, как бык,
У причала роет пену,
Накренясь, «трансатлантик».

А еще одно мгновенье—
И от Страшного суда,
Как надежда на спасенье,
Он отвалит навсегда.

По сто раз на дню, как брата,
Распинали вы меня,
Нет вам к прошлому возврата,
Вам подземка не броня.

— Ууу-ла! Ууу-ла!—
марсиане
Воют на краю Земли,
И лазурный луч в тумане
Их треножники зажгли.

Мщение Ахилла

Фиолетовой от зноя,
Остывающей рукой
Рану смертную потрогал
Умирающий Патрокл,

И последнее, что слышал,—
Запредельный вой тетив,
И последнее, что видел,—
Пальцы склеивает кровь.

Мертв лежит он в чистом поле,
И Ахилл не пьет, не ест,
И пока ломает руки,
Щит кует ему Гефест.

Пожалел Ахилл Приама,
И несет старик Приам
Мимо дома, мимо храма
Жертву мстительным богам.

Не Ахилл разрушит Трою,
И его лучистый щит
Справедливою рукою
Новый мститель сокрушит.

И еще на город ляжет
Семь пластов сухой земли,
И стоит Ахилл по плечи
В щебне, прахе и золе.

Так не дай пролить мне крови,
Чистой, грешной, дорогой,
Чтобы клейкой красной глины
В смертный час не мять рукой.

Геннадий ПРАШКЕВИЧ

Геннадий ПРАШКЕВИЧ (1941). Пишет стихи, фантастическую и иную прозу, критические статьи. Окончил Томский университет, живет в Новосибирске. Выпустил около десяти книг.

Родина

У нас одна родина,
но для каждого
она своя,
как не бывает одинаковой для трех братьев
их единственная сестра.

У нас одна родина,
но для каждого
она своя,
как не бывает одинаковым для трех сестер
их единственный брат.

И не надо сочувствовать, бить ногами,
убеждать,
истекать желчью.
Достаточно помнить о том,
что одна и та же родина
совсем не одна и та же
для каждого из нас
и для всех вместе.

Евгений РЕЙН

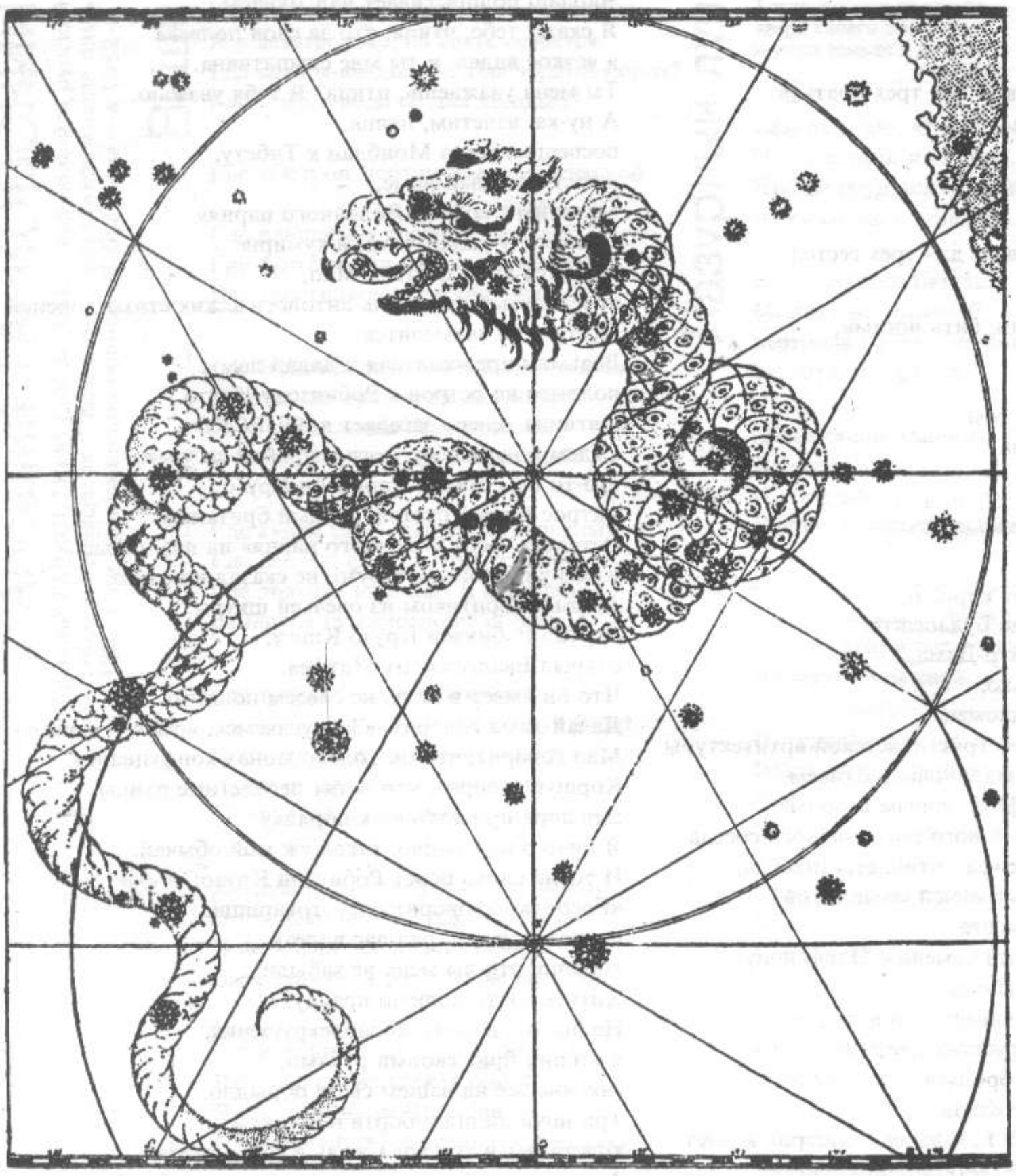
Евгений РЕЙН (1935), поэт и сценарист, по образованию инженер. Первые его стихи опубликованы в 1962 году; многие годы зарабатывал на жизнь сценариями для короткометражных фильмов. Автор сценария фильма «Чукоккала». Сейчас вышли три его книги. Член ПЕН-клуба.

Коршун на балконе

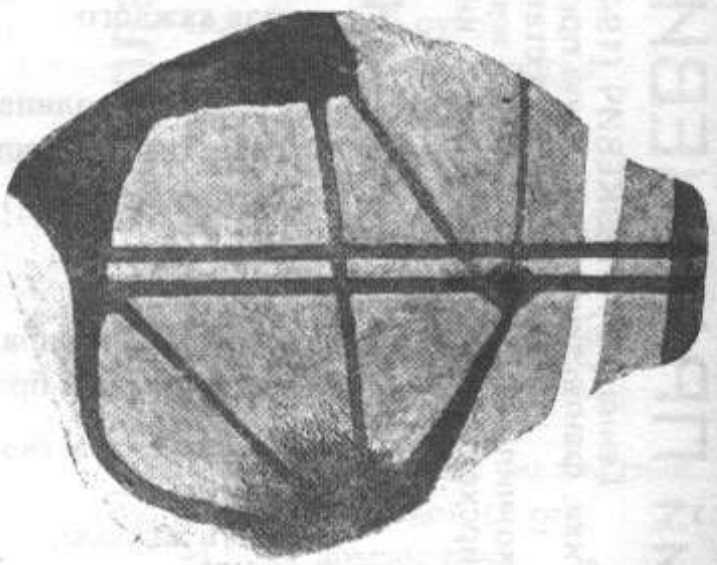
У меня на балконе сидит коршун.
Происходит это в городе Будапеште.
Он похож на химеру Нотр-Дама,
он помаргивает хитренько,
как всякий недавний знакомец.
Восемнадцатый этаж конструктивистской архитектуры
над голубым серо-буро-малиновым Дунаем.
Что он видит своим бифокулярным взором?
Лоскуты Европы, бесконечного пограничного соседа,
бакенбарды Франца-Иосифа, штиблеты Швейка,
товарища Чаушеску за утренней мамалыгой?
Далее Афины, суета корысти,
грузовики подвозят битый камень к Парфенону,
танкеры громоздятся в Пирее.
И тогда коршун поворачивает головенку —
Венский лес подметает русский дворник:
эмигрант, рифмоплет и бродяга.
Все еще тужатся заводы Круппа,
кислотой и щелочью «И. Г. Фарбениндустри» воняет.
Коршун вглядывается чуть-чуть напряженней,
переводит нониус своего прицела —
знаменитая стена перетягивает брюхо Берлина,
на Бранденбургских воротах уселся приезжий безумец:
его приветливо стаскивает пожарная команда.
В железобетонных загонах — танки, танки и танки,
разомлела броня, на башне курит водитель,
дальше гляди, коршун, за Рейн, за Мозель:
венозной кровью набухли тюльпаны,
социалисты венчают Маркса с лягушкой.
В Лондоне уже закат разбросал мазочки,
виден Тауэр — фиолетовый, как пах импрессиониста.
У Гибралтара часовой стирает пот пилоткой хаки,
далее — халифаты, погрязшие в долгах и братоубийстве.
А ну-ка, поверни голову, птица.
Это — Москва, сумрачный полдень.
В ГУМе выбросили талоны на свекловицу,
Евтушенко в рубахе из флага конфедератов,
желтоглазый Кинто выглядывает из-за мавзолея,
глупая американка углубилась в японский видоискатель,
что она видит, что она понимает?
А ты, будапештская птица?
Выпьем, птица, водки венгерской,
именуемой «Яблочный парень».
Шестьдесят градусов — таков самогон мадьяра.
Пей, птица, нальем по второй и третьей,
отлакируем мюнхенским пивом.
Чардаш подпрыгивает над Дунаем.
Я скажу тебе, птица, что за свои полвека
я всякое видел, и ты мне симпатична.
Ты меня уважаешь, птица? Я тебя уважаю.
А ну-ка, взлетим, птица,
поспешим через Монблан к Тибету,
в гости к далай-ламе,
захватим с собой «Яблочного парня».
Говорят, у далай-ламы в кумирне
прячется председатель Мао,
пресловутый слагатель антологических стихотворений.
Пусть и он захмелится.
Возьмем председателя и далай-ламу,
полетим на остров к Робинзону Крузо.
Пятница теперь заседает в ЮНЕСКО.
Сядем под пальму, ноги в прибой засунем,
что-то нам скажет Робинзон Крузо,
матрос первой статьи, гордый британец.
Осталось ему «Яблочного парня» на два пальца.
Крякнул Робинзон Крузо, не сказал ни слова.
Закрылся зонтиком из овечьей шкуры.
Достал Робинзон Крузо Книгу,
открыл Евангелие от Матфея.
Что он имеет в виду, не совсем понятно.
Далай-лама говорит: «Закругляемся, время — деньги».
Мао говорит, что он только монах-конфуцианец.
Коршун говорит, что летят перелетные птицы,
ему пора призвать их к порядку.
Я ничего не говорю, таков уж мой обычай.
И тогда слово берет Робинзон Крузо.
«Господа,— говорит он,— товарищи,
пернатые люди, рад вас видеть,
хорошо, что вы меня не забыли.
Хотите знать полную правду?
Не было никакого кораблекрушения,
я утопил бриг своими руками,
так мне все на вашем свете обрыдло.
Три ночи пилил я борта ножовкой,
триста лет и три года живу я среди океана.
А вы что сделали за это время?»
«Страшно глянуть,— заметил коршун,—
очи бы мои орлиные не глядели».
«Я хотел только одного,— заметил Мао,—
все оставить на своем месте».
«Не ври,— одернул его далай-лама,—
не лги, конфуцианская морда,
хотел ты совсем другого».
«Теперь-то я и сам это вижу»,—
и потупился председатель Мао.
«Как же быть,— говорю я,— отвечайте,
вы, светочи мира, и ты, хищная птица?»
Молчание, молчание, лишь шелестит пальма
и шепелявит волна, по песку растекаясь.
И тогда крикнул коршун: «Ребята, по последней!»
И достал заначку откуда-то из-под брюха.
«Мне пора в Будапешт. У меня деловая встреча.
Меня обещали с ласточкой познакомить».
«Вот-вот,— закричал далай-лама,—
всегда спешка, потому-то все так и получилось,
только у Робинзона было время».
«А у меня,— крикнул коршун,—
я спешу впервые из-за ласточки, ей-богу,
Мы, коршуны, джентльмены неба».
«Лети-лети,— проворчал далай-лама,—
да и нам пора собираться».

1987

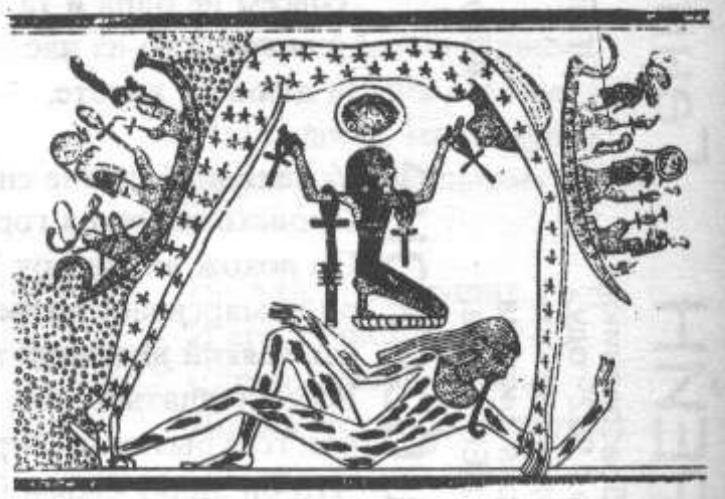
1



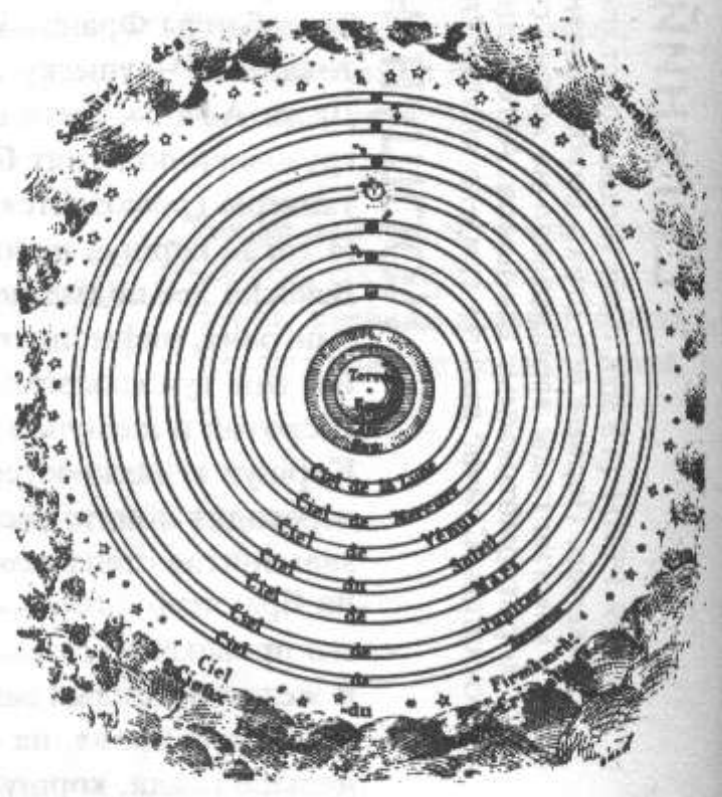
2



3



4



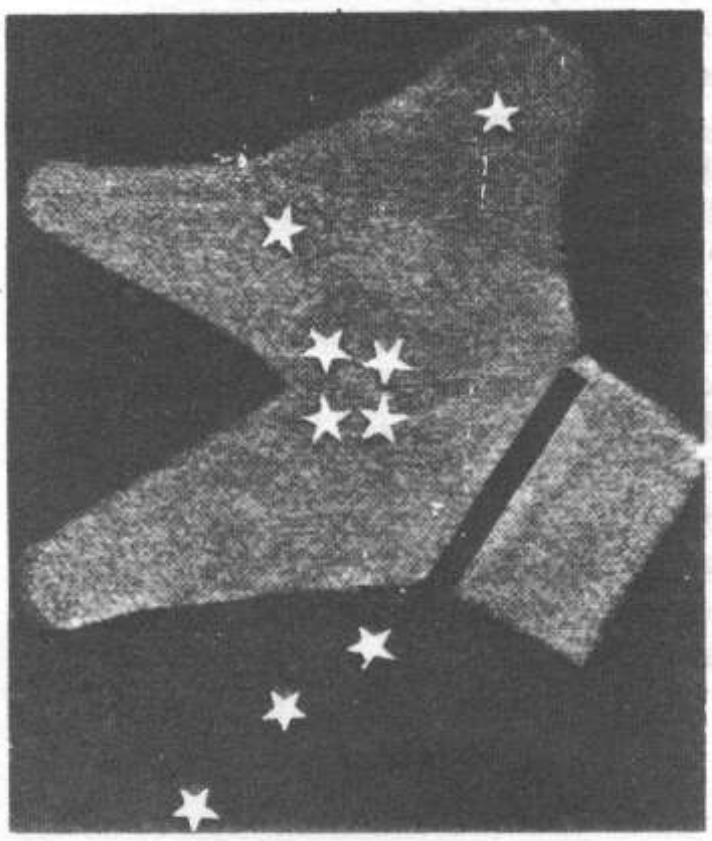
5

6

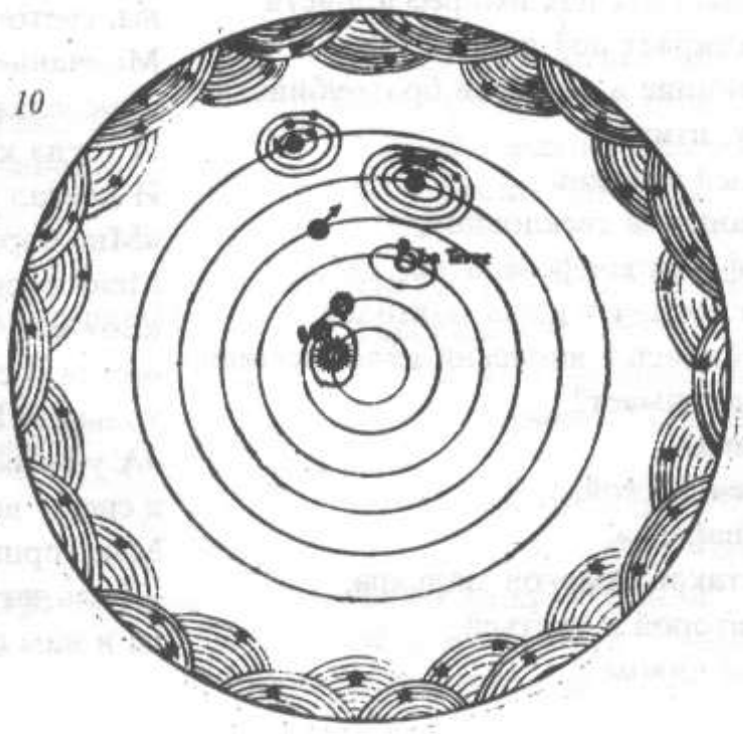
7

8

9



10



11

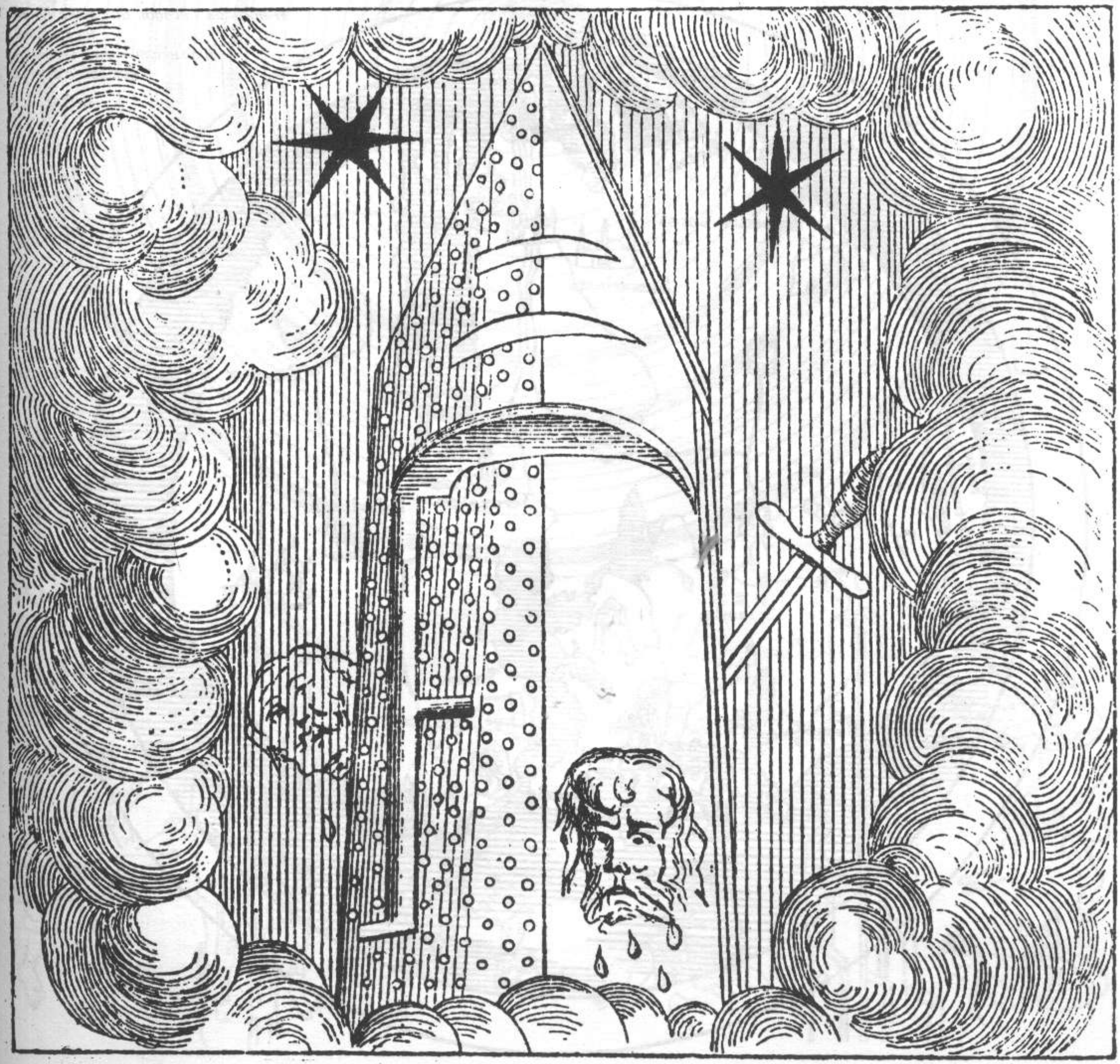
12

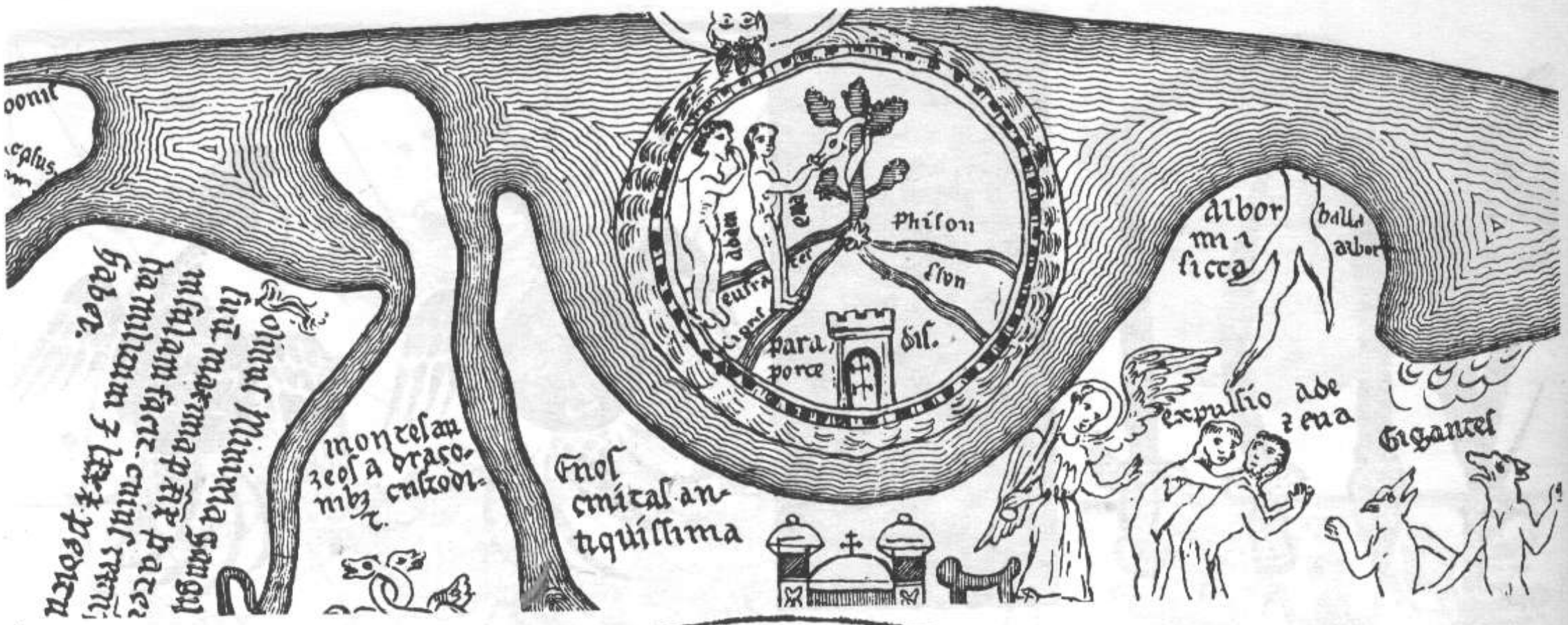
Из бескрайней тьмы
возник свет
почему он возник?
Силы Инь и Ян,
соединившись, дали
начало жизни
что породило их
и как они возникли?
Девять слоев имеет
небесный свод
кто их создал?
Кто мог быть
первым строителем
этого
величественного
сооружения?

Цюй Юа́нь
Вопросы к небу

13

14





1

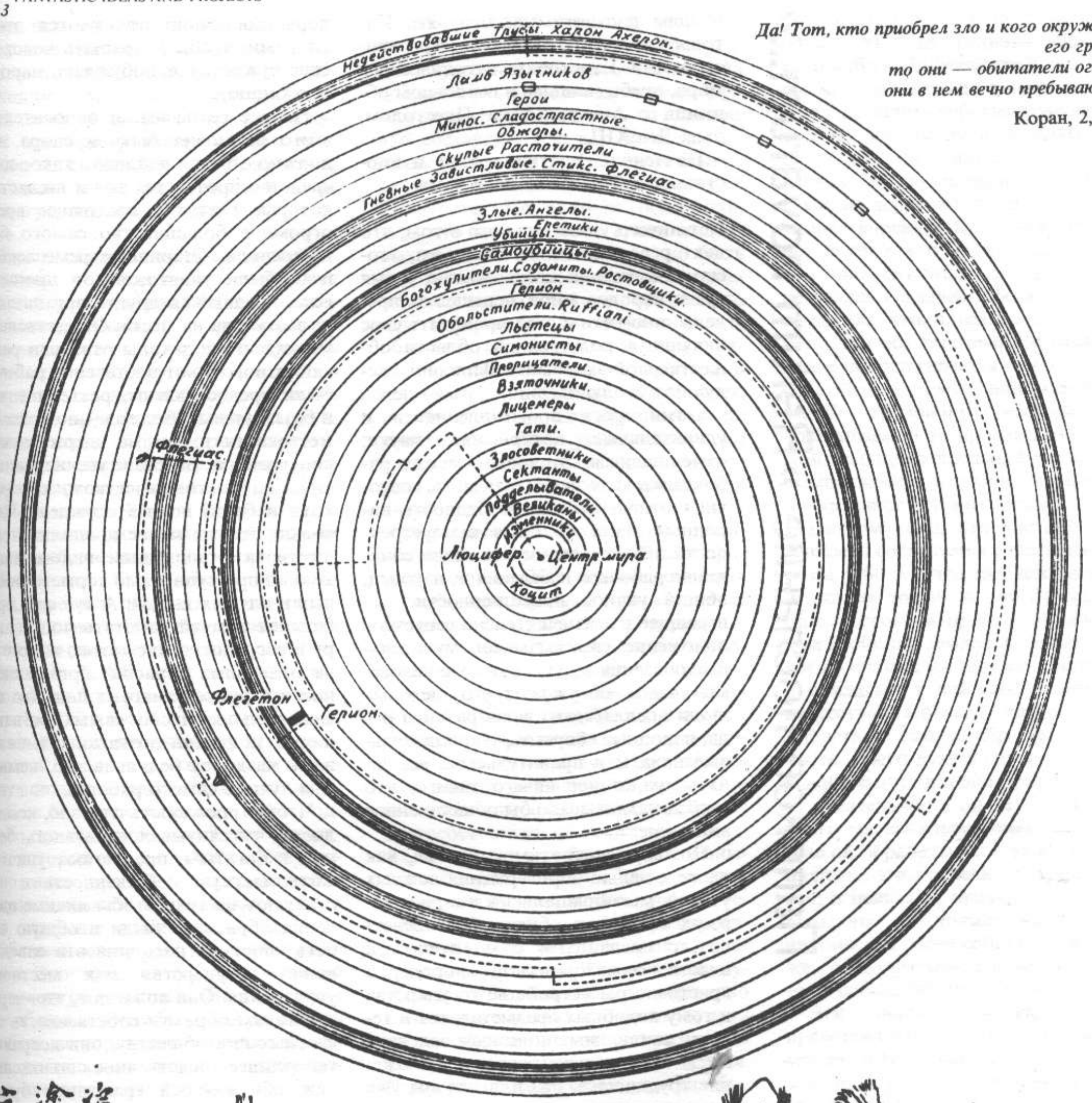
И насадил Господь Бог рай в Едеме
на востоке,
и поместил там человека,
которого создал.

Бытие, 2, 8

2

Да! Тот, кто приобрел зло и кого окружил его грех,
то они — обитатели огня,
они в нем вечно пребывают.

Коран, 2, 75



Папское послание «Rerum novarum...»

Нашим досточтимым Братьям, Патриархам, Митрополитам, Архиепископам и Епископам католического мира, пребывающим в церковном общении с Апостольским Престолом, папа Лев XIII.

Почтенной Братии привет и апостольское благословение.

Нет ничего удивительного в том, что дух революционных перемен, господствовавший столь долгое время среди народов мира, перешел за пределы политики и стал проявлять свое влияние в родственной области общественной экономики. Причины, ведущие к столкновению,— у всех перед глазами: рост промышленности и удивительные открытия науки; изменившиеся отношения между рабочими и хозяевами; огромные состояния отдельных лиц и бедность народных масс; бóльшая самоуверенность и более тесное взаимное сближение рабочего населения и, наконец, общий упадок нравственности. Теперешнее в высшей степени серьезное положение уже вызывает мучительные опасения в душе каждого человека, ученые обсуждают его, деловые люди предлагают планы разного рода; народные сборища, законодательные палаты и правительства, все заняты им, и нет ничего такого, что глубже захватывало бы общественное внимание.

Потому, досточтимые братья, как ранее, с целью опровержения ложных учений, мы обращались к вам, в интересах Церкви и общего благоде́нствия, с посланиями о политической власти, о человеческой свободе, о христианском устройстве государства и тому подобных предметах, так и теперь сочли мы полезным сделать предметом нашего послания положение трудящихся. Раз или два мы уже касались этого предмета; но в настоящем послании, побуждаемые долгом апостольского служения, мы подвергаем этот вопрос открытому и всестороннему обсуждению, дабы не могло быть сомнения относительно тех начал, которые должны лечь в основу его решения согласно с истиной и справедливостью. Обсуждение это — дело не легкое, не лишено оно и известной опасности. Не легко определить относительные права и взаимные обязанности богатых и бедных, капиталистов и рабочих. А опасность заключается в том, что ловкие агитаторы постоянно пользуются этими спорами, чтобы извращать человеческие суждения и побуждать народ к восстанию.

Но все согласны, и относительно этого не может быть и спора, что должно быть найдено какое-либо средство против тех зол и несчастий, которые гнетут в настоящее время огромное большинство самого бедного люда. Старинные ремесленные цехи были уничтожены в прошлом веке, но никакая другая организация не заступила их места. Общественные учреждения и законы отвергли религию отцов. И вот постепенно рабочие были предоставлены, разъединенные и беззащитные, бессердечию хозяев и жестокости ничем не сдерживаемой конкуренции. Бедствие увеличивалось хищным ростовщичеством, которое, хотя и было не раз осуждено Церковью, тем не менее продолжает существовать под иным видом, но с тою же преступностью корыстолюбивых и алчных людей. А тут еще прибавился обычай работать по договору и сосредоточение такого множества отдельных отраслей промышленности в руках немногих лиц, что незначительное число самых богатых людей получили возможность наложить на массу бедняков иго, немногим лучшее самого рабства.

Чтобы преодолеть это зло, социалисты, рассчитывая на зависть бедных к богатым, предлагают уничтожить частную собственность и настаивают на том, чтобы личные владения обращены были в общую собственность и находились в заведовании государства или местного управления. Они полагают, что, передав таким образом собственность от частных лиц обществу, они исправят теперешнее бедственное положение дел, ибо каждый гражданин будет иметь тогда свою долю во всем, что может ему потребоваться. Однако их предложения явно настолько непригодны для осуществления, что если бы они были выполнены, то рабочие первые пострадали бы от них. Сверх того, эти предложения в высшей степени несправедливы, ибо, следуя им, пришлось бы ограбить законных владельцев, ввести государство в непринадлежащую ему область и причинить полное расстройство общественной жизни.

Никоим образом нельзя отрицать того, что когда человек бывает занят вознаграждающим трудом, то самой целью и побуждением к его работе бывает приобретение собственности и исключительное владение ею. Если

Папские послания принято обозначать первыми двумя или тремя словами, которыми начинается латинский текст энциклики.

Печатается по изданию:
«Папские послания
Льва XIII, Пия XI и Пия XII
о положении трудящихся»
(на русском языке). Рим, 1942

один человек отдает другому свою силу или умение, то он делает это с целью получить в возврат то, что необходимо ему для поддержания жизни; он явно предполагает таким путем приобрести полное и законное право не только на вознаграждение, но также и на распоряжение этим вознаграждением по своему усмотрению.

Таким образом, если он живет бережливо, копит деньги и помещает свои сбережения, ради большего обеспечения, в землю, то эта земля, в таком случае, будет представлять лишь его заработную плату в другой форме и, следовательно, маленькое владение трудящегося человека, купленное таким образом, должно находиться в столь же полном его распоряжении, как плата, которую он получает за свой труд. Ведь именно в этой власти распоряжения и состоит право собственности на землю или на движимость. Стало быть, социалисты, стремясь передать владения отдельных лиц обществу, посягают на интересы людей, живущих заработной платой, ибо они лишают этих людей свободы распоряжаться своей заработной платой и, таким образом, отнимают у них надежду и возможность увеличить свой капитал и улучшить свои жизненные условия.

Еще большую важность имеет, однако, то обстоятельство, что средство, которое они предлагают, безусловно идет вразрез с требованиями справедливости. Ибо каждый человек от природы имеет право владеть собственностью, как принадлежащей ему. Это одно из главных отличий человека от животных. Ибо животное не обладает способностью управлять собою, но управляется двумя главными инстинктами, которые удерживают настороже его чувства, побуждают пользоваться своею силою и склоняют к известным поступкам, устраняя возможность выбора. Инстинкты эти суть самосохранение и сохранение вида. Оба они могут достигать своей цели при помощи средств, имеющихся тут же; животное не может выйти за пределы окружающего, ибо оно побуждается к действию лишь своими ощущениями и теми предметами, которые воспринимаются его чувствами. Иное дело человек. Он обладает, с одной стороны, полным совершенством животной природы и потому пользуется по меньшей мере столько же, как и остальной животный мир, различными органами своего тела. Но животная природа, как бы она ни была совершенна, далека от того, чтобы составлять всю суть человека, и является на деле смиренной служанкой его человечности, она должна быть у нее в подчинении. Дух или разум — вот что есть то главное, что составляет нас как человеческих существ, вот что делает человечным и отличает его вполне и по существу от животного. На этом-то основании, т. е. что один человек среди животных обладает разумом, должно быть признано его правом обладание предметами не только для временного или минутного употребления, как обладают ими другие живые существа, но также обладание прочное и постоянное; он должен обладать не только теми предметами, которые уничтожаются при употреблении, но также предметами, которые, будучи употребляемы, остаются пригодными для пользования в будущем.

Это станет еще более ясным, если мы вникнем несколько глубже в природу человека. Ибо человек, обнимая способностью разума неисчислимые предметы и связывая будущее с настоящим,— будучи сверх того властелином своих поступков,— руководится предусмотрительностью, ведая вечный закон и силу Бога, промысел Которого управляет всем существующим. Потому он властен направлять свой выбор не только на предметы, имеющие отношение к теперешнему благосостоянию, но также на предметы, которые могут быть ему полезными в будущем. Стало быть, человек может владеть не только плодами земли, но и самой землей, ибо из произведений земли он может делать запасы для будущего. Человеческие нужды никогда не исчезают совершенно и постоянно возникают вновь; будучи удовлетворены сегодня, завтра они требуют нового удовлетворения. Природа, следовательно, должна была заготовить для человека запас, из которого он мог бы постоянно удовлетворять свои повседневные нужды. И этим запасом является именно неистощимое плодородие земли.

И нет оснований возлагать эту предусмотрительную заботу о будущем на государство. Человек древнее государства и потому должен был, в силу самой природы своей, иметь право на сохранение и обеспечение своей телесной жизни раньше образования какого-либо государства. Сказать же, что Бог дал землю человеческому роду вообще, не значит отрицать частную собственность. Ибо сказано, что Бог дал землю человеческому роду, отнюдь не в том смысле, что всякий без разбора может делать с ней все, что хочет, но в том смысле, что ни одна часть ее не предназначалась для кого-либо в особенности и что пределы частного владения предоставлено было назначить собственному человеческому промыслу и законам народов. Сверх того, земля, хотя и разделенная между частными собственниками, не перестает через это служить удовлетворению нужд каждого, ибо нет никого, кто не жил бы от того, что приносит земля. Люди, которые не владеют землей, доставляют свой труд; так что поистине можно сказать, что все человеческое существование поддерживается или трудом на собственной земле или какой-либо иною трудовою деятельностью, оплачиваемой то произведениями самой земли, то предметами, которые выменяваются на эти произведения.

Сказанное служит новым доказательством того, что частная собственность согласуется с законами природы. Ибо все, что требуется для поддержания жизни и для физического благосостояния, производится в великом изобилии землей, но лишь тогда, когда человек пускает ее в обработку и прилагает к ней свое попечение и искусство. Потому, когда человек прилагает таким образом деятельность своего духа и силы своего тела к добыванию плодов природы, через эту деятельность он делает своею ту часть материальной природы, которую он обрабатывал и на которую он наложил этим отпечаток своей личности; и нельзя не признать справедливым, что он должен владеть этой частью, как своей собственной, и должен пользоваться правом удерживать ее за собою без всякой тревоги.

Эти доводы столь очевидны, что представляется удивительным, как могли ожить некоторые устарелые мнения, противные вышеизложенному. Нам говорят, что частные лица по праву могут пользоваться землей и плодами ее, но что никто не должен иметь собственность на землю, на которой он воздвиг строения и которую он обработал. Но лица, утверждающие это, не замечают, что они отнимают у человека то, что производит его труд. Ибо земля, которая возделывается и засаживается руками человека, прилагавшего к ней труд и умение, до крайности изменяет свое состояние; ранее она была дикой, теперь стала плодоносной; ранее она была голой, а теперь приносит обильную жатву. То, что таким образом изменяет и улучшает ее, становится настолько частью этой земли, что в значительной мере не может быть от-

личено и отделено от нее. Разве справедливо, чтобы плодами тяжелых трудов одного человека пользовался другой? Как следствие относится к своей причине, так трудом достигнутое по справедливости принадлежит тому, кто трудится.

Потому общее мнение человечества, мало поддававшееся влиянию немногих лиц, поддерживавших противоположный взгляд, по праву находило в изучении природы и ее законах основание для закрепления за каждым его надела и практикою всех веков освящало принцип частной собственности, как преимущественно согласующийся с человеческою природою и ведущий самым верным путем к миру и спокойствию человеческой жизни. Тот же принцип утверждается и всемерно оберегается гражданскими законами, законами, которые получают свою обязательную силу, если они справедливы, от закона природы. Этому принципу придает свою санкцию также и авторитет божественного закона, которым запрещается в самых сильных выражениях даже пожелание того, что принадлежит другому: «Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, что есть у ближнего твоего» (Второзаконие. 5, 21).

Права, о которых идет речь, принадлежащие каждому отдельному человеку, вырисовываются с несравненно большей очевидностью, если их рассматривать с точки зрения общественных и семейных обязанностей людей.

Избирая род жизни, каждый человек, бесспорно, вполне волен или последовать совету Иисуса Христа относительно девства, или связать себя узами брака. Никакой человеческий закон не может отменить естественного и первобытного права на брачную жизнь или каким-либо путем ограничить главную и основную цель брака, от начала установленную Богом: «Плодитесь и размножайтесь» (Бытие. 1, 28). Таким образом получается семья, общество домашних человека, общество, правда, ограниченное в числе, но тем не менее истинное «общество», предшествующее какому бы то ни было государству или народу, со своими собственными правами и обязанностями, совершенно независимыми от государства.

Стало быть, право собственности, которое оказывалось естественно принадлежащим отдельным лицам, должно также принадлежать человеку, в качестве главы семейства; более того, каждое лицо должно обладать этим правом в размере, который увеличивается, понятно, соответственно тому, как растут его обязанности в зависимости от его положения. Ибо является самым святым законом природы, что отец должен доставлять пропитание и все необходимое для тех, кого он породил; подобным образом природа повелевает также, чтобы дети человека, которые как бы распространяют и продолжают его личность, получали от него все необходимое для того, чтобы иметь возможность с достоинством удерживать себя от нужды и нищеты при всех превратностях земной жизни. Но отец никаким другим путем не может осуществить этого иначе, как владея прибыльной собственностью, которую он может передавать своим детям в наследство. Семья не менее, чем государство, представляет собою, как мы сказали, истинное общество, управляемое собственною, а именно отцовскою, властью. Поэтому, не выходя за пределы целей, для которых существует, она имеет по меньшей мере равные с гражданским обществом права на изыскание и использование всего того, что необходимо для ее безопасного существования и справедливой свободы. Мы говорим, по меньшей мере равные права,— ибо семейный союз, по самому своему понятию, как и по историческому происхождению, первоначальнее союза гражданского, почему и права, с ним связанные, и обязанности, им налагаемые, древнее и сопряженнее человеку, нежели права и обязанности гражданские. Если бы отдельные граждане и их семьи, вступая в гражданское сообщество, встречали со стороны государственной власти помеху, вместо содействия, а их права находили бы противодействие, вместо защиты, то им следовало бы скорее избегать, нежели искать такого сообщества.

Потому та мысль, будто гражданское правительство должно по своему усмотрению ведать семейные дела и вмешиваться в домашнюю жизнь, есть великое и опасное заблуждение. Правда, если семья находится в крайне затруднительном положении, так что никоим образом не в состоянии сама себе помочь, то нужно признать справедливым, чтобы общество оказало ей необходимую поддержку; ибо каждая семья есть часть государства. Подобным же образом, если у домашнего очага происходит крупное нарушение взаимных прав, пусть государственная власть восстановит права каждого; ибо, поступая так, она не отнимает у граждан их прав, а со справедливостью и надлежащим образом оберегает их и утверждает. Но правители государства не должны заходить далее этого: природа повелевает остановиться тут. Отеческая власть не может быть ни отменена, ни поглощена государством, ибо она проистекает из того же источника, как и сама человеческая жизнь. «Дети суть нечто от отца» и являются как бы расширением его личности; точно выражаясь, дети занимают свое место в гражданском обществе не непосредственно сами собою, а в качестве членов того семейства, в котором они родились. Именно потому, что «дети — нечто от отца», они, по выражению св. Фомы Аквината, «находятся под властью и на попечении родителей до тех пор, пока не приобретут способности пользоваться свободной волей» (Summa, secunda secundae. X, 12). Следовательно, социалисты, отстраняя родителей и возлагая дело воспитания на государство, идут против естественной справедливости и разлагают семейную жизнь. И такое вмешательство государства было бы не только несправедливо, но повело бы также, без всякого сомнения, к смятению всех классов общества и обрекло бы их на гнусное и невыносимое рабство. Оно открыло бы дверь взаимной зависти, злословию и ссорам; источники благосостояния иссякли бы сами собою, ибо никто не имел бы интереса проявлять свои таланты или свое трудолюбие; и тот идеал равенства, о котором так много говорят, оказался бы в действительности низведением всех

до одного и того же состояния нищеты и бесчестия.

Таким образом, ясно, что главное основание социализма, общность имущества, должно быть всецело отвергнуто; ибо оно причинило бы вред тем лицам, которым должно бы, по расчету, оказывать благодеяния, стало бы в противоречие с природными правами людей и ввело бы смуту и беспорядок в государственную жизнь. Стало быть, стремясь облегчить положение народных масс, мы должны сделать своим первым и основным принципом ненарушимость частной собственности. Приняв это положение, мы можем уже сказать, где надо искать необходимое врачующее средство.

1. Церковь

Мы с уверенностью касаемся этого предмета и в силу принадлежащего Нам права. Ибо действительное решение рабочего вопроса никоим образом не может быть найдено без содействия религии и Церкви. Мы являемся главным охранителем религии и главным раздавателем духовных благ, исходящих от Церкви; Мы не можем молчать, пренебрегая таким образом возложенным на Нас долгом верховного пастырского служения. Без сомнения, этот столь важный вопрос требует также внимания и усилий других лиц, помимо Нас — правителей государств, хозяев, зажиточных людей и самого рабочего люда, дело которого Мы защищаем. Но Мы утверждаем без колебания, что все усилия людей будут тщетны, если мы оставим в стороне Церковь. Ибо Церковь провозглашает те евангельские учения, которые могут положить конец борьбе или, по меньшей мере, сделать ее менее жестокой; Церковь направляет свои усилия не только к тому, чтобы просветить ум, но также и к тому, чтобы при помощи своих предписаний руководить жизнью и поведением людей; Церковь улучшает и облегчает положение рабочего многочисленными полезными учреждениями, старается изо всех сил привлечь к сотрудничеству все классы общества для обсуждения и возможно лучшего удовлетворения требований рабочих; она утверждает, что для достижения этих целей необходимо обращаться, соблюдая должную меру и степень, к помощи закона и государственной власти.

Пусть все признают, во-первых, за правило, что человеческая природа должна оставаться такой, какова она есть. Невозможно привести все человеческое общество к одному уровню. Социалисты могут напрягать все свои силы, но тщетна будет всякая борьба с природою. Между людьми естественно существуют бесчисленные различия, и притом весьма глубокие; люди различаются способностями, прилежанием, здоровьем, силою, и из этого неравенства неизбежно вытекает неравенство образа жизни. Такое неравенство далеко не означает собой невыгоды для отдельных личностей или для государства; государственная и общественная жизнь может поддерживаться лишь при наличности способностей различного рода; для служения общему благу каждый находит побуждения в своих особенных дарованиях. Относительно телесного труда необходимо иметь в виду, что человек не был бы совершенно избавлен от него даже и в том случае, если бы он до сего времени не впал в тяжкий грех и пребывал в состоянии невинности; но что было бы тогда свободной усладой, то сделалось потом чем-то принудительным и стало тягостным искуплением греха. «Проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей» (Бытие. 3, 17). Подобным образом прочие труды и лишения не могут закончиться или прекратиться на нашей земле; ибо последствия жестоки и тяжки, они сопутствуют человеку во все продолжение его жизни. Страдать и терпеть есть, стало быть, участь человечества; как бы люди ни старались, но никакому усилию их, никакому искусству никогда не удастся совершенно избавить жизнь человеческую от гнетущих зол и тревог. И если есть люди, которые утверждают противное, которые обещают угнетенному люду освобождение от труда и тревог, покой и постоянное наслаждение, то они обманывают народ и обольщают его; их ложные обещания могут только ухудшить зло, сделать его еще более невыносимым, чем прежде. Лучше всего видеть мир таким, каков он есть, и в то же время искать облегчения с другой стороны.

В отношении рассматриваемого нами предмета многие впадают в великое заблуждение, полагая, что один класс общества естественно враждебен другому, что богатые и бедные предназначены природою жить в постоянной войне друг с другом. Так неразумен и ложен этот взгляд, что истина ему прямо противоположна. Как симметрия человеческого тела является результатом расположения членов тела, так в государстве установлено природою, чтобы эти два класса существовали в полном согласии и чтобы были, так сказать, приспособлены один к другому и поддерживали равновесие общественного целого. Каждый из них нуждается в другом; капитал не может обходиться без труда, и труд не может обойтись без капитала. Взаимное согласие рождает красоту во всем и порядок; а непрерывная борьба неизбежно разрешается смутой, расстройством и одичанием. И вот, в предупреждении такого рода борьбы и самой возможности ее, христианство проявляет дивную и многообразную силу. Прежде всего ничто не может оказать более могущественное действие, чем религия — которой Церковь есть истолковательница и хранительница, — в деле примирения богатых и бедных путем напоминания каждому классу его обязанностей в отношении другого, особенно обязанностей, налагаемых справедливостью. Так, религия учит сельских и городских рабочих честно и дружески выполнять все добровольно принятые на себя справедливые обязательства, никогда не вредить имуществу хозяина и не причинять обид его личности; никогда не прибегать к насилию для защиты своего дела и не заводить возмущений и беспорядков; не иметь никаких сношений с неблагонадежными людьми, которые влияют на народ коварными обещаниями и возбуждают бессмысленные надежды, обыкновенно приводящие к разорению и раскаянию, слишком позднему. Религия учит богатых людей и хозяев, что их рабочие не суть их рабы, что они должны уважать в каждом человеке его достоинство, как человека и хри-

стианина; что труд, если внимать голосу здравого смысла и христианской философии, не есть что-либо позорное, а есть почтенное занятие, дающее человеку возможность честно и прилично поддерживать свою жизнь; и что позорно и бесчеловечно обращаться с людьми как с собственностью, при помощи которой можно наживать деньги, или смотреть на них просто как на известное количество мускулов или физической силы. Затем, в своей заботе о душевных потребностях рабочего и его духовной и умственной пище христианство учит, что хозяин должен следить за тем, чтобы его рабочие имели время для отправления своих обязанностей благочестия; чтобы они не подвергались тлетворным влияниям и соблазнам, чтобы они не доходили до пренебрежения своими домами или семьями и не тратили безрассудно своей заработной платы. Затем, хозяин никогда не должен слишком обременять своих рабочих и употреблять их на работы, не свойственные их полу или возрасту. Его великою и основною обязанностью является давать каждому столько, сколько следует по справедливости. Без сомнения, многое должно быть принято во внимание при решении вопроса о том, какая заработная плата должна быть признана справедливой; но одного не должны забывать богатые люди и хозяева, что притеснять неимущего и нуждающегося, ради собственной выгоды, и пользоваться нуждою другого осуждается всеми законами — человеческими и божескими. Лишать кого-либо справедливой заработной платы есть преступление, вопиющее к отмщающему гневу неба. «Вот плата, удержанная вами у работников... вопиет, и вопли их дошли до слуха Господа» (Иаков. 5, 4). Наконец, богатые должны строжайше воздерживаться от урезывания заработка рабочего силою, обманом или хищническими деяниями, тем более что бедный человек слаб и беззащитен, и его малые средства заслуживают бережного внимания и уважения именно в силу их скудости.

Если бы только этим наставлениям все заботливо последовали, то разве не кончилась бы, не прекратилась бы борьба?

Но Церковь, которой Учитель и Руководитель есть Сам Иисус Христос, имеет в виду еще более высокую цель. Она дает наставления, еще более совершенные, и стремится установить между всеми классами общества дружелюбные отношения и доброе согласие. Земное не может быть понято или правильно оценено без внимания к жизни, долженствующей наступить, к жизни, которая будет продолжаться вечно. Оставьте в стороне мысль о будущей жизни, и неминуемо исчезнет самое понятие о благе и справедливости; более того, вся стройность мироздания превратится в темную и непроницаемую тайну. Покончив теперешнюю жизнь, мы в сущности лишь начинаем нашу жизнь: эта великая истина, внушаемая нам самою природою, является христианским догматом, лежащим в основе всей религии. Бог создал нас не для тленного и преходящего на земле, но для небесного и вечного; Он назначил нам этот мир как место изгнания, а не как наше истинное отечество. Деньги и все прочее, что люди признают хорошим и желательным, мы можем иметь в изобилии, можем и вовсе не иметь их; обладание ими не имеет значения для вечной жизни; важно лишь пользоваться ими подобающим, надлежащим образом. Иисус Христос, Который искупил нас дорогою ценою, не избавил нас от трудов и скорбей, которые составляют столь значительную часть нашей жизни. Он преобразил их в побуждения к добродетели и в подходящие случаи для приобретения Его заслуг; и ни один человек не может надеяться на вечную награду до тех пор, пока он не пойдет по окровавленному следу своего Спасителя. «Если мы терпим с Ним, то с Ним и царствовать будем» (II Тимоф. 2, 12). Его труды и Его страдания, принятые Им на себя добровольно, чудесным образом облегчили всякое страдание и всякий труд. И не только Своим примером, но Своею благодатью и надеждой на вечную награду Он сделал труд и горе более легкими для перенесения, «ибо кратковременное и легкое страдание наше производит для нас в безмерном преизбытке вечную славу» (II Кор. 4, 17).

Потому люди, которым благоприятствует счастие, не должны забывать, что богатство не обеспечивает от страдания и не способствует, но скорее препятствует достижению вечного блаженства: трепетать должны богачи пред грозными словами Иисуса Христа, столь необычайными в устах Господа нашего: «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение; горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчете» (Лука. 6, 24—25). И самый точный ответ должен быть дан Высшему Судии во всем, чем мы владеем. Самым главным и самым надежным правилом для надлежащего пользования деньгами является то, на которое уже указывали древние философы и которое было установлено с полною ясностью Церковью; благодаря Церкви это правило не только стало общеизвестным, но и запечатлелось на всей жизни людей. Оно опирается на тот принцип, что иметь право на владение деньгами есть одно дело, а иметь право на пользование деньгами по своему усмотрению — другое. Частная собственность, как мы видели, есть природное право человека, и пользующиеся этим правом, особенно в качестве членов общества, поступают законно и в силу безусловной необходимости. «Законно, говорит св. Фома Аквинат, для человека владеть частной собственностью; и это необходимо в то же время для поддержания человеческой жизни» (Summa, secunda secundae. Вопр. 66, ст. 2). Но на вопрос, как до́лжно пользоваться своим имуществом, Церковь без колебания отвечает словами того же святого богослова: «Человек должен смотреть на свои внешние владения не как на принадлежащие ему, но как на общие блага всех, и беспрепятственно делиться ими со всеми, кто в них нуждается. Потому говорит Апостол: богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они... благодетельствовали... были щедры и общительны» (там же). Правда, никто не обязан распределять между другими то, что требуется для удовлетворения его необходимых нужд и нужд его домашних; никто не обязан также отдавать другим то, что может потребоваться ввиду его общественного положения, которым «никто не должен пренебрегать» (Св. Фома, там же, вопр. 32, ст. 6). Но когда кто-либо покрыл указанные расходы, становится его долгом давать неимущим из того, что осталось. «Подавайте милостыню из того, что у вас есть» (Лука. 11, 41). Это есть долг не справедливости — если исключить случаи крайней нужды ближнего,— а христианской любви, долг, который не вынуждается человеческими законами. Но законы и суждения людей должны уступать место законам и суждениям Христа, истинного Бога, Который многообразно побуждает людей к подвигам милосердия: «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деяния. 20, 35); Который будет признавать милосердие, оказанное или не оказанное нуждающемуся, за оказанное или не оказанное Ему Самому: «Так как вы сделали это одному из сих братьев

Моих меньших, то сделали Мне» (Матф. 25, 40). Таким образом, подводя итог сказанному, всякий, кто получил от божественной благости значительную долю даров, внешних, телесных или душевных, получил их для того, чтобы пользоваться ими на усовершенствование самого себя и в то же время, чтобы употреблять их, содействуя Божественному Провидению, на благо другим. «Тот, у кого есть талант, пусть покажет, что он не скрывает его; тот, у кого есть изобилие имущества, пусть побуждает себя к милосердию и великодушию; тот, кто обладает искусством каким-либо, пусть стремится от всей души делиться со своим ближним выгодами от него» (Св. Григорий Вел., Толк. Еванг. IX, 7).

Неимущих Церковь учит, что в глазах Божиих бедность не есть бесчестие и что нет ничего позорного в снискании себе пропитания физическим трудом. Это подтверждается тем, что мы видим на примере самого Иисуса Христа, Который «будучи богат, обнищал ради нас» (II Кор. 8, 9) и Который, будучи Сыном Божиим и Богом Самим, восхотел казаться и считаться сыном плотника, и более того, не пренебрег провести большую часть Своей жизни, Сам занимаясь плотничеством. «Не плотник ли Он, сын Марии?» (Марк. 6, 3). Созерцая этот божественный пример, легко понять, что истинное достоинство и превосходство человека заключается в нравственных качествах, то есть в добродетели; что добродетель есть общее наследие каждого, равно доступное для высокопоставленного и незнатного, богатого и бедного, и что добродетель, только добродетель, в чем бы она ни заключалась, вознаграждена будет вечным блаженством. Более того, Сам Бог, видимо, по преимуществу склоняется к тем, кто терпит, ибо Иисус Христос называет бедных блаженными (Матф. 5, 3). Он с любовью зовет пребывающих в труде и горе идти к Нему за утешением. «Прийдите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Я успокою вас» (Матф. 11, 28). И Он выказывает самое нежное участие к униженным и угнетенным. Эти размышления не могут не сдержать гордости благоденствующих и не поднять дух опечаленных, не могут не склонить первых к великодушию, а последних к смиренной покорности. Вот этим-то путем уничтожается разделение, порождаемое гордостью, и устраняется препятствие к тому, чтобы бедные и зажиточные протянули друг другу руки в дружеском согласии.

Если бы господствовали христианские наставления, то оба эти класса общества соединялись бы не только узами дружбы, но также и узами братской любви, ибо они поняли бы и почувствовали, что все люди суть дети общего Отца, т. е. Бога; что все они имеют одну и ту же конечную цель, которая есть сам Бог, один могущий сделать людей и ангелов совершенно и безусловно счастливыми; что все они и каждый из них искуплены Иисусом Христом и возведены в достоинство детей Божиих и таким образом соединены братскими узами друг с другом и с Иисусом Христом, «первенцем среди множества братьев»; что дары природы и благодати принадлежат сообща всему человеческому роду и что всем, за исключением недостойных, обещано наследие Царства Небесного. «Если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу» (Рим. 8, 17).

Таковы, вкратце, обязанности и права, которые предлагает миру Евангелие. Разве не ясно, что борьба немедленно прекратилась бы, если бы общество прониклось этими мыслями?

Однако Церковь не довольствуется указанием целительного средства, а поскольку от нее зависит, прилагает его. Церковь делает все возможное, чтобы учить и наставлять людей и чтобы воспитывать их; она повсюду распространяет свои спасительные учения при посредстве Епископов и всего клира. Она стремится так воздействовать на умы и воли, чтобы каждый добровольно изменял свою жизнь и следовал в ней заповедям Божиим. Именно в том, что есть основа и начало, от которых зависит все прочее, Церковь имеет власть, свойственную ей одной. Те средства, которые она употребляет, даны ей Самим Иисусом Христом именно для того, чтобы воздействовать на сердца; они получают свою силу от Бога. Только они касаются тайников сердца и мысли и действенно побуждают людей поступать согласно долгу, противиться своим страстям и вожделениям, любить Бога и всех людей единственною и возвышенною любовью и мужественно разбивать все преграды, которые стоят на пути добродетельной жизни.

Касательно этого предмета нам нужно лишь на минуту сосредоточить свое внимание на примерах из истории. Не может быть и тени сомнения, например, в том, что гражданское общество было обновлено повсюду христианским учением, что чрез это обновление человеческий род был поднят до более благородного существования, вернее сказать — был возвращен от смерти к жизни, и к жизни настолько высокой, что никогда не было и никогда не возникнет в будущем ничего в этом роде более совершенного. А первою причиною и конечной целью этого благодетельного преобразования был Иисус Христос; от Него все началось и Ему все должно быть приписано. Ибо, когда при свете евангельского благовествования человеческий род узнавал великую тайну Воплощения Слова и Искупления человека, тогда жизнь Иисуса Христа, Бога и Человека, делалась достоянием всех племен и народов и сообщала им Его вероучение, Его наставления и Его законы. И если общество может быть исцелено в настоящее время, то не иначе как при возвращении его к христианской жизни и христианским установлениям. Когда общество погибает, тогда людям, желающим спасти его, можно дать лишь один хороший совет: вернуть его к тем принципам, которые дали ему начало; ибо целью и средством совершенствования любого человеческого союза бывает стремление к тому и достижение того, ради чего он был установлен, и его деятельность должна вызываться и вдохновляться тою целью, ради которой он был основан в начале. Так что всякое уклонение от его первоначального устройства есть болезнь, а возврат — исцеление. То же можно с полным правом утверждать и о государстве вообще и о том составе его граждан, наиболее многочисленном, в котором все питаются своим трудом.

Не должно также предполагать, что Церковь, заботясь о духовных нуждах своих детей, пренебрегает их временным и земным благополучием. Она желает, например, чтобы неимущие вышли из состояния скудости и нищеты и улучшили свои жизненные условия. Она добивается этого. И она отнюдь не мало содействует этому тем, что призывает людей к добродетели и воспитывает их в нравственной жизни. Христианская нравственность, полностью соблюдаемая, сама собою приводит к известному благоденствию, ибо она снискивает благословение Бога, Который есть источник всяких благ. Она могущественно сдерживает желание богатства и страсть к наслаждениям посреди изобилия: «Корень всех зол есть сребролюбие» (I Тимоф. 6, 10). Она побуждает людей бережно обращаться со

своим скудным имуществом, научает их постоянству в воздержной жизни и удерживает их от тех пороков, которые поглощают не только скромные доходы, но и огромные состояния и нередко уничтожают целые наследства.

Сверх того, Церковь, в интересах неимущих, непосредственно учреждает и поддерживает многие установления, которые признает пригодными для облегчения участи бедных. Здесь опять она всегда достигала таких успехов, что даже вызывала похвалу своих врагов. Сила братской любви среди первых христиан была так велика, что многие из тех, которые находились в лучшем материальном положении, отказывались от своего имущества, чтобы помочь своим братьям; потому «не было между ними никого нуждающегося» (Деяния. 4, 34). На диаконов, должность которых была установлена именно для этой цели, возложено было попечение о ежедневной раздаче милостыни; а Апостол Павел, хотя и обремененный заботой о всех церквах, не колебался, однако, предпринимать трудные путешествия с целью доставления милостыни верующих более бедным христианам. Тертуллиан называет эти пожертвования, добровольно приносимые христианами на их собраниях, «вкладами благочестия»; ибо, как он выражается, они употреблялись «на прокормление нуждающихся и погребение их, на воспитание мальчиков и девочек, не имеющих средств и потерявших родителей, на заботу о престарелых и на помощь потерпевшим крушение» (Ап. 11, 39).

Таким образом постепенно накопилось богатство, которое Церковь оберегала с благоговением, как наследие бедных. Более того, чтобы избавить неимущих от унизительного прошения милостыни, общая мать богатых и бедных сама позаботилась собирать средства для поддержания нуждающихся. Церковь возбуждала повсюду героизм милосердия и учреждала монашеские и другие полезные содружества для дел вспомоществования и милосердия, так что едва ли может быть указан какой-либо род страдания, который ускользнул бы от внимания Церкви и не облегчался бы ею. В настоящее время есть немало людей, которые, подобно язычникам древности, порицают и осуждают Церковь за такое ее высокое милосердие; они желали бы заменить его организованною государственною помощью. Но никакой человеческий способ оказания помощи никогда не будет в состоянии заступить место благоговейной и самоотверженной христианской любви к ближнему. Эта добродетель присуща одной только Церкви: подлинная любовь вытекает из святейшего сердца Иисуса Христа, а всякий, кто отвращается от Церкви, не может быть близок Христу Богу.

2. Государство

Во всяком случае не подлежит сомнению, что к достижению той цели, о которой мы говорим, должны быть направлены не только усилия Церкви, но и все другие средства. Все люди, заинтересованные в этом деле, должны иметь одну душу и действовать сообща. Они должны поступать так, как указывает Провидение, которое в управлении миром достигает своих целей посредством совместного действия многообразных причин.

Потому обратимся к рассмотрению того участия, какое должно иметь государство в деле устранения указанного зла.

Под государством мы понимаем здесь не какую-либо особую форму правления, господствующую среди того или другого народа, но то, что на самом деле следует понимать под государством, т. е. всякое правительство, по своим учреждениям согласующееся со здравым смыслом и природным законом, с теми предписаниями Божественной мудрости, которые мы изложили в окружном послании, обсуждавшем христианское устройство государства. Следовательно, первая обязанность правителей государства должна заключаться в заботе о том, чтобы законы и учреждения, общественные порядки и характер управления сами по себе вели к общественному благосостоянию и частному благоденствию. Заботу эту никогда не должны упускать из виду мудрые государственные люди, и она должна составлять основное задание правительств. Но благоденствию и процветанию государства содействуют, главным образом, нравственность, упорядоченная семейная жизнь, уважение к религии и справедливости, умеренность и равное распределение общественных повинностей, успехи знаний и промышленности, процветание земледелия — все то, что делает граждан благонравнее и счастливее. Потому-то оказывается во власти правителя заботиться о благе как других сословий, так в особенности сословия трудящихся и обездоленных; и он может делать все это в силу своих обязанностей, нимало не подавая повода к упрекам в ненадлежащем вмешательстве, ибо долг государства — охранять общее благо. И чем больше делается для рабочего населения общими законами страны, тем меньше приходится изыскивать особых средств для помощи нуждающимся.

Есть еще другое и более глубокое соображение, которое не должно упускать из виду. Для государства равно дороги интересы каждого — богатого или бедного. Бедные, равно как и богатые, суть члены государства; они являются его действительными составными частями, живыми членами, которые через семью объединяются в живое целое. Едва ли нужно говорить, что они представляют из себя огромное большинство. Было бы неразумно пренебрегать одною частью граждан и покровительствовать другой; и, стало быть, общественное управление должно заниматься и предусмотрительно заботиться о благосостоянии и выгодах рабочего класса, ибо иначе был бы нарушен тот закон справедливости, который повелевает, чтобы каждому воздавали должное. Выражаясь мудрыми словами Фомы Аквината: «Так как часть и целое, в известном смысле, тождественны, то часть, до известной степени, может требовать того, что принадлежит целому» (Secunda secundae, вопр. 61, ст. 1). Среди многосложных и трудных обязанностей правителей, пекущихся о своем народе, самой первой и главной является обязанность поступать в строгом согласии со справедливостью по отношению ко всем классам общества, с тою справедливостью, которая называется «распределительной».

Но хотя все граждане без исключе-

ния могут и должны содействовать тому общему благу, в котором отдельные лица участвуют с такою выгодою для себя, тем не менее не следует предполагать, что все они могли бы содействовать одинаковым образом и в одинаковой мере. Какие бы перемены ни происходили в формах правления, всегда будет оставаться различие и неравенство положений в государстве; общество и неосуществимо и немыслимо даже без этих различий. Необходимы люди, которые посвящали бы себя заведованию общественными делами, составляли бы законы, отправляли бы правосудие, своими советами и властью руководили бы народом во время мира и защищали бы его во время войны. Понятно, такие люди должны занимать выдающееся положение в государстве и пользоваться наибольшим уважением, ибо их дело ближайшим и сильнейшим образом затрагивает интересы страны. Люди, которые занимаются торговлей или ремеслами, содействуют общему благосостоянию иным путем; но они тоже, хотя не так непосредственно, оказывают народу в высшей степени важные услуги. Утверждая, что целью общества должно быть совершенствование людей, мы настаивали на том, что главное благо, каким может обладать общество, есть добродетель. Тем не менее во всех благоустроенных государствах является отнюдь не неважным делом доставление тех телесных и внешних благ, «пользование которыми необходимо для добродетельной жизни» (Св. Фома, De Reg. Princ. 1, 15). И вот для поддержания материального благосостояния оказывается наиболее производительным и безусловно необходимым труд неимущих, их искусство и сила, прилагаемые к обработке земли и занятиям в мастерских. В сущности, их сотрудничество в этом отношении является настолько важным, что поистине лишь благодаря труду рабочих обогащаются государства. Справедливость, следовательно, требует, чтобы интересы более бедных жителей заботливо охранялись правительством, так, чтобы люди, содействующие в такой мере благосостоянию общества, могли и сами пользоваться теми благами, какие они создают, — чтобы они имели подобающее жилище, одежду и пропитание, чтобы их здоровье не подвергалось опасности и чтобы жизнь их была менее тяжкой, более сносной. А потому все то, что может содействовать благосостоянию трудящихся, должно пользоваться самым благосклонным вниманием. Пусть не думают, что заботы эти могут повредить чьим-либо интересам; напротив, они полезны для всех; ибо для общества могло бы быть лишь благодеянием избавление от нищеты тех людей, от которых оно в такой мере зависит.

Мы сказали, что государство не должно поглощать личности или семьи; личность и семья должны сохранять за собою полную свободу действия, поскольку она совместима с общим благом и интересами других. Тем не менее, правители должны ревниво оберегать общество и все его части; оберегать общество, ибо его сохранение есть по преимуществу дело высшей власти, а его целость составляет не только первый закон правительства, но и весь смысл его существования; оберегать части, ибо и разум и Евангелие согласно учат, что целью государственного управления должно быть не преимущество правителя, а благо тех, над которыми он правит. Дар власти — от Бога и представляет собою как бы частицу наивысшего из всех главенств, и он должен быть проявляем так, как проявляется власть Бога, — с отеческою заботливостью, которая не только руководит целым, но касается и всех частностей. Всюду, где страдает интерес всего общества или какого-либо отдельного класса, где грозит им какое-либо зло, не устранимое усилиями частных лиц, на борьбу с ним должна выступать государственная власть. Но интересам общества и частных лиц соответствует, чтобы поддерживался мир и добрый порядок; чтобы семейная жизнь была согласна с Божиими законами и законами природы; чтобы религия находила должное уважение и повиновение; чтобы в общественной и частной жизни нравственность стояла на высоком уровне; чтобы пользовалась уважением святость правосудия и чтобы никто не мог безнаказанно вредить другому; чтобы граждане вступали в зрелый возраст развитыми, сильными и способными, в случае надобности, охранять и защищать свою страну. Если бы, вследствие рабочих стачек и приостановки труда со стороны рабочих, общественному спокойствию неминуемо грозила опасность смуты, или если бы обстоятельства складывались так, что среди рабочего населения ослаблялись узы семейной жизни; если бы замечалось, что религия страдает из-за того, что рабочие не имеют времени или возможности отправлять свои религиозные обязанности; если бы в мастерских и на фабриках оказывалась опасность для нравственности из-за смешения полов или из-за других каких-либо вредных условий; если бы хозяева стали налагать на рабочих непосильную тяготу или ставить их в условия, оскорбляющие их человеческое достоинство; наконец, если бы здоровье рабочих подвергалось опасности из-за чрезмерного труда или из-за работы, не свойственной их возрасту и полу, — то в этих случаях, конечно в известных пределах, было бы справедливо требовать содействия власти и закона. Пределы эти должны указываться природою того случая, в котором требуется вмешательство закона, причем все же остается руководящим принцип: закон не должен заходить далее того, что необходимо для устранения зла или опасности.

Права, чьи бы они ни были, должны пользоваться святым уважением, и долг общественной власти предупреждать и наказывать нарушения их, равно как и покровительствовать каждому в обладании всем ему принадлежащим. Однако, когда дело идет об ограждении прав отдельных лиц, тогда неимущие и беспомощные должны быть предметом особого попечения. Более богатое население имеет много способов защитить себя и менее нуждается в помощи государства; тогда как люди, находящиеся в тяжелом материальном положении, не имеют своих средств, на которые они могли бы опереться, и вынуждены рассчитывать главным образом на поддержку государственной власти. А потому люди, живущие за счет своего труда, которые, без сомнения, являются в числе слабых и нуждающихся, должны пользоваться

особым вниманием и покровительством государства.

Но подобает отдельно рассмотреть важнейшие поводы к необходимому вмешательству государства. И прежде всего должно утвердить как главное, что государственная власть и законы должны всемерно охранять частную собственность. В наше время алчной жадности весьма важным делом является удержание масс на пути долга; ибо, хотя всякий вправе стремиться к улучшению своего положения, тем не менее как справедливость, так и общее благо не позволяют, чтобы кто-либо захватывал то, что принадлежит другому, или, под пустым и смехотворным предлогом полного равенства, посягал на состояние других. Вне сомнения, огромная часть трудящегося народа предпочитает улучшать свое положение честным трудом и не причинять обиды другим. Но есть немало людей, пропитанных ложными учениями и жаждущих революционной перемены, которые все свои силы направляют к тому, чтобы вызвать мятеж и установить политику насилия. Государственная власть должна вступиться, чтобы обуздать возмутителей, оградить рабочих от их заразы и законных собственников от опасности разграбления.

Когда рабочие прибегают к стачке, то это бывает обыкновенно или потому, что слишком продолжителен рабочий день, слишком тяжела работа, или потому, что они считают свою рабочую плату недостаточной. Тяжелые неудобства этого необычного явления должны быть предупреждаемы врачующими общественными мероприятиями; ибо такого рода остановки в работе не только наносят ущерб хозяевам и даже самим рабочим, но отзываются крайне вредно на торговле и интересах всего населения; сверх того, стачки обыкновенно приводят к насилиям и беспорядкам и, таким образом, нередко грозят общественному спокойствию. Законы должны быть предусмотрительны и предупреждать самое возникновение этих смут; и они должны направлять свое влияние и власть к тому, чтобы заблаговременно устранять причины, приводящие к столкновению между владельцами заводов и их рабочими.

Подобным образом и рабочие имеют много прав, которые должны быть охраняемы государственною властью. В первую очередь тут надо иметь в виду духовные блага. Жизнь на земле, как бы она ни была хороша и желательна сама по себе, никоим образом не есть конечная цель, для которой создан человек; она есть лишь путь и средство к достижению истины и добра, обладание которыми составляет сущность духовной жизни. Душа создана по образу и подобию Божию; в душе заключается то главенство, в силу которого человеку повелено владычествовать над созданиями, стоящими ниже его, и пользоваться всею землею и морями. «Наполняйте землю и обладайте ею; и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся на земле» (Бытие. 1, 28). В этом отношении все люди равны; нет различия между богатым и бедным, хозяином и слугою, правителем и управляемым, «потому что один Господь у всех» (Рим. 10, 12). Ни один человек не может безнаказанно оскорблять человеческое достоинство, к которому Сам Бог относится с уважением, и ни один человек не может препятствовать той подлинной духовной жизни, которая есть приготовление к вечной жизни на небесах. Более того, человек в этом случае не имеет власти над самим собою. Он не вправе соглашаться на такой порядок, который рассчитан на уничтожение цели и смысла его существования. Он не может отдавать в рабство своей души, ибо в этом случае затрагиваются даже не права человека, а права Бога, наиболее священные и ненарушимые.

Отсюда вытекает обязательство прекращать всякие дела и работы в воскресные и праздничные дни. Этот отдых от труда не должно считать за потворство лености; того менее должно видеть в нем, как желали бы многие, случай к расточению денег и порочным излишествам; но его следует признавать за отдых от труда, освященный религией. Отдых, соединенный с религиозным благоговением, располагает человека к забвению на время дел его повседневной жизни, к направлению мыслей на блага небесные и к богослужению, которое составляет его первую обязанность к Предвечному. Именно это более всего прочего является причиною и побуждением к воскресному отдыху, отдыху, который был нарочито установлен Божиим законом Ветхого Завета: «Помни день субботний чтобы святить его» (Исх. 20, 8). Этому отдыху мир был наставлен таинственным Божиим «покоем» после создания человека: «И почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал» (Бытие. 2, 2).

Если мы обратимся теперь к предметам внешним и телесным, то мы признаем наиболее важным делом ограждение бедных рабочих от жестокости хищных спекулянтов, которые пользуются людьми просто как орудием наживы. Несправедливо и бесчеловечно угнетать людей чрезмерной работой, притупляя их мысль и истощая их тело. Силы людей, как и вообще вся их природа, ограничены и не могут превзойти известного предела. Они могут развиваться благодаря работе и упражнению, но лишь при условии должного перерыва и надлежащего отдыха. Стало быть, повседневный труд должен налаживаться так, чтобы он не затягивался на более долгое время, чем позволяют силы человека. Сколько должно быть перерывов для отдыха и как они должны быть продолжительны, это зависит от природы дела, от обстоятельств времени и места и от здоровья и силы рабочих. Те люди, которые трудятся в рудниках и каменоломнях, работая в недрах земли, должны иметь более короткий рабочий день, ибо труд их тяжелее и легко отзывается на здоровье. Должно также принимать во внимание время года, ибо нередко бывает, что труд, легкий в одно время года, бывает невыносим или очень тяжел в другое. Наконец, труд, соответствующий силам взрослого мужчины, не может представлять разумной нормы для труда женщины или ребенка. В отношении детей следует прилагать особую заботу к тому, чтобы не помещать их в мастерские и на фабрики ранее того времени, как достаточно окрепнут их тела и души. Ибо как суровая погода уничтожает весенние почки, так слишком ранняя тяжелая работа в жизни детей вредит развитию их сил

и делает невозможным правильное воспитание. Женщинам, затем, не идут некоторые виды фабричной работы; ибо женщина по природе своей приспособлена для домашней работы, и именно ее домашняя работа всего лучше может в одно и то же время охранять ее скромность и содействовать доброму воспитанию детей и благосостоянию семьи. Как общее правило может быть принято, что рабочий должен иметь досуг и отдых, соответствующий расходованию его сил, ибо расходование силы должно покрываться путем прекращения работы.

При всех соглашениях между хозяевами и рабочими постоянно выражается или подразумевается то условие, что допускается отдых для души и тела. Пренебрегать этим условием значило бы поступать против права и справедливости; ибо никто по праву и справедливости не может требовать от другого и никто не может обещать отказа от обязанностей, которые человек имеет к Богу и к самому себе.

Мы приближаемся теперь к предмету весьма большой важности, к предмету, относительно которого, во избежание крайностей, безусловно необходимо иметь верное представление. Заработная плата, говорят нам, устанавливается путем свободного договора, и потому владелец промышленного предприятия, уплачивая обещанное им рабочему, исполняет свой долг и не обязан делать ничего больше. Несправедливость, говорят, могла бы возникнуть лишь в том случае, если бы хозяин отказался от уплаты полностью заработка рабочему или рабочий — от выполнения принятой на себя работы. Только-де тогда, а отнюдь не при других каких-либо обстоятельствах должно было бы вмешиваться государство и следить, чтобы каждый получал ему принадлежащее.

Такие рассуждения, однако, никоим образом не убедительны для здравомыслящего человека, ибо тут совершенно упускаются из виду весьма веские соображения. Трудиться значит прилагать свои силы к делу добывания того, что необходимо для целей жизни и, главным образом, для самосохранения. «В поте лица твоего будешь есть хлеб» (Бытие. 3, 19). Потому человеческий труд имеет две особенности, две характерные черты. Прежде всего, он является личным, ибо проявление индивидуальной силы принадлежит тому, кто затрачивает ее, имея в виду известную личную выгоду. А затем, человеческий труд является необходимым, ибо без плодов труда человек не может жить, а самосохранение есть закон природы, не подчиняться которому грешно. Принимая в соображение труд лишь поскольку он является личным, мы, без сомнения, признали бы за рабочим право довольствоваться какой угодно заработной платой, ибо как он свободен работать или не работать, так он свободен брать незначительное вознаграждение или вовсе обходиться без него. Но труд рабочего представляет собою не только нечто личное, но и необходимое, а это изменяет самую суть дела. Сохранение жизни есть священный долг всех и каждого, и всякое нарушение его есть преступление. Отсюда следует, что каждый имеет право приобретать то, что требуется для жизни; а бедный может приобретать это не иначе, как своим трудом и в виде заработной платы.

Потому, хотя хозяева и рабочие свободны соглашаться относительно заработной платы, но эта свобода имеет пределы. Ибо имеется предписание природы, более повелительное и более древнее, чем какие бы то ни было договоры между людьми, требующее, чтобы вознаграждение, получаемое рабочим, было достаточно для приличной и скромной жизни. Если, побуждаемый необходимостью или боязнью большего зла, рабочий соглашается на более тяжелые условия из-за того, что хозяин или подрядчик не предоставляет ему лучших, то он является жертвою насилия или несправедливости. В таких и подобных вопросах, — вроде, например, вопроса о продолжительности рабочего дня в различных занятиях или о санитарных предосторожностях, которые должны приниматься на фабриках и заводах и т. п., — было бы желательно по возможности избегать государственного вмешательства, особенно ввиду крайних различий в условиях времени и места; лучше было бы обращаться к содействию учреждений, о которых сейчас будет речь, или другими какими-либо способами ограждать интересы людей, живущих своей заработной платой, а к государству обращаться лишь за необходимою помощью.

Если рабочий получает заработную плату, достаточную для доставления себе, своей жене и детям умеренного благосостояния, то он, если он благоразумен, без труда научится экономии и, сокращая расходы, сможет обзавестись скромной собственностью, побуждаемый к тому самою природою. Мы видели, что рабочий вопрос не может быть разрешен иначе как приняв за принцип то положение, что частная собственность должна признаваться священной и неприкосновенной. Закон, следовательно, должен благоприятствовать праву собственности и побуждать возможно большее число граждан к тому, чтобы они делались собственниками.

Это повело бы ко множеству благодетельных результатов, и прежде всего к более равномерному распределению собственности. Следствием гражданских перемен и революций было разделение общества на две резко различающиеся касты. С одной стороны, образовался класс, владеющий богатством и потому обладающий силою, класс, удерживающий в руках своих промышленность и торговлю, заправляющий по своему усмотрению и к своей выгоде всеми источниками богатства и могущественно влияющий на самые органы государственной власти. С другой стороны, имеется нуждающаяся и бессильная масса, озлобленная от страданий и всегда готовая к возмущениям. Если бы среди рабочих стали поощрять стремление сделаться участниками во владении землей, то благодаря этому был бы перекинут мост между двумя классами граждан и сокращено расстояние между крупным состоянием и глубокой бедностью. Другим следствием явилось бы большее изобилие плодов земли. Люди всегда работают лучше и с большей охотой в том случае, когда они трудятся над своею собственностью; более того, они научаются любить ту землю, которая доставляет, в ответ на работу их рук, не только хлеб для пропита-

ния, но также некоторый прибыток других благ для них самих и для тех, кто им дорог. Само собою понятно, как увеличивало бы это рвение к добровольному труду производительность земли и благосостояние общества. Третьим преимуществом явилось бы то, что люди стали бы прилепляться к своей родной стране, ибо никто не пожелал бы менять своего отечества на чужую землю, если бы у себя дома находил средства к сносной и счастливой жизни. На эти три важные благодеяния, однако, можно рассчитывать лишь при условии, чтобы средства людей не высасывались и не истощались чрезмерным обложением налогами. Право владеть частной собственностью проистекает от природы, а не от человека; и государство обладает лишь правом упорядочивать пользование ею в интересах общего блага, но отнюдь не отменять ее совершенно. Государство, следовательно, поступает несправедливо и жестоко, если в виде налога оно берет с собственников больше надлежащего.

3. Профессиональные союзы

Хозяева и рабочие могут сделать немало и сами в обсуждаемых нами вопросах при помощи тех учреждений и обществ, которые стремятся оказывать надлежащую помощь нуждающимся и ставят в более близкие отношения оба сословия. Из числа таковых могут быть упомянуты: общества взаимной помощи, различные учреждения, возникающие по почину частных лиц для страхования рабочих, их вдов и сирот на случаи неожиданного бедствия, болезни или смерти, и так называемые попечительства или учреждения, пекущиеся о мальчиках и девочках, о молодых людях или о пожилых.

Наиболее важными являются союзы рабочих, ибо они, в сущности, заключают в себе все остальное. История свидетельствует, что замечательных результатов достигали ремесленные цехи прежних веков. Они были не только источниками многих преимуществ для рабочих, но даже, в значительной мере, средством усовершенствования самих ремесел, как то можно заметить по имеющимся многочисленным памятникам. Этого рода союзы должны быть приспособлены к требованиям времени, в котором мы живем, к возможностям лучшего образования, к иным обычаям, к более многочисленным потребностям повседневной жизни. Отрадно отметить, что в настоящее время уже существует немало союзов этого рода, в которых участвуют или одни рабочие, или рабочие и хозяева вместе; тем не менее их слишком мало; является в высшей степени желательным, чтобы они умножились и усиливали свою деятельность. Мы уже не раз говорили о них, но полезно будет здесь объяснить, насколько они нужны, показать, что они имеют полное право на существование, и войти в некоторые подробности относительно их организации и деятельности.

Сознание своей слабости побуждает человека искать поддержки вне самого себя. Мы читаем на страницах Св. Писания: «Двоим лучше нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их; ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который бы поднял его» (Еккл. 4, 9—10). И затем: «Брат, вспомоществуемый братом своим, подобен крепкому городу» (Притчи. 18, 19). Именно это естественное побуждение объединяет людей в гражданское общество, и оно же побуждает их устраивать союзы в среде граждан, союзы, которые, правда, не могут называться «обществами» в полном смысле слова, но все же являются до некоторой степени таковыми.

Эти несовершенные общества и общество, составляющее государство, во многом отличаются друг от друга, ибо различны их непосредственные задания. Гражданское общество, или государство, существует ради общего блага и поэтому имеет дело с интересами всех вообще, в надлежащем месте и надлежащей мере также с интересами отдельных личностей. «Оно называется общим», потому что в нем «люди сообща составляют одно общее дело (республика, государство)» (Св. Фома. Contra impugnantes Dei cultum, парагр. 2). Между тем общества, которые образуются внутри государства, называются частными, ибо их непосредственная цель состоит в частной выгоде лиц, участвующих в них. «Частное общество есть общество, образующееся с целью ведения какого-либо частного дела, когда, например, двое или трое вступают в товарищество, желая сообща вести торговлю» (там же). Частные общества, следовательно, как таковые, не должны подвергаться безусловному запрещению со стороны государства, в состав которого они входят. Ибо вступать в общества такого рода есть природное право человека, а государство должно защищать природные права и не нарушать их; а запрещая устраивать союзы, оно поставило бы себя в противоречие с основным началом собственного существования; ибо и эти несовершенные общества и общество-государство существуют в силу одного и того же принципа, именно в силу природного стремления человека жить в обществе других людей.

Бывают, без сомнения, случаи, когда закон должен вмешиваться, дабы не допустить союза; когда, например, люди соединяются для целей очевидно дурных, несправедливых или опасных для государства. В таких случаях общественная власть может по праву воспрепятствовать образованию союзов или распустить их, если они уже существовали. Но при этом должны быть приняты все меры предосторожности к тому, чтобы не были нарушены права частных лиц или не были введены несправедливые постановления под предлогом общественной пользы. Ибо законы обязательны лишь тогда, когда они согласуются со справедливостью и потому с вечным законом (Св. Фома. Prima secundae, вопр. 13, ст. 3).

Здесь мы упомянем о тех братствах, обществах и монашеских орденах, которые возникали благодаря церковной власти и благочестию христианского люда. О том, как много они сделали для человеческого рода, свидетельствуют летописи веков до нашего времени включительно. Уже в силу одних соображений разума нельзя оспаривать, что союзы эти, как безупречные по своим целям, коренятся в законе природы. В религиозном отношении они по праву требуют для себя ответственности лишь пред одною Церковью. Правители государства в этом отношении не имеют никакой власти над ними и не должны позволять себе никакого вмешательства в заведование их делами; напротив того, обязанность государства уважать их, покровительствовать им и в случае необходимости защищать их. Но, как известно, в отношении их правительства держатся иного образа действий, особенно в наше время. Во многих случаях государство позволяло себе насильственные действия и разного рода обиды в отношении этих обществ; оно подчиняло их ведению гражданского закона, нарушало их права юридической личности и лишало их принадлежащей им собственности, принадлежащей тоже Церкви, членам этих союзов, учредителям и жертвователям,

имевшим в виду определенные цели, наконец, тем людям, в пользу которых эти общества были основаны. Потому мы не можем не выразить сожаления об ограблении их, как о несправедливости и о поступках, долженствующих вести к тяжелым последствиям; и мы имеем тем более основание выразить свое сожаление, что закон, провозглашая свободу союзов, преследует всеми способами мирные и полезные католические общества, предоставляя в то же время полную свободу людям, которых деятельность вредна для религии и опасна для государства.

Союзы разного рода и особенно союзы рабочих ныне гораздо более многочисленны, чем прежде. В отношении всего множества их нам нет теперь надобности входить в подробности, касающиеся их происхождения, их целей и тех средств, которыми они пользуются. Однако есть немало указаний на то, что многие из этих обществ направляемы невидимыми вожаками, которые осуществляют в них начала, противные христианству и общественному благу; они стремятся захватить в свои руки все поле трудовой деятельности и вынуждают рабочих или присоединиться к ним, или голодать. При таких обстоятельствах рабочие-христиане поставлены в необходимость или присоединиться к учреждению, в котором может подвергаться опасности их религиозная жизнь, или основать свои собственные союзы — соединить свои силы и мужественно свергнуть иго несправедливого и невыносимого угнетения. Всякий, кто не желает подвергать крайней опасности наивысшее благо человека, конечно, даст предпочтение второму решению.

Заслуживают всякой похвалы те католики, а таких немало, которые, понимая требования времени, изыскивают безупречные способы и установления, чтобы улучшить положение пролетариев. Принимая к сердцу интересы рабочих, они стремятся поставить в лучшие условия рабочих и их семьи, вносить дух справедливости во взаимные отношения между хозяином и рабочими и удерживать перед глазами обоих классов веления долга и заповеди Евангелия, которое, внушая самоограничение, удерживает людей в пределах умеренности и устанавливает гармонию между расходящимися интересами отдельных лиц и классами, составляющими государство. Имея в виду такие цели, выдающиеся люди сходятся вместе для обсуждения и выработки единства соответствующей деятельности и приложения к делу своих благих предначертаний. Другие стремятся объединять рабочих разных категорий в союзы, помогать им своим советом и своими средствами и отыскивать для них возможность честного и вознаграждающего труда. Епископы, со своей стороны, оказывают делу всякое благорасположение и поддержку; и многие члены духовенства, как белого, так и черного, одобряемые и поддерживаемые ими, прилежно трудятся над духовным и умственным развитием рабочих, принадлежащих к католическим союзам. Нет недостатка в католиках, которые, обладая крупным состоянием, делят, так сказать, свою судьбу с людьми, живущими работою своих рук, и тратят огромные деньги на устройство и распространение обществ вспомоществования и страхования, благодаря которым рабочий человек без особого усилия может достигнуть своим трудом не только многих преимуществ в настоящем, но также уверенности в подобающей поддержке в будущем. Как благодетельна для всего общества эта многосторонняя и ревностная деятельность, об этом мы не будем говорить, ибо это слишком хорошо известно. Мы видим в этой деятельности основание для самых радостных надежд на будущее, лишь бы указанные союзы продолжали расти и распространяться, имея во главе добрых и мудрых людей. Пусть государство имеет попечение об этих обществах граждан, соединяющихся вместе в силу своего права; но пусть оно не вмешивается в их внутренние дела и не касается их организации: ибо все движется и живет душою, внутри находящейся, и может быть убито воздействием посторонней силы.

Чтобы какой-нибудь союз мог сохранять единство мысли и действия, необходимо, чтобы его организация и управление были тверды и мудры. И все общества этого рода, имея право на существование, имеют также право принимать ту организацию и те правила, которые могут всего более содействовать достижению их целей. Мы не считаем возможным определять подробности их строения: подробности эти должны вырабатываться в зависимости от народного характера, от уроков опыта, от природы и цели самого предприятия, от значения различных промыслов и занятий и от других обстоятельств и условий времени, которые все должны быть тщательно взвешены организаторами этих союзов.

Вообще говоря, основным и неизменным законом рабочих союзов должна быть такая организация и такое управление, которые бы обеспечивали им наиболее успешное и незамедлительное достижение поставленной цели; цель же в том, чтобы каждый рабочий мог, благодаря деятельности союза, повысить уровень своего физического, духовного и экономического благосостояния. Ясно, что эти союзы должны с особенною рачительностью наблюдать за благочестием и нравственностью, духом которых должна быть проникнута вся их внутренняя дисциплина, иначе они целиком утратят свой особый характер и сделаются немногим лучше тех обществ, которые вовсе не принимают в соображение религию. Будет ли выгодой для рабочего, если он станет приобретать при помощи какого-либо общества то, что полезно для его тела, и в то же время подвергать опасности свою душу из-за недостатка духовной пищи? «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Матф. 16, 26). Вот какой чертой и признаком отличаются, по учению нашего Господа, христиане от язычников: «Всего этого ищут язычники... Ищите прежде всего Царствия Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Матф. 6, 32—33). Итак, пусть наши союзы, прежде всего и по преимуществу, обращаются к Богу; пусть религиозное наставление внутри их занимает первое место, пусть каждый из членов союза заботливо обучается тому, что составляет его обязанности к Богу, чему он верит, на что надеется и что ведет его к вечному спасению. Пусть каждый рабочий с особенным вниманием предостерегается от ошибочных мнений и ложных учений и укрепляется в противодействии им. Пусть рабочие побуждаются и приучаются к богослужению, к ревностному отправлению религиозных обязанностей и, между прочим, к чествованию воскресных и праздничных дней. Пусть они научаются почтению и любви к святой Церкви, нашей общей матери, и через это научаются повиноваться ее наставлениям и соблюдать ее таинства, которые суть средство, преподанное Богом для достижения прощения грехов и освящения жизни.

Признав основой рабочих союзов религию, мы определим теперь, каковы должны быть отношения их членов друг к другу, чтобы они могли жить вместе в согласии и вести свои дела успешно и счастливо. Должно-

сти и обязанности в союзе следует распределять, имея в виду благо всего союза, и притом так, чтобы разница степеней и положений никоим образом не препятствовала единодушию и благорасположению. Должностных лиц следует назначать с осторожностью и разбором, и обязанности каждого из них надо заботливо определять, чтобы никому из членов не было обиды. Общие суммы следует распределять с полным беспристрастием так, чтобы каждый член получал вспомоществование в соответствии с его нуждами. Подобает тщательно согласовать права и обязанности хозяев с правами и обязанностями рабочих. На тот случай, если бы хозяин или рабочий стал считать себя в чем-либо обиженным, желательно было бы иметь особый комитет, составленный из честных и способных членов союза, который решал бы дело по правилам союза. Среди прочих целей, союзы должны также стремиться к устройству непрерывного доставления работы в течение всего года и к образованию фонда, из которого члены могли бы получать пособие не только в совсем исключительных случаях, но также в болезни, в старости или несчастии.

Такого рода правила и постановления, встречая всюду добровольное повиновение, будут в достаточной мере обеспечивать благосостояние бедного люда. Эти католические союзы взаимопомощи, конечно, будут немало содействовать и благосостоянию государства. Люди не опрометчиво судят о будущем по прошедшему. Одно поколение сменяется другим, но события одного века бывают удивительно похожи на события другого, ибо все они управляются провидением Бога, руководящего течением истории согласно тем намерениям, которые Он имел при создании человека. Мы слышим, как упрек, бросаемый христианам первых веков, что большая часть их жила случайными вспомоществованиями или скудно оплачиваемым трудом. Однако люди эти, лишенные богатств и влияния, приобретали, в конце концов, благосклонность богатых и расположение знатных. Они выказывали себя деятельными, трудолюбивыми и кроткими людьми правды, и главное, людьми братской любви. Ввиду их жизни и примера предрассудок исчезал, смолкал голос недоброжелательства, и лживые предания древнего суеверия уступали мало-помалу место христианской истине.

В настоящее время вопрос о положении рабочего люда является злободневным, и ничто не представляет собою большего интереса для всех классов общества, как его разумное и справедливое разрешение. Но для христианских рабочих нетрудно будет решить его, если они, устраивая союзы, станут избирать мудрых руководителей и следовать по тому пути, по которому шли с такою выгодою для себя и для общества их отцы ранее их. Правда, сильны предрассудки и сильна любовь к деньгам, но если сознание истины и справедливости не уничтожено испорченностью сердца, то сограждане этих рабочих наверное проникнутся добрыми чувствами к людям трудолюбивым и скромным, несомненно предпочитающим честность выгоде и святость долга всем другим соображениям.

Еще одно великое преимущество оказалось бы следствием того положения вещей, которое мы изображаем: явилось бы более надежды и возможности оказать воздействие на образ мыслей тех рабочих, которые или совсем порвали со своею верою, или живут в разладе с ее предписаниями. Люди эти в большинстве случаев чувствуют, что их обманывали пустыми обещаниями и обольщали ложной внешностью. Они не могут не сознавать, что их алчные хозяева слишком часто относятся к ним в высшей степени бесчеловечно и едва ли заботятся о них более, чем сколько требуется для того, чтобы получать прибыль от их труда; если же рабочие эти принадлежат к рабочему союзу, то обыкновенно к такому, в котором, вместо мира и любви, господствует междоусобная вражда — этот постоянный спутник безысходной и лишенной веры нищеты. Сколько таких людей с разбитой душой и истощенным телом были бы рады освободиться от этого унизительного рабства! Но ложный стыд или боязнь голодовки отклоняет их от такого шага. Подобным людям католические союзы могли бы оказать неисчислимые услуги, помогая им выбраться из затруднительного положения и предоставляя раскаявшимся общение веры и надежное покровительство.

Мы указали вам, досточтимые братья, кем и какими средствами должен быть решен этот в высшей степени трудный вопрос. Каждый да возьмется за дело, выпадающее на его долю, немедленно и в согласии с прочими, ибо зло уже велико и из-за промедления может сделаться не поддающимся излечению. Те, кто правит государством, пусть действуют законами и государственными учреждениями. Хозяева и богатые люди пусть не забывают своих обязанностей перед другими. Пролетарии, интересы которых наиболее затрагиваются в этом деле, пусть содействуют разрешению указанного вопроса всеми законными и надлежащими средствами. А так как религия одна, как мы сказали в начале, может уничтожить зло в корне, то все должны глубоко убедиться в том, что прежде всего надо вернуться к подлинному христианству, без которого все планы и предположения людей, даже мудрейших, окажутся недействительными и непригодными.

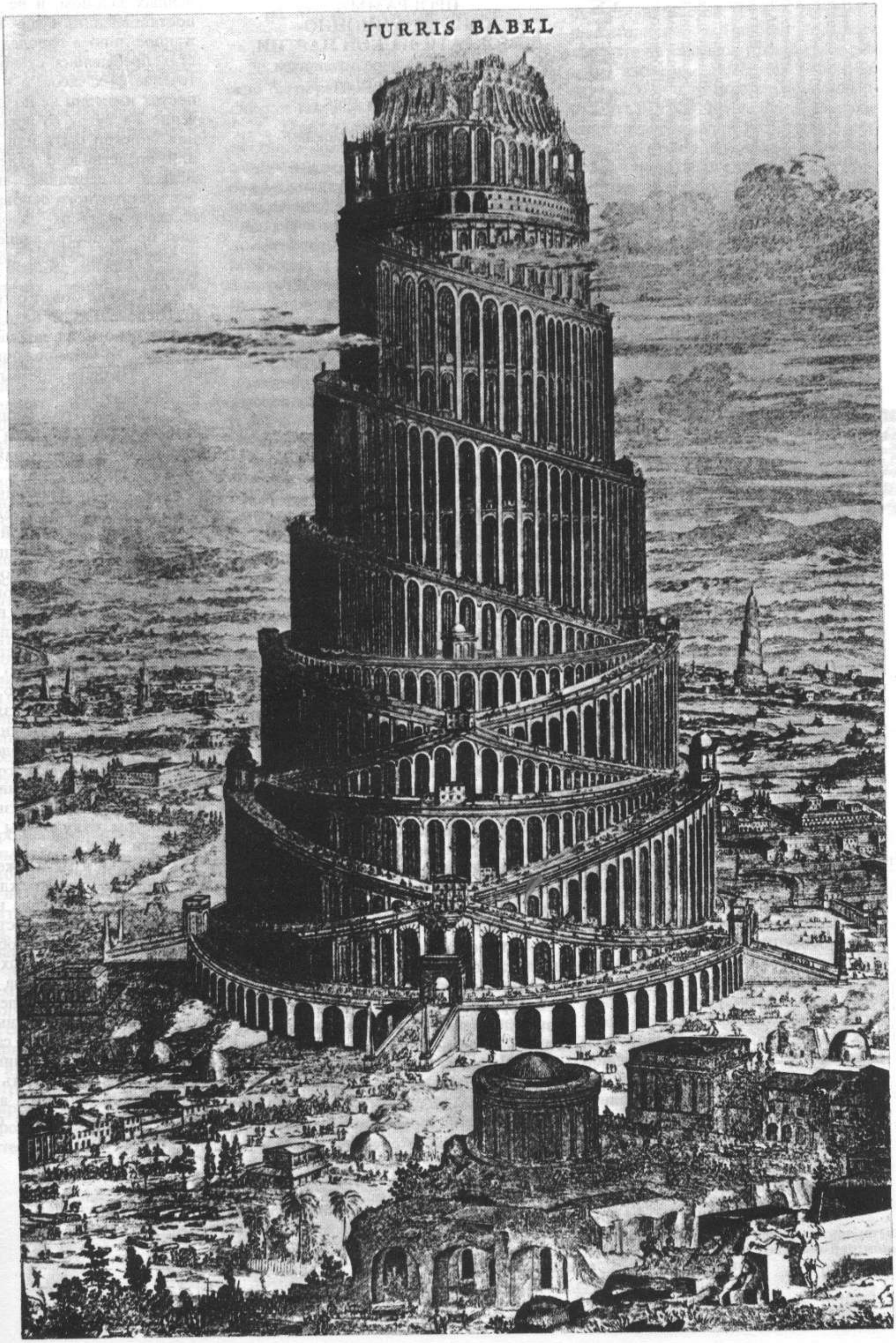
Что касается Церкви, то в ее помощи никогда не будет недостатка, и ее вмешательство будет тем плодотворнее, чем меньше будет стеснена ее свобода действий: пусть этого никогда не забывают люди, на которых возложена обязанность заботиться об общем благосостоянии. Каждый служитель святой Церкви должен отдавать делу все силы своего ума и воли: под вашим руководством и следуя вашему примеру, досточтимые братья, пусть священники неустанно преподают людям всех сословий евангельские учения о христианской жизни; они должны всеми подобающими им средствами стремиться к благу народа и, главным образом, ревниво оберегать в своих сердцах и пробуждать в сердцах всех других людей любовь, эту владычицу и царицу добродетелей, ибо успеха в этом деле, которого мы так горячо желаем, следует ожидать, главным образом, от обильной любви, той истинной христианской любви, в которой сосредоточен весь евангельский закон, которая всегда готова на жертвы ради других и служит наилучшим противоядием против мирской гордости и неумеренного себялюбия, той любви, коей свойства и богоподобные черты описаны святым Апостолом Павлом в таких словах: «Любовь долготерпит, милосердствует... не ищет своего... все покрывает... все переносит» (I Кор. 13, 4—7).

Всем вам, досточтимые братья, вашему духовенству и народу, как залог Божиих щедрот и свидетельство Нашего благорасположения, от всего сердца Мы шлем во имя Господа апостольское благословение.

Дано у св. Петра в Риме, мая пятнадцатого дня, 1891 года, Нашего первосвященнического служения в год четырнадцатый.

ЛЕВ XIII ПАПА

Модель человеческой цивилизации?..



Программы русских политических партий

ПРОГРАММА КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ,

выработанная учредительным съездом партии 12—18 октября 1905 г.

I. Основные права граждан

1. Все российские граждане, без различия пола, вероисповедания и национальности, равны перед законом. Всякие сословные различия и всякие ограничения личных и имущественных прав поляков, евреев и всех без исключения других отдельных групп населения должны быть отменены.

2. Каждому гражданину обеспечивается свобода совести и вероисповедания. Никакие преследования за исповедуемые верования и убеждения, за перемену или отказ от вероучения не допускаются. Отправление религиозных и богослужебных обрядов и распространение вероучений свободно, если только совершаемые при этом действия не заключают в себе каких-либо общих проступков, предусмотренных уголовными законами. Православная церковь и другие исповедания должны быть освобождены от государственной опеки.

3. Каждый волен высказывать изустно и письменно свои мысли, а равно обнародовать их и распространять путем печати или иным способом. Цензура, как общая, так и специальная, как бы она ни называлась, упраздняется и не может быть восстановлена. За преступления и проступки, совершенные путем устного и печатного слова, виновные отвечают только перед судом.

4. Всем российским гражданам предоставляется право устраивать публичные собрания как в закрытых помещениях, так и под открытым небом для обсуждения всякого рода вопросов.

5. Все российские граждане имеют право составлять союзы и общества, не испрашивая на то разрешения.

6. Право петиций предоставляется как отдельным гражданам, так всякого рода группам, союзам, собраниям.

7. Личность и жилище каждого должны быть неприкосновенны. Вход в частное жилище, обыск, выемка в нем и вскрытие частной переписки допускается только в случаях, установленных законом, и не иначе, как по постановлению суда. Всякое задержанное лицо в городах и других местах пребывания судебной власти в течение 24-х часов, а в прочих местностях империи не позднее, как в течение 3-х суток со времени задержания, должно быть или освобождено, или представлено судебной власти. Всякое задержание, произведенное без достаточного основания или продолженное сверх законного срока, дает право пострадавшему на возмещение государством понесенных им убытков.

8. Никто не может быть подвергнут преследованию и наказанию иначе, как на основании закона — судебной властью и установленным законом судом. Никакие чрезвычайные суды не допускаются.

9. Каждый гражданин пользуется свободой передвижения и выезда за границу. Паспортная система упраздняется.

10. Все вышеозначенные права граждан должны быть введены в основной закон Российской империи и обеспечены судебной защитой.

11. Основной закон Российской империи должен гарантировать всем населяющим империю народностям, помимо полной гражданской и политической равноправности всех граждан, право свободного культурного самоопределения, как-то: полную свободу употребления различных языков и наречий в публичной жизни, свободу основания и содержания учебных заведений и всякого рода собраний, союзов и учреждений, имеющих целью сохранение и развитие языка, литературы и культуры каждой народности и т.п.

12. Русский язык должен быть языком центральных учреждений, армии и флота. Употребление наряду с общегосударственным местных языков в государственных и общественных установлениях и учебных заведениях, содержимых на средства государства или органов самоуправления, регулируется общими и местными законами, а в пределах их — самими установлениями. Населению каждой местности должно быть обеспечено получение начального, а по возможности и дальнейшего образования на родном языке.

ЗАВТРА продолжает публикацию, начатую в первом выпуске альманаха. Воспроизводятся документы из сборника, увидевшего свет в далеком 1906 году, после «высочайшего дарования свобод», в эпоху первого русского политического плюрализма. Название книги:

«Полный сборник платформ всех русских политических партий с приложением Высочайшего Манифеста 17 октября 1905 г. и Всеподданнейшего доклада графа Витте».

В первом выпуске были напечатаны манифест Николая II, доклад Витте, программы РСДРП, Партии социалистов-революционеров и Партии свободомыслящих. Во втором — помещаем программы партий, вошедших в русскую историю под запоминающимися названиями-кличками «кадетов» и «октябристов».

Лев Рубинштейн

Это глупо — все время спрашивать, куда мы идем, ибо сказано: «Уж куда идем, туда и идем». А еще сказано: «Придем — увидишь».

II. Государственный строй

13. Конституционное устройство Российского государства определяется основным законом.

14. Народные представители избираются всеобщею, равною, прямою и тайною подачей голосов, без различия вероисповедания, национальности и пола.

Примечание. По вопросу о немедленном распространении избирательного права на женщин меньшинство осталось при особом мнении, в силу чего съезд признал решение партии по данному вопросу необязательным для меньшинства.

Партия допускает в своей среде различие мнений по вопросу об организации народного представительства, в виде одной или двух палат, из которых вторая палата должна состоять из представителей от органов местного самоуправления, реорганизованных на началах всеобщего голосования и распространенных на всю Россию.

15. Народное представительство участвует в осуществлении законодательной власти, в установлении государственной росписи доходов и расходов и в контроле за законностью и целесообразностью действий высшей и низшей администрации.

16. Ни одно постановление, распоряжение, указ, приказ и тому подобный акт, не основанный на постановлении народного представительства, как бы он ни назывался и от кого бы ни исходил, не может иметь силы закона.

17. Государственная роспись, в которую должны быть вносимы все доходы и расходы государства, устанавливается не более, как на один год, законодательным порядком. Никакие налоги, пошлины и сборы в пользу государства, а равно и государственные займы не могут быть устанавливаемы иначе, как в законодательном порядке.

18. Членам собрания народных представителей принадлежит право законодательной инициативы.

19. Министры ответственны перед собранием народных представителей, членам которого принадлежит право запроса и интерпелляции.

III. Местное самоуправление и автономия

20. Местное самоуправление должно быть распространено на все Российское государство.

21. Представительство в органах местного самоуправления, приближенное к населению путем учреждения мелких самоуправляющихся единиц, должно быть основано на всеобщем, равном, прямом и закрытом голосовании, без различия пола, вероисповедания и национальностей, причем собрания высших самоуправляющихся союзов могут быть образованы путем избрания собраниями низших таких же союзов. Губернским земствам должно быть предоставлено право вступать во временные и постоянные союзы между собою.

22. Круг ведомства органов местного самоуправления должен простираться на всю область местного управления, включая полицию безопасности и благочинения и за исключением лишь тех отраслей управления, которые в условиях современной государственной жизни необходимо должны быть сосредоточены в руках центральной власти, с предоставлением в пользу органов местного самоуправления части средств, поступающих в настоящее время в государственный бюджет.

23. Деятельность местных представителей центральной власти должна сводиться к надзору за законностью деятельности органов местного самоуправления, причем окончательное решение по возникающим в этом отношении спорам и сомнениям должно принадлежать судебным учреждениям.

24. После установления прав гражданской свободы и правильного представительства с конституционными правами для всего российского государства должен быть открыт правомерный путь в порядке общегосударственного законодательства для установления местной автономии и областных представительных собраний, обладающих правом участия в осуществлении законодательной власти по известным предметам, соответственно потребности населения.

25. Немедленно по установлении общеимперского демократического представительства, с конституционными правами, в Царстве Польском вводится автономное устройство с сеймом, избираемым на тех основаниях, как и общегосударственное представительство, при условии сохранения государственного единства и участии в центральном представительстве на одинаковых с прочими частями империи основаниях. Границы между Царством Польским и соседними губерниями могут быть исправлены в соответствии с племенным составом и желанием местного населения, причем в Царстве Польском должны действовать общегосударственные гарантии гражданской свободы и права национальности на культурное самоопределение и должны быть обеспечены права меньшинства.

26. **Финляндия.** Конституция Финляндии, обеспечивающая ее особенное государственное положение, должна быть всецело восстановлена. Всякие дальнейшие мероприятия, общие империи и Великому Княжеству Финляндскому, должны быть впредь делом соглашения между законодательными органами империи и Великого Княжества.

IV. Суд

27. Все отступления от начал Судебных Уставов 20-го ноября 1864 года, устанавливающих отделение судебной власти от административной (несменяемость, независимость и равенство всех перед судом), как внесенные позднейшими новеллами, так и допущенные при самом составлении Уставов, упраздняются. В этих видах прежде всего: a) не подлежит никаким ограничениям правило о том, что никто не может быть подвергнут наказанию без вошедшего в силу приговора компетентного суда; b) всякое вмешательство министра юстиции в назначение на судейские должности или перемещение судей, а тем более в производство судебных дел, устраняется. Судьи наград не получают; c) ответственность должностных лиц определяется на общем основании; d) компетенция суда присяжных определяется исключительно тяжестью наказания, назначенного в законе безотносительно к роду дел, причем, однако, этой компетенции во всяком случае подлежат

Н. Наумова

Если же говорить о нашем среднем классе, то он очень малочислен — не больше 20—30 процентов населения, а по некоторым оценкам — не больше 15. Он слаб и по своему профессиональному составу, поскольку большую его долю составляют работники не самой высокой квалификации (например, высокооплачиваемые работники особо тяжелых и вредных производств) и не связанные непосредственно с экономической активностью (административно-партийный аппарат).

все преступления государственные и против законов о печати. Суд с сословными представителями упраздняется. Компетенции выборного мирового суда подчиняются и дела волостной юстиции. Волостной суд и институт земских начальников упраздняются. Требования имущественного ценза как для замещения должности мирового судьи, так и для отправления обязанностей присяжного заседателя отменяются; e) восстановляется принцип единства кассационного суда. Адвокатура организуется на началах истинного самоуправления.

28. Независимо от этого, в осуществление наиболее назревших и бесспорных требований уголовной политики и процесса: a) смертная казнь отменяется безусловно и навсегда; b) вводится условное осуждение; c) устанавливается защита на предварительном следствии; d) в обряд предания суду вводится состязательное начало.

29. Ближайшей задачей является полный пересмотр Уголовного уложения, отмена постановлений, противоречащих началам политической свободы, и переработка проекта Гражданского Уложения.

V. Финансовая и экономическая политика

30. Пересмотр государственного расходного бюджета в целях уничтожения непроизводительных по своему назначению или своим размерам расходов и соответственного увеличения затрат государства на действительные нужды народа.

31. Отмена выкупных платежей.

32. Развитие прямого обложения на счет косвенного; общее понижение косвенного обложения и постепенная отмена косвенных налогов на предметы потребления народных масс.

33. Реформа прямых налогов на основе прогрессивного подоходного и поимущественного обложения, введения прогрессивного налога на наследство.

34. Соответствующее положению отдельных производств понижение таможенных пошлин в видах удешевления предметов народного потребления и технического подъема промышленности и земледелия.

35. Обращение средств сберегательных касс на развитие мелкого кредита.

VI. Аграрное законодательство

36. Увеличение площади землепользования населения, обрабатывающего землю личным трудом, как-то: безземельных и малоземельных крестьян, а также и других разрядов мелких хозяев-земледельцев, государственными, удельными, кабинетскими и монастырскими землями, а также путем отчуждения для той же цели за счет государства в потребных размерах частновладельческих земель с вознаграждением нынешних владельцев по справедливой (не рыночной) оценке.

37. Отчуждаемые земли поступают в государственный земельный фонд. Начала, на которых земли этого фонда подлежат передаче нуждающемуся в них населению (владение или пользование, личное или общинное и т. д.), должны быть установлены сообразно с особенностями землевладения и землепользования в различных областях России.

38. Широкая организация государственной помощи для переселения, расселения и устройства хозяйственного быта крестьян. Реорганизация межевого дела, окончание размежевания и другие меры для подъема благосостояния сельского населения и улучшения сельского хозяйства.

39. Упорядочение законом арендных отношений путем обеспечения права возобновления аренды, права арендатора, в случае передачи аренды, на вознаграждение за произведенные, но не использованные к сроку затраты на улучшения, и учреждение примирительных камер для регулирования арендной платы и для разбора споров и несогласий между арендаторами и землевладельцами. Открытие законного пути в судебном порядке для понижения непомерно высоких арендных цен и уничтожения носящих кабальный характер сделок в области земельных отношений.

40. Отмена действующих правил о найме сельских рабочих и распространение рабочего законодательства на землевладельческих рабочих, применительно к техническим особенностям земледелия. Учреждение сельскохозяйственной инспекции для наблюдения за правильным применением законодательства по охране труда в этой области и введение уголовной ответственности сельских хозяев за нарушение ими законодательных норм по охране труда.

VII. Рабочее законодательство

41. Свобода рабочих союзов и собраний.

42. Право стачек. Наказуемость правонарушений, совершаемых во время или по поводу стачек, определяется на общем основании и ни в коем случае не может быть увеличиваема.

43. Распространение рабочего законодательства и независимой инспекции труда на все виды наемного труда; участие выборных от рабочих в надзоре инспекции за исполнением законов, охраняющих интересы трудящихся.

44. Введение законодательным путем восьмичасового рабочего дня. Немедленное осуществление этой нормы всюду, где она в данное время возможна, и постепенное ее введение в остальных производствах. Запрещение ночных и сверхурочных работ кроме технически и общественно-необходимых.

45. Развитие охраны труда женщин и детей и установление особых мер охраны труда мужчин во вредных производствах.

46. Учреждение примирительных камер из равного числа представителей труда и капитала для нормировки всех отношений найма, не урегулированных рабочим законодательством, и разбора споров и несогласий, возникающих между рабочими и предпринимателями.

47. Обязательное при посредстве государства страхование от болезни (в течение определенного срока), несчастных случаев и профессиональных заболеваний с отнесением издержек на счет предпринимателей.

48. Государственное страхование на случай старости и неспособности к труду для всех лиц, живущих личным трудом.

49. Установление уголовной ответственности за нарушение законов об охране труда.

Александр Герцен

Будущее вне политики, будущее носится над хаосом всех политических и социальных стремлений и возьмет из них нитки в свою новую ткань, из которой выйдут саван прошедшему и пеленки новорожденному. Социализм соответствует назарейскому учению в Римской империи.

VIII. По вопросам просвещения

Народное просвещение должно быть организовано на началах свободы, демократизации и децентрализации его, понимая под этим осуществление следующих начал:

50. Уничтожение всех стеснений к поступлению в школу, связанных с полом, происхождением и религией.

51. Свобода частной и общественной инициативы в открытии и организации учебных заведений всех типов и в области внешкольного просвещения; свобода преподавания.

52. Между различными ступенями школ всех разрядов должна быть установлена прямая связь для облегчения перехода от низшей ступени к высшей.

53. Полная автономия и свобода преподавания в университетах и других высших школах. Увеличение их числа. Уменьшение платы за слушание лекций. Организация просветительной работы высшей школы для широких кругов населения. Свободная организация студенчества.

54. Количество средних учебных заведений должно быть увеличено соответственно общественной потребности; плата в них должна быть понижена. Местным общественным учреждениям должно быть предоставлено широкое участие в постановке учебно-воспитательного дела.

55. Введение всеобщего, бесплатного и обязательного обучения в начальной школе. Передача начального образования в заведование органов местного самоуправления. Организация органами самоуправления материальной помощи нуждающимся учащимся.

56. Устройство органами местного самоуправления образовательных учреждений для взрослого населения, элементарных школ для взрослых, народных библиотек, народных университетов.

57. Развитие профессионального образования.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Конституционно-демократическая партия (Партия народной свободы, ПНС, кадеты, «партия профессоров») создана в октябре 1905 года в Москве из Союза освобождения и Союза земцев-конституционалистов. Численность (1906 г.) 70—100 тысяч человек. Наиболее известные деятели: П.Н. Милюков, А.М. Колюбакин, В.А. Маклаков, А.И. Шингарев, П.Б. Струве, Ф.И. Родичев, В.И. Вернадский, В.Д. Набоков, братья Долгорукие, И.И. Петрункевич, М.М. Винавер, С.А. Муромцев, Ф.А. Головин. Основной печатный орган — газета «Речь» (с февраля 1906 г.).

В Первой Государственной Думе (1906) было 179 депутатов-кадетов (председатель Думы — С.А. Муромцев), во Второй Государственной Думе (1907) — 98 (председатель Думы — Ф.А. Головин), в Третьей Государственной Думе (1907—1912) — 54, в Четвертой Государственной Думе (1912—1917) — 52.

Кадеты играли руководящую роль во Временном правительстве. В первом составе их представителями были П.Н. Милюков, А.И. Шингарев, Н.В. Некрасов, А.А. Мануйлов. После июльского кризиса — Ф.Ф. Кокошкин, С.Ф. Ольденбург, П.П. Юренев, А.В. Карташев. В последнем составе — А.И. Коновалов, Н.М. Кишкин, С.А. Смирнов.

Специальным декретом Советского правительства от 28 ноября (11 декабря) 1917 года Партия народной свободы была объявлена «партией врагов народа».

Кадеты входили в состав нескольких белых правительств и антисоветских подпольных центров. В 20-е годы в эмиграции ПНС распалась на два крыла — Демократическую группу (П.Н. Милюков) и Республиканско-демократическое объединение (С. Каминка).

ПРОГРАММА «СОЮЗА 17-ГО ОКТЯБРЯ»

Высочайший манифест 17-го октября 1905 года, являющийся дальнейшим развитием закона 6 августа 1905 года о Государственной Думе, приобщает народ русский к деятельному участию, в согласии с Царем, в государственном строительстве. Народному представительству, прочно опирающемуся на широкие народные массы, черпающему свою силу, силу знания нужд народных и силу своего авторитета из общего избирательного права, манифест предоставляет выдающееся влияние в делах законодательства и управления страной. Как непременное условие для осуществления этих прав политической свободы и для упрочения начал гражданской свободы устанавливаются, в качестве основных элементов правового строя, неприкосновенность личности, свобода совести, слова, печати, собраний и союзов. Таким образом, манифест 17-го октября знаменует собой величайший переворот в судьбах нашего отечества: отныне народ наш становится народом политически свободным, наше государство — правовым государством, а в наш государственный строй вводится новое начало — начало конституционной монархии.

Новый порядок, призывая всех русских людей без различия сословий, национальностей и вероисповеданий к свободной политической жизни, открывает перед ними широкую возможность законным путем влиять на судьбу своего отечества и предоставляет им на почве права отстаивать свои интересы, мирной и открытой борьбой добиваться торжества своих идей, своих убеждений. Новый порядок, вместе с тем, налагает на всех, кто искренно желает мирного обновления страны и торжества в ней порядка и законности, кто отвергает одинаково и застой, и революционные потрясения, священную обязанность в настоящий момент, переживаемый нашим отечеством, момент торжественный, но полный великой опасности, дружно сплотиться вокруг тех начал, которые провозглашены в манифесте 17-го октября, настоять на возможно скором, полном и широком осуществлении этих начал правительственною властью, с прочными гарантиями их незыблемости, и оказать содействие правительству, идущему по пути спасительных реформ, направленных к полному и всестороннему обновлению государственного и общественного строя России.

Какие бы разногласия ни разъединяли людей в области политических, социальных и экономических вопросов, великая опасность, созданная вековым застоем в развитии наших политических форм и грозящая уже не только процветанию, но и самому существованию нашего отечества, призывает всех к единению, к деятельной работе для создания сильной и авторитетной власти, которая найдет опору в доверии и содействии народа и которая одна только в состоянии путем мирных реформ вывести страну из настоящего общественного хаоса и обеспечить ей внутренний мир и внешнюю безопасность.

С этой целью, на почве признания начал, возвещенных в Высочайшем манифесте, образуется союз, в который приглашаются войти как отдель-

Николай Бердяев В Петре были черты сходства с большевиками. Он и был большевик на троне.

ные лица, так и целые партии, программа коих в основных чертах совпадает с программой союза. Союз этот получает наименование «Союза 17-го октября» и провозглашает следующие основные положения:

1. Сохранение единства и нераздельности Российского Государства

Положение это обязывает признать, что жизненным условием для укрепления внешней мощи России и для ее внутреннего процветания является ограждение единства ее политического тела, сохранение за ее государственным строем исторически сложившегося унитарного характера. Вместе с тем, положение это обязывает противодействовать всяким предположениям, направленным прямо или косвенно к расчленению империи и к замене единого государства государством союзным или союзом государств. При широком развитии местного самоуправления на всем пространстве империи, при прочно установленных основных элементах гражданской свободы, при участии равно всех русских граждан, без различия национальности и вероисповедания, в создании правительственной власти, при признании за отдельными национальностями самого широкого права на удовлетворение и защиту своих культурных нужд в пределах, допустимых идеей государственности и интересами других национальностей, такое положение, отрицающее идею федерализма в применении к русскому государственному строю, вполне допускает объединение отдельных местностей империи в областные союзы для разрешения задач, входящих в пределы местного самоуправления, и нисколько не препятствует местным особенностям и интересам различных национальностей найти себе выражение и удовлетворение в законодательстве и управлении, основанных на признании безусловного равенства в правах всех русских граждан. Исключительно за Финляндией признается особое положение, дающее ей право на известное автономное государственное устройство при условии сохранения государственной связи с империей.

2. Развитие и укрепление начал конституционной монархии с народным представительством, основанным на общем избирательном праве

Это положение обязывает к признанию начала общего избирательного права, открывающего возможность всем русским гражданам участвовать в осуществлении государственной власти. Это положение, далее, призывает к коренному преобразованию нашего государственного строя на началах конституционных и к прочному закреплению за народным представительством дарованных ему манифестом прав деятельного участия, рядом с монархом, в законодательных трудах и управлении страной.

Это же положение признает и закрепляет за монархическим началом в изменившихся условиях политической жизни России новый государственно-правовой характер. Прежний неограниченный Самодержец, всемогущий по идее, но связанный в действительности всеми путами приказного строя, слабый вследствие отчужденности от него народа, становится конституционным монархом, который хотя и находит пределы своей воли в правах народного представительства, но в самом единении с народом, в союзе с землей, в новых условиях государственного строя получает новую мощь и новую высокую задачу быть верховным вождем свободного народа. Являясь в народном сознании по-прежнему воплощением государственного единства, служа неразрывной связью преемственно сменяющихся поколений, священным стягом, вокруг которого в минуту грозной опасности собирается народ русский, монархическое начало отныне получает новую историческую миссию величайшей важности. Возвышаясь над бесчисленными частными и местными интересами, над односторонними целями различных классов, сословий, национальностей, партий, монархия именно при настоящих условиях призвана осуществить свое предназначение — явиться умиротворяющим началом в той резкой борьбе, борьбе политической, национальной и социальной, для которой открывается ныне широкий простор провозглашением политической и гражданской свободы. Укрепление в русской политической жизни этих начал, противодействие всякому посягательству, откуда бы оно ни шло, на права монарха и на права народного представительства, как эти права определяются на почве манифеста 17-го октября, должно входить в задачи Союза. Только этим путем, путем единения монарха с народом, может быть создана та сильная, уверенная в себе правительственная власть, которая сумеет вернуть нам мир.

3. Обеспечение гражданских прав

В политически свободном государстве должна господствовать и гражданская свобода, создающая единственно надежную основу для всестороннего развития как духовных сил народа, так и естественной производительности страны. Манифест 17-го октября на первое место ставит дарование незыблемых основ гражданской свободы. Развитие и укрепление этих начал в законодательстве и нравах составляет одну из главнейших задач Союза.

Сюда входят прежде всего: свобода вероисповеданий, свобода слова, устного и печатного, свобода собраний и союзов. Сюда же относится обеспечение свободы передвижения, выбора места жительства и рода занятий, обеспечение свободы труда, промышленности, торговли, свободы приобретения собственности и распоряжения ею. Гражданская свобода предполагает также неприкосновенность личности, жилища, переписки, собственности граждан. Все эти права, огражденные законом, имеют один естественный предел в правах других граждан и в правах общества и государства. Никто не может быть арестован, подвергнут какому-либо насилию, обыску, лишению имущества и т. п. без постановления соответственной судебной власти. Всякое лицо, задержанное по какому-либо обвинению, должно в точно определенный и кратчайший срок, напр. 24 часа в городах, быть представлено судебной власти или освобождено. Для ограждения всех этих прав от посягательств, как со стороны частных лиц, так и со стороны лиц дол-

Василий Селюнин

За последние два года номинальные доходы населения выросли на 105 миллиардов, или примерно по тысяче на семью из трех человек, товаров же

жностных, они должны быть поставлены под защиту уголовных законов; при этом должна быть установлена судебная ответственность должностных лиц, каково бы ни было положение их.

4. Неотложность созыва Государственной Думы

Дальнейшее развитие политических форм должно находиться в органической связи со всей предшествующей исторической жизнью России. Созыв, как того требуют некоторые партии, учредительного собрания, собственною властью определяющего свою компетенцию, предполагает как бы отсутствие всякого правительства, заключает в себе полный разрыв связи с прошедшим и поведет к пересмотру таких начал нашего политического и общественного быта, кои не могут быть поколеблены без тяжелого революционного потрясения всей страны.

Обусловленная этим отсрочка в созыве Государственной Думы отдалит на неопределенное время восстановление нормального хода государственной жизни и законодательной работы, а вместе с тем и разрешение некоторых неотложных вопросов, связанных с жизненными интересами широких масс населения. Ввиду этого Союз высказывается против созыва учредительного собрания, которое только отдалит столь желанный час успокоения страны.

Государственная Дума первого призыва должна взять на себя проведение ближайших на очереди политических реформ, направленных к усовершенствованию народного представительства, как-то: пересмотр положения о Государственной Думе, избирательного закона и т. п. Наряду с этим она должна приступить к разрешению тех насущных вопросов, экономических, социальных и иных, неотложная необходимость разрешения коих выдвинута самой жизнью.

Приступив к органической созидательной работе, Государственная Дума, по мнению Союза, должна себе наметить для разработки и постепенного разрешения следующие вопросы первостепенной государственной важности.

а) Крестьянский вопрос

Из насущных реформ на первом месте должны быть поставлены меры к решительному и бесповоротному приобщению крестьян к полноте гражданских прав наравне с остальными гражданами. Сюда относится: отмена исключительных законоположений, юридически принижающих податные сословия, отмена административной опеки, признание мирского землевладения институтом гражданского права. Помимо настойчивых государственных забот в поднятии производительности земледелия, мерами к подъему крестьянского благосостояния являются: регулирование мелкой земельной аренды, преобразование деятельности крестьянского поземельного банка, содействие расселению и переселению, признание государственных и удельных земель фондом для удовлетворения земельной нужды бывших крестьян и других разрядов мелких землевладельцев, разверстание чересполосных крестьянских и помещичьих земель с обязательным отчуждением отрезков, мешающих хозяйственной цельности владений, и, наконец, при недостаточности этих мер, допустимое в случаях государственной важности отчуждение части частновладельческих земель на справедливых условиях вознаграждения, устанавливаемых законодательною силою.

б) Рабочий вопрос

Рабочий вопрос является в настоящее время одним из самых острых вопросов и имеет все права на особенные заботы со стороны Государственной Думы. Он не может быть, однако, решен удовлетворительно в интересах самого же рабочего без поддержки промышленности вообще; только правильно развивающаяся промышленность страны может обеспечить рабочего. Союз полагает, что Дума должна поставить себе общую задачу пересмотра, усовершенствования и расширения законодательства о рабочих в соответствии с местными особенностями отдельных производств и с началами, принятыми в этой области в наиболее просвещенных промышленных государствах. Сюда также относятся меры по обеспечению рабочих и их семей в случае болезни, инвалидности и смерти, меры к постепенному осуществлению страхования рабочих во всех видах труда, меры к ограничению рабочего времени для женщин и детей и в особо вредных для здоровья производствах.

Вполне признавая свободу профессиональных союзов и свободу стачек, как средств защиты рабочими своих интересов, следует, однако, признать необходимым законодательным путем регулировать условия этой экономической борьбы. Для этого, с одной стороны, должен быть выработан ряд действительных мер к устранению случаев насилия над личностью и посягательства на имущество, как способов принуждения к вступлению в союз или к участию в стачке, а с другой стороны — должны быть выделены в особую группу такие производства, предприятия и учреждения, от коих зависят жизнь и здоровье населения, важные общественные и государственные интересы, безопасность государства, интересы обороны, а условия работы и службы в таких отраслях, за которыми должно быть признано государственное значение, должны быть подчинены особым узаконениям, ограждающим интересы рабочих и служащих, но подчиняющим их высшему государственному интересу.

в) Развитие и укрепление начал местного самоуправления

Необходимым условием для обновления политической и общественной жизни России и для полного и последовательного проведения провозглашенных манифестом начал свободы является преобразование местного земского и городского самоуправления, с расширением его прав и круга деятельности, с приданием ему должной самостоятельности и упразднением административной опеки, с устройством мелкой земской единицы, с устранением сословности, с распространением начала самоуправления, по возможности, на все местности Империи и с привлечением к участию в самоуправлении возможно широкого круга лиц. Участие в обновленном самоуправлении будет лучшей школой политической свободы для народа.

практически не прибавилось, кроме разве что водки.
А в оборот поступают новые мешки купюр — Гознак вдвое сократил производство орденов, сильно уменьшил выпуск партбилетов и переключил мощности на печатание денег. Если и дальше дело пойдет так, нынешние, да и будущие сбережения обратятся в труху, — это уже бывало в истории. Тогда отмена старых денег и введение новых станет чисто формальным безболезненным актом.

1990

г) Заботы о народном образовании

Имея в виду, что лишь при повышении умственного уровня народа и при распространении в его среде образования можно ожидать, что он достигнет и политической зрелости, и хозяйственного благосостояния, что самая судьба выполняемой ныне политической реформы в значительной мере зависит от степени сознательности, с которой население отнесется к осуществлению дарованных ему прав, Союз высказывается за то, чтобы нужды народного просвещения были выдвинуты в законодательных работах Думы на первый план и чтобы на удовлетворение этих нужд были ассигнованы самые широкие средства. В частности, должны быть приняты все меры, чтобы в скорейшем времени могло быть практически осуществлено всеобщее начальное обучение. Рядом с этим должно быть увеличено число средних и высших учебных заведений, особенно технических в пределах действительной общественной потребности, с предоставлением самой широкой свободы частной и общественной инициативы в деле открытия и содержания учебных заведений. Одновременно должны быть пересмотрены программы, с целью их упрощения и приближения к потребностям жизни, и должна быть установлена прямая, преемственная связь между различными ступенями школ.

д) Реформы судебные и административные

Упорядочение форм общежития и упрочение гражданской свободы возможны лишь тогда, когда население страны находит опору и защиту всех своих прав в суде и когда деятельность административных властей поставлена в границы, ясно очерченные в законе. Исходя из этих положений, «Союз 17-го октября» ставит себе задачей проведение в Государственной Думе таких реформ, кои направлены к введению бессословного суда, руководствующегося общими для всего населения законами, к введению выборного начала в местную юстицию, к установлению независимости суда от воздействия администрации и упразднению судебно-административных учреждений, к ограждению гласности судопроизводства и расширению компетенции суда присяжных. В сфере административного строя, кроме общего его упрощения и подчинения его деятельности строгим нормам закона, следует установить доступный всем способ обжалования распоряжений и действий административных властей, порядок строгой ответственности, уголовной и гражданской, за нарушение этими властями установленных законов и прав частных лиц, а для уничтожения тягостной всем волокиты надлежит установить в законе срочность работ администрации.

е) Меры экономические и финансовые

Ввиду громадных расходов, предстоящих в ближайшие годы государственному казначейству для осуществления неотложных и важных культурных задач, а также в интересах государственной обороны в деле пересоздания наших военных — сухопутных и морских сил, нельзя рассчитывать на сокращение государственной сметы расходов и на облегчение общего податного бремени. Но уже в ближайшее время возможно осуществить более рациональную и справедливую налоговую систему и переложить податную тягость с более слабых плеч на плечи более сильные. С целью подъема народного благосостояния, увеличения государственных доходов и в интересах распределения обложения в соответствии с платежными силами плательщиков предполагаются:

1) меры содействия подъему производительных сил, особенно в области сельскохозяйственной промышленности;

2) организация доступного населению сельскохозяйственного, промышленного и торгового кредита;

3) широкое распространение технических знаний с целью поднятия производительности народного труда;

4) меры к наилучшему использованию народных богатств, причем должен быть облегчен доступ к эксплуатации лесных и минеральных богатств, принадлежащих государству;

5) развитие прямых налогов, на основе прогрессивного подоходного обложения, с постепенным понижением косвенного обложения предметов первой необходимости;

6) развитие сети железных, а равно водных, шоссейных и грунтовых дорог.

Как бы, однако, ни были необходимы и действительны все указанные правительственные меры, следует помнить, что подъем народного благосостояния возможен лишь при том условии, чтобы нашему национальному характеру были возвращены те драгоценные качества, которых он лишился под влиянием старого порядка, основанного на правительственном надзоре, правительственной опеке, правительственной помощи. Политическая и гражданская свобода, провозглашенная манифестом 17-го октября, должна пробудить к жизни дремлющие народные силы, вызвать дух смелой энергии и предприимчивости, дух самодеятельности и самопомощи и тем самым создать прочную основу и лучший залог нравственного возрождения.

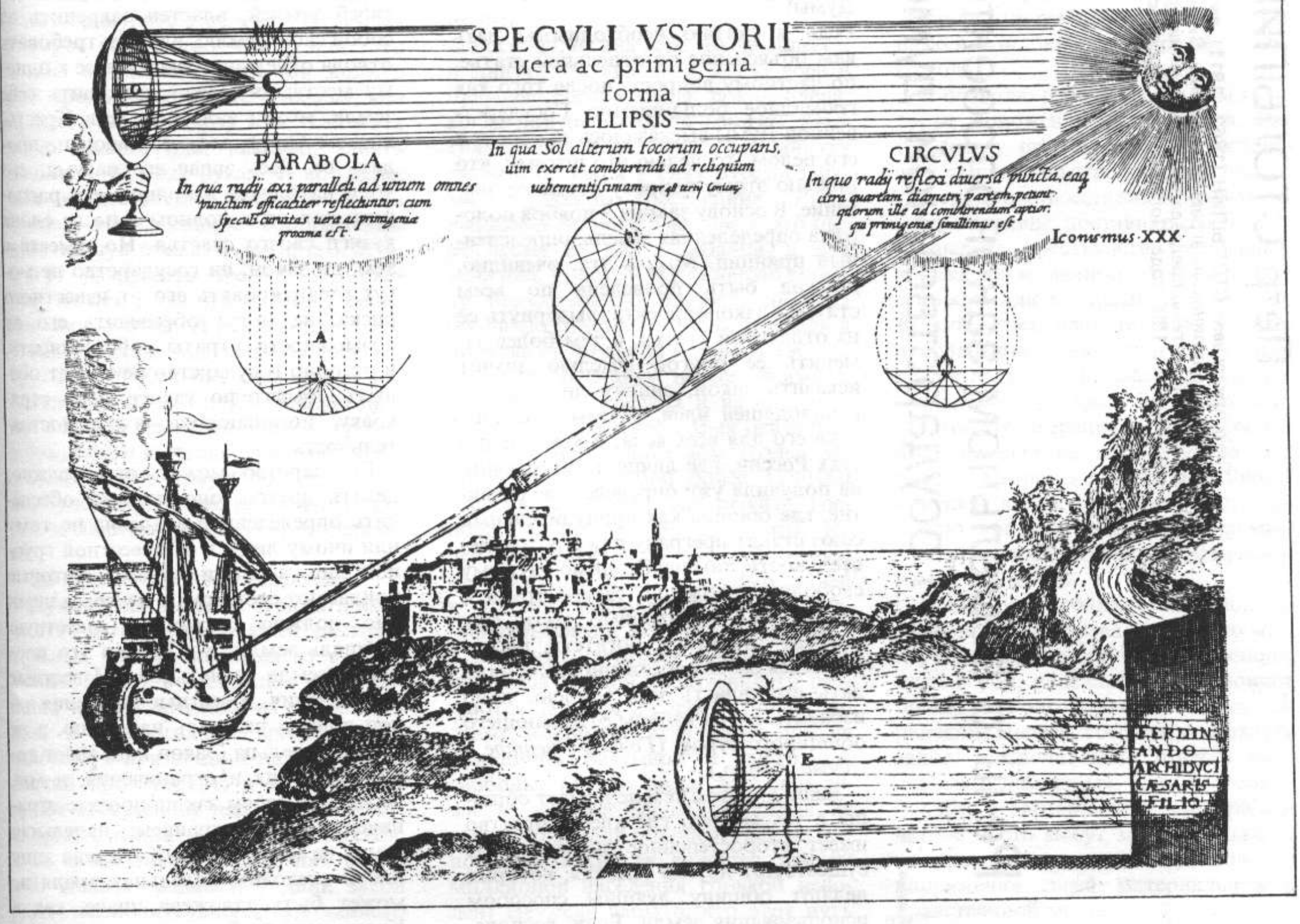
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Союз 17 октября (октябристы) возник в октябре 1905 года из Союза земцев-конституционалистов. Во главе — Д. Н. Шипов. В 1906 году из Союза 17 октября выделилась группа «мирнообновленцев» (Д. Н. Шипов, М. А. Стахович, П. А. Гейден) и его возглавил А. И. Гучков (директор правления Московского учетного банка, председатель страхового общества «Россия»).

Численность партии при ее образовании составляла 50—60 тысяч человек. В Первой Государственной Думе ее представляли 16 депутатов, во Второй — 54, в Третьей — 154, в Четвертой — 98.

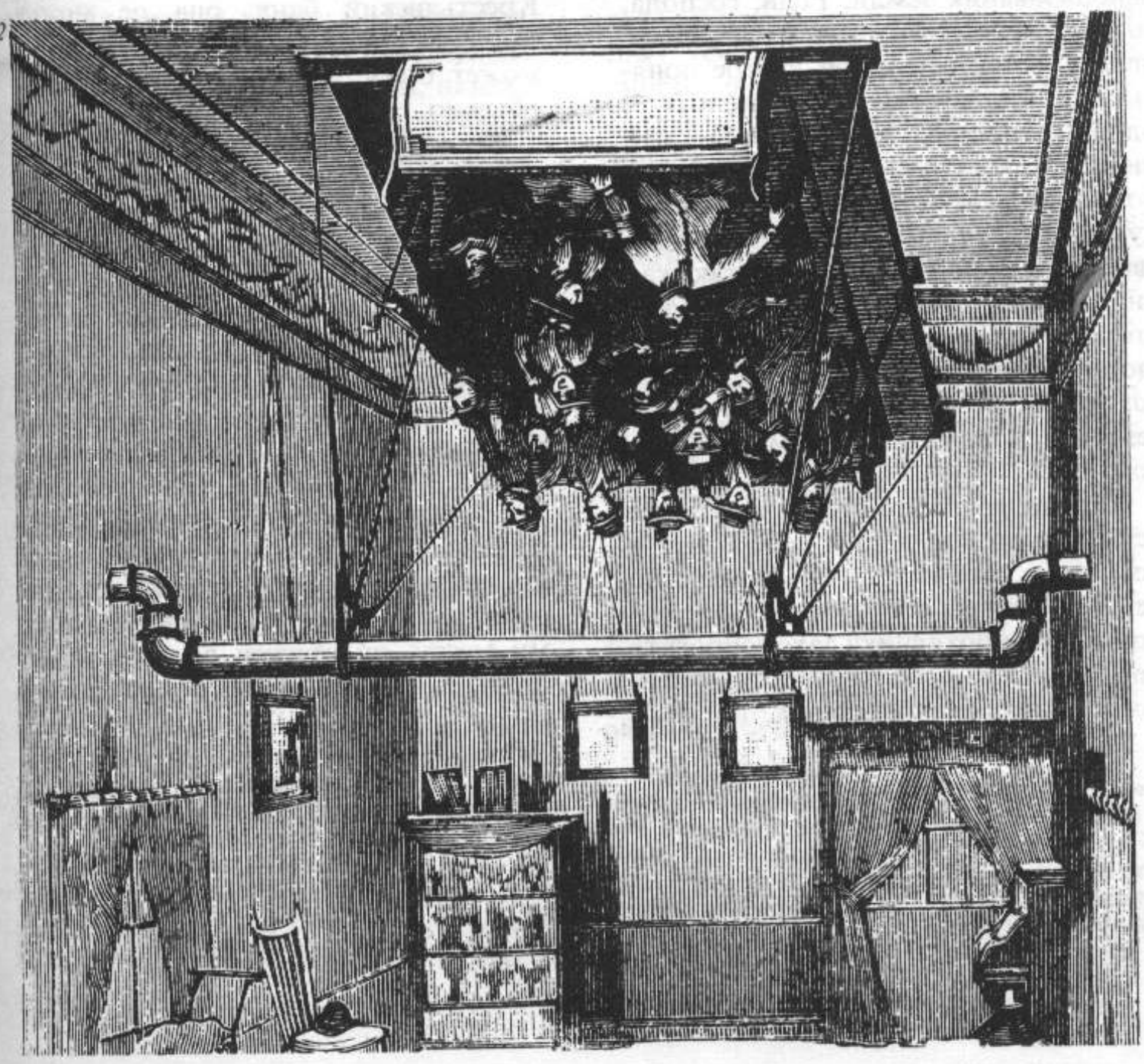
В декабре 1913 года Союз 17 октября распался на три фракции: левых октябристов, земцев-октябристов (А. И. Гучков, М. В. Родзянко — председатель Третьей и Четвертой Государственных Дум, а после Февральской революции — Временного комитета Государственной Думы) и правых. Гучков входил в состав Временного правительства.

После февраля 1917 года партия снова распалась на несколько течений, наиболее крупным из которых была Либерально-республиканская партия. В эмиграции большинство октябристов оставили политику.



2

Забавы прошлого — энергетика будущего



3

Петр СТОЛЫПИН

Петр Аркадьевич СТОЛЫПИН (1862—1911), автор знаменитой «столыпинской» аграрной реформы. Видный государственный деятель, председатель Совета министров России с 1906 года. Погиб от руки террориста.

Речь о земельном законопроекте в Государственной думе

Господа члены Государственной Думы!

Если я считаю необходимым дать вам объяснение по отдельной статье, по частному вопросу, после того как громадное большинство Государственной Думы высказалось за проект в его целом, то делаю это потому, что придаю этому вопросу коренное значение. В основу закона 9 ноября положена определенная мысль, определенный принцип. Мысль эта, очевидно, должна быть проведена по всем статьям законопроекта; выдернуть ее из отдельной статьи, а тем более заменить ее другой мыслью значит исказить закон, значит лишить его руководящей идеи. А смысл закона, идея его для всех ясна. В тех местностях России, где личность крестьянина получила уже определенное развитие, где община как принудительный союз ставит преграду для его самодеятельности, там необходимо дать ему свободу приложения своего труда к земле, там необходимо дать ему свободу трудиться, богатеть, распоряжаться своей собственностью; надо дать ему власть над землею, надо избавить его от кабалы отживающего общинного строя. (*Голоса в центре и справа:* браво.)

Закон вместе с тем не ломает общины в тех местах, где хлебопашество имеет второстепенное значение, где существуют другие условия, которые делают общину лучшим способом использования земли. Если, господа, мысль эта понятна, если она верна, то нельзя вводить в закон другое понятие, ей противоположное; нельзя, с одной стороны, исповедовать, что люди созрели для того, чтобы свободно, без опеки располагать своими духовными силами, чтобы прилагать свободно свой труд к земле так, как они считают это лучшим, а с другой стороны, признавать, что эти самые люди недостаточно надежны для того, чтобы без гнета сочленов своей семьи распоряжаться своим имуществом.

Противоречие это станет еще более ясным, если мы дадим себе отчет в том, как понимает правительство термин «личная собственность» и что понимают противники законопроекта под понятием «собственности семейной». Личный собственник, по смыслу закона, властен распоряжаться своей землей, властен закрепить за собой свою землю, властен требовать отвода отдельных участков ее к одному месту; он может прикупить себе земли, может заложить ее в Крестьянском банке, может, наконец, продать ее. Весь запас его разума, его воли находится в полном его распоряжении: он в полном смысле слова кузнец своего счастья. Но, вместе с тем, ни закон, ни государство не могут гарантировать его от известного риска, не могут обеспечить его от возможности утраты собственности, и ни одно государство не может обещать обывателю такого рода страховку, погашающую его самостоятельность.

Государство может, оно должно, делать другое: оно должно обеспечить определенное владение не тому или иному лицу, а за известной группой лиц, за теми лицами, которые прилагают свой труд к земле; за ними оно должно сохранить известную площадь земли, а в России это площадь земли надельной. Известные ограничения, известные стеснения закон должен налагать на землю, а не на ее владельца. Закон наш знает такие стеснения и ограничения, и мы, господа, в своем законопроекте ограничения эти сохраняем: надельная земля не может быть отчуждена лицу иного сословия; надельная земля не может быть заложена иначе, как в Крестьянский банк; она не может быть продана за личные долги; она не может быть завещана иначе, как по обычаю.

Но что такое семейная собственность? Что такое она в понятиях тех лиц, которые ее защищают, и для чего она необходима? Ею, во-первых, создаются известные ограничения, и ограничения эти относятся не к земле, а к ее собственнику. Ограничения эти весьма серьезны: владелец земли, по предложению сторонников семейной собственности, не может, без согласия членов семьи, без согласия детей домохозяина, ни продавать своего участка, ни заложить его, ни даже, кажется, закрепить его за собой, ни отвести надел к одному месту: он стеснен во всех своих действиях. Что же из этого может выйти?

Печатается по изданию: П. Л. Столыпин. — Речи в Государственной думе и Государственном совете 1906—1911 годов. Телекс, Нью-Йорк, 1990.

Э. Надточий

У нас в стране — вслед за Марксом — принято понимать этот процесс в рамках преодоления отчуждения. Дескать, наступит такое прекрасное время, когда живой труд заменят автоматы, человек выйдет из непосредственного процесса производства, совершит скачок в царство свободы и будет предаваться свободной игре духовных и физических сил в

Возьмем домохозяина, который хочет прикупить к своему участку некоторое количество земли; для того чтобы заплатить верхи, он должен или продать часть своего надела, или продать весь надел, или заложить свою землю, или, наконец, занять деньги в частных руках. И вот дело, для осуществления которого нужна единая воля, единое соображение, идет на суд семьи, и дети, его дети, могут разрушить зрелое, обдуманное, может быть, долголетнее решение своего отца. И все это для того, чтобы создать какую-то коллективную волю?! Как бы, господа, не наплодить этим не одну семейную драму. Мелкая семейная община грозит в будущем и мелкою чересполосицей, а в настоящую минуту она, несомненно, будет парализовать и личную волю, и личную инициативу поселянина.

Во имя чего все это делается?

Думаете ли вы этим оградить имущество детей отцов пьяных, расточительных или женившихся на вторых женах? Ведь и в настоящее время община не обеспечивает их от разорения; и в настоящее время, к несчастью, и при общине народился сельский пролетариат; и в настоящее время собственник надельного участка может отказаться от него и за себя, и за своих совершеннолетних сыновей. Нельзя создавать общий закон ради исключительного, уродливого явления, нельзя убивать этим кредитоспособность крестьянина, нельзя лишать его веры в свои силы, надежд на лучшее будущее, нельзя ставить преграды обогащению сильного для того, чтобы слабые разделили с ним его нищету.

Не разумнее ли идти по другому пути, который широко перед вами развил предыдущий оратор, гр. Бобринский второй? Для уродливых, исключительных явлений надо создавать исключительные законы; надо развить институт опеки за расточительность, который в настоящее время Сенат признает применимым и к лицам сельского состояния. Надо продумать и выработать закон о недробимости участков. Но главное, что необходимо, это, когда мы пишем закон для всей страны, иметь в виду разумных и сильных, а не пьяных и слабых. *(Рукоплескания центра.)*

Господа, нужна вера. Была минута, и минута эта недалека, когда вера в будущее России была поколеблена, когда нарушены были многие понятия; не нарушена была в эту минуту лишь вера Царя в силу русского пахаря и русского крестьянина. *(Рукоплескания справа и в центре.)* Это было время не для колебаний, а для решений. И вот, в эту тяжелую минуту правительство приняло на себя большую ответственность, проведя в порядке ст. 87 закон 9 ноября 1906 г., оно делало ставку не на убогих и пьяных, а на крепких и на сильных. Таковых в короткое время оказалось около полумиллиона домохозяев, закрепивших за собой более 3 200 000 десятин земли. Не парализуйте, господа, дальнейшего развития этих людей и помните, законодательствуя, что таких людей, таких сильных людей в России большинство. *(Рукоплескания центра и отдельные — справа.)*

Многих смущает, что против принципа личной собственности раздаются нападки и слева и справа, но левые, в данном случае, идут против принципов разумной и настоящей свободы. *(Голос слева:* здорово; *голос из центра:* верно.*)* Неужели не ясно, что кабала общины, гнет семейной собственности является для 90 миллионов населения горькой неволей? Неужели забыто, что этот путь уже испробован, что колоссальный опыт опеки над громадной частью нашего населения потерпел уже громадную неудачу? *(Голос из центра:* верно.)

Нельзя возвращаться на этот путь, нельзя только на верхах развешивать флаги какой-то мнимой свободы. *(Голос из центра:* браво.) Необходимо думать и о низах, нельзя уходить от черной работы, нельзя забывать, что мы призваны освободить народ от нищенства, от невежества, от бесправия. *(Бурные рукоплескания центра и на некоторых скамьях справа; голос слева:* а от виселиц?*)* И насколько нужен для переустройства нашего царства, переустройства его на крепких монархических устоях, крепкий личный собственник, насколько он является преградой для развития революционного движения, видно из трудов последнего съезда социалистов-революционеров, бывшего в Лондоне в сентябре настоящего года.

Я позволю себе привести вам некоторые положения этого съезда. Вот то, между прочим, что он постановил: «Правительство, подавив попытку открытого восстания и захвата земель в деревне, поставило себе целью распылить крестьянство усиленным насаждением личной частной собственности или хуторским хозяйством. Всякий успех правительства в этом направлении наносит серьезный ущерб делу революции». *(Бурные рукоплескания центра.)* Затем дальше: «С этой точки зрения современное положение деревни прежде всего требует со стороны партии неуклонной критики частной собственности на землю, критики, чуждой компромиссов со всякими индивидуалистическими тяготениями».

Поэтому сторонники семейной собственности и справа и слева, по мне, глубоко ошибаются. Нельзя, господа, идти в бой, надевши на всех воинов броню или заговорив всех их от поранений. Нельзя, господа, составлять закон, исключительно имея в виду слабых и немощных. Нет, в мировой борьбе, в соревновании народов почетное место могут занять только те из них, которые достигнут полного напряжения своей материальной и нравственной мощи.

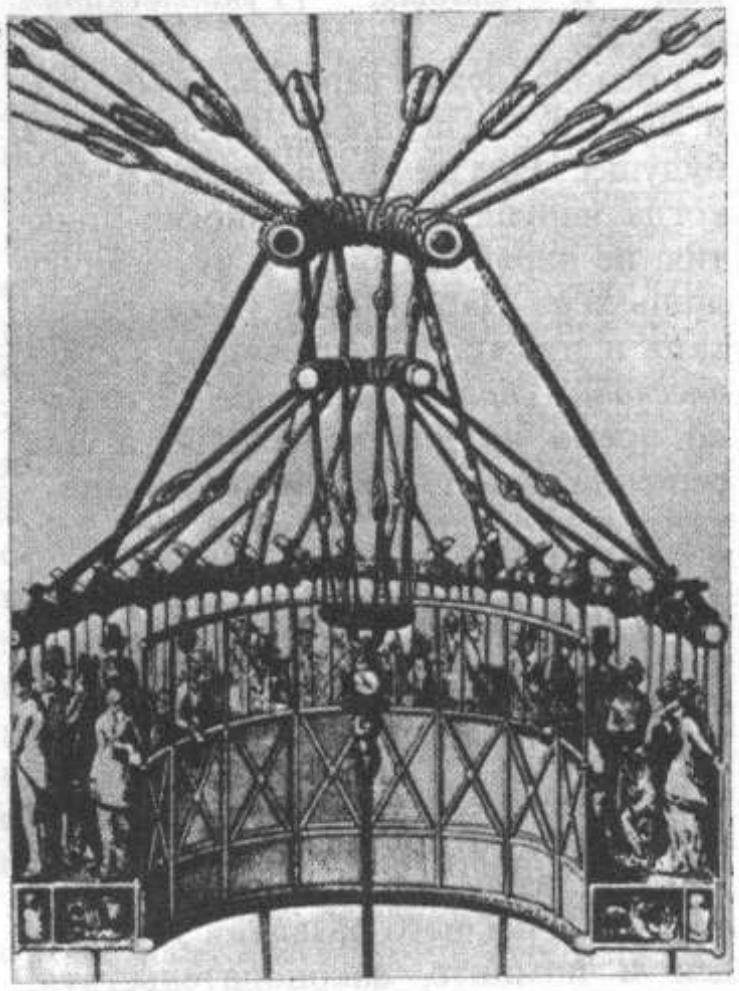
Поэтому все силы и законодателя, и правительства должны быть обращены к тому, чтобы поднять производительные силы единственного источника нашего благосостояния — земли. Применением к ней личного труда, личной собственности, приложением к ней всех, всех решительно народных сил необходимо поднять нашу обнищавшую, нашу слабую, нашу истощенную землю, так как земля — это залог нашей силы в будущем, земля — это Россия. *(Бурные рукоплескания центра и на некоторых скамьях справа; иронические восклицания слева.)*

5 декабря 1908 г.

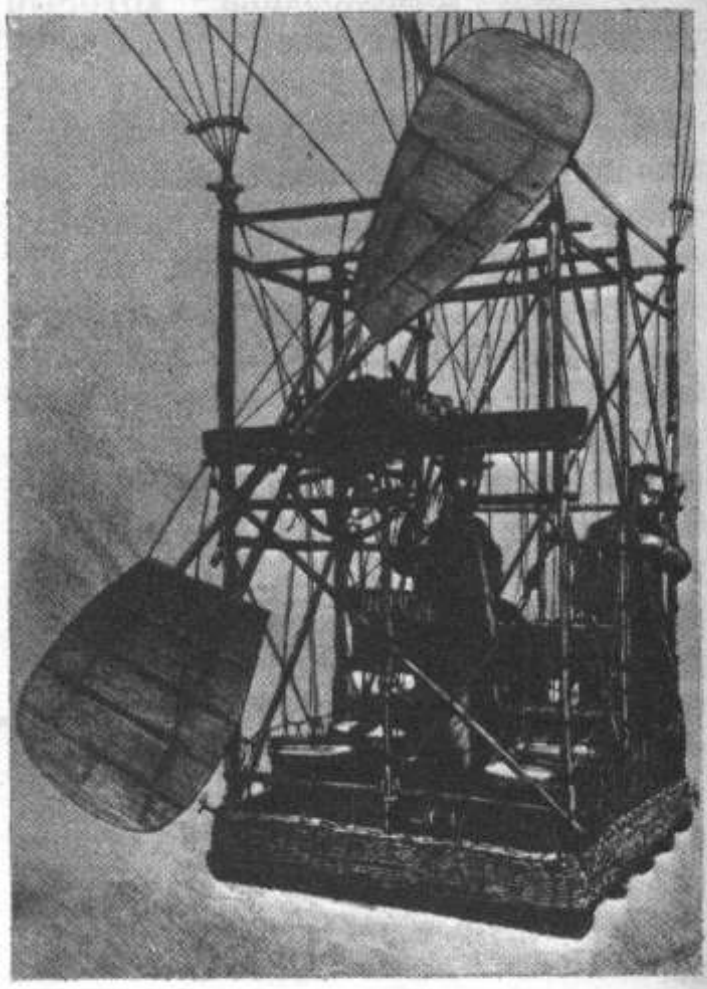
пространстве свободного времени. Удобство этой точки зрения хотя бы в том, что она — как и всякая утопия — считает презренным рассуждения о каких-то конкретных исторических процессах, происходящих здесь и сейчас...
Если существующие автоматические технологии все туже затягивают петлю экологической катастрофы — значит, это не те автоматы; если расширение зоны свободного времени ведет к росту потребностей в психоделии — значит, это не то свободное время и т. д. Верхом этих утопических концепций является перестроечное мнение о том, что коль социализм не приблизил нас к вожделенному скачку в царство свободы — значит, это «не тот» социализм...

1

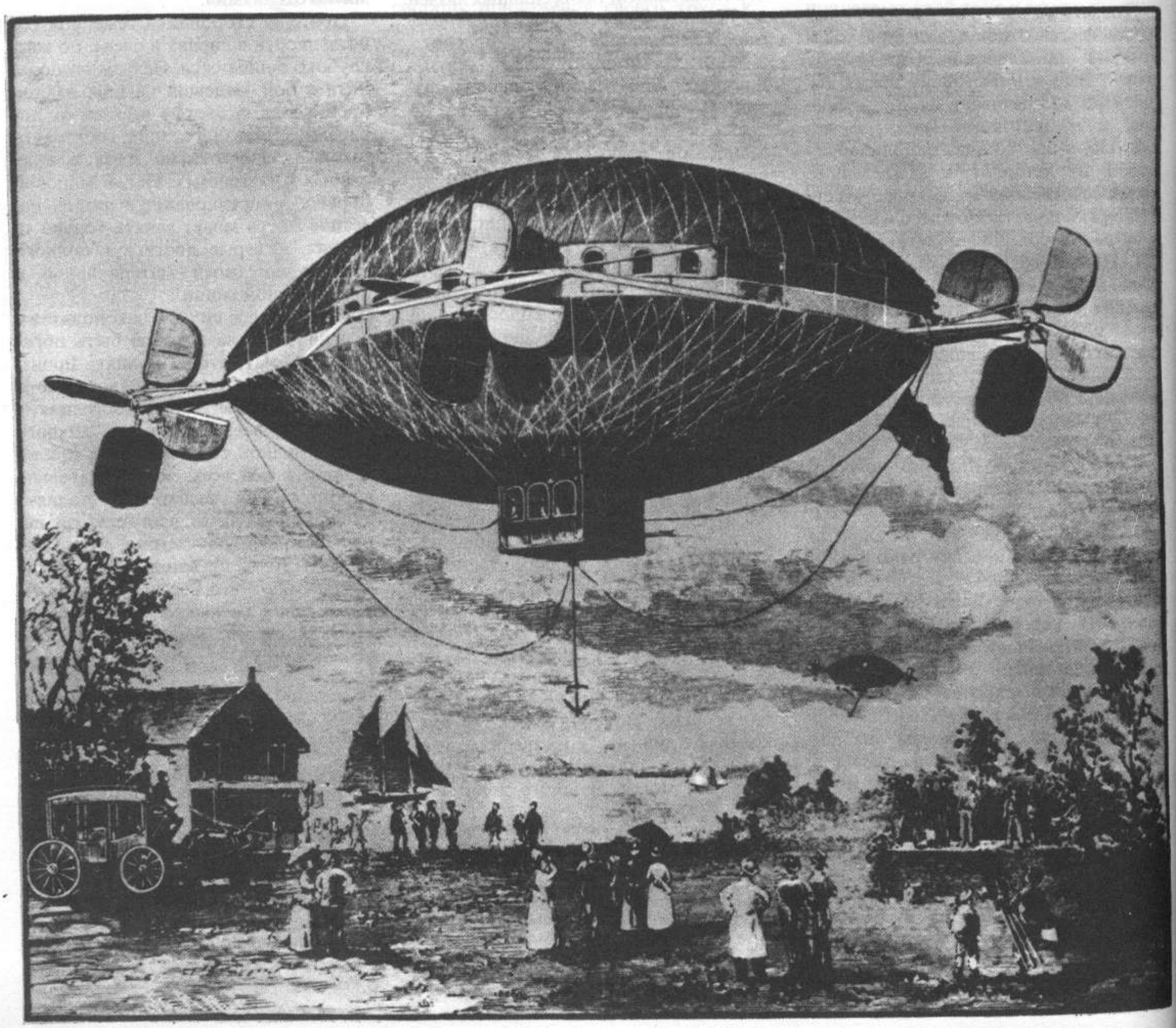
2



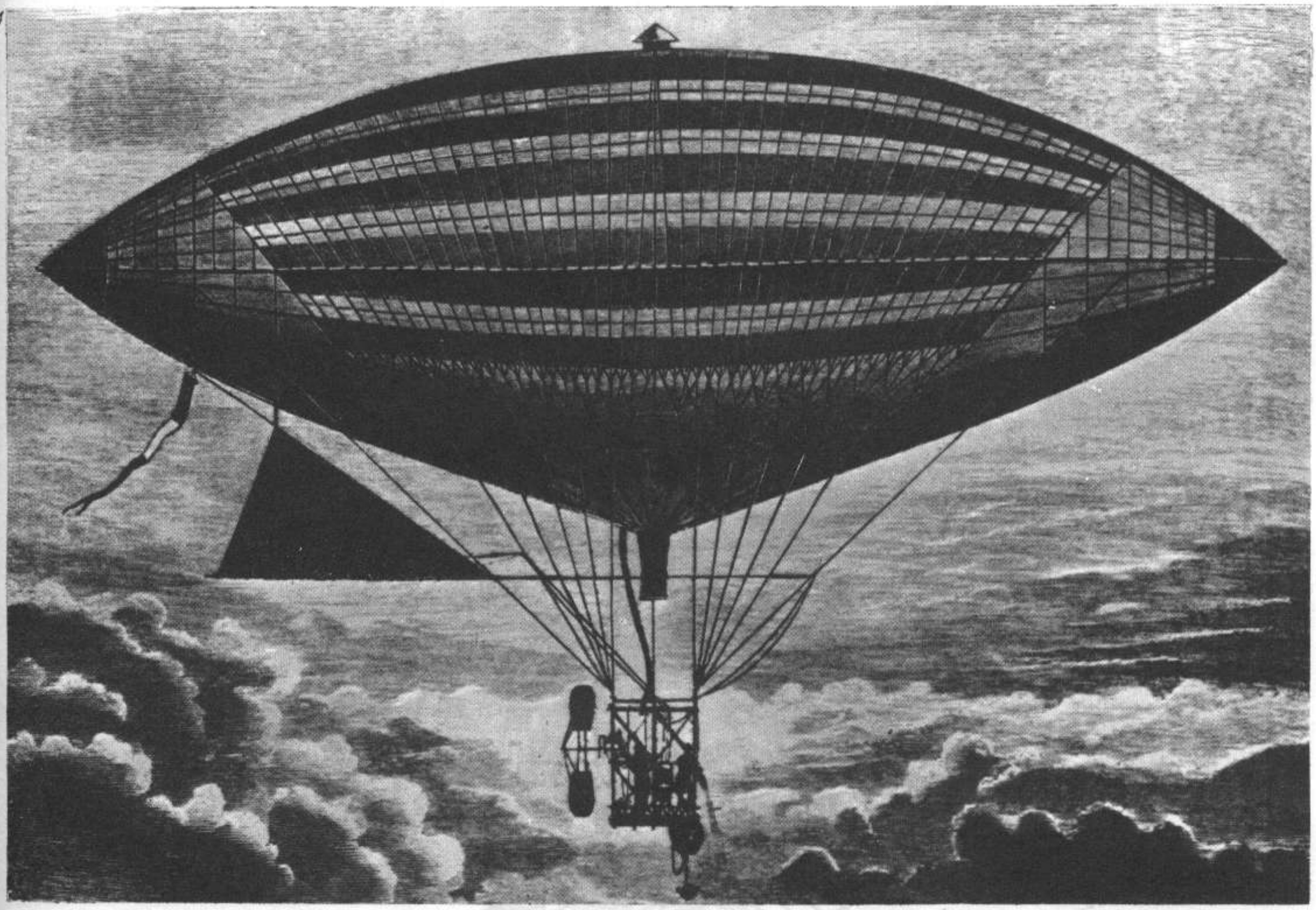
3



5

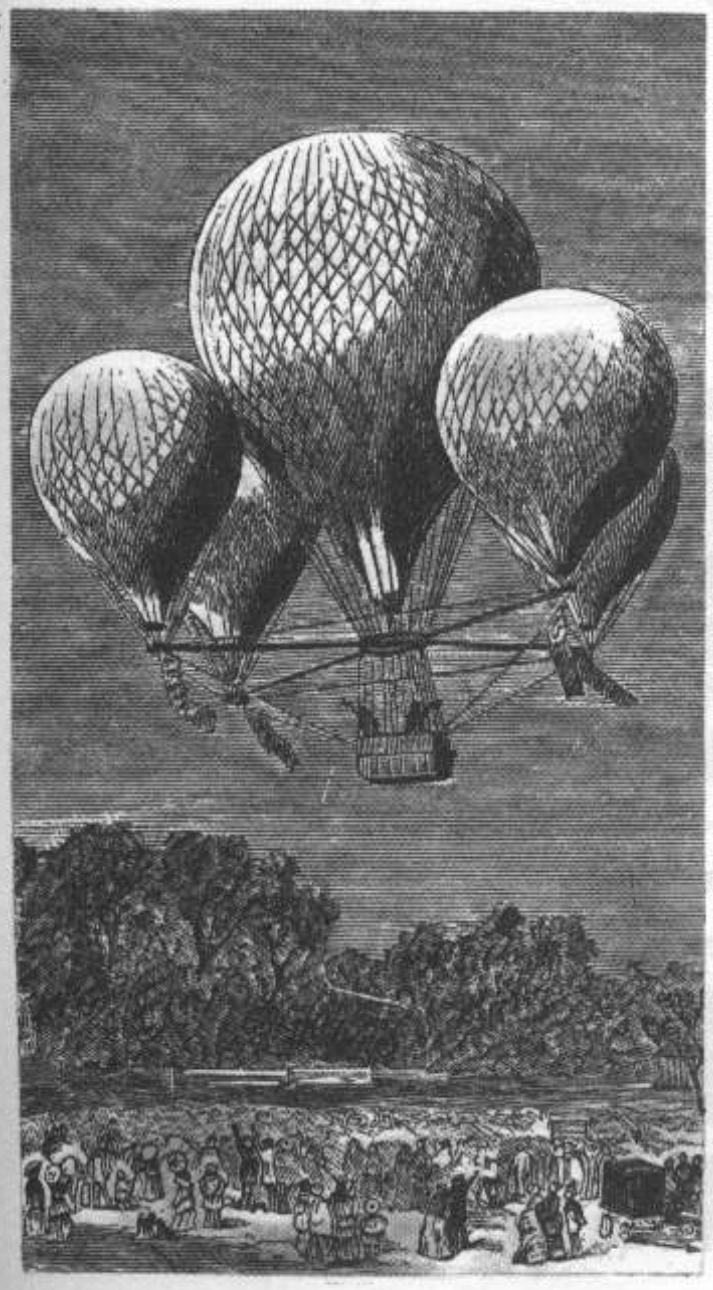


4

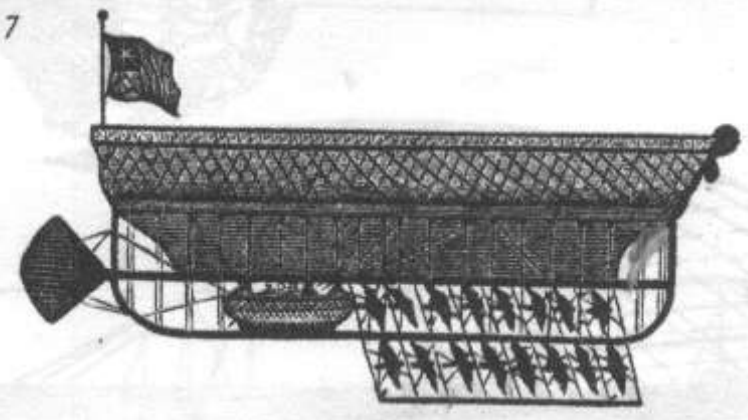


«...Нам купили синий-синий
презеленый красный шар...»

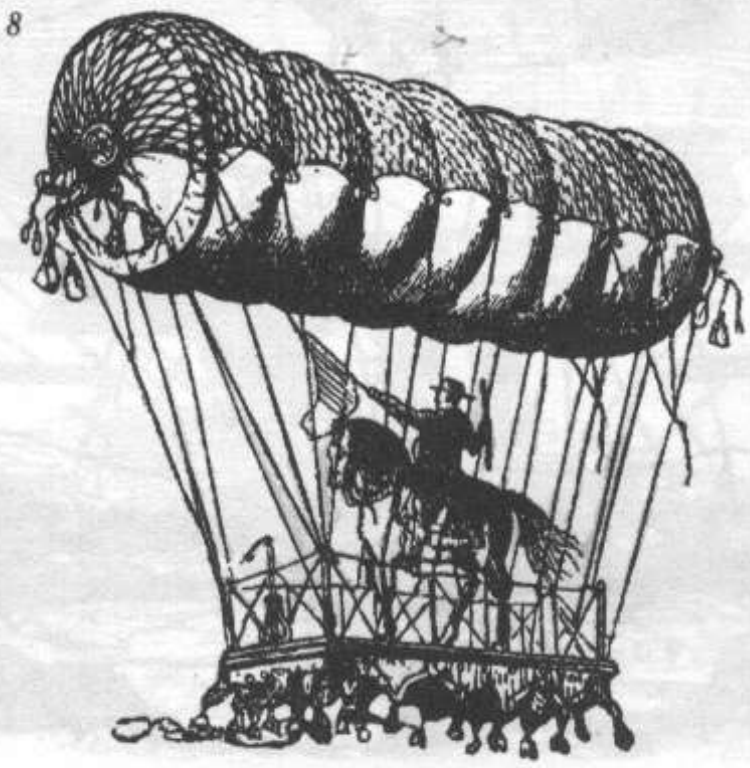
6



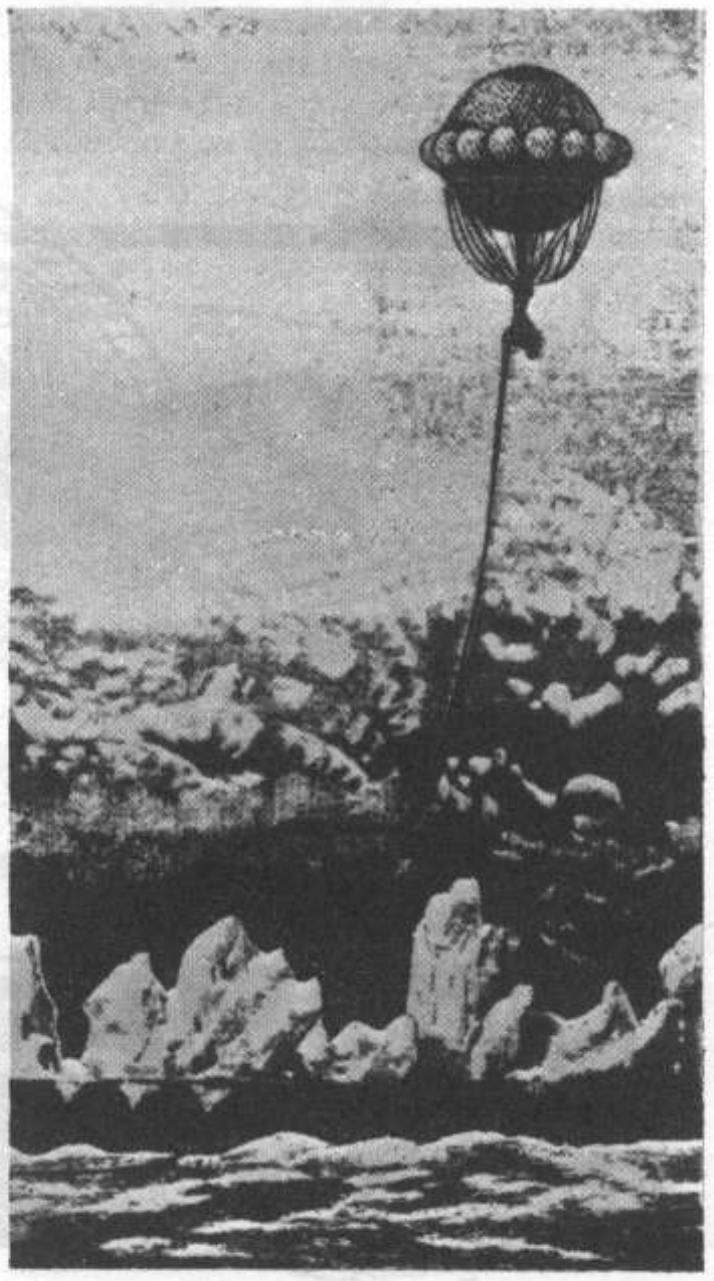
7

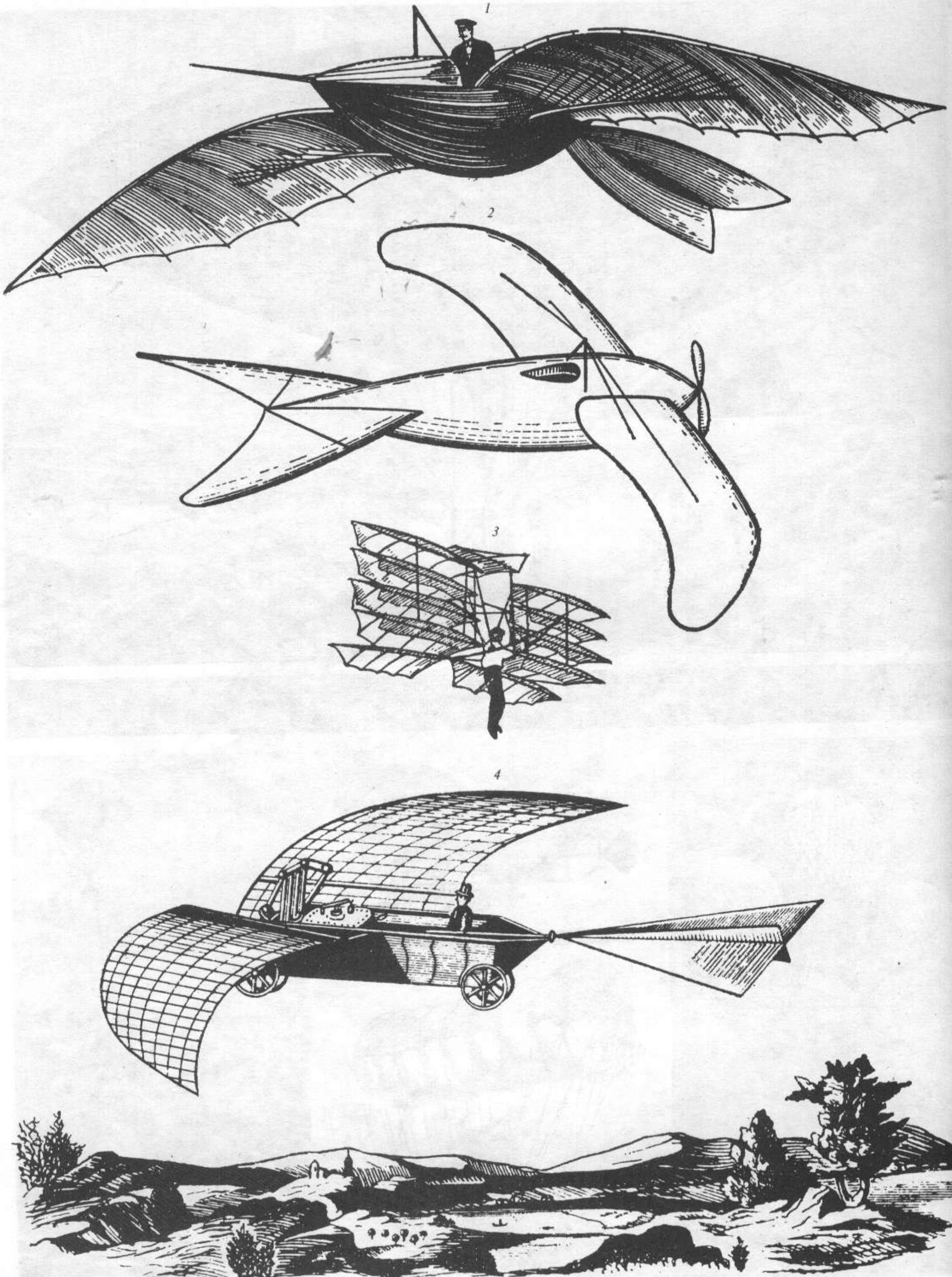


8

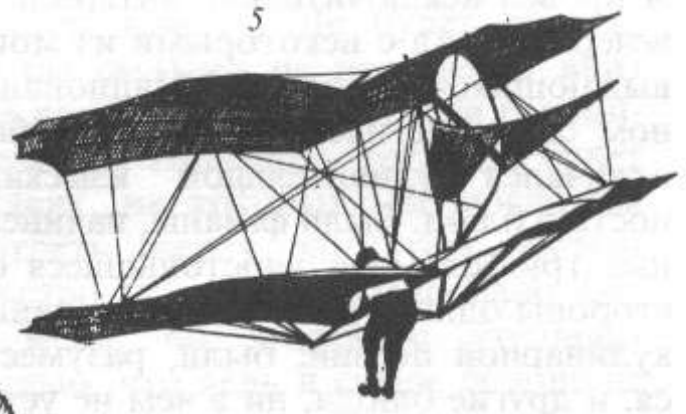


9

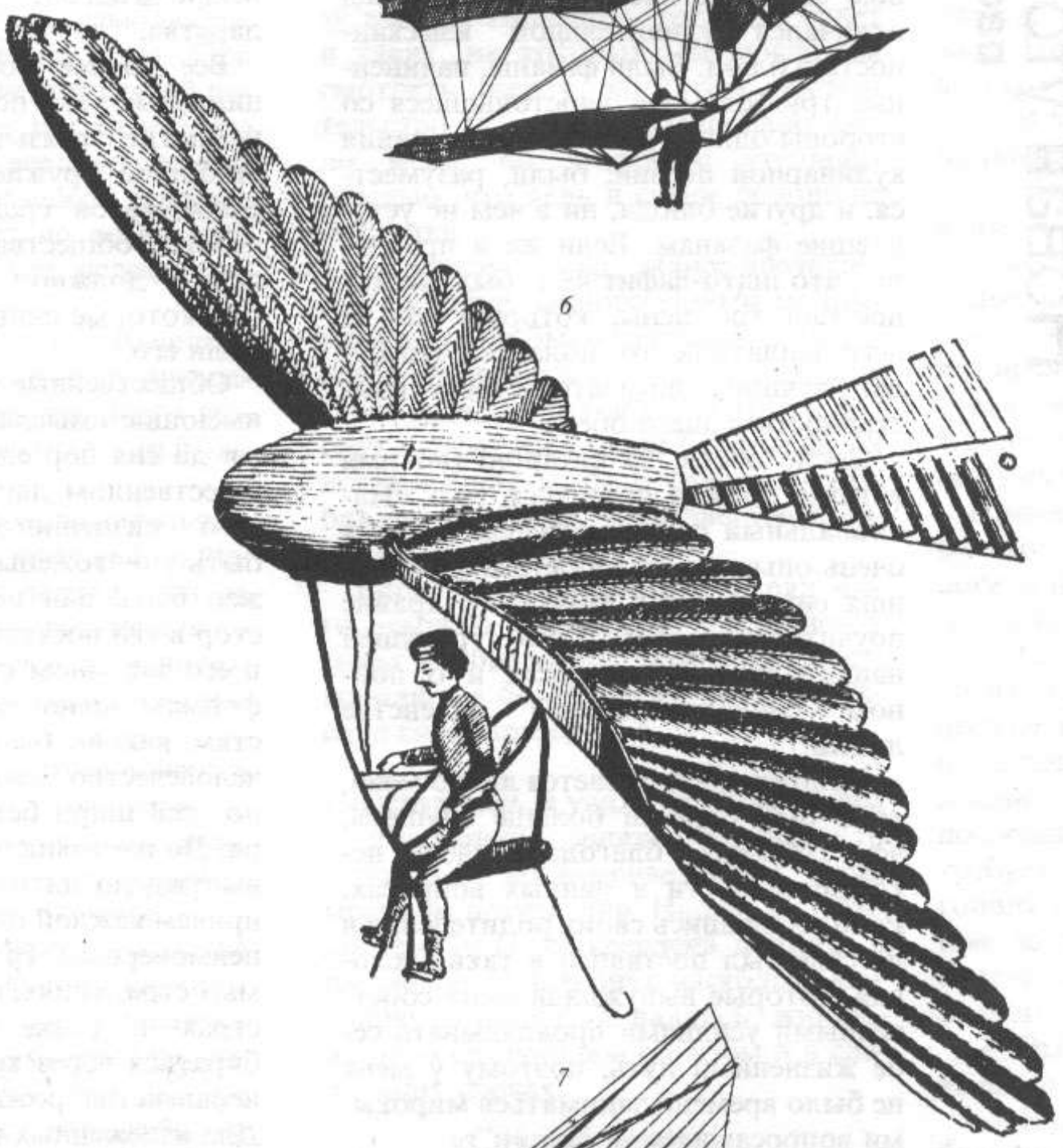



1
2
3
4

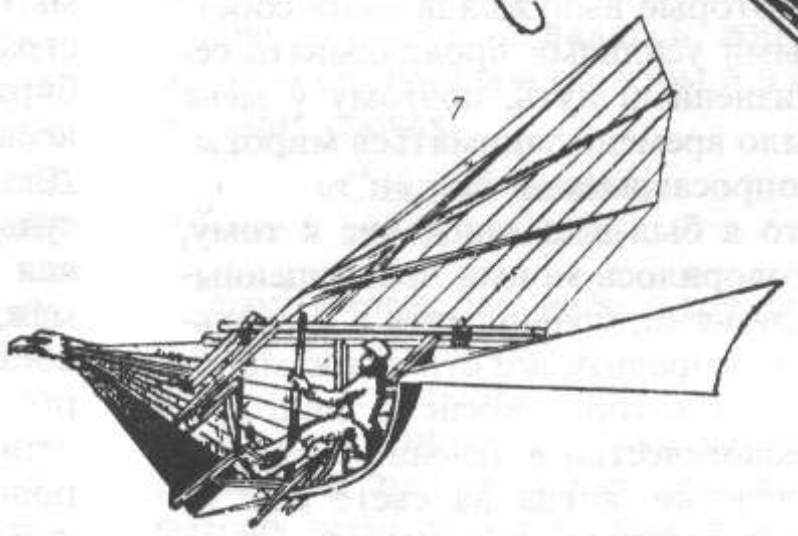
5



6



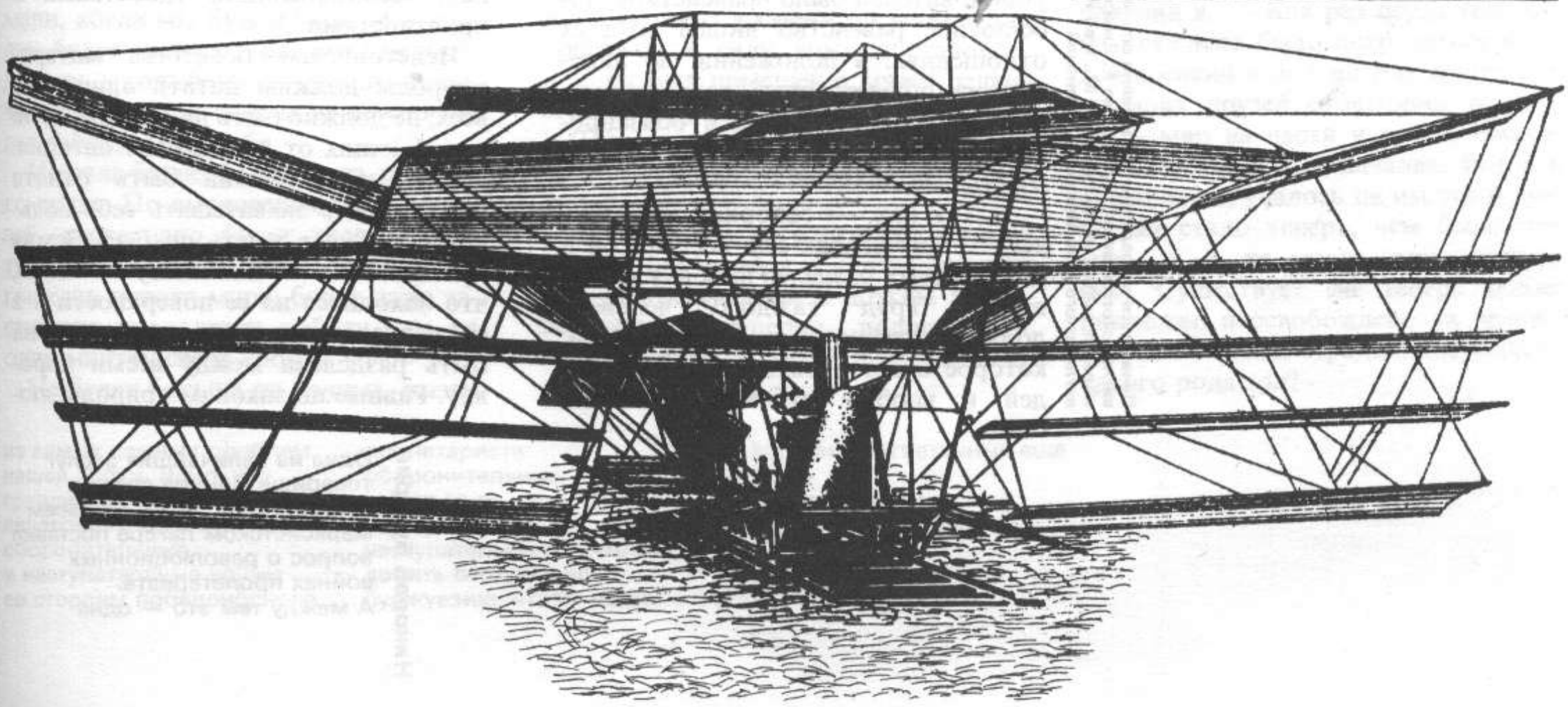
7



Два дня искали мы в тайге капот и крылья,
Два дня искали мы Серегу.
А он чуть-чуть недолетел, совсем немного
Недотянул он до посадочных огней...

Юрий Визбор

8



Новая утопия
рассказ

Джером Клапка ДЖЕРОМ

Джером Клапка ДЖЕРОМ (1859—1927), английский юморист — прозаик и драматург, известный всем как автор книги «Трое в лодке, не считая собаки». Непревзойденный мастер комической ситуации. Был в России, написал книгу «Русские, какими я их знаю».

Я провел исключительно интересный вечер. Обедал с некоторыми из моих выдающихся друзей в «Национальном социалистическом клубе». Обед отличался удивительной изысканностью блюд. Были фазаны, начиненные трюфелями и удостоившиеся со стороны одного из нас наименования кулинарной поэзии; были, разумеется, и другие блюда, ни в чем не уступавшие фазанам. Если же я прибавлю, что шато-лафит 49 г. был вполне достоин той цены, которую мы за него заплатили, то, полагаю, это будет лучшим доказательством изысканности нашего обеда.

После обеда, за сигарою (во имя истины должен сознаться, что «Национальный социалистический клуб» очень опытен в приобретении и хороших сигар), у нас завязалась крайне поучительная беседа о грядущей национализации капитала и о полном социалистическом равенстве людей.

Положим, что касается лично меня, то я был обречен больше слушать, чем говорить, благодаря своей некомпетентности в данных вопросах. Рано лишившись своих родителей, я в детстве был поставлен в такие условия, которые вынуждали меня собственными усилиями прокладывать себе жизненный путь; поэтому у меня не было времени заниматься мировыми вопросами.

Зато я был весь внимание к тому, что говорилось моими просвещенными друзьями, бравшимися в несколько лет исправить все страшное мировое зло, в котором коснело злополучное человечество в течение прошлых тысячелетий, когда на свете еще не было этих самых моих друзей.

Главным лозунгом великих мирообновителей было «равенство», абсолютное равенство людей во всех отношениях: в положении, во влиянии на общественные дела, в имуществе, во всех правах и обязанностях, а следовательно, в довольстве и счастье.

— Так как, — говорили мои друзья, — мир создан для всех, то он и должен быть разделен поровну между всеми. Труд каждого человека должен идти на пользу государства, которое будет питать и одевать людей и вообще заботиться об их нуждах и потребностях. Никто не имеет права обогащаться сам своим трудом; все должны трудиться исключительно для пользы государства.

Все личное богатство — это социальные узы, посредством которых немногие связывали многих, это страшное оружие, служившее кучке разбойников средством отбирать у целого общества плоды его трудов, — должно быть вырвано из рук тех, которые слишком уж долго держали его.

Общественные различия, как не имеющие смысла преграды, которыми до сих пор сдерживались в своем естественном движении волны могучего жизненного потока, должны быть уничтожены. Человечеству должен быть дан неограниченный простор в его поступательном движении, в его законном стремлении к новым формам жизни, к новым возможностям, каковы бы они ни были. Пусть человечество свободно разливается по всей шири безграничного простора. До настоящего времени оно было вынуждено идти лишь тесной кучей, причем каждой отдельной личности, с неимоверным трудом и в неописуемых страданиях, на свой собственный страх и риск, приходилось перебираться через крутизны и пропасти неравенства рождения и положения. Для изнеженных ног баловней слепой судьбы дорога была ровная, укатанная и выложенная мягким газоном, между тем как истерзанные ноги обездоленных не имели другой опоры, кроме острых камней. Пусть же отныне для всех людей будет один ровный, прямой, просторный и мягкий путь, усыпанный розами, лилиями и фиалками — словом, обставленный всевозможными удобствами и приятностями.

Неистощимые богатства материприроды должны питать одинаково всех; не должно быть ни голодных, ни погибающих от излишества питания. У сильного должна быть отнята возможность захватывать себе больше, чем будет иметь слабый. Земля принадлежит человечеству со всем, что находится на ее поверхности и в ее недрах; поэтому она и должна быть разделена между всеми поровну. Равные по законам природы лю-

Печатается по изданию: «Собрание сочинений неподражаемого английского юмориста Джерома К. Джерома, приложение к журналу «Вокруг света» за 1912 г., кн. 8, М., т-во И.Д.Сытина». Перевод с английского Л.А. Мухиной-Аксеновой.

Николай Бухарин

Одна из величайших заслуг товарища Ленина состоит в том, что он первый во всем марксистском лагере поставил вопрос о революционных войнах пролетариата. А между тем это — одна

ди должны быть равными и по своим собственным законам.

Из неравенства возникли все отрицательные явления в человечестве: нужда, преступление, грех, самолюбие, заносчивость, лицемерие и пр. При полном равенстве исчезнет всякий повод, всякий соблазн к совершению всяческого зла; а раз все это исчезнет, то таящееся в человеческой природе благородство засияет во всей своей красоте, во всем своем ослепительном блеске.

Лишь только будет объявлено равенство людей, земля сразу превратится в рай, но без унижающего людей деспотизма какого бы то ни было божества.

В конце этих широковещательных разглагольствований ораторы подняли бокалы и провозгласили тост за священное равенство (разумеется, в этом тосте участвовал и я), а потом велели подать себе шартреза и новых сигар.

Я вернулся домой с этого вечера в глубоком раздумье и, улегшись в постель, долго не мог уснуть, мысленно перебирая нарисованные моими друзьями картины нового мира.

В самом деле, как прекрасна была бы наша жизнь, если бы эти картины могли осуществиться, а не оставались бы, так сказать, лишь одними набросками. Я представлял себе их уже воплощенными и видел, что действительно ничего лучшего и быть не может.

Не стало бы больше борьбы за существование и вражды между отдельными личностями; исчезли бы зависть, вражда и ненависть; не стало бы больше горьких разочарований, нужды и страданий. Государство будет печься о нас с самой минуты нашего рождения и вплоть до того времени, когда мы будем зарыты в землю; будет снабжать нас всем необходимым, с колыбели до могилы включительно, и нам совсем не нужно будет заботиться о себе.

Исчезла бы необходимость тяжелого труда. По вычислениям моих друзей, достаточно будет трехчасового труда в день со стороны каждого из граждан нового мира; будет даже запрещено продолжать работу хоть на одну минуту сверх срока.

Не будет больше ни бедных, вызывающих жалость, ни богатых, вызывающих зависть. Не будет никого, кто бы смотрел на нас сверху вниз и на кого мы сами смотрели бы снизу вверх... Положим, тогда не будет и таких, на которых мы могли бы смотреть сверху вниз; это обстоятельство немного разочаровало было меня, но я вскоре утешился мыслью, что ведь и самое солнце не без пятен.

Во всяком случае, общее впечатление от придуманного моими мудрыми друзьями было прекрасное. Жить совершенно беспечно, без малейших забот и почти без всякого труда, без горя и страданий, даже без мысли, за исключением думы о славных судьбах человечества, — разве это в самом деле не рай?..

Вдруг блестящие картины грядущего земного блаженства спутались в моем воображении, померкли, растворились в безобразный хаос, и я заснул сном праведника.

Проснувшись, я увидел себя лежащим в стеклянном ящике, в каком-то огромном, но неприветливом, даже мрачном помещении. Над моим изголовьем была прикреплена дощечка с надписью. Я повернул насколько мог голову и прочитал надпись, изображенную следующим образом и в следующих словах:

«Спящий человек
XIX столетия

Этот человек был найден спящим в одном из домов Лондона, во время великой революции 1899 года. По словам квартирной хозяйки этого человека, он спал уже более десяти лет, потому что она все забывала разбудить его. Было постановлено, в научных целях, не будить его, а наблюдать, сколько времени он может еще проспать. В силу этого постановления, он был помещен в музей редкостей 11 февраля 1900 года.

(Просят посетителей в отверстия для прохождения воздуха воды не лить)».

Какой-то старик с интеллигентным лицом, возившийся недалеко от меня над распределением в другом ящике высушенных ящериц, подошел ко мне, сдернул с меня покрывало и спросил:

— Что с вами? Вас что-нибудь обеспокоило?

— Нет, ничего, — ответил я. — Я проснулся просто потому, что выспался, как это всегда со мной бывает. Но скажите, пожалуйста, в каком мы теперь веке?

— В двадцать девятом. Вы проспали ровно тысячу лет.

— Тысячу лет?! — невольно воскликнул я. — Впрочем, что ж, тем лучше: за такой продолжительный отдых у меня, наверное, накопилось много новых сил, — продолжал я, выбираясь из ящика и спускаясь со стола, на котором стоял ящик. — Продолжительный сон всегда считался лучшим восстановителем сил.

Приняв вертикальное положение вместо горизонтального, т. е. став на ноги, я действительно почувствовал в себе прилив новых сил.

— Предполагаю, что вы сейчас захотите сделать то, что обыкновенно прежде всего делают люди в вашем положении, — довольно кисло промолвил старик, не ответив на мои последние слова. — Вы, вероятно, потребуете, чтобы я провел вас по всему городу и объяснил вам все происшедшие за тысячу лет перемены. И вы будете осыпать меня вопросами и разного рода замечаниями.

— Вы угадали, — подхватил я. — Именно это я и желал бы сделать.

— Ну, конечно, — еще кислее пробурчал он. — Так идемте, чтобы скорее покончить с этим.

И он двинулся из помещения.

Спускаясь с ним с лестницы, я спросил его:

— Значит, теперь все в порядке?

— Что именно? Насчет какого порядка вы спрашиваете? — в свою очередь спросил мой спутник.

— Да насчет мирового порядка, — пояснил я. — Как раз перед тем, как мне суждено было погрузиться в такой крепкий и долгий сон, некоторые из моих друзей собирались раскрошить мир на части и потом воссоздать его на новых началах. Вот я и спрашиваю, удалось ли им это и лучше ли стало теперь, чем было при мне... т. е. до моего тысячелетнего сна? Существует ли теперь общее равенство и освобождено ли человечество от греха, страданий и всякого такого рода зол?

из самых важных проблем нашей эпохи. Ясно, что грандиозный мировой переворот будет включать и оборонительные, и наступательные войны со стороны победоносного пролетариата: оборонительные — чтобы отбиться от наступающих империалистов, наступательные — чтобы добить отступающую буржуазию, чтобы поднять на восстание угнетенные еще народы, чтобы освободить и раскрепостить колонии, чтобы закрепить завоевания пролетариата.

— О да! — немного оживившись, ответил мой спутник. — Вы увидите, что теперь нет ничего общего с тем, что было тысячу лет назад. Порядок у нас образцовый. И мы немало потрудились ради установления этого порядка за все то время, которое вы проспали. Мы переделали всю землю до неузнаваемости и сделали из нее совершенство. Теперь уж никто не делает на ней что-нибудь дурное и неправое. А что касается равенства, то у нас изъяты из него только одни идиоты.

Манера старика выражаться показалась мне довольно вульгарной, но я не решился высказать ему это.

Мы пошли по городу. Кругом было очень чисто и тихо. Снабженные номерами улицы были прямые и широкие; все они перекрещивались под прямыми углами и поражали полной однообразностью. Прежних экипажей с лошадьми совсем не было видно. Передвижение производилось исключительно или пешком, или же в фурах с электрической тягой. Люди, попадавшиеся нам изредка навстречу, были очень спокойные и серьезные и все на одно лицо, словно они были членами одного семейства. Одеты они были точь-в-точь так же, как был одет мой спутник, т. е. в серую блузу, наглухо застегнутую вокруг шеи и подпоясанную ремнем, и в серые панталоны. Все были черноволосые и с начисто выбритыми лицами.

— Неужели все эти люди — близнецы? — спросил я.

— Близнецы? — с видимым изумлением повторил старик. — С чего вам пришла в голову такая несуразная мысль?

— Почему же «несуразная»? — немного обиженно возразил я. — Чем же иначе объяснить удивительное сходство всех встречных между собой и с вами? У всех одни лица, одинакового черного цвета волосы...

— Что касается этого, то у нас установлено, как ненарушимое правило, иметь черные волосы, — пояснил мой спутник. — У кого же они от природы другого цвета, тот обязан выкрасить их в черный.

— Для чего же это? — полюбопытствовал я.

— Как для чего?! — вскинулся на меня старик. — Неужели вы и этого не понимаете? Я же вам говорил, что у нас теперь процветает **полное равенство**. А какое же это было бы равенство, если бы одним из нас, будь то мужчина или женщина, было разрешено чваниться белокурыми или, как вы в свое время называли их, «золотистыми» волосами, у другого голова горела бы, как в огне, от рыжей растительности, у третьего чернелась бы, как уголь, а у иных белелась бы, как снег? Нет, в наши счастливые дни люди равны не только по положению, но и по внешности. Установив для всех мужчин обязательное бритье лиц и для обоих полов одинаковый цвет волос и стрижку их в одинаковую длину, мы некоторым образом исправляем недочеты природы.

— А почему вы предпочли всем цветам черный? — спросил я.

— Не знаю, — ответил старик. — Мне достаточно знать, что этот цвет раз навсегда установлен...

— Кем? — поинтересовался я.

— Разумеется, **большинством,** — с особенной торжественностью ответил мой спутник, благоговейно приподымая свою безобразную шляпу и смиренно опуская глаза, как делали прежние пуритане во время молитвы.

Задумавшись, я машинально следовал за стариком. Потом, заметив, что нам навстречу попадаются одни мужчины, я спросил:

— Разве в этом городе нет женщин?

— Как «нет женщин»?! — вскричал старик. — Сколько угодно. Мы уже много встречали их.

— Однако я не вижу их, — продолжал я. — Неужели вы думаете, что я не сумел бы сразу отличить женщину от мужчины?

— Да вот вам идут две женщины, — сказал мой провожатый, указывая на проходившую мимо нас пару людей, одетых в те же серые блузы и панталоны.

— Но по каким же признакам можно узнать, что это женщины? — недоумевал я.

— По металлическим номерам, которые мы все носим на груди, — ответил старик.

— Ах, вот оно что!.. А я думал, что этими бляхами у вас обозначаются только полицейские, и удивлялся, что их так много, между тем как обыкновенных обывателей совсем не видно, — сказал я.

— Нет, каждый обыватель имеет свой номер: мужчины узнаются по нечетным номерам, а женщины — по четным. Полицейских же у нас нет: мы в них не нуждаемся, — поучал меня старик.

— Изумительно просто! — заметил я. — Значит, вы только по этим бляхам и отличаете мужчину от женщины?

— Конечно, — коротко ответил мой провожатый, которому, очевидно, начинало надоедать мое любопытство.

Несколько времени мы опять шли молча, потом я спросил:

— А для чего каждый из вас должен иметь номер?

Старик усмехнулся и, с сожалением взглянув на меня, произнес:

— Какие все странные вопросы вы задаете!.. Впрочем, я ожидал их. Номера служат для того, чтобы люди могли отличаться друг от друга.

— А разве у вас нет имен?

— Конечно нет.

— Почему?

— Да просто потому, что в именах было слишком много неравенства у прежних людей. Одни из них называли себя Монморанси и свысока смотрели на тех, которые назывались Смитами, а Смиты отворачивались от Джонсов. И так далее до бесконечности. Каждый хвалился своим именем и с презрением относился к носителям других имен. Для того чтобы пресечь в корне это возмутительное явление, было решено совсем уничтожить имена и заменить их номерами.

— И Монморанси не протестовали против этого? — удивлялся я.

— Как не протестовать! Протестовали, и даже очень сильно, но были подавлены Смитами и Джонсами, которые составляли **большинство**, — с прежней торжественностью и благоговением ответил провожатый.

— Но разве номера первые и вторые не смотрели свысока на номера третьи и четвертые и так далее по порядку? — продолжал я.

— Да, вначале кичились и этим

Александр Герцен

Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания, и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущею, неизвестною нам революцией...

различием, — подтвердил старик. — Но с уничтожением богатства отдельных лиц числа лишились своего прежнего значения, за исключением разве промышленных целей, так что в настоящее время номер 100 уже не считает себя выше номера 1 000 000.

Так как в музее, в котором я проснулся, не было никаких приспособлений для умывания, то я и не умывался, а теперь, почувствовав крайнюю потребность освежиться умыванием, я осведомился у своего спутника, где бы мне можно было произвести эту операцию.

— У нас не полагается умываться самим, — заявил провожатый. — Подождите до половины пятого, тогда вас умоют к чаю.

— Как умоют?! — вскричал я. — Ведь я не маленький, могу и сам...

— Вы будете умыты правительственными должностными лицами, — прервал меня старик.

— Но зачем же понадобилось правительству брать на себя обязанности няньки по отношению к взрослым? — недоумевал я.

Старик пояснил, что невозможно поддержать равенства между людьми, если им будет предоставлена свобода умываться, когда и как им вздумается. Были люди, которые привыкли умываться три или четыре раза в день, между тем как другие чуть не раз в год чувствовали необходимость счищать с себя грязь. Благодаря этому образовались два класса: чистых и грязных, которые так и называли друг друга, вследствие чего стали было возрождаться прежние предрассудки. Чистые презирали грязных, а грязные ненавидели чистых. Ввиду этого правительство было вынуждено взять на себя заботу и об умывании граждан. Были назначены особые должностные лица, которые два раза в день и производят умывание всех граждан. Частные же умывания совсем воспрещены.

Обходя улицы, я не видел отдельных домов, были только здания вроде огромных, грубо устроенных бараков, и притом все на один лад, без малейших различий. На углах красовались такие же здания, но гораздо меньших размеров и с надписями: «Музей», «Госпиталь», «Зала для диспутов», «Баня», «Гимназия», «Академия Наук», «Выставка предметов промышленности», «Школа красноречия» и т. д.

— Разве в этом городе не живут? — осведомился я.

— Ах, какие удивительные вопросы! — снова воскликнул мой спутник. — Где же, по-вашему, живут наши граждане, если не в городе?

— Так неужели они живут в этом «городе»? — недоумевал я. — Ведь тут совсем нет жилых домов.

— Таких домов, какие были тысячу лет назад, у нас, разумеется, нет, да мы в них и не нуждаемся, потому что живем в братстве и равенстве, — продолжал старик. — Мы живем вот в этих самых зданиях или, вернее, в блоках зданий. В каждом блоке помещается тысяча человек. В каждом помещении сто постелей. Кроме спален, в каждом блоке имеются строго рассчитанных размеров столовые, ванные, одевальные и кухни.

В семь часов утра, по звуку колокола, все встают и сами убирают свои постели. В семь часов тридцать минут идут в ванные и одевальные, где их моют, бреют, стригут и одевают... т. е. позволяют им одеваться самим в одинаковые костюмы. В восемь идут в столовую завтракать. Завтрак состоит из пинты овсяной похлебки и полпинты теплого молока на каждого. Мы строго придерживаемся вегетарианства, приобретшего в течение последних столетий такое огромное количество сторонников, что из них постоянно составляется большинство на выборах.

В час дня колокол сзывает к обеду, состоящему из бобов и вареных плодов; два раза в неделю дается пудинг с вареньем, а по воскресеньям — пирог со сливами. В пять часов, после вторичного умывания, мы пьем чай, а в десять гасятся огни, и мы ложимся спать.

Будучи равными, мы все живем совершенно одинаково; и между нами нет ни высших, ни низших. Мужчины и женщины имеют одинаковые права, только живут отдельно; мужчины — в одной части города, а женщины — в другой...

— А разве у вас нет семейных? — перебил я.

— Нет, семейный институт уничтожен уже двести лет назад. Семейный уклад нам не подошел, потому что он оказался противообщественным. Главы семейств больше думали о своих женах и детях, чем о государстве. Они трудились главным образом в пользу своих обособленных кружков, а не для общины, и пеклись несравненно больше о будущности своих детей, чем о судьбах всего человечества.

Узы любви и крови объединяли людей в маленькие тесные группы вместо того, чтобы безраздельно слиться в одну общую. Прежде чем думать об успехах человечества, они думали об успехах своих родных. Прежде чем стараться об увеличении счастья всех своих сограждан, они старались о счастье своих близких по сердцу и крови. Для того чтобы доставить этим близким особенные удобства, они работали сверх сил, обрекали самих себя на лишения и накапливали лично себе богатства. Любовь рождала в сердцах людей порок карьеризма. Ради того чтобы удостоиться улыбки любимой женщины и оставить своим детям в наследство, помимо богатства, громкое имя, люди выбивались из сил, лишь бы подняться над общим уровнем, сделать что-нибудь такое, чем бы можно было привлечь к себе внимание мира и заслужить особенные почести. Каждому хотелось оставить на пыльном пути прежнего человечества более глубокий след, чем оставляют другие. Благодаря всему этому основные принципы социалистического строя ежедневно нарушались и подвергались опасности быть совершенно уничтоженными. Каждый дом, в котором жили обособленные семьи, становился центром пропаганды идеи самоличности. Из недр каждого очага поднимались ехидны «товарищества» и «независимости», чтобы отравлять умы людей и жалить общество в самое сердце.

Пошли публичные диспуты о равенстве и о неравенстве. Одни (меньшинство) стояли за первое, другие (большинство) — за второе. Мужья, любившие своих жен, находили их лучшими в мире и с презрительным снисхождением, едва скрывая свои чувства, смотрели на других женщин. Любящие жены, в свою оче-

Николай Бердяев Русский народ был подавлен огромной тратой сил, которой требовали размеры русского государства. Государство крепло, народ хирел, говорит Ключевский.

редь, находили, что их мужья умнее, дельнее и во всех отношениях лучше других. Матери находили, что лучше их детей и быть не может, т. е. **каждая** мать думала так о **своих** отпрысках, глядя на чужих как на существ неизмеримо низших. Дети с самого рождения также были пропитаны еретическим убеждением, что только их отцы и матери лучше всех остальных родителей на свете.

Вообще, со всех точек зрения семья оказывалась нашим врагом. У одного, действительно, была прелестная жена и двое благонравных детей, а его соседу выпала на долю сварливая женщина в качестве жены и одиннадцать озорных бездельников в виде детей. В чем же тут было равенство?

Кроме того, в одной семье горевали, а в другой — радовались. В одной хижине горько плачут пред маленьким гробиком осиротевшие муж и жена, в другой, рядом, супружеская чета радостно смеется, глядя на то, как гримасничает ее ребенок, стараясь сунуть себе в рот собственную ногу. Какое это равенство? Может ли общество, в котором существовали подобные противоположности, считаться нормальным?

Такие вопиющие несообразности не могли быть больше терпимы. Мы поняли, что семейная любовь мешала нам на каждом шагу, что именно в ней мы и имели самого сильного врага. Это глупое чувство делало равенство людей невозможным. Оно вело за собой в пестрой смеси радость и горе, мир и тревогу. Оно разрушало привитые нами с таким огромным трудом новые верования людей и подвергало страшной опасности все человечество. Ввиду всего этого мы нашли нужным уничтожить любовь.

В настоящее время у нас нет семьи, зато нет семейных тревог; нет любовных историй — нет и любовных страданий; нет любовных восторгов — нет и терзаний ревности; нет поцелуев — нет и слез.

— Теперь мы наслаждаемся настоящим равенством, освободившись от всех радостей, зато и от всех горестей семейной жизни, — с самодовольством закончил свою длинную речь мой спутник.

— Да, разумеется, при таких условиях у вас должны быть удивительные тишь и гладь, — заметил я и продолжал: — Но скажите, пожалуйста, — я спрашиваю с чисто научной точки зрения, — какими же путями возмещается у вас естественная убыль в населении? Или вы сделались бессмертными и...

— Ну, нет, тайны приобретения бессмертия мы пока еще не открыли, — поспешил заявить мой спутник. — У нас умирают, как и встарь, хотя и в других условиях и пропорциях, а причиненную этим убыль мы возмещаем совершенно просто, тем же способом, каким в ваше время производилось размножение коров, лошадей и прочих домашних животных, в которых вы нуждались. Ежегодно, весною, мы некоторое время разрешаем обоим полам жить вместе, причем необходимое количество рождений устанавливаем заранее. Новорожденные тщательно воспитываются под медицинским руководством и наблюдением. Лишь только явившись на свет, они отбираются от своих родительниц, во избежание пагубной для равенства материнской любви, и помещаются в государственные воспитательные дома, откуда их своевременно отдают в общественные школы, где они пребывают до четырнадцатилетнего возраста. В этом возрасте они подвергаются экспертизе специалистов, по решению которых они подготовляются к тому или другому делу, смотря по открытым у них способностям. Двадцати лет их заносят в списки взрослых граждан, причем им дается право голоса. Между мужчинами и женщинами не делается никаких различий; оба пола пользуются совершенно одинаковыми правами.

— Какими же, собственно? — осведомился я.

— Да всеми теми, о каких я сейчас говорил. Чего же вам еще? — с заметным раздражением пробурчал старик.

Я опять замолчал.

Когда мы, по моим расчетам, прошли несколько миль и я так ничего и не увидел, кроме однообразных улиц да «блоков»-зданий, похожих одно на другое, мне вздумалось спросить:

— Разве здесь нет магазинов или вообще торговых и ремесленных заведений?

— Нет. На что они нам? — ответил провожатый. — Государство питает и одевает нас, дает нам жилище, оказывает медицинскую помощь, моет, бреет, красит, причесывает нас, а когда помираем — хоронит. Ни в каких торговых и ремесленных заведениях мы не нуждаемся, поэтому их и нет.

Чувствуя некоторую усталость, а главное — жажду, я немного спустя предложил новый вопрос:

— Нельзя ли нам зайти куда-нибудь, где я мог бы напиться? У меня страшно пересохло горло.

— Напиться?! Что такое значит «напиться»? — удивился мой спутник. — У нас после обеда дается полпинты какао. Может быть, вы об этом говорите?

Я понял невозможность объяснить ему мою потребность напиться просто воды или чего-нибудь в этом роде, потому и сказал:

— Да, да, какао. Говорю вам: мне очень хочется...

— Ну, а я говорю вам, что какао подается у нас только к обеду! — резко прервал меня старик.

Я снова должен был замолчать и покориться своей участи — ждать обеда.

Мимо нас проходил молодой человек с благообразным лицом, но однорукий. Еще раньше я заметил несколько одноруких и одноногих. Это явление поразило меня, и я спросил об его причине.

— Это тоже объясняется очень просто, — ответил старик. — Когда у кого-нибудь из молодых людей замечается превышение в росте или в силе сверх установленной средней нормы, то у него отнимается нога или рука, чтобы привести его в равновесие с другими. Мы, так сказать, низводим его до нужного уровня, без которого также немыслимо равенство. Природа частенько ошибается в своей мерке; она никак не хочет приучиться работать по той мерке, которая нам нужна, и мы исправляем ее ошибки.

— Значит, вы **не вполне** еще подчинили себе природу? — съехидничал я.

Отрывной календарь на 1928 г.

Ликвидируемые (назначенные к сокращению) совхозы передаются в трудовое пользование только таким коллективам, которые обязуются вести хозяйство по-новому, по-научному... Обращаться с просьбами о передаче совхоза надо в местное земельное управление.

— Увы, нет еще! — со вздохом промолвил старик. — Стараемся, но все еще далеко не с полным успехом. Положим, — с гордостью добавил он после непродолжительного молчания, — во многих отношениях мы уже посбили с нее спеси.

— Ну, а что вы делаете, когда среди вас является человек с умом выше нормы? — с тем же ехидством продолжал я.

— Это бывает очень редко, но когда случается такая ненормальность, то мы просто-напросто вскрываем у данного субъекта череп и производим над его мозгом некоторую операцию, после которой он становится вполне нормальным.

Сказав это, мой спутник снова помолчал, очевидно погруженный в раздумье, потом добавил:

— В первое время мне казалось очень грустным, что мы не можем **повышать** умственные способности людей, а умеем только понижать их, но с течением времени я примирился с этим.

— И вы находите справедливым такое искусственное... или, вернее, насильственное понижение природных умственных способностей? — спросил я.

— Конечно. Разве я могу считать это несправедливым, раз исключена возможность повышать эти способности? — ответил мой собеседник.

— Почему же не можете? — приставал я.

— Потому, что так постановлено **большинством,** — смиренно проговорил старик.

— Неужели вы находите, что ваше большинство не может быть несправедливым? — вырвалось у меня.

— Разумеется нет. **Большинство** не может быть неправым, — тоном глубокой убежденности промолвил мой спутник.

— Ваше мнение разделяется и теми, у которых вам приходится обрезывать мозги? — не унимался я.

— Нет. Но много ли их? — передернув плечами, произнес старик. — Мы с ними не считаемся.

— Однако, по-моему, и меньшинство имеет право на сохранение своих рук, ног и мозгов, — возразил я.

— Меньшинство **не имеет никаких прав,** — раздалась суровая отповедь со стороны моего собеседника.

— Следовательно, тому, кто пожелал бы жить среди вас, необходимо примкнуть к большинству, чтобы не...

— Разумеется! — оборвал меня старик, угадав мою дальнейшую мысль. — Только таким путем он и может избавиться от больших неудобств.

Мне надоело бродить по этому скучному городу, и я спросил, нельзя ли для разнообразия выйти за его черту, на простор полей.

Мой провожатый ответил, что это можно, но предупредил:

— Едва ли и там покажется вам интересно.

— Почему? — удивился я. — В мое время за городом было так хорошо. Там были зеленые, усыпанные цветами луга, от которых несся такой упоительный аромат, когда по ним проносился летний ветерок; были прекрасные ветвистые деревья, населенные пернатыми певуньями; были обвитые розами прелестные коттеджи.

— Ну, теперь там ничего этого нет, — снова сухо прервал меня старик. — Мы все это переделали по-своему. Вместо описываемой вами ненужной роскоши природы мы устроили обширные огороды, разделенные дорогами и каналами, перекрещивающимися под прямым углом, как здешние улицы. Вашей былой «красоты» вы больше не найдете и за городом. Мы ее уничтожили, потому что и она мешала нашему равенству. Мы нашли несправедливым, чтобы одни люди жили среди живописных окрестностей, а другие — среди болот или голых песков. Теперь, благодаря нашим трудам, весь мир стал одинаков во всех своих частях, все люди повсюду живут в одинаковых условиях, потому что на земле нет уже таких мест, которые имели бы какие-либо преимущества пред другими.

— А разве нет других стран, кроме этой? — спросил я, думая, что старик под словами «весь мир» подразумевает только свою страну, и чувствуя, что дорого бы дал, чтобы очутиться в какой-нибудь стране, хотя бы даже в одной из тех, которые тысячу лет назад считались самыми суровыми.

— **Области** другие есть, но **стран** в прежнем смысле больше не существует, — пояснил мой спутник. — Говорю вам: весь мир сделан нами совершенно одинаковым. Везде один народ, один язык, один закон, одна и та же форма жизни.

— Боже мой! Неужели, в самом деле, на всей земле, от полюса до полюса и на протяжении всего экватора, нет ни малейшего разнообразия? — ужасался я. — Как это должно быть скучно!.. Но, может быть, у вас есть хоть какие-нибудь способы развлечения, театры, например?

— Нет, мы уничтожили и театры, — ответил старик. — Особенности артистического темперамента не допускали уравнения. Каждый из артистов мнил себя лучше и выше других... Быть может, в ваши дни это было иначе?

— Нет, артисты и в наше время, как и во все предшествовавшие времена, считали себя, так сказать, сверхмировыми существами, — сознался я. — Но мы этим не обижались, не придавая этому особенного значения.

— Ну, а мы взглянули на этот вопрос иначе, — отозвался мой спутник. — Наш «Союз общественной охраны Белой ленты» нашел, что все способы развлечения вредны и порочны, перетянул на свою сторону **большинство** и добился того, что всякие игры, музыка, танцы и прочие забавы были навсегда воспрещены.

— Ну а книги читать вам позволяется? — спросил я.

— Это нам не запрещено, но только читать-то у нас нечего. Новых книг больше не пишется. Да и о чем писать в мире, где нет ни горестей, ни радостей, ни разочарований, ни надежд, ни любви, ни ненависти; где жизнь течет таким ровным, тихим, нигде не застревающим потоком?

— Да, у вас действительно писать не о чем, — согласился я. — Но что сделали вы с творениями прежних авторов? У нас были Шекспир, Вальтер Скотт, Теккерей, Байрон... Наконец, я сам кое-что написал, заслуживающее некоторого внимания, как говорили.

Н. Наумова

Привилегированные слои нашего общества все больше «воспроизводят» себя в следующем поколении, делая эти слои все более «закрытыми». Все это привело к тому, что средний класс практически перестал выполнять свою основную социальную функцию — принимать наиболее активных, создавать возможность для социального продвижения, вертикальной мобильности.

Может быть, все это у вас хранится в общественных...

— Нигде не хранится, — почти сердито оборвал меня мой провожатый. — Мы весь этот старый хлам сожгли. Нам совсем не интересно знать о тех временах, когда в мире шла такая неразбериха и люди, в огромном большинстве, были превращены в невольников и во вьючный скот.

Дальше я узнал от него, что у них, благодаря настояниям самой сильной общественной партии «Союз общественной охраны Белой ленты», были уничтожены все без исключения произведения искусства прежних времен и постановлено подавлять в подрастающих поколениях малейшее стремление к художественной деятельности всякого рода, потому что такая деятельность признана зловредной, как подрывающая великие основы равенства. Люди с художественными наклонностями имеют привычку мыслить и этим самым возвышаться над другими, не имеющими такой зловредной привычки. Разумеется, последняя категория людей преобладала и составляла **большинство,** которое и признало существование неприятных ей лиц первой категории недопустимым. При этом старик добавил, что по той же причине были воспрещены всякого рода спорт и общественные игры, так как состязания ведут к проявлению различных способностей, а различие способностей нарушает законы равенства.

— А по скольку часов в день работают у вас? — спросил я.

— Только по три часа, все же остальное время дня в нашем собственном распоряжении, — не без гордости проговорил старик.

— Что же вы делаете в течение такого продолжительного свободного времени? — поинтересовался я.

— Отдыхаем, — последовал краткий ответ.

— Отдыхаете?! Двадцать один час подряд только и делаете, что отдыхаете? И это после такого ничтожного труда? — изумлялся я.

— Ну, конечно, не все же время мы спим или сидим, как ваши прежние истуканы, — возразил мой спутник. — Мы думаем, беседуем...

— А!.. О чем же, смею спросить?

— О том, как трудно жилось прежним людям и как счастливы теперь мы, а также о великих предназначениях человечества.

— А что именно вы представляете себе под названием «предназначения человечества»? — с любопытством спросил я. — Об этом и в наши дни много толковалось, но никто так и не мог выяснить, что, собственно, имелось в виду.

— Да? Ну, а мы и в этом отношении ушли гораздо дальше вас, — с самодовольством проговорил мой собеседник. — Мы видим предназначение человечества в полном преобладании над природой, чтобы она не стремилась больше своими вольностями нарушать наши законы равенства; чтобы все делалось у нас силою одного электричества, без всякого содействия с нашей стороны; чтобы каждый из нас имел право голоса; чтобы...

— Довольно! Благодарю вас, — перебил я его. — Теперь я все понял, и мне остается спросить вот только о чем: есть ли у вас религия?

— Конечно.

— И вы поклоняетесь какому-нибудь божеству?

— Разумеется.

— Как оно у вас называется?

— **Большинством.**

— Так. Ну, теперь для меня все ясно... Впрочем, я имею еще один вопрос, последний... Надеюсь, вы простите мне, что я задаю вам такое множество вопросов?

— Задавайте и этот вопрос, не стесняясь, — пробурчал старик. — Я к тому и приставлен, чтобы в течение трех часов в день отвечать на вопросы людей неопытных.

— Я хотел бы узнать вот что еще: много ли людей кончают у вас самоубийством?

— Самоубийством?! Ну, таких случаев у нас совсем не наблюдается.

Я взглянул на лица встречных мужчин и женщин. Заметив на их лицах и в глазах такое же выражение удивления, смешанного с тревогой, какое мне приходилось наблюдать в глазах наших домашних животных, я решил, что этим людям действительно нет надобности прибегать к самоубийству.

Лишь только я решил этот вопрос, как все окружающее меня вдруг покрылось непроницаемым туманом... Я окликнул своего спутника, но не получил ответа...

Господи! Да что же это со мной? Почему я снова очутился в хорошо знакомой мне комнате и на собственной постели, а возле меня раздается не менее знакомый крикливый голос миссис Бигльс, моей прежней квартирной хозяйки? Разве и она проспала тысячу лет и тоже опять проснулась?.. Она кричит, что уже двенадцать часов... Только еще двенадцать! Значит, я должен ждать еще четыре с половиною часа, когда меня умоют... Ах, как трещит у меня голова и как невыносимо ноют руки и ноги!..

Да, я действительно в своей собственной постели... Неужели все это было лишь тяжелым, кошмарным сном и я остался на своем месте, в девятнадцатом столетии, при привычном государственном, общественном, семейном и прочем строе?..

Да, сквозь открытое окно до меня доносятся звуки прежней жизни. Слышу, как по-прежнему смеются и плачут, радуются и горюют люди и как каждый из них с помощью воли и труда, напрягая и развивая свои силы, прокладывает себе собственный путь в жизни. Слышу шум борьбы и падение погибающих в этой борьбе, но слышу и быстрый бег тех, которые спешат на помощь упавшим... Слышу и то, как восторженно прославляются те, которым удалось совершить какое-нибудь великое дело...

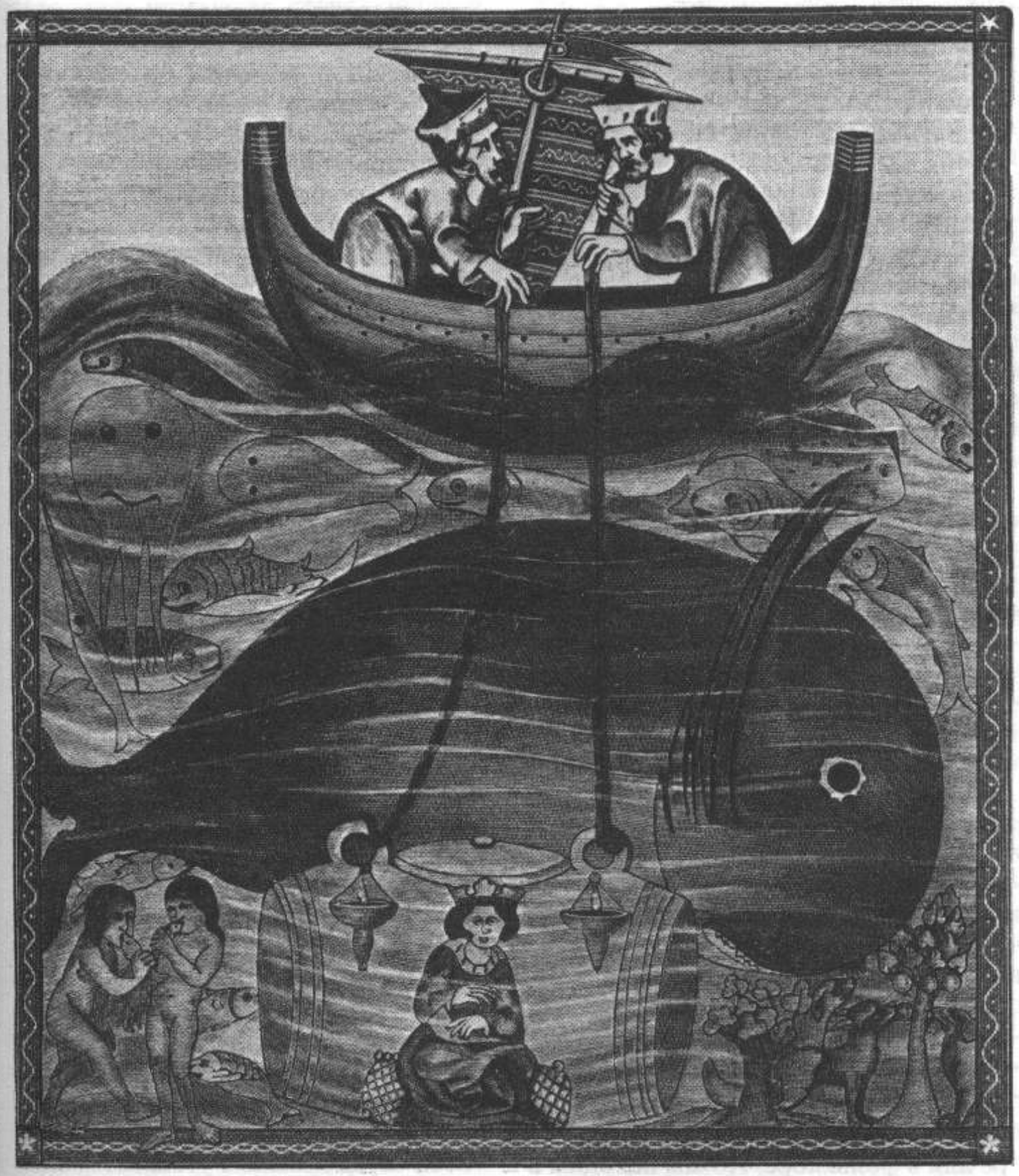
О, как я счастлив, что избавился от страшного кошмара осуществленного социалистического строя, основанного на «свободе, равенстве и братстве»!.. Ах, какое великое, неописуемое блаженство чувствовать себя опять самим собою, а не...

Впрочем, у меня сейчас нет времени увлекаться отвлеченными рассуждениями. Мне сегодня предстоит целая уйма дел, а мое рабочее время не ограничивается ведь тремя часами...

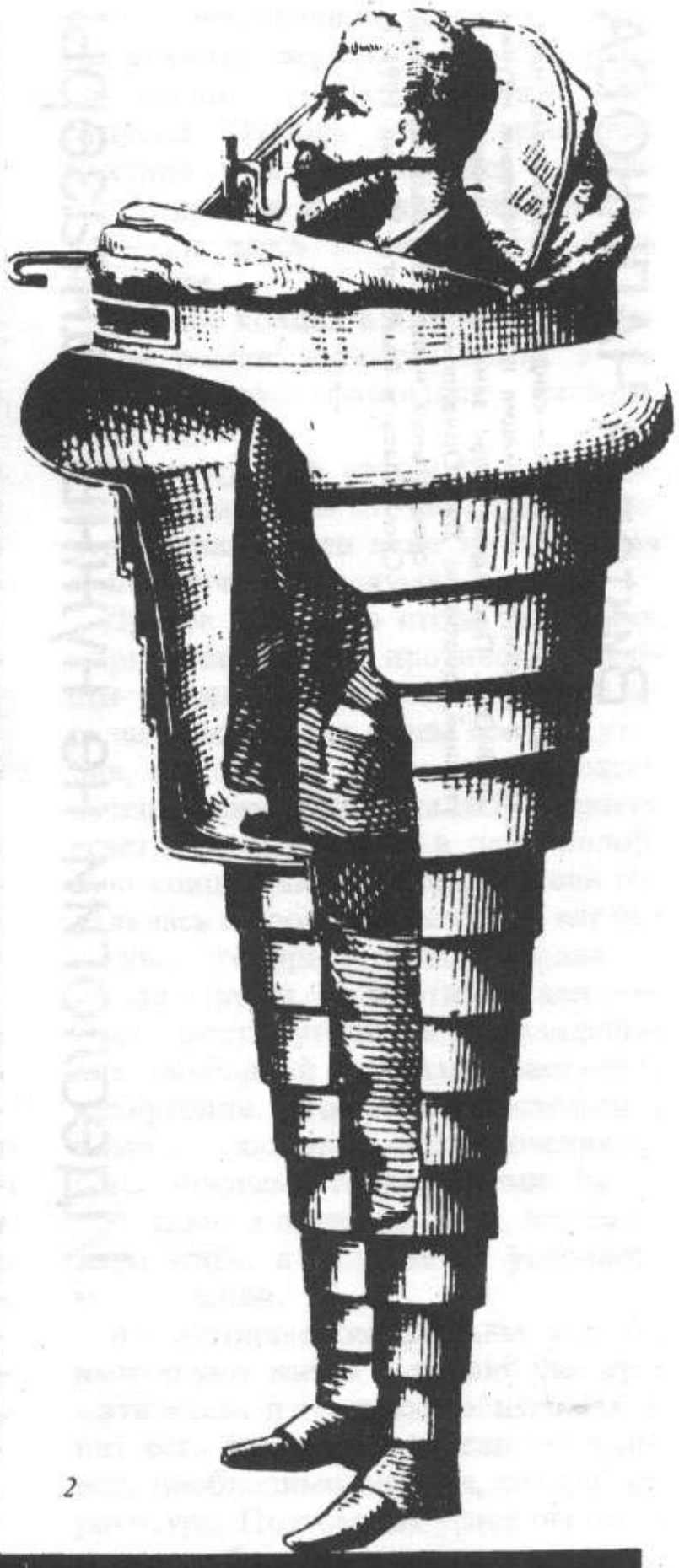
Эх, зачем я вчера вечером пил так много вина, курил крепкие сигары и слушал разглагольствования будущих переустроителей мира! Вот от всего этого у меня и сделался в голове такой невообразимый кавардак.

Семен Франк

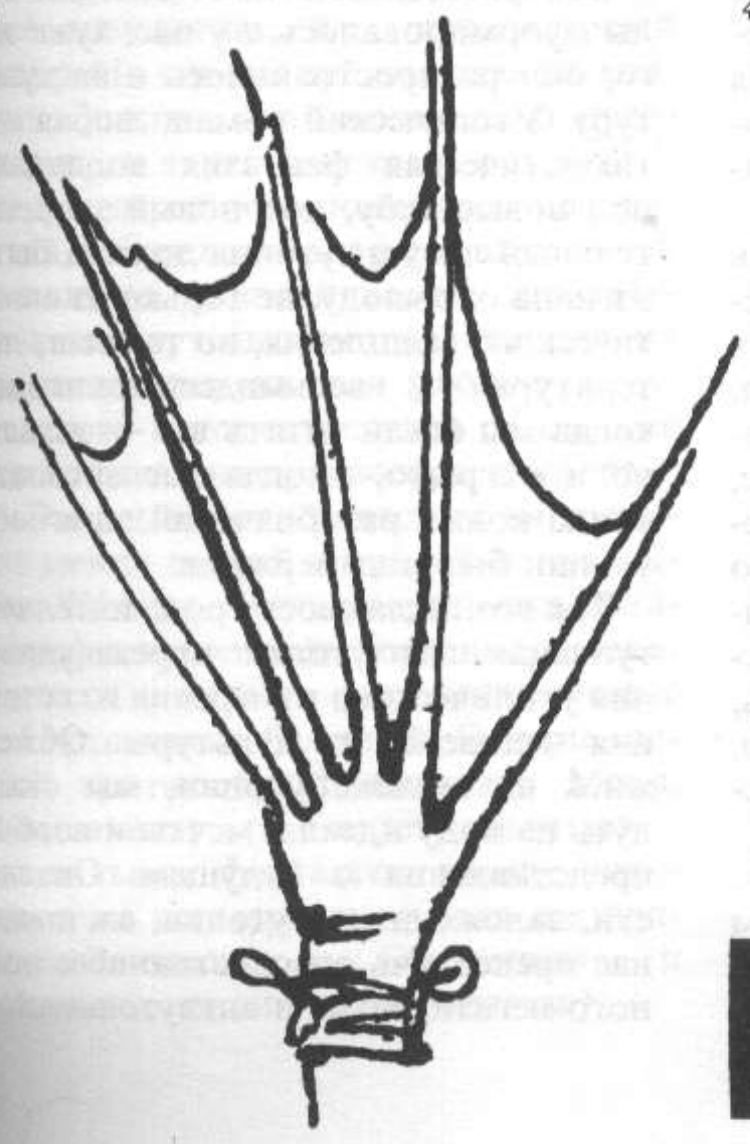
Мутные яростные потоки
стихийных страстей несут
нашу жизнь к неведомой цели;
мы не творим нашу жизнь,
но мы гибнем, попав во власть
непросветленного мыслью
и твердой верой хаоса
стихийных исторических сил.
Самая многосведущая
из всех эпох
приходит к сознанию
своего полного бессилия,
своего неведения
и своей беспомощности.



1



2



3

4

Далекие предки акванавтов

5

Идеологии не нужны фантазеры

Виктория ЧАЛИКОВА

Виктория ЧАЛИКОВА – кандидат философских наук, работала в Институте информации по общественным наукам (ИНИОН). Последние годы занималась социокультурной утопией, особенно Дж. Оруэллом. Автор многих статей в специальных и литературных журналах.
Скончалась в Гамбурге 18 мая 1991 г.

Утопия — литературный жанр, утопия — философская идея, утопия — проект лучшего будущего. Но всегда, в любой форме это — попытка приподнять завесу тайны. Во все времена не было тайны более важной и волнующей — что будет завтра?

В последние годы внимание к утопии стало особенно напряженным. Человечество, приближающееся к третьему тысячелетию, как будто ищет ответа на свои скопившиеся и порой безысходные «почему?» и «как?». Лихорадочно идет поиск ответов — разумеется, острее всего в нашем отечестве. Многие из нас только что узнали социальную фантастику XX века — это зазеркалье утопической мечты, где клубятся зловещие тени, громоздятся искаженные, изломанные контуры утопического идеала. Это знакомство изначально окрашено целым спектром нарастающих эмоций, связанных вначале с мучительной переоценкой прошлого, а позже — с разочарованием в перестройке. Мы видим страшные следы утопии в прошлом, и еще страшнее для нас опасение, не впадаем ли мы вновь в утопию в настоящем — не есть ли слово «перестройка» синоним слова «утопия».

Для таких тревог имеются основания: сколь далеко мы ни углубимся в историю, не отыщется времени, когда бы в мире не было власти утопического идеала над умами людей, не было утопического жанра в литературе или в фольклоре. Но мы находим в прошлом и времена, когда утопия была, а страха перед ней, агрессии по отношению к ней не было. В старых энциклопедиях писали, что утопия исключительно полезна для молодости, ищущей идеала, но также и для зрелого, умудренного опытом сознания — она утешает, позволяет надеяться, что мир станет лучше.

Наши деды и прадеды не поверили бы, что можно бояться утопии и ненавидеть ее. Теперь же распространено убеждение, что фашистский ад, сталинистский ад — это и есть реализованные утопии. Игнацио Силоне, один из знаменитых и первых исследователей тоталитаризма, писал, что каждый, входя в концлагерь, вглядываясь в эти прямые линии, в эту четкость, рациональную продуманность, узнает в них утопический проект — то, о чем мечтали кампанеллы всех времен и народов.

В сегодняшнем русском печатном слове грозный счет утопии предъявлен откровенно и многократно. Пожалуй, нет ни одной значительной статьи, в которой предаваемое гласности зло не было бы как-то соотнесено с утопизмом. «Реквием по утопии» названа одна из рецензий на платоновский «Чевенгур»: «Наверное, и не было времени, когда на разные лады над миром не звучало бы с убежденной страстью фанатика: я гоню вас в рай. Но утопия в человеке бессмертна»,— горько пишет автор рецензии.

Когда в 1956 году были вскрыты вены истории, хлынувшая кровь немедленно запятнала утопию. Подозрение, что это она, лукавая соблазнительница, виновата во всем, превращалось в убеждение по мере того, как мы все больше и больше *читали* (курсивом я пытаюсь указать, что тогда это было не занятие, а образ жизни — странный и небезопасный). Входили в ум и сердце позитивистское и экзистенциалистское (знаменательное совпадение!) разоблачения утопии: «Путь к идеалу всегда ведет через колючую проволоку» (Карл Поппер); «Самое страшное в утопиях то, что они сбываются» (Николай Бердяев). Запретная тогда социальная фантастика — Замятин, Булгаков, Платонов, Хаксли, Оруэлл — была проглочена нами в судороге становления этого нового духовного максимализма: утопия должна быть уничтожена как класс, как категория мышления! Интересно, что в это же время подобная установка формировалась и на Западе. Стон «куда девались утопии», — заметила, например, одна исследовательница, — исходит от тех, кто тоскует по фашизму или революционаризму...

Это убеждение в шестидесятые годы сформировалось и у нас; хуже того, оно распространилось и на культуру. Утопический роман, любая оптимистическая фантазия подпадали под новые табу, под новый запретительный лозунг: утопия должна быть изгнана отовсюду, не только из политического мышления, но также из литературы. В восьмидесятые годы, когда мы стали читать все — легально и открыто,— когда нас затопила волна новых разоблачений, приговор утопии был подтвержден.

Так возникла своего рода интеллектуальная сверхутопия: проект удаления утопического измерения из сознания человека, из культуры. Обжегшись на молоке утопии, мы стали дуть на воду идеала, мечты и вообще представления о будущем. Опасности, заложенные в утопии, заставили нас пренебречь опасностью абсолютного негативизма, и антиутопическое

отрицание незаметно превратилось в норму отношения к действительности. Так мы и умудрились не заметить, что любимый нами Оруэлл — книга которого теперь есть в каждом интеллигентном доме — отнюдь не был антиутопистом.

Верно, он описывал мир, превратившийся у него к 1984 году в сплошной концлагерь. Но в ключевой идейной главе романа он доказывает, что катастрофа случилась уже после того, «как утопия была дискредитирована», а это «привело к неслыханному ожесточению и первобытному варварству», поскольку теперь у новой элиты (технократов, бюрократов и социологов) не было необходимости считаться с утопическими инстинктами масс и сдерживать свое властолюбие. В фантастической оруэлловской Океании все слова «утопического ряда» — братство, равенство, свобода — вытравлены из мышления и языка, а мечты и сны о «золотой стране» караются смертью как «мыслепреступление». Иными словами, Оруэлл предъявляет свой счет не утопии — прагматическому антиутопизму.

Подобная неразбериха царит и в нашем отношении к утопическому роману. Братьев Стругацких, типичных «шестидесятников», обвиняют в «коммунистическом утопизме»; восторг, с которым в 1957 году мы приняли утопический роман Ивана Ефремова «Туманность Андромеды», сейчас кажется почти постыдным.

Если говорить о самых известных и ученых критиках утопии, таких, как К. Поппер, то они, предъявляя утопии кровавый счет, имеют в виду скорее идеологию, чем литературный жанр. Но где мы найдем сегодня критика утопии, благожелательно относящегося к утопическому роману? В страхе перед революционной идеологией все предают анафеме даже столь невинную разновидность литературы, как путешествия во сне или на машине времени или рассказ выдуманного путешественника о том, как он побывал на прекрасном острове.

Этот поворот произошел на границе между первой и второй половинами XX века, когда разразились катастрофы, произошли беспримерные геноциды и во весь рост встал вопрос об источниках бедствий. Отныне любой критик будет называть Мора, Кампанеллу и — через запятую — социальных фантастов в ряду виновных во всех грехах. (Сюда же приспосабливают и Стругацких, и Лема — хотя они антиутописты.)

Старые энциклопедии доброжелательно писали об утопии потому, видимо, что авторы статей все-таки имели в виду не «утопический проект» — программу устроения будущего общества, — а утопический роман, то есть произведение, в котором фантазия заявлена самим жанром, где предполагается, что речь идет о чем-то несбыточном. Автор такого романа как бы заявляет: «Я не настолько слеп, чтобы полагать написанное правдой; не так глуп, чтобы побуждать людей воспроизвести это в реальности». В роман можно играть, воплотить его в жизнь невозможно.

Мы вправе отвести от романистов крайние обвинения, вправе утверждать, что формула: «Утопия — всего лишь лозунг, сопровождающий политический террор» — абсолютно неприложима к литературе. Но отделить литературу от социального проекта наглухо — невозможно. Социально невинных жанров попросту не существует.

Хочу напомнить слова великого литературоведа М. М. Бахтина, что жанр — не просто эстетическая категория, а поле ценностного восприятия мира. Бахтин проследил, как историческая эпоха порождала жанр. Роман нельзя было себе представить до определенного века. Он возник, пишет Бахтин («Эпос и роман»), в средневековье в связи с резким ощущением индивидуализации личности, новым ощущением своей самости, своего права, своей ответственности, претензии личности на самостоятельную и уникальную жизнь. Эта претензия несла в себе серьезный элемент фантазии, и мечты, и воображения, и вызова. В самой природе романного жанра заложено убеждение, что человек может прожить иную жизнь — не запрограммированную его родом, его племенем и реальными условиями, — и человек начинал придумывать эту жизнь. Действие любого романа, даже самого раннего, романа в письмах, происходит в настоящем, от какого лица он бы ни был написан. Но там всегда случается нечто, чего в жизни не бывает, нечто необыкновенно привлекательное. Поэтому роман уже века́ остается наиболее любимым жанром.

Постоянная тяга к роману — тако́во мое мнение — держится на том, что читатель хочет верить в невозможное, в то, чего с ним никогда не случалось. Ведь роман строится на ирреальных совпадениях, которых в жизни практически не бывает, — но, подчиняясь обаянию искусства, человек начинает верить: небывалое рано или поздно случится. Наступит иное будущее. Отсюда тонкое замечание Бахтина: роман соприроден будущему. У романа и утопии одна природа — и здесь и там дается фора фантазии.

В конце концов и «Утопия» Т. Мора — роман; вымысел лежит в его основе — это фантазия, скажем, предроман.

Поэтому гнев авторов антиутопических трактатов закономерно не минует романа, если даже это невинная фантастическая выдумка.

Другое дело, что столь же правомерно говорить о противоположности романа и утопии. Чем дальше развивался роман и чем больше утопия, выходя из жанра утопического путешествия, превращалась в проект «светлого будущего», в наукоподобную концепцию, тем больше она отдалялась от романа, и сегодня как раз можно говорить, что утопия и роман — вещи противоположные. Ныне место утопии как плацдарма для свободной фантазии заступила антиутопия. Это всегда «настоящий» роман: с любовью, приключениями, невозможными совпадениями. Ее герои живут в приземленном, человеческом мире, в отличие от условного мира утопии.

Антиутопические романы как бы имитируют жизнь в ее наиболее драматических и трагических изломах. В них есть то, что современному человеку необходимо: ирония, сатира, карикатура. Поэтому их успех огромен, и можно бы говорить о том, что одновременно с идеологическим восстанием против утопии произошло эстетическое торжество антиутопии как литературного жанра. Мы видим это в современной фантастике: утопических вещей там практически нет.

Но в 50-е, и в 60-е годы, и особенно в 80-е мы были не в состоянии увидеть все это. Мы были — да и остаемся — в слишком сильном возбуждении, чтобы воспринять безусловный скептицизм и трагический идеализм Платонова как единое целое, как начала, дополняющие друг друга. Мы не смогли заметить, что если Замятин шел от утопии к антиутопии, то Хаксли двигался в обратном направлении и, высмеяв в 30-х годах «прекрасный новый мир», спустя двадцатилетие воспел новые идеальные миры в романах «Остров» и «Врата восприятия».

Все это было нам «ни к чему». Оказывается, и в общественном сознании

действуют психологические уловки индивидуального: разозлись — и успокоишься. Суд над утопией всех как-то успокоил и упорядочил, задал направление «общепринятой интеллигентской» ориентации: не на будущее, а на прошлое, не на фантазию, а на память. Нужно ли доказывать и естественность, и плодотворность для нашего общества такой установки? Но с годами ясно обозначилась ее ущербность: мы долго и дружно смеялись над лозунгом «Все впереди!» и вдруг услышали, что смех звучит неприятно и угрожающе; почувствовали, что лозунг «Все позади!» — такая же бессмыслица и такая же опасность. Смысл этой опасности прекрасно сформулировал М. Эпштейн: «...под знаком перевернувшейся системы ценностей пойдем — уже от имени прошлого — в наступление на будущее, зарывая в почву традиции бесценный талант воображения».

Помню, еще в пору дружного антиутопизма мне пришло на ум: разве только идея социальной гармонии «противоречит действительности»? Разве идея науки — идея рациональности и закономерности — не противоречит наблюдаемой нами стихийности природы? Разве идея религии — возможность вечной жизни — не противоречит тлену кладбищ?

Об этом противоречии знал Платон, называвший, например, движение «философской выдумкой», «мифом» (а слово «миф» в индоевропейских языках синонимично «мечте», «желанному будущему», то есть «утопии»), знали немецкие романтики, отвечавшие на упреки в утопизме: «Каждая наука имеет своего Бога, который одновременно является ее целью. Для механики — это вечный двигатель... Для химии — камень мудрости. Философия ищет первопринцип. Математика — квадратуру круга... Политический деятель — совершенное государство, вечный мир... Речь идет об идеалах, которые недостижимы и потому обманчивы, но их можно рассматривать как необходимую целевую проекцию» (Шиллер И. Ф. — Письма об эстетическом воспитании человека. Собр. соч. М.-Л., 1950, т. 6).

Как всегда в эпоху общественных и интеллектуальных смут, нам не хватает спокойного аналитического подхода. Мы могли и не обращаться к Платону, довольно было бы заглянуть в новейшую историю, в 20—50-е годы, и разобраться с политикой Сталина — но не в отношении к литературе вообще (что было сделано), а в отношении к жанру утопии и научной фантастики.

Рассуждение тут достаточно простое: если утопия — спутница тоталитаризма, если она активно помогала искоренению духа свободы, она должна была бы поощряться Сталиным. На деле мы наблюдаем прямо противоположную картину, причем динамика событий явственно совпадает с укреплением сталинской диктатуры. В 20-х годах еще была утопическая фантастика, которая в основном изображала коммунистов, завоевывающих Марс, Луну и везде устанавливающих коммунистический порядок. К началу 50-х такой фантастики уже не существовало, ее искоренили — хотя, казалось бы, она была вполне «правоверной» и даже пропагандистской.

На это обратили внимание исследователи утопии, и зарубежные и советские; я могу сослаться на обзор «Социальное воображение в советской НФ 20-х годов» (Борис Дубин и Александр Рейтблат — в сб. «Социокультурные утопии XX века», вып. 6). Авторы установили, что к концу 20-х годов проводилась самая настоящая кампания против научной фантастики. Если в 20-е годы выходило по 25 книг за год, то в 1931 году — это уже новая историческая эпоха, сталинизм в классическом виде — выходит всего четыре книги. В 1933—34 годах после голода, на пороге массовых репрессий — ни одной. В 30-х годах была разогнана ленинградская секция научной фантастики (не просто разогнана, там были репрессированные и убитые).

Во время этого воистину «великого перелома» с литературной сцены исчезли все значительные фантасты: уезжает антиутопист Замятин, уходит из жизни утопист Маяковский, перестают публиковать Булгакова. Авторы обзора подсчитали, что с 1930 по 1957 год — за 27 лет — было опубликовано всего лишь 300 фантастических произведений. Это считая все жанры, от романов до пьес и журнальных рассказов...

Расправа с фантастикой не прошла бесследно. Жестокое и нищее время подавляло людей, им требовалась духовная компенсация, и запрещенная Сталиным утопия приобрела странную форму. Формой был... «социалистический реализм».

Говорят, что соцреализм был изобретен Максимом Горьким по прямому приказу Сталина и насаждался искусственно, с помощью кнута и пряника — с помощью репрессий и сталинских премий. На деле все было и так и не так. Происходили два параллельных процесса. С одной стороны, глупость, корысть и страх заставляли людей искусства рисовать советскую действительность в образе земного рая, а советского человека — в образе ходячей добродетели. С другой стороны, люди, даже чуждые официальной идеологии, нуждались в этом псевдоискусстве, они все-таки получали ощущение счастья: жить в такое время, в такой стране... Это результат бессознательного коллективного импульса, потребности в создании утопии или мифа о своей родине, своей земле.

Об отношении сталинизма к утопии говорит еще один многозначительный факт (он уже отмечен зарубежными исследователями). В 20-е годы на волне революции образовалось множество утопических коммун, построенных на марксистском принципе. Были коммуны, которые экспериментировали с личной жизнью, были художественные, эстетические, причем их члены почти всегда были правоверными марксистами-ленинцами и ничего не имели против Сталина. Эти люди проповедовали самые что ни на есть социалистические идеи. Так вот, в те же 30-е годы коммуны были разогнаны — все, вплоть до эсперантистов...

Над этим парадоксом стоит подумать. Дело, возможно, прояснит проходившая в то время кампания по реинтерпретации классики. Тогда стали возвеличивать гигантов прошлого: Толстого, Пушкина, Репина, Мусоргского, но в их творчестве выпячивалась обличительная функция, «срыва-

Э. Надточий

Требуют «новой реалистической литературы», которая показала бы, как мы жили на самом деле. Весьма низкосортное произведение романной продукции, «Дети Арбата», становится выдающимся бестселлером «всех времен и народов». На подходе классик жанра «на самом деле» — Солженицын, «наш советский Лев Толстой». На роль «зеркала русской революции» выдвигаются средства массовой коммуникации — газеты, радио, телевидение. Все жадно ждут новостей, чтобы скорее установить, как оно все происходит «на самом деле»... Словом, культ «на

ние всех и всяческих масок» — критика самодержавия и крепостничества. Дискредитировалось прошлое, а с ним и мечта о прошлом — ностальгия.

Взглянем на оба процесса как на нечто единое: не надо вспоминать и не надо мечтать... Утопию и ностальгию — долой! Лозунг «Вперед, к победе коммунизма!» стал пустым идеологическим штампом, на который никто не обращал внимания. Начиная с гибельного 1930 года искоренялась сама мысль, что возможно нечто лучшее — в прошлом ли, в будущем... Это лежало в основе борьбы с утопией. Мы невнимательно читаем Оруэлла: описывая тоталитарное мышление, он подчеркивает, что с позиций «полиции мысли» ересью были равно и ностальгия и мечта. Его герой, вспоминая детство — смутные воспоминания, — знает, что этого делать нельзя. Когда он мечтает во сне о будущем счастье, он тоже знает: это запретное. Когда он проходит через «перевоспитание пытками», палач объясняет ему, зачем его пытали: «Запомните: прошлого не было, будущего не будет, есть настоящее».

То, чем мы постоянно попрекаем Хрущева — его фраза: «Нынешнее поколение будет жить при коммунизме», — это смешной, курьезный, какой угодно, но элемент «хрущевизма», явления, которое все-таки было началом либерализации и не шло в сравнение со сталинщиной. При всей своей правоверности Хрущев достиг понимания — или эмоционального ощущения: мы жили в аду. С одной стороны, все было правильно, но с другой — он сам был соучастником преступлений, его вождем был преступник. Эмоции толкнули его к другой идеологии, которая как будто ничем не отличалась от сталинской, и тем не менее он уже не мог сказать: «Я другой такой страны не знаю...» Фактически он признал, что «нынешнее поколение советских людей» живет плохо. И прибег к утопии — в 1980 году оно будет жить хорошо.

Утопия враждебна тоталитаризму потому, что она думает о будущем как об альтернативе настоящему. Наши теперешние лидеры — все еще коммунистические — тем и обозначают свой отход от тоталитаризма, что говорят: должно пройти еще десять лет, чтобы мы добрались до уровня хотя бы слаборазвитой страны. Утопия не может быть «помощницей тоталитаризма», ибо в основе тоталитарного строя лежит стремление убедить людей, что настоящее абсолютно, что о прошлом помнить не надо, а мечтать о будущем нельзя ни в коем случае. Живите настоящим — ничего лучшего быть не может. Поэтому любые романы, в которых изображался какой-нибудь двух- или трехтысячный год, даже самые правоверные и пропагандистские, с точки зрения Сталина были ересью. Они дерзко утверждали, что сегодняшний день — еще не вершина, не идеал, но все еще путь. Это и искоренялось.

Здесь возникает вопрос: что же, утопическое мышление — например, марксистское — стало оппозиционной идеологией? Бывшие носители утопии стали на практике ее врагами? Да, так и было. Сколько отправлено в ссылку, в лагерь, уничтожено слушателей и руководителей марксистских кружков! Это продолжалось и в хрущевские и в брежневские времена. Дело и в особенностях Марксовой идеи — о них мы поговорим несколько дальше, — и в общих закономерностях, которым подчиняется реализация утопического проекта. Чтобы в них разобраться, надо хотя бы кратко воспроизвести логику Карла Манхейма, основателя социологии знания и автора классической концепции утопии.

Манхейм рассматривает утопию и идеологию как две фазы в жизни идеи — и в жизни идеологов. Сначала в сознании идейного авангарда общества рождается некий образ. Он создается и существует как инструмент критики реальности. С его помощью авангард организует духовную энергию общества на борьбу с существующим злом, направляет мысли к более совершенному миру. Затем, во второй фазе, борьба приводит к тому, что старое уступает место новому — например, новому обществу. Оно конечно же не может быть таким, какое грезилось авторам утопического проекта. Пороки и зло частично разоблачаются, что-то исправляется, но далеко не реализуется тот идеал, к которому они стремились. И тогда в стане идейного авангарда общества происходит раскол.

Одни остаются утопистами, они говорят, что идеал не осуществился, и начинают критиковать уже новое общество — с точки зрения идеала. Другие же люди — обычно те, кто после революции получили власть и теперь несут непосредственную ответственность за бытие общества, — они уже не могут стать его критиками. Они становятся апологетами действительности и, вопреки фактам, начинают утверждать, что идеал полностью воплотился в жизнь, что ничего другого они и не мыслили, что все хорошо. Так, по Манхейму, утопия превращается в идеологию.

Утопия неотделима от критики, и в этом смысле она сопряжена с революционной идеологией. Другое дело — утопия после революции: тогда она вырождается в идеологию, это ее роковая судьба. Тоталитарное общество в ней уже не нуждается, оно вполне может быть создано и создается — при помощи квазирационального проекта. Здесь не нужна буйная фантазия, здесь нужен низменно-прагматический расчет. Вырождаясь в жизни государства, партии, социальной группы, личности в идеологию, утопия продолжает подпольно существовать и как литературный жанр, и как образ мысли, а при тоталитарном строе создает новые модели. В том ее вечная борьба с господствующей идеологией.

Судьбу утопической мысли при сталинизме прекрасно иллюстрирует история «Туманности Андромеды» Ивана Ефремова. Не случайно она вышла только в переломном 1957 году, хотя была написана раньше. До перелома ее не публиковали, несмотря на то что ни одного «антисоветского» или антикоммунистического слова в ней нельзя найти. И какое впечатление она произвела! Ее невозможно было достать, люди становились в очередь на чтение... Что же их увлекло? Тридцать лет читая про завод и про колхоз, они нашли в утопии Ефремова живую воду свободной фантазии. Никто даже не думал о литературном качестве этой вещи. Мы ведь не знали другой литературы

самом деле» — важнейшее звено нового исторического проекта (не первого и не последнего): нормализовать Россию-СССР в общем европейском пространстве, создать однородное пространство, где бы все было «как у людей» (или, как зло заметили по поводу гуссерлевского исторического проекта, — у мужчин-европейцев средних лет).

этого жанра — сталинизм «закрыл» не только Оруэлла и Хаксли, Замятина, Платонова, Булгакова, но и весь гигантский пласт западной «космической» фантастики. А своя была давным-давно разогнана — впрочем, об этом уже говорилось. Что было? «Аэлита», немножко Александра Грина да Александр Беляев...

Есть еще один показатель того, что зло не в утопии, а в идеологии. Люди идеологического склада, нацеленные на создание организации, на борьбу за немедленное воплощение идеала любой ценой,— антиутопичны в том смысле, что они терпеть не могут описывать будущее подробно и конкретно.

Исследователь утопии Мелвин Ласки, известный английский историк идей, в своей книге «Утопия и революция» пишет, что порок марксизма состоял в отказе от конкретной и подробной картины будущего, что Маркс буквально приходил в бешенство, когда его просили объяснить подробно, каким он видит будущее. Он говорил: это все досужие мечты, зачем сегодня вдаваться в детали, надо сделать, а там посмотрим.

Сейчас неомарксисты, склонные к реабилитации Маркса, ставят ему это в заслугу: Маркс, мол, не расписывал нам, как все должно быть, а мы все хотим знать наперед. Но либералы как раз это и ставят в вину Марксу.

Ответственность и критическое отношение к проекту рождаются только при его конкретной разработке. Ленин в «Государстве и революции» также заявил, что бесполезно сейчас разрабатывать проекты, надо заниматься делом. Результаты известны: военный коммунизм, красный террор и неудавшаяся попытка исправить дело нэпом. Почти всякий раз, анализируя причины террора, мы видим, что вина утопического проекта здесь не так и велика. Скорее можно говорить о решительном разрыве руководителей террора с тем утопическим началом, которое бессознательно присутствует в поведении нормального человека в нормальной ситуации. Именно это начало отбрасывается в ненормальных условиях революции — раньше или позже, не так важно, когда. Иногда в разгар революции, иногда — при ее подготовке. Это видно при во всяком честном исследовании, независимо от того, как автор относится к утопии.

Сошлюсь на работы Льва Петровича Делюсина, известного советского китаеведа; он рассмотрел так называемую утопию тайпинов. Все знают, что в XIX веке в Китае были утописты-тайпины, что они совершили тайпинскую революцию, взяли столицу, установили утопический порядок. Но мы знаем это приблизительно, а Делюсин знает по первоисточникам. И он показал в своей работе «Китайские социальные утопии», что тайпины, едва захватив власть, быстренько забыли лежащие в основе движения идеалы высокоханьской утопии и создали такую систему, которая хорошо кормила армию. Шла гражданская война, освободительное движение против маньчжуров; нужно было, чтобы армия кормилась и могла воевать. Поэтому они без шума вернули помещикам землю, обложили данью крестьян, создали строгую иерархию, в которой каждый занимал свое место, где солдат был выше, а крестьянин ниже — обыкновенный жесткий порядок, прагматичный и хорошо продуманный.

То же самое у Василия Селюнина в его знаменитой статье «Истоки» — одной из первых, где было сказано, что в основе всех наших несчастий лежит марксистская — революционная — идеология. Он приводит примеры, — притом не из нашей революции, а из французской,— почему расстреливали спекулянтов, почему проводили реквизиции, почему так подорвали крестьянство, что оно перестало что-либо производить. И оказывается, что не было никаких идеалов равенства, забыли все напрочь про равенство и справедливость, — надо было кормить огромную армию и воевать.

Утопия в ходе революции выродилась в прагматизм.

Иное дело, когда мечтатель Мор пишет свой роман, создавая прекрасный образ будущего, или когда работают утописты Сен-Симон, Фурье, Оуэн, — у них все по-другому: они конструируют элемент общества, обдумывают детали. Они не создавали подпольных партий, не устраивали диктатур, не брали власть: они пытались разработать периферийные моменты своей системы и сделать их жизнеспособными. Поэтому совершенно неправомерно вытягивать Ленина из типичного либерала Фурье, все мечты которого давно перекрыл развитой капитализм. Это, в сущности, логика самого Ленина — он пытался присоединить своих экспроприаторов и террористов к Рылееву и Бестужеву, говоря, что декабристы разбудили Герцена, Герцен — народовольцев, народовольцы — большевиков. К сожалению, это настолько бытует в сознании, что даже от образованного человека можно услышать, что он не любит, скажем, Бестужева или Муравьева потому, что... «Берия произошел от них».

Наверное, настало время взглянуть на вещи непредвзято и вспомнить объективные определения утопии — как говорят в науке, ввести дефиниции. В отечественной литературе она формулируется, например, так: утопия — мечта о совершенстве мира, способная обеспечить проверку и отбор наиболее фундаментальных моделей общественного развития. Для западного ученого, прошедшего социологическую школу, утопия — это категория, описывающая «всякое мышление, стимулируемое не реалиями, а моделями и символами» — по формуле упомянутого уже К. Манхейма («Идеология и утопия»).

Чтобы рассмотреть утопию объемней — и как жанр и как идеологию — то есть и по Бахтину и по Манхейму, нам надо перестать мыслить только и исключительно в рамках «исторического метода»; надо обратиться к структуральному методу.

Мы слишком привыкли к идее, что сознание последовательно эволюционирует, что все изменяется, и не только в науке и обществе, но и в искусстве. Что, попросту говоря, каждая следующая фаза прогрессивней, чем предыдущая, — так нас учили, и для многих так и остается. С точки же зрения структурализма, нельзя заявлять, что мышление, например, XVII века прогрессивней, чем XV века.

Структуралист считает, что имеется несколько типов мышления. Есть логический тип и есть мифологический, причем они уверенно сосуществуют во времени. Нам только кажется, что современный человек логичен — он охотно создает мифы, он способен и к рационалистическому и к утопическому проектированию будущего. Не следует, с другой стороны, думать, что у людей архаической эпохи не было логического мышления, оно было, и об этом писали и наши ученые, Ю. М. Лотман и Вяч. Вс. Иванов. Например, наши предки мифологически отождествляли себя с животными, но могли логически представлять себе различие между животным и человеком. Если мы будем исходить из этого, то формула Энгельса: мир движется от утопии к науке — окажется не столь уж без-

условной. Утопия и наука сосуществуют, они не зачеркивают друг друга — и то и другое имеет эвристическую ценность, их нельзя противопоставлять идейно.

Этого как раз и не хотят понять сегодняшние враги утопизма. Они критикуют утопию как некое марксистское порождение, критикуют с позиций консервативных, христианских, православно-ортодоксальных — назовем их консервативно-идеологическими. По существу, они, как ни странно, принимают Энгельсову формулу: утопия есть нечто такое, что необходимо миновать.

Они не замечают, что сами создают утопию Марксова типа, которая не поддается детализации, — да они и не пытаются ее разрабатывать в подробностях.

Это опасная тенденция. О ней пишет польский исследователь Ежи Шацкий (издательство «Прогресс» выпускает его книги «Традиция» и «Утопия»). Он убедительно показывает, что во все эпохи и у всех групп общества существовали и утопии, и рациональные проекты бытия, которые уравновешивали друг друга. По мнению Шацкого, для общества в равной мере опасна утрата любой ипостаси мышления. Теряет ли общество рационализм, теряет ли утопизм, освобождается ли от традиций — оно все равно проигрывает.

Разумеется, в действительности — среди живых людей, а не фантомов, выдуманных теоретиками, — жизнь «совсем без утопии» также невозможна, как и полная реализации утопии. Но попытки исключить из жизни все утопическое, откуда бы они ни исходили, «справа» или «слева», приводят к тому, к чему приводит любая тотальность, — к тоталитаризму.

Обратимся еще раз к определению Манхейма: утопия — «мышление, стимулируемое не реалиями, а моделями и символами». Разве не таково сознание христианского мыслителя во все времена? Христианство сопровождалось мессианскими утопиями, проповедями о конце света и наступлении тысячелетнего Царства Божия, верой в объединение Бога и человека против Антихриста. Вовсе не случайно наиболее набожные христиане и создавали утопии: Томас Мор — враг реформации, и Томас Мюнцер — тоже противник Лютера, но протестант, и, наконец, пламенный католик, доминиканский монах Кампанелла. В России утопии создавали задолго до Чернышевского идеологи православия, начиная с князя Михаила Щербатова, с его консервативной утопией о земле обетованной, где нет ничего нового, а все хорошее — старое. Это конец XVIII века, а спустя 150 лет генерал Петр Краснов написал в эмиграции утопический роман о будущей России, о том, как победили белые и создали страну, где все хорошо, потому что истреблен еврейский дух.

Невозможно представить себе, чтобы развивалась религия — любая, будь то православие или буддизм, — вне утопизма. Религия стремится внедрить в сердца людей свой идеал — такова ее главная задача. Но человеческая мысль одета в слово, а словесное описание идеала и есть утопия. Спросите любого человека: как он представляет себе свой идеал добра, справедливости, чести, самоотверженности или даже что такое православное христианство и чем оно отличается от католичества? Как он объяснит это — чтобы мы поняли? Он начнет описывать какого-то человека и непременно будет его идеализировать; или опишет обитель, идеализируя ее жизнь и порядки; либо так же изобразит желанную страну.

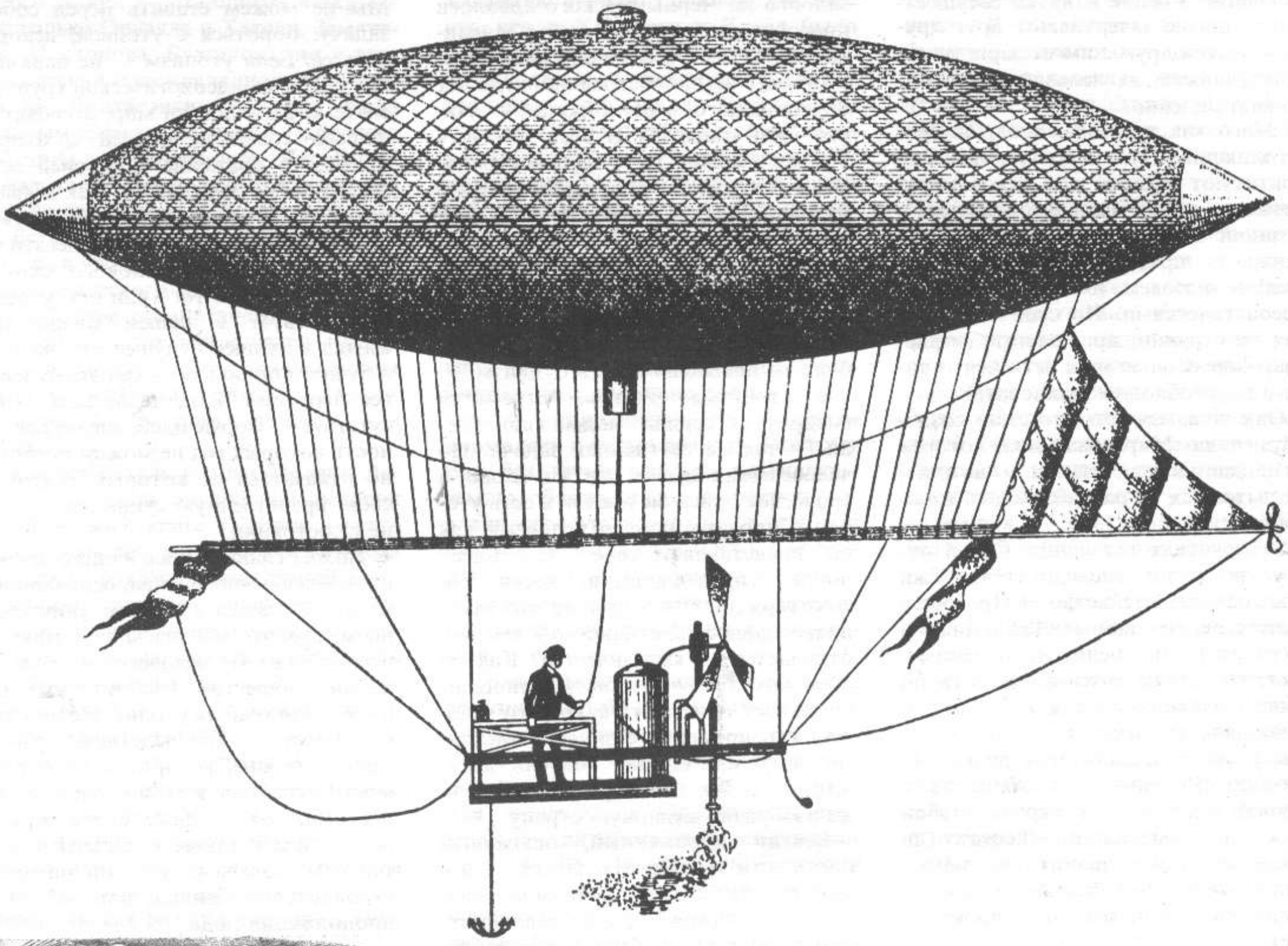
Всякий выраженный, описанный идеал есть утопия; отказаться от нее значит отказаться от идеала. Разумеется, консерваторы на деле не отказываются ни от того, ни от другого. И даже либералы — патентованные антиутописты — всегда имеют свой утопический идеал, отодвинутый если не во времени, так в пространстве. Для отечественного либерала это сегодня Англия или США.

Есть еще один признак того, что консервативный идеал, выраженный лозунгом «Все хорошее позади!» и потому вроде бы антиутопический, остается в пределах утопического мышления. Сошлюсь на американского историка Дж. Дэвиса. Он высказал мысль, что утопия в некотором смысле антипод истории, она как бы видит в истории врага. Дэвис считает, что утопией можно называть лишь такой проект будущего, который отвергает дальнейшую историческую динамику. Проект, в котором прокламируется что-то главное, сущностное, соответствующее природе человека, и поэтому — после реализации проекта — человек не будет ломать созданную для его же блага социальную организацию. Утопический мир консервативен — он лежит по ту сторону истории, на нем история должна кончаться.

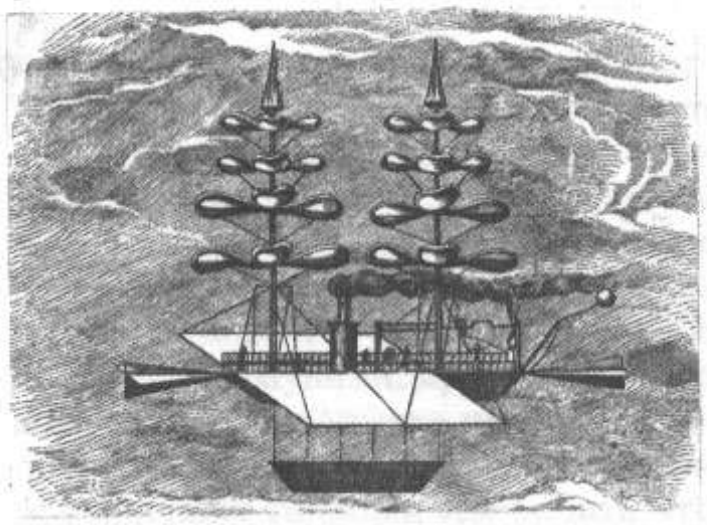
Мы не можем ставить перед собой задачу: бороться с утопией, искоренять ее. Если утопизм — не навязанная какой-то идеологической группой система взглядов на мир, а свойство нашего сознания, нашей духовной жизни, то сражение с утопией есть сражение с самим собой. Так в двадцатые годы было принято «бороться с ревностью» или — долгие десятилетия — «бороться за нового человека»... Хотим мы того или нет, утопия присутствует в нашей жизни как взгляд в лучшее будущее или память о лучшем прошлом — без этого человек перестает быть человеком. Присутствует в форме идей, жизнеспособность которых мы не можем оценить, но отказаться от которых, сохраняя свою нравственную сущность, — мы не в состоянии.

Такова главная идея нашего времени — идея вечного мира, основанного на страхе перед атомным уничтожением. Все, что мы знаем из истории и психологии о человеке и человеческом обществе, говорит, что эта идея — чистейшая утопия. Но все, что мы знаем о последствиях современной войны, говорит о необходимости отнестись к этой утопии не менее серьезно — даже более серьезно, — чем к таким «реальным» житейским задачам, как пропитание, строительство жилищ или забота о продолжении рода.

1990

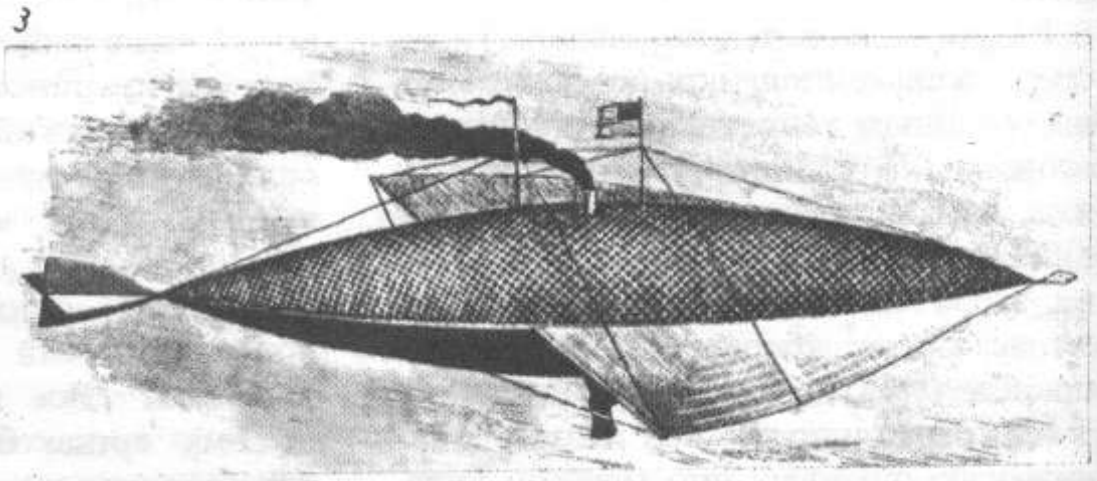


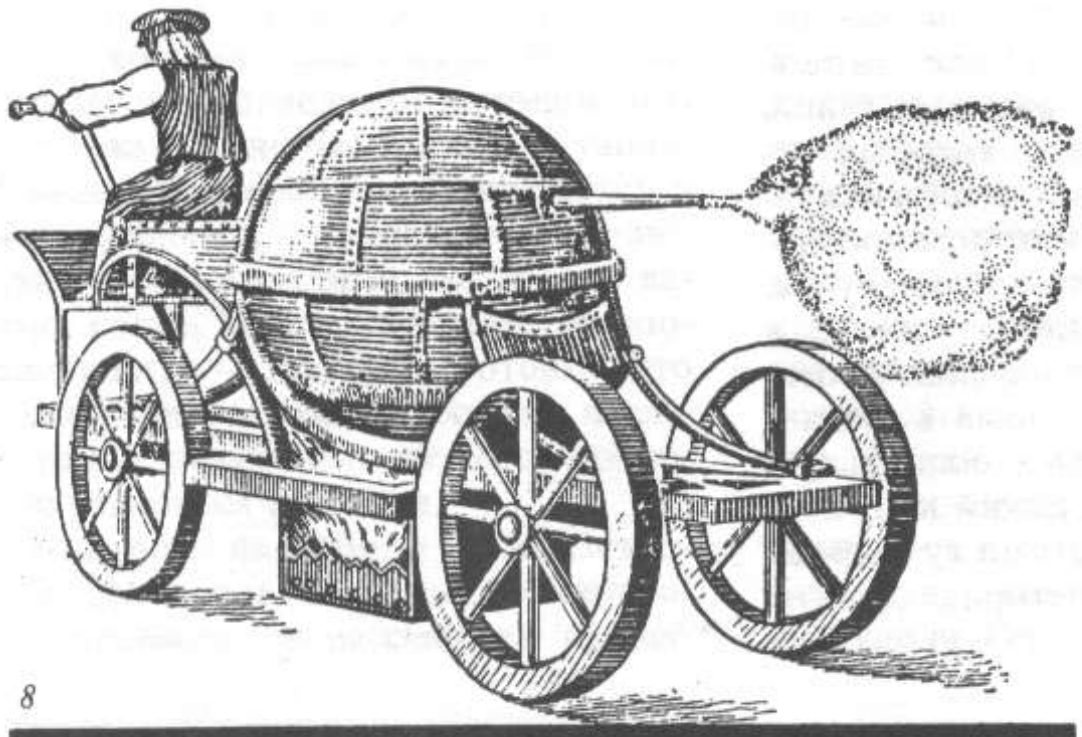
2



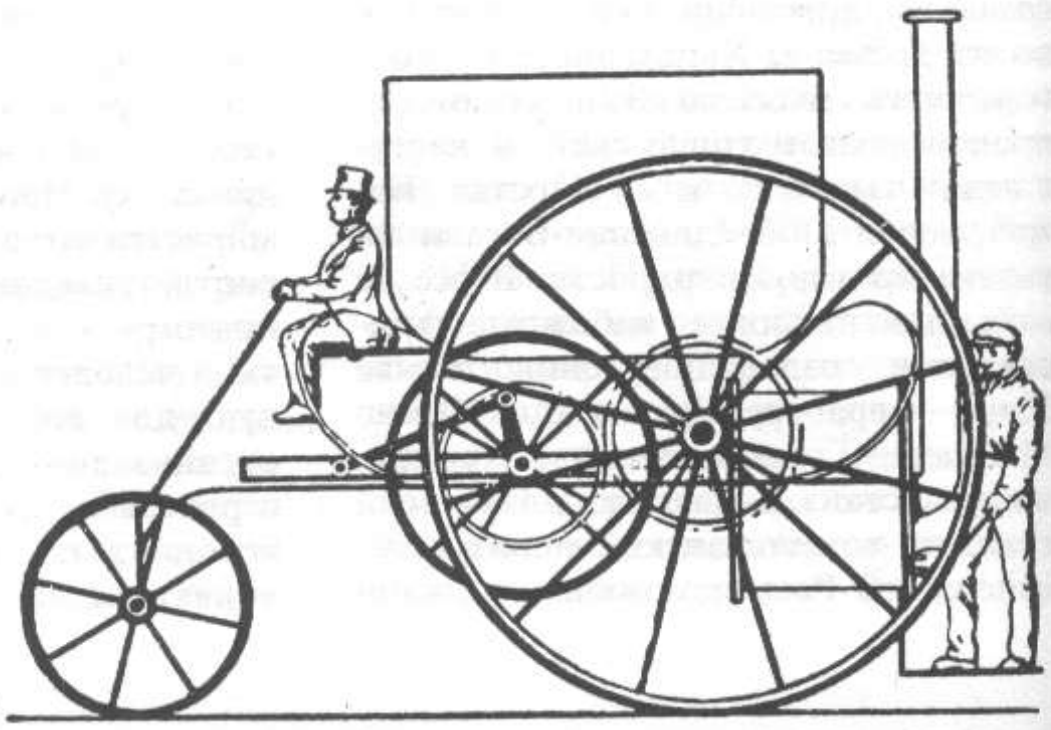
Все проекты транспортных средств с паровым двигателем в конечном счете выросли из чайника и даже просто кастрюли

3



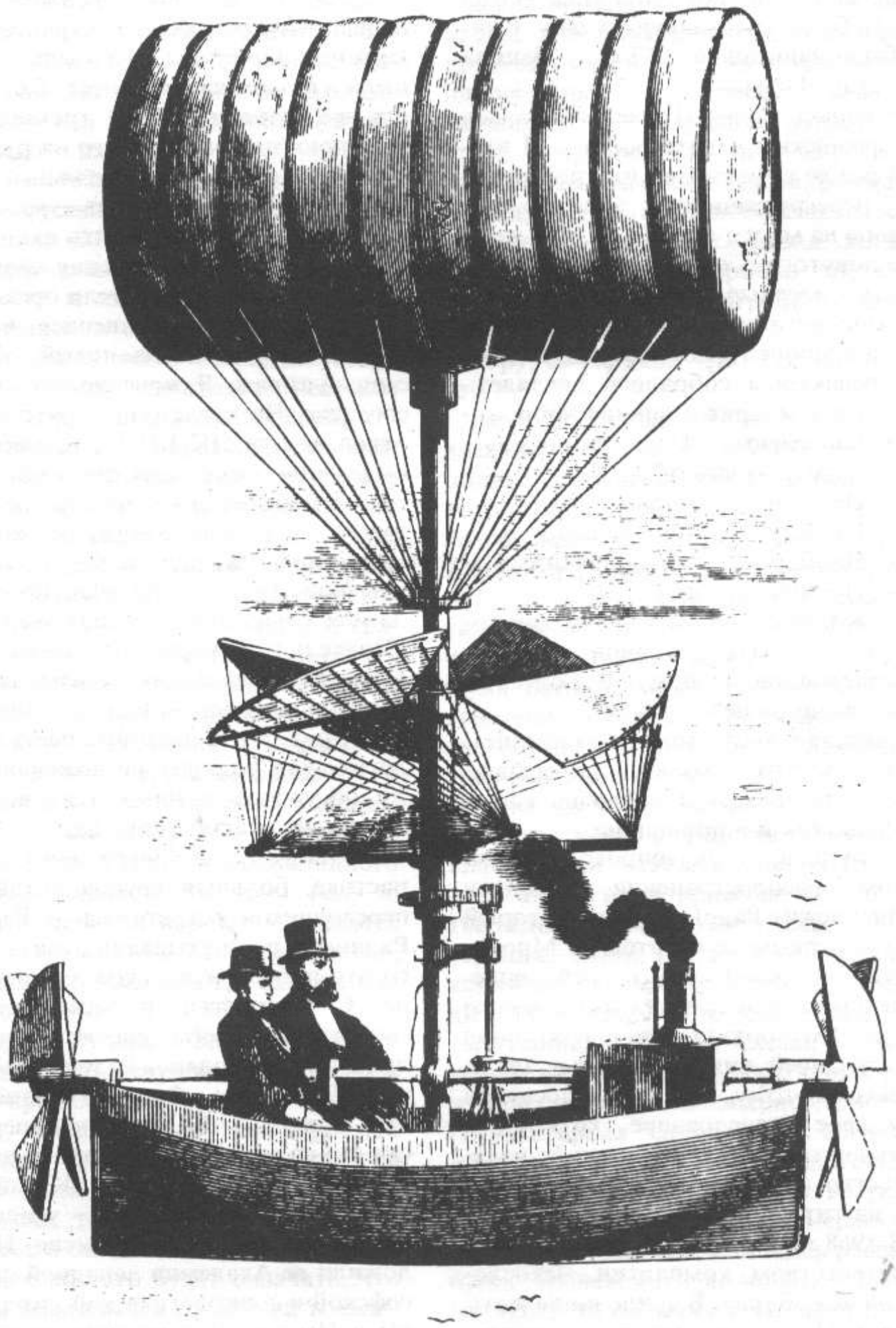


8

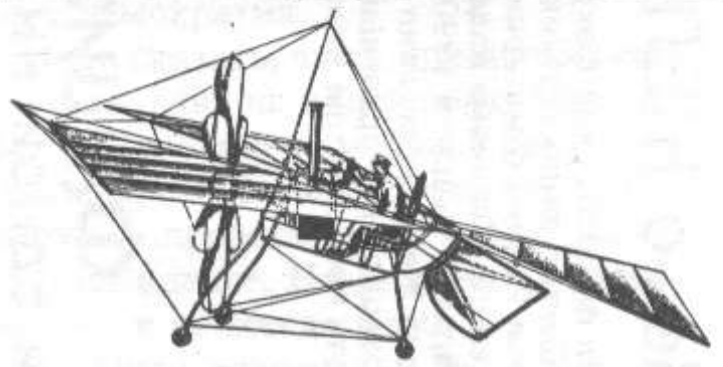


9

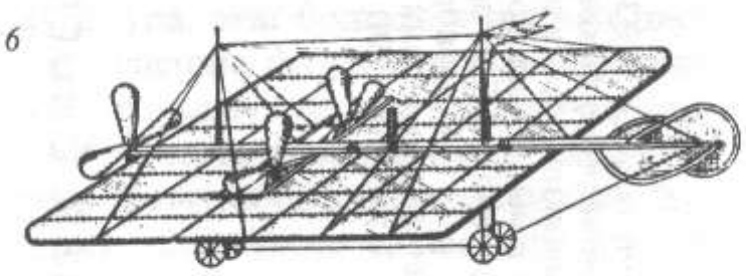
4



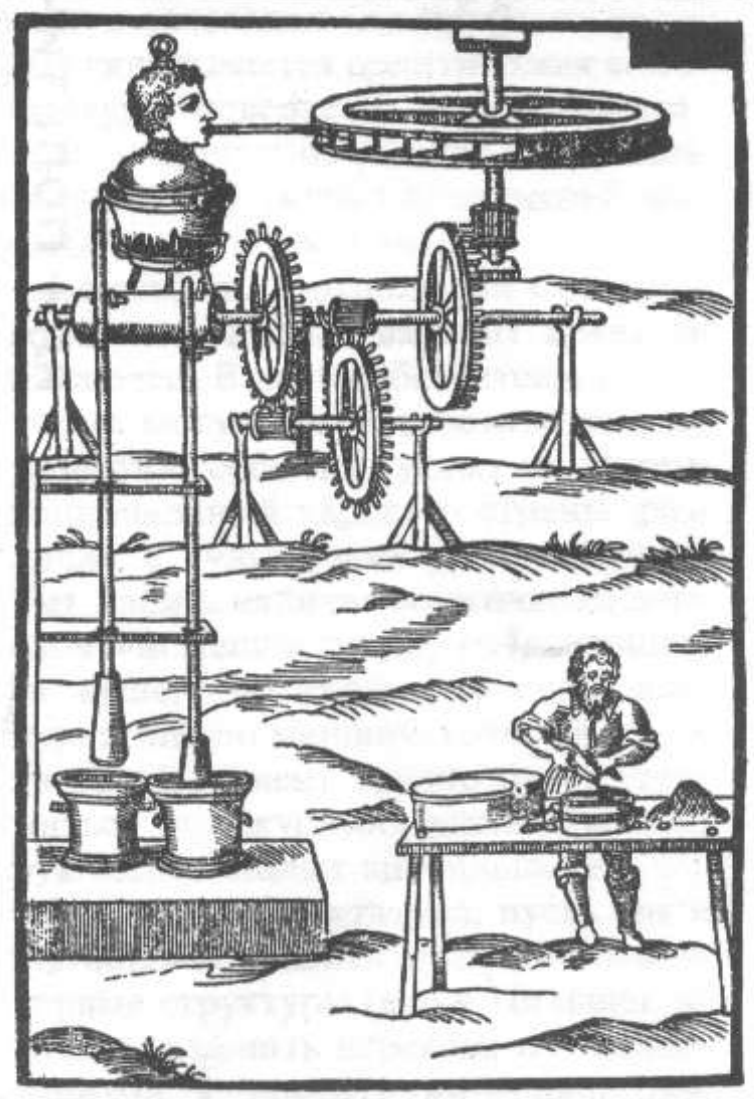
5



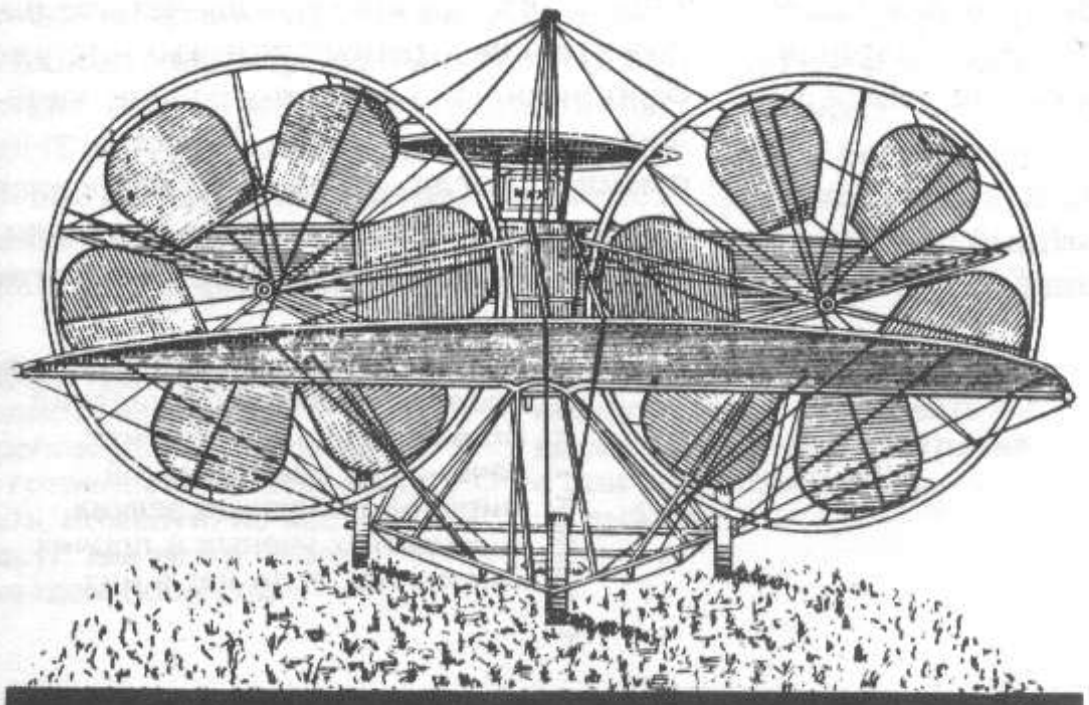
6



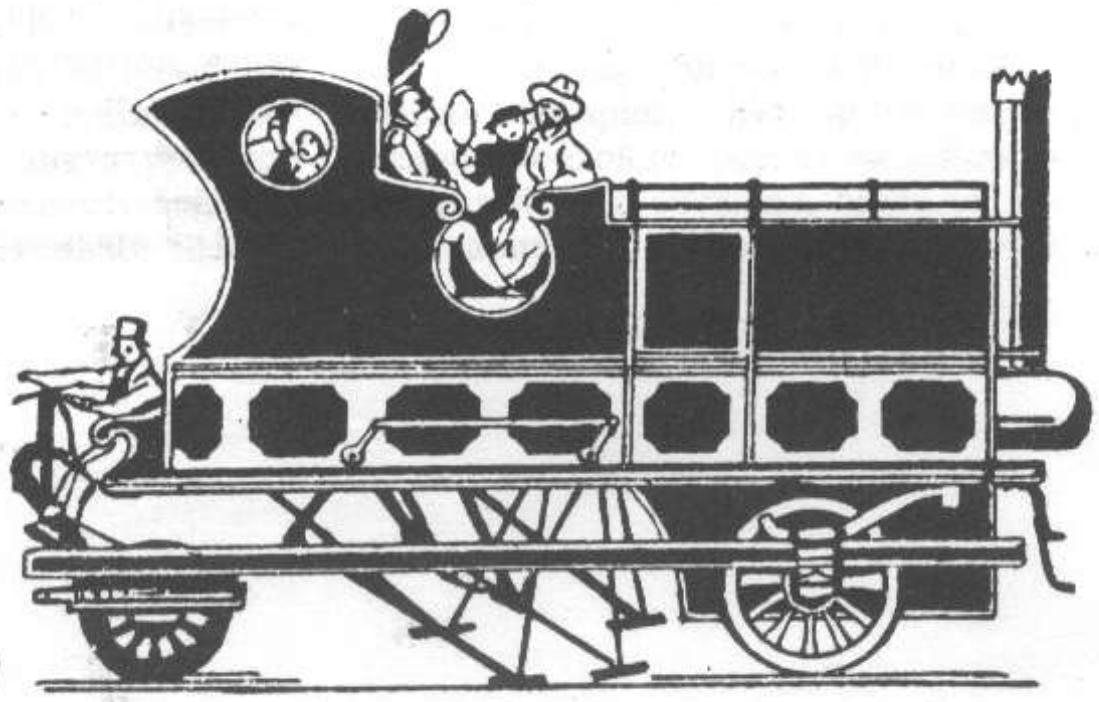
7



10



11



Фашизм
или политическая биография одной книги

Желю ЖЕЛЕВ

Желю ЖЕЛЕВ (1935) окончил философский факультет Софийского университета. Доктор философских наук, критиковал теоретические статьи Ленина о материи. Был арестован и выслан из Софии. Его книга «Фашизм» издана во многих странах, в Болгарии 2-е издание вышло в 1990 году.
В декабре 1989 года Желев возглавил Союз демократических сил, оппозиционный правящей БКП.
1 августа 1990 года избран президентом Болгарии.

Я не фаталист и не склонен к преувеличениям, но мне все кажется, что этой книге не повезло. Она могла иметь более счастливую судьбу. Книга была написана в 1967 году. Вышла в свет в 1982-м.

Рукопись целых 15 лет болталась по софийским издательствам. И всякий раз ее возвращали или по причине перегруженности издательских планов на много лет вперед, или из-за пресловутого отсутствия бумаги. Только военные откровенно объявили мне истинную причину. Помню, когда я пришел в Военное издательство, редакторы собрались поглядеть на меня. Смотрят и вполне доброжелательно смеются. Спрашиваю:

— Будете издавать?

— Нет, невозможно...

— Почему? Не понравилась?

— Наоборот, очень понравилась...

— Но тогда почему?...

— Книга слишком хороша для того, чтобы быть изданной у нас,— отвечает один из них.— В Болгарии такие вещи не печатают.

Единственным моим утешением было то, что рукопись непрерывно ходила по рукам и читалась как в столице, так и в провинции.

Заслуга в столь широком и быстром распространении рукописи принадлежит Радою Ралину, который был и первым ее читателем. Многие годы он знакомил с ней определенных людей интеллектуального толка. Ему обязан я и оперативной легализацией книги. Поэтому (и не только поэтому, конечно) я посвятил ему свое исследование, хотя из-за конъюнктурных соображений издательство не поместило это посвящение на титульной странице*.

В 1968 году начались переговоры с издательством компартии Чехословакии «Свобода». В конце июля я выехал в Прагу, уладил там вопросы, касающиеся перевода, и другие детали. Была неописуемая атмосфера «Пражской весны» — радостная и тревожная, было время «Двух тысяч слов»... Через двадцать дней в Чехословакию вторглись войска Варшавского договора, и все мои надежды провалились.

---

* Радой Ралин — известный болгарский писатель-сатирик.— *Ред.*

В 1982 году книга была напечатана в Болгарии издательством «Народна младеж» 10-тысячным тиражом. Три недели спустя после поступления в книжные магазины она была запрещена и изъята из библиотек. В сущности же, изъяли только третью, последнюю, партию, так что на руках у читателей оказалось по меньшей мере шесть тысяч экземпляров — милиция была уже бессильна отнять их...

Незадолго до запрещения книги ко мне пришли представители организации «Книгораспространение», чтобы получить согласие на новый, 30-тысячный тираж. Я, конечно, дал такое согласие. Но когда они обратились в отдел печати ЦК БКП с просьбой о выделении издательству дополнительных лимитов на бумагу, их с позором выставили оттуда, поскольку «эпидемия» уже началась.

В июне 1982 года в София проходила международная книжная выставка. Издатели из Венгрии, Чехословакии и Польши высказали намерения заключить договор на издание «Фашизма» у них. Но наша бдительная идеологическая полиция не пожелала даже обсуждать с ними этот вопрос, заявив, что такой книги нет...

В 1986 году, на конгрессе по болгаристике, большая группа китайских переводчиков встретилась с Радоем Ралиным, рассчитывая получить у него что-нибудь новенькое для перевода. С щедростью и бескорыстием, свойственным всем действительно талантливым людям, Радой объявил им: «Дарю вам «Фашизм», написанный моим другом, и поручаю перевести его на китайский. Ничего лучшего не могу предложить». Китайская группа коллективными усилиями перевела книгу за один месяц. Предложили ее Академии западной философской и социологической литературы в Пекине. Я намеренно не называю имя китайского болгариста, который поддерживал связь с нами и осведомлял нас о ходе дел. Перед тем как связь с ним прекратилась, мы узнали, что на книгу даны четыре положительных рецензии и что она уже сброшюрована в типографии, осталась только обложка. К несчастью, именно тогда началась очередная крупная кампания против интеллигенции, вследствие которой многие

Николай Гоголь

Мы как-то не создавались для представительных заседаний. Во всех наших собраниях, начиная от крестьянской мирской сходки до всяких возможных ученых и прочих комитетов, если нет в них

либерально настроенные китайские интеллектуалы потеряли свои посты, а вместе с ними утратили и политическое влияние. Среди них оказался и директор Академии западной литературы, снятый с должности. Это обстоятельство предопределило судьбу китайского издания.

После 1982 года ко мне приходило много русских с просьбой дать им экземпляр книги. Некоторым хватало амбиций заявить о своем желании перевести и издать ее, другие были поскромнее в своих намерениях и рассчитывали всего лишь запустить книгу в систему самиздата. Жестокие рамки издательских соглашений, которыми связаны «братские страны», исключали и продолжают исключать возможность ее официального издания в Советском Союзе. Но о том, что книга действительно распространялась через самиздат, говорит тот факт, что очень многие советские граждане знают о ней или читали ее.

Одно время обращались ко мне и поляки, которые хотели дать отдельные части в журналах или каких-то других периодических изданиях...

Последними, кто просил у меня экземпляр «Фашизма», были люди из руководства Украинского народного фронта, заявившие в этом году о своем намерении перевести и издать ее на украинском. Мне неизвестно, что из этого вышло и вообще вышло ли что-нибудь.

Так что судьба «Фашизма» напоминает участь девушки, которая всем очень нравилась, но никто не взял ее в жены. Надеюсь, не потому, что девушка превратилась в старую деву... Хотя как автор я буду счастлив, если текст книги политически устареет и окажется «преодоленным» жизнью, ибо это будет означать, что с лица Земли исчез последний тоталитарный режим.

Но пока существует тоталитаризм, она не утратит своей актуальности, поскольку представляет собой попытку с помощью документов добросовестно восстановить по кусочкам, как в палеонтологии, огромный политический скелет мамонта тоталитаризма. А тот, кто хочет серьезно бороться против тоталитаризма, не может рассчитывать на успех, не зная его анатомии и физиологии.

Ничем иным не могу объяснить тот факт, что даже теперь, в годы горбачевской перестройки, когда советская пресса в беспрецедентном масштабе предает гласности столь важную для наших обществ политическую информацию, интерес к книге не падает. Ее ищут, перепродают по высоким, иногда баснословным ценам, равным одному или двум среднемесячным заработкам. Два месяца назад, когда мне потребовалось срочно достать два экземпляра для заграницы, книготорговцы предложили ее мне, как автору, со скидкой — по 120 левов за штуку!

До перестройки главное, что привлекало внимание публики, было полное совпадение обоих вариантов тоталитарного режима — фашистского и нашего, коммунистического. Хотя об этом нигде не сказано напрямую, читатель, опираясь на документальный материал и метод его подачи, сам открывает для себя ужасающую истину: между нацистской и коммунистической политическими системами не только нет существенного различия, но если оно и есть, то не в пользу коммунизма.

Сейчас, когда в средствах массовой информации открыто говорится об этой аналогии и приводится в подтверждение немало фактического материала, книга продолжает привлекать к себе внимание, вероятно, больше всего своим прогнозом гибели тоталитарных режимов. Схема, согласно которой распад тоталитарных режимов возведен в закономерность (тоталитарная система — военная диктатура — демократия с многопартийной системой), выдвигает вопрос: сохранится ли эта закономерность для наших режимов, или здесь распад будет происходить по-иному? Потому что если события в Польше подтвердили схему, и притом достаточно точно, то горбачевская перестройка по своему замыслу и способу осуществления дает основания для коррекции схемы.

Перестройка представляет собой в полном смысле слова альтернативу военной диктатуре. Она вознамерилась осуществить то, что должна была совершить военная диктатура, но хочет сделать это мирным путем, гуманно, культурно, бескровно, демократично, то есть осуществить цивилизованный переход от тоталитаризма к демократии.

Надо сказать, что в принципе такая альтернатива не иллюзорна. Уже тот факт, что Венгрия избрала ее, а Балтийские республики успешно ее домогаются, представляет собой тому подтверждение. Но не везде происходит так и не всегда легко.

Большое значение имеют политическая культура народа, его моральные устои, культурно-исторические традиции. Чем выше политическая культура, тем больше у народа шансов успешно скорректировать упомянутую схему, заменив военную диктатуру перестройкой. Возможны и самые разнообразные сочетания двух путей. Возможно также, что страна, которая твердо взяла курс на перестройку, из-за недостатка политической культуры или из-за неблагоприятного сочетания элементов, из которых складывается политическая конъюнктура, повернет к военной диктатуре — просто не сможет выдержать больших внутренних напряжений, порождаемых перестройкой.

Боюсь, что в отношении Советского Союза данный вариант никак не исключен. В числе обстоятельств, которые могут способствовать такому развитию событий, укажу на многонациональный характер страны, различия в культурном уровне отдельных наций, наличие многочисленного слоя «номенклатуры», сохранившиеся имперские традиции, колоссальную военную машину, которой в критический момент трудно будет удержаться от искушения взять власть из рук беспомощных «цивильных».

Но военная диктатура, пусть она и пытается сохранить и спасти тоталитарные структуры (как в Польше), не может отменить перехода от тоталитаризма к демократии, — напротив, она его ускоряет. Обостряя противоречия, она вообще приближает развязку. Плохо, однако, то, что в таком случае не обходится без кровопролития, без угрозы для жизни людей.

Иными словами, через перестройку ли, с помощью ли военной диктатуры, но сценарий, по которому непременно произойдет распад нашей коммунистической системы, один: от тоталитаризма к демократии с много-

одной главы, управляющей всем, присутствует препорядочная путаница. А готовность всякую минуту есть, пожалуй, на все. Мы вдруг, как ветер повеет, заведем общества благотворительные, поощрительные и невесть какие. Цель будет прекрасна, а при всем том ничего не выйдет.

партийной системой. Таково общее, закономерное, необходимое. Остальное — подробности.

Но жизнь, которая всегда богаче схем и потому не желает в них укладываться, наверняка поразит нас новыми, еще более причудливыми и невероятными сочетаниями элементов политической действительности, о которых мы сейчас даже не догадываемся. Кому из нас, например, могло прийти в голову — хотя это и «близко лежит», — что при демонтаже нашего коммунистического варианта тоталитарной системы она в определенный период деградирует до уровня фашизма, несовершенного и незавершенного тоталитарного фашистского режима и что в этом смысле фашизм станет огромным шагом вперед, к демократии! Звучит шокирующе и парадоксально, а для неразвитого или девственного политического сознания, вероятно, обидно, но политические иллюзии, эмоции и предрассудки — одно, а политические реалии и железные законы, которым они подчиняются,— совсем другое.

Сегодня именно предубежденное или предрассудочное идеологическое мышление многим мешает понять смысл и значение процессов, которые происходят в таких странах, как Болгария, Чехословакия, ГДР, Китай, отчасти и Советский Союз. У нас можно услышать, как люди, недовольные режимом, говорят: «Страшно! Фашизм!», желая сказать, что положение стало хуже, чем раньше, а демократии меньше. Если вы попытаетесь им возразить, вам укажут на постоянно растущие репрессии. Они, однако, забывают, что еще быстрее в стране расширяется легальное демократическое движение, что уже существует целая дюжина независимых групп и движений, что гражданское общество пробуждается и т. д. — происходят процессы, прежде абсолютно немыслимые.

Вот почему правильнее сказать: сейчас такие страны, как Болгария, ГДР, Чехословакия, Китай, своими политическими репрессиями, демагогией, цинизмом, всеобщей коррупцией, шовинизмом, ура-патриотизмом, безверием и т. д., с одной стороны, а с другой — своими неформальными движениями, открытой борьбой за демократию, перемены и т. д. больше похожи на фашистские государства, чем на коммунистические. Но этот факт свидетельствует только о том, что они уже совершили определенную демократическую эволюцию, дошли до определенной фазы разложения тоталитарной структуры. Потому что не существует другого пути перехода от тоталитаризма к демократии, кроме разрушения его политической системы. Тот, кто обещает прийти к демократии через усовершенствование тоталитарной системы, занимается низкопробной демагогией.

Поскольку это принципиальный вопрос, имеющий не только теоретическое, но и непосредственное практическое значение в переживаемый нами момент, он заслуживает того, чтобы подробнее на нем остановиться и попытаться рассмотреть его в историческом плане.

Мы, марксисты, первыми в истории создали тоталитарный режим, тоталитарное государство — однопартийную государственную систему, построенную посредством насильственного уничтожения других политических партий или посредством низведения их до уровня обыкновенных казенных организаций, во всех отношениях подчиненных Коммунистической партии. Абсолютная монополия Коммунистической партии в политической сфере закономерно должна была привести к полному сращению партии и государства и больше всего — государственного аппарата с партийным, вследствие чего во главе государства и партии оказались одни и те же лица, которым принадлежит неограниченная и бесконтрольная власть. То же происходит на других, более низких уровнях государственной и хозяйственной иерархии.

Чтобы эта политическая система была стабильной и непоколебимой, абсолютная монополия государства и партии, надгосударственной партии или, точнее, партии-государства должна была распространиться из надстройки на экономическую базу общества. Все должно было превратиться в государственную собственность: крупная частная собственность путем экспроприации, мелкая — посредством насильственной и кровавой сталинской коллективизации.

С завершением процесса огосударствления тоталитарный режим построен полностью. Возникает коммунистический вариант, который до сегодняшнего дня остается наиболее совершенной и законченной моделью тоталитарного режима. Фашистская модель, которую часто считают антиподом коммунистической, в сущности, отличается от нее единственно тем, что она недостроена, незавершена в отношении экономической базы, вследствие чего менее совершенна и стабильна. К такому выводу приводит исследование внутренней архитектоники нацизма и нацистской системы, представляющей собой фашистский режим в завершенном виде. Здесь абсолютная монополия партии не распространяется на экономику, тем более на всю экономическую базу в целом. Различные виды частной собственности не стремятся к сцеплению, целостности, монолитности, а скорее наоборот — порождают неоднородность, гетерогенность, различия, которые в критической ситуации легко перерастают в противоречия. Несоответствие политической надстройки фашистского тоталитарного режима его экономическому базису выглядит как несоответствие однородности и неоднородности. Данное обстоятельство делает фашистские режимы нестабильными и недолговечными. Поэтому все они погибли намного раньше наших, коммунистических, — нацистская Германия и фашистская Италия в пламени второй мировой войны, франкистская Испания и салазаровская Португалия — после войны, так сказать, в мирных условиях.

Но фашистские режимы не только пали раньше — они и появились позднее, что выдает их с головой как жалкую имитацию, копию с оригинала, то есть с подлинного, первородного, совершенного и законченного тоталитарного режима. Мой друг профессор Николай Генчев, обладающий несомненным чувством юмора, определяет фашизм как «ранний, несистематизированный, бонвиванский вариант коммунизма», а Гитлера называет «жалким подражателем и опереточным героем». Надо сказать,

Александр Солженицын

Надо так перестроить совесть человечества, чтобы люди гордились только трудом собственных рук и стыдились быть надсмотрщиками, «руководителями», партийными главарями. Надо добиться, чтобы звание министра скрывалось, как профессия ассенизатора: работа министра тоже необходима, но постыдна.

Пусть если девушка выйдет за государственного чиновника, это станет укором всей семье! — вот при таком социализме я согласился бы жить!

что в этой шутке содержится зловещая истина. Ни в какой степени не обеляя палача и людоеда Гитлера, надо тем не менее признать, что в сравнении с палачом Сталиным он не более чем мальчик с пальчик. Палач Сталин мог бы запросто поместить своего коллегу в карман.

Напомню только две цифры, которые красноречивей всяких доводов и рассуждений говорят о принципиальном различии двух видов тоталитаризма. До начала второй мировой войны — до 1 сентября 1939 года — Гитлер уничтожил менее 10 тысяч человек. Читатели догадываются, что в их число входят жертвы «ночи длинных ножей» (30 июня 1934 года), когда были вырезаны оппозиционно настроенные руководители СА и вся уцелевшая либеральная оппозиция, жертвы «хрустальной ночи» («кристальнахт», апрель 1938 года), когда были устроены еврейские погромы, о которых столько написано... К той же дате — 1 сентября 1939 года — Сталин уничтожил не менее 10 миллионов. Некоторые авторы утверждают, что цифра приближается к 15 миллионам, но не будем спорить, потому что в данном случае точная цифра не столь важна. Речь идет о различии, которое выражается не в процентах (один убил на столько-то процентов больше, чем другой), не отношением кратности (во столько-то раз больше другого),— нет, речь идет о различии, выражаемом математическим порядком, то есть величинами, которыми оперируют космология, астрономия, современная физика...

Другой факт — число жертв войны. Германия, которая воевала в нескольких десятках стран Европы и Африки и потерпела полный военный разгром от объединенных сил союзников, потеряла от 7,5 до 8 миллионов человек, включая и мирное население в тылу. Советский Союз, который начал войну двумя годами позднее, принес в жертву более 30 миллионов. Чтобы скрыть свою непригодность и провал в качестве полководца, Сталин признал 7 миллионов погибших. Хрущев признал 20 миллионов. Сейчас в советской публицистике называется около 32 миллионов. По мнению же некоторых авторов, эта цифра может достичь 40 миллионов.

В четыре-пять раз больше жертв при том положении, что СССР позднее включился в войну и не воевал в стольких странах, как страна-агрессор, — этот факт косвенно свидетельствует о более значительном палаческом размахе тоталитарного режима.

Но может быть, ничто другое не говорит так красноречиво на сей счет, как отсутствие каких бы то ни было попыток свержения советского руководства, поставившего в 1941—1942 годах страну перед лицом катастрофы. Потому что история XX века не знает предательства, подобного тому, которое совершили против собственного народа Сталин и его Политбюро. Уничтожение командного состава армии, полное равнодушие к вопросам ее материально-технического обеспечения, демонтаж оборонительных сооружений на западной границе, преступно пренебрежительное отношение к многочисленным предупреждениям разведывательных органов о предстоящем нападении на Советский Союз и скоплении огромного числа немецких дивизий в непосредственной близости от советской границы, молниеносное вторжение немцев и пленение до конца 1941 года около четырех с половиной миллионов советских военнослужащих — все это в конце 1941 и начале 1942 года поставило под угрозу само существование Советского Союза, и Сталин был вынужден по каналам Берии искать возможности заключения сепаратного мира с Гитлером при посредничестве болгарского царя Бориса.

То, что даже в такой катастрофической ситуации советские генералы не сделали ни одной попытки свалить команду Сталина, показывает, в каком глубоком политическом и идеологическом коллапсе находится общественное сознание при господстве завершенного тоталитарного режима, каковым был тогда советский режим.

В аналогичных обстоятельствах немецкие генералы 20 июля 1944 года попытались, хотя и безуспешно, свергнуть Гитлера и его клику. В Италии годом раньше (25 июля 1943 года) военные во главе с маршалом Бадольо сумели арестовать Муссолини и отстранить фашистскую партию от власти. И в том и в другом случае это стало возможным потому, что немецкие и итальянские генералы происходили из имущих классов, что в гражданском отношении они имели под ногами твердую почву. Они обладали собственностью. На практике это означало, что если заговорщик погибнет, если с ним случится самое худшее, его семья не умрет от голода, не исчезнет, его род не прервется.

В связи с обсуждаемой проблемой крайне интересно напомнить об идейной эволюции Муссолини в последний этап его жизни, после того как он был освобожден из плена отрядом Отто Скорцени.

В итоге продолжительных размышлений (а у него было достаточно времени для размышлений в альпийской крепости!) Муссолини пришел к выводу о необходимости создания иного фашистского государства, где вследствие национализации все станет государственной собственностью. Только государственная монополия на собственность может создать монолитный и непоколебимый тоталитарный режим, способный гарантировать фашистского вождя и фашистскую партию от всяких неожиданностей со стороны военных. Эти идеи он воплотил в проекте пресловутой республики Сало, создание которой было сорвано благодаря ускорившимся военным действиям союзников в Италии.

Впрочем, ему удалось сделать первые практические шаги: в начале октября 1943 года было провозглашено образование «Неофашистской республики Сало» — естественно, в самом тесном взаимодействии с генералом СС Карлом Вольфом и тогдашним германским послом Рудольфом Раном. На учредительном конгрессе в Вероне в ноябре 1943 года было принято обращение к трудящимся Северной Италии с обещанием рабочего контроля на промышленных предприятиях и частичной национализации земли...

Но вернемся к основной теме. Когда мы говорим о своеобразном прохождении через фазу фашизма при демонтаже нашего коммунистического тоталитарного режима и преподносим такой переход как реальный шаг к демократии, не следует пони-

Николай Бердяев

Духовный провал идеи Москвы как Третьего Рима был именно в том, что Третий Рим представлялся как проявление царского могущества, мощи государства, сложился как Московское царство, потом как империя и, наконец, как Третий Интернационал.

мать это буквально, в том смысле, что мы якобы стремимся к фашизму едва ли не как к некоему идеалу, приемлем идеологию фашизма и т. д. Ничего подобного. Мы проходим данный этап по необходимости, по неизбежности, вынужденно, и потому чем быстрее мы его пройдем, тем будет лучше. Но мы обращаем особое внимание на это обстоятельство, потому что в нем ключ к пониманию внутренних напряжений нашей тоталитарной системы в эпоху перестройки — напряжений, которые возникают при демонтаже тех или иных элементов базиса и надстройки. Именно при демонтаже совершенный тоталитарный режим превращается в несовершенный и потому нестабильный, что порождает соблазн прибегнуть к репрессиям для восстановления стабильности системы. В одних странах преобладает перестройка базиса, как в Китае, в других — надстройки, как в Советском Союзе. Но так или иначе тоталитарная система входит в фазу нестабильности, так сказать, структурной недостаточности, и не может найти другого способа самосохранения, помимо насилия, репрессий, террора.

Последние события в Китае — подтверждение тому. Экономическая реформа, которую китайское руководство проводило в последние 10 лет, распуская коммуны, раздавая землю в аренду на 10, 15, 20, 30, 50 лет, создавая более свободный рынок, особые экономические зоны и т. п., должна была вызвать конфликт между властью и интеллигенцией. Реформа создала условия, при которых отдельные группы населения разбогатели, стали обретать самостоятельность и независимость от государства. В соответствии со своим социально-экономическим статусом и своими настроениями они захотели и политических свобод, что в коммунистическом режиме означает посягательство на однопартийную систему. И они посягнули. Интеллигенция и молодежь, всегда особо чувствительные к ограничению свободы и демократии, первыми выступили против монополии Коммунистической партии, потребовав ее отмены.

Так что характерные для фашизма феномены начинают воспроизводиться, хотя дело еще не дошло до возвращения к частной собственности и перехода к типичному для фашизма соотношению между базисом и надстройкой (частная собственность в экономической основе общества и абсолютная партийно-государственная монополия в политической надстройке).

Разумеется, весьма вероятно, что необходимость прохождения специфически фашистской фазы возникнет не везде. Эффект нестабильности может проявиться по-иному. В Советском Союзе, например, экономическая база все еще остается нетронутой, государство ни с кем не делится своей монополией на национальную собственность, в то время как в надстройке процесс демонтажа зашел столь далеко, что политический плюрализм уже стал фактом: практические шаги по отделению партии от государства; неформальные группы и движения; национальные фронты, которые оспаривают монополию Коммунистической партии на власть; стачки и национальные движения за государственное обособление; наконец, публичность. Все это непрерывно обнажает пороки тоталитарной системы. В известном смысле получается «фашизм наоборот» — монополия в базисе, плюрализм в надстройке! — что, разумеется, не перестает дестабилизировать систему в целом.

Если в Болгарии перестройка будет реализована так, как она задумана номенклатурой — сначала в экономике, а после в политической сфере,— получится именно китайский вариант демонтажа и с ярко выраженной фашизацией. Впрочем, по мере того как проводятся экономические реформы и определенные группы начинают обретать самостоятельность и самосознание, мало-помалу становится ощутимой напряженность между базисом и надстройкой. Речь идет в данном случае не столько о субъективной стороне этого явления, сколько о ряде его объективных проявлений.

Все эти рассуждения не отменяют общей последовательности распада: тоталитарная система — военная диктатура (соответственно — перестройка) — многопартийная демократическая система. Формула пригодна практически для всех типов тоталитарного режима, при этом коммунистический, прежде чем вступить во вторую фазу, часто опускается до уровня фашизма. Момент деградации иногда может быть достаточно ясно выражен как отдельная стадия эрозии первой фазы, иногда же его присутствие может быть вообще незаметно.

Как видно, новейшие импульсы, делающие тему фашизма вновь актуальной, идут оттуда, откуда их меньше всего ожидают,— из перестройки, что вновь свидетельствует о тесной связи между двумя основными разновидностями тоталитаризма. Такая связь или отрицалась, или рассматривалась, главным образом, в историческом, историко-генетическом плане (например, вопрос о том, как коммунизм породил и стимулировал возникновение фашизма, после чего фашизм обогатил политический арсенал коммунизма и т. п.), теперь же ее актуально-политическое значение становится очевидным.

Это обстоятельство вновь и вновь возвращает нас к основным методологическим проблемам исследования фашизма.

Новейшие данные подтверждают, что фашизм не может быть понят в своей глубинной сути, если не будет рассмотрен как режим тоталитарный, как вид тоталитарной системы. Без привлечения тоталитарной модели невозможно понять феномен фашизма в широком политическом контексте XX века. Еще меньше возможностей раскрыть его связь с другой версией тоталитаризма — коммунистической, — чтобы точно установить их сходство и различие. Априорное и преднамеренное, основанное на чисто идеологических соображениях отрицание такой связи и провозглашение мнимой их противоположности не имеет с наукой ничего общего. Столь же ненаучно клеймить коммунизм как фашизм, наихудший вид фашизма и т. д. Этот прием сводится к компрометации еще не скомпрометированной или в малой степени скомпрометированной формы тоталитаризма через другую форму, которая полностью себя скомпрометировала и осуждена в Нюрнберге международным судом. Но сегодня едва ли в этом есть какой-нибудь смысл...

Из сказанного выше видно, что для

Э. Надточий

Ретроспективно можно сказать, что уже у романа Горького «Мать» нет автора. Все дальнейшие создатели произведений в поле письма соц. реализма должны именоваться «Горький-2», «Горький-3»... «Горький-20003» (сколько у нас там членов союза писателей?) ... Автор, как тот, чей уникальный опыт рождает связь вещей и слов, — исчезает. Остается тот, кто расписывается за гонорар в кассе, и его росчерк в ведомости — самое самобытное из его произведений. Дружественная нам Северная Корея, где все

нас, болгар, особенно для болгарской интеллигенции, проблемы, поставленные советской перестройкой, не новы. Фактически именно их мы обсуждаем начиная со второй половины 60-х годов и до сих пор, притом не на эмпирическом уровне, как это происходит в советской периодике, а на значительно более высоком, теоретическом, где процессы приобретают значение закономерностей, из которых следует определенный прогноз...

Понятно, что в наших условиях это можно было делать открыто только в отношении одной разновидности тоталитаризма — фашистской, в то время как другая представляла собой табу. Да и публика значительно лучше была подготовлена именно к такому анализу, поскольку была знакома с огромным материалом, изобличающим фашизм, в то время как в отношении коммунизма ею все еще владели разнообразные иллюзии.

Помнится, когда в апреле 1974 года в Португалии вспыхнула революция младших офицеров и в продолжение двух лет установилась военная диктатура, а после нее пришел черед парламентской демократии, многие мои друзья и знакомые, читавшие «Фашизм» в рукописи, говорили, что формула распада тоталитарных режимов работает хорошо, или, как выразился один из них, «вкалывает безотказно».

Второй раз нечто подобное произошло в 1981 году, когда в Польше было объявлено военное положение. Конечно, на этот раз по телефону мне не звонили, поскольку речь шла о братской стране и подобные разговоры могли быть небезопасными.

Далеко не случайно власти развернули после выхода книги столь всеохватные и массовые репрессии против всех, кто был причастен к ее изданию. По реакции публики, по возбуждению и энтузиазму, охватившему часть интеллигенции, они инстинктивно почувствовали, что на открытое обсуждение вынесены крупнейшие проблемы нашего времени, в том числе и вопрос о судьбе нашего «строя».

Сколь ни саморазоблачительно было преследование антифашистской книги, власти не нашли иного выхода, так как ничего противопоставить ей в идейном плане они не могли.

Естественно, кара должна была настигнуть и меня, но поскольку я давно был исключен из партии, оставался лишь один путь — административный. Меня освободили от руководства сектором и вывели из ученого совета Института культуры. Чтобы избежать скандала, сделали это иезуитским способом: объявили о реорганизации института, в результате чего мой сектор «Культура и личность» перестал существовать, так что мне нечем стало заведовать. Для камуфляжа закрыли и соседний сектор. Среди членов вновь созданного ученого совета меня, естественно, не оказалось.

Я мог протестовать, мог устроить скандал, но делать этого не стал: неудобно и некрасиво было защищать себя в ситуации, когда другие из-за моей книги пострадали сильнее.

Власти надеялись, что им удастся репрессиями запугать общественность, принудить ее не обсуждать книгу, не распространять попавшие в руки публики экземпляры. Но их надежды не оправдались. Общественный интерес оказался столь велик, что репрессии только подлили масла в огонь. Даже люди, которые вряд ли когда-либо читали политическую литературу, теперь кинулись доставать книгу «Фашизм».

Вокруг книги стал складываться своеобразный фольклор. Возникали комичные ситуации, слухи, легенды, политические анекдоты. Позволю себе рассказать некоторые из них.

После того как в интеллигентных компаниях разговоры о книге приобрели престижный характер, одна молодая дама решила достать себе книгу. Заходит в книжную лавку и говорит:

— У вас есть «Коммунизм» Желева?

Продавщица удивленно глядит на нее:

— Вы хотите сказать — «Фашизм» Желева?!

— Ах, да, да...

Был еще один анекдот, который ставил рядом явно несопоставимые вещи.

Что сделали народы Восточной Европы после второй мировой войны?

Венгры в 1956 году — восстание, чехи в 1968 году — «пражскую весну», поляки в 1980 году — «Солидарность», болгары в 1982 году издали «Фашизм»...

Конечно, сравнивать издание книги с народным восстанием или массовым народным движением некорректно, но это интересно как факт общественного умонастроения, хотя расценивать этот анекдот скорее всего надо как самоиронию.

Противоречивая и трагикомичная ситуация, в которой оказались гонители книги, вновь вызывает к жизни известный советский анекдот об «усатом диктаторе».

...Мертвецки пьяный человек около полуночи остановился перед Мавзолеем на Красной площади и стал кричать: «Смерть усатому диктатору! Смерть усатому диктатору!»

Стража перед Мавзолеем делает вид, что не замечает его, и с нетерпением ждет, когда пьяница перестанет ей досаждать. Но человек, повернувшись к Кремлю и подняв кулак, упорно повторяет свой лозунг. Наконец, стража вынуждена вызвать дежурного офицера. Полковник, поняв, в чем дело, задерживает пьяницу и докладывает из караульного помещения Сталину, что задержан злостный враг, который кричал: «Смерть усатому диктатору!» Сталин отвечает, что занят — идет заседание, пусть задержанного приведут через три часа.

Однако задержка обернулась для пьяницы спасением. За это время он отрезвел. И когда наконец Сталин задал ему вопрос: «Гражданин, кого вы имели в виду, когда кричали «Смерть усатому диктатору», — он ответил:

— Естественно, Гитлера. Он вероломно напал на нашу страну, разрушил тысячи городов и сел, уничтожил миллионы советских людей...

— Достаточно! Правильно, гражданин!

После чего Сталин спросил офицера:

— А вы, товарищ полковник, кого имеете в виду?!!

...Происходило именно то, чего власти больше всего боялись: наказания не оставались тайной, а интерес к книге возбуждался еще больше.

писатели образуют один
анонимный союз,
носящий
славное имя дня рождения
товарища Ким Ир Сена,
и заняты созданием
бесконечной эпопеи
подвигов Великого Вождя
(имена
на обложке творений
упразднены), — лишь более
последовательное сведение
начал и концов
соц. реализма.

Расскажу два комичных случая.

Мой приятель из Пазарджика, поэт, который познакомился с текстом книги значительно раньше, чем она вышла в свет, купил сразу 15 экземпляров, как только увидел ее на прилавке. В тот же день он встретил одного сельского священника, с которым они были добрыми друзьями, и заинтриговал его известием, что вышла книга о фашизме, которую любой ценой надо приобрести. Священник в тот момент куда-то спешил и не смог зайти в магазин. Когда же приехал через неделю, книги уже не было. Тогда мой приятель дал ему один экземпляр почитать, с тем чтобы священник вернул его через неделю, когда приедет в город. Проходит 15, 20, 30 дней, полтора, два месяца, однако священник не дает о себе знать. Тогда обеспокоенный приятель садится в автобус и едет в село, чтобы узнать, что случилось со священником. Застает его в компании с сельским старостой, парторгом, председателем «дружбы»*, профсоюзным лидером и двумя учителями. Они выпивали и что-то обсуждали. Приятель спрашивает священника, почему тот не возвращает книгу.

— Мы решили эту книгу оставить тут, в селе, — отвечает священник. — Создали кружок, чтобы изучить ее. Читаем отдельные главы, обсуждаем, размышляем и выпиваем...

— Как же вы можете быть в одном кружке? Партийный секретарь и староста — коммунисты, ты — христианин, председатель «дружбы» — член БЗНС, учителя, скорее всего, беспартийные и атеисты... Что между вами общего?

— Э-э-э, сын мой, — многозначительно заявил священник, — когда дело касается фашизма и выпивки, у нас единый фронт. Идеология тут не имеет значения...

Другой случай произошел в одном городке близ Пловдива. Местная профсоюзная организация решила наградить лучших своих активистов. Кроме денежных премий и ценных подарков решили использовать книги. Обратились к продавщице книжного магазина, попросив подобрать что-нибудь из общественно-политической литературы. Еще сказали, что книги должны быть не в мягкой обложке, а иметь достаточно внушительный вид. Продавщица ответила, что как раз поступила упаковка из 10 книг о фашизме, которые точно соответствуют предъявленным условиям: в твердой обложке и т. д. Местные профсоюзные руководители, которые, судя по всему, были далеки от эпицентра политической жизни, взяли книги, подписали их и вручили. Но через несколько дней в городе стали поговаривать, что в виде подарков была роздана идеологически вредная и запрещенная властями книга. Это стало предметом разговоров и комментариев. По всей вероятности, молва достигла ушей и того государственного института, который больше всего заботится об идеологическом здоровье народа, и по его указанию в один прекрасный день посыльный пошел от награжденного к награжденному, чтобы изъять у них неправильную книгу.

Но наряду с комическими ситуациями были и трагические случаи. Расскажу о последнем. В прошлом году мне позвонил какой-то парень из Пазарджика, представился и настоял на встрече.

В первый момент я подумал, что он представляет одно из правозащитных движений. Однако дело оказалось совсем другим. «Моя судьба очень тесно связана с вашей», — сказал мне юноша. Я удивился — ведь мы даже не были знакомы. «Я просидел в тюрьме четыре года из-за вашей книги о фашизме, — продолжил он. — Читал ее солдатам в роте, и меня отдали под суд. Военный суд приговорил к шести годам тюрьмы, но я хорошо работал и вышел через четыре... Теперь осенью должен снова идти в армию, дослуживать срок... Обиднее всего, что осудили меня за распространение в армии фашистской идеологии...»

Я был потрясен, не мог поверить собственным ушам. Вообще-то я слышал раньше об этом случае, но принял его за одну из легенд. Но сейчас юноша стоял передо мной, и для сомнений места не оставалось. Четыре самых лучших года жизни этого молодого человека были потеряны...

— У вас что, нет родителей? — спросил я его. — Почему не хлопотали? Почему не подняли шум? Как можно было замалчивать такое политическое свинство?

Юноша сказал мне, что его родители попытались было поискать у кого-то защиты, но им посоветовали молчать, чтобы не вышло хуже. Перепугавшись за сына, они примирились с «судьбой».

В заключение хочу извиниться перед читателем за перегруженность предисловия фактами. Однако факты политической биографии книги дополняют смысл и значение ее содержания, раскрывают и развивают его. Издатели, читатели и репрессивные органы своим отношением к ней, своими действиями дополняли, дописывали, продолжали ее текст. Они продолжают его дописывать и сейчас...

София, август 1989 г.

Перевел с болгарского
Александр ПОЛЕЩУК

Авторское предисловие к книге «Фашизм» написано более года назад. Мы не стали ни исключать из него, ни комментировать уже устаревшие за это недолгое время сведения о политических реалиях стран, освобождающихся от коммунистических режимов. События в этих странах развиваются так стремительно, что ко времени выхода в свет нашего альманаха могут устареть и сами комментарии.

А основной смысл публикации останется прежним: исследование общих, фундаментальных закономерностей перехода от тоталитарных систем к демократическим. К сожалению, в нашем обществе скорость изменений еще не так велика, чтобы эти закономерности представляли только теоретический интерес...

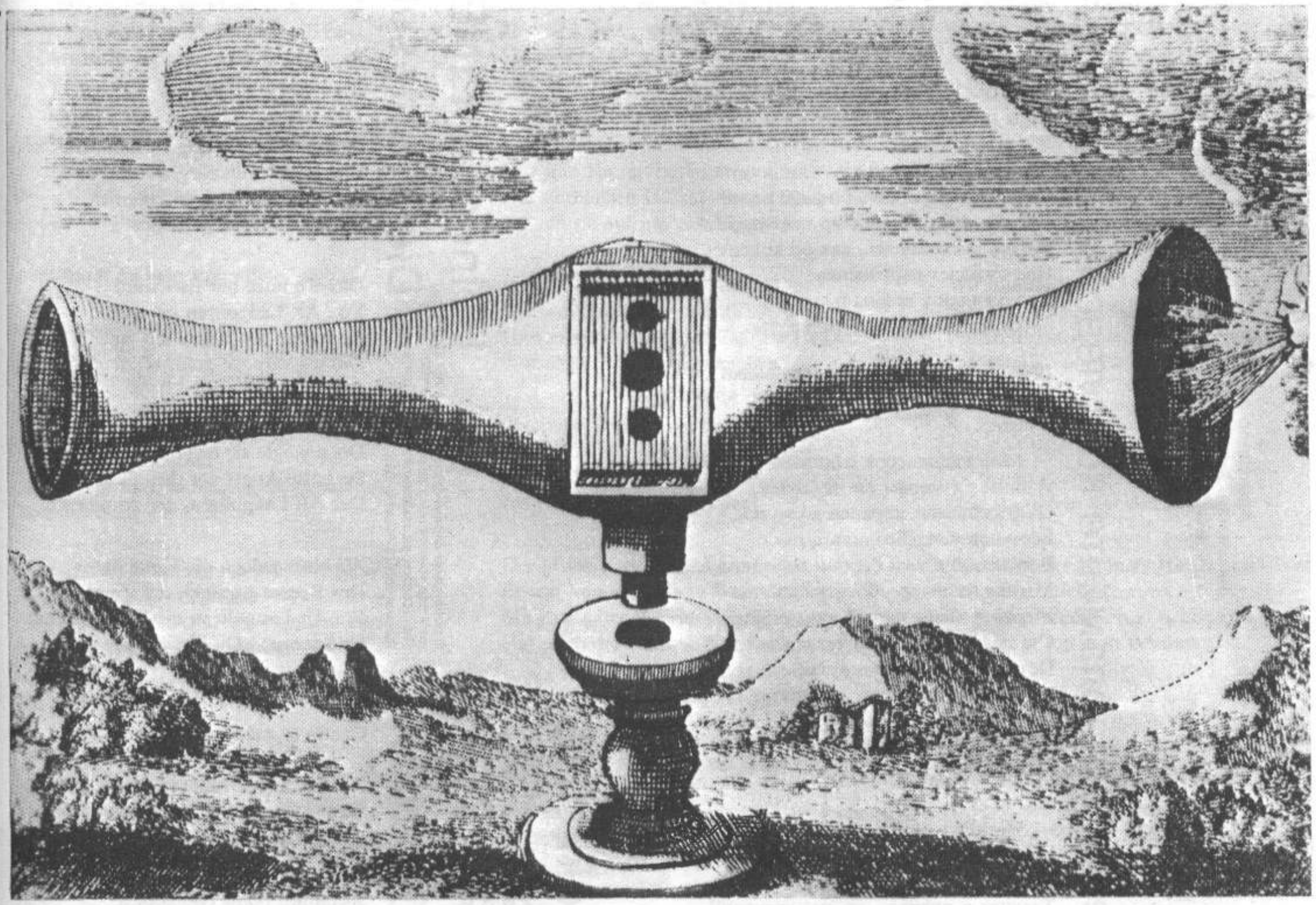
---

* «Дружба» — первичная организация Болгарского земледельческого народного союза. — *Ред.*

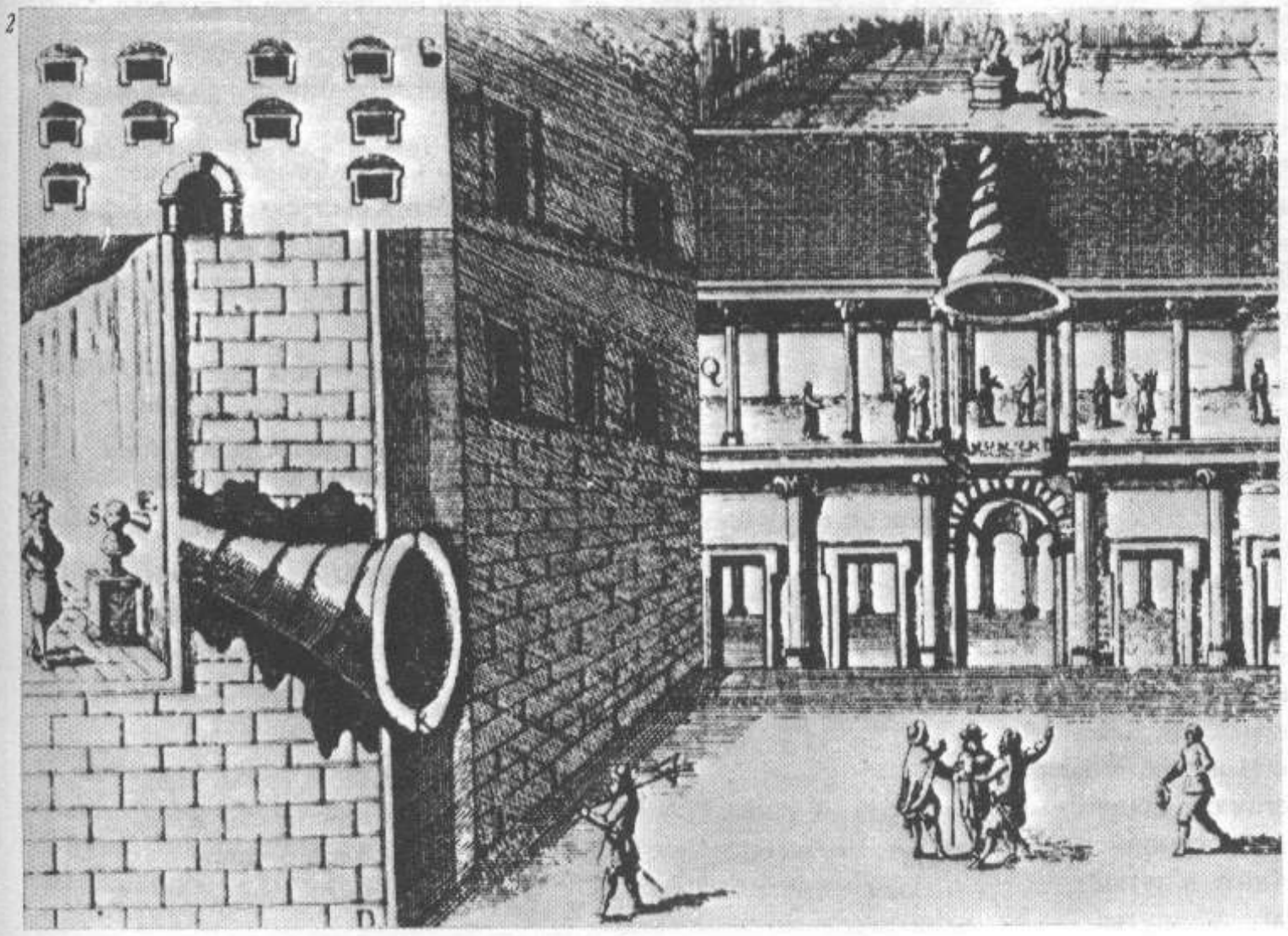
Тит Ливий

Мне бы хотелось, чтобы каждый читатель в меру своих сил задумался над тем, какова была жизнь, каковы нравы, каким людям и какому образу действий — дома ли, на войне ли — обязана держава своим зарожденьем и ростом; пусть он далее последует мыслью за тем, как в нравах появился сперва разлад, как потом они зашатались и, наконец, стали падать неудержимо, пока не дошло до нынешних времен, когда мы ни пороков наших, ни лекарства от них переносить не в силах.

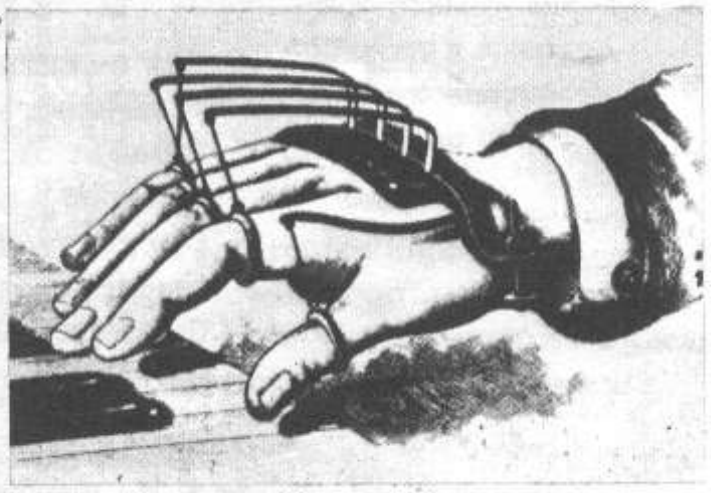
1



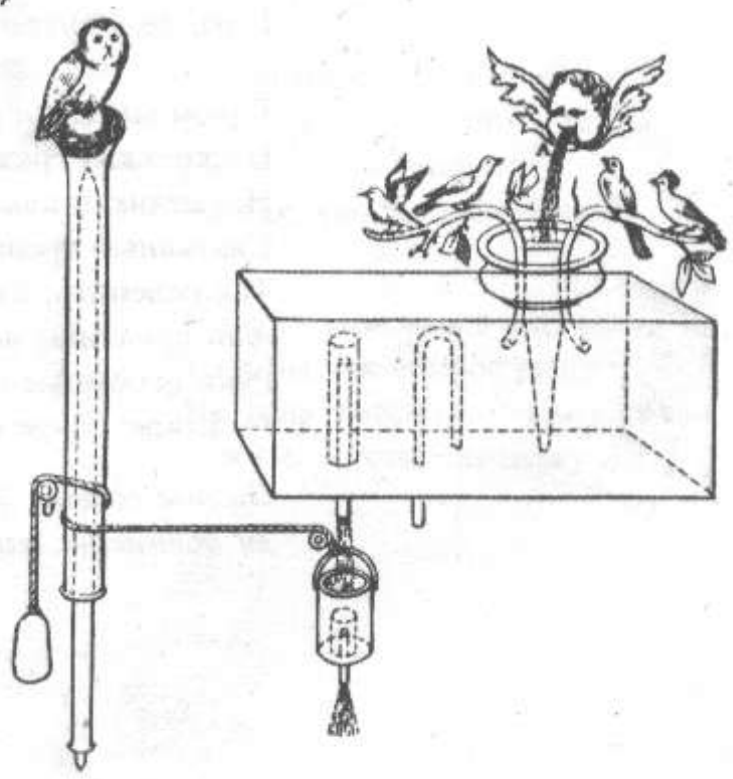
2



3



4



Материализованные музыкальные фантазии

Александр АННО

Александр АННО (1956), по образованию — учитель рисования. Художник, специализируется в области книжной графики, живет в Москве. Первая публикация его стихов — в журнале «Химия и жизнь» (август 1990).

Прения в парламенте королевства Лилипутия

Шум голосов. Звон колокольчика. Прения открывает спикер парламента — грустный такой лилипут.

— Годы над нами медленно плыли.
Горя не знали, жили как жили.
Жили как люди, сыты, обуты,
Даже не зная, что мы — лилипуты.
Горе нам, горе! Нет больше веры!
Где-то за морем — мир гулливеров!
Жизнь раскололась, как об коленку.
Нас ожидает переоценка.
Нас ожидают войны и смуты!..
— Шире! Шире шаг, лилипуты!

Шум голосов. Звон колокольчика. Слово просит представитель левого крыла — добрый такой лилипут.

— Мир гулливеров слишком огромен.
Нашим размерам он неудобен.
Он бесконечен, странен и смутен.
Бесчеловечен. (Безлилипутен.)
Вот если б к нам бы они наклонились,
Мы бы взаимно обогатились.
Меряйте меры нашей линейкой —
Ставь гулливеров на четвереньки!
Нету важнее этой минуты!..
— Шире! Шире шаг, лилипуты!

Шум голосов. Звон колокольчика. Слово просит представитель правого крыла — смелый такой лилипут.

— Нет! Это мнение слишком гуманно!
И на коленях страшны великаны!
Если случайно они разогнутся,
Треснет и лопнет мир лилипутский!

— Как вы сказали? Просто случайно?..
— Я заявляю: война великанам!..
— В бой за отечество!..
— Правдой и верой!..
— Смерть гулливерам!..
— Смерть гулливерам!..
— Стройтесь рядами! Стройте редуты!..
— Шире! Шире шаг, лилипуты!

Патриотические выкрики. Звон колокольчика. На трибуну поднимается Его Величество Король Лилипутии — умный такой лилипут.

— Мозг ваш опутан чувствами стадности.
Нам, лилипутам, нельзя без
масштабности.
Будем мы сами разыскивать скоро
Нескольких граждан огромных, как горы.
Но: великан нужен мелкий. Лежачий.
Связанный крепко. И лучше — незрячий.
Так ослепить, избегая страданий!
Альтернативы не вижу гуманней.
Руки огромные путайте в путы!!!
— Шире! Шире шаг, лилипуты!

Бурные овации. Зал встает. Представители оппозиции выносят Его Величество на руках.

1980

Heinrich HEINE

Die Wahlesel

Посвящено франкфуртскому парламенту, не поддержавшему революцию 1848 года.
Печатается по изданию: Heinrich Heine. — Ausgewählte Werke. M., 1951.

Die Freiheit hat man satt am End',
Und die Republik der Tiere
Begehrte, daß ein einz'ger Regent
Sie absolut regiere.

Jedwede Tiergattung versammelte sich
Wahlzettel wurden geschrieben;
Parteisucht wütete fürchterlich,
Intrigen wurden getrieben.

Das Komitee der Esel ward
Von Alt-Langohren regieret;
Sie hatten die Köpfe mit einer Kokar
Die schwarz-rot-gold, verzieret.

Es gab eine kleine Pferdepartei,
Doch wagte sie nicht zu stimmen;
Sie hatte Angst vor dem Geschrei
Der Alt-Langohren, der grimmen.

Als einer jedoch die Kandidatur
Des Rosses empfahl, mit Zeter
Ein Alt-Langohr in die Rede ihm fu
Und schrie: „Du bist ein Verräter!

Генрих ГЕЙНЕ

Генрих ГЕЙНЕ (1797—1856), знаменитый немецкий поэт, публицист-просветитель, литературный критик. Оппозиционер по природе, увлекался социалистическими идеями. Последние 25 лет жизни провел в эмиграции.

Ослы-избиратели

Свобода наскучила в данный
момент;
Республика четвероногих
Желает, чтобы один регент
В ней правил вместо многих.

Звериные роды собрались,
Листки бюллетеней писались;
Партийные споры начались,
Интриги завязались.

Стояли Старо-Ослы во главе
Ослиного Комитета;
Носили кокарды на голове
Черно-красного, с золотом, цвета

Была еще партия жеребцов,
Но та голосов не имела;
Боялась свирепых Старо-Ослов,
Кричавших то и дело.

Когда ж кандидатом коня прове
По спискам один избиратель,
Прервал его серый Старо-Осел
И крикнул ему: «Ты предатель!

Печатается по изданию: Генрих Гейне. — Избранные произведения. М., ГИХЛ, 1950.

Предатель ты! И крови осла
Ни капли в тебе не струится;
Ты не осел! Тебя родила
Французская кобылица.

От зебры род, должно быть, тв
Ты весь в полоску, как зебра,
И голоса тембр у тебя носовой,
Как голос еврея, негра.

Du bist ein Verräter, es fließt in dir
Kein Tropfen vom Eselsblute;
Du bist kein Esel, ich glaube schier,
Dich warf eine welsche Stute.

Du stammst vom Zebra vielleicht, die Haut,
Sie ist gestreift zebräisch;
Auch deiner Stimme näselnder Laut
Klingt ziemlich ägyptisch-hebräisch.

Und wärst du kein Fremdling, so bist
du doch nur
Verstandesesel, ein kalter;
Du kennst nicht die Tiefen der Eselsnatur,
Dir klingt nicht ihr mystischer Psalter.

Ich aber versenkte die Seele ganz
In jenes süße Gedösel;
Ich bin ein Esel, in meinem Schwanz
Ist jedes Haar ein Esel.

Ich bin kein Römling, ich bin kein Slaw',
Ein deutscher Esel bin ich,
Gleich meinen Vätern. Sie waren so brav,
So pflanzenwüchsig, so sinnig.

Sie spielten nicht mit Galanterei
Frivole Lasterspiele;
Sie trabten täglich, frisch-fromm-fröhlich-frei,
Mit ihren Säcken zur Mühle.

Die Väter sind nicht tot! Im Grab
Nur ihre Häute liegen,
Die sterblichen Hüllen. Vom Himmel herab
Schaun sie auf uns mit Vergnügen.

Verklärte Esel im Glorialicht!
Wir wollen euch immer gleichen
Und niemals von dem Pfad der Pflicht
Nur einen Fingerbreit weichen.

O welche Wonne, ein Esel zu sein!
Ein Enkel von solchen Langohren!
Ich möcht' es von allen Dächern schrein:
Ich bin als ein Esel geboren!

Der große Esel, der mich erzeugt',
Er war von deutschem Stamme;
Mit deutscher Eselsmilch gesäugt
Hat mich die Mutter, die Mamme.

Ich bin ein Esel und will getreu
Wie meine Väter, die Alten,
An der alten, lieben Eselei,
Am Eseltume halten.

Und weil ich ein Esel, so rat' ich euch,
Den Esel zum König zu wählen;
Wir stiften das große Eselreich,
Wo nur die Esel befehlen.

Wir alle sind Esel! I-a! I-a!
Wir sind keine Pferdeknechte.
Fort mit den Rossen! Es lebe, hurra!
Der König vom Eselsgeschlechte!"

So sprach der Patriot. Im Saal
Die Esel Beifall rufen.
Sie waren alle national
Und stampften mit den Hufen.

Sie haben des Redners Haupt geschmückt
Mit einem Eichenkranze.
Er dankte stumm, und hochbeglückt
Wedelt' er mit dem Schwanze.

А если ты и осел, то все ж
Осел от разума, хитрый;
Ты глуби ослиной души не поймешь,
Ее мистической цитры.

Но я, я всею душой вошел
В сладчайший этот голос;
Я есмь осел, мой хвост — осел,
Осел мой каждый волос.

Я не из римлян, не славянин,
Я из ослов немецких,
Я мыслящих предков храбрый сын,
И кряжистых и молодецких.

Они не играли в galanterie
Фривольными мелочами
И быстро-бодро-свежо, раз-два-три,
На мельницу шли с мешками.

Отцы не умерли! В гробах
Одна лишь кожа с мехом,
Их тленная риза! Они в небесах
Приветствуют нас со смехом.

Ослы блаженные, в нимбе венца!
Мы следовать вам клянемся,
С путей добродетели до конца
Мы на волос не собьемся.

О, что за блаженство быть ослом!
Таких длинноухих сыном!
Со всех бы крыш кричать о том:
Рожден я в роде ослином!

Большой осел, что был мне отцом,
Он был из немецкого края;
Ослино-немецким молоком
Вскормила нас мать родная.

Я есмь осел, из самых ослов,
И всею душой и телом
Держусь я старых ослиных основ
И всей ослятины в целом.

И мы свой ослиный совет даем:
Осла на престол поставить;
Мы осломонархию оснуем,
Где только ослы будут править.

Мы все здесь ослы! И-а! И-а!
От лошадей свобода!
Долой коня! Виват! Ура!
Король ослиного рода!»

Так кончил патриот, и зал
Оратору дружно хлопал.
Тут каждый национальным стал
И бил копытом об пол.

Дубовый венок на его главу
Потом возложило собранье,
И он благодарил толпу,
Махая хвостом в молчанье.

Перевод Юрия ТЫНЯНОВА

Игорь ИРТЕНЬЕВ

Игорь ИРТЕНЬЕВ (1947), пишет в жанре иронической поэзии, живет в Москве. Первая его книга вышла в Париже, две следующие — в отечестве.

На смерть героя

За что убили Чаушеску?
Ведь он ни в чем не виноват.
С ним поступили слишком резко,
В живот направив автомат.

Невинной жертвы облик чистый
Навек впечатался в сердца,
Как подобает коммунисту,
Он им остался до конца.

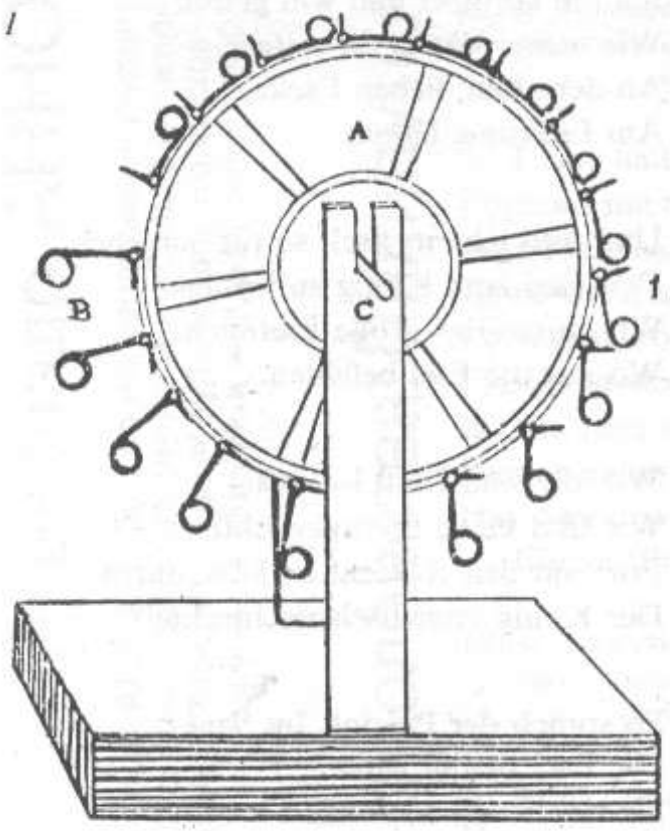
Ряды героев поредели
В теченье считанных недель.
Друзья! Мне страшно за Фиделя.
Скажи, ты жив еще, Фидель?

Я не могу без седуксена
В тревожной мгле сомкнуть очей:
Все представляю Ким Ир Сена
В кровавых лапах палачей.

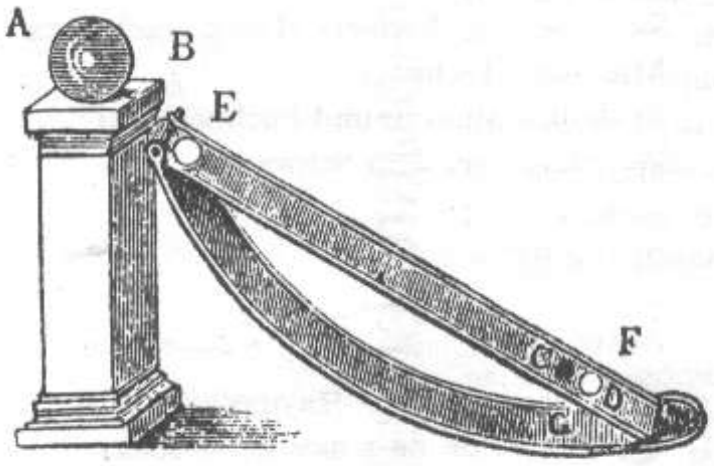
Герои смерть не выбирают,
А я — поэт, считай — герой.
Поэты тоже умирают
Не так, как хочется, порой.

Но если мой черед настанет,
То я бы так вопрос решил:
Уж если умирать — как Сталин,
А жить — как Чаушеску жил.

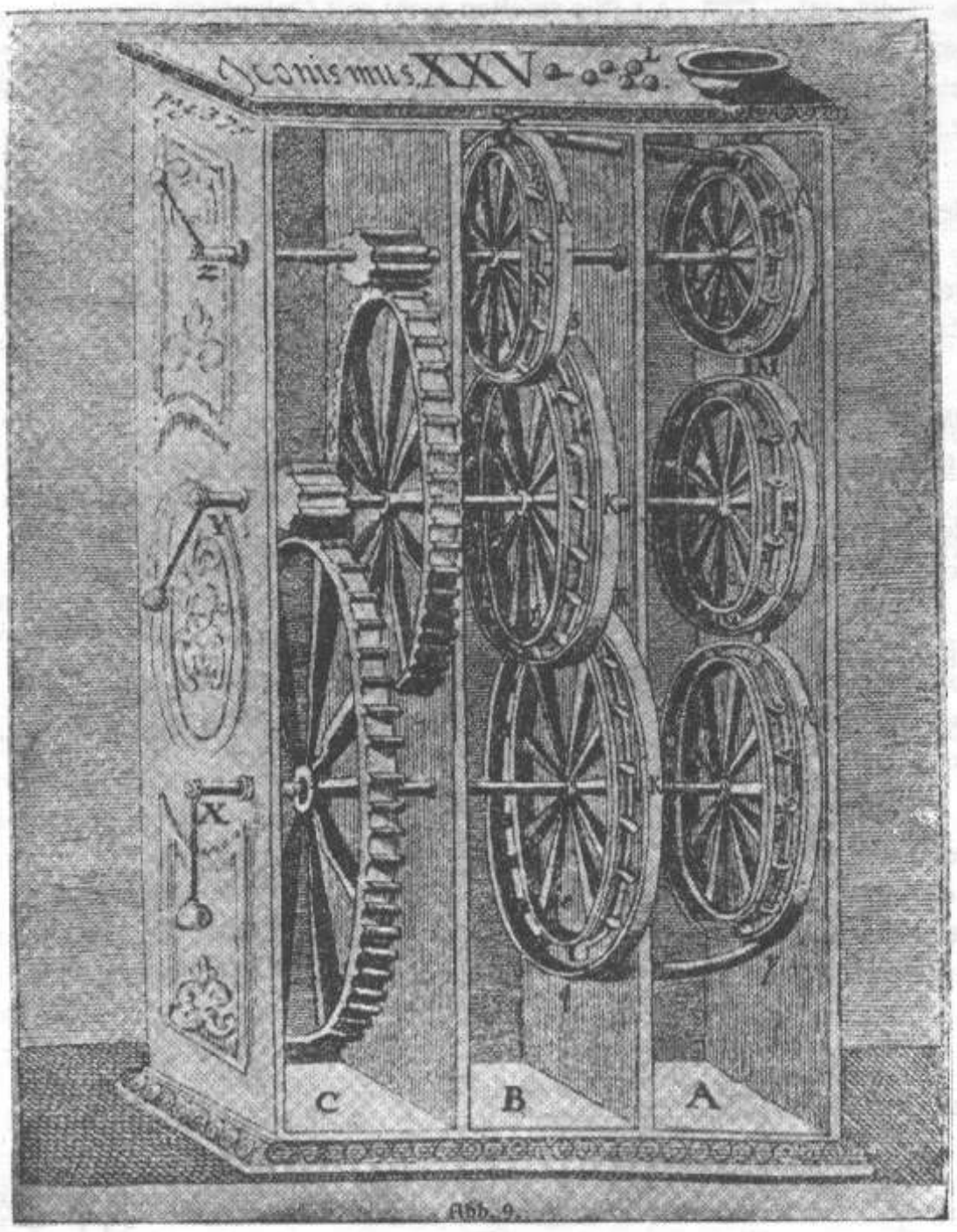
1



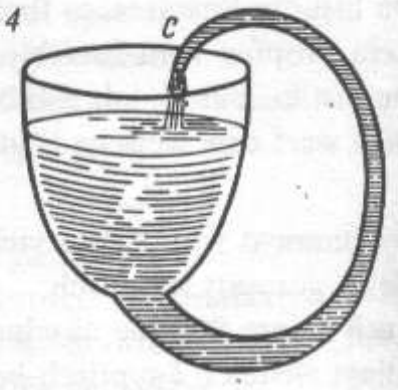
2



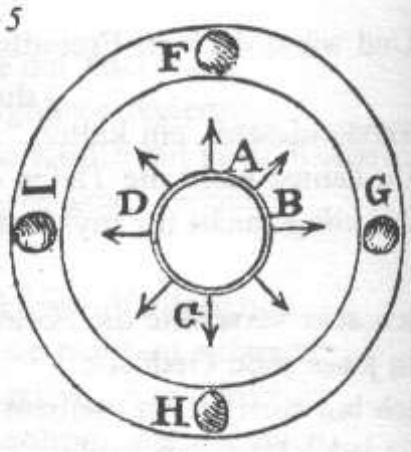
3



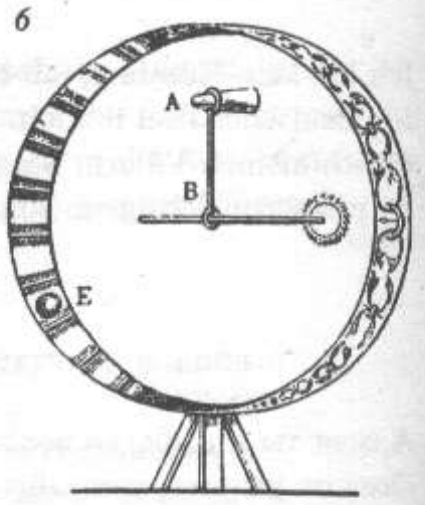
4



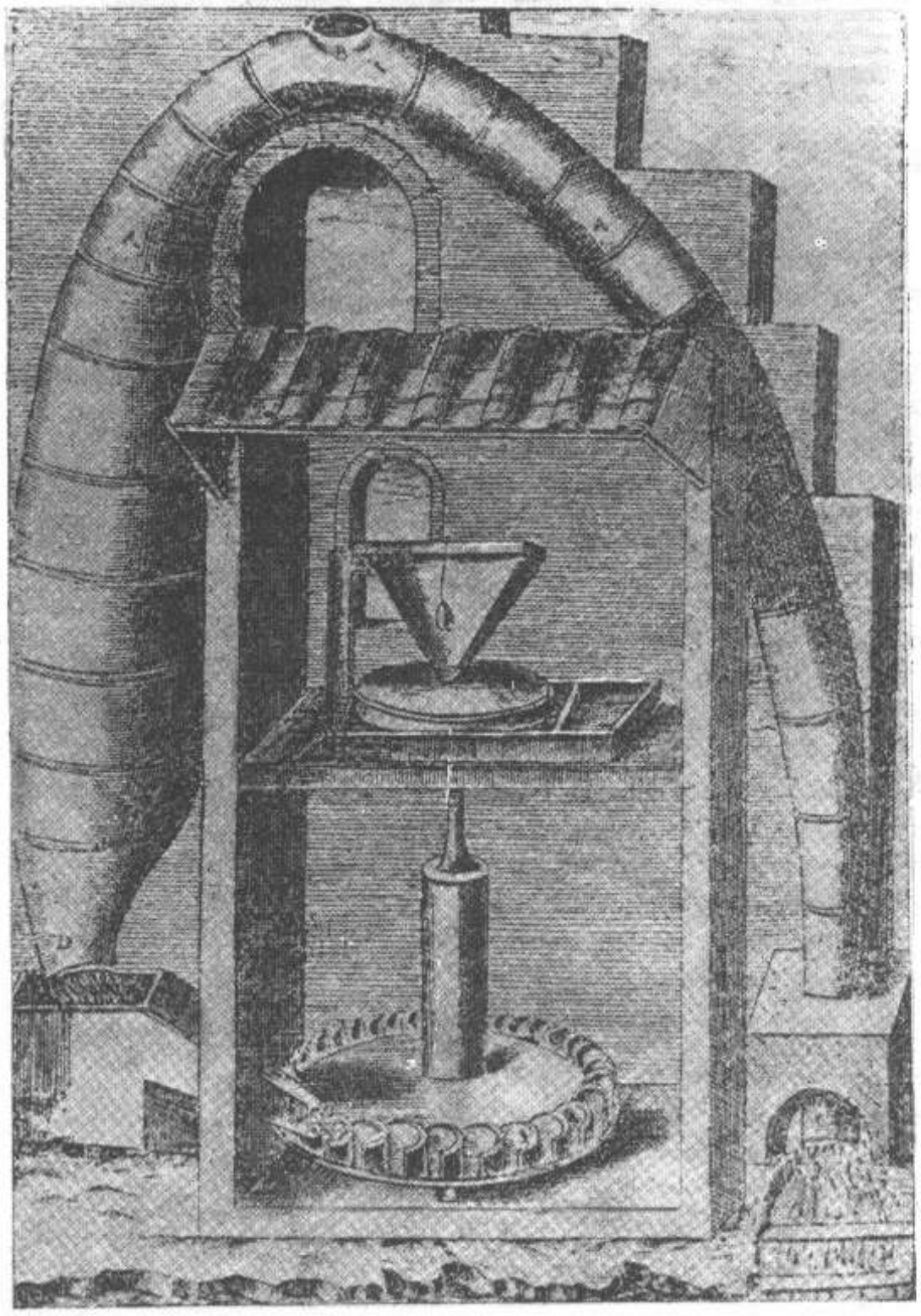
5



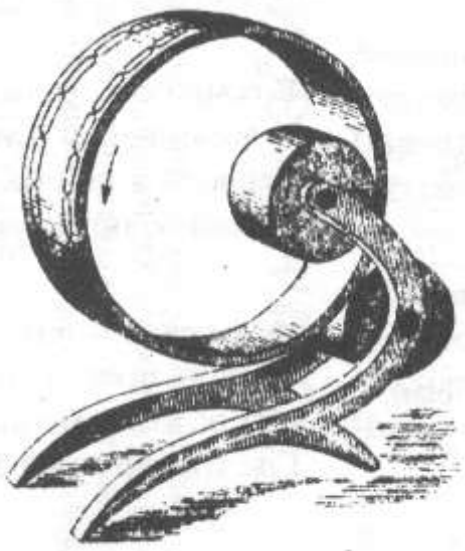
6



9

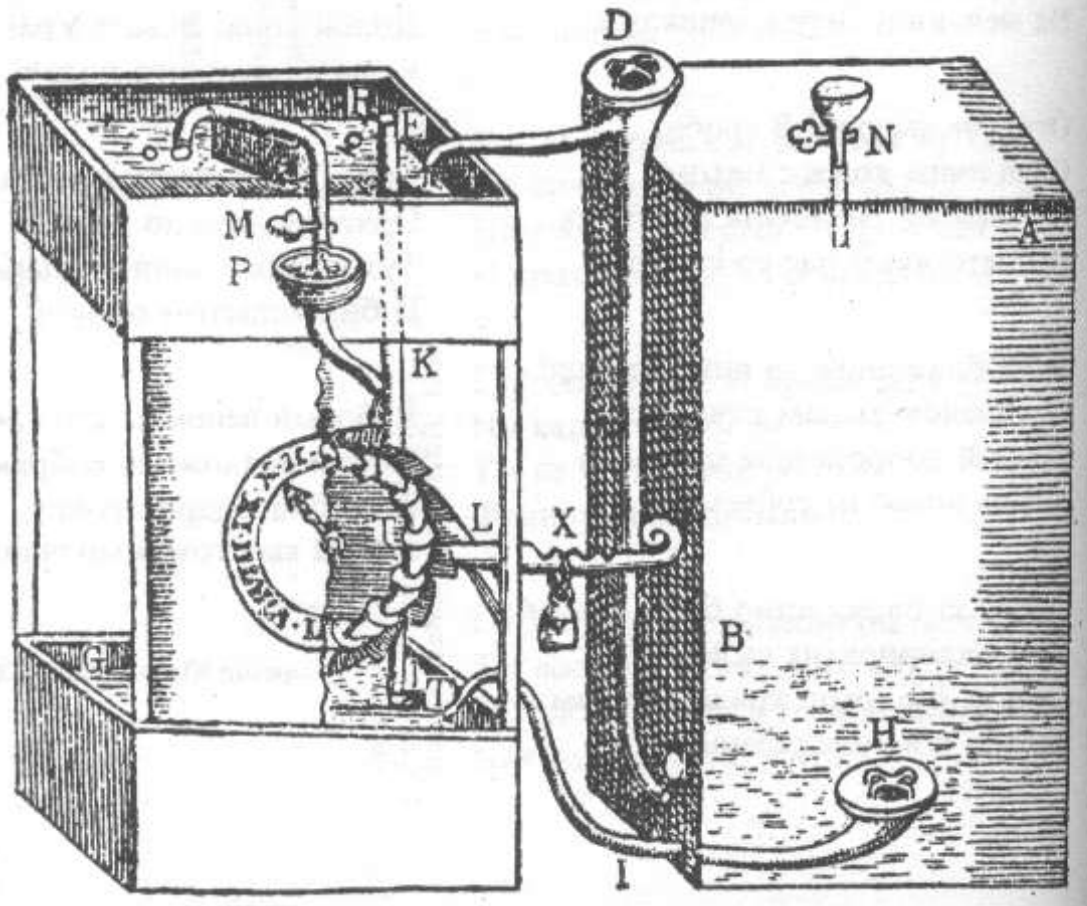


10

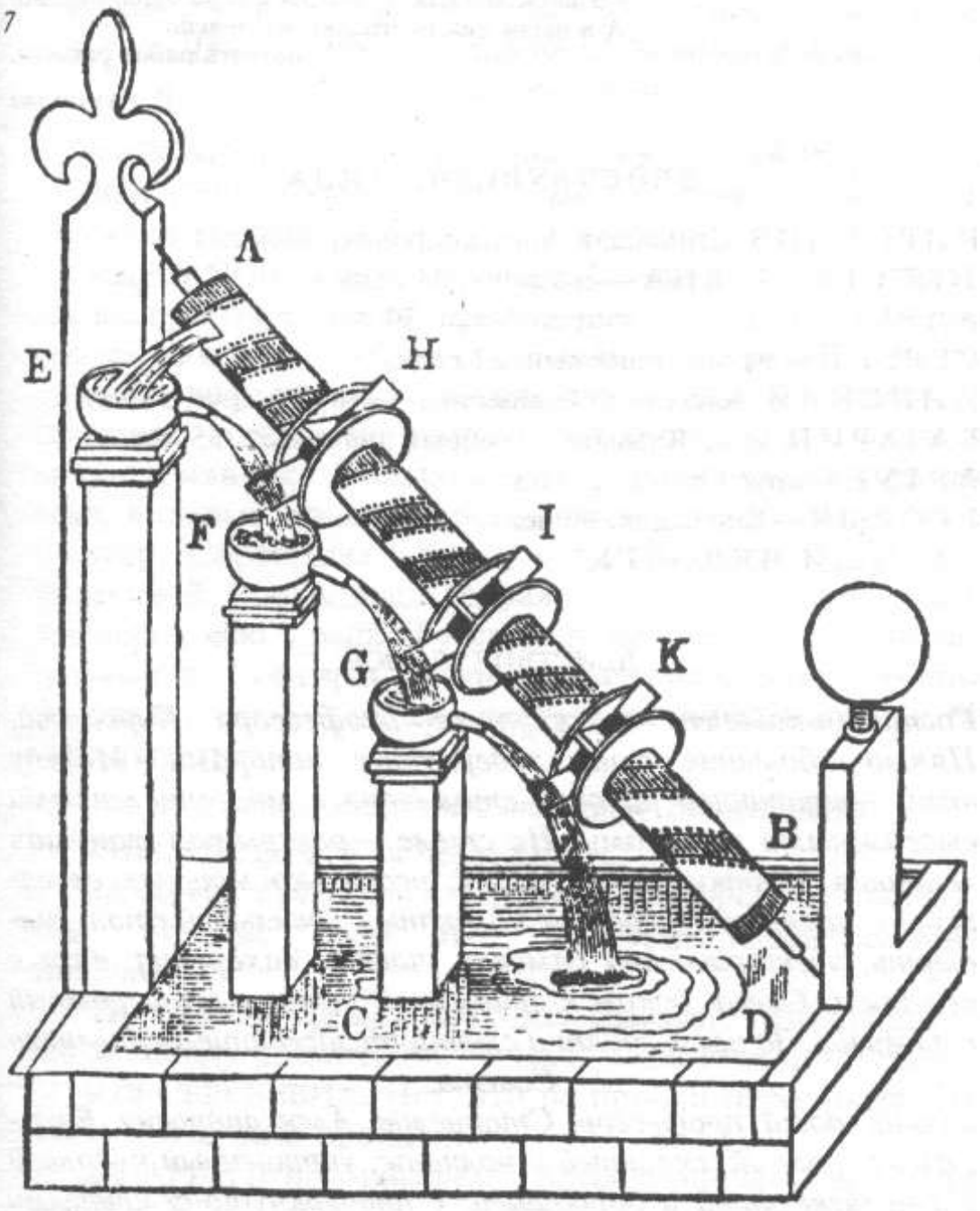


Если Бог создал вечную Вселенную, то почему человек не может сделать вечный движок? А если не может, то не означает ли это, что и Вселенная не вечна?

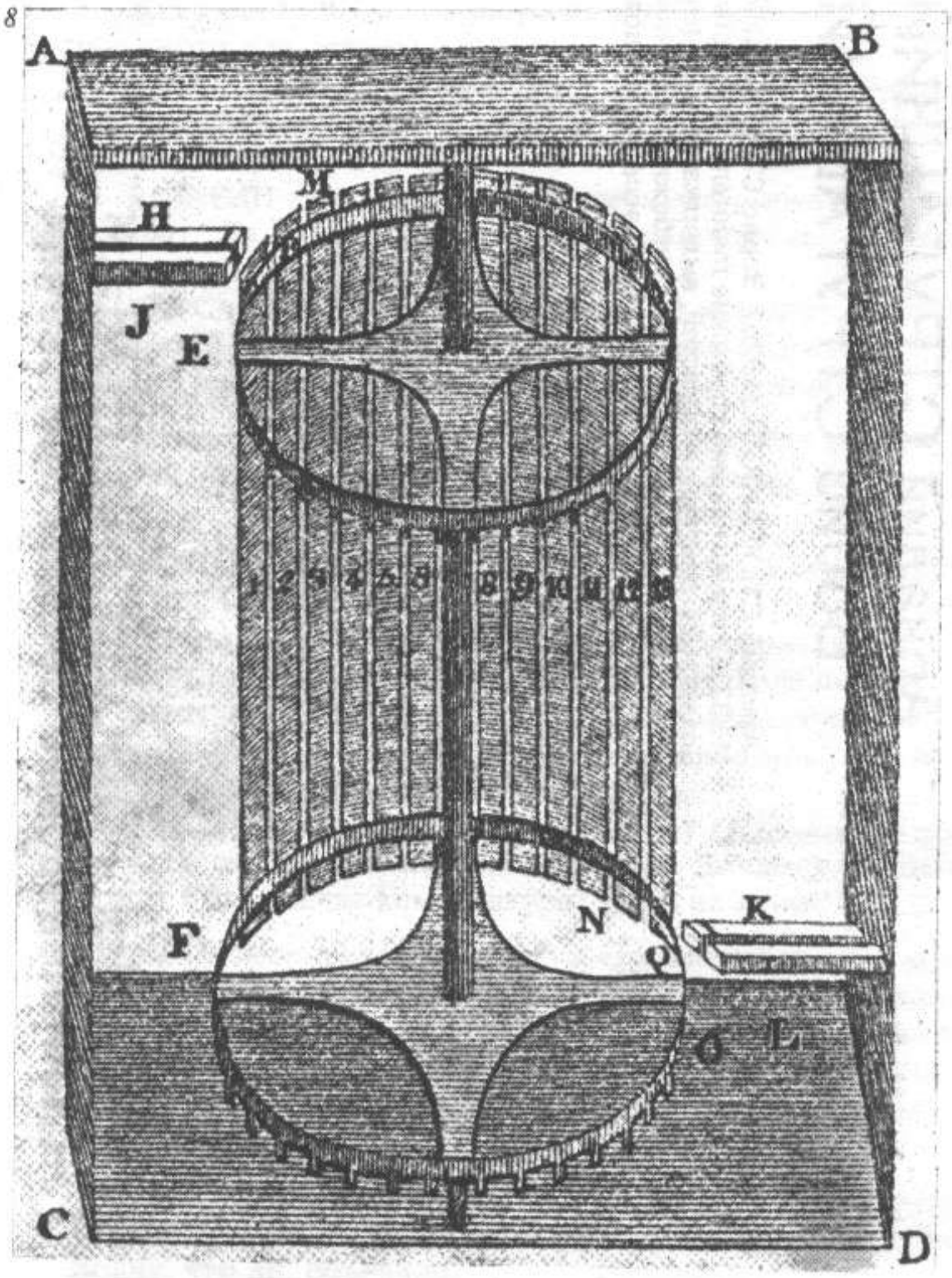
11



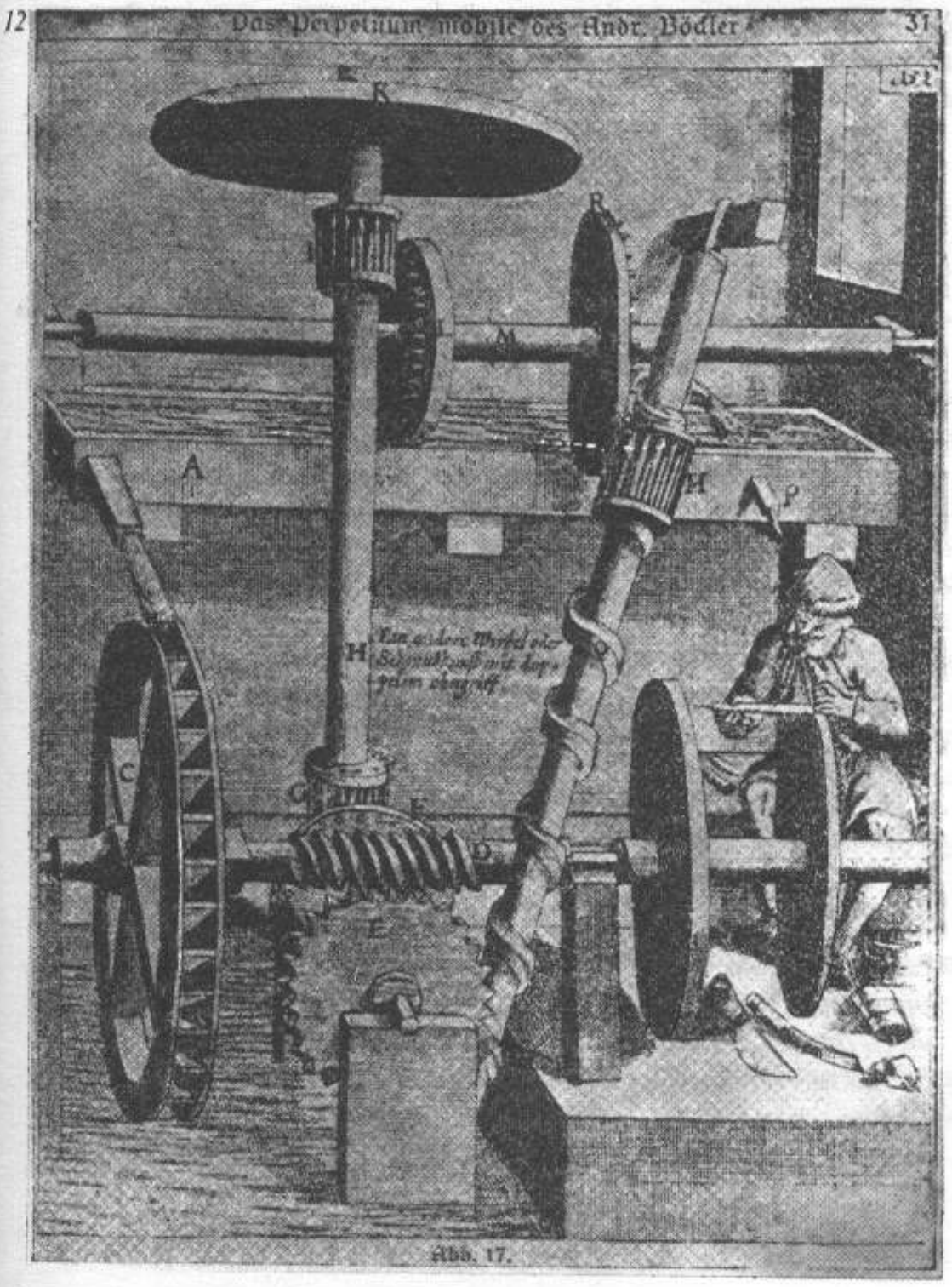
7


A
E
H
F
I
G
K
B
C
D

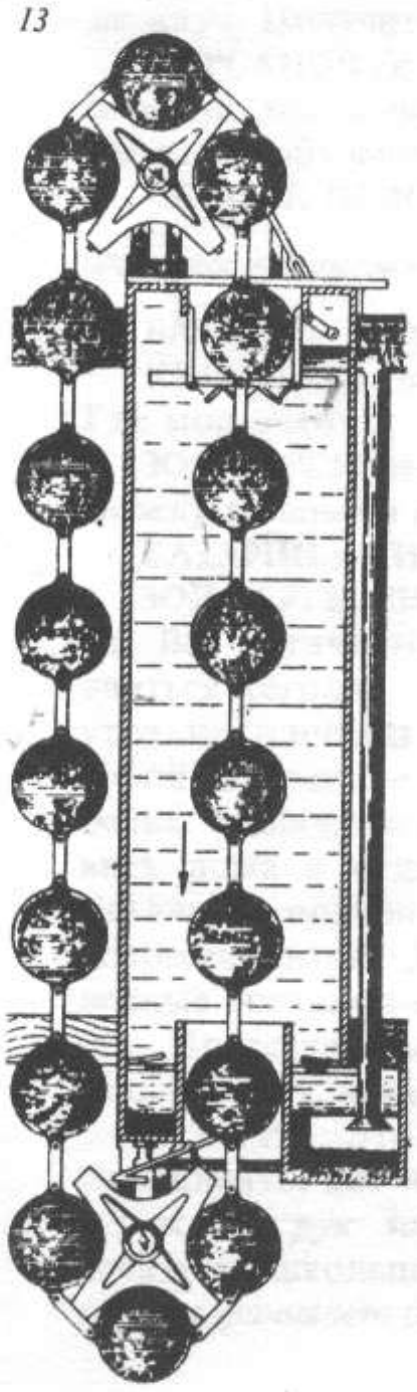
8


A
B
M
H
J
E
F
N
K
C
D

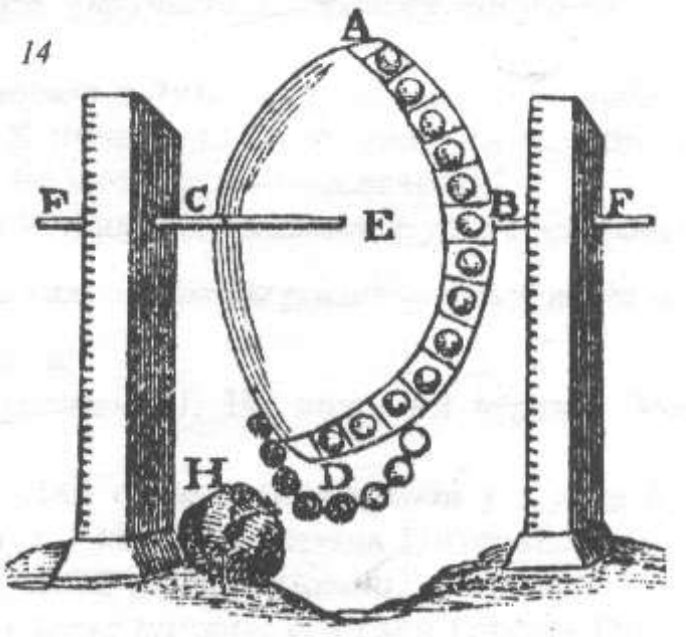
12


Das Perpetuum mobile des Andr. Bödler
31
K
M
A
H
P
C
G
E
D
Abb. 17.

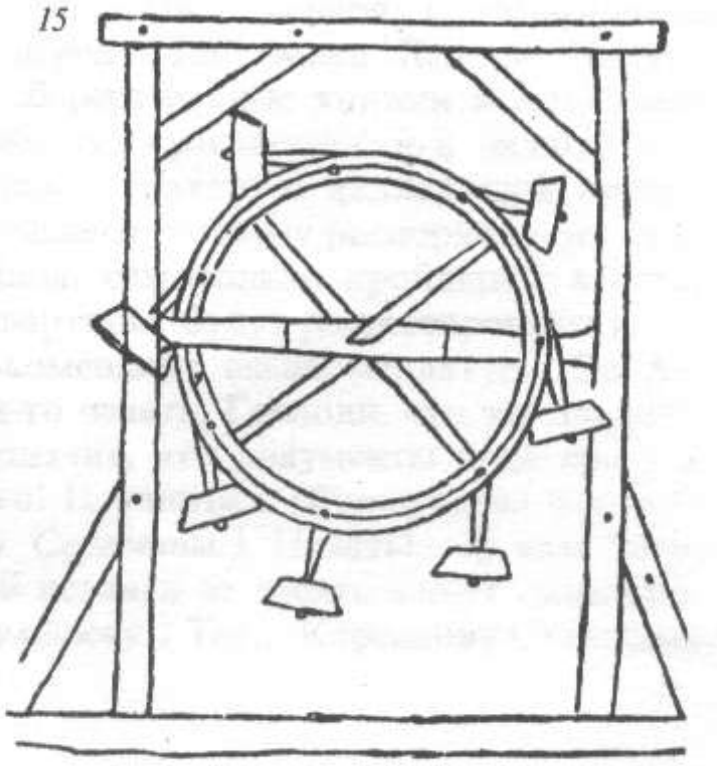
13



14


A
F
C
E
B
F
H
D

15



Аркадий СТРУГАЦКИЙ
Борис СТРУГАЦКИЙ

Аркадий СТРУГАЦКИЙ (1925), Борис СТРУГАЦКИЙ (1933) — известнейшие советские писатели-фантасты. Создали 26 романов и повестей, выдержавших, кроме отечественных, больше трехсот зарубежных изданий. Авторы сценариев, пьес, эссе, переводов.

«Жиды города Питера...»
или невеселые беседы при свечах

Назвать деспота деспотом всегда было опасно.
А в наши дни настолько же опасно
назвать рабов рабами.

Р. Акутагава

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

КИРСАНОВ Станислав Александрович, 58 лет.
ЗОЯ СЕРГЕЕВНА — его жена, 54 года.
АЛЕКСАНДР — их старший сын, 30 лет.
СЕРГЕЙ — их младший сын, 22 года.
ПИНСКИЙ Александр Рувимович — старый друг, 58 лет.
БАЗАРИН Олег Кузьмич — добрый знакомый, 55 лет.
АРТУР — друг Сергея, 22 года.
ЕГОРЫЧ — сантехник, 50 лет.
ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Гостиная-кабинет в квартире профессора Кирсанова. Прямо — большие окна, задернутые шторами. Между ними — старинной работы стол-бюро с многочисленными выдвижными ящичками. На столе — раскрытая пишущая машинка, стопки бумаг, папки, несколько мощных словарей, беспорядок. Посредине комнаты — овальный стол, скатерть, электрический самовар, чашки, сахарница, ваза с печеньем. Слева, боком к зрителям, установлен огромный телевизор. За чаем сидят и смотрят заседание Верховного Совета:

хозяин дома профессор Станислав Александрович Кирсанов, рослый, склонный к полноте, украшенный кудрявой русой шевелюрой и бородищей, с подчеркнуто-величавыми манерами потомственного барина, в коричневой домашней толстовке и спортивных брюках с олимпийским кантом;

супруга его, Зоя Сергеевна, маленькая, худощавая, гладко причесанная, с заметной сединой, нрава тихого и спокойного, очень аккуратная и изящная (в далекой молодости — балерина), она в строгом темном платье, на плечах — цветистая цыганская шаль;

их сосед по лестничной площадке и приятель дома Олег Кузьмич Базарин, толстый, добродушнейшего вида, плешивый, по сторонам плеши — серебристый генеральский бобрик, много и охотно двигает руками, когда говорит — для убедительности, когда слушает — в знак внимания, одет совершенно по-домашнему — в затрапезной куртке с фигурными заплатами на локтях, в затрапезных же зеленых брючках и в больших войлочных туфлях.

Из телевизора доносится голос: «Итак, товарищи... Теперь нам надо посоветоваться... Вы хотите выступить? Пожалуйста... Третий микрофон включите...»

КИРСАНОВ. Опять эта харя выперлась! Терпеть его не могу...

БАЗАРИН. Бывают и похуже... Зоя Сергеевна, накапайте мне еще чашечку, если можно...

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА *(наливая чай)*. Вам покрепче?

БАЗАРИН. Не надо покрепче, не надо, ночь на дворе...

КИРСАНОВ *(с отвращением)*. Нет, но до чего же мерзопакостная рожа! Ведь в какой-нибудь Португалии его из-за одной только этой рожи никогда бы в парламент не выбрали!

Разговор этот идет на фоне телевизионного голоса — рявкающего, взрыкивающего, митингового: «...я говорю здесь от имени народа... Четверть миллиона избирателей... И никто здесь не позволит, чтобы бесчестные дельцы наживались, в то время как трудящиеся едва сводят концы с концами...» Голос Нишанова: «То есть я вас так

понимаю, что вы предлагаете голосовать сразу? Очень хорошо. Других предложений нет? Включите режим регистрации, пожалуйста...»

КИРСАНОВ. Сейчас ведь проголосуют, ей-богу.

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. А это с самого начала было ясно. Неужели ты сомневался?

КИРСАНОВ. Я не сомневался. Но когда я вижу, что они сейчас проголосуют растратить шестнадцать миллиардов только для того, чтобы неведомый нам Сортир Сортирыч получил возможность за мой счет ежемесячно ездить в Италию... и даже не сам Сортир Сортирыч, а его зять-внук-племянник... Только для этого заключается контракт века, который по сю сторону никому решительно, кроме Сортир Сортирыча, не нужен... загадят территорию величиной с Бенилюкс... отравят двадцать четыре реки... завоняют всю Средне-Русскую возвышенность... Но зато племянник Сортир Сортирыча на совершенно законном основании сможет теперь поехать за бугор и купить там себе «тойоту»...

И в этот момент в квартире гаснет свет.

КИРСАНОВ. Что за черт! Опять?

БАЗАРИН *(уверенно)*. Пробки перегорели. Говорил я вам, что не надо этот подозрительный самовар включать...

КИРСАНОВ. Да при чем здесь самовар... Подождите, я сейчас пойду посмотрю... Ч-черт, понаставили стульев...

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Нет, это не пробки перегорели. Это опять у нас фаза пропала.

БАЗАРИН (*с недоумением*). Куда пропала? Фаза? Какая фаза?

Слышны какие-то шумы и неясные голоса с лестницы (из-за кулис справа), голос Кирсанова: «А в том крыле? Что?.. Понятно... Ну и что мы теперь будем делать?..» Базарин, подобравшись в темноте к окну, отдергивает штору. За окном падает крупный снег, там очень светло: отсветы уличных фонарей, низкое светлое небо, в огромном доме напротив — множество разноцветно освещенных окон.

КИРСАНОВ *(появляется из прихожей справа)*. Поздравляю! По всей лестнице света нет. И по всему дому, кажется...

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Ну, по крайней мере, не так обидно. Фаза опять пропала?

КИРСАНОВ. Она, подлая... *(Подходит к окну.)* Живут же люди, горюшка не знают! *(Зое Сергеевне.)* Лапа, а где у нас были свечки?

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. По-моему, мы их на дачу увезли...

КИРСАНОВ. Ну вот! За каким же дьяволом? Это просто поразительно — никогда в доме ни черта не найдешь, когда надо!..

БАЗАРИН. Станислав, побойся бога. Зачем тебе сейчас свечи? Второй час уже, спать пора... (*Спохватывается.*) Тьфу ты, в самом деле! У меня же в холодильнике суп, на три дня сварено. И голубцы! Теперь, конечно, все прокиснет...

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Ничего у вас не прокиснет, Олег Кузьмич, вынесите на балкон, и все дела.

КИРСАНОВ *(от бюро, с торжеством)*. Вот они! Видала? Вот они, голубчики... *(Передразнивает.)* «На дачу, на дачу...»

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Ой, а где же они были?

КИРСАНОВ. В бюро они у меня были. В бюро! Очень хорошее место для свечей. Интересно, как бы ты без меня существовала в этом мире?.. Где спички?

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. А в бюро их у тебя нет? Замечательное место для спичек...

КИРСАНОВ *(укрепляет свечи в канделябрах на бюро и расставляет по столу)*. Ладно, ладно, лапа, сходи на кухню, все равно стоишь...

БАЗАРИН *(чиркает спичкой, свечи загораются одна за другой)*. Да на кой ляд вам это понадобилось, в самом деле? Спать давно пора...

КИРСАНОВ. Ну куда тебе спать, ты же сейчас человек одинокий и даже в значительной степени холостой... Сиди, пей чай, наслаждайся беседой с умными людьми.

Из-за кулис справа появляется длинная черная фигура — рослый человек в блестящем мокром плаще до пят с мокрым блестящим капюшоном.

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК *(зычно)*. Гражданин Кирсанов?

КИРСАНОВ *(ошеломленно)*. Да... Я...

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Станислав Александрович?

КИРСАНОВ. Да! А в чем дело? Как вы сюда попали?

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК *(зычно)*. Спецкомендатура Эс А! *(Обыкновенным голосом.)* У вас дверь приоткрыта, а звонок не работает. Паспорт будьте добры...

КИРСАНОВ. Какая еще комендатура? *(Достает из бюро паспорт и протягивает Черному Человеку.)* Какая может быть сейчас комендатура? Ночь на дворе!

Черный Человек берет паспорт, и тотчас же во лбу у него загорается электрический фонарь наподобие шахтерского. Внимательно перелистав паспорт, он молча возвращает его Кирсанову, а сам распахивает большой черный «дипломат» и, держа на весу, некоторое время роется в нем.

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Распишитесь... Вот здесь...

КИРСАНОВ (*расписываясь*). А в чем, собственно, дело? Вы можете мне толком объяснить — что, куда, откуда? Войну, что ли, объявили?

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК *(вручает Кирсанову какую-то бумажку)*. Получите.

КИРСАНОВ *(смотрит в бумажку, но ничего не видит, света не хватает)*. Я ничего здесь не вижу. В чем дело? Вы что — объяснить не можете по-человечески?

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Там все сказано. Будьте здоровы.

Фонарик его гаснет, а сам он как бы растворяется во тьме.

БАЗАРИН. Ну и дела!

КИРСАНОВ *(раздраженно)*. Не вижу ни черта... Зоя! Где мои очки?

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Дай сюда... (*Отбирает у мужа бумажку и читает вслух.*) «Богачи города Питера!..»

БАЗАРИН и КИРСАНОВ *(одновременно)*. Что-о-о?

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА *(после паузы)*. «Богачи города Питера! Все богачи города Питера и окрестностей должны явиться сегодня, двенадцатого января, к восьми часам утра на площадь перед СКК имени Ленина. Иметь с собой документы, сберегательные книжки и одну смену белья. Наличные деньги, драгоценности и валюту оставить дома в отдельном пакете с надлежащей описью. Богачи, не подчинившиеся данному распоряжению, будут репрессированы. Лица, самовольно проникшие в оставленные богачами квартиры, будут репрессированы на месте. Председатель-комендант спецкомендатуры Эс А»... Подписи нет, какая-то печать. Господи, что это значит?

БАЗАРИН. Это значит, что документы надо сразу же спрашивать, вот что! Извините... *(Осторожно берет бумажку из рук Зои Сергеевны.)* Печать!.. Я вам такую печать из школьной резинки за десять минут сварганю... *(Переворачивает бумажку.)* Так... Кирсанову Станиславу

Александровичу... адрес... Правильный адрес... Ну, и как прикажете это понимать?

КИРСАНОВ *(нервно)*. Дай сюда... *(Он уже нашел и нацепил очки.)* Не понимаю, что это может означать — Эс А? Советская Армия?

БАЗАРИН. Социалистическая Антарктида... Судоро-жная Аккредитация... Чушь это все собачья, и больше ничего! Двери надо за собой запирать как следует. Интересно, Зоя Сергеевна, как там ваша шубка в передней поживает? Я у вас там, помнится, шубку видел...

Зоя Сергеевна, подхватившись, выходит в прихожую.

КИРСАНОВ *(озаренно)*. Эс А — Это Штурмабтайлунг!

БАЗАРИН *(непонимающе)*. Ну?

КИРСАНОВ. Штурмовые отряды! Эс А. Ну, помнишь — у Гитлера?

БАЗАРИН. При чем здесь Гитлер? Какой может быть Гитлер в наше время?

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА *(возвратившись)*. Шуба цела... И вообще все как будто цело... Нет, это был никакой не жулик...

БАЗАРИН. А кто же тогда?

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Откуда мне знать? А только это был не жулик и не шутник. Может быть, военный... или милиция... или органы...

БАЗАРИН. Удивительно знакомая рожа лица! Станислав, а? Тебе не показалось? По-моему, у тебя аспирант такой есть... как его... Моргунов... Моргачев... Ну, на Новый год у вас был, длинный такой, сутулый... Зоя Сергеевна!

Кирсанов, ничего не слыша, читает и перечитывает повестку, сдвинув к себе все канделябры.

КИРСАНОВ. Какой я им богач! Что они — совсем уже с ума посходили? Нашли богача, понимаете ли... Драгоценности им подавай... Валюту... Идиоты!

БАЗАРИН. Ты что? Серьезно все это воспринимаешь?

КИРСАНОВ. Замечательно интересное кино! А как ты мне еще прикажешь все это воспринимать? Является посреди ночи какой-то гестаповец, вручает, понимаете ли, повестку... явиться, понимаете ли, со сменой белья... Послушай, дай-ка я радио включу.

Он подбегает к бюро и включает репродуктор. Комната оглашается сухим мертвенным стуком метронома.

КИРСАНОВ. Ну вот, пожалуйста! А это как прикажете понимать?

БАЗАРИН. А что тут такого? Два часа ночи.

КИРСАНОВ. Ну и что же, что два часа ночи? Где это ты слышал, чтобы метроном по радио передавали в мирное время?

БАЗАРИН. А что, разве не полагается? Я, честно говоря, трансляцию и не включаю никогда...

КИРСАНОВ. Я, честно говоря, тоже никогда не включаю... Может быть, так оно и должно быть, но когда я эту хренацию слышу, я сразу же блокаду вспоминаю... Ну его к черту! *(Выключает репродуктор.)* Испортили все-таки настроение, подонки... Так хорошо сидели...

БАЗАРИН. Зоя Сергеевна, можно, я еще одну штучку выкурю?

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА *(рассеянно)*. Курите.

КИРСАНОВ. Дай-ка мне, пожалуй, тоже...

БАЗАРИН *(укоризненно)*. Станислав!

КИРСАНОВ. Ничего, ничего, давай... Сегодня можно. Гляди, как руки трясутся, смех и грех, ей-богу!

БАЗАРИН. Ты бы лучше корвалола выпил, чем закуривать.

КИРСАНОВ *(закуривает от свечи)*. Нет, но как тебе это нравится! Богача отыскали!.. Только ты мне не говори, что это чьи-то шутки. За такие шутки сажать надо! За такие шутки я бы...

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА *(прерывает его)*. Позвони Сенатору.

КИРСАНОВ. Что?

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Позвони Евдокимову.

КИРСАНОВ. Да ты что — сдурела? Лапочка!

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Позвони Сенатору, я тебя прошу.

КИРСАНОВ *(тыча пальцем в сторону телевизора)*. Он же на сессии сейчас сидит!

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Он должен был сегодня прилететь, мне Анюта говорила. Позвони, прошу тебя!

КИРСАНОВ *(нервно)*. И не подумаю. Стану я среди ночи беспокоить человека из-за какой-то дурацкой ерунды!

БАЗАРИН. Да, Зоя Сергеевна, тут вы, знаете ли... В самом деле — неловко. Конечно, это удобно — иметь среди своих добрых знакомых члена Верховного Совета, но согласитесь, что это все-таки не тот случай...

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Откуда вы знаете, какой это случай?

БАЗАРИН. Н-ну... Как вам сказать... Лично я не могу к этому серьезно относиться, как хотите. И вам не советую.

КИРСАНОВ. Главное, что я ему скажу, ты подумала? *(Язвительно.)* «Богачи города Питера!» Да он пошлет меня к чертовой матушке и будет прав. Если уж звонить, то тогда в милицию. Там по крайней мере хоть дежурный не спит. Во всяком случае не должен спать, раз он за это деньги получает...

БАЗАРИН *(решительно)*. Никуда звонить не надо. Совершенно очевидно, что это чей-то дурацкий розыгрыш. Сегодня же старый Новый год, вот и развлекаются какие-то кретины!

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА *(тихо)*. Старый Новый год завтра.

КИРСАНОВ *(он снова внимательно изучает повестку)*. Это рэкетиры какие-нибудь! Знаете, что у них здесь на печати написано? «Социальная Ассенизация»! Идиоты! И рассчитывают на полнейших идиотов!.. Кстати, что это такое — СКК имени Ленина?

БАЗАРИН. Спортивно-концертный комплекс. Это где-то на юге, возле Парка Победы.

КИРСАНОВ. Ну вот! Оставлю им все на столе, а сам поскачу с бельем на другой конец города...

БАЗАРИН *(с большим сомнением)*. М-да, это вполне возможно. Только, по-моему, он очень похож на твоего Моргачева...

КИРСАНОВ. На какого Моргачева?

БАЗАРИН. Ну, на Моргунова... На аспиранта твоего, как его там...

Шамфор

Принято считать, что Петр Великий в один прекрасный день вдруг решил преобразовать Россию. Однако сам Вольтер признает, что еще отец Петра Алексей намеревался насадить в России искусства и науки. В любом деле нужно выждать, пока для него не созреют благоприятные условия. Счастлив тот, кто приходит именно тогда, когда они уже созрели.

КИРСАНОВ. Ты, кажется, всерьез полагаешь, будто я уже не способен узнать собственного аспиранта?

БАЗАРИН. Извини, но я ничего не полагаю. Я только тебе говорю, что он очень похож...

КИРСАНОВ. У меня нет такого аспиранта. Это не мой аспирант. Это вообще не аспирант. Это либо жулик, черт его подери, либо идиотский шутник!

БАЗАРИН. Ну, извини, я вовсе не хотел тебя обидеть. Я тоже считаю, что это идиотская шутка и что нам всем надо успокоиться. Зоя Сергеевна, я вас умоляю: успокойтесь и не берите в голову. Хотите, я чайник поставлю? Газ, я надеюсь, еще не выключили?..

В прихожей хлопает дверь, и в комнате появляется Александр Рувимович Пинский. Это длинный, невообразимо тощий человек, долговолосый, взлохмаченный, с огромным горбатым носом и с неухоженной бороденкой. Он старый друг семьи Кирсановых, живет двумя этажами выше по той же лестнице, поэтому он в пижаме и тапочках, а поверх пижамы — в некогда роскошном восточном халате. В руке у него листок бумаги.

ПИНСКИЙ *(возбужденно)*. Слава богу, вы не спите... Как вам это понравится? *(Он швыряет бумажку на стол.)* По-моему, это уже переходит все пределы.

К бумажке тянутся все трое, быстрее всех оказывается Зоя Сергеевна.

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА *(читает высоким, ненатуральным голосом)*. «Жиды города Питера!..» Что это такое?

ПИНСКИЙ. Читай, читай, дальше там еще интереснее.

КИРСАНОВ *(отбирает у жены листок)*. Позволь. Дай мне. *(Читает.)* «Жиды...» Так. «Все жиды города Питера и окрестностей должны явиться сегодня, двенадцатого января, к восьми часам утра на стадион «Локомотив». Иметь с собой документы, а именно: свидетельство о рождении, паспорт, расчетные и абонентские книжки по оплате коммунальных услуг. Все ценности, как-то: меха, наличные деньги, сберегательные книжки, валюту, драгоценности и украшения, а также коллекции — оставить дома в надлежащем порядке. Жиды, не подчинившиеся данному распоряжению, подлежат заслуженному наказанию...» Так. Тут у них что-то зачеркнуто... А, понятно. «Лица, самовольно проникшие в оставленные квартиры, будут наказаны...» Но это как раз вычеркнуто. То есть в оставленные квартиры проникать можно... Ну и, конечно, председатель-комендант-ассенизатор. Подписи опять нет, а печать есть. Та же самая...

ПИНСКИЙ *(кипя)*. Ну что — узнаете? Что вы на меня вытаращились? Неужели не узнаете? Олег Кузьмич, вы же у нас в некотором роде историк, вы же у нас специалист по межнациональным отношениям!.. Вижу, что ни хрена вы не узнаете и не помните ни хрена. В сорок первом году в Киеве немцы такое же вот расклеивали по стенам, почти слово в слово... «Жиды города Киева»... А потом — Бабий Яр! Неужели не помните?.. *(Торжествующе.)* Вот они наконец — высунулись ослиные уши, хулиганье фашистское доморощенное! И ведь главное — совершенно уверены, что какой-нибудь еврей обязательно с перепугу попрется к восьми часам, а они там будут на него глазеть, и ржать, как жеребцы, и пальцами на него указывать...

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА *(Кирсанову)*. В последний раз тебя прошу. Позвони Евдокимову.

КИРСАНОВ. Погоди, лапа. Дай разобраться. *(Пинскому.)* Откуда у тебя эта бумажка?

ПИНСКИЙ. Да только что принес какой-то гад. Наглец хладнокровный, еще расписаться заставил. Откуда я мог знать, что он мне подсовывает? Я думал, это из военкомата. Он ведь, подлец, представился: «Спецкомендатура»...

КИРСАНОВ. Рослый такой парень, в черном плаще?

ПИНСКИЙ. Ну!

КИРСАНОВ. И фонарь во лбу?

ПИНСКИЙ. Да! А ты откуда...

КИРСАНОВ *(сует ему в руки свою повестку)*. На, почитай.

ПИНСКИЙ. Зачем?

КИРСАНОВ. Читай, читай, увидишь.

БАЗАРИН. Так-так-так. Это уже серьезно.

КИРСАНОВ *(ехидно)*. А чего тут серьезного? Ну, ходят мои аспиранты, ну, разносят шутливые повестки...

БАЗАРИН. Перестань. Может быть, и в самом деле позвонить Евдокимову?

КИРСАНОВ. Но я же не знаю, что ему говорить! Как это все расскажешь? Свежему человеку... в третьем часу ночи...

ПИНСКИЙ *(прочитав кирсановскую повестку)*. Что за чертовщина! Откуда это у тебя?

КИРСАНОВ. Спецкомендатура социальной ассенизации. Здоровенный громила с кейсом и с шахтерским фонарем между глаз.

ПИНСКИЙ. Какой же ты, к едрене фене, богач?

КИРСАНОВ. Да уж какой есть, извини, если не угодил.

БАЗАРИН. Вот что. Надо немедленно позвонить в милицию и сообщить, что имеют место хулиганские действия со стороны неизвестного лица.

КИРСАНОВ *(раздраженно)*. Подожди. Давай сначала разберемся. Если это хулиганские действия какого-то идиотского лица, тогда звонить совершенно незачем. Ну дурак, ну ходит по квартирам и разносит дурацкие повестки. Ну напугает дюжину дураков вроде нас... Если дело обстоит таким образом, тогда звонить в милицию — сами звоните. Мне уже повестку принесли, меня уже один раз одурачили, и теперь можно спокойно ложиться спать. Вторую не принесут!

БАЗАРИН *(задумчиво)*. Логично.

КИРСАНОВ. А раз логично, тогда давайте ложиться спать. Хватит. Все.

ПИНСКИЙ *(алчно)*. Догнать бы сейчас этого жлоба и накидать бы ему пачек, чтобы кровавыми соплями умылся, падло позорное...

КИРСАНОВ. Сиди уж, старое дреколье. Да смотри случайно не пукни, а то развалишься. Догнал он... пачек он накидал...

ПИНСКИЙ. Ничего, не беспокойся, мне бы его только поймать, а там бы я с ним разобрался, не впервой... Меня ведь главным образом что поражает. Меня наглость эта первобытная поражает. Вот они уже по квартирам пошли. Вы понимаете, что это означает? Это означает, что они

Николай Бердяев

Русским людям давно уже было свойственно чувство, скорее чувство, чем сознание, что Россия имеет особенную судьбу, что русский народ — народ особенный.

Мессианизм почти так же характерен для русского народа, как для народа еврейского. Может ли Россия пойти своим особым путем, не повторяя всех этапов европейской истории? Весь XIX в. и даже XX в. будут у нас споры о том, каковы пути России, могут ли они быть просто воспроизведением путей Западной Европы.

адрес мой знают. Спрашивается: откуда? Кто им дал? Зачем? Чувствуете?..

КИРСАНОВ. Между прочим, мой адрес они тоже знают...

ПИНСКИЙ *(отмахивается)*. Да перестань ты! Ты-то здесь при чем? Подумаешь, богачом его обозвали! В первый раз в жизни... Меня жидом всю мою жизнь обзывают! Устно, а теперь вот и письменно начали...

КИРСАНОВ. Знаешь, когда в нашей стране обзывают богачом, ничего хорошего в этом нет, уверяю тебя. Еще неизвестно, что хуже.

ПИНСКИЙ. Ах, тебе неизвестно, что хуже? Может быть, ты предпочел бы оказаться жидом?

КИРСАНОВ. Я бы предпочел, чтобы на меня не наклеивали ярлыков. Никаких.

ПИНСКИЙ. А жид — это вовсе не ярлык. Жид — это имманентное состояние. Перестать быть богачом можно, а жидом — нет.

БАЗАРИН. Да не о том вы говорите, не о том! Оба хуже, вот в чем беда! Так уж у нас сложилось, что миллионы людей это думают. Что еврей, что богач — плохо. Плохо, и все! И мы не имеем права ни в чем винить этих людей. У них есть основания так думать. Их так воспитали...

КИРСАНОВ. Но позволь, в самом деле! Какой же я, к черту, богач?

БАЗАРИН. Да. Ты богач. С точки зрения тети Моти, которая получает семьдесят рублей пенсии, да еще трешку в месяц ей посылает дочка из Сызрани... с точки зрения этой тети Моти, ты — богач! У тебя пять тысяч на книжке, у тебя автомобиль, у тебя дача, у тебя трехкомнатная квартира, у тебя жена может не работать...

КИРСАНОВ. Так у тебя, наверное, не пять тысяч, у тебя, может быть, двадцать тысяч на книжке... Я же знаю, ты на вторую квартиру копишь...

БАЗАРИН. И я богач! И Александр Рувимович богач. Хотя у него «Жигулей» и нет пока...

КИРСАНОВ. У меня «Жигули» второй год под брезентом стоят, резину не могу купить ни за какие деньги!..

БАЗАРИН. «Жигулей» у него пока нет, но он зато дочку отправил в Америку, и она ему оттуда подбрасывает... и не трешку в месяц, уж будьте уверены!

ПИНСКИЙ *(рявкает)*. Я дочку в Америку не отправлял! Это ваш Госконцерт говенный ее туда выжил!

БАЗАРИН. Этого тетя Мотя ничего не знает. И знать не хочет. Она одно знает: всю жизнь вкалывала, как проклятая, а сейчас старуха, по помойкам бродит, бутылки собирает.

ПИНСКИЙ. И виноват в этом, конечно, еврей Пинский.

КИРСАНОВ. И богач Кирсанов.

БАЗАРИН. Да! Еврей Пинский и богач Кирсанов! Потому что никаких других объяснений у тети Моти нет!

ПИНСКИЙ. Как это — нет! А куда же смотрит работник политпросвещения товарищ Базарин Олег Кузьмич?

БАЗАРИН *(не слушая)*. Потому что сначала ей очень хорошо объяснили, что во всем виноваты вредители. Потом ей объяснили, что во всем виноват Гитлер. Да только она не дура. Сорок лет уже нет ни Гитлера, ни вредителей, а жить-то все хуже и хуже... И всю свою жизнь она видит где-нибудь то барина в трехкомнатной квартире с телефоном, то сытого еврея из торговли...

ПИНСКИЙ. А еврея, который в говенном котле всю смену лежит и заклепки хреном выколачивает, — такого еврея она не видела? Так пусть посмотрит! *(Тычет себя большим пальцем в грудь.)*

БАЗАРИН. Представьте себе — такого еврея она не видела. Потому что, простите меня, Александр Рувимович, такой еврей и в самом деле большая редкость...

КИРСАНОВ. Ну ладно, хватит вам, что вы опять сцепились... Не об этом же речь идет. Ей-богу, Олег, ну что ты, в самом деле... Ты что же хочешь мне сказать — сидит где-то какая-то тетя Мотя и сочиняет эти повестки?

ПИНСКИЙ. Не-ет, это не тетя Мотя сочиняет. Это сочиняет сытый, гладкий, вчерашний молодежный вожак, и «Жигули» у него есть, и квартира с телефоном, да только вот бездарный он, к сожалению, серый, как валенок, а потому — убежденный юдофоб... У нас же юдофобия спокон веков — бытовая болезнь вроде парши, ее в любой коммунальной кухне подхватить можно! У нас же этой пакостью каждый второй заражен, а теперь, когда гласность разразилась, вот они и заорали на весь мир о своей парше... Вы, Олег Кузьмич, всегда их, бедненьких, защищаете! Я вас понимаю, сами-то вы выше этого, сами вы все норовите с высот пролетарского интернационализма проблему обозревать, поэтому у вас всегда и получается, что все кругом бедненькие... даже богатенькие... Мне иногда кажется, Олег Кузьмич, что вы мне просто простить не можете... Это ж надо же, ведь такой был образцово-показательный еврей-котельщик, рыло чумазое, каждое второе слово — мат, подлинное воплощение пролетарского интернационализма, — так нет же, в институты полез, изобретателем заделался, начлабом, дочку в консерваторию пристроил.

БАЗАРИН. Перестаньте, Александр Рувимович! Вы прекрасно знаете, что ничего подобного я не думаю, что ничего подобного я не говорил. Я только одно хотел сказать: что в каждой шутке есть доля истины. Даже в самой дурацкой. Мы вот с вами возмущаемся по поводу этих бумажек, а нам бы не возмущаться надо, а задуматься, потому что солома показывает, куда дует ветер...

Пинский хочет ему что-то ответить, но тут Зоя Сергеевна резко поднимается и берет ближайший канделябр.

КИРСАНОВ *(всполошившись)*. Лапа, ты куда? *(Пинскому и Базарину.)* Да заткнитесь вы, наконец! Хватит! Что вы опять сцепились, как цепные собаки! *(Зое Сергеевне.)* Лапа, не уходи, они больше не будут.

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Три часа уже. Я пойду вещи соберу.

КИРСАНОВ. Какие вещи?

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Я уще сама толком не знаю, надо посмотреть... Что они там глупости пишут — смена белья. Зима на дворе. Носки надо обязательно взять, рейтузы теплые...

БАЗАРИН. Позвольте, Зоечка Сергеевна...

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Тошно мне вас слушать, честное слово. Вы все делаете вид, будто это шутка, будто развлекается кто-то. Будто вы не чувствуете, что это всем нам конец, начало конца...

Э. Надточий

Если письмо — акт,
направленный от массы
к государству, от плоти к духу,
то чтение — акт,
направленный от государства
к массе, от души к плоти...
Посредством чтения

КИРСАНОВ *(беспомощно)*. Ты что же — серьезно считаешь, что я должен туда идти?

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Я ничего не считаю. Я знаю только, что идти придется и что ты пойдешь, и я бога молю, чтобы меня пустили с тобой, потому что без меня ты там погибнешь на третий день...

КИРСАНОВ. Лапушка, опомнись! Ну что ты такое говоришь? Ведь это же все ерунда! Ну хочешь, я в милицию позвоню? Подожди, я сейчас же позвоню! *(Он подскакивает к телефону, торопливо набирает 02.)* Алло... Товарищ лейтенант, с вами говорят из дома шестнадцать по Беломорской улице. У нас тут по лестницам ходит какой-то деятель и вручает гражданам хулиганские повестки... *(Замолкает, слушает.)* Так почему же вы ничего не предпринимаете? *(Слушает.)* То есть как это так? А кто же, по-вашему, должен этим хулиганством заниматься? Что? *(Слушает.)* Да, получил... *(Слушает.)* В каком смысле, простите? *(Слушает.)* Позвольте, вы что же хотите мне сказать... *(Слушает, потом медленным движением опускает трубку и поворачивается к остальным.)*

БАЗАРИН. Ну?

КИРСАНОВ. Он говорит: получили предписание — выполняйте...

БАЗАРИН. Та-ак. Этого и следовало ожидать.

КИРСАНОВ. Он говорит: это не только у вас в доме, это везде. Милиции это, говорит, не касается.

Зоя Сергеевна, не сказав ни слова, уходит в спальню налево.

БАЗАРИН. Проклятье. Я тебе тысячу раз говорил, Станислав: не распускай язык! Тебе не двадцать лет. И даже не сорок. В твоем возрасте нельзя быть таким идиотом и горлопаном!

ПИНСКИЙ. Золотые слова! И главное, такие знакомые... Всю жизнь я их слышу. Иногда с добавлением «жидовская морда».

КИРСАНОВ. Какой я вам горлопан? Что вы городите?

БАЗАРИН. На митинге Народного фронта ты речи произносил или папа римский? Кто тебя туда тянул? Что они — не обошлись бы без тебя?..

КИРСАНОВ. Так это когда было... А потом, при чем здесь Народный фронт? Ведь я же богач! Богач я! У меня же драгоценности! У меня меха!

ПИНСКИЙ. Э! Э! Не примазывайся! Меха — это у меня.

БАЗАРИН. Вот теперь и я считаю — хватит. Звони Сенатору.

Кирсанов молчит, выкапывает из пепельницы окурок, затягивается.

КИРСАНОВ. Не хочу. Сам звони.

БАЗАРИН. Ну, знаешь ли! Как угодно. Только я с ним за одной партой не сидел...

И тут за окном в доме напротив разом гаснут все оставшиеся еще освещенные окна. И сейчас же гаснут фонари на улице. Остается только светлое низкое небо над крышами. В комнате делается заметно темнее.

ПИНСКИЙ *(подбежав к окну)*. Ого! И в доме десять тоже погасло... Так... И в доме восемь... А вы знаете, панове, во всем квартале, пожалуй, света нет! Знаешь что, Слава, кончай-ка ты выгибать грудь колесом и звони-ка ты своему Евдокимову... если, конечно, он захочет теперь с тобой разговаривать, в чем я вовсе не уверен.

КИРСАНОВ. Нет. Я никогда никого ни о чем не просил и просить не намерен. Пусть будет что будет.

ПИНСКИЙ. А кто говорит, чтобы просить? Спросить надо, а не просить...

КИРСАНОВ. А что, собственно, спрашивать? Тебе вполне определенно сказано: предписание получили? Выполняйте! Старший лейтенант милиции Ксенофонтов...

Из передней доносится стук дверей, топот, приглушенное ржание. Шипящий голос произносит: «Ш-ш-ш! Тихо ты, сундук африканский!..» Щелкает выключатель. «И здесь света нет...» Другой голос отзывается нарочитым баском: «Взлэтаеть... но так — нэвысоко!..» И снова раздается сдавленное ржание. Из прихожей появляется Сергей Кирсанов, младший сын профессора, ладный, сухощавый, среднего роста молодой человек в мокрой кожаной куртке, в «варенках», на голове огромная меховая шапка. И сразу видно, что он основательно навеселе.

СЕРГЕЙ. О, веселые беседы при свечах! Старшему поколению!.. *(Срывает с головы шапку и отвешивает низкий поклон. Говорит через плечо в прихожую.)* Заходи смело, они, оказывается, не спят. Причем их тут навалом.

Появляется Артур — тоже ладный, тоже сухощавый, но на голову выше ростом. Одет он примерно так же, но на первый взгляд производит впечатление странное: он негр, и лица его в сумеречном свете почти не видно.

АРТУР *(отряхивая о колено свою огромную шапку)*. Здравствуйте. Извиняюсь за вторжение. Мы почему-то думали, что вы уже спите.

СЕРГЕЙ *(в прежней шутовской манере)*. Олег Кузьмич! *(Кланяется.)* Дядя Шура Пинский! *(Кланяется.)* Батюшка! *(Кланяется.)* А это, позвольте вам представить, Артур Петров, Артур Петрович! Мой друг! Вернее, мой боевой соратник. А еще вернее — мой славный подельщик...

КИРСАНОВ *(очень неприветливо)*. Так. Иди-ка ты к себе.

СЕРГЕЙ. Незамедлительно! Мы ведь только представиться. Акт вежливости. А где мамуля?

КИРСАНОВ. Она занята.

СЕРГЕЙ *(Артуру)*. А глаза добрые-добрые!

Оба ржут — довольно неприлично. Из спальни слева появляется Зоя Сергеевна.

СЕРГЕЙ. О! Мамуля! А мы тут тебя ждем. Закусочки бы, а? Немудрящей какой-нибудь. А то ведь мы усталые, с работы, мороз, транспорт отсутствует, в такси не содят...

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Хорошо, хорошо, пойдемте.

Слегка подталкивая, она вытесняет обоих приятелей в прихожую и выходит за ними.

КИРСАНОВ *(Пинскому, неприязненно)*. Вот оно, твое потакание!

Homo Soveticus попадает в пространство надзора ... Не я «читаю» «Вечный зов», «Волгу-Волгу» или картину Дейнеки «Грачи улетели», а они надзирают надо мной, идентифицируя меня в пространстве между плотью массы и оком абсолютного наблюдателя-государства. Куда там Оруэллу с его телескрином! Значительно более незаметный, всепроникающий, этот способ чтения рождает в читателе потребность в утверждении себя в пространстве общезначимого, в разрушении самостояния субъекта.

ПИНСКИЙ. А в чем, собственно, дело? Парнишке двадцать лет. Попытайся вспомнить, каким ты сам был в двадцать лет...

КИРСАНОВ. В двадцать лет у меня не было денег на выпивки.

ПИНСКИЙ. А у него есть! Потому что он работает! Ты в двадцать лет был маменькин сынок, а он работяга. И работа у него, между прочим, достаточно поганая. Ты бы в такой цех не пошел, носом бы закрутил...

КИРСАНОВ. Цех! Ты еще мне скажи — промышленный гигант. Кооперативная, понимаешь, забегаловка на три станка...

ПИНСКИЙ. Ну, конечно! Ну, разумеется! Ведь наши дети могут подвизаться только на великих стройках! Все-таки ты, Станислав, иногда бываешь поразительно туп. Воистину, профессор — это всегда профессор...

БАЗАРИН. Мне другое не нравится. Что это за манера такая — водить в дом иностранцев! Нашел время...

ПИНСКИЙ. Э, у них — свое время. А на наше время они поплевывают. И правильно делают...

КИРСАНОВ. Боже мой, какое счастье, что электричества нет! Ведь он едва только приходит, как сейчас же включает свой громоподобный агрегат... эту свою лесопилку!.. Особенно, когда поддатый...

И тут же, словно по заказу, взрывается оглушительная музыка. Словно заработала вдруг гигантская циркульная пила. Впрочем, некая милосердная рука тотчас сводит этот рев почти на нет. Все трое смеются, даже Кирсанов.

ПИНСКИЙ. У него же портативный есть, на батарейках!

КИРСАНОВ *(Базарину)*. Да, Кузьмич, оставляем мы тебе команду не в добром порядке.

БАЗАРИН. Ты что, собственно, имеешь в виду?

КИРСАНОВ. А то я имею в виду, что меня вот забирают. Шурку забирают, и остается мой оболтус, хочешь ты этого или не хочешь, на тебе.

БАЗАРИН. Перестань. Никуда вас особенно не забирают... и потом, позволь напомнить тебе, у Сергея Александр же еще остается. Как-никак старший брат...

КИРСАНОВ. Александр... Александра тоже придется тебе тянуть. Если уж на то пошло, то скорее уж Сережка не пропадет — он в этом мире как рыба в воде. А вот Александра тебе придется тащить. И двух его детей. И двух его бывших жен. И третью жену, между прочим. У меня, честно говоря, такое впечатление, что там уже третья намечается...

ПИНСКИЙ. Да, Олег Кузьмич, вы еще сто раз пожалеете, что сами повестки не получили. Представляете? «Словоблуды города Питера!» И — никаких вам хлопот с чужими детьми.

Вбегает Сергей.

СЕРГЕЙ. Пардон, пардон и еще раз пардон! Пап, мамуля сказала, что у тебя свечки лишние найдутся. Дай парочку, не пожалей для любимого сына!

КИРСАНОВ *(роясь в бюро)*. Обязательно надо перед приходом домой надраться...

СЕРГЕЙ. Да кто надрался-то? Пивка выпили, и все.

КИРСАНОВ. Тысячу раз просил не являться домой в пьяном виде!.. Кто этот негр, откуда взялся? Зачем таскаешь в дом иностранцев?

СЕРГЕЙ. Да какой же он иностранец? Петров, Артур Петрович, наш простой советский человек. Мы с ним под Мурманском служили. Я ведь тебе рассказывал. Он же меня в эту фирму пристроил.

БАЗАРИН. А почему он тогда такой черный?

СЕРГЕЙ. А потому, что у него папан — замбийский бизнесмен. Он тут у нас учился. В Лумумбе. А потом, натурально, уехал — удалился под сень струй.

БАЗАРИН. Ах вот оно как. То есть он, получается, замбиец...

СЕРГЕЙ. Ну, положим, не замбиец, а га...

БАЗАРИН. Что? В каком смысле — га? Не понимаю.

СЕРГЕЙ. Объясняю. Папан у него из племени га. Есть такое племя у них в Замбии. Га. Но на самом деле Артур, конечно, никакой не га, а самый обыкновенный русский.

БАЗАРИН *(глубокомысленно)*. Ну да, разумеется, поскольку мать у него русская, то вполне можно считать...

СЕРГЕЙ. Мать у него не русская. Мать у него вепска.

ПИНСКИЙ *(страшно заинтересовавшись)*. Кто, кто у него мать?

СЕРГЕЙ. Вепска. Ну, карелка! Ну, я не знаю, как вам ее еще объяснить. Народ у нас есть такой — вепсы...

КИРСАНОВ. Ладно. Бери свечи и удались с глаз долой.

СЕРГЕЙ. Слушаюсь, ваше превосходительство! Премного благодарны, ваше превосходительство! *(Уходит.)*

БАЗАРИН. Ну и поколение мы вырастили, господи ты боже мой!

ПИНСКИЙ. Да уж. С чистотой расы дело у них обстоит из рук вон плохо. По-моему, все они русофобы.

БАЗАРИН. Ах, перестаньте вы, Александр Рувимович! Вы же прекрасно понимаете, что я имею в виду. Нельзя жить без идеалов. Нельзя жить без авторитетов. Нельзя жить только для себя. А они живут так, будто кроме них никого на свете нет...

КИРСАНОВ. Жестоки они — вот что меня пугает больше всего. Живодеры какие-то безжалостные... Во всяком случае, так мне иногда кажется... Без морали. Ногой — в голову. Лежачего. Не понимаю...

ПИНСКИЙ. Не понимаешь... Мало ли чего ты не понимаешь. А понимаешь ты, например, почему они при всей своей жестокости так любят детей?

КИРСАНОВ. Не замечал.

ПИНСКИЙ. И напрасно. Они их любят удивительно нежно и... не знаю, как сказать... бескорыстно! Любят трогать их, тискать, возиться с ними любят. Радуются, что у них есть дети... Это совершенно естественно, но согласитесь, что у нашего поколения все это было не так... А то, что ты их не понимаешь... так ведь и они тебя не понимают.

КИРСАНОВ. Не собираюсь я с тобой спорить, я только вот что хочу сказать: я не огорчаюсь, если люди не понимают меня, но мне становится очень неуютно, когда я не понимаю людей. Особенно своих детей.

Пауза.

ПИНСКИЙ *(ни с того ни с сего)*. Был бы я помоложе,

Василий Селюнин

Экономика императивно требует утверждения частной собственности, идеология — ее уничтожения. Часто говорят: страна на краю пропасти. Продолжим этот образ: на узком мостике над пропастью сошлись экономика и идеология, уперлись лоб в лоб, той и другой обратного ходу нет — не развернешься. Кому-то лететь в бездну.
Компромисс исключен, он означал бы просто бездействие — авось, мол, противостояние как-то само собой разрешится. Этого не будет.

1990

взял бы сейчас ноги в руки, только бы меня здесь и видели. Вынырнул бы где-нибудь в Салехарде, нанялся бы механиком в гараж, и хрен вам в зубы...

КИРСАНОВ. Ну да — без паспорта, без документов. Всю жизнь скрывайся, как беглый каторжник...

ПИНСКИЙ. Да что ты понимаешь в документах, профессор? Тебе какой документ нужен? Давай пять сотен, завтра принесу.

Пауза.

КИРСАНОВ. Ноги в руки тебе надо было в прошлом году брать. Сидел бы сейчас в Сан-Франциско — и кум королю!

ПИНСКИЙ. Нет уж, извини. Я всегда тебе это говорил, и сейчас скажу. Они меня отсюда не выдавят, это моя страна. В самом крайнем случае — наша общая, но уж никак не ихняя. У меня здесь все. Мать моя здесь лежит, Маша моя здесь лежит, отца моего здесь расстреляли, а не в Сан-Франциско... Я, дорогой мой, это кино намерен досмотреть до конца! Другое дело — голову под топор подставлять, конечно, нет охоты. Вот я и говорю: молодость бы мне. Годиков ну хотя бы пятнадцать скинуть... дюжину хотя бы...

Звонит телефон. Все вздрагивают и смотрят на аппарат. Затем Кирсанов торопливо хватает трубку.

КИРСАНОВ. Да!.. Это я... Ну? *(Слушает.)* А что случилось? *(Слушает.)* Ты мне скажи, дети в порядке?.. Ну спускайся, конечно... *(Вешает трубку.)* Это Санька. У него какой-то нетелефонный разговор. Посреди ночи. *(Замечает, что в дверях стоит Зоя Сергеевна.)* Это Санька звонил, лапонька. С детьми все в порядке, но есть какой-то нетелефонный разговор. Сейчас он спустится.

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Повестку получил.

КИРСАНОВ *(ошеломленно)*. Откуда ты взяла?

Зоя Сергеевна, не отвечая, подходит к столу и протягивает что-то Кирсанову.

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. На, прими нитронг.

КИРСАНОВ. Чего это ради? Я нормально себя чувствую. *(Кладет таблетку на язык, запивает из чашки.)* Я совершенно спокоен. И тебе советую.

Входит Александр Кирсанов, старший сын. Такой же, как отец, рослый, рыхловатый, русокудрый, но без бороды и без какого-либо апломба. Живет он на последнем этаже по этой же лестнице. Видимо, только что разбужен — лицо помятое, волосы всклочены, он в пижаме, в руке его листок бумаги.

АЛЕКСАНДР. Папа, я ничего не понимаю! Посмотри, что мне принесли. *(Протягивает отцу листок. Обращается к Базарину и Пинскому.)* Здравствуйте.

Зоя Сергеевна со словами «дай сюда» перехватывает листок и склоняется у свечки. Все молчат. Зоя Сергеевна читает, потом молча возвращает листок мужу, а сама садится у стола и роняет лицо в ладони.

КИРСАНОВ *(плачущим голосом)*. Ну что же это за мерзость, в самом деле! «Распутники города Питера...» Ну как вам это нравится?

БАЗАРИН. Распутники?!

КИРСАНОВ. «Распутники города Питера»! Явиться к восьми утра на стадион Красная Заря...

АЛЕКСАНДР *(ноет)*. Я не понимаю, как я это должен понимать... Я сначала подумал, что это розыгрыш какой-то... Но ведь приходил настоящий посыльный в какой-то черной форме... расписаться потребовал...

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА *(не отнимая рук от лица)*. Дети проснулись?

АЛЕКСАНДР. Да нет, они спят. И потом, там у меня... В общем, там есть человек... Папа, ты что, считаешь, что это серьезно?

ПИНСКИЙ. Понимаешь, Саня, мы с папой тоже такие повестки получили. Во всяком случае, похожие.

АЛЕКСАНДР. Да? Ну, и что теперь надо делать? Идти туда надо, что ли? За что? Папа, ты бы позвонил кому-нибудь.

КИРСАНОВ. Кому?

АЛЕКСАНДР. Ну, я не знаю, у тебя же полно знакомых высокопоставленных... Объясни им, что у меня двое детей, не могу же я их бросить, в самом деле... Как же это можно? Что у нас сейчас — тридцать седьмой год? Тогда — враги народа, а тут вот распутником объявили ни с того ни с сего... Какой я им распутник? У меня двое детей маленьких! Пап, ну позвони хотя бы ректору! Он же все-таки член бюро горкома?

ПИНСКИЙ. Саня, сядь. Вот выпей чаю. Он остыл, но это ничего, хороший чай, крепкий... Не унижайся. Не унижайся, пожалуйста. И отца не заставляй унижаться. Они ведь только этого и хотят, — чтобы мы перед ними на колени встали. Им ведь мало, чтобы мы им просто подчинялись, им еще надо, чтобы мы у них сапоги лизали...

АЛЕКСАНДР. Так ведь надо же что-то делать, дядя Шура... Может быть, это ошибка какая-нибудь вышла... Может, можно как-то договориться. В крайнем случае отсрочку какую-нибудь получить... Ну позвони, пап!

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. У тебя там Галина сейчас?

АЛЕКСАНДР *(расстроенно)*. Да.

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Она завтра сможет побыть с детьми?

АЛЕКСАНДР. Откуда я знаю? Сможет, наверное...

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА *(поднимается)*. Пойдем со мной, я тебе дубленку отдам.

АЛЕКСАНДР. Зачем? Какую еще дубленку?

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Твою. На которой я пуговицы перешила. *(Направляется к двери в спальню.)*

ПИНСКИЙ. Не надо ему дубленку. Отберут у него эту дубленку в первый же день.

АЛЕКСАНДР *(безвольно следуя за матерью)*. Да кому она нужна, старая, облезлая... Папа, ты пока позвони... Ну надо же что-то делать... *(Уходит.)*

КИРСАНОВ. Мерзость... Мерзость!!! Ну хорошо, не угодили вам, не потрафили — посадите в тюрьму, к стенке поставьте, но ведь этого вам всегда мало! Надо сначала в лицо наплевать, вымазать калом, в грязи вывалять! Перед всем честным народом — обгадить, опозорить, в парию обратить! «Богач»! «Распутник»! Это

Мнимая всеобщность прикрывала то обстоятельство, что, скажем, рабочий, пожалуй, стал едва ли не бóльшим пролетарием, чем его западный, зарубежный коллега. У него нет собственности. Значит ли это, что ему нечего терять, кроме своих цепей?

1989

Санька-то мой — распутник! Да он же ни с какой бабой в постель лечь не может без штампа в паспорте, для него же половой акт — это таинство, освященное законом, а иначе — порок, срам, грех! Нет, он, видите ли, распутник... Ну какая же все-таки подлая страна! Ведь силища же огромная, ни с чем не сравнимая, из любого человека может сделать мокрое пятно, из целого народа может сделать мокрое пятно!.. Но почему же обязательно не просто, не прямо, а с каким-нибудь подлым вывертом?..

БАЗАРИН. Станислав, прекрати.

КИРСАНОВ. Нет уж, я скажу. Я и тебе скажу, и завтра им все это скажу! Ведь я чего-нибудь вроде этого ждал. Мы все этого ждали. «Товарищ, знай, пройдет она, эпоха безудержной гласности, и Комитет госбезопасности припомнит наши имена!..» Прекрасно знали! Что не может у нас быть все путем, обязательно опять начнут врать, играть мускулами, ставить по стойке «смирно»! Но вот такого! Презрения этого... унижения!.. Я давно пытаюсь представить себе, как должен выглядеть человек, отдельный человек, личность, обладающий теми же свойствами, что наша страна... Вы только подумайте, какой это должен быть омерзительный тип — чваный, лживый, подлый, порочный... без единого проблеска благородства, без капли милосердия...

БАЗАРИН. Перестань сейчас же, я тебе говорю! Как тебе не стыдно? Это уже действительно чистая русофобия!

ПИНСКИЙ. Ах-ах! Ну конечно же — русофобия. Обязательно! Везде же русофобы! Я только теперь понимаю, почему меня в пятидесятом на физфак не приняли! Русофобы! Пронюхали, подлецы, что у меня бабушка русская... Стыдитесь, Олег Кузьмич! При чем здесь русофобия? Он же слова дурного про русских не сказал! Зачем же передергивать? И так тошно.

БАЗАРИН. Нет уж, голубчики! Это уж вы не извольте передергивать, Александр Рувимович и Станислав Александрович! Я и без вас все прекрасно понимаю! Точно так же, как и вы, я полагаю, что происходящее недостойно, но я-то считаю, что оно недостойно страны. Не страна у нас недостойная, как вы изволите утверждать, а то, что с нами происходит сейчас, — недостойно нашей страны. Это разные вещи, и путать их не надо. Проще простого — свалить в одну кучу и страну, и всех дураков с негодяями, которые в ней водятся... Я понимаю, мы с вами не в равном положении сейчас. Вы — под ударом, а я как бы выхожу чистенький... Но уверяю вас, если бы эта молния ударила и в меня тоже, я бы закричал, конечно, потому что больно, потому что обидно, понимаю, но я бы заставил себя задуматься: почему? Почему выбрали именно меня? Может быть, все-таки не зря выбрали? Может быть, я жил как-то неправильно?.. Ведь все наши дураки и негодяи, они же к нам не с неба свалились, они же из нас, из гущи нашей, они глупые, однако нутром своим они всегда выражают именно гущу, ту самую, от которой мы все оторвались, отгородились своими окладами, своей чистенькой работкой, и когда нам говорят: ну ты, гад, выйди из строя, на колени! — может быть, не об унижении своем барском думать надо, а о том надо думать, что это наш последний шанс уразуметь, почему мы чужие, и покаяться... Не перед дураками покаяться, которые нас из строя выдернули, а перед строем...

КИРСАНОВ. Да каяться-то в чем? В чем каяться? И перед каким таким строем? Перед общественным, что ли?

БАЗАРИН. Я не знаю, в чем ты должен каяться. Это тебе виднее. Я тебе уже говорил, что с определенной точки зрения и ты, и я, и он, мы все — зажравшиеся баре, которые берут много, а отдают мало. Мы привыкли к этому, и нам кажется, что так и должно быть. Мы сами построили себе свой модус вивенди, мы сами построили себе удобную в употреблении мораль... Ты вот защищаешь Саньку, что он у тебя бабник не простой, а законопослушный, но ты пойми, что, с точки зрения тети Моти, он и есть самый настоящий распутник! В тридцать лет — две жены, каждой по ребенку заделал, а теперь пожалуйста — у него еще и какая-то Галина... Ну что это — не распутство?

ПИНСКИЙ. Ну, хорошо. Положим, Саньку можно кастрировать в крайнем случае. А со мной что вы прикажете делать? Тетя Мотя ведь не еврей, а я еврей, дрянь этакая...

БАЗАРИН. Перестаньте, Александр Рувимович! При чем здесь опять евреи? Вы меня знаете, я не антисемит, но эта ваша манера сводить любую проблему к еврейскому вопросу...

ПИНСКИЙ. Ну да, конечно! А как насчет вашей манеры — все сводить к мнению тети Моти?..

БАЗАРИН *(проникновенно)*. Когда я говорю о тете Мотe, я имею в виду мнение большинства. Того самого большинства, к которому все мы склонны относиться с таким омерзительным высокомерием... Я подчеркиваю: я тоже грешен! Но я хотя бы пытаюсь, хотя бы иногда, встать на эту точку зрения и посмотреть на себя с горы...

ПИНСКИЙ (*с нарочитым еврейским акцентом*). Таки себе хорошенький пейзажик, наверное, открывается с этой вашей горы!

БАЗАРИН. Вы, Александр Рувимович, совершенно напрасно все время стараетесь меня вышутить. Остроты отпускать — самое простое дело и самое пустое! Вы понять попытайтесь. Понять. Не до шуток сейчас, поверьте вы мне...

ПИНСКИЙ. А это уж позвольте мне самому решать. По мне так с петлей на шее лучше уж острить, чем каяться. А если уж и каяться, то никак уж не перед вами и не перед загадочной вашей тетей Мотей!

БАЗАРИН *(бормочет)*. Гордыня, гордыня... Все мимо ушей...

КИРСАНОВ *(вдруг)*. Да, гордыня. Это верно. Хватит. *(Подходит к телефону, набирает номер.)* Сенатор? Ох, слава богу, что ты не спишь... Это Слава говорит. Слушай, мы здесь попали в какую-то дурацкую переделку. Представь себе: моему Саньке вдруг приносят повестку... *(Замолкает, слушает.)* Нет... Нет-нет... «Распутники города Питера»... *(Слушает.)* Понятно... Понятно... И что ты намерен делать? *(Слушает.)* Нет, Зоя не получала, а я получил... *(Слушает.)* Понятно... Ну, значит, все будет как будет. Прощай. *(Вешает трубку.)* Он уже упаковался. Он у нас отныне «политикан города Питера»!

Освещенное небо за окном гаснет. Город погружается в непроглядную тьму.

Конец первого действия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Два часа спустя. Та же гостиная, озаренная свечами. Кирсанов за столом, придвинув к себе все канделябры, что-то пишет. Зоя Сергеевна пристроилась тут же с какой-то штопкой. Больше в комнате никого нет. Тихо. На самом пределе слышимости звучит фонограмма песен современных популярных певцов.

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Что ты пишешь?

КИРСАНОВ *(раздраженно)*. Да опись эту чертову составляю...

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Господи. Зачем?

КИРСАНОВ *(раздраженно)*. Откуда я знаю? *(Перестает писать.)* Надо же чем-то заняться... *(Пауза.)* А эти молодцы все развлекаются?

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Надо же чем-то заняться...

КИРСАНОВ. Надрались?

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Нет. Во всяком случае, в меру. Слушают музыку и играют в какую-то игру. На специальной доске.

КИРСАНОВ. В нарды, что ли?

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Нет. Какое-то коротенькое название. То ли японское, то ли китайское...

КИРСАНОВ. В го?

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Да. Правильно. В го.

Пауза.

В отдалении Гребенщиков стонуще выводит:

Этот поезд в огне — нам не на что больше жать,
Этот поезд в огне — нам некуда больше бежать.
Эта земля была нашей, пока мы не погрязли в борьбе...

КИРСАНОВ. Вождь из племени га сидит и играет в го.

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Сережка деньги отдал. Двести рублей.

КИРСАНОВ. Что еще за двести рублей?

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Говорит, ты ему давал в долг. В прошлом году.

КИРСАНОВ. Гм... Не помню. Но похвально. *(Пауза.)* Ты ему все рассказала, конечно...

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Конечно.

КИРСАНОВ. Ну, и как он отреагировал?

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Сначала заинтересовался, стал расспрашивать, а потом ехидно спросил: «Веревку велено свою приносить или казенную там на месте дадут?»

КИРСАНОВ. Замечательное все-таки поколение. Отца забирают черт-те знает куда, а он рассказывает по этому случаю анекдот и садится играть в го...

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Он считает, что нам с тобой вообще никуда не следует ходить...

КИРСАНОВ *(раздраженно)*. Ну да, конечно! Он хочет, чтобы они пришли сюда, чтобы вломились, заковали в наручники, по морде надавали... *(Некоторое время угрюмо молчит, а потом вдруг с невеселым смешком произносит нарочито дребезжащим старческим голоском.)* «Что, ведьма, понарожала зверья? Санька твой иезуит, а Сережка фармазон, и пропьют они добро мое, промотают!.. Эх, вы-и!»

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА *(утешающе)*. Я думаю, ничего особенно страшного не будет. Отправят куда-нибудь на поселение, будем работать в школе или в детском доме... Обыкновенная ссылка. Я помню, как мы жили в Карабутаке в тридцать девятом году. Была мазанка, печку кизяком топили... Но холодина была зимой ужасная... А вместо сортира — ведро в сенях. Тетя Юля, покойница, она языкастая была... вернется, бывало, из сеней и прочтет с выражением: «Я люблю ходить в ведро, заносить над ним бедро, писать, какать, а потом возвращаться в теплый дом»... Две женщины немолодые, девчонки — и ничего, жили...

КИРСАНОВ *(с нежностью)*. Бедная ты моя лапа... *(Слышится стук в наружную дверь.)* Погоди, я открою. Это, наверное, Кузьмич, совесть его заела...

Он выходит в прихожую и возвращается с Пинским. Пинского не узнать: он в старом лыжном костюме, туго перетянутом солдатским ремнем, на голове — невообразимый треух, на ногах — огромные бахилы. В руке у него тощий облезлый рюкзак типа «сидор».

ПИНСКИЙ. Я решил лучше у вас посидеть. Одному как-то тоскливо. Кстати, куда мне ключ девать? Сережке отдать, что ли? Я надеюсь, ему повестку еще не принесли?

КИРСАНОВ. Еще не принесли, но могут и прислать. «Разгильдяи города Питера!»...

ПИНСКИЙ. Да нет, вряд ли. Молод еще. Хотя, с другой стороны, тетя Мотя у нас ведь непредсказуема.

КИРСАНОВ. Правильнее говорить не «тетя Мотя», а «Софья Власьевна».

ПИНСКИЙ. А это одно и то же. Софья Власьевна, а кликуха у ей — тетя Мотя.

КИРСАНОВ. Да-а, юморок у нас с тобой, Шурик... предсмертный.

ПИНСКИЙ. Типун тебе на язык, старый дурень! Не дрейфь, прорвемся. В любом случае это ненадолго. Агония! Предсмертные судороги административно-командной системы. Я даю на эти судороги два-три года максимум...

КИРСАНОВ. Знаешь, в наши годы — это срок.

ПИНСКИЙ. Зоя, что это ты делаешь?

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. «Молнию» пришиваю.

ПИНСКИЙ. Ну и глупо. Завтра она у него сломается, и что тогда прикажете делать? Пуговицы надо! Самые здоровенные... И никаких «молний», никаких кнопочек... Слушай, пойдем посмотрим, что ты там ему упаковала... Пошли, пошли!

КИРСАНОВ. Тоже мне, старый зек нашелся.

ПИНСКИЙ. Давай, давай, поднимайся... Зек я там или не зек, а на зеков нагляделся — я с ними две стройки коммунизма воздвиг, пока ты в кабинетах задницу наедал!..

Все трое уходят в спальню, и некоторое время сцена пуста. Слышен сдавленный голос Виктора Цоя:

Мы хотели пить — не было воды,
Мы хотели света — не было звезды,
Мы шли под дождь и пили воду из луж...
Мы хотели песен — не было слов.
Мы хотели спать — не было снов...

Из прихожей справа появляется Базарин.

БАЗАРИН. Можно? У вас там опять замок заклинило...

Проходит на середину комнаты, озирается, останавливается у стола и, зябко потирая руки, читает оставленную на столе опись. Потом пожимает плечами, снова озирается, берет телефонную трубку и быстро набирает номер. Некоторое время слушает, потом нервным движением бросает трубку. Из спальни выходит Кирсанов.

КИРСАНОВ. А, это ты... Куда звонишь?

БАЗАРИН. Да так... Занято все время. Ну, можешь меня поздравить. «Дармоед города Питера».

КИРСАНОВ *(не поняв)*. То есть? *(И тут до него доходит.)* Ну да?! Тоже получил?

БАЗАРИН. Пожалуйста, прошу полюбоваться... *(Вынимает из нагрудного кармана и протягивает Кирсанову сложенную повестку.)*

КИРСАНОВ *(кричит)*. Шурка! Зоя! Идите сюда! Кузьмич повестку получил!

Первым выскакивает Пинский, за ним появляется Зоя Сергеевна с теплыми кальсонами в руках.

ПИНСКИЙ. Что такое? Что случилось? Епиходов кий сломал?

КИРСАНОВ. Нашего полку прибыло. *(Читает с выражением.)* «Дармоеды города Питера! Все дармоеды горо-

да Питера и окрестностей должны явиться сегодня, двенадцатого января, к восьми часам утра на площадь перед городским крематорием...» Ого! Ничего себе, выбрали местечко!

ПИНСКИЙ. Какие все-таки подонки!

КИРСАНОВ *(продолжает читать)*. «...иметь при себе документы, в том числе: аттестат, диплом и удостоверения об окончании специализированных курсов, а также необходимые письменные принадлежности...» Заметьте, ни о деньгах, ни о драгоценностях — ни слова. «Дармоеды, не подчинившиеся данному распоряжению, будут мобилизованы приводом. Председатель-комендант...» Ну, и так далее. Что ж, все как у людей.

ПИНСКИЙ *(глубокомысленно)*. Это они, видимо, придурков набирают.

КИРСАНОВ *(с укоризной)*. Шура!

ПИНСКИЙ. Что такое? Ты не понимаешь! Придурок в лагере — фигура почтенная, дай нам бог всем стать придурками... Олег Кузьмич, а кто вам эту штуку доставил? Все тот же самый?

БАЗАРИН. Представьте себе, нет. Такой маленький, толстенький, немолодой уже... В очках, очень вежливый. Но ничего, конечно, толком не объяснил, потому что и сам не знает.

ПИНСКИЙ. Ясно. Ну что ж, Олег Кузьмич, надо вам собираться... Позвольте несколько советов. Берите вещи теплые, поношенные, прочные, но самые неказистые. Никакого новья, никой «фирмы», вообще лучше никакого импорта... Сало есть у вас дома? Возьмите сала.

БАЗАРИН. Да откуда у меня сало?

ПИНСКИЙ. А что — вы не любите сало? Вот странно! Глядя на вас, никогда бы не подумал...

БАЗАРИН. Я, если хотите знать, вообще свинины не люблю и не ем.

КИРСАНОВ *(мрачно усмехаясь)*. «Для чего же ты не ешь свинины? Только турки да жиды не едят свинины...»

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА *(из спальни)*. Слава, иди сюда!

КИРСАНОВ. Иду! *(Уходит.)*

ПИНСКИЙ. Прошу прощенья, Олег Кузьмич, я тоже вас покину, а то они там без меня наворотят... Этот обалдуй электробритву хотел с собой взять, еле-еле я успел перехватить... *(Уходит.)*

Базарин сейчас же подходит к телефону и снова набирает номер. Видимо, снова занято.

БАЗАРИН. Ч-черт...

Вешает трубку, принимается нервно ходить взад-вперед, лихорадочно моя руки воздухом. Слышно, как в отдалении играет музыка, и Юрий Шевчук хрипло кричит: «Предчувствие-е-е... гражданской войны!..» Базарин останавливается около телефона, кладет руку на трубку и снова настороженно озирается. Потом снимает трубку и набирает номер.

БАЗАРИН. Алло. Семьсот два дайте, пожалуйста... Николай Степанович? Ах, это Сергей Сергеевич... Пардон, не узнал вас... Да, богатым будете... Вы знаете, Сергей Сергеевич, мне тут не совсем удобно разговаривать, поэтому, разрешите, я коротко. Понимаете, я получил довольно странную повестку. Я бы даже сказал, оскорбительную. И дело не в том, что я напуган, как здесь некоторые, мне бояться нечего, но я не желаю принимать этот тон, все эти выражения, это оскорбительно... мне кажется, я этого не заслужил. Во-первых, я не понимаю, кто, собственно, проводит это мероприятие... что это за организация такая — «Социальная Ассенизация»? И что это за должность такая — «председатель-комендант»? Это же несерьезно, это же оперетта какая-то! Такое впечатление, будто это мероприятие имеет только одну цель — оскорбить человека... Что?.. Представьте себе: в крематорий! Это же просто издевательство какое-то... Что?

Входит Александр, волоча за лямку потрепанный рюкзак. Базарин смотрит на него, но в то же время как бы и не видит, — все внимание его приковано к разговору.

БАЗАРИН. Это я понимаю... Это я п... Да, все это правильно, но я всегда полагал, что есть граждане, само положение которых... Что?.. Ах, вы так ставите вопрос... Ну, тогда конечно... хотя я со своей стороны... Да, разумеется... Хотя я со своей стороны... Что? Слушаюсь. Понял. Хорошо. *(С расстроенным видом кладет трубку.)* Канцелярия чертова, аппаратчики...

АЛЕКСАНДР *(жадно)*. А что они вам сказали?

БАЗАРИН. Что они мне сказали? Хе! Что они мне могли сказать? *(Словно очнувшись.)* Кто это — «они»? Ты про кого спрашиваешь?

АЛЕКСАНДР. Ну эти... с которыми вы разговаривали. Я понял, это какое-то большое начальство...

БАЗАРИН *(неприязненно)*. Начальство, мочальство... Ты, собственно, чего сюда приперся? Рано же еще.

АЛЕКСАНДР. Не знаю. У меня там все спят. А я заснуть никак не могу... Так что они вам сказали?

БАЗАРИН *(язвительно)*. Они мне сказали, что мероприятие находится под контролем. Под полным контролем! Так что, голубчик мой, можешь собирать свои вещички и отправляться в крематорий!

АЛЕКСАНДР *(тупо)*. Мне не в крематорий назначено, мне на стадион «Красная Заря»... А может быть, еще кому-нибудь позвоните, Олег Кузьмич?

БАЗАРИН. Все. Больше некому.

АЛЕКСАНДР *(нещадно хрустя суставами пальцев)*. Я все-таки никак не могу понять, что же это такое с нами происходит? Куда нас, в конце концов, забирают? Это что — мобилизация какая-то? Или, наоборот, наказание? Или еще чего-то? Что мы там — каналы будем копать? Или это переподготовка какая-нибудь? Или перевоспитание очередное? А может быть, и вообще тюрьма? Только если это тюрьма, то абсолютно непонятно — за что? У нас же сейчас не тридцать седьмой год! Даровая рабсила понадобилась? Опять же не те времена: мы же съедим больше, чем настроим. Сколько раз уже сказано было и доказано было, что рабский труд нерентабелен... И вообще, как это можно — всех под одну гребенку? А если у меня бронхиальная астма? Я хоть завтра достану справку, что у меня бронхиальная астма... Я вообще не понимаю, кому это все понадобилось? Зачем? Это же просто экономически невыгодно! И без того вся экономика по швам трещит, а они тут разыгрывают такие мероприя-

Николай Бердяев Русское мышление имеет склонность к тоталитарным учениям и тоталитарным миросозерцаниям. Только такого рода учения и имели у нас успех. В этом сказывался религиозный склад русского народа. Русская интеллигенция всегда стремилась выработать себе тоталитарное, целостное миросозерцание, в котором правда-истина будет соединена с правдой-справедливостью.

тия... Я, между прочим, системный программист, какой же смысл меня на лопату ставить, на киркомотыгу какую-нибудь?

БАЗАРИН *(проникновенно)*. Я другого не могу понять. Я самого принципа понять не могу! Ну, хорошо: евреи. Это я понимаю. Это еще можно как-то понять...

АЛЕКСАНДР. А что они? Вы знаете что-нибудь?

БАЗАРИН. Подожди, не отвлекайся... Я могу понять экспроприацию. В конце концов, финансовое положение действительно требует чрезвычайных мер. Но не таких же! Пусть будет реформа, сколь угодно жесткая... Пусть будет налоговая система, самая беспощадная... И даже не в этом дело! В конце концов, есть же люди, которые, так сказать, являются опорой! Так сказать, костяком! Нельзя же опору подрубать! Я понимаю, что настала пора радикального лечения организма. Я, кстати, давно уже это утверждаю... и призываю... Однако это уже получается не лечение, это уже какой-то мрачный анекдот! Усекновение головы — лучшее средство от мигреней...

АЛЕКСАНДР *(вставляет)*. Главное, непонятно, чего они этим хотят добиться...

БАЗАРИН *(отмахивается от него)*. Чего они хотят добиться — это как раз понятно. Контроль утрачен над обществом, неужели ты не видишь? Страна захлебывается в собственных выделениях... Крутые меры необходимы! Ассенизация необходима! Вот оно — откуда у них это слово! Слишком далеко мы зашли — понимаешь, в чем дело? Теперь легко не отделаемся, и поделом нам всем — по вору и му́ка!

АЛЕКСАНДР. Ну да... А я-то здесь при чем? Тоже мне — нашли вора... Сами напахали невесть чего, а я должен за это расплачиваться?

БАЗАРИН. Конечно, должен! Тебе, Саня, между прочим, уже тридцать годиков миновало, не маленький! Не только мы пахали, но и вы пахали!

АЛЕКСАНДР. А дети мои при чем?

БАЗАРИН. Это несерьезный разговор. Чего ты от меня хочешь? Таковы законы истории. Когда приходит время расплачиваться, расплачиваются все — и виноватые, и ни в чем не повинные. Это тебе не ресторан, не жди, никто не скажет: «Счет — мне, пожалуйста».

Из спальни слева выходят Пинский, Зоя Сергеевна и Кирсанов.

ПИНСКИЙ *(втолковывает)*. ...А самое правильное — взять сейчас твой «Жигуль» и дернуть куда-нибудь подальше...

КИРСАНОВ. Ну что ты за глупости опять порешь! Ну поймают же, мерзко, за ухо приволокут, как поганых щенков...

ПИНСКИЙ *(орет)*. Да кто тебя будет ловить? Кому ты нужен? Отсидишься у себя в Псковской — и вася-кот!

КИРСАНОВ *(орет)*. Сам ты дурак! Я же тебе объясняю: колес нет, ни одной целой покрышки нет, ни одной!

ПИНСКИЙ. У тебя никогда ничего нет, когда нужно.

КИРСАНОВ. Да! У меня никогда ничего нет! И отстань от меня! Я на старости лет зайца из себя изображать не намерен! Ты второ́й раз разговор на эту тему заводишь, и я тебе окончательно говорю: не желаю слушать!

ПИНСКИЙ *(с отчаянием)*. Господи ты боже мой, ну кто мог подумать, что все это будет так мерзко, так срамно, унизительно, позорно... Беспомощные дряхлые старикашки, ведь это мы итоги с вами подбиваем! Срамная жизнь, срамное подыхание!

КИРСАНОВ *(топает в бешенстве ногами)*. Прекрати! Не желаю этого слушать! Не позволю! Откуда ты знаешь? Мы еще посмотрим! Вот соберется нас пятьдесят тысяч на площади, мы еще посмотрим, что из этого получится! Это тебе не прежние времена! Рабов больше нету! Я на этой площади уже один раз выступал, я и второй раз выступить могу! Они еще пожалеют, что сначали нас всех в одно место!..

Голос у него срывается, и он принимается надрывно кашлять. Зоя Сергеевна торопливо подсовывает ему чашку остывшего чая, а он отстраняет эту чашку и все тщится провозгласить еще что-то, но только отчаянно сипит и больше ничего не может.

ПИНСКИЙ *(перепугавшись)*. Да ладно тебе, ну хорошо, хорошо, успокойся только, ради бога... *(Дергает Кирсанова за мочку уха и похлопывает его ладонью между лопаток, издавая губами поцелуйные звуки.)* Черт знает что они с нами делают.

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА *(сердито)*. А ты бы, между прочим, язык свой мог бы поменьше распускать...

ПИНСКИЙ. Ну, хорошо, ну, виноват, не буду больше... *(Базарину.)* Ну, как вы тут, Олег Кузьмич? Что это вы там про рестораны рассуждали?

БАЗАРИН *(с изумлением)*. Я? Про рестораны?

ПИНСКИЙ *(поспешно)*. Наверное, мне послышалось. Виноват... (*Александру.)* Что, Саня, собрался уже? Это хорошо. Молодец. *(Решительно.)* Знаешь что? Пойдешь со мной.

АЛЕКСАНДР. У меня же «Красная Заря»...

ПИНСКИЙ. А наплевать на «Красную Зарю». Давай мне твою повестку, сейчас я там все переправлю и напишу «исправленному верить»... *(Спохватывается.)* Нет, это я чепуху говорю. С жидами тебе лучше не связываться. От жидов, голуба моя, держись сегодня подальше. А вот если с отцом тебя наладить — это хорошая идея! Ты как считаешь, Станислав Александрович?

АЛЕКСАНДР *(тупо повторяет)*. У меня же «Красная Заря», дядя Шура. «Красная Заря»...

ПИНСКИЙ *(нетерпеливо)*. Господи, да неважно это. Кому какое дело? Давай повестку, я тебе сейчас же все переправлю...

АЛЕКСАНДР *(отступая на шаг)*. Ну нет, не надо... Еще хуже будет. Зачем это мне?.. Вот если бы папа со мной пошел...

ПИНСКИЙ *(некоторое время смотрит на него ошеломленно, затем кривится в усмешке)*. Да, это замечательная идея. Там, в твоей компании, папа будет как раз на месте — самый старый распутник города Питера.

КИРСАНОВ *(севшим голосом)*. Я требую, чтобы здесь перестали нагнетать ужасы! Неужели непонятно, что сейчас не те времена? Настоящий террор невозможен — я утверждаю это с полной ответственностью. Все это — очередная глупость нашего начальства, и ничего больше.

Льюис Кэррол

По какой дороге
можно отсюда выбраться? <...>
Куда-нибудь-то наверняка
попадешь, если будешь
идти
достаточно долго...

Сегодня же вечером все мы будем дома. *(Жадно пьет остывший чай из стакана.)* А если и не будем, то все равно не пропадем...

ГОЛОС ИЗ ПРИХОЖЕЙ. Хозяева! Есть тут кто?

В дверях появляется Егорыч, местный сантехник, неопределенных лет мужчина, кургузый, в кургузом пиджачке и изжеванных брюках. В руке у него мотается зажженная свечечка, на ногах он держится нетвердо.

ЕГОРЫЧ. Я извиняюсь, я звоню, звоню, никто не выходит, а дверь открытая... С-нислав С-саныч, я извиняюсь, конечно, я тебя спросить хочу... Хглупость какая-то. Прихожу домой, супруга моя не спит, говорит: повестку тебе принесли, доигрался. Фамилие мое, адрес мой. Явиться на Вторую сортировочную. Ладно. Все понятно. Одно непонятно: какие-то удивительные слова попадаются... какой-то мздоним... нзаданим... Посмотри, пожалуйста. Может, это вообще не ко мне?

ПИНСКИЙ *(берет у него повестку)*. Какой еще там бздоним? Гм... Действительно, какое-то странное слово. И еще вдобавок от руки накорябано... А-а-а! *(Хохочет.)* Ну, так все правильно, Егорыч! «Мздоимцы города Питера»!

ЕГОРЫЧ. Какие?

ПИНСКИЙ. Мздоимцы! Которые мзду имут, понимаешь?

ЕГОРЫЧ. Ну?

ПИНСКИЙ. Ну вот и явишься. Куда там тебе? Вторая сортировочная?

БАЗАРИН. Перестаньте издеваться над человеком, Александр Рувимович! *(Раздраженно выхватывает повестку из руки Пинского.)* Дайте сюда... *(Читает про себя.)* Черт знает что...

ПИНСКИЙ. Вот именно, Олег Кузьмич! Только не черт знает что, а правильнее сказать: мать иху так. Как видите, и до тети Моти добрались.

ЕГОРЫЧ. Я извиняюсь...

ПИНСКИЙ *(обнимая его за плечи)*. Не надо, Егорыч, не извиняйся. Иди ты к себе домой и собирай манатки. Теплое бери и курева дня на три... А драгоценности, которые ты стяжал, оставь на столе. Да опись не забудь приложить... в трех экземплярах.

ЕГОРЫЧ *(бубнит)*. Я, Александр Рувимыч, все понимаю. Я ведь насчет слова пришел... Слово какое-то непонятное. И супруга моя не знает...

Егорыч и Пинский удаляются в прихожую.

БАЗАРИН *(ни с того ни с сего)*. Сантехник — это еще не народ.

КИРСАНОВ *(сморщившись)*. Я только умоляю тебя, Олег. Не надо никаких высокопарностей. Народ — не народ... Одна половина народа погонит другую половину народа рыть канал. Так у нас всегда было, так у нас и будет. Вот и все твое политпросвещение.

БАЗАРИН. Ты, кажется, призывал не паниковать.

КИРСАНОВ. А я и не паникую. Я высокопарностей не люблю. Ты еще нам про родниковые ключи истоков расскажи... или про почву исконную, коренную... *(Обрывает себя и обращается к Александру.)* Александр, тебе денег дать?

АЛЕКСАНДР *(уныло)*. Мне уже мама дала.

КИРСАНОВ *(роется в бюро)*. Хорошо, хорошо... Не помешает. Вот тебе еще сотня. Сунь ее куда-нибудь... в носок, что ли...

ПИНСКИЙ *(вернувшись)*. Подожди, подожди... Ты что ему — одной бумажкой даешь? Совсем сдурел на старости лет! Мелкими давай! Мелкими! Есть у тебя?

КИРСАНОВ. Есть тут что-то... Мало.

ПИНСКИЙ. Ничего, ничего, зато целее будут... *(Александру.)* Возьми. Рассуй по разным карманам.

АЛЕКСАНДР *(уныло)*. Спасибо... Папа, так ты, может быть, действительно со мной пошел бы?

КИРСАНОВ. Нет. Ты пойдешь со мной. И не спорь. И перестань ныть! Дай твою повестку... *(Берет у сына повестку и рвет ее на клочки.)*

АЛЕКСАНДР *(ужасным голосом)*. Что ты наделал?!

КИРСАНОВ. Все! Ты свою повестку потерял! И не ныть! Взрослый мужик, стыдись!

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА *(Александру)*. Хорошо, хорошо, правильно. За отцом присмотришь. И вообще вдвоем вам будет легче...

АЛЕКСАНДР *(ноет)*. Ну а если спросят? Что я им скажу тогда? Что?

ПИНСКИЙ. Скажешь, что подтерся по ошибке... *(Взрывается.)* Да кто там тебя спросит, обалдуй с Покровки? Кому ты там нужен? Паспорт отберут, и весь разговор... Слушайте, панове, а может, паспорт не брать с собой? Ну потерял я паспорт, начальник! Еще в прошлом году потерял! По пьяному делу! А?

БАЗАРИН *(неприязненно)*. По-моему, это противозаконно. Обман властей.

ПИНСКИЙ. Ах-ах-ах! Власти обманул гадкий мальчик! Власть к нему со всей душой, а он, пакостник, взял ее — и обманул! Дед плачет, бабка плачет...

КИРСАНОВ. Да нет, не в этом же дело, Шура. Противно же это, мелко... Лганье какое-то семикопеечное... У тебя получается, что если власть у нас подоночная, так и мы все должны стать подонками...

ПИНСКИЙ. Ну, нет так нет, я же не настаиваю. Я только хотел бы подчеркнуть, что чистенький, подлинненький паспортишко, где-нибудь в хорошеньком загашнике,— это вещь архиполезная, государи мои!..

Из прихожей, из коридора, ведущего в комнату Сергея, доносятся топот и шарканье, слышится голос Артура: «Ничего, ничего, пошли, не упирайся...» И вот Артур появляется в гостиной, таща за собой за руку вяло сопротивляющегося Сергея.

АРТУР. Вот, я его вам привел. *(Сергею.)* Говори, заканканец! Ведь тебе же хочется это сказать. Ну! Говори!

СЕРГЕЙ *(смущенно и сердито)*. Отстань, африканец, отпусти руку! Не делай из меня попугая.

АРТУР *(отпускает его)*. Я тебя прошу: скажи. Думай, что хочется; делай, что хочется; и говори, что хочется!..

КИРСАНОВ. Сергей, что ты еще натворил?

СЕРГЕЙ *(моментально окрысившись)*. Да ничего я не

Норберт Винер

Коль скоро вы вкусили
от древа познания, вы вряд ли
сможете поступить по-иному,
чем идти дальше с этим
знанием.

натворил! Сразу — натворил! *(Артуру.)* Говорил же я тебе, сундук кучерявый...

АРТУР. Станислав Александрович, я вас очень прошу: ну помолчите вы несколько минут! Почему вы никогда не чувствуете, когда надо помолчать? Вам надо помолчать, а вы все норовите поскорее принять меры, даже и не попытавшись узнать, в чем дело... *(Сергею.)* Будешь говорить? Нет? Тогда я скажу. Понимаете, он испытал жалость. Мы там сидели, как люди, ловили кайф, и было все нормально, и вдруг он сказал: мы вот сидим здесь с тобой, а они там — одни и помирают со страху, и у них ведь теперь ничего не осталось... Я удивился, а он сказал: у них на старости лет осталась одна погремушка — ихняя демократия и гласность, а теперь вот у них и это отбирают. Потрясли перед носом и тут же отобрали. Насовсем. Он сказал: мне их жалко, мне до того их жалко, что даже плакать хочется. И я увидел, что он плачет...

СЕРГЕЙ. Не было этого! Хватит ерундить-то!

АРТУР. Было это, Серый, было! Ты уже этому не веришь, я и сам-то не очень верю, хотя ведь и пяти минут не прошло, да только — было! И я тогда вдруг понял: это минута добра. Бывает момент истины, знаете? — а это была минута добра. И я опять удивился: как же так? Откуда же оно взялось, это добро? Да еще целая минута! Через какую щель оно проползло? И кто его сюда пропустил? И вообще, при чем тут я? И я сказал ему: не бери в голову, Серый! Они получили только то, что сами хотели получить, — ни рюмкой больше, ни рюмкой меньше. А он мне сказал: ну и что же? Тем более они несчастны, и еще больше их от этого жалко... Я снова попытался объяснить ему, что вы уже сделали свой выбор... неважно — почему, неважно — как... но сделали! И тогда он сказал... он согласился со мной и сказал: да, сделали, но, боже мой, до чего же это жалкий выбор! И тут жалость охватила и меня тоже. Я схватился было за бутылку, но сразу же понял: нельзя. Я подумал: вы тоже должны узнать об этом... Теперь-то я вижу, что сделал глупость, никому из вас этого не надо, но — все равно. Это была минута добра. Очень большая редкость в нашей жизни.

Воцаряется неловкое молчание. И вдруг Зоя Сергеевна подходит к Артуру и целует его, а затем целует Сергея.

СЕРГЕЙ. Ну... что ты, мама? Ну что ты? Ничего! Все будет нормально.

БАЗАРИН *(сварливо)*. Минуточку, минуточку...

ПИНСКИЙ. Олег Кузьмич, помолчите, ради бога.

БАЗАРИН. Нет уж, пардон! Я очень благодарен молодому поколению за те добрые чувства, которые вызывал у него целую минуту...

КИРСАНОВ. Боже мой, какая зануда!.. Кузьмич!

БАЗАРИН. Нет уж, позволь. Молодые люди мягко упрекают нас в том, что мы сделали не тот выбор. Очень хотелось бы знать, какой выбор сделали бы молодые люди, если бы им принесли аналогичные повестки? «Нигилисты города Питера!»

СЕРГЕЙ. Но ведь не принесли же!

БАЗАРИН. Но ведь могли принести? И может быть, еще принесут!

СЕРГЕЙ. А вот не могли! И не принесут! Вы этого не понимаете. Приносят тем, кто сделал выбор раньше, — ему еще повестку не принесли, а он уже сделал выбор! Вот маме повестку не принесли. Почему? Потому что плевала она на них. Потому что, когда они вербовали ее в органы в пятьдесят пятом, она сказала им: нет! Знаете, что она им ответила? Глядя в глаза! «Я люблю ходить в ведро, заносить над ним бедро...» И вся вербовка! И когда в партию ее загоняли в шестьдесят восьмом, она снова сказала им: нет! «Да почему же нет, Зоя Сергеевна? Что же, в конце концов, для вас дороже — Родина или семья?» А она им, ни секунды не размышляя: «Да конечно же, семья». И все. А вот вы, Олег Кузьмич, в партию рвались, как в винный магазин, извините за выражение.

КИРСАНОВ *(грозно)*. Сергей!

СЕРГЕЙ. Папа, я же извинился. И я вообще ничего плохого сказать не хочу. Ни про кого. Я только одно вам объясняю: выбор свой люди делают до повестки, а не после.

КИРСАНОВ. Это я, спасибо, понял. Откуда только ты все это про нас знаешь, вот чего я не понял.

СЕРГЕЙ. Знаю. Мы вообще много о вас знаем. Может быть, даже все. Мы же всю жизнь ходим среди вас, слышим вас, наблюдаем вас, хватаем ваши подзатыльники и поэтому знаем все. Про ваши ссоры, про ваши тайны, про ваши болезни...

АРТУР. Про ваши развлечения...

СЕРГЕЙ. Про ваши неудачи, про ваши глупости...

АРТУР. Про ваши аборты...

СЕРГЕЙ. Мы только стараемся все это не брать в голову, не запоминать, но оно само собой запоминается, лучше любого школьного урока, хоть сейчас вызывай к доске...

ПИНСКИЙ *(вкрадчиво)*. Я так понимаю, что минута добра благополучно истекла...

СЕРГЕЙ. Дядя Шура Пинский, я ведь извинился... Артур, пойдем отсюда. Я же говорил тебе, что все кончится скандалом...

КИРСАНОВ. Да сиди уж ты... жалостливый. Не будет тебе никакого скандала. Не до скандалов нам сейчас.

БАЗАРИН (*отдуваясь*). Да уж, какие тут могут быть скандалы... Я только хотел напомнить молодым людям, что прийти за ними могут и без всяких повесток.

ПИНСКИЙ. Представляете, открывается вот эта дверь, и входят трое в штатском...

АРТУР *(мотает головой)*. Нет. Не входят.

ПИНСКИЙ. Почему же это?

Вместо ответа Артур молниеносным движением выхватывает из-за спины большой никелированный револьвер и становится в классическую позу: широко расставленные, согнутые в коленях ноги, обе руки, сжимающие револьвер, вытянуты вперед и направлены в зрительный зал. «Пух, пух, пух», — произносит он, поворачиваясь корпусом слева направо и посылая воображаемые пули веером. Потом тем же неуловимым движением забрасывает револьвер за спину и выпрямляется.

АРТУР. Вот почему. Зачем, спрашивается, им с нами

Павел Симонов

Очевидно, на каком-то этапе эволюции появилось правило: «Если сам не понимаешь, что и как, — делай, как все». Представьте: дан сигнал опасности кем-то из членов стада. И вот какой-то высокоинтеллектуальный и критически мыслящий олененок начинает рассуждать: а реальна ли опасность? Пока он будет так анализировать, охотящиеся волки его скушают... Природа научила: если сам не понимаешь, делай как все. Все побежали — беги Естественный отбор показал, что если выигрыш достаточно велик, то с проигрышем можно не считаться.

связываться? Мы опасны. С нас гораздо спокойнее взять деньгами.

БАЗАРИН *(ошеломленно)*. Позвольте, откуда у вас оружие?

АРТУР *(широко улыбаясь)*. Из республики Замбия. Папа прислал.

ПИНСКИЙ *(настороженно)*. Настойщий?

АРТУР. Нет, конечно. Пугач.

ПИНСКИЙ *(многозначительно)*. Гм... Ну, естественно... Рэкетиров отпугивать... да и вообще...

СЕРГЕЙ *(с чувством)*. Дядя Шура Пинский! Я вас люблю.

ПИНСКИЙ. Да. Я тебя тоже люблю. Лоботряс.

СЕРГЕЙ. Я вас всех люблю. Я даже Саньку нашего, полупротухшего, тоже люблю. Не ходите вы никуда утром. Повестки эти свои порвите, телефон выключите, дверь заприте... Мы с Артуром сейчас вам замок наконец починим. И ложитесь все спать. Не поддавайтесь вы, не давайте вы себя сломать!

КИРСАНОВ *(горько)*. Ах, какие вы у нас смелые, какие несломленные! И ничего-то вы не понимаете! Ведь это сейчас они не нас ломают, нас они сломали давным-давно, еще поколение назад. Сейчас они вас ломают! Это ведь они не нам повестки прислали — они вам повестки прислали, чтобы вы на всю жизнь запомнили, кто в этом мире хозяин...

Он замолкает. Слышны тяжелые удары в дверь.

СЕРГЕЙ. Спокуха! Говорить буду я. Артур, встань тут в тенечек.

В дверях возникает знакомая фигура — давешний рослый человек в блестящем мокром плаще.

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК (*зычно*). Гражданин Кирсанов?

Кирсанов поднимается, издает горлом сдавленный жалкий писк.

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Станислав Александрович?

КИРСАНОВ *(справившись наконец с голосом)*. В чем дело?! Кажется, наше время еще не вышло!

И тут Сергей подхватывает Черного Человека под локоток и ловко выводит его на авансцену.

СЕРГЕЙ. Старик. Давай по-доброму. Что мы, не люди? Давай спокойненько договоримся...

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК *(обычным голосом)*. Чего договоримся? Насчет чего?

СЕРГЕЙ. Спокуха! Все будет нормалек. Ты нас не видел, мы тебя не видели. Дверь заперта, хозяев нет, уехали... Два стольника. И все тихо.

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК. А! Нет. Не получится.

СЕРГЕЙ. Ну почему не получится? Тихо, мирно, по-доброму... Ну, три стольника — пойдет?

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Нет. Не хочу. Брось.

СЕРГЕЙ. Три стольника за минуту молчания. Соображаешь, нет?

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК *(пытаясь освободиться)*. Пусти. Я же тебе сказал: нет!

СЕРГЕЙ *(уже другим голосом — злым и напряженным)*. Четыре!

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Нет.

СЕРГЕЙ. Четыре стольника, козел!

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Пусти! Я же тебе сказал — нет!

Сергей отпускает его, отшатывается и, как бы падая, вдруг выбрасывает ногу, сделавшуюся невероятно длинной и прямой. Тяжелый ботинок попадает Черному Человеку прямо в голову. Кейс вылетает у него из-под мышки и кувырком катится по полу, извергая кипы белых листов. Черный Человек с трудом удерживает равновесие, фонарь вдруг вспыхивает у него во лбу, и он становится похож на неуклюжего испорченного робота. И тут из тьмы вылетает Артур, и они вдвоем с Сергеем, издавая устрашающие кошачьи вопли, складываясь и раздвигаясь, как огромные циркули, принимаются избивать Черного Человека ногами. Это длится всего несколько секунд. Слышны только кошачьи вопли и ёкающие плотные удары. Потом Зоя Сергеевна кричит страшно, отчаянно, как будто бьют ее самое.

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Перестаньте! Прекратите! Не смейте!

Черный Человек мокрой блестящей точкой валяется на полу среди разбросанных листков, Артур и Сергей нависают над ним, еще напружиненные, еще готовые бить и убивать. Зоя Сергеевна подбегает к ним и хлещет по физиономии — сначала одного, затем другого.

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Звери! Зверье! *(Падает на колени возле избитого, кричит.)* Свет! Свет мне дайте!

И в тот же миг вспыхивает электрический свет. Все остолбенело стоят, ошеломленные, подслеповато моргающие. Пол сплошь усеян белыми листочками, высыпавшимися из распахнувшегося кейса.

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА. Сергей! Неси аптечку из ванной! Саня! Воду мне сюда холодную! Таз!..

Она поднимает избитому голову, кладет к себе на колени.

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК *(жалобно и хрипло бормочет сквозь стоны)*. За что? Ну за что? Что я тебе сделал? За что?..

Базарин опускается на корточки и принимается торопливо собирать рассыпанные листки, складывает их в пачку, старательно подравнивает дрожащими пальцами, потом читает один листок, садится на пятки, читает другой...

БАЗАРИН. Слушайте! Они же все отменили! *(Падает на четвереньки, ползает, ища что-то, наконец находит и садится задом на пол. Читает срывающимся голосом.)* «Базарину... Олегу Кузьмичу... Во изменение нашего предыдущего распоряжения... предписание вам прибыть... отменяется...» Отменяется! «Впредь до специального распоряжения. Председатель-комендант...» *(Трясет перед собой пачкой мятых листков.)* Всем отменяется! Станислав! Александр Рувимович! И вам тоже отменяется!..

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК *(стонет)*. За что? Ой, больно... Осторожнее!..

БАЗАРИН *(поднявшись на ноги и потрясая листками)*. Ведь я же говорил! Невозможно это! Я же сразу вам сказал! Невозможно это! Невозможно это! Невозможно!..

Начинает звонить телефон, и звонит долго, но все стоят в полном остолбенении, и никто не берет трубку.

Конец

7 апреля 1990 года. Москва

1

Если верно, что «у природы нет плохой погоды, всякая погода — благодать», то это вдвойне верно для человека, у которого есть зонтик

2

3

О.Л.Д'ОР

О. Л. Д'ОР — псевдоним Иосифа Львовича ОРШЕРА (1878—1942), русского писателя-юмориста. Сотрудничал в известнейших дореволюционных журналах, выпустил несколько сборников рассказов и фельетонов.

Два рассказа и пародия

Анархист

Бомбист-коммунист товарищ Алексей, а по паспорту Иван Кныш, грустный подошел к столу. Было серенькое петербургское утро.

Солнцу, по-видимому, было очень скучно, и оно скупо, как-то нехотя, освещало грязную мокрую землю.

В комнату товарища Алексея оно совсем забыло послать свой свет, и черные облупившиеся стены стояли мрачные, точно нахмурившись.

И тогда несколько лучей невзначай ударялись в маленькое оконце крохотной комнатки и моментально скрывались, как бы испугавшись беспорядка, царившего в комнатке, и угрюмого вида ее хозяина.

Товарищ Алексей, он же Иван Кныш, сел к столу, обвел взором его поверхность, и еще сумрачнее стало его лицо.

На столе кипел самовар, извергая из себя облака пара.

Чайник весело смотрел своим длинным, слегка поврежденным носом прямо в лицо хозяина.

Стакан, мучимый жаждой, нетерпеливо звенел при каждом движении товарища Алексея, напоминая о том, что пора напоить его чаем. Но не было на столе того, что так веселит глаз и желудок за чаем, что каждое утро заставляет благодарить судьбу за то, что она создала свинью и немца. Словом, не было колбасы.

Глубокий вздох вырвался из наболевшей души товарища Алексея.

Дрожащей рукой он взял стакан и, скрепя сердце, поднес его к крану.

И вдруг... Вдруг его взгляд упал на жестянку из-под килек, валявшуюся на столе.

«Короткая, сумасшедшая мысль», как пишут теперь, ударила ему в голову. Он воскликнул:

— Эврика!

Товарищ Алексей поднял жестянку, завернул ее в бумагу и вышел из комнаты.

На улице он остановился, посмотрел на вывески и стал читать их. Возле одной из них он облизнулся. На этой вывеске аршинными буквами было написано:

«Кол-басы, витчины и другие протчие съестные припасы».

Он медленно перешел улицу, вошел в колбасную и, подняв жестянку, неожиданно крикнул:

— Руки вверх!!

В колбасной было много народу.

Хозяин, здоровый, коренастый мужчина, и таких же здоровых три приказчика стояли за стойкой.

Красная, пухлая, рослая, сытая хозяйская дочь сидела у кассы.

Покупателей было — несколько мужчин, две горничных и одна дама с собачкой.

Но все моментально подняли вверх руки.

Даже собачка перекувырнулась и подняла вверх лапы.

Товарищ Алексей крикнул:

— Жизнь или полфунта колбасы.

В одну минуту хозяин, три приказчика и хозяйская дочь бросились отвешивать колбасу.

Вскоре пять свертков очутились в руке товарища Алексея.

— Теперь десять минут ни с места, — приказал товарищ Алексей, выходя из колбасной.

Когда прошло десять минут, хозяин первый прервал молчание.

— А ведь я его обманул, — сказал он с радостью. — Вместо полфунта целый фунт ему отвесил.

Мужчины подняли крик. Горничные завизжали. Собачка залаяла.

А товарищ Алексей сидел в это время у себя в комнате, пил чай с колбасой и с радостью думал:

«Как хорошо жить в стране, где еще существуют бесплатная колбаса и трусы».

В два часа товарищ Алексей почувствовал голод.

— Что ж, надо действовать! — подумал он, завертывая в бумагу жестянку из-под килек.

Он вышел на улицу, крикнул извозчика и бросил ему, садясь в экипаж:

— К Палкину!

Извозчик покатил.

Спустя четверть часа он остановился у подъезда шикарного ресторана.

Товарищ Алексей приказал извозчику ждать и медленно поднялся по лестнице.

Войдя в зал, он остановился у дверей и, подняв вверх «бомбу», скомандовал:

— Руки вверх!

Все послушно подняли руки вверх.

Все — официанты, посетители, швейцар, метрдотель.

Даже дворники экстренно прибежали в зал и подняли вверх руки.

Товарищ Алексей одному из лакеев приказал опустить руки и прислуживать ему при обеде.

Ел он медленно, наслаждаясь каждым куском дичи, каждым глотком вина.

Насытившись и наполнив карманы

Печатается по изданию: О. Л. Д'Ор. — Рыбьи пляски. СПб., 1911.

фруктами, он милостиво улыбнулся гостям и вышел, приказав:

— Десять минут ни с места!.. Или...

Он не кончил фразы и только молча указал на жестянку из-под килек, завернутую в бумагу.

В 7 часов вечера товарищ Алексей весело гулял по Невскому и думал:

«Как много хорошеньких женщин в Петербурге».

И ему захотелось теплой женской ласки; захотелось любви и счастья.

Он нежно прижал к своей груди жестянку из-под килек, решив:

«Была не была! Возьму счастье и любовь за шиворот».

В это время мимо него прошла молодая парочка — высокая хорошенькая брюнетка и молодой человек в форменной фуражке.

Они шли под руку, тесно прижавшись друг к другу, и о чем-то нежно ворковали.

Недолго думая, товарищ Алексей загородил дорогу молодой парочке, выхватил свою «бомбу» и крикнул:

— Руки вверх!

Вся публика на Невском от Адмиралтейского шпиля до Николаевского вокзала подняла руки вверх и застыла в этой позе.

— Любовь или жизнь! — послышался грозный голос товарища Алексея.

Брюнетка со вздохом повисла на руке его, и они медленно пошли вперед.

Сзади грустно шествовал молодой человек в форменной фуражке.

Голова его была опущена вниз.

Но руки все время оставались поднятыми вверх.

Министр путешествует

Очень заинтересовало министра сельское хозяйство.

— Это очень интересно! — сказал министр сопровождавшему его директору департамента земледелия. — Посреди поля хутор. Посреди хутора мужик, а посреди мужика любовь к отечеству. Очень интересно. Не правда ли?

Директор департамента согласился, что правда.

В одном из хуторов министру понравился хуторянин, и он повел с ним беседу о хозяйстве.

— Картофель уже скосили? — спросил министр.

— Никак нет, ваше высокопревосходительство! — почтительно ответил хуторянин. — Его косить нельзя.

— Почему нельзя? Урожай был плохой?

— Никак нет. Картофель не косят, а копают.

Министр был искренне удивлен.

— Неужели картофель не косят? — обратился он к директору департамента.

— Нет, не косят. Копают.

— И даже за границей копают?

— За границей...

Директор департамента задумался.

— За границей картофель снимают, так как он там растет на деревьях. Оттого-то и называется он там pomme de terre, то есть яблоко. Ведь яблоки тоже растут на деревьях.

— Это я видел, — сказал министр.

Он снова обратился к хуторянину:

— Как в этом году у вас хлеба?

— Слава Богу, урожай хороший.

— И хлеб вкусный?

— Ничего. Мы, ваше высокопревосходительство, не избалованы.

— Покажите мне ваш хлеб.

Хуторянин вынес большой круглый хлеб. Министр взял его в руки и воскликнул:

— Ого, фунтов десять будет! Большой в этом году вырос.

Хуторянин переглянулся с женой. Министр продолжал спрашивать:

— Скажите, добрый мужичок, солома ведь тонкая?

— Тонкая.

— Как же одна соломинка может выдержать такую махину?

Директор департамента земледелия заметил смущение мужика и поспешил на помощь.

— Они вырастают маленькими, — сказал он министру. — В каждом хлебе, когда его снимают с соломинки, не больше фунта. Потом его сажают в печь, где он и увеличивается в десять-двенадцать раз.

— Отчего же хлеб увеличивается в печи?

— От тепла, ваше выспр-во. Сами знаете закон физики, что от тепла каждый предмет увеличивается.

— Ах да, я и забыл.

Нечто четвероногое, покрытое густой шерстью, замотало рогатой головой, затрясло бородой и прыгнуло через забор.

— Какая славная коровка! — похвалил министр. — Много молока дает?

— Ничего не дает! — ответил хуторянин. — Какое тут молоко, когда...

— Плохо кормите! — сурово перебил министр.

— Никак нет, хорошо кормим, да только...

— Это не корова, а овца! — тихо шепнул директор департамента.

— Рассказывайте...

Министр строго посмотрел на директора департамента.

— Как же вы говорите — овца, когда оно с бородой. Где вы видели, чтобы овца была с бородой?

Директор департамента снисходительно улыбнулся и сказал:

— Все овцы с бородами. Только они их бреют... А тут хутор. Где парикмахерскую возьмешь?

— А откуда же к овце рога?

— В самом деле...

Директор департамента смутился.

— В самом деле, странная овца...

Министр в эту минуту снова обратился к хуторянину:

— Так почему, вы говорите, молока не дает?

— Потому что это козел! —выпалил хуторянин.

Сановники смущенно покраснели.

— А... а козлы никоим образом молока не дают? — спросил директор департамента.

— Никоим образом. Как его, подлого, ни корми, ни одной капли молока не даст. Уж такое подлое животное.

Сановники сочувственно кивали головами.

— Вы бы пчел завели! — посоветовал директор департамента.

— Да, да, это идея! — подхватил министр. — Почему пчел не заводите? Пчелы будут мед класть...

— Как мед класть?

— Вот так, как обыкновенно кладут. Неужели не знаете? Курица кладет яйца; пчелы кладут мед...

— Хорошо, заведу! — покорно согласился хуторянин.

— Чудесно. Обязательно заводите. Накладут меду, вы и тащите в Питер. Там, брат, с руками оторвут.

— Обязательно повезу в Питер.

— А почему бы вам не посадить несколько артишоковых деревьев?

— Каких деревьев?

— Артишоковых. Неужели не знаете? Артишоки. В хорошем ресторане до двух рублей порция стоит. Одно дерево может дать больше тысячи рублей в год.

Хуторянин как ошалелый переводил глаза с одного сановника на другого.

— А персики! — продолжал министр. — За границей огородники на этом овоще тысячи загребают. Земли у вас порядочно. Что вам стоит отве-

сти кусок земли под парничок и приняться за культуру персиков?

— Вся беда в том, что наш крестьянин на подъем тяжел, — вздохнул директор департамента. — В другой стране при таком министре земледелия земля превратилась бы в рай. А у нас...

— И у нас дело пойдет на лад! — уверенно вырвалось у министра. — Нужно только отдаться мужичку, учить его.

И он снова обратился к хуторянину:

— Капусту сеяли?

— Садил!

— А урожай был какой? Думаю, что не меньше сам-семь!

Хуторянин молчал. Молчание было принято за знак согласия.

Перед отъездом министр спросил хуторянина:

— Покажите, где тут у вас обух?

— Обух?! Зачем, ваше высокопревосходительство?

Министр рассмеялся.

— Чудак вы, мужичок. Хочу посмотреть, на чем рожь молотите?

— Значит, овин показать?

— Господи, какой вы бестолковый! При чем тут овин? Неужели не знаете, что на обухе молотят? Даже пословица такая есть: «На обухе рожь молотить». Скорее покажите обух.

Хуторянин ткнул пальцем в овин и покорно сказал:

— Вот он обух, ваше высокопревосходительство.

— Здесь и молотите?

— Здесь, ваше высокопревосходительство.

— Славный у вас обух! — похвалил министр.

Министр, как сообщили потом газеты, остался очень доволен хуторянами. Остались ли хуторяне довольны министром, из газет еще до сих пор неизвестно...

Максим ГОРЬКИЙ

Городок Окуров

I

Среди равнинишки, на перекрестке трех дорожишек, стоит неизвестно зачем городишко Окуров.

Речишка Путаница делит городишко на две равные частишки: Шихан, где живут лучшие люди страны — воришки, плутишки и буянишки, и Заречье, где ютятся низкие мещанишки с отвратительными лузишками.

В одной из двух равных частишек, а именно на Шихане, числится жителишек шесть тысяч.

Во второй из равных частишек, в Заречье, жителишек — семьсот.

Мещанишки жили подло. Торговали. Ездили на ярмарки. Жены их и дочери вязали, шили и вышивали и посылали свою работу даже к Макарию на ярмарку.

Воришки, плутишки и буянишки жили, как рыцари. Нападали открыто на проезжающих мужиков и брали свою добычу с боя. Отнятые у мужиков товары буянишки пропивали.

К Макарию они ничего не посылали, но часто их самих посылали туда, куда Макар телят не гонял.

Любили петь, ибо у всех были возвышенные души.

Поэтишка Сима Девушкин однажды изобразил строй души своих компатриотишек такими стихами.

На небе болото,
На земле мокрота.
Господи, помилуй!
На владыке — митра.

Предвещая революцишку, пели кочета.

II

И однажды оно пришло...

На горышке, внизу которой была долинишка, стояло Фелицатино «Раишко».

Жили в нем три девицы — Людка, Розка и Пашка. К девицам ездили «гости», а когда последние начинали скандалить, их приходил усмирять Четыхер, квадратный мужик, покрытый шерстью, как горилла.

Силища у Четыхера была огромная. Он самого себя клал в полчаса на обе лопатки.

Усмирял он «гостей» так: сгребет всех в охапку, занесет к себе в сторожку, свяжет и отпустит на все четыре стороны.

Вот однажды проснулся утром Четыхер, протер глаза и с недоумением сказал:

— Чтой-то сегодня не принесли газет и журналов. Уж не могу без них...

Он встал и вышел. Навстречу ему несся гул радостных голосов:

— Забастовка! Забастовало все!

Действительно, все забастовало. Сначала забастовала почта, потом телеграф, телефон и граммофон...

Четыхер пошел на базарную площадь. У калитки преградила ему путь Пашка:

— Не ходи! — заплакала она. — Тебя там тоже забастуют.

Но Четыхер толкнул ее кулачищем в грудь. Пашка страданула и сиганула во двор. Четыхер шаганул к базарной площади.

Кочета пели, предвещая парламентишку.

III

А на площади все уже было, как следует.

Люди гордо кричали разные слова, которых из-за шума никто не слышал.

— Братцы! — кричал статистик.

Это был человек честный и горбатый. Теперь он стоял на столе, стройный, как тополь, и кричал:

— Братцы!

— Правильно! Правильно! — сочувственно кричали в толпе. — Что горбатый, что негорбатый — все братцы.

Статистик еще что-то выкрикивал, но его голос заглушал стоявший рядом с ним другой оратор, Бурмистров.

— Товарищи! — кричал Бурмистров.

— Правильно, что товарищи! — поддерживала его толпа.

— Товарищи! — кричал еще громче Бурмистров.

Но то, что он говорил дальше, не было слышно, так как голос Бурмистрова заглушался голосом третьего оратора, стоявшего впереди его.

Третий оратор кричал:

— Господа!

— Правильно! Правильно! — одобряла его толпа. — Теперь все господа.

Оратор надрывался:

— Господа-а-а!

Но дальше ничего нельзя было разобрать, ибо голос третьего оратора заглушался криком четвертого оратора.

Безногий и безрукий бондарь, кузнец и ювелир Тиунов перебегал от одной кучки народа к другой и говорил:

— Граждане! Граждане!

— Это правильно, что граждане! — слышалось в толпе. — Хоть и бондарь, а правильно говорит.

Кочета пели, предвещая свободишку.

IV

Вдруг все ораторы вместе закричали:

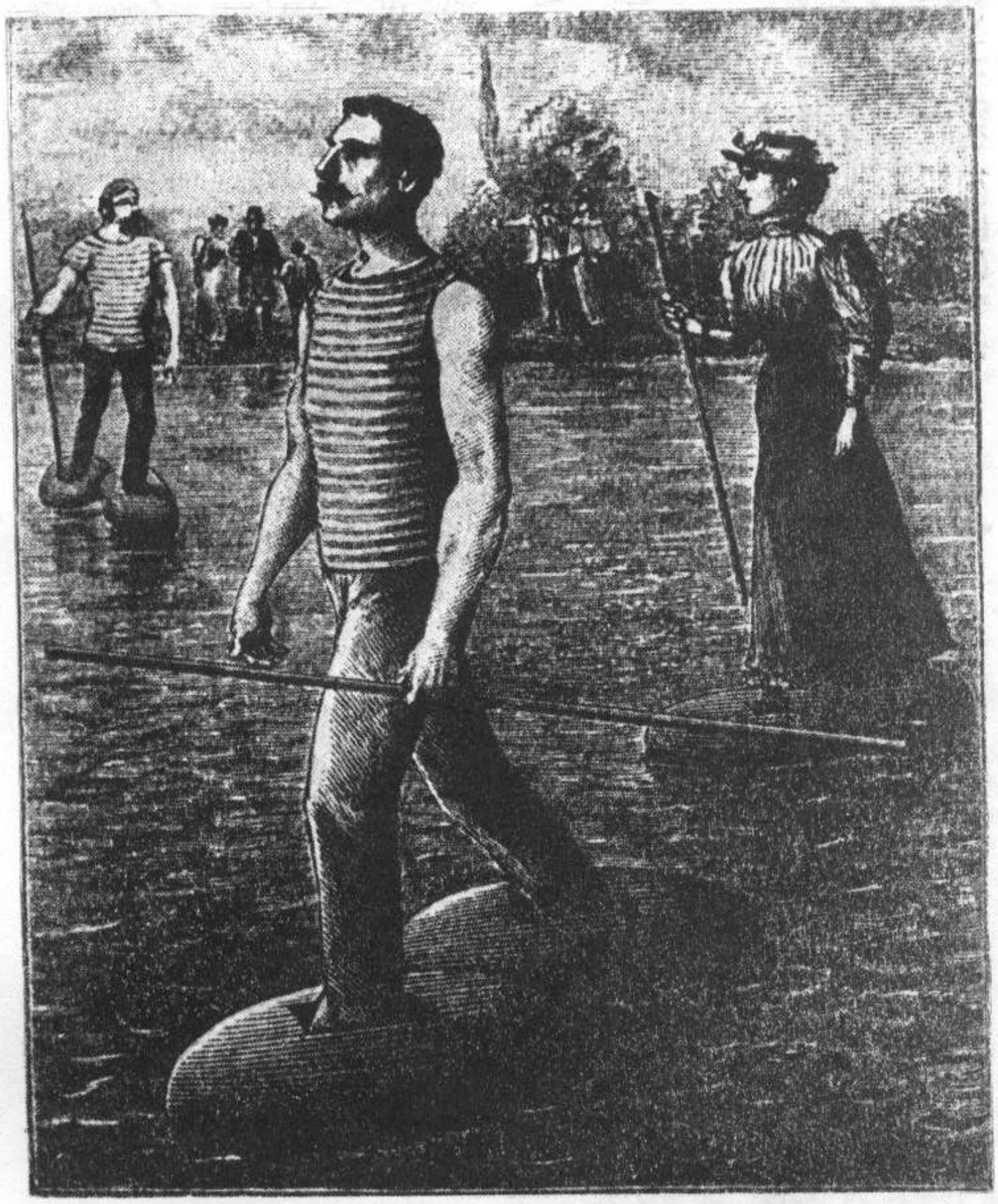
— Солдаты!

Из-за угла появился золотушный надзиратель Хипа Вопияльский с двумя солдатами.

Толпа не хотела разойтись, а разбежалась.

Пели кочета, предвещая реакцишку...

1



2

Потомки семимильных сапог

3

4

Аркадий АВЕРЧЕНКО

Аркадий Тимофеевич АВЕРЧЕНКО (1881—1925), русский юморист, умер в эмиграции. До 1917 года был редактором журналов «Сатирикон», затем «Новый Сатирикон». Автор нескольких пьес и множества рассказов, смешных и беспощадных; полвека назад еще был в ходу оборот «аверченковский юмор».

Было дело /в 1962 году/

Зима этого года была особенно суровая.

Крестьяне сидели дома, никому не хотелось высовывать носа на улицу. Дети перестали ходить в училище, а бабы совершали самые краткие рейсы: через улицу в гастрономический магазин или на электрическую станцию, с претензией и жалобой на вечную неисправность электрических проводов.

Дед Пантелей разлегся на теплой лежанке и, щуря старые глаза от электрической лампочки, поглядывал на сбившихся у его ног малышей.

— Ну, что же вам рассказать, мезанфанчики? Что хотите слушать, пострелята?

— Старое что-нибудь, — попросила бойкая Аксюшка.

— Да что старое-то?

— Про губернаторов.

— Про гу-бер-на-торов... — протянул добродушно-иронически старик. — И чевой-то вы их так полюбили? Вчера про губернатора, сегодня про губернатора...

— Чудно больно, — сказал Ванька, шмыгая носом.

— Ваня, — заметила мать, сидевшая на лавке с книгой в руках. — Это еще что за безобразие? Носового платка нет, что ли?! Твой нос действует мне на нервы.

— Так про губернаторов, — прищурился дед Пантелей. — Правду рассказывать?

— Не тяни, дед, — сказала бойкая Аксюшка, — ты уже впадаешь в старческую болтливость, в маразм, и испытываешь наше терпение.

— И что это за культурная девчонка, — захохотал дед. — Ну, слушайте, леди и джентльмены... «Это было давно... Я не помню, когда это было... Может быть, никогда...» — как сказал поэт. Итак, начнем с вятского губернатора Камышанского. Представьте себе, детки, что однажды он издает обязательное постановление такого рода: «Виновные в печатании, в хранении и распространении сочинений тенденциозного содержания подвергаются штрафу, с заменой тюремным заключением до трех месяцев».

Ванькина мать Агафья подняла от книги голову и прислушалась.

— Позволь, отец, — заметила она, — но ведь тенденциозное сочинение не есть преступление. И Толстой был тенденциозен, и Достоевский в своем «Дневнике писателя»... Неужели же...

— Вот поди ж ты, — засмеялся дед, — и другие ему то же самое говорили. Да что поделаешь, — чрезвычайное положение. А ведь законник был, кандидат в министры. Ум имел государственный.

Дед помолчал, пожевывая провалившимися губами.

— А то херсонский был губернатор. Уж я и фамилию его забыл. Бантыш, что ли... Так тот однажды оштрафовал газеты за телеграмму Петербургского телеграфного агентства из Англии, с речью какого-то английского деятеля. Что смеху было!

— Путаешь ты что-то, старый, — сказал Ванюшка. — Петербургское агентство ведь официальное. Заврался наш дед.

— Ваня! — укоризненно заметила Агафья.

Дед снисходительно усмехнулся.

— Ничего, то ли еще было. Как вспомнишь, и смех, и грех. Владивостокский губернатор закрыл корейскую газету со статьей об Японии. Симферопольский вице-губернатор Масальский оштрафовал «Таврича-нина» за перепечатки из «Нового Времени»... Такой был славный, тактичный. Он же гимназистов на улице ловил, которые ему фуражек не снимали. И арестовывал их. Те, бывало, клопики маленькие, плачут: «За что, дяденька?» — «А за то, что начальства не почитаете и меня на улице не узнаете». — «Да мы с вами незнакомы». — «А-а, незнакомы, посидите в каталажке, будете знакомы». Веселый был человек.

Дед опустил голову и задумался. Лицо его осветилось тихой задушевной улыбкой.

— Муратова тамбовского тоже помню... Приглашали его однажды на официальный деловой обед. «Приеду, — говорит, — если только евреев за столом не будет». — «Один будет, — говорят, — директор банка». — «Значит, я не буду». Такой был жизнерадостный...

Телефонный звонок перебил его рассказ. Аксюшка подскочила к телефону и затараторила:

Печатается по изданию: Аркадий Аверченко. — Круги по воде. М.—Л., 1928.

Сёрен Кьеркегор

Я предпочитаю разговаривать с детьми: есть по крайней мере надежда, что из них выйдут разумные существа, тогда как те, которые считают себя таковыми... увы!

— Алло, кто говорит? Дядя Митяй? Отца нет. Он на собрании общества деятелей садовой культуры. Что? Какую книжку? Мопассана. «Бель ами»? Хорошо, я спрошу у мамы, — если есть, она пришлет.

Аксюшка отошла от телефона и припала к дедовскому плечу.

— Еще, дедушка, что-нибудь о губернаторах.

Дед рассмеялся.

— Нравится? Как это говорится: «Не даром многих лет свидетелем господь меня поставил»... Толмачева одесского тоже помню. Благороднейший человек был, порывистый. Научнейшая натура. Когда изобрели препарат «606», он и им заинтересовался. «Кто, — спрашивает, — изобрел?» — «Эрлих». — «Жид? Да не допущу же я, — говорит, — чтобы у меня в Одессе делались опыты с жидовским препаратом. Да не бывать же этому. Да не опозорю же я города своего родного этим шарлатанством». Очень отзывчивый был человек, крепкий.

Дед оживился.

— Думбадзе тоже помню. Тот был задумчивый.

— Как, дед, задумчивый?

— Задумается-задумается — и скажет: «Есть у нас среди солдат евреи?» — «Есть». — «Выслать их». Купальщиц высылал, которые без костюмов купались; купальщиков, которые подглядывали. И всех по этапу, по этапу. Вкус большой к этапам имел... А раз, помню, ушел он из Ялты. Оделся в английский костюм и поехал по России. А журналу «Сатирикон» стало жаль его, что вот, мол, был человек старый при деле, а теперь без дела. Написали статью, пожалели. А он возьми и вернись в Ялту, когда журнал там получился. И что же вы думаете, детки: стали городовые по его приказу за газетчиками бегать, «Сатириконы» отбирать и рвать на клочки. Распорядительный был человек. Стойкий.

И долго еще раздавался монотонный, добродушный дедушкин голос. И долго слушали его притихшие, изумленные дети. А за окном выла упорная сельская метель, слышались звуки автомобильных сирен и однотонное гудение дуговых фонарей на большой, занесенной снегом дороге.

Михаил УСПЕНСКИЙ

Михаил УСПЕНСКИЙ (1950), журналист, живет и работает в Красноярске. Пишет давно, публиковать его рассказы начали («Литературная газета», «Огонек», «Смена» и другие), понятно, только в последние годы. Вышли две книги — «Дурной глаз» (Красноярск, 1988) и «Из записок Семена Корябеды» (Москва, библиотека «Огонька», 1990). Недавно принят в Союз писателей.

Бедные люди

рассказ бабушки XXI века

Родилась я, внучки, в бедной семье. Не самой, правда, бедной, но достатка в доме не было, житьишко совсем худое против теперешнего. Поверите ли, нет — у нас с сестренкой, когда в школу пошли, одни золотые сережки с малюсеньким бриллиантиком на двоих были. День я ношу, день она. Только в третьем классе каждой отдельные купили, нас перестали «лимитой» дразнить.

Словом, хлебнули мы лишенька по самую маковку. Зима, мороз под сорок. Ровесниц наших на служебных машинах в школу везут, на черных; а мы в такси позоримся. Вот, ребяточки, в каком горниле сталь-то наша закалялась.

В школе сидишь — жевать хочется, спасу нет. А пожевать-то и нечего. Вот и ходим гужом за подружками: оставь да оставь. Которая жалостливая — оставит. А мы потом еще друг перед дружкой хвастаемся — мне, мол, клубничная попалась, а мне, мол, вообще японская. Неделю, две жуешь эту резинку, не то что вы: помусолите да выплюнете.

И в школе-то пришлось все своим умом постигать, репетиторы дороги были. А вас во сне обучают, а вы еще храпите дак.

Одежонка была — срам один. Джинсовый костюм, бывало, по полгода носили.

Квартирка малюсенькая, на шестидесяти квадратах четвером толклись, на головах друг у друга сидели. Стеночка шведская, ковров с десяток, сервизик под старину на 24 персоны — от стыда папенька с маменькой и гостей-то не приглашали.

А ездили-то на чем — и смех, и грех: «Жигули». В экспортном исполнении, правда, а все не «Вольво». Теперь на таких инвалиды одни ездят. И вот едем на дачу, а нас даже «Волги» как хотят обходят. Нам обидно, плачем. Папенька у нас отчаянный был, видит, что мы огорчаемся, да как обгонит «Запорожца»! Мы, глядишь, повеселеем.

Телевизора два, а программы четыре. Ругаемся, что смотреть, ревем в два голоса, а маменька нас утешает: «Терпите, родимые, что делать — вы простого доктора наук дочки».

Так что вы, детки, на судьбу не обижайтесь, грех. А уж коли прижмет когда — ну, там во ВГИК с первого захода не поступите или на премьеру в «Ла Скала» не попадете, — так вспомните, как мы-то бедовали, вам и полегче станет.

А еще я музыку страсть как любила слушать. Слушать, правда, было не на чем: так, отечественный стереокомбайн скрипел потихоньку. У других-то диски зарубежные, а я, бедненькая, помню, три часа за альбомом Пугачевой протолкалась, и все равно не досталось.

Как это вы Пугачеву не знаете? Вы что, в школе «Капитанскую дочку» не проходили?

Шамфор

Национальное собрание 1789 года дало французскому народу конституцию, до которой он еще не дорос. Оно должно немедля поднять его до этой конституции, учредив разумную систему народного просвещения.

Законодателям надлежит уподобиться искусному врачу: пользуя истощенного больного, такой врач дает ему сперва лекарства, чтобы лучше варил желудок, а потом уже укрепляющий бульон.

1

2

3

4

5

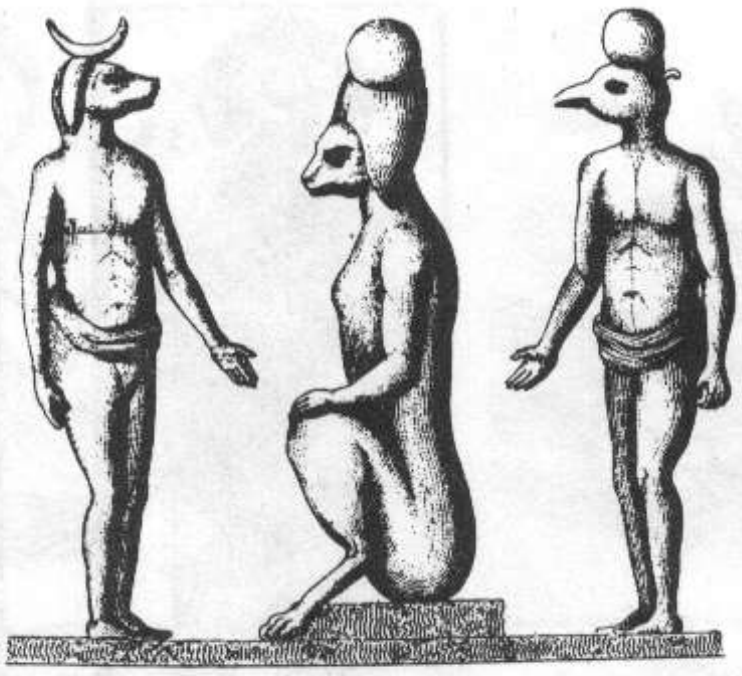
10

11

12

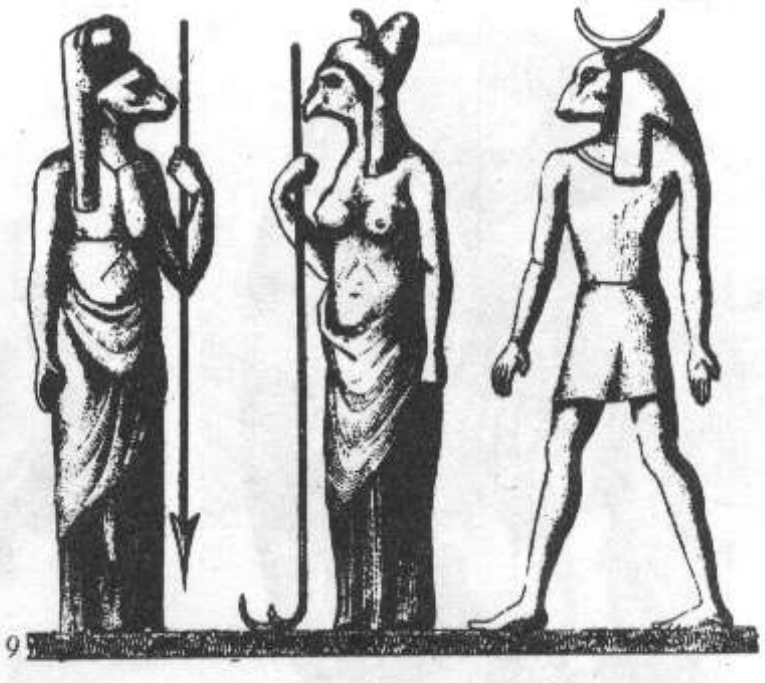
14

6



7

8



9

13

15

16

17

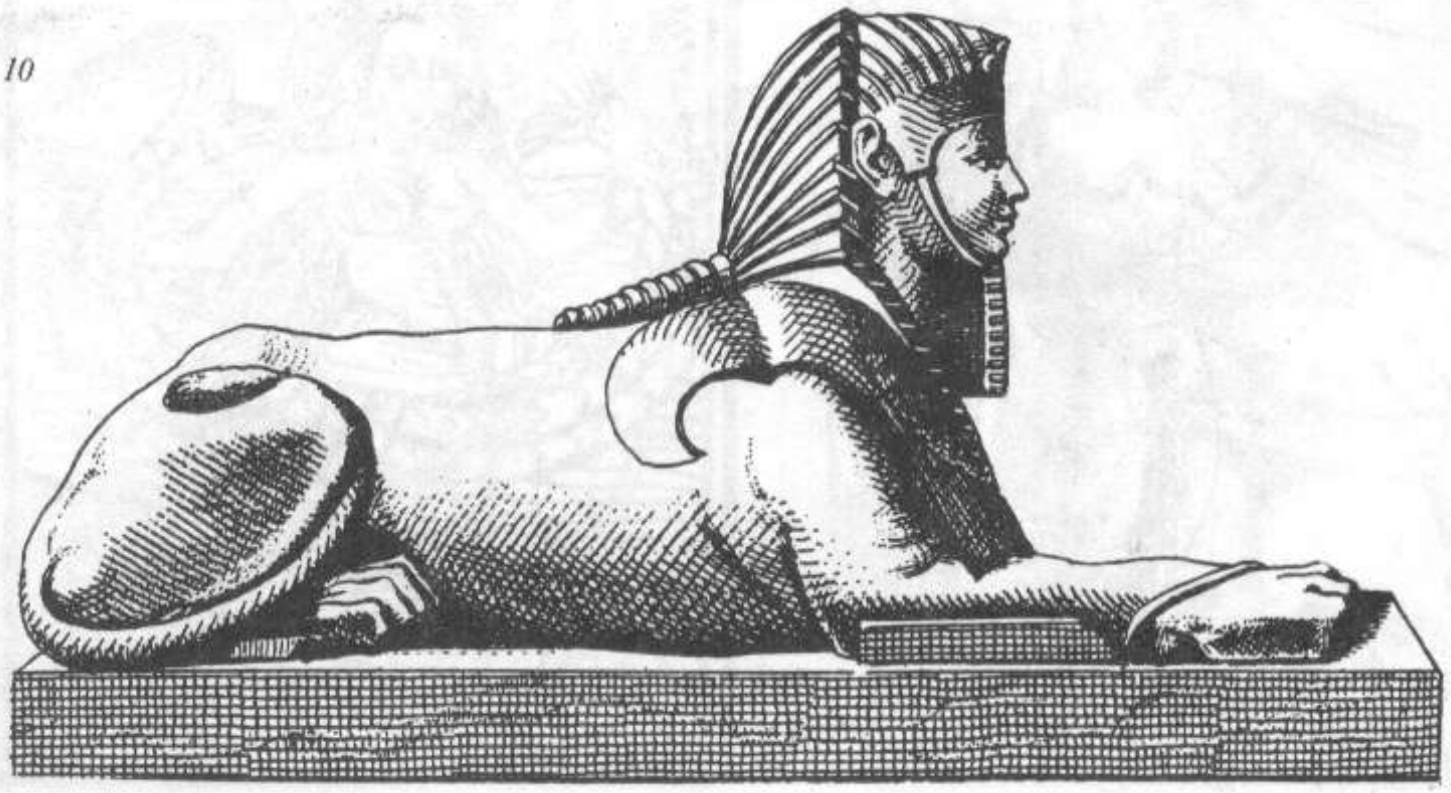
1

2

3

7

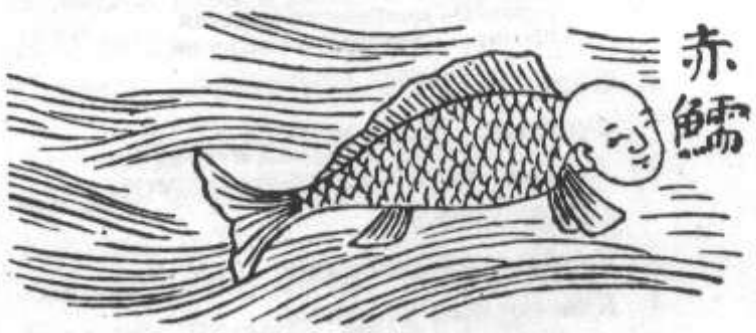
10



11

4

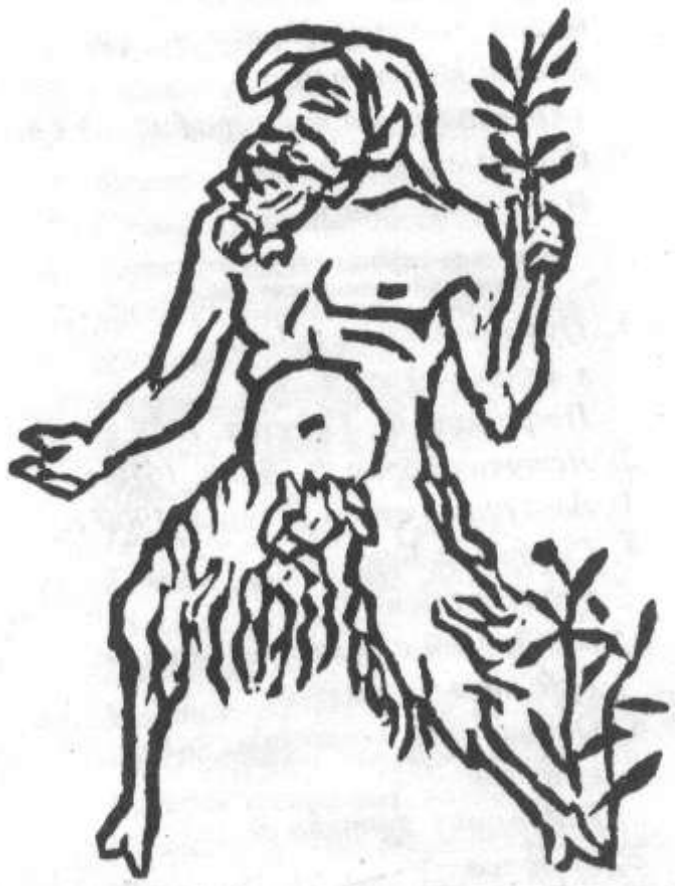
5



6

8

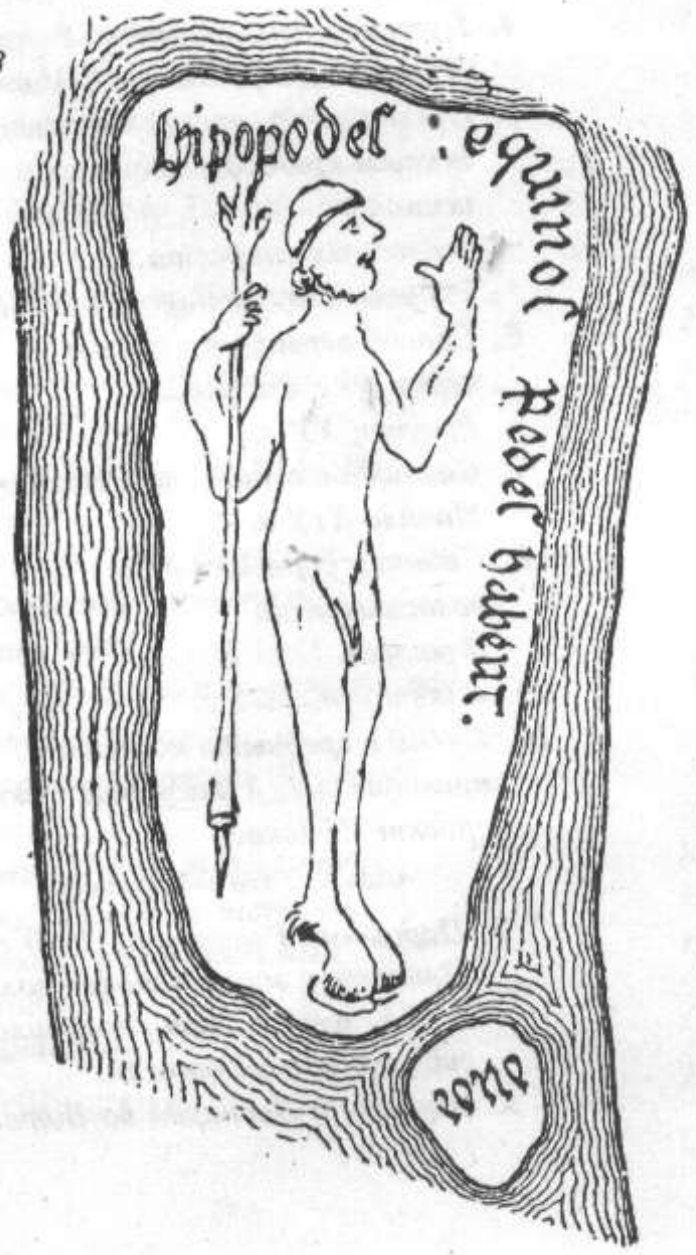
9



...За тысячи лет до генной инженерии

12

13



14

Страница **шестая**
Страница **седьмая**

1. *Яйцеобразная Земля — по представлению некоторых христианских и мусульманских ученых XI в.*
2. *Кубическая Земля — по представлению, приписываемому Платону.*
3. *Земля на двенадцати колоннах. Месопотамия.*
4. *Земля, пускающая корни. Скандинавия.*
5. *Цилиндрическая Земля. По Анаксимандру.*
6. *Стены, поддерживающие небо, резервуар небесных вод и свод Эмпирея. Из книги Космы Индикоплова «Христианская топография». VI в.*
7. *Система мироздания. Из той же книги.*

Страница **семьдесят четвертая**
Страница **семьдесят пятая**

1. *Путешествие на Луну в лебединой упряжке. По роману Ф. Годуэна. 1638 г.*
2. *Летучая барка Ф. Лана. 1670 г.*
3. *Воздушное судно Гусмао. 1909 г.*
4. *Сирано де Бержерак поднимается над Землей с помощью склянок, наполненных дымом.*

5, 6. *Охота на фантастических существ. По роману Ретифа де ла Бретона 1781 г.*

7, 8. *Летающие люди. По роману Пальтока. 1751 г.*

9. *Путешествие на Луну в петушиной упряжке. По роману С. Брэна. 1727 г.*

Страница **семьдесят шестая**
Страница **семьдесят седьмая**

1. *Колесница с косами. Изобретение Леонардо да Винчи.*
2. *Воздушный шар «Минерва». Франция. 1784 г.*
3. *Дирижабль Петерсена. 1885 г.*
4. *Огнестрельное оружие — среднее между ружьем и пушкой. 1405 г.*
5. *Римская метательная машина. Из энциклопедии Дидро и д'Аламбера.*
6. *Римская передвижная стрелометательная машина.*
7. *Разрушение крепостной стены. По Герону Византийскому. VII в.*
8. *Складная лестница для штурма стен. Изобретение Джулиано Турриано. XVI в.*
9. *Военная машина. Из сочинения Леонгарда Фронспергера «Книга войн». 1573 г.*

10. *Велосипед для английской армии. 1888 г.*

Страница **восемьдесят девятая**

Ноев ковчег. Рисунок XII в.

Страница **девяносто шестая**
Страница **девяносто седьмая**

1. *Снаряд Геньё. Франция. Рисунок 1678 г.*
2. *Летательный аппарат Айреса. США. 1885 г.*
3. *Воздушный велосипед. 1888 г.*
4. *Крылья для человека. Рисунок Леонардо да Винчи.*
5. *«Летающая рыба» Франца Кристофа. 1790 г.*
6. *Аппарат Спицына. Конец XIX в.*
7. *Аппарат Старка. 1893 г.*
8. *Аэроплан Гупила. 1885 г.*
9. *Велосипед «Эйфелева башня». 1894 г.*
10. *Велосипед для суши и воды. Франция. 1884 г.*
11. *Плавательный аппарат американца Ричардсона. 1880 г.*
12. *Лодка с гребным винтом. Рисунок XV в.*

Страница **девяносто восьмая**
Страница **девяносто девятая**

1. *Проект австрийца Кайзерера. 1799 г.*
2. *Использование ослиной тяги в целях ирригации. Из «Трактата о механических устройствах» аль-Джазари. XIII в.*
3. *Лучший способ для аэростатов обзавестись собственной тягой. Французская карикатура. XIX в.*
4. *Путешествие на птице Рох. Из арабской рукописи XIV в.*
5. *Овьминог на веревке служит живым крючком японскому искателю подводных сокровищ. Рисунок Пауля Бартша. 1931 г.*
6. *Способ переправки грузов через реку или овраг. Рисунок XV в.*
7. *Самодвижущийся воз. Англия. Начало XIX в.*
8. *Собачья упряжка для велосипедиста. Франция. 1893 г.*
9. *«Эквибус». 1878 г.*
10. *Судно с гребными колесами, приводимыми в движение быками. проект VI века.*

Страница **сто семнадцатая**

1, 2. *Парашют Рейхельта. 1910 г. Прыжок с этим парашютом с Эйфелевой башни закончился гибелью изобретателя.*

3. *Парашют Леонардо да Винчи.*
4. *Парашют парусного типа. Рисунок из итальянского технического сборника. 1617 г.*
5. *Парашют Ленормана. 1783 г.*

Страница **сто шестьдесят третья**

Подсолнечник в качестве часов. Из книги Афанасиуса Кирхера «О магнетическом искусстве». 1643 г.

Страница **сто шестьдесят шестая**
Страница **сто шестьдесят седьмая**

1. *Созвездие Дракон. Рисунок Иоганна Байера. 1603 г.*
2. *Марсианские каналы. Рисунок Джованни Скиапарелли. 1883 г.*
3. *Изображение Земли и Неба. Древний Египет.*
4. *Система Птолемея.*
5. *Созвездие Дева. Рисунок XIII в.*
6. *Созвездие Андромеда. Рисунок XIII в.*
7. *Созвездие Персей. Рисунок XIII в.*
8. *Арабское изображение созвездия Андромеда. X в.*
9. *Туманность Ориона. Рисунок Ле Жантиля. 1758 г.*
10. *Вариант системы Вихрей. Солнце и Меркурий обращаются вокруг Центра. XVIII в.*
11. *Господство Птолемеевой системы. Из средневекового трактата «Философская жемчужина».*
12. *Кометы. Из книги Яна Гевелия «Кометография». XVII в.*
13. *Унь и Ян. Древний Китай.*
14. *Комета 1529 г. Из книги «История чудес». XVI в.*

Страница **сто шестьдесят восьмая**
Страница **сто шестьдесят девятая**

1. *Земной рай. Из «Герефордской карты» Рихарда фон Гольдингама. XIII в.*
2. *Карта Земли Андреа Бианко с указанием местоположения Эдема. X в.*
3. *Круги ада по описанию Данте.*
4. *Наказание грешников в аду. Китайский рисунок.*

Страница **сто восемьдесят третья**

Вавилонская башня.

Страница **сто девяносто первая**

1. *Действие вогнутого зеркала и зажигательного стекла. Рисунок Афанасиуса Кирхера. 1671 г.*
2. *«Комната-качели». Иллюзия вращения качелей вокруг своей оси создается вращением насаженного на ту же ось помещения. Марсель. 1894 г.*
3. *Зажигание огня через бутылку с водой. Гравюра 1636 г.*

Страница **сто девяносто четвертая**
Страница **сто девяносто пятая**

1. *Воздухоплаватели Сивель и Кроке-Спителли с кислородными резервуарами. 1874 г.*
2. *Корзина кабельного воздушного шара (поперечный разрез). Франция. 1878 г.*
3. *Корзина воздушного шара Тиссандие. Франция. 1883 г.*
4. *Воздушный шар Тиссандие.*
5. *Воздушный аппарат Коле. Никарагуа. 1887 г.*
6. *«Аэростатическая флотилия» Делькура. 1824 г.*
7. *Английский проект аэростата, который тянут орлы. 1835 г.*
8. *Один из увеселительных подъемов французского воздухоплавателя Тетю-Брисси. Середина XIX в.*
9. *Воздушный шар Безансона и Эрмита для полетов в Арктике. Франция. 1890 г.*

Страница **сто девяносто шестая**
Страница **сто девяносто седьмая**

1. *Планер Ле-Бри. 1857 г.*
2. *Аэроплан без киля и руля поворотов. Эскизный проект Нестерова. 1911 г.*
3. *Многоярусный планер Шанюта.*
4. *Аэроплан с пороховым двигателем. Проект неизвестного изобретателя. 1847 г.*
5. *Планер-биплан Лилиенталя. 1894 г.*
6. *Самолет Кадеравека. Начало XIX в.*
7. *Летательный аппарат Уокра. 1810 г.*
8. *Аэроплан Максима. США. 1894 г.*

Страница **двести пятая**

1. *Прозрачная подводная бочка. Франция. Рисунок XIII в.*
2. *Спасательный аппарат Бика. США. 1877 г.*
3. *Перчатка для плавания. Рисунок Леонардо да Винчи.*
4. *Воздушный колокол, балластом для которого служил свинцовый шар. XVII в.*
5. *Водолаз с водолазным шлемом. Проект XV в.*

Страница **двести двенадцатая**
Страница **двести тринадцатая**

1. *Аэростат Жиффара с паровым двигателем. 1852 г.*
2. *Геликоптер де ла Ланделя. 1863 г.*
3. *«Авиатор» Мариотта. США. 1869 г.*
4. *Воздушный корабль с паровым двигателем. XIX в.*
5. *Аэроплан братьев Тампль с паровой машиной. 1857 г.*
6. *Паровой аэроплан Можайского.*
7. *Паровое колесо — прототип паровой турбины. 1629 г.*
8. *Реактивная повозка Исаака Ньютона.*
9. *Паровая повозка Тревитика. 1803 г.*
10. *Аэроплан Моя и Шилла. Англия. 1875 г.*
11. *Паровой воз Гордона. 1824 г.*

Страница **двести двадцать первая**

1. *«Эолова Арфа» Афанасиуса Кирхера. 1673 г.*
2. *«Акустические горны» Афанасиуса Кирхера. Всасывая звуки с улицы, они передают их говорящим бюстам. установленным в зданиях. 1673 г.*
3. *Аппарат для пианиста. Изобретатель Аткинс. США. 1881 г.*
4. *Водяной орга́н Герона Александрийского. I в. Вода, заполняя короб, вытесняла из него воздух, который, двигаясь по трубам, проходившим через фигурки птиц, заставлял их петь.*

Страница **двести двадцать четвертая**
Страница **двести двадцать пятая**

1. *Прадедушка всех вечных двигателей — Виллардово колесо. XIII в.*
2. *Любимая идея изобретателей вечных двигателей. Магнит (A), наклонная плоскость (EF), шарик (C) и две дырочки (B и D). Впервые описана Уилкинсом в XVII в.*
3. *Зубчатое колесо Шрётера, приводимое в движение маленькими шариками.*
4. *Схема вечного двигателя, предложенная Робертом Бойлем.*
5. *Вечный двигатель Кирхера. XVII в.*
6. *Вечный двигатель Таиснериуса. XVI в.*
7. *Вечный двигатель Уилкинса. XVII в.*
8. *Магнитный вечный двигатель Досвила. 1763 г.*
9. *Вечный двигатель Делла Порто. XVI в.*
10. *Вечный двигатель Вудворда.*
11. *Гидравлический двигатель Мартина. 1640 г.*
12. *Вечный двигатель для точильщика. Изобретение Бёклера.*
13. *«Поплавковый мотор» Леонарда. 1865 г.*
14. *Магнитный вечный двигатель. Цепочка железных шариков, поочередно притягиваемых магнитом (H).*
15. *Еще один тип Виллардова колеса. XIII в.*

Страница **двести сорок первая**

1. *Зонтик Форстера. 1888 г.*
2. *Зонтик с громоотводом. Изобретение приписывается Бенжамину Франклину. 1778 г.*
3. *Древнейший способ борьбы с градом. Гравюра 1555 г.*

Страница **двести сорок пятая**

1. *«Семимильные сапоги» чешского изобретателя Отченашека.*
2. *Английское изобретение. 1903 г.*
3. *Переход через горы на лыжах. Рисунок 1555 г.*
4. *Пешеходное колесо. США. 1870 г.*

Страница **двести сорок восьмая**
Страница **двести сорок девятая**

1. *Вишну-рыба. Индия.*
2. *Гигант Гаруда. Индия.*
3. *Вишну-черепаха. Индия.*
4. *Вишну-медведь. Индия.*
5. *Озирис. Древний Египет.*
6. *Гермес. Древний Египет.*
7. *Анубис, Канопская ваза и Гор. Древний Египет.*
8. *Озирис. Древний Египет.*
9. *Анубис, Изида и Озирис. Древний Египет.*
10. *Тритон. Древняя Греция.*
11. *Тезей и Минотавр. Древняя Греция.*
12. *Ганеша. Ява.*
13. *Мантикора. Из книги Гуго Фольето «Бестиарий». Франция. XII в.*
14. *Человек с собачьей головой. Из книги Якоба Мейденбаха «Сад здоровья». Майнц. 1491 г.*
15. *Сирена. Из книги Якоба Мейденбаха «Сад здоровья». Майнц. 1491 г.*
16. *Сирена. Древняя Греция.*
17. *Русалка. Из книги Якоба Мейденбаха «Сад здоровья». Майнц. 1491 г.*

Страница **двести пятидесятая**
Страница **двести пятьдесят первая**

1. *Афина и Гигант. Древняя Греция.*
2. *Человек-колибри. Перу. Конец III в.*
3. *Евангелисты Иоанн и Лука. VIII в.*
4,5,6. *Морская змея; Человек-рыба; Рыба-человек. Из китайского сочинения «Книга гор и морей».*
7. *Онокентавр. Из книги Гуго Фольето «Бестиарий». Франция. XII в.*
8. *Рыба-Мелузина. Русский лубок. XVIII в.*
9. *Сатир. Гравюра Аристида Майоля.*
10. *Сфинкс. Древний Египет.*
11. *Химера с хеттского рельефа.*
12. *Кентавр. Древняя Греция.*
13. *Человек с лошадиными ногами. Из «Герефордской карты» Рихарда фон Гольдингама. XIII в.*
14. *Митра с головой льва. Иран.*

The second issue of the TOMORROW almanac is illustrated with drawings depicting fantastic ideas and projects of different periods.

PUBLISHED IN IT ARE:

Alexander KATSURA
Valery GENKIN
Kidnapping
A chimera novel. Social satire and philosophic meditation are welded together by an exciting plot—a parody on a hit thriller. The authors are budding writers Soviet style: having started writing long ago, began publishing their works only recently.

Viktor PELEVIN
The Bulldozer's Day
A phantasmagoric story. The life of a secret "atomic" township: absurdity, spymania, hatred, degradation.

Yevgeny POPOV
Either... or... (Of Me, Flying Saucers and Communism)
An almost realistic story.

Yuri KOZLOV
Miscalculation
A young genius in the Soviet Union invented a method of time-transportation. A colleague of his in the USA did the same. Now they're both in the power of the military. The Soviet inventor travels to the recent past and chooses the exact time to be shot by Stalin's secret service agents.

Mikhail KOZYREV
Leningrad
A fantasy novel written in the 1920s. A young revolutionary falls into sleep that lasts some forty years. On awakening he finds the "happy future" already built.

The first—literary—section of the almanac wraps up with verses by the late Russian poet Arseny TARKOVSKY, science-fiction writer Gennady PRASHKEVICH, and present-day poet Yevgeny REYN.

Pope LEO XIII
Encyclic "Rerum novarum..."

Victoria CHALIKOVA
Ideology: Dreamers Are Not Welcome.
An essay on the role of utopian ideas and utopian literature in the present-day world.

Jerome K. JEROME
The New Utopia
At the dawn of the 20th century the famous English humorist writes a satirical story about what socialism would look like in good old Britain.

Programs of political parties
Documents of the early years of the century. It may be interesting to compare them both with the utopians' forecasts and with the promises and programs of present day politicians, including Western ones.

Pyotr STOLYPIN
Speech on the Land Law Draft
Also a document of those years—1906. The speaker was prime minister under Tzar Nicholas II and a resolute reformer—he carried out the land reform in Russia.

Zhelyu ZHELEV
Fascism
The preface written by the President of Bulgaria to his book—a study of the totalitarian regimes in Europe.

The second—publicistic—section of the TOMORROW almanac also ends with verses—by Heinrich HEINE (the original and a Russian translation) and by present-day Moscow poets Igor IRTENYEV and painter Alexander ANNO.

Arkady STRUGATSKY, Boris STRUGATSKY.
The Kikes of Petrograd,
or Mirthless Talks by Candlelight
A new play by the world-famous science-fiction writers, a tragicomedy about the danger of the rebirth of fascism in Russia.

The third—and last—section of the TOMORROW almanac concludes with grotesque short stories by celebrated Russian satirists of the early 20th century Osip d'OR and Arkady AVERCHENKO, by present-day satirist Mikhail USPENSKY, as well as aphorisms by Natan PERELMAN, professor of music, and writer Victor SHENDEROVICH.

We very much hope, our dear reader abroad, that you will soon be able to read the TOMORROW almanac in English, too.

Sincerely yours, Editors:

Vitaly BABENKO
Mikhail CHERNENKO
David FELDMAN
Olgert LIBKIN
Alexander MIRER
Valentin RABINOVICH

Художественный редактор
Александр ДРАГОВОЙ

Технический редактор
Людмила СИНЕНКО

Корректоры
Татьяна КАЛИНИНА
Наталья ПУЩИНА

Сдано в набор 27.10.90. Подписано в печать 11.03.91. Формат 60×90¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитуры „Таймс" и „Универс". Печать офсетная. Усл. печ. л. 32,0. Усл. кр.-отт. 64,75. Уч.-изд. л. 39,40. Тираж 50 000 экз. Заказ 6182. Цена 10 руб.

Набрано в типографии издательства «Новости» Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

Box 89, TEXT,
Moscow 125190
USSR

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Мининформпечати РСФСР. 127018, Москва, Сущевский вал, 49

Парите в небе, но не забывайте о земном!
Рисунки во втором выпуске альманаха ЗАВТРА
напомнят вам о самых разных фантастических идеях, проектах, изобретениях.
Среди их авторов немало блистательных имен:
Сирано де Бержерак, Роберт Бойль, Исаак Ньютон,
Бенджамин Франклин, Джованни Скиапарелли, Леонардо да Винчи...
Гениальный создатель «Джоконды»,
изобретавший парашют и маховые крылья для человека,
заботился и о куда более обыденных надобностях.
Вот формула одного из его изобретений:
«Сидению нужника дай поворачиваться, как окошечку монахов,
и возвращаться в свое первое положение противовесом.
Крышка над ним должна быть полна отверстий, чтобы воздух мог выходить».
Пояснительный рисунок Леонардо — на обложке альманаха.
Парите в небе, но не забывайте о земном...

Десять рублей